

ВІСКИЕ ВОКЛЪ

ИСТОРИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ



Генри Томас
БОКЛЬ

**ИСТОРИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ**

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В АНГЛИИ т.2



Москва
«Мысль» 2002

УДК 930.85
ББК 71.05
Б79

РЕДАКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральная целевая программа
«Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии
и книгоиздания России»)

Печатается по: Бокль.
История цивилизации в Англии.
Перевод А. Н. БУЙНИЦКОГО. СПб., 1895.

ISBN 5-244-01006-9

© Издательство «Мысль». 2002
© Составление. Оформление. 2002

ГЛАВА I

Очерк истории умственного движения в Испании с V до половины XIX столетия

В предыдущем томе я старался доказать четыре главные положения, которые, по моему мнению, следует считать основанием истории цивилизации. А именно: 1) что прогресс человечества зависит от успеха, с каким исследуются законы явлений, и от степени распространения знания этих законов; 2) что прежде, чем может начаться подобное исследование, должен зародиться дух скептицизма, который сначала помогает исследованию, а потом сам пользуется его помощью; 3) что произведенные таким образом исследования увеличивают влияние умственных истин и уменьшают относительно, но не абсолютно влияние истин нравственных, так как нравственные истины более неподвижны, чем умственные, и менее пополняются; 4) что сильная задержка этого движения, а следовательно, и цивилизации есть дух излишнего покровительства, под которым я разумею такое понятие, будто общество не может преуспевать, если все дела человеческие не находятся почти на каждом шагу под суровым надзором и покровительством. Таковы положения, которые я считаю наиболее необходимыми для правильного понимания истории и которые я защищал двумя единственными путями, какими только может быть защищено положение, а именно — индуктивно и дедуктивно. Индуктивная защита включает в себе собрание исторических и научных фактов, которые служат как источником, так и оправданием делаемых из них выводов; дедуктивная же защита состоит в проверке этих выводов исследованием, в какой мере ими объясняется история различных стран и их неодинаковая судьба. К первому, или индуктивному, методу защиты я в настоящее время не в состоянии прибавить ничего нового; дедуктивную же защиту я надеюсь значительно усилить в этом томе и с помощью ее утвердить не только приведенные выше четыре главные положения, но и некоторые положения меньшей важности, которые, собственно говоря, из них же вытекают, но требуют все-таки отдельной проверки. Согласно с начертанным уже планом остальная часть введения будет заключать в себе исследование истории Испании, Шотландии, Германии и Соединенных Штатов Америки с целью уяснить те принципы, для которых история Англии не представляет достаточных данных. И так как Испания есть страна, где особенно явным образом нарушались те условия, которые я считаю наиболее необходимыми для преуспевания нации, то мы найдем также, что эта страна понесла и особенно тяжкое наказание за такие нарушения и что поэтому на ней именно полезнее всего изучать, до какой степени преобладание известных мнений влечет за собой упадок той нации, в которой эти мнения господствовали.

Мы видели, что древние тропические цивилизации сопровождались замечательными особенностями, которые я назвал общим видом природы и которые, воспламеня воображение людей, поощряли суеверие, вследствие чего люди не смели анализировать такие грозные физические явления, другими словами — не могли создать естественные науки. Но вот любопытный факт: ни одна страна Европы не представляет в этом отношении такой аналогии с тропическими странами, как Испания. Никакая другая страна Европы не предназначена так явно природой быть убежищем суеверия. Обращаясь к тому, что было уже доказано (во второй главе I тома), припомним, что к числу самых важных физических причин суеверия относятся голод, эпидемии, землетрясения и вообще нездоровый климат, которые, сокращая среднюю продолжительность жизни, делают более частыми те случаи, в которых особенно усердно призывается сверхъестественная помощь. Эти особенности, взятые вместе, более бросаются в глаза в Испании, чем в какой-либо другой стране Европы, и поэтому полезно будет представить здесь такой обзор этих особенностей, который сделал бы очевидным вредное влияние их на образование национального характера.

Если исключить северную оконечность Испании, то можно положительно сказать, что две главные отличительные черты климата этой страны — зной и засуха и что и тому, и другому благоприятствуют представляемые самой природой особенные препятствия к орошению. Реки, пересекающие эту страну, текут по большей части в руслах слишком глубоких, чтобы можно было извлечь из них¹ пользу для орошения почвы, которая поэтому есть и всегда была замечательно суха. Вследствие этого обстоятельства и редкости дождей оказывается, что во всей Европе нет страны, одинаково щедро одаренной природой в других отношениях, в которой засухи, а следовательно, и голода были бы так часты, как в Испании. В то же время переменчивость погоды, в особенности в центральных частях, делает Испанию вообще нездоровой страной; ко всему этому в средние века присоединялись еще беспрестанно случавшиеся голода, вследствие которых опустошительное действие заразы становилось особенно пагубным². Если прибавить к этому, что на всем полуострове, не исключая и Португалии, бывали чрезвычайно бедственные землетрясения и что они возбуждали все те суеверные чувства, какие обыкновенно вызываются подобными явлениями, то можно составить себе некоторое понятие о небезопасности жизни в этой стране и о том, как легко было ловкому и честолюбивому духовенству сделать из этого орудие для расширения своей власти.

Другую черту этой своеобразной страны составляет преобладание пастушеского образа жизни, происходящее в ней главным образом от невозможности правильного занятия земледелием. В большей части Испании климат делает невозможным для работника трудиться целый день, а этот невольный перерыв занятий способствует развитию в народе беспорядочности и не-

постоянства, вследствие чего он предпочитает бродячий образ жизни пастуха более постоянным занятиям земледельца. Притом в течение долгой и трудной борьбы с магометанскими завоевателями народ этот подвергался таким частым и неожиданным нападениям со стороны неприятеля, что ему не мешало иметь такие средства пропитания, которые всего легче было бы увозить с собою; вот он и предпочитал произведения своих стад произведениям своих земель и занимался скотоводством вместо земледелия единственно потому, что при этом условии он менее страдал от неблагоприятных случайностей. Даже после взятия Толедо в конце XI столетия пограничные жители Эстремадуры, Ла-Манчи и Новой Кастилии были почти исключительно пастухами, и их скот пасся не на принадлежащих кому-либо лугах, а в открытых полях. Все это увеличивало необеспеченность жизни и усиливало ту любовь к приключениям и тот романтический дух, которые впоследствии сообщили особый характер народной литературе. При таких обстоятельствах все оказывалось неверно, тревожно, шатко; мышление и исследование были невозможны, сомнение было неизвестно, и подготавлился путь для тех суеверных привычек и для тех глубоко укоренившихся упорных верований, которые всегда составляли главную черту в истории испанского народа.

До чего простерлось бы влияние одних этих обстоятельств на дальнейшую судьбу Испании, составляет вопрос, на который едва ли возможно ответить; но то не подлежит сомнению, что влияние их всегда было бы значительно, хотя по недостатку свидетельств мы и не в состоянии с точностью определить его. Впрочем, относительно оказавшегося на самом деле результата это не особенно важно, так как целый ряд других еще более влиятельных обстоятельств, соединясь с только что упомянутыми нами и действуя совершенно в одинаковом направлении, образовали такое сочетание влияний, которому ничто не могло противостоять и из которого мы можем с непогрешимой верноcтью вывести шаг за шагом весь ход дальнейшего постепенного упадка этой нации. История причин упадка Испании станет слишком ясна, чтобы можно было ошибиться в ней, если только изучать ее в связи с теми общими началами, которые я вывел выше и которые сами получают новую силу от проливаемого ими света на это поучительное, хотя и грустное явление.

После падения Римской империи первым крупным фактом в истории Испании было водворение в ней вестготов и введение их религии на этом полуострове. Они, так же как и свевы, которые непосредственно предшествовали им, были ариане, и Испания в течение полутора столетий сделалась средоточием этой знаменитой ереси, к которой действительно принадлежала тогда большая часть готских племен. Но в конце пятого столетия франки при своем обращении из язычества приняли противоположное правоверное исповедание, и духовенство стало поощрять их к войне против своих соседей еретиков. Хлодвиг, тогдашний

короля франков, церковь считала поборником веры, во имя которой он нападал на неверующих вестготов. Его преемники, движимые теми же побуждениями, следовали той же политике; и в продолжение почти столетия происходила между Францией и Испанией война за религиозные убеждения, которая подвергла серьезной опасности царство вестготов, бывшее не раз на краю гибели. Таким образом в Испании война за национальную независимость сделалась также войной за национальную религию, и между арианскими королями и арианским духовенством был заключен тесный союз. В те невежественные времена духовенство могло быть уверено, что оно останется в выигрыше от подобного союза, и действительно оно получило значительные светские преимущества за свои молитвы, направленные против врага, и также за чудеса, которые оно по временам совершало. Таким образом рано положено было основание тому громадному влиянию, которым с тех пор постоянно пользовалось испанское духовенство и которое было еще более усилено последующими событиями. В конце VI столетия латинское духовенство обратило своих вестготских повелителей, и испанское правительство, сделавшись правоверным, естественно даровало своим учителям власть, равную той, какой пользовалась арианская иерархия³. Действительно, правители Испании из признательности к тем, которые направили их на путь истинный, оказывали расположение скорее увеличивать, чем уменьшать, власть церкви. Духовенство воспользовалось этим расположением; прежде половины VII столетия духовное сословие в Испании имело более влияния, чем в какой-либо другой части Европы⁴. Духовные синоды были не только церковными соборами, но и парламентами королевства. В Толедо, тогдашней столице Испании, духовенство имело громадную власть и проявляло ее с таким тщеславием, что на соборе, бывшем там в 633 г., мы видим короля, буквально падающего ниц перед епископами; а полустолетием позже, в 688 г., на соборе в Толедо, как говорит один историк церкви, униженный обряд этот был повторен другим королем (Эгика), как нечто вошедшее в обычай. Что это не было одной пустой церемонией, очевидно и из других аналогических фактов. Точно то же стремление видно и в испанской юриспруденции; так, по вестготскому кодексу, каждый мирянин, истец ли или ответчик, мог требовать, чтобы его дело было судимо не светскими судами, а епархиальным епископом. Сверх того, даже в том случае, когда обе стороны единодушно предпочитали гражданский трибунал, епископ все-таки сохранял право отменить решение, если, по его мнению, оно было неправильно; и его особенной обязанностью было наблюдать за отправлением правосудия и научать судей, как им следует исполнять свои обязанности⁵. Другое еще более печальное доказательство силы духовенства видно в том, что законы против еретиков были суровее в Испании, чем в какой-либо другой стране; евреи в особенности преследовались с непреклонной жестокостью⁶. Действительно, желание поддержать веру бы-

ло так сильно, что вызвало формальную декларацию, что ни один государь не должен быть признан, если он не обещает сохранять чистоту веры; судьями этой чистоты были, разумеется, сами епископы, голосу которых король был обязан своим престолом!

Таковы были обстоятельства, которые на исходе шестого и в седьмом столетии обеспечили испанской церкви такое влияние, которому не было ничего подобного ни в какой другой части Европы. В самом начале VIII столетия случилось событие, которое, казалось, ниспровергло и рассеяло иерархию, но в сущности было чрезвычайно благоприятно для нее. В 711 г. магометане, отплыв из Африки, высадились на юге Испании и в течение трех лет завоевали всю страну, за исключением почти недоступных местностей на северо-западе. Испанцы, безопасные в своих родных горах⁷, вскоре оправились, собрали свои силы и стали в свою очередь нападать на завоевателей; началась отчаянная борьба, продолжавшаяся почти восемь столетий, и тут во второй раз в истории Испании война за независимость являлась также войной за религию; борьба между арабами-неверными и испанцами-христианами последовала за войной между тринитариями Франции и арианами Испании. Медленно и с бесконечной трудностью пролагали себе путь христиане. В середине IX столетия они дошли до Дуэро; около конца XI—завоевали все земли до Тахо, и Толедо, их древняя столица, снова досталась им в руки в 1085 г.⁸ Но и тогда много еще оставалось сделать. На юге борьба принимала самый кровавый вид; там она продолжалась с таким упорством, что только после взятия Малаги, в 1487 г., и Гранады, в 1492 г., христианское владычество было возобновлено и старая испанская монархия окончательно восстановлена.

Все это имело весьма замечательное действие на испанский характер. В продолжение восьми последовательных столетий вся страна постоянно вела крестовый поход, и те священные войны, которые только по временам случались у других народов, в Испании тянулись непрерывно в течение более двадцати поколений⁹. И так как цель заключалась не в одном обратном завоевании территории, но и в восстановлении веры, то естественным образом случилось, что проповедники этой веры заняли видное, важное место. В лагере, в совете раздавался голос духовных и его слушались; так как война имела целью распространение христианской религии, то и казалось справедливым, чтобы ее служители принимали заметное участие в деле, так близко до них касавшемся. Так как опасность, которой подвергалась страна, была чрезвычайно велика, то и возбуждались те суеверные чувства, которые способна порождать опасность и которым, как я уже показал в другом месте, тропические цивилизации обязаны некоторыми из своих главных особенностей. Лишь только испанские христиане были изгнаны из своих домов и принуждены искать убежища на севере, этот великий принцип возымел действие. Приютившись в горах, они сохраняли ковчег, наполненный мощами их святых, обладание которыми они считали своим главным спасе-

нием. Этот ковчег был для них национальным знаменем, около которого они собирались и с помощью которого они одерживали чудесные победы над своими неверными противниками. Они смотрели на себя как на воинов Креста, и потому умы их привыкли к мысли о сверхъестественном до такой степени, что в настоящее время мы с трудом можем поверить этому; этим отличались они от всех других европейских народов¹⁰. Молодым людям являлись видения, старикам снились сны. Станные зрелища представлялись им на небе; накануне сражения являлись таинственные предзнаменования и было замечено, что, когда магометане оскорбляли гроб христианского святого, гром и молния ниспосылались для обуздания неверующих и для наказания их за дерзкое нашествие¹¹.

При подобных обстоятельствах духовенство не могло не увеличить свое влияние, или, скажем, скорее самый ход событий увеличил это влияние. Испанские христиане, запертые в продолжение довольно значительного времени в горах Астурии и лишенные прежних своих средств, быстро вырождались и скоро утратили и ту скудную цивилизацию, какой успели прежде достигнуть. Лишенные всего своего богатства и принужденные ограничиться сравнительно бесплодной страной, они вновь впали в варварство и остались почти в продолжение столетия без искусств, без торговли, без литературы¹². По мере увеличения их невежества увеличивалось также их суеверие, которое в свою очередь усиливало власть их священников. Все, следовательно, шло путем самым естественным. Нашествие магометан сделало христиан бедными; бедность породила невежество; невежество породило легкоеверие; а легкоеверие, лишая людей как способности, так и желания самим что-либо исследовать, усиливало дух подобострастия и поддерживало привычку к покорности и слепое повиновение клерикалам, составляющие главную и самую жалкую особенность истории Испании. Из этого видно, что вторжение магометан усилило набожность испанского народа трояким путем: во-первых, вызвав продолжительную и упорную религиозную войну; во-вторых, окружив его постоянными и непосредственными опасностями; и в-третьих, повергнув в бедность, неизбежно породившую невежество между христианами.

Эти события, следуя за великой Арианской войной и будучи сопровождаемы и беспрестанно усиливаемы теми физическими явлениями, которые, как я уже указал, влияют в том же направлении, действовали так дружно и сильно, что в Испании теологический элемент сделался не составной только частью национального характера, а скорее самим характером. Самые способные и самые честолюбивые из испанских королей были принуждены следовать общему движению и при всем своем деспотизме уступали давлению мнений, которыми, как им казалось, они управляли. Война с Гранадой в конце пятнадцатого столетия была скорее религиозной, чем светской; и Изабелла, сделавшая огромные пожертвования на эту войну и стоявшая по способностям и искренности выше Фердинанда, имела в виду не столько приобрете-

ние территории, сколько распространение христианской веры. В самом деле, какие бы ни возникали сомнения относительно цели этой распри, они рассеиваются последующими событиями. Едва кончилась война, как Фердинанд и Изабелла издали указ, изгоняющий из государства всякого еврея, не желающего отказаться от своей веры; так что почва Испании с тех пор не должна была более оскверняться присутствием неверных¹³. Сделать их христианами или, не успев в этом, истребить их стало задачей инквизиции, которая была учреждена в это же царствование и действовала к концу XV века с полной силой¹⁴. В продолжение XVI столетия на престоле сменились два государя с замечательными способностями, которые оба держались одинаковой политики. Карл V, наследовавший Фердинанду в 1516 г., управлял Испанией в течение сорока лет, и общий характер его правления был такой же, как и царствования его предшественников. Что касается его внешней политики, то при нем было три значительные войны: с Францией, с германскими князьями и с Турцией. Из них первая имела светский характер, а две последние были в сущности религиозные. В германской войне он защищал церковь против нововведений и в сражении при Мюльберге нанес такое поражение протестантским князьям, что замедлил на некоторое время прогресс Реформации. В другой великой войне своей он как защитник христианства против магометанства довершил то, что было начато дедом его Фердинандом. Карл разбил и прогнал магометан на востоке, точно так же как Фердинанд сразил их на западе; поражение турок под Веной было тем же для шестнадцатого столетия, чем была для пятнадцатого победа над арабами при Гранаде. Поэтому Карл при конце своего царствования имел полное право похвалиться, что он всегда предпочитал свою веру своей родине и что главным предметом его честолюбивых стремлений было охранение интересов христианства. С какой ревностью он боролся за веру, видно также из тех усилий, которые он употреблял против ереси в Нидерландах. По отзыву современных сведущих писателей, в царствование его в Нидерландах казнено от пятидесяти до ста тысяч человек за религиозные убеждения. Позднейшие исследователи усомнились в верности этого показания, которое, по всей вероятности, преувеличено, но мы знаем, что между 1520 и 1550 гг. он издал ряд законов, по которым обвиненные в ереси обезглавливались, сжигались либо погребались живыми. Так, наказания были различные, смотря по обстоятельствам каждого преступления. Но во всяком случае подвергался уголовному наказанию тот, кто купил или продал еретическую книгу или даже списал ее для своего употребления. Его последний совет сыну согласовался с этими мерами. За несколько дней до своей смерти он сделал приписку к завещанию, в которой советовал: не оказывать милости еретикам, всех их предавать смерти и заботиться о поддержании инквизиции как лучшего средства для достижения желаемой цели¹⁵.

Эту варварскую политику не должно приписывать ни порокам, ни темпераменту того или другого из правителей, а громадному влиянию общих причин, действовавших на каждого из них и вынуждавших его поступать так, а не иначе. Карл нисколько не был мстительным человеком; он был склонен от природы скорее мловать, чем наказывать; его искренность не подлежит сомнению; он делал то, что считал своей обязанностью, и был до такой степени способен к дружбе, что тот, кто наиболее знал его, и любил его наиболее¹⁶. Но все это не имело особенного влияния на его общественную деятельность. Он вынужден был повиноваться стремлениям времени и той страны, в которой жил. А каковы были эти стремления, обнаружилось еще яснее после его смерти, когда престол Испании был занимаем более сорока лет государем, который вступил на него во цвете лет и царствование которого особенно замечательно, как выражение и как последствие настроения подвластного ему народа.

Филипп II, наследовавший Карлу V в 1555 г., был действительно по преимуществу созданием своего времени, и замечательнейший из его биографов метко называет его самым совершенным типом национального характера. Его любимое правило, служащее ключом к его политике, было, «что лучше совсем не царствовать, чем царствовать над еретиками». Вооруженный верховной властью, он употребил всю свою энергию на приведение в действие этого принципа. Как только он услышал, что протестанты находят последователей в Испании, то он устремил все силы на уничтожение ереси¹⁷; и общее расположение народа так удивительно помогало ему в этом, что он мог без всякого риска подавить мнения, волновавшие все другие страны Европы. В Испании Реформация после короткой борьбы совершенно замерла, и в продолжение каких-нибудь десяти лет исчез и малейший след ее¹⁸. Голландцы желали принять и во многих случаях принимали преобразованное учение; поэтому Филипп пошел на них жестокой войной, которая длилась тридцать лет и которую он не прекращал до своей смерти, потому что решился искоренить новую веру¹⁹. Он приказал сжигать всякого еретика, не хотевшего отказаться от своей веры. Если же еретик отрекался от своих убеждений, то ему оказывалось некоторое снисхождение; но так как он был все-таки осквернен, то умереть он должен был во всяком случае, поэтому вместо сожжения его казнили отсечением головы. О действительном числе лиц, пострадавших в Нидерландах, мы не имеем точных сведений²⁰; но Альба торжественно хвалился, что в продолжение пяти или шести лет его управления он казнил совершенно хладнокровно до восемнадцати тысяч человек, не считая еще большего числа убитых на поле битвы. Итак, даже за кратковременное владычество его можно насчитать около сорока тысяч таких жертв,—цифра, вероятно, не особенно далекая от истины, так как нам известно из других источников, что в один год было казнено или сожжено более восьми тысяч человек. Подобные меры были результатом инст-

рукций, данных Филиппом, и составляли существенную часть его общего плана. Главным душевным желанием его,—желанием, которому он жертвовал всеми другими соображениями,—было искоренение новой веры и восстановление старой. Этому чувству подчинялись даже его непомерное честолюбие и необыкновенная любовь к власти; он стремился к владычеству над Европой, потому что желал восстановить авторитет церкви. Вся его политика, все его переговоры, все его войны стремились к этой одной цели. Вскоре после вступления на престол он заключил постыдный договор с папой для того, чтобы нельзя было сказать, что он поднял оружие против главы христианского мира²¹. А его последнее великое предприятие, в некоторых отношениях важнейшее из всех, состояло в снаряжении той знаменитой Армады, с которой он надеялся смирить Англию и уничтожить ересь Европы в самом ее зародыше, лишив протестантов их главной поддержки и единственного приюта, в котором они легко могли найти безопасное и почетное убежище²².

Между тем как Филипп, следуя по пути своих предшественников, расточал кровь и сокровища Испании ради распространения религиозных мнений²³, народ, вместо того чтобы восстать против такой чудовищной системы, соглашался с ней и освящал ее своим сочувствием. Действительно, народ не только одобрял эту систему, но почти обожал человека, который поддерживал ее. Вероятно, еще никогда не было государя, который в течение такого продолжительного периода и посреди столь многих превратностей судьбы был бы так обожаем своими подданными, как Филипп II. В хороших ли, в дурных ли обстоятельствах испанцы всегда относились к нему с непоколебимой преданностью. Их привязанность не могли ослабить ни его неудачи, ни его отталкивающее обращение, ни его жестокость, ни его тягостные победы. Не взирая ни на что, они любили его до последней минуты. Нелепая надменность его доходила до того, что он не позволял никому, даже самым могущественным грандам, обращаться к нему с речью иначе как на коленях, и в ответах своих не все договаривал, предоставляя им угадывать остальное, но исполнять его повеления как можно тщательнее. И они были готовы повиноваться его желаниям. Один современник Филиппа, пораженный этим преклонением, говорит, что испанцы «не только любят, не только почитают, но обожают его и считают его повеления до такой степени священными, что их невозможно было бы нарушить, не оскорбив самого Бога»²⁴.

Что такой человек, как Филипп II, который никогда не имел друга, которого обыкновенное обращение с людьми было в высшей степени возмутительно, суровый господин, бесчувственный отец, кровожадный и бессовестный правитель, что он был так почитаем народом, среди которого жил и пред глазами которого были постоянно его действия, что все это было возможно—вот истинно один из самых удивительных и с первого взгляда самых необыкновенных фактов в истории. Король соединяет в себе все

свойства, возбуждающие в высшей степени ужас и отвращение, а между тем его гораздо более любят, чем боятся; ему поклоняется весьма великий народ в течение весьма долгого времени. Это до такой степени замечательно, что заслуживает серьезного внимания; и для разрешения этой задачи необходимо исследовать причины того духа преданности престолу, которым в продолжение нескольких столетий отличались испанцы более чем какой-либо из европейских народов.

Одной из главных причин было, без сомнения, огромное влияние духовенства. Потому что правила, внушаемые этим могущественным сословием, имели естественное стремление заставить народ почитать своих государей более, чем он почитал бы их без этого. Что существует действительная практическая связь между слепой преданностью и суеверием, это видно из того исторического факта, что два эти чувства почти всегда и процветали, и падали вместе. Но этого именно следовало ожидать и по самой теории, видя, что оба этих чувства составляют продукт той привычки к слепому уважению, которая делает людей послушными в действиях и легковверными в верованиях²⁵. Следовательно, и опыт, и здравый смысл заставляют нас видеть в этом такой общий закон ума, который может, конечно, по временам встречать помехи в своем действии, но в большей части случаев остается в полной силе. Кажется, в одном только случае нарушается этот принцип, а именно когда деспотическое правительство так мало понимает свои собственные выгоды, что обижает духовенство и отчуждается от него. Всякий раз, как это случится, возникает борьба между верностью престолу и суеверием; первая поддерживается политическими деятелями, второе духовными. Подобная борьба происходила в Шотландии. Но мы вообще не много найдем таких примеров в истории, и, конечно, ничего подобного не случилось в Испании, где, напротив того, соединилось много обстоятельств, которые скрепили союз между короной и церковью и приучили народ смотреть на ту и на другую почти с равным уважением.

Самым важным из этих обстоятельств было великое вторжение арабов, которое, загнав христиан в один угол Испании, поставило их в такое крайнее положение, что только строжайшая дисциплина и беспрекословное повиновение своим предводителям давали им возможность бороться с врагами. Верность монархам была для них не только полезна, но и необходима: будь они разъединены, то при встрече с таким страшным превосходством сил им никак не удалось бы отстоять свое национальное существование. Началась продолжительная война, которая, имея и политический, и религиозный характер, вызвала тесный союз между политической и религиозной партиями, так как и короли, и духовенство имели одинаковый интерес в изгнании магометан из Испании. В продолжение почти восьми столетий этот союз между церковью и государством по необходимости поддерживался испанцами, которых вынуждали к тому особенности их положе-

ния; а когда и миновала необходимость, то естественным образом оказалось, что образовавшаяся под влиянием ее ассоциация идей пережила первоначальную опасность и что в уме народа сохранилось впечатление, которое едва ли возможно было изгладить.

Доказательства силы этого впечатления и порожденной им беспримерной преданности престолу нам бросаются в глаза на каждом шагу. Ни в какой другой стране нет так много старых баллад, как в Испании, и нигде они не связаны так тесно с национальной историей; а между тем замечено, что главную характеристику этих баллад составляет стремление внушить народу послушание и преданность монархам и что из этого источника, более даже чем из военных подвигов, заимствуют они свои любимые примеры доблести²⁶. В литературе первым великим проявлением испанского ума была поэма «Сид», написанная в конце XII столетия, в которой мы находим новое доказательство необыкновенной преданности престолу, утвердившейся в испанском народе в силу различных обстоятельств²⁷⁻²⁸. То же стремление проявляется и в церковных соборах; ибо, за весьма немногими исключениями, ни одна церковь не поддерживала еще так ревностно прав королей²⁹. В гражданском законодательстве мы видим действие того же принципа; писатели с большим авторитетом утверждают, что ни в одной системе законов верность королю не поставлена так высоко, как в испанских кодексах³⁰. Драматические писатели в Испании не хотели даже на сцене представлять мятежные действия, чтобы не показаться сочувствующими тому, что в глазах всякого порядочного испанца было одним из самых гнусных преступлений³¹. Все, к чему только прикасался король, было как бы освящено этим прикосновением. Никто не мог сесть на лошадь, на которой король ездил верхом; никто не мог жениться на оставленной им любовнице³². Лошадь и любовница были одинаково неприкосновенны для всех простых людей, и было бы нечестивым поступком со стороны всякого подданного прикасаться к тому, что было почитено королем. Эти правила не ограничивались одним царствующим государем. Напротив, они переживали его и, действуя с какой-то посмертной силой, воспрещали каждой женщине, взятой им в жены, выходить замуж даже после его смерти. Она была избрана королем — подобный выбор ставил ее выше остальных смертных, и ей оставалось только удалиться в монастырь и проводить свою жизнь в оплакивании невозвратимой для нее потери. Эти правила были утверждены скорее обычаем, чем законом³³. Они поддерживались народной волей и были результатом чрезмерной преданности престолу испанского народа. Этой преданностью часто хвастают испанские писатели и имеют на то полное право, ибо ничто не могло сравниться с ней, ничто не могло, по-видимому, поколебать ее. Она одинаково применялась и к дурным, и к хорошим королям. Она была в полной силе посреди славы Испании в шестнадцатом столетии, проявлялась

и во время упадка нации в семнадцатом и пережила удар междоусобных войн в начале восемнадцатого ³⁴. Действительно, чувство это так укоренилось в преданиях страны, что сделалось не только страстью нации, но и почти догматом ее веры. Кларендон в своей «Истории великого английского восстания», которому подобного, как он хорошо знал, никогда не могло случиться в Испании, делает относительно этого предмета справедливое и весьма меткое замечание. Он говорит, что испанцы смотрят на недостаток уважения к королям, как на «чудовищное преступление»; ибо «слепое уважение к своим государям составляет жизненную часть их религии».

Итак, вот два главные элемента, составляющие испанский характер. Преданность престолу и суеверие — благоговение к королям и благоговение к духовенству — вот главные принципы, имевшие влияние на испанский ум и управлявшие ходом испанской истории. Особенные беспримерные обстоятельства, в силу которых принципы эти возникли, были только что указаны нами; мы видели их происхождение, теперь постараемся вывести их последствия. Подобное исследование результатов особенно важно не только потому, что нигде в Европе эти чувства не были так сильны, так постоянны и так неподдельны, но и потому, что Испания, будучи расположена на самой крайней оконечности Европы и отделена от нее Пиренеями, как по физическим, так и по нравственным причинам мало приходила в столкновения с другими нациями. Там дела шли своим естественным порядком, не нарушаемым чужеземными влияниями, и поэтому там легче всего можно заметить чистые, естественные последствия суеверия и преданности престолу — двух самых могущественных и самых бескорыстных чувств, какие наполняли когда-либо человеческое сердце и из совокупного влияния которых мы ясно можем вывести главнейшие события в истории Испании.

Результаты этого сочетания были в продолжение довольно долгого периода, видимо, благодетельны и, конечно, блестящи. Церковь и корона, действуя заодно и воодушевляемые притом сердечным сочувствием народа, всей душой предались своему делу и выказали такое рвение, которому трудно было не увенчаться успехом. Постепенно подвигаясь вперед с севера Испании, христиане силой пролагали себе путь, шаг за шагом, и не переставали наступать, пока не достигли южной оконечности, совершенно покорив магометан и подчинив всю страну одному управлению и одной религии. Этот великий результат был достигнут в конце XV столетия, и испанское имя озарилось необычайным блеском. Испания, долгое время занятая своими религиозными войнами, мало до тех пор обращала на себя внимание иностранных держав, да и сама не много имела времени заниматься ими. Теперь же она образовала одну сплошную нераздельную монархию и сразу заняла видное положение в отношении к европейским делам. В течение последующих ста лет могущество ее возрастало с быстротой, неслыханной со времени Римской им-

перии. Еще в 1478 г. Испания была разбита на независимые и часто враждебные друг другу государства; Гранадой владели магометане; на престоле Кастилии был один государь, на престоле Арагона — другой, а к 1590 г. мало того что эти разрозненные части сплотились в одно королевство, но сделаны были еще и внешние приобретения, и притом так быстро, что угрожала даже опасность независимости Европы. История Испании за это время есть история непрерывного ряда успехов. Эта страна, еще недавно терзаемая междоусобными войнами и разъединенная враждебными верованиями, успела в течение трех поколений прибавить к своей территории всю Португалию, Наварру и Руссильон. Путем дипломатии и силой оружия она приобрела Артуа, Франш-Конте и Нидерланды, а также Милан, Неаполь, Сицилию, Сардинию, Балеарские и Канарские острова. Один из ее королей был германским императором, а сын его, женись на королеве английской, приобрел влияние на государственный совет этой страны. Турецкое могущество, в то время одно из самых грозных в свете, было сокрушено и разбито ею на всех пунктах. Перед ней смирилась и французская монархия. Французские армии постоянно терпели от нее поражения; Париж был одно время в крайней опасности, а один из французских королей, разбитый на поле сражения, был взят в плен и отвезен в Мадрид. Вне Европы подвиги Испании были не менее поразительны. В Америке испанцы сделались обладателями территорий, которые, простираясь на шестьдесят градусов широты, заключали в себе оба тропика. Кроме Мексики, Центральной Америки, Венесуэлы, Новой Гранады, Перу и Чили они завоевали Кубу, Сан-Доминго, Ямайку и другие острова. В Африке они приобрели Сеуту, Мелилью, Оран, Бужию и Тунис и навели страх на весь варварийский берег. В Азии они имели поселения по обе стороны Декана, владели частью Малакки и утвердились на Молуккских островах. Наконец, завоеванием дивного архипелага Филиппинских островов они связали самые отдаленные приобретения свои и обеспечили сообщение между всеми частями этой громадной империи, опоясывавшей весь земной шар.

В то же время возбудился в испанском народе такой сильный воинственный дух, какого еще не проявляла ни одна новейшая нация. Вся мыслящая часть населения посвящала себя если не служению церкви, то военному делу. Часто даже соединялись оба рода занятий, и говорят, что обыкновение духовных ходить на войну сохранялось в Испании еще долгое время после того, как оно было оставлено в других странах Европы. Но во всяком случае общее стремление очевидно. Один перечень выигранных сражений и успешных осад в шестнадцатом, а частью еще и в пятнадцатом столетии уже мог бы служить доказательством превосходства в этом отношении испанцев над их современниками и свидетельствовать о том, как много дарований было потрачено ими на усовершенствование дела разрушения. Другое доказательство, если только нужно оно, могло бы быть выведено из

того странного факта, что со времени Древней Греции ни одна страна не производила так много замечательных литераторов, бывших в то же время и воинами. Кальдерон, Сервантес и Лопе де Вега рисковали своей жизнью, сражаясь за отечество. Многие другие знаменитые писатели посвятили себя также военному делу; все они свидетельствуют о том духе, которым была проникнута вся Испания.

Итак, вот сочетание, на которое и теперь еще многие читатели будут смотреть довольно благосклонно и которое в свое время приводило в восторг и даже в ужас Европу. Перед нами великий народ, пылающий воинственным, патриотическим и религиозным рвением,—народ, горячность которого скорее возбуждалась, чем умерялась, его почтительной покорностью своему духовенству и рыцарской преданностью своим королям. Энергия Испании, будучи таким образом в одно и то же время и возбуждаема, и подавляема, стала в одинаковой мере сдержанна и порывиста; этому редкому соединению двух противоположных свойств мы и должны приписать великие дела, только что рассказанные нами. Но слабая сторона такого рода прогресса заключается в том, что он слишком много зависит от отдельных личностей и потому не может быть прочным. Подобное движение может продолжаться, только пока им руководят способные люди. Когда же даровитые вожди сменяются бездарными, то вся система немедленно рушится до основания единственно потому, что люди привыкли прилагать к каждому предприятию необходимое усердие, но не привыкли прилагать к нему то умение, которое руководит усердием. Страна, находящаяся в таком состоянии и управляемая при этом наследственными государями, может быть близка к своему падению, так как при обыкновенном ходе дел должны по временам являться и неспособные правители. Как только это случается, все начинает ухудшаться, потому что народ, привыкший к безразличной преданности, пойдет, куда бы его ни повели, и будет так же слушаться безрассудных советников, как прежде слушался разумных. После этого нам не трудно понять существенное различие между цивилизацией Испании и цивилизацией Англии. Мы, англичане, народ разборчивый, недовольный и придирачивый; мы постоянно жалуемся на наших правителей, не доверяем их планам, с враждебным настроением обсуждаем их меры, оставляем весьма мало власти как церкви, так и короне; мы управляем своими делами по-своему и готовы при малейшем к тому поводе отрешиться от той условной преданности престолу,—преданности на словах, которая никогда, собственно, не касалась наших сердец и составляет только привычку внешности, а не страсть, укоренившуюся в душе. Преданность престолу англичан не такова, чтобы она могла заставить их пожертвовать свободой в угождение своему государю; она никогда ни на минуту не заглушает в них глубокого сознания собственных интересов. Вследствие этого наш прогресс никогда не прерывается, будут ли хороши или дурны наши короли. При том ли,

при дурном ли условии — великое движение идет своим порядком. Были у нас и слабоумные, и злонамеренные короли. Но даже такие люди, как Генрих III и Карл II, были не в состоянии повредить нам. Точно так же в течение восемнадцатого и многих лет девятнадцатого столетия, когда мы весьма заметно шли вперед, наши правители были люди далеко не способные. Анна и первые два Георга отличались невежеством; они были плохо воспитаны, и от природы слабохарактерны, и в то же время упрямы. Царствование обоих их вместе продолжалось почти шестьдесят лет; а после них мы были в течение другого шестидесятилетия управляемы государем, способности которого были долго ослаблены болезнью, но о котором мы можем по совести сказать, что вообще в своей политике он делал наименее зла, когда был наиболее неспособен. Здесь не место излагать чудовищные принципы, которые защищал Георг III; потомство отдаст им ту справедливость, от которой обыкновенно воздерживаются современные писатели; но то достоверно, что ни его ограниченный ум, ни его деспотический нрав, ни его жалкое суеверие, ни неимоверная низость того гнусного сластолюбца, который наследовал ему, не могли остановить ход английской цивилизации, ни удержать прилив благосостояния Англии. Мы шли своим путем, не радуясь ничему этому и ни о чем не заботясь. Нас не могло сбить с него безрассудство наших правителей: мы хорошо знали, что сами держим в руках свою судьбу и что английский народ носит в самом себе тот запас средств и то богатство соображения, которые одни могут сделать людей великими, счастливыми и мудрыми.

В Испании, напротив, как только правительство ослабло, народ стал падать³⁵. В течение того цветущего периода времени, который мы только что изобразили, престол Испании был постоянно занимаем самыми способными и умными государями. Фердинанд и Изабелла, Карл V и Филипп II представляют собой такой ряд правителей, какого не было еще ни в одной стране в такой же промежуток времени. Ими совершены были великие дела, и их заботами Испания, видимо, процветала. Но то, что последовало, когда их не стало на престоле, показывает, как все это было искусственно и как гнила, до самой сердцевины, та система управления, которая не может действовать без поддержки и которая, опираясь только на слепое раболепие народа, зависит в своем успехе не от способности самой нации, а от искусства тех, кому вверены ее интересы.

Филипп II, последний из великих королей Испании, умер в 1598 г., и после его смерти все стало приходить в упадок с изумительной быстротой³⁶. С 1598 по 1700 г. на престоле сменились Филипп III, Филипп IV и Карл II. Между ними и их предшественниками была самая разительная противоположность³⁷. Филипп III и Филипп IV были ленивы, невежественны, нерешительны и проводили жизнь в низких и грязных удовольствиях. Карл II, последний из той Австрийской династии, которая

некогда так отличалась, обладал почти всеми недостатками, какие могут сделать человека смешным и достойным презрения. Его ум и его наружность были таковы, что в любом народе, менее преданном своим королям, он сделался бы всеобщим посмешищем. Хотя он умер еще во цвете лет, но уже казался старым, изжившимся развратником. В тридцать пять лет он совершенно лишился волос на голове и бровях, был разбит параличом, страдал падучею болезнью и был замечательно немощен. Все в его наружности было в высшей степени отвратительно — он имел вид слюнявого идиота. У него был огромный рот и нижняя челюсть так страшно выдавалась вперед, что зубы его не могли встречаться, и он не был в состоянии пережевывать пищу. Невежество его могло бы показаться невероятным, если бы не подтверждалось неопровержимыми доказательствами. Он не знал названий больших городов, ни даже провинций в своих владениях; и во время войны с Францией слышали, как он выражал сожаление об Англии по случаю утраты будто бы ею некоторых городов, между тем как в действительности города эти принадлежали к его же собственной территории. Наконец, он погряз в самое грубое суеверие; ему казалось, что его постоянно искушает дьявол; и он позволял отчитывать себя, как одержимого злыми духами, и уходил спать не иначе как в сопровождении своего духовника и двух монахов, которые должны были всю ночь лежать возле него.

Теперь-то люди могли бы ясно увидеть, на каком зыбком основании было построено величие Испании. При способных государях страна благоденствовала, при слабых — падала. Почти все сделанное великими государями шестнадцатого столетия было разрушено ничтожными государями семнадцатого. Падение Испании было так быстро, что не более как через три царствования после смерти Филиппа II самая могущественная монархия в свете была доведена до крайней степени унижения, была безнаказанно оскорбляема другими народами, не раз доходила до банкротства, лишилась самых лучших из своих владений, подверглась публичному позору, стала любимой темой у школьников и моралистов, декламирующих о шаткости дел человеческих; наконец, испытала жестокое унижение — видеть, что территория ее разбита на части и поделена по договору, в котором сама она не принимала никакого участия и на решения которого она даже не в состоянии была негодовать. Вот когда действительно испила она до дна чашу своего стыда. Слава покинула ее — она была убита, унижена. Очень мог бы испанец того времени, сравнив настоящее с прошедшим, пожалеть о своем отечестве, этом избранном местопребывании рыцарства и романа, храбрости и верности. Повелительница мира, царица океана, гроза народов погибла; погибло ее могущество, погибло безвозвратно. К ней можно было бы применить то горькое сетование, которое величайший из сынов человеческих влагает, в менее важном случае, в уста умирающего государственного мужа. Действительно, очень мог

опечаленный патриот плакать безутешно над судьбой своей земли, своего государства, страны, где живут все милые ему, своей дорогой, любезной родины, которую он так долго любил за ее всемирную славу и которая теперь была роздана по рукам, как какое-нибудь арендное имение или ферма.

Скучно и бесполезно было бы рассказывать потери и неудачи Испании в продолжение XVII столетия. Непосредственная причина их заключалась, бесспорно, в дурном управлении и неспособности правителей; но настоящей и самой главной причиной, от которой зависел весь ход и характер событий, было существование того духа раболепия и угодничества, который заставлял испанский народ подчиняться тому, что во всякой другой стране было бы отвергнуто, и, приучив его слишком полагаться на отдельных лиц, поставил страну в то безвыходное положение, при котором несколько неспособных правителей должны были непременно разрушить здание, воздвигнутое способными³⁸.

Усиление влияния испанского духовенства было первым и самым очевидным последствием упадка энергии испанского правительства. Так как раболепие и суеверие были главными составными частями национального характера, а между тем и то, и другое было плодом привычки к слепому уважению, то и следовало ожидать, что, если только не уменьшится это уважение, одна составная часть всегда будет увеличиваться на счет другой. Вот почему, как только испанское правительство в продолжение XVII столетия, вследствие своего крайнего бессилия, утратило несомненно часть той привязанности народа, которой оно прежде располагало, в права его естественным образом вступила церковь и, заняв открывшееся место, приобрела то, что растратила корона. Кроме того, слабость исполнительной власти поощряла притязания духовенства, которое осмеливалось делать такие захваты, каких испанские государи шестнадцатого столетия, при всем их суеверии, не допустили бы ни на одну минуту³⁹. Этим объясняется тот весьма поразительный факт, что, в то время как в других важнейших государствах, за исключением одной Шотландии, власть церкви уменьшалась в XVII столетии, в Испании она увеличивалась. Последствия этого вполне достойны внимания не только людей, занимающихся философией истории, но и всякого, кто заботится о благосостоянии своей страны или кто принимает деятельное участие в управлении общественными делами.

В течение двадцати трех лет после смерти Филиппа II на престоле Испании находился Филипп III, государь, в такой же мере отличавшийся своей слабостью, в какой предшественники его отличались дарованиями. В течение с лишком ста лет испанцы привыкли исключительно руководствоваться волей своих королей, которые с неутомимым трудолюбием лично заведовали самыми важными делами, а во всем остальном имели строжайший надзор за своими министрами. Но Филипп III, нерадивый до

бессмысленности, был не способен к подобному труду и вручил бразды правления герцогу Лерма, который пользовался неограниченной властью в течение двадцати лет (1598—1618). У народа, до такой степени преданного своим королям, как испанцы, этот необыкновенный порядок вещей не мог не ослабить влияния исполнительной власти, так как в их глазах непосредственное и неизбежное вмешательство во все государя было существенно необходимо для управления делами и для благосостояния нации. Лерма, зная это чувство и сознавая, что его положение было весьма ненадежно, естественно, желал подкрепить себя еще одной поддержкой, чтобы не исключительно зависеть от милости короля. Поэтому он вступил в тесный союз с духовенством и от начала до конца своего продолжительного правления делал все, что мог, для усиления авторитета этого сословия. Таким образом, влияние, утраченное короной, перешло к духовенству, советы которого приобрели большее значение, чем имели даже при суверенных государях XVI столетия. В этой сделке интересы народа были, конечно, забыты: благосостояние его не входило в общий план. Напротив, духовенство, признательное к правительству за такое внимание к его заслугам и за такое религиозное настроение, употребило все свое влияние в его пользу; и таким образом ярмо двойного деспотизма сдавило крепче чем когда-либо шею того несчастного народа, которому приходилось теперь пожирать горькие плоды своего продолжительного и постыдного раболепия⁴⁰.

Усиление влияния испанской церкви в течение семнадцатого столетия может быть доказано всякого рода свидетельствами. Монастыри и церкви размножались с такой ужасающей быстротой и богатство их доходило до таких чудовищных размеров, что даже Кортесы, при всем их ничтожестве и смирении, решились на публичное предостережение. В 1626 г., только пять лет спустя после смерти Филиппа III, они просили о принятии каких-либо мер к предупреждению, как говорили они, постоянных захватов со стороны духовенства. В этом замечательном документе Кортесы, собравшиеся в Мадриде, объявили, что не проходит дня, чтобы миряне не лишались какой-либо части своей собственности для обогащения духовенства; и зло это, говорили они, дошло до таких размеров, что в Испании оказывается с лишком девять тысяч монастырей, не считая женских⁴¹. Это замечательное показание не было, мне кажется, никогда оспариваемо, и достоверность его подтверждается многими другими обстоятельствами. Давила, живший в царствование Филиппа III, утверждает, что в 1623 г. одни Доминиканский и Францисканский ордена уже заключали в себе до тридцати двух тысяч человек. В такой же пропорции умножалось и остальное духовенство. Перед смертью Филиппа III число священников, служивших в кафедральном соборе Севильи, увеличилось до ста; а в Севильской епархии было четырнадцать тысяч капелланов; в Калаоррской же — восемнадцать тысяч⁴². Казалось, не было никакой надежды выйти из

этого ужасного положения. Чем богаче становилась церковь, тем больше было соблазна для мирян поступать в духовное сословие; так что не было, по-видимому, пределов пренебрежению светскими интересами⁴³. В самом деле, движение это, несмотря на его порывистость, отличалось совершенной правильностью и было подготовлено целым рядом предшествовавших обстоятельств. С пятого столетия все, как мы уже видели, неизменно клонилось в эту сторону, обеспечивая духовенству такое владычество, которого не потерпел бы никакой другой народ. При таком приготовлении умов народ смотрел в безмолвии на то, чему считалось нечестивым противиться; ибо, как замечает один испанский историк, каждое предположение считалось еретическим, если только оно стремилось уменьшить размеры или даже остановить дальнейшее развитие того громадного богатства, которым обладала испанская церковь⁴⁴.

До какой степени все это было естественно, видно еще из одного довольно интересного факта. В Европе вообще семнадцатое столетие отличалось возникновением светской литературы, в которой не обращалось внимания на духовные теории; самые влиятельные писатели, такие, как Бэкон и Декарт, были миряне, скорее враждебно, чем дружелюбно, относившиеся к иерархии и проводившие в сочинениях своих чисто светские воззрения. Но в Испании не случилось никакой перемены в этом роде⁴⁵. В этой стране церковь сохранила свою власть над всеми умами как высшего, так и низшего полета. Так сильно было давление общественного мнения, что писатели всякого разряда считали за честь принадлежать к духовному сословию, интересы которого они защищали с ревностью, достойной темных веков. Сервантес за три года до своей смерти сделался францисканским монахом⁴⁶. Лопе де Вега был священником и имел должность в инквизиции; в 1623 г. он участвовал в аутодафе, в котором среди обширного стечения народа за воротами Алькалá в Мадриде был сожжен один еретик. Морето, один из трех величайших драматических писателей Испании, облекся в монашескую рясу на последние двенадцать лет своей жизни. Монтальван, комедии которого до сих пор не забыты, был священником и служил при инквизиции. Таррега, Мира де Мэскуа и Тирсо де Молина — все с успехом писали для сцены и принадлежали в то же время к духовному сословию. Солис, знаменитый историк Мексики, был также духовным. Сандоваль, которого Филипп III сделал историографом и который считается лучшим авторитетом в истории царствования Карла V, был сперва бенедиктинским монахом, потом сделался епископом Туйским и, наконец, получил Памплонскую епархию. Давила, биограф Филиппа III, был священником. Мариана был иезуитом. Миньяна, продолжавший его историю, был настоятелем одного монастыря в Валенсии. Мартин Карильо был юриконсультом и историком, но, не довольствуясь этими двумя профессиями, вступил также в духовное звание и сделался каноником Сарагосы. Антонио, самый ученый из библиографов

Испании, был каноником Севильи. Грасиан, прозаические сочинения которого были в большом ходу и который считался прежде великим писателем, был иезуит. Между поэтами проявлялось то же самое стремление. Паравицино был в продолжение шестнадцати лет популярным проповедником при дворах Филиппа III и Филиппа IV. Замора был монахом. Архенсола был каноником Сарагосы. Гюнгора был священником, а Риоия занимал важную должность в инквизиции. Кальдерон был капелланом Филиппа IV и унизил свой блистательный талант до таких проявлений фанатизма, что его называли даже поэтом инквизиции. Любовь его к церкви превращалась в страсть, и он не стеснялся ничем, что только могло подвинуть ее интересы. В Испании подобные чувства были естественны, но другим народам они кажутся в высшей степени странными, и один замечательный критик (Сальфи) объявил, что невозможно читать сочинения Кальдерона без негодования. Если это так, то негодование это следовало бы распространить почти на всех испанцев, современников Кальдерона, от мала до велика. Едва ли нашелся бы в те времена хоть один испанец, не проникнутый теми же чувствами. Даже Вильявисиоза, автор одной из самых лучших комических поэм, какие произвела Испания, не только сам служил в инквизиции, но даже настаивал в своем завещании, чтобы все члены его семейства и его потомки также вступали, если можно, в это благородное учреждение, принимая в нем всякие места, без разбора; ибо, говорит он, все должности в инквизиции достойны уважения. При подобном состоянии общества все, что сколько-нибудь отзывалось светским или научным духом, было, конечно, немыслимо. Каждый верил, никто не исследовал. В высших классах все были заняты или войной, или теологией, а большая часть и тем, и другим вместе. Те, которые делали из литературы ремесло, приноравливались, как часто бывает с людьми ремесла, к господствующим предубеждениям. Ко всему, что касалось духовенства, они относились не только с уважением, но даже с каким-то робким, благоговейным чувством. Умение и трудолюбие, достойные гораздо лучшего применения, тратились на похвалы всякого рода нелепостям, изобретенным суеверием. Чем более жесток и неуместен был какой-нибудь обычай, тем большее число лиц писали в его защиту, хотя никто не смел и подумать напасть на него. Число сочинений на испанском языке, в которых доказывается необходимость религиозных гонений, несметно; и все это писалось в стране, где ни один человек из тысячи не сомневался в том, что следует жечь еретиков. Что же касается чудес, которые составляют другое важное орудие в руках теологов, то в семнадцатом столетии они случались беспрестанно, и не менее часто о них писали. Всякий литератор старался сказать что-нибудь об этом важном предмете. Так как канонизованные были тоже в большом уважении, то жизнеописания их появлялись в изобилии и отличались равнодушием к истине, обыкновенно характеризующим этот род сочинений. Этими

и подобными им предметами преимущественно занимался испанский ум. Мужские и женские монастыри, религиозные ордена и кафедральные соборы также обращали на себя всеобщее внимание, и писались целые книги для того, чтобы сохранить малейшие подробности о них. Действительно, часто случалось, что один монастырь или один кафедральный собор имел несколько историографов, и все они хлопотали наперерыв друг перед другом, чтобы как можно более почтить церковь и поддержать охраняемые ею интересы.

Вот какой перевес имело духовное сословие и какое уважение к интересам церкви оказываемо было в Испании в течение семнадцатого столетия⁴⁷. Испанцы делали все, что могли, для усиления влияния духовенства в тот самый век, когда другие народы ревностно старались ослабить его. Эта несчастная особенность вытекала, без сомнения, из предшествовавших событий, но она была ближайшей причиной упадка Испании. Как бы то ни было в прежние времена, но достоверно известно, что в новейшее время благоденствие народов зависит от таких принципов, которым духовенство, как отдельная корпорация, оказывает постоянное противодействие. При Филиппе III сословие это чрезвычайно усилилось, и в это же царствование оно ознаменовало новую эпоху своего могущества, достигнув при условиях, ужасающих своим варварством, изгнания всего маврского народа. Это было само по себе дело до такой степени жестокое⁴⁸ и до такой степени ужасное по своим последствиям, что некоторые писатели одному этому событию приписали последовавшее падение Испании, забывая, что другие причины, гораздо более могущественные, также действовали и что это изумительное злодеяние только и могло быть совершено в такой стране, которая, издавна привыкнув смотреть на ересь как на самое ненавистное из преступлений, готова была во что бы то ни стало очистить и избавить себя от людей, одно присутствие которых считалось оскорблением христианской веры.

После покорения в конце пятнадцатого столетия последнего магометанского царства в Испании главной заботой испанцев стало обращение побежденных в христианство. Они думали, что тут дело идет о будущем благосостоянии целого народа, и потому, найдя, что увещания духовенства не имеют никакого действия, прибегли к другим мерам и стали преследовать людей, на которых не были в силах подействовать убеждением. Одних подвергали пытке, других сжигали, на остальных действовали угрозами, и таким образом достигли наконец цели. Утверждают, что с 1526 г. не оставалось в Испании ни одного магометанина, не обращенного в христианство. Огромное число их были крещены силой, а раз они были крещены, их считали уже принадлежащими к церкви и подчиненными ее дисциплине⁴⁹. За дисциплиной этой наблюдала инквизиция, которая в продолжение остальной части XVI столетия поступала с этими новыми христианами, или, как их теперь называли, морисками, самым

варварским образом. Действительность вынужденного обращения их подлежала сомнению, и потому задачей церкви стало удостоверяться в их искренности. Гражданская власть оказывала ей свое содействие: в числе других узаконений издан был в 1566 г. Филиппом II эдикт, повелевающий морискам отказаться от всего, что сколько-нибудь могло напоминать им об их прежней религии. Им было предписано, под страхом строжайших наказаний, учиться по-испански и выдать все свои арабские книги. Им не позволялось ни читать, ни писать, ни даже говорить дома на своем родном языке. Их празднества и самые игры были строго запрещены. Они не смели предаваться никаким увеселениям, существовавшим у их отцов; им запрещено было также носить ту одежду, к которой они привыкли. Их женщины должны были ходить без покрывал; и так как омовение было одним из нехристианских обрядов, то приказано было уничтожить все общественные бани и даже ванны в частных домах⁵⁰.

Этими и другими подобными мерами этот несчастный народ был наконец выведен из терпения, и в 1568 г. он решился на отчаянный шаг — померяться силами со всею испанской монархией. Результат едва ли мог подлежать сомнению, но мориски, доведенные до бешенства постоянными страданиями и полагавшие все в этой борьбе, продлили ее до 1571 г., когда возмущение было окончательно подавлено. Эта безуспешная борьба страшно обесилила их и уменьшила их численность, так что в продолжение остальных двадцати семи лет царствования Филиппа II сравнительно мало слышно о них. Несмотря на случавшиеся по временам вспышки, старая вражда затихла и с течением времени, вероятно, вовсе исчезла бы. Во всяком случае испанцы не имели более предлога к насилию, так как было бы нелепо предполагать, чтобы мориски, всячески ослабленные, униженные, убитые духом и рассеянные по всему королевству, были в силах, если бы и желали, сделать что-либо против исполнительной власти.

Но после смерти Филиппа II началось движение, которое я только что описал и которое в противоположность тому, что было у других народов, доставило испанскому духовенству в семнадцатом столетии более власти, чем оно имело в шестнадцатом. Последствия этого обнаружились немедленно. Духовенство, не считая меры, принятые Филиппом против морисков, решительными, даже при жизни его помышляло уже о новом царствовании, в котором эти сомнительные христиане были бы или истреблены, или изгнаны из Испании⁵¹. До тех пор пока он был на престоле, благоразумие правительства сдерживало в некоторой степени рвение церкви; и король, следуя советам своих самых способных министров, не соглашался на меры, о которых его настоятельно просили и к которым он и сам имел склонность. Но при его преемнике духовенство, как мы уже видели, приобрело новую силу и скоро почувствовало себя довольно могущественным, чтобы начать другой, и уже окончательный, крестовый поход против жалких остатков маврского народа.

Архиепископ Валенсии первый начал действовать. В 1602 г. этот замечательный прелат представил Филиппу III записку, направленную против морисков; найдя, что его взгляды дружно поддерживаются духовенством и неприятны короне, он повторил удар, пустив в ход другую записку по тому же предмету. Говоря тоном человека, имеющего авторитет, и будучи по своему сану и положению естественным представителем испанской церкви, архиепископ уверил короля, что все бедствия, постигшие монархию, были причинены присутствием в ней этих неверных, которых теперь необходимо искоренить, подобно тому как Давид сделал с филистимлянами и Саул с амалекитянами⁵². Он объявил, что Армада, высланная Филиппом II в 1588 г. против Англии, погибла оттого, что Бог не хотел даровать успеха даже этому благочестивому предприятию, пока люди, участвовавшие в нем, оставляли в покое еретиков у себя дома. По той же будто бы причине не удалась и последняя экспедиция в Алжир; так как Богу было, очевидно, угодно, чтобы ничто не имело успеха, пока в Испании находятся еще отступники⁵³. Поэтому архиепископ заклинал короля изгнать всех морисков, исключая таких, которых можно было приговорить к работам на галерах или обратить в рабов и заставить работать в рудниках Америки⁵⁴. Это, прибавил он, сделает царствование Филиппа славным в глазах всего потомства и поставит его превыше всех его предшественников, которые, очевидно, пренебрегали в этом деле своими прямыми обязанностями⁵⁵.

Эти увещания кроме того, что были согласны с известными взглядами испанской церкви, нашли горячую поддержку и в личном влиянии архиепископа Толедского, примаса Испании. В одном только отношении он не соглашался со взглядами, проводимыми архиепископом Валенсии. Последний полагал, что на детей моложе семи лет не должно распространяться это общее изгнание, так как они могли, без всякой опасности для веры, быть разлучены с родителями и оставлены в Испании. Против этого сильно восстал архиепископ Толедский. Он сказал, что не желает подвергать чистую христианскую кровь опасности смешения с кровью неверных, и объявил, что он скорее согласился бы сразу предать мечу всех их, как мужчин, так и женщин и детей, чем оставить хоть одного из них на соблазн для всей страны.

Истребить всех морисков, вместо того чтобы изгнать их, было желанием могущественной партии в церкви, которая думала, что такое примерное наказание произведет благое действие, поразив ужасом еретиков во всех других странах. Бледа, знаменитый доминиканец, один из влиятельнейших людей своего времени, желал, чтобы это было выполнено, и выполнено строго. Он сказал, что для примера следует перерезать всех морисков в Испании, так как невозможно узнать, кто из них христианин в душе, и что следует предоставить это дело Богу, который знает своих верных слуг и вознаградит в будущей жизни тех из пострадавших, которые были истинными католиками⁵⁶.

Становилось очевидно, что судьба несчастных остатков некогда славного народа была отныне решена. Религиозность Филиппа III не позволяла ему спорить с церковью, а его министр Лерма, не желая рисковать своим влиянием, избегал и тени оппозиции. В 1609 г. он объявил королю, что изгнание морисков сделалось необходимым. «Решение великое,— отвечал Филипп,— да будет оно исполнено». И оно было исполнено со страшным варварством. Около миллиона самых трудолюбивых жителей Испании были травимы, как дикие звери, потому только, что искренность их религиозных убеждений казалась сомнительной. Многие были убиты, когда приблизились к берегу; других били и грабили, а большинство в самом бедственном положении отправилось в Африку. Во время переезда экипажи многих судов восставали на них, убивали мужчин, насильовали женщин и бросали в море детей. Те, которые избегли этой участи, высадились на варварийский берег, где на них напали бедуины, и многие из них были убиты. Другие пробрались в пустыню и погибли с голоду. О числе действительно погибших мы не имеем точных сведений; но говорят, на основании весьма достоверных источников, что в одной из экспедиций, в которой до 140 000 человек было отправлено в Африку, более 100 000 погибли самой ужасной смертью в течение нескольких месяцев после своего изгнания из Испании.

Теперь впервые церковь действительно торжествовала⁵⁷. Впервые не было видно ни одного еретика на всем пространстве от Пиренеев до Гибралтарского пролива. Все были правоверны— все были верны королю. Все жители этой обширной страны слушались церкви и боялись короля. Полагали, что следствием этой счастливой идеи будет благосостояние и величие Испании, что имя Филиппа делается бессмертно и что потомство не надвинется этому героическому подвигу, с помощью которого последние остатки неверного племени были изгнаны из Испании. Те, которые хотя сколько-нибудь участвовали в этом деянии, ожидали себе в награду самых избранных благ. Сами они и их семейства думали стать под непосредственное покровительство небес. Полагали, что земля будет приносить им больше плодов и деревья будут рукоплескать им. Вместо терновника возрастут смоковницы, вместо шиповника — мирты. Теперь начнется будто бы новая эра, и Испания, очищенная от ереси, будет наслаждаться довольством, и люди, живя в безопасности, будут спать под сенью своих собственных виноградников, мирно возделывать свои сады и вкушать плоды посаженных ими деревьев⁵⁸.

Вот что сулила церковь и чему верил народ. Наше дело рассмотреть, до какой степени ожидания эти сбылись и каковы были последствия образа действия, внушенного церковью и встреченного приветствием народа и жарким одобрением величайших из гениев, каких произвела Испания⁵⁹.

Последствия такого образа действия для материального благосостояния Испании могут быть изображены в немногих словах.

Почти каждая местность в ней лишилась целой массы трудолюбивых земледельцев и искусных ремесленников. Лучшие из известных тогда систем хозяйства применялись морисками, которые обрабатывали и орошали почву с неутомимым старанием. Разведение риса, хлопка и сахарного тростника, производство шелка и бумаги находилось почти исключительно в их руках. С изгнанием их все это вдруг расстроилось, и большей частью расстроилось навсегда, потому что испанские христиане считали подобные занятия ниже своего достоинства. По их мнению, война и религия представляли единственные два поприща, на которых стоило подвизаться. Сражаться за короля или вступить в духовное звание считалось делом достойным уважения, все же остальное было ничтожно и грязно⁶⁰. Поэтому, когда мориски были изгнаны из Испании, некому было занять их место; ремесла и мануфактурное производство или упали, или совершенно исчезли, и обширные пространства пахотной земли оставались необработанными. Некоторые из самых богатых местностей Валенсии и Гранады были так запущены, что недоставало продовольствия даже для того скудного населения, какое там оставалось. Целые округа вдруг опустели и до самого нашего времени остались незаселенными. Эти пустыни дали убежище контрабандистам и разбойникам, которые сменили прежних трудолюбивых жителей; говорят даже, что время изгнания морисков должно считать началом существования тех правильно организованных разбойничьих шаек, которые сделались с тех пор бичом Испании и которых ни одно из последующих правительств не было в состоянии совершенно уничтожить^{60a}.

К этим бедственным последствиям присоединились другие, иного и, если можно, еще более серьезного свойства. Победа, одержанная духовенством, увеличила как ее могущество, так и ее значение в общественном мнении. В продолжение остальных годов семнадцатого столетия не только интересы духовенства ставились выше интересов мирян, но о последних никто даже и не думал. Самые великие люди, почти все без исключения, вступали в духовное сословие, и всякие светские соображения, всякие виды светской политики были в пренебрежении и ни во что не ставились. Никто ничего не исследовал, никто ни в чем не сомневался, никто не осмеливался спросить, все ли это так, как быть должно. Умы людей, обессиленные, падали ниц. В то время как все другие страны двигались вперед, одна Испания обращалась вспять. Все другие страны делали какие-нибудь приращения к знанию, создавали какие-нибудь новые искусства или расширяли пределы какой-нибудь науки, Испания же, погруженная в какое-то оцепенение, как бы мертвая, околдованная, обвороженная проклятым суеверием, поглощавшим все ее силы, представляла Европе единственный пример постоянного упадка. Для нее не оставалось более никакой надежды, и под конец XVII столетия весь вопрос был только в том, чьей рукой будет нанесен удар, который раздробит эту некогда могущественную империю, осенявшую

собой весь мир и в самом даже разрушении своем поражавшую размерами своих обломков.

Указать различные моменты в постепенном упадке Испании почти невозможно, так как даже сами испанцы, под влиянием слишком поздно овладевшего ими стыда, не решались писать о том, что составило бы только историю их унижения; так что не сохранилось подробных сказаний о злополучных царствованиях Филиппа IV и Карла II, обнимающих почти восьмидесятилетний период времени. Некоторые факты, однако ж, я имел возможность собрать, и они весьма знаменательны. В начале XVII столетия народонаселение Мадрида доходило до 400 000 человек; в начале же XVIII оно не составляло и 200 000. Севилья, один из богатейших городов Испании, имела в шестнадцатом столетии более шестнадцати тысяч ткацких станков, дававших занятие ста тридцати тысячам человек. В царствование Филиппа V это число станков сократилось до трехсот; а в отчете, представленном Кортесами Филиппу IV в 1662 г., говорится, что город заключает в себе только четвертую часть прежнего населения и что даже оливковые рощи и виноградники, разводимые в его окрестностях и составлявшие значительную часть его богатства, находятся теперь почти в совершенном пренебрежении. Толедо в половине шестнадцатого столетия имел более пятидесяти шерстяных мануфактур; а в 1665 г. их было уже только тринадцать,—почти вся торговля прекратилась с уходом морисков, которые перевели ее в Тунис. По той же самой причине производство шелка, которым славился Толедо, совершенно прекратилось, и почти сорок тысяч человек, находившихся в зависимости от этого производства, лишились всяких средств к существованию. Другие отрасли промышленности подверглись той же участи. В шестнадцатом столетии и в начале семнадцатого Испания славилась производством перчаток, которых выделялось огромное количество; их вывозили в разные страны; особенно ценились они в Англии и Франции и достигали даже Индии. Но Мартинес де Мата, писавший в 1655 г., уверяет нас, что в его время этот источник богатства иссяк; производство перчаток совершенно прекратилось, хотя прежде, добавляет он, оно существовало в каждом городе Испании. В некогда цветущей провинции Кастилия все приходило в разрушение, даже Сеговия лишилась своих мануфактур и сохранила только память о своем прежнем богатстве. Так же быстро падал и Бургос; торговля этого славного города погибла, и пустые улицы, и покинутые дома представляли такую картину запустения, что один современник, пораженный этим разрушением, торжественно объявил, что Бургос лишился всего, кроме своего имени. В других округах результаты были столь же пагубны. Прекрасные южные провинции, щедро одаренные природой, были в прежнее время так богаты, что в плохие годы сбором с них одних достаточно пополнялась государственная казна; теперь же они так быстро обеднели, что в 1640 г. оказалось почти невозможным обложить их такой податью, которая была бы

производительна⁶¹. В течение последней половины XVII столетия дела стали еще хуже, и нищета, и бедствие народа превосходили всякое описание. В деревнях близ Мадрида жители буквально голодали; и те из фермеров, у которых были запасы пищи, не хотели продавать ее, как бы ни нуждались в деньгах, потому что боялись, чтобы их собственным семействам не пришлось умереть с голоду. Вследствие этого столице угрожала опасность голодной смерти; и так как обыкновенные угрозы не имели никакого действия, то в 1664 г. признано было необходимым, чтобы президент Кастилии с вооруженной силой и в сопровождении палача объезжал окрестные деревни и принуждал жителей привозить припасы на рынки Мадрида. По всей Испании преобладало такое же лишение. Эта некогда богатая и цветущая страна была наводнена толпами монахов и другого духовенства, ненасытная жадность которых поглощала и те скудные достатки, какие еще можно было найти в ней. Вот отчего правительство было почти без гроша и ниоткуда не получало помощи. Сборщики податей, обязанные пополнить этот недостаток, прибегали к самым отчаянным средствам. Они не только захватывали весь домашний скarb, но и снимали кровли с домов и продавали эти материалы за какую бы то ни было цену. Жители принуждены были бежать; поля оставались необработанными, массы людей умирали от нужды и всяких бедствий; целые деревни опустели, и во многих городах под конец XVII столетия более двух третей домов пришли в совершенное разрушение⁶².

Посреди этих бедствий Испания упала духом и потеряла всякую энергию. Во всем стало проявляться часто отсутствие силы и жизни. Испанские войска были разбиты при Рокруа в 1643 г., и сражению этому некоторые историки приписывают уничтожение военной славы Испании. Но в сущности поражение это было только одним из многих признаков ее ослабления. В 1656 г. предполагено было снарядить небольшой флот; но прибрежное рыболовство было в таком упадке, что оказалось невозможным найти достаточное число матросов даже для немногих кораблей⁶³. Составленные в прежнее время морские карты были теперь или потеряны, или оставляемы без употребления, и невежество испанских лоцманов было так велико, что никто не хотел доверяться им. Что же касается военной части, то в одном рассказе об Испании в конце XVII столетия утверждают, что большая часть войск покинули свои знамена, а немногие оставшиеся верными были одеты в лохмотья, не получали жалованья и умирали с голоду. В другом рассказе эта некогда могущественная монархия представляется крайне беззащитной: пограничные города без гарнизона; укрепления запущены и полуразрушены; магазины без провианта; арсеналы пусты; мастерские без употребления, и даже искусство кораблестроения совершенно утрачено.

В то время как вся страна вообще томилась таким образом, как бы пораженная каким-нибудь смертельным недугом, в столице,

на глазах короля, происходили самые ужасные сцены. Жители Мадрида голодали, а произвольные меры, принятые для снабжения их пищей, могли только принести временное облегчение. Многие лица падали от изнеможения на улицах и тут же умирали; иных видели умирающими на больших дорогах, но никто не имел чем накормить их. Наконец народ пришел в отчаяние и сбросил всякую узду. В 1680 г. в Мадриде не только рабочие, но и огромное число торговцев соединялись в шайки, вламывались в частные дома и среди белого дня грабили и убивали жителей⁶⁴. В течение остальных двадцати лет XVII столетия столица Испании была в состоянии не возмущения, а анархии. Общество было распущено и, по-видимому, разлагалось на составные части. По искреннему выражению одного современника, свобода и стеснение были одинаково неизвестны. Обыкновенные отправления исполнительной власти были прерваны. Полиция Мадрида, не получая заслуженного жалованья, разошлась и предалась грабежу. Казалось, не было никаких средств исправить все эти бедствия. Казначейство было пусто, и пополнить его не было возможности. Бедность двора доходила до того, что не было денег на уплату жалованья домашней прислуге короля и на ежедневные хозяйственные издержки⁶⁵. В 1693 г. прекращена была выдача всяких пожизненных пенсий и всем чиновникам и министрам короны уменьшено было жалованье на одну треть. Ничто, однако, не могло остановить зла. Голод и бедность продолжали увеличиваться. В 1699 г. Стэнхоп, тогдашний английский посланник в Мадриде, пишет, что не проходило ни одного дня, чтобы не случилось убийства в драке из-за хлеба; что его собственный секретарь видел пять женщин, задушенных толпой перед пекарней, и что к довершению всех несчастий недавно нагрянули еще в столицу с лишком двадцать тысяч нищих из деревень⁶⁶.

Если бы подобный порядок вещей сохранился еще на одно поколение, то произошла бы самая дикая анархия и окончательно распался бы весь общественный строй. Одно, что оставалось для Испании, чтобы спастись от возвращения к первобытному варварству,—это подпасть, и подпасть как можно скорее, под чужеземное владычество. Подобная перемена была необходима, но можно было опасаться, что она осуществится в форме, особенно ненавистой для народа. В конце XVII столетия Сеута была осаждаема магометанами; а так как испанское правительство не имело ни войск, ни кораблей, то сильно боялись за судьбу этой важной крепости; между тем не было никакого сомнения, что в случае ее падения Испания будет вновь наводнена неверными, которым, по крайней мере в то время, не трудно было бы справиться с народом, ослабленным страданиями, полуголодным и почти окончательно изнеможенным.

К счастью, в 1700 г., когда дела были в самом худшем положении, Карл II, этот король-идиот, умер и Испания попала в руки к Филиппу V, внуку Людовика XIV. Эта замена Австрийской династии Бурбонской принесла с собой много других пере-

мен. Филипп, царствовавший от 1700 до 1746 г., был французом не только по рождению и воспитанию, но и по чувствам и привычкам. При самом отправлении его в Испанию Людовик наказывал ему не забывать, что он — уроженец Франции, престол которой может ему со временем достаться. Таким образом, сделавшись королем, он не обращал внимания на испанцев, пренебрегал их советами и отдал всю, какую имел, власть в руки своих соотечественников. Делами Испании управляли теперь подданные Людовика XIV, посланник которого в Мадриде часто исполнял обязанности первого министра. Эта некогда могущественнейшая монархия в свете сделалась теперь чуть ли не провинцией Франции; все важные дела решались в Париже, откуда сам Филипп получал инструкции.

И действительно, Испания, сокрушенная и уничтоженная, не в силах была произвести дарование, в каком бы то ни было роде; и если приходилось управлять страной, то необходимо было призывать иностранцев. Даже в 1682 г., т. е. за восемнадцать лет до вступления на престол Филиппа V, нельзя было найти ни одного природного испанца, хорошо знакомого с военным искусством, так что Карл II был принужден вверить оборону испанских Нидерландов Де Гране, австрийскому посланнику в Мадриде. Поэтому, когда возгорелась война за наследство престола, в 1702 г. даже сами испанцы пожелали, чтобы их войска были предводительствуемы иностранцем. В 1704 г. удивительное представлял собой зрелище герцог Бервик, англичанин, ведущий испанских солдат против неприятеля и, на деле, генералиссимус испанской армии. Король Испании, недовольный его действиями, решился отозвать его; но вместо того, чтобы заменить его природным испанцем, обратился к Людовику XIV, прося другого генерала; и важный пост главнокомандующего армии был поручен маршалу Тессэ, французу. Несколько времени спустя Бервика опять пригласили в Мадрид и повелели стать во главе испанских войск для защиты Эстремадуры и Кастилии. Он действовал с полным успехом; в сражении при Альмансе в 1707 г. он разбил противников, совершенно уничтожил партию претендента Карла и упрочил престол за Филиппом. Но так как война все еще продолжалась, то Филипп в 1710 г. потребовал из Парижа другого генерала и просил именно герцога Вандома. Этот талантливый генерал с прибытием своим в Испанию внес новую силу в советы испанцев и совершенно разбил союзников; так что война, утвердившая независимость Испании, была обязана своим успехом способностям иностранцев и тому факту, что и план, и самое ведение кампании было делом не туземных, а французских и английских генералов.

Точно так же финансы в конце семнадцатого столетия были в таком плачевном состоянии, что Портокарреро, бывший при вступлении на престол Филиппа V номинальным министром Испании, выразил желание, чтобы управление ими было поручено какому-либо лицу, присланному из Парижа, которое могло бы

исправить их. Он чувствовал, что никто в Испании не в силах совладать с этой задачей — и не он один так думал. В 1701 г. Лувилль писал к Торси, что если не прибудет немедленно из Франции какой-нибудь финансист, то скоро не останется никаких финансов и не будет чем и управлять. Выбор пал на Орри, который приехал в Мадрид летом 1701 г. Он нашел все в самом жалком состоянии; и неспособность испанцев была так очевидна, что он скоро был принужден принять на себя управление не только финансами, но и делами военными. Для вида сделан был военным министром Каналес; но, ничего не понимая в делах, он исполнял только самые мелочные обязанности своей должности, настоящие тяготы которой нес сам Орри.

Это владычество французов продолжалось все время до второго брака Филиппа V, в 1714 г., и до смерти Людовика XIV, в 1715; оба этих события ослабили это влияние и одно время почти совершенно уничтожили его. Однако же власть, утраченная французами, перешла не к испанцам, а к другим чужеземцам. Между 1714 и 1726 гг. двумя самыми могущественными и самыми заметными личностями в Испании были: Альберони, итальянец, и Рипперда, голландец. Рипперда был уволен в 1726 г., и после его падения делами Испании управлял немец Кёнигсен, бывший собственно австрийским послом в Мадриде. Даже Гримальдо, бывший министром до Рипперды и после его увольнения, принадлежал к французской школе и воспитывался под руководством Орри. Все это не было делом случая; нельзя также этого приписывать и капризу двора. В Испании национальный дух до такой степени вымер, что только иностранцы или люди, напитанные иностранными идеями, могли справиться с обязанностями управления. К приведенным уже мною свидетельствам об этом предмете я прибавлю еще два других. Ноаль, весьма справедливый судья и человек, далеко не предубежденный против испанцев, выразительно сказал в 1710 г., что при всей их преданности престолу они неспособны были к управлению, так как они не имели понятия ни о войне, ни о политике. В 1711 г. Боннак говорит, что принято было за правило не ставить во главе управления ни одного испанца, потому что все, кого призывали до того времени, оказывались или несчастливцами, или недобросовестными.

Управление Испанией, отнятое из рук испанцев, стало теперь обнаруживать некоторые признаки силы. Перемена была незначительная, но она была направлена в надлежащую сторону, хотя, как мы сейчас увидим, и не могла возродить Испанию вследствие неблагоприятного действия общих причин. Все-таки намерение было доброе. В первый раз сделаны были попытки защитить права мирян и уменьшить власть духовенства. Лишь только французы утвердили свое владычество, как они уже стали намекать, что благоразумно было бы, для удовлетворения потребностей государства, принудить духовенство уступить часть тех богатств, которые оно накопило в своих церквах. Людовик XIV

даже настаивал, чтобы важная должность президента Кастилии не была замещаема лицом духовным, потому, говорил он, что в Испании священники и монахи и без того уже слишком много имеют власти. Орри, имевший в течение нескольких лет огромное влияние на дела, направлял их в ту же сторону. Он старался уменьшить те льготы, которыми пользовалось духовенство в отношении податей и в отношении изъятия от светской юрисдикции. Он восставал против привилегии святылец, стараясь лишить церкви права укрывать преступников. Он даже нападал на инквизицию и так сильно подействовал на ум короля, что Филипп однажды решился уничтожить это страшное судилище и упразднить самую должность великого инквизитора. Намерение это, однако, было оставлено, и совершенно основательно, ибо не подлежит сомнению, что если бы оно осуществилось, то произошла бы революция, в которой Филипп вероятно лишился бы короны⁶⁷. В этом случае возбудилась бы реакция, после которой церковь стала бы сильнее, чем когда-либо. Многое, однако, было сделано для Испании наперекор испанцам⁶⁸. В 1707 г. духовенство было принуждено уступить государству небольшую часть своих огромных богатств; налог этот был прикрыт названием займа⁶⁹. Десять лет спустя, в управление Альберони, эта маска была сброшена, и правительство не только требовало того, что теперь стало уже называться «духовной податью», но даже подвергало тюремному заключению или изгнанию тех священников, которые отказывались платить эту подать и стояли за привилегии своего сословия. Это был слишком дерзкий шаг для Испании, и на него не отважился бы в то время ни один из испанцев. Но Альберони, как иностранец, не довольно был знаком с преданиями страны; он, впрочем, явно пренебрег ими и в другом достопамятном случае. Мадридское правительство, действуя в совершенном согласии с общественным мнением, всегда выказывало нерасположение вступать в какие-либо переговоры с неверными, под которыми подразумевался всякий народ, расходившийся в религиозных убеждениях с испанцами. Иногда такие переговоры бывали неизбежны, но к ним приступали со страхом и трепетом, чтобы чистая испанская вера не осквернилась слишком близким соприкосновением с неверными. Даже в 1698 г., когда было очевидно, что монархия находится при последнем изнеможении и ничто не может спасти ее от рук хищника, предрассудок был так силен, что испанцы отказались принять помощь от голландцев по той причине, что они — еретики. В то время Голландия была в самых дружеских отношениях с Англией, в интересах которой было оградить независимость Испании от злоумышлений Франции. Как ни была очевидна польза от подобного союза, но испанские теологи, когда спросили их совета, объявили, что союза этого нельзя допустить, так как это дало бы возможность голландцам распространять свои религиозные мнения; что в этих видах лучше подчиниться католику-врагу, чем принять помощь от друга-протестанта.

Но как бы ни была велика вражда испанцев к протестантам, ненависть их к магометанам была еще сильнее. Они никогда не могли забыть, как некогда последователи этой веры завоевали почти всю Испанию и в продолжение нескольких столетий владели лучшей частью ее. Воспоминание это еще более усиливало их религиозную вражду и заставляло их быть первыми сторонниками всякой войны, которая велась против магометан, как турок, так и арабов⁷⁰. Но Альберони, как иностранец, не прониклся этими соображениями и, к изумлению всей Испании, из одних политических видов пренебрег принципами церкви и не только заключил союз с магометанами, но и снабдил их оружием и деньгами. Правда, что в этих и других подобных мерах Альберони шел прямо против воли народа и что ему пришлось раскатыться в своей смелости; но правда и то, что его политика составляла часть того великого светского и антитеологического движения, которое в продолжение XVIII столетия чувствовалось по всей Европе. Действие этого движения замечалось на правительстве Испании, но не на ее народе. Это произошло оттого, что управление было в продолжение многих лет в руках иностранцев или людей, проникнутых иностранным духом. Вот почему мы находим, что в течение большей части XVIII столетия политические деятели в Испании составляли класс, более разобщенный с остальной нацией и, если могу так выразиться, более живущий средствами своего собственного ума, чем в какой-либо другой стране в тот же период времени. Что в этом проглядывало нездоровое состояние общества и что никакое политическое улучшение не может послужить к действительному благу, если его не пожелал народ прежде, чем оно было введено,—с этим согласится всякий, кто вполне усвоил себе уроки, преподанные историей. К чему это привело действительно в Испании, мы увидим вскоре. Но мне не мешает предварительно привести дальнейшие доказательства того, до какой степени в Испании влияние духовенства запугало ум нации; пресекая всякое исследование и стесняя всякое проявление свободы мысли, оно довело наконец страну до такого состояния, что способности людей, заглухнув от бездействия, не были уже в силах выполнять то, чего требовали от них; так что во всех сферах, в политической ли жизни, в умозрительной ли философии или даже в механических промыслах, необходимо было вызывать иностранцев для того дела, которым уже не были в состоянии заниматься туземцы.

Невежество, в которое погрязли испанцы в силу неблагоприятных обстоятельств, и их бездействие, физическое и умственное, могли бы казаться невероятными, если бы этот факт не подтверждался самыми разнообразными свидетельствами. Грамон, лично ознакомившийся с состоянием Испании в продолжение последней половины XVII столетия, говорит, что в ней высшие классы не только не имели понятия о науке и литературе, но даже почти ничего не знали о самых обыкновенных событиях, происходивших вне их отечества. Низшие классы, прибавляет он, также

ленивы; они предоставляют все иностранцам — жатву их пшеницы, кошение их сена, постройку их домов ⁷¹. Другой наблюдатель, видевший мадридское общество в 1679 г., уверяет нас, что даже люди самых высших классов никогда не считали необходимым учить чему-либо своих сыновей; и что те, которые предназначались к военной службе, не могли учиться математике, если бы даже и хотели, потому что для этого не было ни школ, ни учителей. Книги, за исключением божественных, считались совершенно бесполезными; никто не заглядывал в них, никто их не собирал, и до XVIII столетия в Мадриде не было ни одной публичной библиотеки. В других городах, преимущественно посвященных целям воспитания, господствовало подобное же невежество. Саламанка была местопребыванием самого старого и самого знаменитого университета в Испании, и потому если нигде более, то по крайней мере в ней мы могли бы искать поощрения науки ⁷². Но Де Торрес, который сам был испанец и воспитывался в Саламанке в начале XVIII столетия, говорит, что, пробыв уже пять лет в этом университете, он только в первый раз услышал о существовании математических наук ⁷³. Еще в 1771 г. тот же самый университет публично отказал в позволении преподавать открытия Ньютона и выставял как причину своего отказа, что система Ньютона не в такой мере согласуется с религией откровения, как система Аристотеля. По всей Испании следовали тому же плану. Повсюду пренебрегали знанием и пресекали исследование. Фейхоо, который, несмотря на свое суеверие и известное раболепство ума, неизбежное во всяком испанце того времени, старался просветить своих соотечественников на счет предметов науки, передает нам как свое твердое убеждение, что тот, кто усвоил бы себе все, чему учили в то время под именем философии, оказался бы в награду за свой труд еще большим невеждой, чем был до того. И нет никакого сомнения, что Фейхоо был прав. Нет никакого сомнения, что в Испании чем более человека учили, тем менее он знал; ибо его учили, что пылливость — грех, что разум следует подавлять и что легковерие и покорность — главные качества в человеке. Герцог Сен-Симон, бывший в 1721 и 1722 гг. французским послом в Мадриде, выводит такое заключение из своих наблюдений, что в Испании наука — преступление, а невежество — добродетель. Пятьдесят лет спустя другой наблюдатель, пораженный общим состоянием ума испанской нации, выражает свой взгляд в суждении, почти столь же метком, как и строгом. Стараясь приискать уподобление, которое могло бы живее передать впечатление всеобщего мрака, он резко замечает, что обыкновенное образование английского джентльмена в Испании сделало бы из него ученого.

Кому известно, каково было обыкновенное воспитание английского джентльмена в конце прошлого столетия, тот оценит силу этого сравнения и поймет, в каком мраке должна была находиться страна, к которой можно было применить подобную насмешку. Ожидать, чтобы при таком порядке вещей испанцы

сделали какое-либо из тех открытий, которыми ускоряется прогресс наций, было бы совершенно напрасно, потому что они не хотели даже принимать открытий, сделанных для них другими народами и брошенных в общую сокровищницу. Такому верному и правоверному народу не было никакого дела до новых идей, которые, как нововведения в старых мнениях, были полны опасности. Испанцы желали идти по пути своих предков, желали, чтобы не вдруг поколебалась их вера в прошедшее. В неорганическом мире они отвергли постыдным образом дивные открытия Ньютона, а в органическом — отрицали обращение крови, слишком через полтора года лет после того, как оно было доказано Гарвеем. Все эти вещи были новы для них, и они сочли за лучшее обождать немного и не принимать их слишком поспешно. По той же самой причине, когда в 1860 г. некоторые смельчаки из среды правительства предложили очистить улицы Мадрида, смелое предложение это возбудило всеобщее негодование. Не только простонародье, но и люди, которых называли образованными, громко порицали эту меру. Правительство спросило мнения сословия врачей как хранителей общественного здоровья. Они нисколько не затруднились ответить, что без всякого сомнения грязь должна оставаться. Вывезти ее было бы делом новым, а во всяком новом деле невозможно было предвидеть исхода. Если отцы их жили в грязи, то почему бы и им не делать того же? Отцы их были люди мудрые и, вероятно, не без основания так поступали. Самое даже злое, на которое некоторые жаловались, было, по всей вероятности, здорово. Так как воздух тонок и пронзителен, то очень может быть, что дурные испарения, отягчая атмосферу, лишают ее некоторых вредных свойств. Поэтому мадридские доктора были того мнения, что лучше оставить дело так, как оно было при их предках, и что не следует делать никаких попыток к очистке столицы посредством удаления из нее повсюду валявшихся нечистот⁷⁴.

До тех пор, пока преобладали подобные взгляды на сохранение здоровья, трудно предположить, чтобы лечение болезней шло особенно успешно. Кровопускания и слабительные были единственные средства, какие предписывали испанские врачи. Неведение их о самых обыкновенных отправлениях человеческого организма было просто изумительно и может быть объяснено разве только предположением, что в медицине, как и в других отраслях знания, испанцы восемнадцатого столетия смыслили не более чем их предки, жившие в шестнадцатом. И действительно, в некоторых отношениях они, по-видимому, знали еще менее. Их образ лечения болезней был так резок, что следовать ему довольно долгое время значило идти на верную смерть⁷⁵. Их же король Филипп V не решался отдаться в руки своих врачей, а предпочитал доктора ирландца. Хотя ирландские медики не пользуются особой известностью, но всякий из них был лучше испанского врача. Искусства, имеющие связь с медициной и хирургией, были в не менее отсталом состоянии. Хирур-

гические инструменты выделялись грубо, а медикаменты приготавливались неудовлетворительно. Так как о фармации не имели понятия в Испании, то аптеки в больших городах ее снабжались всем из-за границы; в малых же городах и в местностях, удаленных от столицы, лекарства были такого свойства, что лучшее, чего можно было ожидать от них, это — чтобы они хоть не делали вреда. В половине XVIII столетия в Испании не было ни одного практика по части химии. Действительно, сам Кампоманес уверяет, что даже в 1776 г. в целой стране еще нельзя было найти человека, который сумел бы приготовить самое простое лекарство, например магнезию, глауберову соль или обыкновенные препараты ртути и сурьмы. Впрочем, этот замечательный государственный человек прибавляет, что имеется в виду учредить в скором времени химическую лабораторию в Мадриде; что хотя в этом учреждении, как беспримерном, будут, по всей вероятности, видеть зловещее нововведение, он все-таки, с своей стороны, твердо убежден, что с помощью этой лаборатории рассеется со временем повсеместное невежество его соотечественников.

Все, что было полезно в практике или что служило целям знания, приходилось приобретать из-за границы. Энсенада, известный министр Фердинанда VI, был поражен невежеством и апатией испанской нации и пытался, но тщетно исправить это зло. Когда он стоял во главе управления в половине XVIII столетия, он публично говорил о том, что в Испании нет кафедр государственного права, ни физики, ни анатомии, ни ботаники. Он говорил еще, что нет хороших карт Испании и что никто не умеет составить их. Все карты, какие были в Испании, привозились из Франции или из Голландии. Карты эти, говорил он, весьма неверны, но испанцам, которые сами и таких составить не сумеют, ничего более не остается, как положиться на них. Такой порядок вещей он называл постыдным, горько жалуясь на то, что если бы не французы и не голландцы, то ни один испанец не знал бы ни положения своего родного города, ни расстояния одного места от другого.

Единственным средством против всего этого казалась посторонняя помощь; а так как Испанией стала теперь управлять чужеземная династия, то, следовательно, помощь эта и пришла. Серви учредил общества врачей в Мадриде и Севилье; Виржили основал школу хирургии в Кадиксе; а Боульс старался ввести среди испанцев изучение минералогии. Повсюду искали профессоров и обратились к Линнею, чтобы он прислал кого-нибудь из Швеции, кто бы мог дать кое-какое понятие о ботанике студентам, изучающим физиологию. Много других подобных мер было принято правительством, неутомимая деятельность которого заслужила бы с нашей стороны самые жаркие похвалы, если бы мы не знали, до какой степени невозможно для какого бы то ни было правительства просветить тот или другой народ и какое существенное условие составляет при этом то, чтобы желание улучшений было прежде всего заявлено самим народом.

Никакой прогресс не действителен, если только он не самопроизволен. Для того чтобы движение было действительно, необходимо, чтобы оно проистекало изнутри, а не извне; оно должно исходить из общих причин, действующих на целую страну, а не из одной только воли немногих могущественных личностей. В продолжение XVIII столетия испанцам щедро расточались все средства к улучшениям, но они не хотели улучшений. Они были довольны сами собой; они были убеждены в справедливости своих мнений; они гордились понятиями, перешедшими к ним по наследству, и не желали ни расширять, ни суживать их. Будучи неспособны к сомнению, они не имели охоты и к исследованию. Новые, прекрасные истины, передаваемые самым ясным и самым увлекательным языком, не могли произвести никакого действия на людей, умы которых до такой степени загрузели и опошлили в рабстве. Неблагоприятное стечение обстоятельств, действовавшее непрерывно начиная с пятого столетия, вперед определило то направление, которое должен был исключительно принять характер испанской нации, и никакие государственные люди, никакие короли, ни законодатели ничего не могли сделать против этого. Семнадцатое столетие было, однако, крайним пределом всего. В этом веке испанская нация погрузилась в сон, от которого, как нация вообще, она с тех пор уже никогда не пробуждалась. То был не сон отдохновения, а сон смерти,—сон, во время которого способности, вместо того чтобы отдыхать, находились в каком-то онемении, и холодное всеобщее оцепенение сменило ту славную, хотя и одностороннюю деятельность, вследствие которой имя Испании сделалось страхом Вселенной и она пользовалась уважением даже злейших своих врагов.

Даже изящные искусства, в которых некогда отличались испанцы, не избегли общего перерождения и, по признанию самих испанских писателей, в начале XVIII столетия пришли в совершенный упадок. Искусства, ведущие к охранению безопасности нации, были в том же положении, как и искусства, удовлетворяющие ее потребность наслаждения. Никто в Испании не умел построить корабля; никто не умел оснастить его, когда он был построен. Последствием этого было то, что в конце семнадцатого столетия и те немногие суда, какими обладала еще Испания, были так гнилы, что, по словам одного историка, едва могли выдержать огонь своих собственных пушек. В 1752 г. правительство, решившись восстановить флот, нашлось вынужденным послать в Англию за корабельными мастерами; туда же ему пришлось обратиться и за людьми, умевшими делать канаты и парусину, так как туземцы не довольно были искусны для такой трудной работы. Этим путем министры короны,—люди, оказывающиеся в высшей степени замечательными по своим способностям и энергии, если принять во внимание то затруднительное положение, в которое ставила их неспособность народа,—старались снарядить такой флот, какого не видали в Испании уже более ста лет. Они приняли также и многие другие меры для

приведения в удовлетворительное состояние обороны страны, хотя им приходилось во всем полагаться на помощь иностранцев. И военно-сухопутная, и морская части были в таком крайнем расстройстве, что приходилось все вновь заводить. Обучение пехоты было преобразовано ирландцем О'Рельи, которому был вверен надзор над военными школами Испании. В Кадиксе была учреждена обширная морская академия, но начальником ее был полковник Годэн, офицер французской службы. Артиллерия, пришедшая, как и все другое, почти в совершенную негодность, была улучшена французом Морицом; такую же услугу оказал арсеналам итальянец Газола.

Рудники, составляющие один из важнейших естественных источников богатства Испании, также пострадали от невежества и апатии, в которые была повергнута вся страна силой самих обстоятельств. Они были или совершенно заброшены, или если и разрабатывались, то разрабатывались другими нациями. Знаменитые кобальтовые копи, находящиеся в долине Джистау, в Арагоне, были совершенно в руках немцев, которые в течение первой половины семнадцатого столетия извлекали из них огромные барыши. Точно так же серебряные рудники Гвадалканала, богатейшие в Испании, разрабатывались не туземцами, а иностранцами. Хотя рудники эти были открыты в шестнадцатом столетии, но о них, как и о других важных предметах, было забыто в семнадцатом, а вновь открыли их в 1728 г. английские искатели приключений; самое предприятие, орудия, капитал, даже рудокопы, все было английское. Другой, еще более знаменитый рудник был Альмеданский в Ла-Манче, который производил ртуть прекраснейшего качества и в большом изобилии. Этот металл, кроме того, что он вообще необходим для многих самых обыкновенных производств, имел особенную ценность для Испании, так как без него золото и серебро Нового Света не могли бы быть выделяемы из своих руд. Из Альмедана, где сама природа представляет всякие удобства для добывания ртути и где замечательно много киновари, из которой она извлекается, металл этот получался сперва в огромном количестве; но одно время оно начало было уменьшаться, между тем как спрос на ртуть, особенно в чужих краях, все увеличивался. При этих обстоятельствах испанское правительство, боясь, чтобы такой важный источник богатства не иссяк совершенно, решило произвести исследование о том, каким способом разрабатывались эти копи. Но так как ни один испанец не имел познаний, необходимых для такого исследования, то советники короны принуждены были прибегнуть к помощи иностранцев. В 1752 г. ирландский естествоиспытатель, по имени Боульс, был командирован в Альмедан для приведения в известность причин такой неудачной разработки этого рудника. Он нашел, что рудокопы приобрели привычку углублять свои шахты перпендикулярно, вместо того чтобы следовать направлению жилы. Таким нелепым процессом совершенно достаточно

объяснялась вся неудача; и Боульс донес правительству, что если будут вести шахты наклонно, то без сомнения рудник снова сделается производительным. Правительство одобрило эту мысль, и приказано было привести ее в исполнение. Но испанские рудокопы слишком крепко держались своих старых привычек. Они рыли свои шахты тем же способом, каким делали это их отцы; а что делали отцы, то должно быть правильно. Результатом этого было то, что рудник был отнят у них; но так как в Испании не было иных работников, то пришлось послать за ними в Германию. С прибытием немецких рудокопов дела быстро поправились. Заведуемый и разрабатываемый немцами, рудник получил другой вид; и, несмотря на все неудобства, с которыми всегда приходится бороться новым пришельцам, прямым последствием такой перемены было то, что количество добываемой ртути удвоилось и соответственно тому уменьшилась стоимость ее для потребителей.

Подобное невежество, охватывающее целую нацию и распространяющееся на все стороны ее жизни, является чем-то непостижимым, если принять в соображение те громадные преимущества, которыми пользовались испанцы в прежнее время. Оно особенно поражает, если противопоставить ему способность правительства, которое слишком восемьдесят лет постоянно трудилось над улучшением быта страны. В начале XVIII столетия Рипперда в надежде оживить испанскую промышленность устроил огромную шерстяную мануфактуру в Сеговии, которая была некогда деятельным и цветущим городом. Но самые простые приемы производства были уже забыты, и Рипперда должен был привезти рабочих из Голландии для обучения испанцев выделке шерсти,— производству, которым в свое лучшее время они особенно славились. В 1757 г. Уолль, бывший тогда министром, устроил еще в большем размере подобную же мануфактуру в Гвадалахаре, в Новой Кастилии. Вскоре, однако, что-то испортилось в машинах, и так как испанцы не имели понятия, да и не заботились об этом рода вещах, то пришлось посылать в Англию за мастером для требовавшихся починок. Наконец, советники Карла III, отчаявшись в возможности возбудить деятельность народа обыкновенными средствами, придумали более обширный план и пригласили тысячи иностранных ремесленников поселиться в Испании в надежде, что их пример и их внезапный наплыв придаст силы этой изнеможенной нации. Но все было тщетно. Дух страны упал, и ничто не могло поднять его. В числе других попыток, которые делались в то время, основание Национального банка было любимой идеей политиков; они многого ожидали от этого учреждения, которое должно было поднять кредит и выдавать ссуды лицам, занимающимся торговыми оборотами. Но хотя проект этот и осуществился, цель его все-таки не была достигнута. Когда народ не предприимчив, то никакое усилие правительства не может переделать его. В такой стране, как Испания, обширный банк представлял собой экзотическое

растение, могущее жить только искусственной жизнью, а не произрастать естественно. Действительно, и по идее, и по исполнению это было учреждение иностранное, так как первый предложил его голландец Рипперда, а окончательно устроил француз Кабаррюс.

Во всем преобладал один и тот же закон. В дипломатии самыми способными людьми оказывались не испанцы, а чужеземцы; и в продолжение XVIII столетия часто можно было видеть довольно странное зрелище—представителей Испании из французов, итальянцев и ирландцев⁷⁶. Ничего не было туземного; ничто не делалось самой Испанией. Филипп V, царствовавший с 1700 по 1746 г. и имевший громадную власть, постоянно придерживался идей своей родины и был французом до конца. В течение тридцати лет после его смерти тремя наиболее заметными личностями в испанской политике были Уолль, родившийся во Франции, от родителей ирландцев; Гримальди, родом из Генуи; и Эскилаче—уроженец Сицилии. Эскилаче управлял финансами в продолжение многих лет; он пользовался таким доверием Карла III, какое редко оказывалось какому-либо министру, и был уволен только в 1776 г. вследствие неудовольствия, возбужденного в народе реформами, введенными этим смелым иностранцем. Уолль, человек еще более замечательный, был отправлен, за неимением порядочного дипломата среди испанцев, посланником в Лондон в 1747 г.; приобретя большое влияние в делах государства, он был поставлен во главе управления в 1754 г. и занимал это высокое положение до 1763 г. Когда этот знаменитый ирландец вышел в отставку, то его заменил генуэзец Гримальди, который управлял Испанией с 1763 до 1777 г. и был совершенно предан видам французской политики. Его главным покровителем был Шуазель, который внушил ему свои идеи и советами которого он во всем руководился. Действительно, Шуазель, бывший тогда первым министром во Франции, обыкновенно хвалился, хотя и не без некоторого преувеличения, но в то же время и не без значительной доли истины, что его влияние в Мадриде было даже сильнее, чем в Версале.

Как бы то ни было, но достоверно известно, что через четыре года по вступлении в должность Гримальди влияние Франции выказалось замечательным образом. Шуазель, ненавидевший иезуитов и только что изгнавший их из Франции, старался также изгнать их и из Испании. Исполнение этого плана было доверено Аранде, который хотя был родом испанец, но обязан был своим умственным воспитанием Франции и проникнулся в парижском обществе сильнейшей ненавистью ко всякого рода духовной власти. План, тайно задуманный, был искусно приведен в исполнение. В 1767 г. испанское правительство, не выслушав ничего, что могли сказать в свое оправдание иезуиты, и даже ни о чем не предупредив их, внезапно отдало повеление об их изгнании; и с таким ожесточением были они изгнаны из страны, в которой родились и долго пользовались любовью, что не только были

конфискованы их богатства и сами они оставлены лишь при весьма скудном содержании, но даже приказано было отнять и это, в случае если они обнаружат что-либо в свое оправдание; в то же время было также объявлено, что всякий, кто осмелится писать о них, если он — испанский подданный, будет приговорен к смерти, как виновный в государственной измене.

Подобная смелость со стороны правительства заставила дрожать и самую инквизицию. Это некогда всемогущее судилище, теперь страшное и подозреваемое гражданскими властями, стало осторожнее в своих действиях и мягче в своем обращении с еретиками. Вместо того чтобы истреблять неверных сотнями и тысячами, оно до того должно было стесняться, что с 1746 по 1759 г. могло сжечь только десять человек, а с 1759 по 1788 г. — только четырех. Необыкновенное уменьшение числа жертв ее в последний период произошло частью от сильного влияния Аранды, друга энциклопедистов и других французских скептиков. Этот замечательный человек был президентом Кастилии до 1773 г. и отдал приказ, воспрещавший инквизиции вмешиваться в гражданские суды. Он задумал также совершенно уничтожить ее, но ему не удалось исполнить это лишь вследствие преждевременного разглашения его плана друзьями его в Париже, которым он поверил свою тайну⁷⁷. Он, однако, настолько успел в своих видах, что после 1781 г. не было в Испании ни одного случая сожжения еретика; инквизиция была слишком запугана действиями правительства, чтобы решиться на что-либо, могущее подвергнуть опасности самое существование этого святого учреждения⁷⁸.

В 1777 г. Гримальди, один из главных сторонников той антидуховной политики, которая введена была в Испании Францией, вышел из министерства; но его сменил Флоридабланка, его креатура, — человек, которому он передал вместе с властью и свою политику. Поэтому дела политические продолжали подвигаться вперед в том же направлении. При новом министре, как и при его непосредственных предшественниках, проявлялась решимость ограничить власть духовенства и оградить права мирян. Во всех случаях духовные интересы ставились ниже светских. Этому можно привести много примеров, но один из них слишком важен, чтобы не упомянуть о нем. Мы видели, что в начале XVIII столетия Альберони, стоя во главе управления, провинился в том, что в Испании считалось страшным преступлением, — заключил союз с магометанами; и это было бесспорно одной из главных причин его падения, так как большинство держалось того мнения, что никакие светские соображения не могут оправдать союза или даже мира между христианским народом и народом, состоящим из неверных. Но испанское правительство, которое вследствие упомянутых мною причин далеко опередило саму Испанию, — постепенно становилось смелее и проявляло все большую и большую склонность навязывать стране такие взгляды, которые, взятые сами по себе, были,

конечно, чрезвычайно светлы, но которых народный дух не в состоянии был усвоить. Результатом этого было то, что в 1782 г. Флоридабланка заключил договор с Турцией, который положил конец войне из-за религиозных мнений, к великому, говорят, удивлению других европейских держав, которые с трудом могли поверить, чтобы испанцы прекратили таким образом свои беспрерывно возобновлявшиеся попытки истребить неверных. Прежде, однако, чем Европа успела опомниться от своего изумления, произошли другие события в этом же роде, не менее поразительные. В 1784 г. Испания подписала мир с Триполи, а в 1785 г. — с Алжиром. И едва эти мирные договоры были ратифицированы, как был заключен в 1786 г. также договор с Тунисом. Таким образом испанский народ, к немалому своему удивлению, очутился в дружественных отношениях с народами, которых в течение слишком десяти столетий его учили ненавидеть и с которыми воевать, и воевать, если можно, до истребления, было, по мнению испанской церкви, первой обязанностью христианского правительства.

Оставляя на время в стороне отдаленные умственные последствия этих событий, нельзя не признать несомненным, что непосредственные материальные результаты их были весьма благодетельны, хотя, как мы скоро увидим, они не имели прочности, потому что их перевешивало неблагоприятное действие более могущественных и более общих причин. Тем не менее должно согласиться, что прямые последствия были чрезвычайно выгодны; и тем, которые ограничиваются лишь поверхностным взглядом на дела человеческие, легко могло бы показаться, что выгоды эти должны быть прочны. Со всего протяжения береговой линии от Феца и Марокко до крайних пределов Турецкой империи уже не могли более появляться многочисленные пираты, которые до того времени носились по морям, захватывали испанские суда и увозили в рабство испанских подданных. В прежнее время ежегодно тратились огромные суммы денег на выкуп этих несчастных пленников⁷⁹, теперь же все эти бедствия прекратились. В то же время сообщен был значительный толчок торговле Испании; для нее открылся новый путь, и корабли Испании могли безопасно появляться в богатых странах Леванта. Вследствие этого богатство ее возрастало, чему еще более содействовало другое обстоятельство, вытекавшее из тех же событий. Самые плодородные местности Испании лежат вдоль берегов, омываемых Средиземным морем; и эти-то местности были несколько столетий добычей магометанских корсаров, которые своими внезапными высадками держали жителей в таком постоянном страхе, что они стали постепенно отодвигаться во внутренность страны, не решаясь возделывать самую плодородную почву своей родины. Заключенные же вновь трактаты сразу устранили все эти опасности; народ возвратился в свои прежние жилища; земля стала снова приносить свои плоды; явилась вновь правильная промышленность, возникли деревни;

учредились даже мануфактуры, и, казалось, было положено основание такому благосостоянию, какого не знали еще со времени изгнания магометан из Гранады.

Итак, я представил читателю обзор самых важных мер, какие были приняты теми способными и мощными политиками, которые управляли Испанией в продолжение большей части XVIII столетия. Рассматривая, каким образом произведены были эти реформы, мы не должны забывать о личном характере Карла III, занимавшего престол Испании с 1759 по 1788 г.⁸⁰ Это был человек с замечательной энергией; хотя он и родился в Испании, но не много имел общего с ней. Прежде чем сделаться королем, он провел долгое время вне своей родины и пристрастился к обычаям и особенно к мнениям, совершенно несходным с теми, которые были свойственны испанцам. Сравнительно со своими подданными он был, конечно, человек просвещенный. Они всем сердцем были привязаны к самому совершенному и, следовательно, самому худшему виду духовной власти, какой когда-либо существовал в Европе. Он же считал своей обязанностью ограничить эту именно власть. В этом, как и в других отношениях, он превзошел Фердинанда VI и Филиппа V, хотя, под влиянием французских идей, они также стремились к тому, что считалось опасным делом. Духовенство, негодуя на подобный образ действий, роптало и даже прибегало к угрозам. Оно объявляло, что Карл грабит церковь, отнимает у нее права, оскорбляет ее служителей и таким образом безвозвратно губит Испанию. Но король, имевший твердый и отчасти упрямый характер, оставался верен своей политике; так как и он, и его министры были люди несомненно способные, то, несмотря на встреченную ими оппозицию, им удалось привести в исполнение большую часть своих планов. Каковы бы ни были их заблуждения и их близорукость, но нельзя не удивляться честности, мужеству и бескорыстию, проявлявшимся в их старании изменить судьбу той суеверной и полуварварской страны, которой они управляли. Мы не должны, однако, упускать из виду, что в этом, как и во всех подобных случаях, восставая против зол, к которым народ был решительно привязан, они только усиливали эту привязанность. Стараться изменить мнения посредством законов — более чем бесполезно. Такие меры не только не достигают цели, но даже вызывают реакцию, после которой те же мнения оказываются более чем когда-либо сильными. Сперва измените мнение, а потом изменяйте закон. Как только вы убедите людей, что суеверие вредно, вы можете с успехом принимать деятельные меры против тех классов, которые потворствуют суеверию и им живут. Но как бы ни было вредно какое-либо право или существование какой-либо обширной корпорации, не следует употреблять против него силу, пока успехи знаний не подкопают его в самом корне и не ослабят его значения в умах народа. Против этого всегда грешили самые пылкие преобразователи, которые в своем рвении скорее достигнуть цели давали политическому

движению опередить умственное и этим извращением естественного порядка приготавливали бедствия или самим себе, или своим потомкам. Они прикоснутся к алтарю—и из него вылетает огонь, чтобы пожрать их. Наступает новый период суеверия и деспотизма, новая мрачная эпоха в летописях рода человеческого. И это происходит единственно от того, что люди не выждут своего времени, а сиюминутно ускорить ход дел. Таким образом, например, во Франции и Германии сами же друзья свободы усилили тиранию, сами же враги суеверия сделали, что суеверие сохранилось гораздо долее. В этих странах и до сих пор думают, что правительство может пересоздать общество; и поэтому, как только люди с либеральными убеждениями достигают в них власти, они слишком широко пользуются ею, думая, что таким образом они скорее придут к той цели, к которой стремятся. В Англии это же обольщение хотя и менее всеобщее, но все-таки слишком еще сильно преобладает; у нас, однако, политики находятся под контролем общественного мнения; мы избегаем тех зол, которые постигают другие страны, потому что мы не допускаем, чтобы правительство издавало законы, не одобряемые народом. В Испании же люди так привыкли к рабству и шею их так долго гнули под ярмом, что, хотя правительство и противодействовало в XVIII столетии их самым дорогим предрассудкам, они редко осмеливались сопротивляться, а законных средств заставить выслушать себя у них не было. Но тем не менее живо они чувствовали все это. Материалы для реакции накапливались в тишине, и не прошло столетия, как стала ясно видна и самая реакция. Пока жил Карл III, она не выказывалась, частью вследствие страха, внушенного его деятельным и энергическим управлением, а частью и вследствие того, что многие произведенные им реформы были слишком благодетельны и озаряли его царствование таким светом, который могли видеть все классы общества. Освободив посредством своей политики Испанию от беспрестанных нападений пиратов, он, кроме того, успел заключить для нее такой почетный мир, какого не подписывало ни одно испанское правительство в течение двух столетий, и этим напомнил народу самые светлые и самые славные дни царствования Филиппа II. Когда Карл вступил на престол, Испания была едва третьестепенной державой; при смерти же его она имела полное право называться первостепенным государством, так как в течение нескольких лет она договаривалась на равных правах с Францией, Англией и Австрией и принимала важное участие в советах Европы. Этому много содействовал личный характер Карла; его столько же уважали за его честность, сколько боялись за его силу; как человек, он пользовался уже прекрасной репутацией, а как государь он не имел себе равного между современными монархами, за исключением разве Фридриха Прусского; впрочем, обширные способности последнего омрачались низким хищничеством и постоянным желанием превзойти своих соседей; в Карле III, напротив, не было ничего подобного; он заботливо

усиливал оборону Испании и, поставив ее сухопутные и морские силы на военную ногу, сделал ее более грозной, чем она была когда-либо с шестнадцатого столетия. Прежде ее мог обидеть любой мелкий владетель, которому вздумалось бы потешиться над ее слабостью; теперь же страна эта имела средства для сопротивления, а в случае нужды — и для атаки. В то время как армия была значительно усовершенствована в отношении качества войск, их дисциплины и надзора за их благосостоянием, флот почти удвоился в численности и более чем удвоился в силе. И это было сделано без обременения народа новыми тягостями. Действительно, средства народа до такой степени развились, что в царствование Карла III большая сумма податей выплачивалась легче, чем сравнительно малая сумма, взимавшаяся при его предшественниках. Неслыханная до тех пор правильность введена была как в раскладку, так и в самое взимание податей. Законы о неотчуждаемых имениях (*mortmain*) стали менее строги, и были также приняты меры к уменьшению строгости законов о наследстве. Промышленность страны избавилась от многих стеснений, долгое время тяготевших над ней, и начала свободной торговли настолько привились, что в 1765 г. старые законы о торговле хлебом были отменены, дозволен вывоз его, а также перевозка из одной части Испании в другую без тех нелепых предосторожностей, которые сочли нужным придумать предшествовавшие правительства.

В это же царствование стали впервые руководствоваться в отношении американских колоний правилами здравой и либеральной политики. Образ действия испанского правительства в этом случае представляет выгодную противоположность с системой, которой следовал в отношении наших обширных колоний недалёковидный и неспособный человек, царствовавший тогда в Англии. В то время как заносчивость Георга III подготавливала восстание в английских колониях, Карл III деятельно принимал примирительные меры в отношении колоний Испании. В этом стремлении и желая предоставить полную свободу развитию благосостояния этих колоний, он делал все, что только возможно было при тогдашнем состоянии знания и при средствах того времени. В 1764 г. он установил — что считалось тогда великим делом — ежемесячное правильное сообщение с Америкой для того, чтобы легче было ввести предположенные им реформы в колониях и чтобы скорее могли быть удовлетворяемы их претензии. Прямо на следующий год свобода торговли была дарована Вест-Индским островам, и огромное количество их товаров теперь впервые получило свободное обращение, полезное как для них самих, так и для их соседей. Вообще в колониях были введены значительные улучшения, устранены многие стеснения, обуздана тирания властей и облегчены тягости народа. Наконец, в 1778 г. начала свободной торговли, после удачных опытов на американских островах, были перенесены и на материк Америки; порты Перу и Новой Испании были открыты, и этим сообщен необыкновенно сильный толчок развитию благосостоя-

ния тех дивных колоний, которые самой природой предназначались к богатству, но которые безумное вмешательство человека сделало бедными.

Все это так быстро отражалось на метрополии, что едва успела рушиться старая система монополии, как торговля в Испании начала расширяться все более и более, пока вывоз и ввоз не достигли таких размеров, каких и сами виновники реформы едва ли могли ожидать; говорили, что вывоз иностранных произведений утроился, а туземных упятерился; ввоз же из Америки увеличился в девять раз.

Многие из налогов, тяжело ложившихся на низшие классы, были отменены, и так как промышленные классы были освобождены от своих главных тягостей, то надеялись, что их положение быстро улучшится. А чтобы еще более облагодетельствовать их, введены были такие реформы в применении законов, что им можно было получать удовлетворение в публичных судах по жалобам на лиц, стоявших выше их. До того времени бедный человек не имел ни малейшей возможности восторжествовать над богатым; в царствование же Карла III правительство ввело различные правила, в силу которых работники и ремесленники могли получать удовлетворение от своих хозяев в случае неуплаты ими условленного жалованья или несоблюдения заключенных договоров.

Не только рабочие классы, но даже литераторы и ученые были поощряемы и покровительствуемы. Один вид опасности, которому они долго подвергались, был в значительной степени устранен мерами, принятыми Карлом к ограничению власти инквизиции. Кроме того, король был всегда готов вознаграждать их заслуги; он был человек с просвещенным вкусом и любил, чтобы его считали покровителем учености. Вскоре по вступлении своем на престол он издал указ, изъемяющий от военной службы всех типографщиков и всех лиц, имеющих непосредственное отношение к книгопечатанию, каковы словолитчики, и т. п. Он также, насколько мог, старался вдохнуть новую жизнь в старые университеты и делал все, что было возможно, для восстановления их дисциплины и их славы. Он основывал школы, усиливал средства коллегий, вознаграждал профессоров, давал пенсии. В этого рода вещах щедрость его казалась бесконечной, и этим одним уже достаточно объясняется то глубокое уважение, с каким относятся испанские литераторы к памяти этого государя. Они имеют полное право пожалеть, что вместо того, чтобы жить теперь, они не жили в его царствование. В его время предполагалось, что интересы ученых тождественны с интересами знания; а эти последние ценились так высоко, что в 1771 г. установилось как твердый принцип в правительственной деятельности, что из всех отраслей государственного управления забота о воспитании есть самая важная.

Но это еще не все. Можно сказать без преувеличения, что внешний вид Испании подвергся большому изменению в одно

царствование Карла III, чем во все полтора-два десятилетия со времени окончательного изгнания магометан. При вступлении его на престол в 1759 г. оказалось, что мудрая и миролюбивая политика его предшественника, Фердинанда VI, дала возможность этому государю не только заплатить многие из долгов короны, но даже скопить и оставить после себя значительную казну⁸¹. Этим воспользовался Карл, чтобы начать те роскошные публичные сооружения, которые более чем какая-либо другая сторона его администрации должны были поражать чувства и доставлять популярность его царствованию. А когда скорее вследствие увеличения богатства, чем с помощью новых налогов, еще большие средства достались в его распоряжение, он употребил значительную часть их на довершение своих планов. Он так украсил Мадрид, что спустя сорок лет после его смерти говорили, что город этот всем своим тогдашним великолепием обязан ему. Публичные здания, публичные сады, прекрасные гулянья в окрестностях столицы, ее величественные ворота, ее общественные учреждения и сами дороги, соединяющие ее с окрестными местностями,— все это было делом Карла III и составляет самые видные памятники его гения и изящного вкуса⁸².

В других частях страны были проведены дороги и прорыты каналы с целью расширить торговлю открытием сообщений через местности, бывшие прежде непроходимыми. При вступлении на престол Карла III вся Сьерра-Морена была занята лишь дикими зверями и бандитами, находившими там убежище⁸³. Ни один мирный путешественник не отважился бы поехать в подобное место; и торговля не могла таким образом направляться по местности, которую сама природа предназначила быть одной из главнейших больших дорог Испании, так как она расположена между бассейнами Гвадианы и Гвадалquivира, на прямом направлении между портами Средиземного моря и Атлантического океана. Деятельное правительство Карла III решилось исправить это зло; но так как испанский народ не имел достаточно энергии, чтобы сделать все, что требовалось для этого, то в 1767 г. шесть тысяч голландцев и фламандцев были приглашены поселиться в Сьерра-Морене. По их прибытии их наделили землей, весь округ был прорезан дорогами, построены деревни, и то, что было прежде непроходимой пустыней, теперь вдруг превратилось в веселую плодородную местность.

По всей почти Испании дороги были исправлены, для чего еще в 1760 г. был отложен особый фонд. Начаты были многие работы, причем введены такие улучшения и такой строгий надзор за тем, чтобы заведующие ими должностные лица не пользовались незаконными доходами, что в самое короткое время стоимость сооружения общественных дорог уменьшилась на половину сравнительно с тем, во что они обыкновенно обходились⁸⁴. Из предприятый, удачно приведенных к окончанию, самыми важными были: дорога, впервые проложенная между Малагой и Антекерой, и другая, между Акиласом и Лоркой. Таким образом

доставлены были средства сообщения между Средиземным морем и внутренними частями Андалусии и Мурсии. В то время как устраивались эти сообщения на юге и юго-востоке Испании, другие были открываемы на севере и северо-западе. В 1769 г. была начата дорога между Бильбао и Осмоу, и вскоре после того была окончена дорога между Галисией и Асторгой. Эти и подобные им работы были так искусно выполнены, что испанские большие дороги, считавшиеся прежде худшими в Европе, теперь уже были в числе лучших. Один сведущий в этом деле судья, и притом человек далеко не слишком пристрастный к Испании, высказывает мнение, что при смерти Карла в Испании дороги были лучше, чем в какой-либо другой стране.

Во внутренних страны реки были сделаны судоходными и для соединения их друг с другом прорыты каналы. Эбро, протекая чрез самый центр Арагона и часть Старой Кастилии, может служить для целей торговли вверх до Логроньо, а оттуда вниз до Туделы. Но между Туделой и Сарагосой судоходству препятствует слишком большая быстрота течения и скалы в русле реки. Следовательно, Наварра лишена своего естественного сообщения с Средиземным морем. В предприимчивое царствование Карла V была сделана попытка исправить это зло, но план этот не удался, был отложен в сторону и забыт до тех пор, пока не возобновил его спустя слишком двести лет Карл III. Под его покровительством был проектирован большой Арагонский канал с великолепной мыслью — соединить Средиземное море с Атлантическим океаном. Это, однако же, был один из многих случаев, в которых правительство Испании оказывалось слишком впереди самой страны, и пришлось покинуть план, выполнение которого было ей не по силам. Но и то, что успели сделать, имело уже громадную ценность. Канал был уже доведен до Сарагосы, и воды Эбро стали полезны не только для перевозки, но и для орошения почвы. Теперь даже западная оконечность Арагона имела средства вести безопасно выгодную торговлю. Старые участки земли, сделавшись более производительными, поднялись в цене, и стали возделываться новые пространства. Это принесло пользу и другим частям Испании. Кастилия, например, в голодные годы всегда зависела в своем продовольствии от Арагона, между тем как эта провинция при прежней системе земледелия могла производить только то, что было нужно для ее собственного потребления. При помощи же этого канала, к которому около того же времени прибавился и канал Таусте, почва Арагона сделалась производительнее, чем была когда-либо прежде, и богатые равнины Эбро давали такие обильные жатвы, что в состоянии были снабжать пшеницей и другим зерном как кастильцев, так и арагонцев.

Правительство Карла III устроило также между Ампостой и Альфакесой канал, который оросил южную оконечность Каталонии и дал возможность возделывать целый округ, остававшийся прежде невозделанным вследствие постоянного недостатка

дождей. Другим, еще более великим предприятием того же царствования была попытка, отчасти только удавшаяся, установить водное сообщение между столицей и Атлантическим океаном посредством проведения канала от Мадрида до Толедо, откуда товары шли бы по Тахо в Лисабон, и открылся бы таким образом путь для всей западной торговли. Но как это, так и многие другие великие предположения были разрушены в самом зародыше смертью Карла III, с которой все исчезло. Когда его не стало, страна впала вновь в свое прежнее бездействие, и было ясно видно, что все эти великие дела были не национальные, а политические; другими словами, что они были плодом деятельности отдельных личностей, самые ревностные усилия которых всегда оканчиваются ничем, если им противодействует влияние тех общих причин, которые незаметны, но которым даже самые сильные из нас поневоле оказывают безусловное повиновение.

Все-таки одно время было сделано многое, и Карл, рассуждая согласно с обыкновенными правилами политиков, легко мог питать надежду, что все совершенное им навсегда изменит судьбу Испании, потому что за эти и другие работы, которые им были не только проектированы, но и выполнены, он заплатил, не прибегнув, как делают часто, к налогам, обременяющим народ и стесняющим его промышленность. При нем находились постоянно, подавая ему советы, такие люди, которые действительно имели в виду общественное благо и никогда не сделали бы такой пагубной ошибки. Под его управлением богатство страны значительно увеличилось, и удобства низших классов не только не уменьшились, но даже умножились. Налоги раскладывались справедливее, чем бывало прежде. Подати, которых в XVII столетии не могли исторгнуть у народа все усилия исполнительной власти, теперь уплачивались исправно и вследствие развития средств народа стали более производительны и менее тягостны. В управлении финансами проявлялась экономия, первый пример которой был подан в предшествовавшее царствование, когда осторожная и мирная политика Фердинанда VI положила основание многим из только что рассказанных нами улучшений. Фердинанд завещал Карлу III сокровища, которые он ни у кого не отнимал, а составил бережливостью. Между введенными им реформами, о которых я не упомянул во избежание излишних подробностей, есть одна весьма важная и прекрасно характеризующая его политику. До его царствования из Испании ежегодно вывозилась огромная сумма денег вследствие присвоенного папой права представлять к некоторым богатым бенефициям и получать часть их доходов в свою пользу, вероятно в вознаграждение за предпринятое им беспокойство. От этой обязанности папа был освобожден Фердинандом VI, который обеспечил за испанской короной право жаловать подобные бенефиции и тем сберег для страны огромные суммы денег, на которые римский двор привык весело пировать⁸⁵. Это была именно такая мера, кото-

рую с радостью должен был приветствовать Карл III, как согласующуюся с его собственными взглядами, и поэтому мы находим, что в его царствование она не только оставалась в силе, но была еще более распространена. Заметив, что, несмотря на все его старания, приверженность испанцев к этого рода вещам была так сильна, что заставляла их делать приношения тому, кого они считали главой церкви, король решился установить контроль даже над этими добровольными приношениями. Для достижения этой цели предлагаемы были различные ухищрения и наконец остановились на одном, которое казалось самым действительным. Издан был королевский указ, повелевавший, чтобы никто не посылал денег в Рим, а если кому-нибудь понадобится произвести там какие-либо уплаты, то чтобы деньги эти посылались не обыкновенным путем, а через послов, министров или других агентов испанской короны.

Если мы теперь возвратимся к рассказанным мною деяниям и взглянем на них как на нечто целое, простирающееся со вступления на престол Филиппа V до смерти Карла III, т. е. на период времени почти в девяносто лет, то мы будем поражены проявляющимся в них единством, правильностью их хода и их видимым успехом. Смотря на них с одной политической точки зрения, можно усомниться, видали ли когда в какой-либо стране, до или после этого, прогресс столь же обширный и непрерывный. В продолжение трех поколений не было остановки со стороны правительства, ни одной реакции, ни одного признака колебания. Улучшение за улучшением, реформа за реформой следовали быстро, непрерывно. Могущество церкви, которое всегда было вопиющим злом в Испании и к которому до того времени не смел прикоснуться никто из самых отважных политиков, теперь было всячески ограничено благодаря усилиям целого ряда государственных людей, от Орри до Флоридабанка, дело которых было потом в течение почти тридцати лет усердно продолжаемо Карлом III, способнейшим из государей, какие когда-либо царствовали в Испании со смерти Филиппа II. Навели страх даже на инквизицию, которая стала теперь снисходительнее к своим жертвам. Сжигание еретиков было прекращено; пытки не употреблялись более. Преследования за ересь не были дозволяемы. Вместо того чтобы наказывать людей за воображаемые преступления, стали проявлять заботливость об их действительных интересах, стали облегчать их тягости, увеличивать их удобства и ограничивать тиранию поставленных над ними лиц. Делались попытки к обузданию алчности духовенства и к предупреждению самовольных посягательств его на достоинство народа. В этих видах пересмотрены были законы о неотчуждаемых имениях (*mortmain*) и приняты различные меры, которые должны были служить препятствием для лиц, желавших расточать свою собственность посредством завещания ее на духовные потребности. В этом, как и в других предметах, истинные интересы общества предпочитались воображаемым. Поставить

мирян выше духовных, ослабить исключительное внимание, обращавшееся до того времени на вопросы, о которых ничего положительно неизвестно и которые невозможно решить; достигнуть всего этого и заменить подобные бесплодные умозрения любовью к науке или литературе сделалось теперь целью испанского правительства в первый раз с тех пор, как существует правительство в Испании. Следуя этому плану, оно изгнало иезуитов, отменило право святилища укрывать преследуемых законом и научило всю иерархию, от епископа до последнего монаха, бояться закона, обуздывать свои страсти и умерять ту наглость, которую она выказывала в обращении со всеми словами, кроме своего. И во всякой стране такие меры были бы великим подвигом, в стране же, как Испания, они составляли чудо. Я сделал лишь краткий обзор этих нововведений, но и этого достаточно, чтобы видеть, до какой степени правительство трудилось над тем, чтобы уменьшить суеверие, обуздать изуверство, возбудить к деятельности ум, оживить промышленность и вывести народ из состояния мертвенного усыпления. Я пропустил несколько довольно любопытных мер, направлявшихся в ту же сторону, потому что здесь, как и везде, я стараюсь ограничиваться лишь теми резко выдающимися чертами, в которых более явственно обозначается общее движение. Кто станет подробно изучать историю Испании за этот период времени, тот найдет новые доказательства умения и энергии людей, стоявших во главе ее управления и посвятивших свои лучшие силы делу возрождения управляемой ими страны. Но для таких специальных исследований нужны и специальные люди; я же буду совершенно доволен, если мне удалось верно схватить общее очертание, общий ход событий. Для моей цели совершенно достаточно, если я доказал главное положение и убедил читателя в том, что государственные люди Испании совершенно ясно различали то зло, от которого стонала их страна, и что они усердно старались исправить его и воскресить судьбы державы, которая не только была некогда первенствующей в Европе, но и управляла самой роскошной и обширной территорией, какая когда-либо соединялась под одним скипетром со времени падения Римской империи.

Те, которые убеждены, что правительство может цивилизовать нацию и что законодатели суть виновники социального прогресса, естественно подумают, что Испания извлекла прочную пользу из тех либеральных начал, которые теперь впервые были проведены в действительность. На деле, однако, выходит, что подобная политика, как бы она ни казалась разумной, не принесла никакой пользы просто потому, что она шла против целого ряда предшествовавших обстоятельств. Она противоречила всему складу национального ума и была введена в общество, которое еще не созрело для нее. Никакая реформа не может принести действительной пользы, если она не есть продукт общественного мнения и если в ней инициатива не принадлежит

самому народу. В Испании в течение XVIII столетия иностранное влияние и запутанности внешней политики ставили просвещенных правителей над непросвещенной страной⁸⁶. Вследствие этого совершались одно время великие дела. Устранено много зол, удовлетворены многие жалобы, введены многие важные улучшения, и проявился такой дух терпимости, какого еще не видали до тех пор в этой суеверной стране, поработанной духовенством. Но ум Испании оставался нетронутым. В то время как по наружности, по внешним признакам дела шли лучше, сущность их оставалась неизменной. Под этой поверхностью, далеко вне влияния всяких политических средств, действовали важные общие причины; действуя непрерывно в продолжение многих столетий, они, рано или поздно, наверно, заставили бы политиков обратиться вспять и торжественно вступить на тот путь, который соответствовал бы преданиям страны и согласовался с обстоятельствами, под влиянием которых предания эти сложились.

Наконец наступила реакция. В 1788 г. умер Карл III и ему наследовал Карл IV — государь, воспитанный в чисто испанском духе, — набожный, правоверный, невежественный. Теперь-то стало ясно, до какой степени все было непрочно и как мало можно было полагаться на реформы, не вызванные самим народом, а навязанные ему политическими классами. Карл IV, хотя слабый и ничтожный государь, был до такой степени поддерживаем в своих общих видах сочувствием испанского народа, что менее чем в пять лет ему удалось совершенно ниспровергнуть либеральную политику, над созиданием которой трудились три поколения государственных людей. Менее чем в пять лет все изменилось. Власть церкви была восстановлена; все, что хоть сколько-нибудь приближалось к свободному исследованию, было запрещено; старые начала произвола, о которых не слыхали с семнадцатого столетия, теперь вновь возымели силу; священники снова приобрели большое значение; литераторы были запуганы, и литература упала духом; а между тем инквизиция, внезапно воскресшая, проявила такую энергию, от которой трепетали ее враги, и доказала, что все попытки, направлявшиеся к ослаблению ее, не могли лишить ее силы, ни обуздать ее древний дух.

Министры Карла III и виновники тех великих реформ, которые ознаменовали его царствование, были отставлены, чтобы очистить место для других советников, более подходящих к новому порядку вещей. Карл IV слишком любил церковь, чтобы сносить присутствие просвещенных людей. Аранда и Флорида-бланка были удалены от должностей и оба отправлены в заточение. Ховельянос был удален от двора, а Кабаррюс заключен в тюрьму. Теперь предстояло такое дело, к которому эти знаменитые люди не приложили бы рук своих. Политика, которой неуклонно следовали в продолжение почти девяноста лет, должна была вскоре быть покинута для того, чтобы воскресить и, если можно, восстановить в прежней силе старое владычество семнадцатого столетия, — владычество невежества, тирании, суеверия.

Еще раз Испания покрылась мраком; еще раз легла ночная тень на эту несчастную землю. Самые худшие виды угнетения, говорит один замечательный писатель, казалось, обрушились на страну с новой, зловещей тяжестью. В то же самое время и как естественное последствие общего плана явилось запрещение всякого исследования, которое способно возбудить деятельность ума. Действительно, послан был во все университеты приказ, воспрещающий изучение нравственной философии; причем министр, отдавший приказ, очень справедливо заметил, что король не нуждается в философах. Однако нечего было бояться, чтобы Испания, изучая этот предмет, не произвела чего-либо особенно опасного. Нация, не дерзавшая и — что еще хуже — не желавшая сопротивляться, во всем уступала, предоставляя королю делать, что ему угодно. В течение весьма немногих лет он парализовал действие самых драгоценных реформ, введенных его предшественниками. Удалив умных советников своего отца и раздав высшие места таким же ограниченным и неспособным людям, как и он сам, он довел страну до совершенного банкротства и, по замечанию одного испанского историка, истощил все средства государства.

Таково было состояние Испании в конце XVIII столетия. За этим быстро последовало нашествие французов, и эта несчастная страна испытала всевозможные виды бедствия и унижения. Тут, однако, следует заметить некоторое различие. Бедствия могут быть причинаемы другими, унижение же народа может произойти только от собственных его действий. Иноземный грабитель может нанести вред, но не может причинить стыда. Между народами так же, как и между отдельными лицами, не может быть бесчестия для того, кто верен самому себе. Испания в течение нынешнего столетия была ограблена и угнетена, но позор падает на грабителей, а не на ограбленных. Ее наводнило грубое, своевольное войско, ее поля были опустошены, города разграблены, села сожжены. Но бесчестие в этом случае падает скорее на злодея, чем на жертву. Даже с материальной точки зрения подобные потери, наверно, могут быть вознаграждены, если только народ, подвергшийся им, укрепился в тех привычках самоуправления и в том чувстве самоуправления, которые составляют причину и источник всякого истинного величия. С их помощью всякий вред может быть исправлен и всякое зло уврачевано. Без них же и самый слабый удар может быть пагубен. В Испании ничего подобного не знают и ничто подобное не может, по-видимому, привиться. В этой стране люди так давно привыкли к слепому раболепию перед короной и духовенством, что подобострастие и суеверие заступили место тех благородных побуждений, которым всякая свобода обязана своим существованием и в отсутствии которых никогда не может быть осуществлена идея независимости. Действительно, не раз в течение XIX столетия прозябался такой дух, от которого можно было ожидать чего-то лучшего. В 1812-м, в 1820-м и в 1836 гг. несколько пылких и восторженных

преобразователей пытались обеспечить испанскому народу свободу, доставив Испании свободную конституцию. Они имели минутный успех — вот и все. Они могли дать ей формы конституционного правительства, но не могли дать тех преданий и тех привычек, под влиянием которых вырабатываются эти формы. Они подражали голосу свободы; они скопировали ее учреждения, они переняли сами приемы ее. И что же? При первом ударе судьбы их идол распался на части. Их конституции рушились, их собрания были распущены, их постановления отменены. После каждого такого расстройтва правительство усиливалось, начала деспотизма упрочивались, и испанским либералам приходилось оплакивать тот день, в который они тщетно пытались доставить свободу своей несчастной, злополучной стране⁸⁷.

А что еще замечательнее в этих неудачах, — это то, что испанцы обладали с весьма давнего времени муниципальными привилегиями и льготами, подобными тем, которые мы имели в Англии и которым часто приписывают наше величие. Но подобные учреждения хотя и сохраняют свободу, но никогда не могут создать ее. Испания имела наружный вид свободы, но не имела ее духа; поэтому наружный вид, как бы много он ни обещал, вскоре изглаживался. В Англии дух предшествовал форме, и поэтому форма упрочилась. Так, хотя испанцы и могли похвастать свободными учреждениями целым столетием раньше нас, они все-таки не могли сохранить их, единственно потому, что у них были учреждения, и более ничего. Мы не имели народного представительства до 1264 г., Кастилия же имела его в 1169 г., а Арагон — в 1133-м. Точно так же древнейшая хартия была пожалована английскому городу в XII столетии, в Испании же мы находим хартию, данную Леону в 1020 г., и в течение одиннадцатого столетия привилегии и льготы городов были там настолько обеспечены, насколько это можно было сделать путем закона.

Но дело в том, что в Испании эти учреждения, вместо того чтобы вытекать из потребностей народа, были порождены одним ударом политики его правителей. Они скорее были навязаны гражданам, чем даны по их желанию; ибо в продолжение войны с магометанами христианские короли Испании, по мере движения своего к югу, естественно, озабочивались тем, чтобы заставить своих подданных селиться в пограничных городах, где они могли бы встречать и отражать неприятеля. С этой целью жаловались хартии городам и разные привилегии их жителям. По мере того как магометане были постепенно оттесняемы в направлении от Астурии к Гранаде, границы отодвигались и льготы были распространяемы на вновь завоеванные пункты, так чтобы место опасности было также и местом вознаграждения. Но в то же время те общие причины, на которые я указал, предопределяли народ к привычкам слепой преданности и суеверия, которые развивались до размеров, пагубных для духа свободы. При этом условии всякие учреждения были бесполезны. Они не пускали

корней, а подобно тому — как созидались по одному политическому расчету, разрушались по другому. К концу XIV столетия испанцы так прочно утвердились на вновь занятых ими территориях, что им почти нечего было опасаться вторичного изгнания из этих местностей; между тем, с другой стороны, им не представлялось также непосредственной возможности продолжать свои завоевания и вытеснить магометан из укрепленных пунктов Гранады. Следовательно, обстоятельства, вызвавшие муниципальные привилегии, миновали; а как скоро это сделалось очевидным, привилегии начали исчезать. Так как они не согласовались с привычками народа, то и следовало ожидать, что они рушатся при первом удобном случае⁸⁸. В конце XIV столетия они уже заметно теряли свою силу; к концу же пятнадцатого они почти не существовали, а в начале шестнадцатого были окончательно уничтожены⁸⁹.

Таким-то образом общие причины всегда наконец торжествуют над всеми препятствиями. В общем выводе за продолжительные периоды времени они оказываются непреодолимыми. Действие их часто умеряется, а иногда на короткое время и останавливается политиками, которые имеют всегда наготове свои эмпирические близорукие средства. Если же средства эти противны духу времени, то они могут иметь успех разве только на одно мгновение; а когда это мгновение пройдет, то начинается реакция, и приходится отвечать за употребленное насилие. Доказательство этого можно найти в летописях каждой цивилизованной страны — стоит только сличить историю законодательства с историей мнений. Одно прекрасное доказательство представила нам судьба испанских городов, в судьбе же испанской церкви мы найдем другое. В продолжение слишком восьмидесяти лет по смерти Карла II правители Испании старались ослабить духовную власть, и результатом всех этих усилий было, что даже такой ничтожный и неспособный король, как Карл IV, сумел чрезвычайно легко и быстро разрушить все, что они построили. Это произошло оттого, что, когда в продолжение восемнадцатого столетия духовенство подвергалось нападениям со стороны закона, общественное мнение благоприятствовало ему. Мнения народа неизменно зависят от обширных общих причин, имеющих влияние на целую страну; законы же его слишком часто бывают делом немногих могущественных личностей, находящихся в разладе с народной волей. Когда законодатели умирают или лишаются своих мест, то всегда есть вероятность, что их преемники будут держаться противоположных мнений и разрушат их планы. Но среди всех волнений и колебаний политической жизни общие причины сохраняют свою силу, хотя они и ускользают часто из виду и остаются незаметными, пока политики, склоняясь в их сторону, не выдвинут их наружу и явно не признают их значения каким-нибудь публичным актом.

Это именно и сделал Карл IV в Испании. Когда он принимал меры в пользу церкви и против свободного исследования, то

этим он только торжественно признавал силу тех национальных привычек, которыми предшественники его пренебрегали. Влияние, которое всегда имела иерархия страны на общественное мнение, вошло даже в пословицу; но оно еще сильнее, чем обыкновенно полагают. До чего доходило это влияние в XVII столетии, это мы уже видели; в восемнадцатом столетии не было заметно никаких признаков ослабления его; они обнаруживались только разве между немногими отважными людьми, которые ничего не могли сделать, пока голос народа был в такой сильной степени против них. Лаба, путешествовавший по Испании в начале царствования Филиппа V, говорит нам, что, когда священник служил обедню, знатнейшие вельможи считали за честь помогать ему облачаться и что они становились перед ним на колени и целовали его руки. Когда так поступала самая гордая аристократия в Европе, то можно себе представить, каково должно было быть общее чувство. В самом деле, Лаба уверяет нас, что такой испанец, который не предоставил бы известной части своей собственности в пользу церкви, едва ли считался бы правоверным, до такой степени уважение к иерархии вошло в характер испанской нации.

Еще более любопытный пример представляли волнения по случаю изгнания иезуитов. Эта некогда полезная, но теперь беспокойная корпорация была в продолжение XVIII столетия тем же, чем она оказывается и в девятнадцатом,—отъявленным врагом прогресса и терпимости. Правители Испании, заметив, что иезуиты противодействуют всем их планам реформ, решились избавиться от этого препятствия, встречавшегося им на каждом шагу. Незадолго до этого во Франции с иезуитами обошлись как с общественной язвой и сразу удалили их без малейшего затруднения. Советники Карла III не видели причины, почему бы не принять такой полезной меры и в их стране, и в 1767 г., следуя примеру, показанному Францией в 1764 г., уничтожили эту главную опору церкви⁹⁰. Сделав это, правительство полагало, что оно сделало решительный шаг к ослаблению духовной власти, в особенности когда мера эта встретила полное одобрение короля. Год спустя после этого Карл III по своему обыкновению вышел на балкон дворца в день праздника св. Карла с готовностью исполнить всякую просьбу, с какой обратился бы к нему народ,—обыкновенно в этом случае просили об увольнении какого-нибудь министра или об отмене какого-нибудь налога. Но в этот раз граждане Мадрида, вместо того чтобы заниматься такими мирскими делами, нашли, что еще более дорогие интересы подвергаются опасности, и, к удивлению и ужасу двора, в один голос просили о дозволении иезуитам возвратиться и носить свою обыкновенную одежду, дабы Испания могла быть осчастливлена лицезрением этих святых людей⁹¹.

Можно ли что сделать с таким народом? Какую пользу принесут законы, если поток общественного мнения стремится

против них. Ввиду таких препятствий правительство Карла III, несмотря на свои добрые намерения, было бессильно. Оно было даже хуже, чем бессильно,— оно было вредно; потому что, возбуждая народное сочувствие в пользу духовенства, оно только усиливало то, что старалось ослабить. Этим жестоким, преследующим иезуитам, запятнанным всякого рода преступлениями, испанская нация продолжала оказывать уважение, которое, вместо того чтобы уменьшиться, увеличивалось. Со всех сторон стекались к ним богатства, приносимые в дар и отказываемые по завещаниям. Люди готовы были сами пойти по миру и пустить по миру свои семейства, только бы увеличить всеобщее приношение. Это дошло наконец до замечательных размеров: Флорида-бланка, министр короны, утверждал в 1788 г., что в последние 50 лет доходы церкви так быстро возросли, что по некоторым статьям почти удвоились.

Даже инквизиция, самое варварское учреждение, какое придумывал когда-либо ум человека, была отстаиваема общественным мнением против нападений короны. Испанское правительство хотело ниспровергнуть ее и делало все, что могло, для ее ослабления, но испанский народ любил ее по-старому и дорожил ею, как лучшей защитой своей против вторжений ереси⁹². Доказательство этого представилось в 1778 г., когда по случаю сожжения одного еретика, приговоренного инквизицией, несколько лиц из высшей аристократии участвовали в этой церемонии в качестве прислужников, считая за счастье, что им представился случай публично заявить о своей покорности церкви⁹³.

Все это не выходило из естественного порядка вещей. Все это было результатом длинного ряда причин, действие которых я старался проследить за все тринадцать столетий, начиная с того времени, как вспыхнула Арианская война. Эти причины насильно сделали испанцев суеверными, и стараться изменить их натуру путем законодательных мер—значило напрасно терять время. Единственное средство против суеверия заключается в знании. Ничто другое не может стереть это зараженное место с человеческого ума. Без этого прокаженный останется неочищенным, а раб—неосвобожденным. Именно знанию законов и отношений вещей обязана своим существованием европейская цивилизация; но этого-то всегда и недоставало в Испании. А до тех пор, пока этот недостаток не будет пополнен, пока наука с ее смелым и пытливым духом не упрочит своего права на исследование всех предметов, по своему собственному усмотрению и своему собственному методу, мы можем быть уверены, что в Испании никакая литература, никакие университеты, никакие законодатели, никакие преобразования не в силах будут вывести народ из того беспомощного состояния мрака, в которое он погружен самым ходом событий.

Что никакое политическое улучшение, как бы благовидно и привлекательно оно ни казалось, не может принести прочной пользы, если ему не предшествует изменение общественного мне-

ния, и что всякому изменению общественного мнения предшествуют перемены в знании,— вот положения, которые подтвержаются всей историей вообще и которые особенно ясно вытекают из истории Испании. Испанцы имели все, кроме знания. Они обладали несметными богатствами и плодородными и хорошо населенными территориями во всех частях земного шара. Их собственная страна, омываемая Атлантическим океаном и Средиземным морем и обладающая прекрасными гаванями, занимает замечательно выгодное место в отношении торговли между Европой и Америкой; она может держать в своих руках торговлю обоих полушарий. Испанцы имели в весьма раннее время обширные муниципальные привилегии, имели независимые парламенты, имели право сами выбирать должностных лиц и сами управлять своими городами. У них были богатые и цветущие города, множество мануфактур и искусных ремесленников, отборные произведения которых имели обеспеченный сбыт на всех рынках в свете. Они занимались изящными искусствами с замечательным успехом; их превосходные картины и их величественные церкви справедливо ставятся в ряду самых дивных произведений человеческих рук. Они говорят прекрасным, звучным и гибким языком, и литература их не уступает в достоинстве языку. Их земля доставляет всякого рода сокровища. Она изобилует вином и оливковым маслом, производит самые отборные плоды почти с тропической роскошью. Она содержит в себе самые ценные минералы в бесконечном разнообразии, неслыханном в других частях Европы. Нигде не находим мы таких редких и ценных мраморов, так легко добываемых и так близко расположенных от приморских пунктов, где их можно безопасно нагружать на суда и отправлять в места спроса. Что касается металлов, то едва ли найдется хоть один, которым бы не обладала Испания в огромном количестве. Всем известны ее серебряные и ртутные рудники. Она изобилует медью и имеет громадные запасы свинца. Железо и каменный уголь, два самые полезные из всех произведений неорганического мира, также чрезвычайно изобилуют в этой благодатной стране. Железо находится, говорят, во всех частях Испании, и притом лучшего качества; угольные же копи Астурии — неистощимы. Короче, природа была так расточительно щедра к Испании, что замечали,— и едва ли тут есть преувеличение,— что испанский народ имеет в пределах своей территории почти все естественные произведения, какие могут удовлетворять потребности или любопытству человека.

Все это блестящие дары; теперь обязанность историка рассказать, какое из них сделано было употребление. Конечно, обладающий ими народ никогда не имел недостатка в природных дарованиях. На его долю выпало достаточное число великих государственных людей, великих государей, великих судей и великих законодателей. Много было у него способных и энергичных правителей; история его украшена частым появлением самоотверженных и бескорыстных патриотов, жертвовавших всем для

блага своей страны. Храбрость этого народа никогда не подлежала сомнению; что же касается высших сословий его, то строгие правила чести испанского дворянства вошли даже в пословицу по всему свету. Вообще все лучшие наблюдатели говорят об этом народе, что он благороден, великодушен, правдив, в высшей степени неподкупен, пылок и полон рвения в дружбе, любезен во всех сношениях частной жизни, откровенен, благотворителен и человечен. Искренность испанцев в деле религии не подлежит сомнению; они, кроме того, замечательно воздержанны и умеренны. Но все эти важные качества ни к чему не послужили им и ни к чему не послужат, пока они будут оставаться в невежестве. Чем все это кончится и попадет ли когда-нибудь эта несчастная страна на истинный путь — этого никто не может сказать. А если этого не случится, то никакое улучшение не проникнет в нее глубже поверхности. Остается только одно — ослабить суеверие народа, а это возможно только при таком ходе естественных наук, при котором они, осваивая людей с понятиями порядка и правильности, постепенно подрывали бы старинные представления о неустойчивости, о чудесном и чудесах и таким образом приучали бы ум объяснять все превращения в ходе дел естественными сообщениями, а не исключительно сверхъестественными, как делалось до сих пор.

К этому именно все и направлялось в самых передовых странах Европы в течение почти трех столетий. Но в Испании, к несчастью, воспитание всегда оставалось и до сих пор остается в руках духовенства, которое постоянно противодействует тем успехам знания, которые, как ему хорошо известно, будут пагубны для его власти⁹⁴. Так как народ остается в невежестве и причины, удерживающие его в этом состоянии, продолжают действовать, то нет никакой пользы для страны в том, что в ней появляются от времени до времени либеральные правители и принимаются либеральные меры. Испанские преобразователи, за весьма немногими исключениями, все ревностно нападали на церковь, власть которой, как они ясно видели, следовало ослабить. Но одного не замечали они — это того, что такое ослабление не может принести никакой действительной пользы, если оно не оказывается результатом общественного мнения, понуждающего политиков действовать так, а не иначе. В Испании принимали на себя инициативу политики, а народ оставался назади. Поэтому-то в Испании сделанное в один период непременно уничтожалось в другой. Когда были в силе либералы, они уничтожили инквизицию; но Фердинанд VII без малейшего труда восстановил ее, потому что хотя ее и уничтожили испанские законодатели, но существование ее продолжало согласоваться с привычками и преданиями испанского народа⁹⁵. Затем произошли новые перемены, и это ненавистное судилище было опять уничтожено в 1820 г. Но хотя форма его исчезла, дух его продолжает жить. Имя, состав и наружные формы инквизиции не существуют более, но тот дух, который породил инквизицию, еще

коренится в народе и при малейшем поводе воспрянет и восстановит это учреждение, которое есть скорее последствие, чем причина, нетерпимости и изуверства испанской нации.

Таким точно образом и другие, более систематические нападения на церковь в течение нынешнего столетия сначала удавались, но со временем непременно оказывались напрасными. При Жозефе, в 1809 г., были уничтожены монашеские ордена и собственность их конфискована. Но немного выиграла этим Испания. Народ был на их стороне⁹⁶, и, как скоро буря прошла, они были восстановлены. В 1836 г. было другое политическое движение: во главе управления стояли либералы, и Мендисабал секуляризировал всю собственность церкви и лишил духовенство почти всего громадного, неправдой нажитого богатства. Он не знал, как безрассудно нападать на учреждение, если нельзя сперва ослабить его влияние. Он слишком много придавал значения закону и слишком мало общественному мнению. Это ясно доказал результат. Прошло несколько лет, и началась реакция. В 1845 г. был издан так называемый закон о восстановлении прав собственности, которым сделан был первый шаг к наделению вновь духовенства имуществом. В 1851 г. положение его было еще более улучшено знаменитым конкордатом, которым торжественно было предоставлено ему право как приобретения, так и владения. Всему этому от души радовался народ⁹⁷. Так велико было, однако, безумство либеральной партии, что спустя не более четырех лет, когда партия эта приобрела мгновенный перевес, она насильственно уничтожила эти распоряжения и отменила уступки, сделанные церкви и, к несчастью для Испании, одобренные общественным мнением. Последствия этого легко можно было предвидеть. В Арагоне и в других частях Испании народ взялся за оружие; вспыхнуло восстание карлистов, и по всей стране раздался крик, что религия в опасности. Невозможно благодетельствовать подобному народу. Преобразователи были, конечно, ниспровергнуты, и осенью 1856 г. их партия была разбита. Затем началась политическая реакция и шла так быстро, что весной 1857 г. политика, которой следовали в два предшествовавшие года, была совершенно изменена. Те, которые напрасно думали, что они могут возродить свою страну путем закона, увидели все свои надежды обманутыми. Составилось министерство, меры которого более согласовались с духом нации. В мае 1857 г. собрались Кортесы. Представители народа одобрили распоряжения исполнительного правительства, и их соединенной властью худшие из определений конкордата 1851 г. были вполне подтверждены: продажа собственности церкви воспрещена и все ограничения власти епископов сразу устранены.

Теперь читатель будет в состоянии понять истинные свойства испанской цивилизации. Он увидит, как под громко звучащими именами верности и религии таилось смертельное зло, которое всегда прикрывалось этими именами, но которое обязательно историка вывести на свет и изобличить. Слепое чувство благо-

говения под видом недостойного, постыдного раболепства — вот главный, существенный недостаток испанского народа. Это единственный национальный недостаток испанцев, но его было довольно, чтобы погубить нацию. От этого самого зла жестоко страдали все нации, а многие и до сих пор еще страдают. Но нигде в Европе принцип этот не преобладал так долго, как в Испании; поэтому нигде последствия его не были так очевидны и так пагубны. Идея свободы исчезла, если только можно сказать, что она действительно существовала там когда-либо в истинном значении этого слова. Там бывали и будут, без сомнения, проблески ее, но это были скорее проявления неурядицы, чем свободы. В самых цивилизованных странах всегда существует стремление повиноваться даже несправедливым законам, но, повинувшись им, настаивать в то же время на их отмене. Это происходит от преобладающего в нас сознания, что лучше устранять злоупотребления, чем открыто противиться им. Перенося ту или другую тягость, мы в то же время нападаем на причину, из которой истекает эта тягость. Чтобы нация усвоила себе такое воззрение, для этого она должна находиться на известной ступени умственного развития, которая была недостижима в темные времена европейской истории. Вот почему мы находим, что хотя в средние века часто происходили смятения, но общие восстания были редки. Кроме того, возмущения бывают вообще не правы, коренные же реформы всегда справедливы. Возмущения слишком часто оказываются безумным, страстным порывом невежественных личностей, которые не могут снести прямую обиду и никогда не останавливаются, чтобы исследовать отдаленные общие причины ее.

Но в Испании никогда не было революции в собственном смысле, не было даже ни одного обширного народного восстания. Народ в ней хотя часто не повинуется законам, но никогда не бывает свободен. Между испанцами, как видно, сохраняется еще тот особенный оттенок варварства, в силу которого люди предпочитают отдельные случаи неповиновения систематическому стремлению к свободе. Есть в общей природе нашей известные чувства, которых даже раболепная покорность не может искоренить и которые от времени до времени побуждают нас противиться несправедливости. Подобные инстинкты составляют, по счастью, неотъемлемую принадлежность человечества; от них мы не можем отрешиться, если бы даже и хотели; они слишком часто бывают единственными средствами против крайностей тирании. Вот эти только чувства и сохраняются в испанцах. Поэтому они противятся тому или другому злоупотреблению не как испанцы, а как люди вообще. Но даже и сопротивляясь, они не перестают благоговеть. Восставая против какого-нибудь обременительного налога, они в то же время склоняются перед системой, в которой налог этот является одним из наименьших зол. Они не спустят беспокойному, надоедливому монаху, осмеют иногда невежливого и надменного священника, но в то

же время находятся в таком ослеплении, что способны пожертвовать жизнью для защиты той жестокой иерархии, которая накликала на них страшные бедствия, но к которой они все-таки льнут, как будто бы она составляла для них предмет самой нежной привязанности.

В связи с этим складом ума и составляя собственно одну из принадлежностей его, является благоговение перед стариной, чрезмерная привязанность к старым мнениям, старым верованиям и старым привычкам, напоминая нам процветавшие некогда тропические цивилизации. Подобные предрассудки были когда-то всеобщими даже в Европе; но с XVI столетия они начали исчезать и теперь, говоря сравнительно, не существуют нигде, кроме Испании, где они всегда имели убежище. В этой стране они сохраняют свою естественную силу и производят свое естественное действие. Поддерживая мнение, будто все истины, которые особенно необходимо знать, уже известны, они подавляют те стремления и заглушают ту великодушную уверенность в будущем, без которых не может быть совершенно ничто истинно великое. Народ, смотрящий слишком пристально на прошедшее, никогда не примет деятельного участия в движении вперед; он даже с трудом поверит, что такое движение возможно. Для такого народа древность — синоним мудрости и всякое улучшение представляется опасным нововведением. В таком состоянии находилась в течение многих столетий Европа; в таком состоянии находится еще и теперь Испания. Вот почему испанцы замечательны какой-то неповоротливостью, каким-то недостатком подвижности, какой-то безнадежностью, которые в наш деятельный и предприимчивый век совершенно уединяют их от остального цивилизованного мира. В том убеждении, что немного может быть сделано, они и не торопятся ничего делать. Уверенные, что унаследованное ими знание гораздо обширнее того, какое они могут приобрести, они хотят сохранить свое умственное достояние во всей целости и неприкосновенности, как будто бы малейшее изменение в нем могло уменьшить его ценность. Довольные тем, что им уже дано, они не приняли участия в том обширном европейском движении, которое впервые ясно обозначилось в XVI столетии и с тех пор постоянно шло вперед, подрывая старые мнения, уничтожая старые заблуждения, везде все преобразовывая и улучшая, распространяясь даже на такие страны, как Турция, но не касаясь Испании. В то самое время, как человеческий ум делает чудовищные, неслыханные шаги, как открытия по всем отраслям знания внезапно стекаются к нам, следуя одно за другим с такой одуряющей быстротой, что и самый зоркий взгляд, ослепленный их блеском, не в силах объять всей их целости; как другие открытия, еще более важные и еще более выходящие из ряда обыкновенных, очевидно приближаются и уже начинают виднеться в отдалении, с которого они теперь смутно действуют на передовых мыслителей, стоящих ближе всего к ним, наполняя

их душу каким-то безотчетным, беспокойным и почти болезненным чувством, неизменным предвестником предстоящего торжества; в то самое время, как дерзко разрывается завеса, и природа, насилуемая на каждом шагу, вынуждена выдать свои тайны и раскрыть свое строение, свой внутренний быт, свои законы перед неукротимой энергией человека; как вся Европа наполнена громкой молвой об умственных подвигах, которым даже деспотические правительства притворяются сочувствующими; как среди этого повсеместного шума и всеобщего возбуждения умы людей, бросаемые то в ту, то в другую сторону, находятся в постоянном колебании, волнении,— в то самое время Испания продолжает спать, безмятежная, беззаботная, бесстрастная, не получая никаких впечатлений от остального мира и сама не сообщая ему никаких впечатлений. Там, на самой дальней оконечности материка, лежит она, эта оцепенелая масса, единственная в настоящее время представительница средних веков. А что самый худший признак — это то, что она довольна своим состоянием. Будучи самой отсталой страной в Европе, она считает себя самой передовой. Она гордится всем тем, чего ей следовало бы стыдиться. Она гордится древностью своих мнений, гордится своей мнимой правотою, гордится своим упорным изуверством, гордится своим неизмеримым, детским легковерием, гордится своей нелюбовью ко всяким улучшениям в верованиях или обычаях, гордится своей ненавистью к еретикам и той неослабной бдительностью, с какой она противодействовала их стараниям приобрести прочное, законное положение на ее почве.

Все это, стекаясь одно к одному, образует в совокупности то грустное сочетание, которому мы придаем собирательное имя Испании. История одного этого слова есть история почти всех превратностей, каким подвержена человеческая порода. В ней соединяются все крайности силы и бессилия, безграничного богатства и жалкой бедности. Это история смешения различных рас, различных наречий, различной крови. В ней встречаются почти все политические комбинации, какие только может придумать ум человека: законы бесконечно разнообразные и многочисленные; конституции всякого рода, от самой стеснительной до самой либеральной. Демократия, монархия, управление посредством духовенства, управление посредством городских общин, управление посредством аристократии, управление посредством представительных собраний, управление посредством туземцев, управление посредством иностранцев,— все в ней было испытано,— испытано безуспешно. Щедро употребляемы были в дело все материальные средства: вводились из чужих краев искусства, изобретения, машины, устраивались мануфактуры, открывались сообщения, проводились дороги, прорывались каналы, разрабатывались рудники, устраивались гавани. Одним словом, всякие бывали перемены, кроме перемен в общественном мнении; все изменялось, но не изменялось знание. И в результате оказывается, что, несмотря на все усилия целого ряда правительств, несмо-

тря на влияние чужеземных обычаев и несмотря на физические улучшения, которые только едва касаются поверхности общества, но не в силах проникнуть далее,—нет ни малейших признаков национального прогресса: духовенство скорее усиливается, чем ослабевает; малейшее нападение на иерархию поднимает народ; ни распущенность духовенства, ни недостатки правителей Испании в нынешнем столетии — ничто не в состоянии ослабить того суеверия, ни того раболепства, которые под совокупным давлением многих столетий врезались в умы и въелись в сердца испанской нации.

ГЛАВА II

Состояние Шотландии до конца XIV столетия

В предыдущем обзоре возвышения и падения Испании я старался указать на последовательные переходы в истории этой страны, в результате которых оказалось, что эта некогда одна из величайших наций в свете была сокрушена и низринута со своего высокого положения. Когда мы оглядываемся назад на все эти события, то представляется зрелище истинно поразительное. Страна, богатая всеми естественными произведениями, обитаемая храбрым, верным и религиозным народом, огражденная притом своим географическим положением от всех случайностей европейских революций, вдруг возвысилась действием указанных мною общих причин до неслыханного величия и потом, без всякого нового стечения обстоятельств, единственно в силу тех же самых причин, пала с такой же быстротой. Но эти превращения, как бы странны и поразительны они ни казались, были совершенно в порядке вещей. Они являлись необходимым последствием того состояния общества, в котором дух покровительства достиг высшей степени и в котором все делалось для народа и ничего не делал сам народ. При таких условиях возможен, конечно, великий политический прогресс, но не прогресс истинно национальный. Могут делаться приращения к территории, может увеличиваться слава и возрастать могущество страны; могут делаться улучшения в администрации, в управлении финансами, в организации войск, в военном искусстве, в приемах дипломатии и в разных других вещах, в которых одна нация может перехитрить и пристыдить другую. Но эти успехи не только не бывают благодетельны для народа, но, напротив, приносят ему вред в двух различных отношениях. Во-первых, увеличивая славу господствующих классов, они поощряют то слепое раболепие, которое люди слишком склонны чувствовать безразлично ко всем, кто поставлен выше их, и которое везде, где оно ни проявлялось, оказывалось пагубным для высших гражданских доблестей, а следовательно, и для прочного величия нации. А во-вторых, они лишают таким образом страну возможности и охоты исправлять ошибки людей, стоящих во главе управления. Вот почему в Испании, как и во всех странах, поставленных в такие же условия, в тот именно момент, когда все особенно процветало на поверхности, наибольшая гниль снедала корни. Среди самых блестящих политических успехов нация быстро клонилась к упадку, и уже почти наставал тот кризис, когда все здание должно было рушиться, оставив по себе лишь памятный урок о том, какие необходимо оказываются последствия, когда народ, предавшись до страсти суеверию и раболепству, отказывается от свойственных ему отправлений, слагает лежащую на нем ответст-

венность, изменяет самому высокому своему призванию и низводит себя до значения слепого орудия для честолюбцев.

Вот какой великий урок дает нам история Испании. Из истории Шотландии мы можем почерпнуть другой, хотя не такой же, но в том же роде. В Шотландии прогресс народа был весьма медлен, но вообще весьма надежен. Страна эта чрезвычайно бесплодна, исполнительная власть была в ней, за редкими исключениями, всегда слаба, и народ никогда не был связан тем чувством слепой преданности престолу, которое обстоятельства привили испанцам. Конечно, менее всего можно упрекнуть шотландцев в суеверной приверженности к их правителям¹. Мы, англичане, не всегда питали особенную нежность к личностям наших государей и бывали иногда к ним, как иные находят, уже слишком строги. Этим нас часто попрекали более верноподданные народы материка, а в Испании в особенности поведение наше возбуждало величайшее отвращение. Но если мы сравним нашу историю с историей наших северных соседей, то мы должны назвать себя кротким и покорным народом². В Шотландии было более восстаний, чем в какой-либо другой стране, и восстания эти были весьма кровопролитны и весьма многочисленны. Шотландцы с большей частью своих королей воевали, а многих даже лишили жизни. Довольно рассказать их поступки с одной только династией. Они умертвили Якова I и Якова III, восставали против Якова II и Якова VII, схватили и подвергли заключению Якова V; Марию заперли в замок и потом свергли с престола; преемника ее, Якова VI, подвергли заключению, водили его пленником по государству и раз даже покушались на его жизнь. Против Карла I они выказали особенное ожесточение и первые остановили его в его безумных стремлениях. За три года до того, как англичане дерзнули восстать против этого деспотического государя, шотландцы смело взялись за оружие и пошли на него войной. Трудно было бы достаточно оценить услугу, оказанную ими делу свободы, если б не одна странная особенность в этом предприятии,— что, владев впоследствии личностью Карла, они продали его англичанам за большую сумму денег, в которой, по бедности своей, крайне нуждались. Ничего подобного еще не бывало в истории; а хотя шотландцы могли выставить тот благовидный предлог, что это было единственной выгодой, какую они извлекли или могли когда-либо извлечь из существования у них наследственного государя, но тем не менее событие остается единственным в своем роде; оно было беспримерно и никогда не находило подражателей, а что оно могло случиться, это составляет резкий признак, по которому можно судить о состоянии общественного мнения и о чувствах той страны, в которой оно было допущено.

Несмотря, однако, на совершенную противоположность между Шотландией и Испанией относительно преданности престолу, между этими странами—довольно странно сказать—существует самое поразительное сходство относительно суеверия.

Оба народа предоставляли своему духовенству огромную власть и оба подчиняли свои действия, так же как и совесть, его авторитету. Естественное последствие этого — нетерпимость всегда была и до сих пор остается вопиющим злом в обеих этих странах; в делах религии выказывается обыкновенно изуверство, постыдное, конечно, для Испании, но еще более постыдное для Шотландии. Последняя произвела много истинно замечательных философов, которые охотно научили бы народ чему-нибудь лучшему; но им не удавалось искоренить в умах нации этот серьезный недостаток, осквернявший их и стремившийся нейтрализовать в них многие другие удивительные свойства.

Вот в чем заключается очевидная несообразность и действительная трудность истории Шотландии; знание не производило в ней тех результатов, которые следовали за ним в других странах; смелая, пытливая литература попала в грубо-суеверную страну и не могла ослабить ее суеверия; народ постоянно противился своим королям и столь же постоянно уступал своему духовенству, — либеральный в политике, он не был либерален в религии; и естественным последствием всего этого было, что люди, проявлявшие почти неслыханную сметливость и смелость в области внешних, видимых фактов, в сфере практической жизни, оказывались в жизни духовной, в предметах теории робкими агнцами, дрожащими перед своими пастырями, и соглашались со всякой слышанной ими нелепостью, лишь бы она исходила от их духовенства. Что такие противоположности могли совмещаться в одной нации, кажется с первого взгляда странным противоречием; и действительно, явление это достойно тщательного с нашей стороны изучения. Указать на причины такой аномалии и проследить результаты, к которым аномалия эта привела, будет задачей остальной части настоящего тома; и хотя исследование это будет несколько длинно, но я надеюсь, что оно не покажется скучным для того, кто убежден в важности подобного исследования и кто знает, до какой степени пренебрегли этим предметом даже люди, с особенной полнотой писавшие об истории шотландской нации.

В Шотландии, как и везде, на ход событий имела влияние физическая география страны; под этим я разумею не только особенности, непосредственно проявляющиеся в ней самой, но и ее отношение к смежным странам. Она лежит недалеко от Ирландии, примыкает к Англии и вследствие смежности своей с Оркнейскими и Шетлендскими островами была в высшей степени подвержена нападениям со стороны той великой нации пиратов, которая в продолжение целых столетий населяла Скандинавский полуостров. Сама по себе Шотландия есть страна гористая и бесплодная; природа перегородила ее такими препятствиями, что долго невозможно было установить правильные сообщения между ее различными частями; и в самом деле, в горной Шотландии это было сделано не ранее половины XVIII столетия³. Наконец, огромную важность имело, как мы

скоро увидим, и то обстоятельство, что самая плодородная местность Шотландии находится на юге ее и потому была постоянно опустошаема пограничными жителями Англии. Все это задерживало накопление богатства; возрастанию городов препятствовали те серьезные опасности, которым они постоянно подвергались; не было возможности развить в них тот муниципальный дух, который мог бы существовать, если бы округа, более благоприятствуемые природой, были расположены вместо юга на севере Шотландии. Если бы было наоборот, т. е. гористые местности находились на юге, а низменные — на севере, то едва ли можно сомневаться, что после прекращения в XIII столетии великих скандинавских нашествий самые плодородные части Шотландии, будучи сравнительно безопасны, сделались бы средоточием городов, которые деятельный дух народа довел бы до цветущего состояния, а процветание это внесло бы новый элемент в дела Шотландии и изменило бы ход шотландской истории. Этому, однако, не суждено было случиться; и так как нам приходится иметь дело с тем порядком вещей, какой оказался в действительности, то я постараюсь теперь проследить действие физических особенностей Шотландии, о которых я только что говорил, и, сопоставив их результаты, укажу по возможности, какое они имели вообще значение и каким путем они влияли на национальный характер.

Самый ранний факт, какой мы знаем в истории Шотландии, это вторжение римлян под предводительством Агриколы в конце I столетия. Но ни его завоевания, ни завоевания его преемников не произвели никакого прочного действия. Страна никогда не была действительно покорена; она только была занята войсками, и занятие это, несмотря на сооружения многочисленных укреплений, стен и валов, нисколько не сокрушили духа жителей. Даже Север, предпринявший в 209 г. последнюю и важную экспедицию против Шотландии, по-видимому, не проник за Морейский залив, и, как только он удалился, туземцы были опять при оружии и опять независимы. После этого ничего не было предпринималось в таких размерах, чтобы можно было ожидать какого-либо успеха. В самом деле, римляне не только не были способны предпринять что-либо подобное, но и сами начинали вырождаться; и в лучшие их дни их доблести были доблестями варваров, а теперь даже и этих свойств они почти лишились. С самого начала склад их жизни был так односторонен и несовершенен, что увеличение богатства, которое совершенствует цивилизацию действительно цивилизованных стран, было для римлян неисправимым злом; роскошь только развращала их, вместо того чтобы очищать их нравы. В наше время, сравнивая различные народы Европы, мы находим, что богатейший из них есть в то же время и самый могущественный, самый человечный и самый счастливый. Мы живем в том передовом состоянии общества, в котором богатство есть и причина, и действие прогресса, между тем как бедность есть обильный источник слабости, бедствия

и преступления; римляне же, перестав быть бедными, стали порочными. Основание их величия было так шатко, что те именно результаты, которых они достигли своим могуществом, были пагубны для этого же могущества. Их владычество дало им богатство, а их богатство ниспровергло их владычество. Их национальный характер, несмотря на его кажущуюся силу, был в сущности так беден содержанием, что рушился, не выдержав своего собственного развития. Он рос и мельчал в то же время. Вот почему в III и IV столетиях их власть над человечеством, видимо, ослабевала. Раз их авторитет пошатнулся, другие народы, конечно, выдвинулись вперед; так что нашествия тех неведомых племен, которые нахлынули с севера и появлению которых часто приписывают окончательную катастрофу, были скорее всего поводом, но ни в каком случае не причиной падения Римской империи. Все давно уже клонилось к этому великому и спасительному событию. Бичи и притеснители Вселенной, которых ложное и невежественное сочувствие облекло в благородные качества, никогда не принадлежавшие им, должны были теперь подумать о самих себе; и когда, отступая на всех пунктах, они в половине V столетия очистили от своих войск всю Британию, то это было с их стороны не более как движение, сделавшееся неизбежным в силу целого ряда обстоятельств, продолжавшихся в течение нескольких поколений.

С этого-то момента мы и начинаем различать действие тех физических и географических особенностей, которые, как я упомянул, имели влияние на судьбы Шотландии. В то время как римляне постепенно теряли почву, близость Ирландии вызывала беспрестанные нападения, направлявшиеся со стороны этого плодородного острова, богатая почва и важные естественные преимущества которого породили слишком многочисленное и потому самому беспокойное население. Излишек населения, который в цивилизованные времена ищет исхода в эмиграции, в варварские времена обращается к нашествиям. Таким образом ирландцы или скотты, как их называли, утвердились силой оружия на западе Шотландии и пришли в столкновение с пиктами, занимавшими восточную часть. Произошла смертельная борьба, которая продолжалась четыре столетия после удаления римлян и повергла страну в величайшее расстройство. Наконец, в половине IX столетия царь скоттов Кеннет Мак-Альпин одержал верх и принудил пиктов к совершенной покорности. Страна была теперь соединена под одним управлением, и завоеватели, мало-помалу поглощая завоеванных, дали свое имя целой стране, которая в X столетии получила наименование Шотландии.

Но королевству этому не суждено было успокоиться, ибо в то же время возникли разные обстоятельства,—о которых здесь было бы неуместно распространяться,—выработавшие из жителей Норвегии величайшую морскую нацию в Европе. То употребление, какое сделала эта нация пиратов из своей силы, составляет другое, весьма важное звено в истории Шотландии

и служит притом доказательством громадного значения, которое следует приписывать в ранний период развития общества чисто географическим условиям. Ближайшую землю в середине длинного берега Норвегии составляют Шетлендские острова, с которых легко переплыть и на Оркнейские. Северные пираты, естественно, захватили эти небольшие, но для них самые полезные острова и так же естественно сделали их промежуточными станциями, с которых им было удобно грабить берега Шотландии. Получая постоянные подкрепления из Норвегии, они в IX—X столетиях двинулись с Оркнейских островов, основали постоянные поселения в самой Шотландии и заняли не только Кэтнесс, но и большую часть Сетерланда. Другой отряд их завладел западными островами, и так как остров Скай отделяется от суши только весьма узким проливом, то эти пираты легко перешли через него и утвердились в западном Россе. Из своих новых оседлостей они вели непрерывную разрушительную войну со всеми округами, куда только могли проникать, и, держа большую часть Шотландии в постоянной тревоге в течение почти трех столетий, делали для нее невозможным всякое социальное улучшение. Действительно, эта несчастная страна никогда не избавлялась от опасности со стороны норвежцев до последнего неудачного нападения их в 1263 г., когда Гако отплыл из Норвегии с огромной флотилией, которую еще усилил подкреплениями с Оркнейских и с Гебридских островов. Шотландия могла оказать лишь слабое сопротивление. Гако со своими союзниками поплыл вдоль западного берега до Мулла Кентайрского, опустошил страну огнем и мечом, овладел Арраном и Бьютом, вступил в Клайдский залив, внезапно напал на Лох-Ломонд, истребил всякого рода собственность на его берегах и на его островах, разграбил все графство Стерлинг и грозил высадкой со всеми своими силами в Эршир. К счастью, суровость погоды расстроила эту великую экспедицию и рассеяла или истребила весь флот. После того изменившиеся обстоятельства Норвегии не дали уже более возобновиться этой попытке; а как скоро миновала для Шотландии опасность с этой стороны, можно было надеяться, что она станет теперь наслаждаться миром и будет иметь время для развития тех естественных средств, которыми она обладала, в особенности в южных округах, находящихся в наиболее благоприятных условиях.

Этому, однако, не суждено было случиться, ибо едва прекратились нападения со стороны Норвегии, как начались они со стороны Англии. В начале XIII столетия черты разграничения между норманнами и саксами в нашей стране стали до такой степени сглаживаться, что во многих случаях невозможно было различать их. В половине же этого столетия обе расы слились в один могущественный народ, и так как этот народ имел сравнительно слабого соседа, то, очевидно, сильнейшая нация должна была попытаться притеснить слабейшую. В невежественное и варварское время успехи на войне предпочитают всякому

другому роду славы; и англичане, жажда завоеваний, обратили свои взоры на Шотландию в полной уверенности, что овладеют ею при первом удобном случае. Их соблазняла уже самая близость этой страны, а предполагаемая беззащитность ее делала невозможным устоять против соблазна. В 1290 г. Эдуард I решил воспользоваться смятением, в которое повергнута была Шотландия спорами о престолонаследовании. Нет нужды рассказывать, какие за этим последовали интриги; достаточно сказать, что в 1296 г. меч был обнажен, и Эдуард вторгнулся в страну, которую давно желал завоевать. Но он не сообразил, сколько миллионов денег и сколько сот тысяч жизней придется потратить, прежде чем кончится эта война⁴. Началась борьба, неслыханная по своей жестокости и продолжительности. В течение этого грустного периода шотландцы, несмотря на свое геройское сопротивление, несмотря на те победы, которые им случалось по временам одерживать, должны были испытать всякое зло, какое были в состоянии причинить им их гордые и дерзкие соседи. Любимой мечтой англичан было подчинить себе шотландцев, и если что и могло еще более обесславить такое низкое предприятие, так это его постыдная неудача. Тем не менее понесенные потери были громадны и усиливались еще тем важным фактом, что именно самая плодородная часть Шотландии подверглась опустошениям со стороны англичан. Это, как мы сейчас увидим, имело довольно любопытное действие на национальный характер, и потому, не входя в излишние подробности, я сделаю краткий перечень ближайших последствий этой долгой и кровавой борьбы.

В 1296 г. англичане вступили в Берик, богатейший город Шотландии, и не только истребили всю собственность, но убили почти всех жителей. Потом они двинулись на Абердин и Элгин и до такой степени опустошили страну, что шотландцам, бежавшим в горы и лишенным всего, что имели, оставалось только одно — из своих родных твердынь вести войну, подобную той, какую вели двенадцатью столетиями ранее их дикие предки против римлян. В 1298 г. англичане опять ворвались, сожгли Перт и Сент-Эндрюс и опустошили всю территорию к югу и западу. В 1310 г. они напали на Шотландию с восточной стороны и, захватив все, какие оставались там, продовольственные запасы, произвели такой страшный голод, что народ был вынужден питаться лошадьми и разной падалью. По всей Южной Шотландии, на востоке и на западе, жители были приведены в ужасное положение — большая часть их была без крова, без пищи. В 1314 г., доведенные до отчаяния, они соединили на минуту свои силы и в сражении при Баннокберне блестящим образом разбили своих притеснителей. Но их непреклонный враг был постоянно наготове и теснил их так сильно, что в 1322 г. Брюс, чтобы воспрепятствовать вторжению англичан, был вынужден опустошить все округа к югу от Фортского залива; народ же по-прежнему спасся в горы. Вот почему на этот раз Эдуард II

достиг Эдинбурга, ничего не разграбив; в стране, обращенной в пустыню, грабить было нечего, но на обратном пути он сделал все, что мог; встретив монастыри, единственные места, где оставались признаки жизни, он напал на них, ограбил монастыри Мельрозский и Голирудский, сжег аббатство Драйбургское и умертвил тех монахов, которые по старости или болезни не в состоянии были убежать. В 1336 г. преемник его, Эдуард III, снарядил многочисленную армию, опустошил низменную и значительную часть горной Шотландии и истребил все, что попадалось ему по пути до самого Инвернесса. В 1346 г. англичане опустошили округа Твиддэль, Мерс, Эттрик, Аннандэль и Гэллоуэй. В 1353 г. было еще более варварское вторжение, во время которого Эдуард жег всякую церковь, всякую деревню и всякий город, какие только встречались ему. И едва оправилась несколько Шотландия от этих страшных потерь, как над несчастной страной разразилась новая буря. В 1385 г. Ричард II прошел по южным графствам до Абердина, распространяя повсюду опустошение, и сжег дотла города Эдинбург, Данфермлин, Перт и Данди.

Эти бедствия прерывали повсюду занятия земледелием, которое во многих местах прекратилось на несколько поколений. Земледельцы или бежали, или были умерщвлены; и так как некому было возделывать землю, то некоторые из красивейших местностей Шотландии обратились в пустыни, поросшие терновником и густыми кустарниками. В промежутки между нашествиями немногие из жителей, ободрившись, спускались с гор и строили жалкие лачуги на месте прежних своих жилищ. Но и тут они бывали преследуемы до самых своих дверей волками, ищущими пищи и взбесившимися от голода; если же и избавлялись от голодных лютых зверей, то все-таки им и семействам их угрожала опасность еще более ужасная. В эти страшные дни, когда всюду кругом свирепствовал голод, отчаяние испортило сердца людей и влекло их к нового рода преступлению. В стране нашлись каннибалы, и мы знаем из одного современного источника, что один человек и его жена, попавшиеся наконец в руки правосудия, существовали в продолжение долгого времени тем, что ловили в западни живых людей, пожирали их мясо и пили их кровь⁵.

Так прошло XIV столетие. В пятнадцатом опустошительные нападения англичан стали сравнительно реже; и хотя границы были все еще театром постоянных враждебных действий, но после 1400 г. не было примера, чтобы кто-либо из наших королей вторгнулся в Шотландию. Когда положен был конец этим разбойничьим экспедициям, превратившим страну в пустыню, Шотландия перевела дух и начала восстанавливать свои силы⁶. Но хотя материальные потери и пополнялись постепенно, хотя снова обрабатывались поля и отстраивались города, были, однако, другие последствия, которые труднее было исправить и от которых долго страдал народ, а именно: непомерное могущество дворян и отсутствие муниципального духа. Сила

дворян и слабость горожан составляют главнейшие особенности Шотландии в течение XV и XVI столетий, и непосредственной причиной их были, как я сейчас покажу, опустошения, произведенные английскими войсками. Мы увидим, кроме того, что такое стечение обстоятельств увеличивало значение духовенства, ослабляло влияние мыслящих классов и давало суеверию больший перевес, чем оно имело бы при других условиях. Таким образом в Шотландии, как и во всех других странах, все тесно связывается одно с другим; нет ничего случайного, а всем управляют общие причины, которые по своей обширности и отдаленности часто ускользают от внимания, но, раз признанные, оказываются носящими отпечаток простоты и однообразия, составляющих неизменную характеристику высших истин, до каких доходил ум человека.

Первое условие, благоприятствовавшее возвышению дворян, заключалось в физическом образовании страны. Горы, болота, озера и топи, только с помощью новейшего искусства, и то недавно, сделавшиеся доступными, давали великим шотландским вождям такие убежища, в которых они могли безнаказанно противиться власти короны⁷. Притом бедность почвы делала затруднительным продовольствие армий, и уже по этой одной причине королевские войска были часто не в состоянии преследовать противозаконные действия непокорных баронов⁸. В продолжение XIV столетия Шотландия была постоянно опустошаема англичанами, а в промежутки между их нашествиями было бы совершенно безнадежным предприятием со стороны какого-нибудь короля пытаться укротить таких могущественных подданных; ему пришлось бы двигаться по округам, до такой степени опустошенным неприятелем, что они не производили уже и самых простых жизненных припасов. Кроме того, война с англичанами ослабляла авторитет короны как вообще, так и относительно дворян. Ее родовые земли, лежавшие на юге, были беспрестанно опустошаемы пограничными жителями Англии и к половине XIV столетия значительно уменьшились в своей ценности. В 1346 г. Давид II попал в руки англичан, и в продолжение его одиннадцатилетнего плена дворяне делали, что хотели, и усвоили себе, как говорит один историк, титул и манеры государей. Чем более длилась война с Англией, тем сильнее чувствовались эти последствия, так что к концу XIV столетия некоторые из знатнейших шотландских фамилий так высоко поставили себя, что очевидно можно было ожидать одного из двух: или смертельной борьбы между ними и короной, или что исполнительному правительству придется отказаться от самых существенных из своих отправлений и оставить страну в добычу этим своекорыстным, свирепым вождям⁹.

При этом кризисе естественными союзниками трона могли бы быть горожане и жители местечек, так как в большей части европейских стран они были ревностными и решительными противниками дворян, которые по привычке к своеволию не только

вмешивались в их торговлю и мануфактурную промышленность, но даже касались их личной свободы. Но и в этом отношении продолжительная война с Англией была благоприятна для шотландской аристократии. Завоеватели опустошали южные части Шотландии, единственные сколько-нибудь плодородные местности, и потому города не могли процветать в местах, предназначенных для них самой природой. Не было больших городов, не было и убежища для горожан и не могло быть муниципального духа; а оттого что не было этого духа, корона была лишена того великого средства, которое дало возможность английским королям обуздывать могущество дворян и наказывать самоуправство, которое долго препятствовало прогрессу общества.

В течение средних веков шотландские города были до такой степени лишены всякого значения, что о них сохранилось очень мало сведений; современные писатели сосредоточивали все свое внимание на деятельности дворян и духовенства. Относительно же народа, находившего убежище в тех жалких городах, какие тогда существовали,—и самые лучшие свидетельства весьма неполны; известно, однако, что во время продолжительных английских войн жители обыкновенно бежали с приближением неприятеля, и жалкие лачуги, в которых они жили, сжигались до основания. От этого народонаселение приобретало подвижный, бродячий характер, который не давал образоваться привычке к постоянной промышленности, и таким образом не существовало одной из причин, побуждающих людей соединяться в общества. Это в особенности замечалось в южной, низменной Шотландии; на севере же существовало другое, не менее страшное зло. С одной стороны, дикие горцы, жившие исключительно грабежом, с другой—нередко присоединялись к ним морские разбойники с западных островов. Все, что хотя сколько-нибудь намекало на богатство, в высшей степени возбуждало их алчность; если они знали, что человек имеет собственность, ими непременно овладевало непреодолимое желание украсть ее; а после воровства величайшим наслаждением для них было все истреблять. Абердин и Инвернесс были особенно подвержены их нападениям, и Инвернесс в продолжение XV столетия два раза был истреблен огнем; ему приходилось, кроме того, уплачивать в разные времена тяжелые выкупы, чтобы спастись от подобной же участи.

Ввиду таких опасностей как на севере, так и на юге Шотландии мирная промышленность была невозможна ни в одной из частей этой страны. Нигде нельзя было построить город, которому не угрожала бы опасность немедленного разрушения. Вот почему в течение многих столетий там не было никаких мануфактур; едва ли существовала даже какая-нибудь промышленность, и торговля почти ограничивалась меной¹⁰. Некоторые из самых простых искусств там не были известны. Шотландцы не умели даже готовить того оружия, которым сражались. Это искусство у такого воинственного народа могло

бы приносить большие выгоды, но шотландцы были так невежественны, что в начале XV столетия большая часть их амуниции приготавлилась за границей, равно как и их копья, луки и стрелы; наконечники же копий и стрел исключительно вывозились из Фландрии¹¹. Фламандские ремесленники доставляли шотландцам даже обыкновенные земледельческие принадлежности, например повозки и тачки, которые около 1475 г. привозились из Нидерландов. Что же касается искусств, служащих признаком некоторой степени утонченности, то их как в то время, так и долго спустя еще совершенно не знали¹². До XVII столетия в Шотландии вовсе не приготавливали стекла и не выделявали мыла. Даже высшие классы граждан считали бы нелепостью иметь окна в своих бедных жилищах¹³, а так как они держали одинаково грязно и свои дома, и свое тело, то спрос на мыло был слишком ничтожен, чтобы заставить кого-либо заняться приготвлением этого вещества¹⁴. Другие ветви промышленности находились также в отсталом состоянии. Искусство дубления кож впервые было введено в Шотландии в 1620 г.; и утверждают, основываясь, по-видимому, на достоверном свидетельстве, что до половины XVIII века там вовсе не изготовляли бумаги.

Среди такого всеобщего застоя самые цветущие города были, как легко можно представить себе, весьма слабо населены. И действительно, людям так мало было дела, что если бы они собрались в большом числе, им пришлось бы голодать. Глазго есть один из древнейших городов Шотландии — утверждают, что он основан около VI столетия. Во всяком случае в XII столетии это был, по понятиям того времени, богатый, цветущий город, пользовавшийся правом иметь и рынок, и ярмарку. Он имел также муниципальные учреждения и был управляем своими собственными городскими головами и старшинами. Но даже и этот прославленный город не вел никакой торговли до самого XV столетия, когда жители его начали солить и вывозить лососину. Это была единственная отрасль промышленности, с какой был знаком Глазго. Поэтому нам не следует удивляться, слыша, что до половины XV столетия все население его не превышало полторы тысячи человек, все богатство которых заключалось в небольшом количестве скота и в нескольких акрах дурно обработанной земли. Другие города, хотя и носившие знаменитые названия, были в таком же отсталом состоянии еще до более позднего времени. Данфермлин связан со многими историческими воспоминаниями; он был любимой резиденцией шотландских королей, и в нем собиралось много шотландских парламентов. Подобные события дают, как обыкновенно считается, известное право на отличие; но иллюзия исчезает, когда мы поподробнее исследуем состояние того места, где они совершились. Несмотря на всю пышность, окружавшую государей и законодателей, Данфермлин, который в конце XIV столетия был еще бедной деревней, составленной из деревянных хижин, так мало подвинулся вперед в начале семнадцатого столетия, что

все его население, включая и бедные предместья, не превышало тысячи человек. Для шотландского города и это было много. Около того же времени Гринок, как уверяют нас, был деревней, состоящей из одного ряда домиков, обитаемых бедными рыбаками. Килмарнок, составляющий в настоящее время важное средоточие промышленности и богатства, в 1668 г. заключал в себе от пяти до шести сот жителей. Даже самый Пэсли в 1700 г. имел население, которое, по самому широкому исчислению, не доходило до трех тысяч.

Абердин, столица севера, считался одним из влиятельнейших шотландских городов и возбуждал в течение средних веков немало зависти своим могуществом и своим значением. Но слова эти, как и всякие другие, справедливы лишь относительно и должны быть понимаемы различно в различные эпохи. Мы, конечно, не будем особенно поражены величию этого города, когда узнаем из вычислений, основанных на таблицах смертности, что еще в 1572 г. он мог похвалиться только населением около 2900 душ¹⁵. Такой факт рассеет многие мечтания касательно старинных шотландских городов, особенно если принять в соображение, что он относится к такой эпохе, когда средневековая анархия уже исчезла и Абердин уже некоторое время пользовался разными улучшениями. Этот город — если только можно назвать городом такое жалкое скопище людей — был тем не менее одним из самых населенных мест Шотландии. С XIII и до конца XVI столетия нигде более не было собрано в одном месте столько шотландцев, кроме Перта, Эдинбурга и, пожалуй, Сент-Эндрюса. Об этом последнем городе я не мог найти никаких точных сведений, но о Перте и Эдинбурге сохранились кое-какие особенности. Перт был долгое время столицей Шотландии и, даже лишившись этого первенства, все-таки слыл вторым городом в государстве. Богатство его считалось чем-то удивительным, и всякий порядочный шотландец гордился им как одним из главных украшений страны. Но по вычислению, недавно сделанному одним из людей, пользующимся значительным авторитетом в этого рода вопросах, все население этого города в 1585 г. не доходило до 9000 душ. Это, конечно, удивит многих из читателей, а между тем, судя по тогдашнему состоянию общества, следует собственно удивиться не тому, что в Перте было так мало жителей, а тому, что их было столько. Ибо самый Эдинбург, несмотря на пребывание в нем должностных лиц и многочисленной свиты, всегда соединяющееся с присутствием двора, имел в конце XVI столетия не более 16 000 жителей. О том, в каком состоянии были эти жители, оставил нам кое-какие сведения один из современных наблюдателей. Фруассар, посетивший Шотландию и записывавший все, как виденное, так и слышанное им, изображает в самом плачевном виде тогдашнее положение дел. Дома Эдинбурга были просто лачуги, покрытые соломой и хворостом, и строились так непрочко, что когда который-либо из них разрушался, то на отстройку его требовалось не более трех

дней. Что же касается их обитателей, то Фруассар, человек далеко не склонный к преувеличениям, уверяет нас, что французы, пока не увидали их, не могли представить себе таких лишений и только тогда поняли, что такое настоящая бедность.

С того времени произошли, конечно, значительные улучшения, но они шли медленно, и даже в конце XVI столетия там почти не знали еще искусной работы и честная промышленность находилась во всеобщем пренебрежении. Поэтому неудивительно, что горожане, люди бедные, жалкие и невежественные, часто покупали покровительство какого-нибудь могущественного дворянина ценой той слабой даже независимости, какую они могли еще сохранить. Немногие из шотландских городов осмеливались избирать своих главных должностных лиц из среды собственных граждан; обыкновенно бывало так, что они выбирали в головы или старшины соседнего пэра¹⁶. Даже часто случалось, что такие должности делались наследственными, и на них смотрели как на законную принадлежность той или другой аристократической фамилии. Перед главой такой фамилии все преклонялось. Авторитет его был так несомненен, что обида, причиненная даже кому-либо из его свиты, считалась как бы нанесенной ему самому. Представители города, посылавшиеся в парламент, были в совершенной зависимости от аристократа, управлявшего городом. Почти до новейших времен в Шотландии не было настоящего народного представительства. Так называемые народные представители должны были подавать голоса, как им было приказано; они были на самом деле уполномоченными аристократии, и так как у них не было своей собственной палаты, то они заседали и обсуждали дела среди своих могущественных повелителей, которые открыто стращали их¹⁷.

При таких обстоятельствах напрасно корона стала бы ожидать помощи от корпорации людей, которые сами не имели никакого влияния и жалкие привилегии которых держались только тем, что их терпели. Но был другой класс, чрезвычайно могущественный, к которому и обратились шотландские короли,—это именно духовенство. Обе стороны имели одинаковый интерес в ослаблении дворянства, и это повело к союзу между церковью и короной против аристократии. В течение долгого периода и даже до последней половины XVI столетия короли почти постоянно покровительствовали духовенству и всевозможными средствами увеличивали его привилегии. Реформация разрушила этот союз и вызвала новые комбинации, о которых я сейчас буду говорить. Но пока союз существовал, он приносил большую пользу духовенству, сообщая притязаниям его законную санкцию и делая из него в глазах общества как бы опору порядка и законного правительства. Последствия, однако, ясно доказали, что дворянство было более чем в состоянии совладать с враждебным ему союзом. Ввиду непомерного могущества этого сословия, удивительно только одно, как могло духовенство так долго выдерживать эту борьбу,— оно было собственно ниспрове-

ргнуто только в 1560 г. Что борьба будет так упорна и протянется столько времени,— вот чего с первого взгляда никто не мог себе представить. Причину этого я сейчас попытаюсь объяснить. Я надеюсь доказать, что в Шотландии существовал целый ряд общих причин, обеспечивших духовному сословию громадное влияние и давших ему возможность не только бороться с самой могущественной аристократией в Европе, но даже после того, как оно было, по-видимому, окончательно побеждено, восстать с новой, большей чем когда-либо, бодростью и силой приобрести наконец в качестве протестантских проповедников авторитет, нисколько не уступавший тому, каким оно пользовалось в качестве католических священников.

Из всех протестантских стран, конечно, в Шотландии обстоятельства всего долее и в высшей степени благоприятствовали интересам суеверия. Каким образом интересы эти поддерживались в XVII и XVIII столетиях, это я расскажу после; теперь же я намерен исследовать причины их раннего преуспевания и показать, что они не только имели связь с Реформацией, но даже сообщили этому великому событию некоторые особенности, в высшей степени замечательные и прямо противоположные тому, что произошло в Англии.

Если читатель усвоил себе все, что мной было уже доказано в другом месте¹⁸, то он припомнит, что двумя главными источниками суеверия бывают невежество и опасность; что невежество лишает людей возможности узнать естественные причины явлений, а опасность заставляет их обращаться к причинам сверхъестественным, или—выражая то же положение другими словами—чувство раболепия, одно из проявлений которого составляет суеверие, есть продукт удивления и страха¹⁹; и очевидно, что удивление находится в связи с невежеством, а страх—с опасностью²⁰. Вот почему все, что в какой-либо стране увеличивает общий итог случаев, возбуждающих удивление или рождающих опасность, ведет прямо и к увеличению суеверия, а следовательно, и к усилению власти духовенства.

Прилагая эти основные начала к Шотландии, мы будем в состоянии объяснить многие факты в истории этой страны. Начнем с того, что в ней явления природы представляют разительную противоположность с природой Англии и что они в гораздо большей степени способны поселить в невежественном народе жестокое, упорное суеверие. Бури и туманы, мрачное небо, рассекаемое частыми молниями, удары грома, со всех сторон отражающиеся в бесконечных раскатах по горам, опасные ураганы, жестокие шквалы, пробегающие по бесчисленным озерам, которыми испещрена вся страна, стремительные горные потоки, преграждающие дорогу путешественнику,— все это удивительно не похоже на те более безвредные и менее резкие явления, среди которых английский народ развивал свое благосостояние и воздвигал свои величественные города. Даже верование в волшебство, мрачнейшее из суеверий, осквернявших когда-

либо человеческий ум, не осталось без влияния этих особенностей. Справедливо было замечено, что, по старинному английскому поверью, колдунья была жалкая, дряхлая старуха, скорее раба, чем повелительница, злых духов, с которыми она имела общение, между тем как в Шотландии ее возводили в достоинство мощной волшебницы, управляющей злыми духами и заставляющей их исполнять ее волю; поэтому она распространяла в народе более глубокий и постоянный страх.

Подобное же действие имели и те непрерывные войны, которым подвергалась Шотландия, и в особенности опустошения, произведенные в ней англичанами в четырнадцатом столетии. Какая бы религия ни была господствующей, влияние служителей ее всегда неминуемо усиливается во время долгой и опасной войны, превратности которой смущают умы людей и заставляют их, когда естественные средства не помогают, призывать на помощь сверхъестественные. В подобных случаях значение духовенства возрастает, церкви более чем когда-либо наполняются народом, и священник выступает вперед как толкователь воли Божией: принимая тон авторитета, он или утешает народ в понесенных потерях правотой защищаемого им дела, или объясняет ему, что потери эти от Бога посланы в наказание за грехи и в предостережение, что он не довольно тщательно исполнял свои религиозные обязанности, другими словами, что он пренебрегал теми обрядами и церемониями, в соблюдении которых сам священник имел личный интерес.

Неудивительно поэтому, что в четырнадцатом столетии, когда бедствия Шотландии достигли высшей степени, духовенство ее более чем когда-либо процветало; по мере того как вся страна беднела, духовное сословие становилось богаче сравнительно с остальной частью нации. Даже в пятнадцатом и в первой половине шестнадцатого столетия, когда промышленность начинала несколько подвигаться вперед, при всем улучшении состояния мирян имущество всех сословий, взятое вместе, как уверяют нас, едва могло равняться богатству духовенства. Если иерархия предавалась такому грабительству и имела такой успех в период сравнительной безопасности, то трудно представить себе в слишком преувеличенном виде, какие громадные жатвы она должна была собирать в то раннее время, когда опасность была более близка, когда никто почти не умирал, не завещав чего-либо церкви; все старались заявить о своем уважении к тем, которые знали более, чем их собратия, и молитвы которых могли отвратить зло в настоящем и обеспечить блаженство в будущем²¹.

Другим последствием этих нескончаемых войн было то, что большая чем когда-либо пропорция населения стала обращаться к духовной профессии, так как в ней одной представлялась какая-нибудь возможность спасения; монастыри в особенности наполнялись людьми, надеявшимися, хотя часто тщетно, укрыться в них от огня и меча, которым подвергалась Шотландия. Когда

в пятнадцатом столетии страна начала оправляться от этих опустошений, то при отсутствии мануфактур и торговли лучший путь к богатству открывало духовное звание. Следовательно, люди мирные искали в нем безопасности, а честолюбцы — вернейшего средства к достижению отличий.

Итак, отсутствие больших городов и свойственной им отрасли промышленности сделало духовное сословие более многочисленным, чем оно было бы при других обстоятельствах; и всего замечательнее то, что не только возрастала численность духовенства, но увеличилось также и расположение народа повиноваться ему. Земледельческий класс, от природы и по самым условиям своей ежедневной жизни, более суеверен, чем промышленный, потому что явления, с которыми он имеет дело, более таинственны, т. е. труднее обобщаются и предусматриваются²². Вот почему вообще жители земледельческих округов относятся с большим уважением к учению своего духовенства, чем жители округов, занимающихся мануфактурной промышленностью. Поэтому-то возрастание городов было главной причиной ослабления власти духовенства; и тот факт, что до восемнадцатого столетия в Шотландии не было ничего, что заслуживало бы имя города, есть одно из многих обстоятельств, которыми объясняется преобладание в ней суеверия и чрезмерное влияние шотландского духовенства.

К этому мы должны прибавить еще одно довольно важное соображение. Частью физические условия страны, частью слабость короны, а частью и необходимость для жителей быть постоянно вооруженными для отражения нападений извне способствовали развитию свойственных первобытному состоянию общества грабительских наклонностей, а следовательно, и упрочивали царство невежества. Учились немногому, не знали ничего. До пятнадцатого столетия в Шотландии не было даже ни одного университета, — первый основан был в Сент-Эндрюсе в 1412 г. Дворяне в промежутки времени, когда не бывало войны с неприятелем, занимались тем, что дрались между собой и захватывали друг у друга стада²³. Так велико было их невежество, что даже в конце четырнадцатого столетия не случалось, говорят, примера, чтобы шотландский барон был в состоянии подписать свое имя²⁴. А так как ничего похожего на среднее сословие в то время еще не образовалось, то из этого мы можем составить себе понятие о той сумме знаний, какой должен был обладать весь народ²⁵. Все умы должны были быть погружены в такой мрак, который в настоящее время мы с трудом представляем себе. Так как не занимались ни ремеслами, ни искусствами, требующими умения или сноровки, то не было ничего, что развивало бы умы людей. Они поэтому оставались в состоянии такой бессмысленности и грубости, что один остроумный наблюдатель, посетивший Шотландию в 1360 г., сравнивает их с дикими — так сильно поразило его их варварство и их необщительность. Другой писатель в начале пятнадцатого столетия говорит о них то же самое,

ставя их наряду с животными, которых они пасли; он объявляет, что в Шотландии больше диких людей, чем стад.

При таком сочетании событий и таком соединении невежества с опасностью духовенство в пятнадцатом столетии приобрело в Шотландии больше влияния, чем в какой-либо другой стране Европы, за исключением одной Испании. А так как почти с такой же быстротой возрастало и могущество дворянства, то естественно, что корона, совершенно затмеваемая сильными баронами, прибегла к помощи церкви. В течение пятнадцатого, а частью и шестнадцатого столетия союз этот тщательно поддерживался, и политическая история Шотландии представляет историю борьбы королей и духовенства против громадного авторитета дворян. Борьба эта, продолжавшаяся около ста шестидесяти лет, окончилась в 1560 г. торжеством аристократии и ниспровержением церкви. Но в силу обстоятельств, только что рассказанных мною, суеверие так глубоко запало в характер шотландского народа, что духовное сословие быстро оправилось и под новым именем протестантов стало не менее грозно, чем было под прежним именем католиков. Спустя сорок три года после водворения Реформации в Шотландии Яков VI, вступив на престол Англии, имел возможность соединить силы Южной Шотландии против непокорных баронов Северной. С этой минуты шотландская аристократия стала падать, а с удалением силы, уравновешивавшей влияние духовенства, последнее сделалось так могущественно, что в течение семнадцатого и восемнадцатого столетий было самым сильным препятствием прогрессу Шотландии, и даже до сих пор оно пользуется таким преобладанием, которое совершенно непостижимо для того, кто не изучал тщательно длинный ряд предшествовавших обстоятельств. Проследить до малейшей подробности весь ход событий, приведших к этому грустному результату, было бы несогласно с планом настоящего введения, единственная цель которого — установить обширные общие начала.

Но для того чтобы читатель яснее представлял себе весь вопрос, мне необходимо будет сделать краткий очерк отношения дворянства к духовенству в течение пятнадцатого и шестнадцатого столетий и указать в нем, каким образом из относительного положения этих сословий и их непримиримой ненависти друг к другу возникла Реформация. Этим путем мы узнаем, что великое протестантское движение, имевшее в других странах характер демократический, в Шотландии было чисто аристократическое; мы увидим также, что в Шотландии Реформация, не будучи делом народа, никогда не имела того действия, какого можно было ожидать от нее и какое она произвела в Англии. И в самом деле, более чем очевидно, что между тем как в Англии протестантизм уменьшил суеверие, ослабил духовенство, усилил веротерпимость, одним словом, доставил торжество светским интересам над духовными, в Шотландии он привел к результатам совершенно противоположным; что в этой стране церковь, изме-

нив форму, но не изменив духа, не только осталась верна своим старинным притязаниям, но, к несчастью, сохранила и свое прежнее могущество и что хотя могущество это теперь и исчезает, но шотландские проповедники все-таки выказывают везде, где это только возможно, надменный властолюбивый дух, свидетельствующий о том, сколько скрывается еще действительной слабости в народе, у которого такие нелепые притязания не замолкают сразу, повинувшись голосу общего громкого осмеяния.

ГЛАВА III

Состояние Шотландии в XV и XVI столетиях

В начале XV столетия существование союза между короной и церковью и решимость этого союза ниспровергнуть дворянство стали очевидны. Признаки этого можно ясно проследить в политике Альбани, который был правителем королевства с 1406 по 1419 г. и поставил себе главной задачей покровительствовать духовенству и поддерживать его влияние. Он же первый из всех правителей осмелился нанести решительный удар аристократии. Дональд, который был одним из могущественнейших шотландских вождей и по владению западными островами даже пользовался почти совершенной независимостью, захватил графство Росс, которое, если бы он был в силах удержать его за собой, давало бы ему возможность открыто противиться короне. Альбани, поддерживаемый церковью, вступил в его владения в 1411 г. и заставил Дональда отказаться от захваченного графства, лично подчиниться короне и дать заложников в своем будущем образе действий. Такая энергичная выходка со стороны исполнительной власти была делом в высшей степени непривычным в Шотландии¹; с этого начался целый ряд нападений на дворянство, которые окончились тем, что корона приобрела в свою собственность не только Росс, но и западные острова. Политике, введенной Альбани, следовал с еще большей энергией Яков I. В 1424 г. этот храбрый и деятельный государь выхлопотал парламентское постановление, обязывавшее многих из дворян предъявить свои хартии для приведения в известность, какие из их земель принадлежали прежде короне². А чтобы снискать любовь духовенства, он снабдил в 1425 г. епископа Сент-Эндрюсского полномочием возвращать церкви все, что было отчуждено из ее владений, и в то же время повелел, чтобы суды оказывали со своей стороны содействие к приведению в исполнение этого распоряжения. Это случилось в июне, и что мера эта была в связи с известным общим планом, видно из того, что предшествовавшей весной король внезапно арестовал в парламенте, собравшемся в Перте, с лишком двадцать человек знатнейших дворян, из которых четырех казнил, а у многих конфисковал имения. Два года спустя, потребовав с таким же вероломством к себе в Инвернесс вождей горной Шотландии, он наложил и на них руку — троих казнил, а с лишком сорок человек подверг заключению в различных местах государства.

С помощью подобных мер и поддерживая церковь с таким же усердием, с каким нападал на дворян, король думал извратить порядок вещей, издавна установившийся, и обеспечить верховное господство трона над аристократией³. Но он не рассчитал, что

такое дело ему не по силам. Подобно почти всем политикам, он слишком преувеличивал значение политических средств. Законодатель и судья могут только на время парализовать зло, но не окончательно излечить от него. Общие недуги зависят от общих причин, а эти последние недосягаемы для искусства политиков. Они могут действовать на симптомы болезни, самая же болезнь не поддается их усилиям и слишком часто даже сильнее разыгрывается от их лечения. В Шотландии могущество дворян было жестокой язвой, снедавшей жизненные силы нации; но оно подготавливалось задолго; это было расстройство хроническое; оно вошло в нравы и могло быть устранено только временем, но не насильственными средствами. Напротив того, в этом деле, как и во всяком другом, как только политики станут стремиться к великому благу, они неизменно причиняют великое зло. Избыток давления с одной стороны вызывает сопротивление с другой — и равновесие механизма нарушается. Столкновение враждебных интересов угрожает опасностью всему строю жизни. Возжигаются новые вражды, старые разыгрываются с большим ожесточением, и весьма естественные несогласия и разногласия усиливаются единственно потому, что люди, призванные управлять человечеством, никак не хотят понять, что, управляя обширной страной, они имеют дело с организмом до такой степени тонким, сложным и вместе с тем темным, что, какое бы они ни сделали в нем изменение, оно легко может оказаться несвойственным. В то время как они употребляют в высшей степени рискованные средства, чтобы защитить или подкрепить ту или другую из частей этого организма, он обладает несомненной способностью сам исправлять свои повреждения; и чтобы привести эту способность в действие, необходимы только время и свобода, которых слишком часто лишает ее вмешательство могущественных личностей.

Так было в Шотландии в XV столетии. Попытки Якова I не удались, потому что это были частные меры, направленные против общих зол. Идеи и понятия, порожденные длинным рядом событий и глубоко укоренившиеся во всех умах, доставили аристократии громадное значение; и если бы все до одного дворяне в Шотландии были умерщвлены, все замки их срыты до основания и все имения конфискованы, то все-таки пришлось бы, без сомнения, такое время, когда преемники их сделались бы более чем когда-либо влиятельны, потому что привязанность к ним их вассалов и их слуг еще более усилилась бы вследствие постигшей их несправедливости. Всякая страсть возбуждает противоположное ей чувство. Сегоднешняя жестокость завтра вызывает симпатию. Негодование, возбуждаемое несправедливостью, способствует более, чем что-либо другое, к изглажению всяких неровностей в жизни и к поддержанию равновесия в делах. Это отвращение к тирании, возбуждая до крайней глубины самые теплые чувства человеческого сердца, делает именно невозможным, чтобы тирания когда-либо окончательно восторжествовала.

Вот истинно благородная сторона нашей природы, вот то свойство наше, которое, будучи запечатлено божественной красотой, обличает свое неземное происхождение и, предохраняя нас от самых отдаленных случайностей, служит вернейшим ручательством, что насилие никогда окончательно не восторжествует, что рано или поздно деспотизм будет всегда ниспровергнут и что великие неизменные интересы рода человеческого никогда не пострадают от преступных замыслов людей несправедливых.

С Яковом I случилось так, что реакция наступила ранее, чем можно было ожидать ее; она началась еще при его жизни и потому была столько же возмездием, сколько и реакцией. В течение нескольких лет продолжал он безнаказанно угнетать дворян; но в 1436 г. они восстали против него, и он поплатился жизнью за то обращение, которому подвергал многих из них. Теперь могущество их возросло с такой же быстротой, с какой до того оно падало. На юге Шотландии были всецельны Дугласы, и один граф из этой фамилии имел такие же доходы, как сама корона. Чтобы показать, что значение его равносильно его доходам, он явился на свадьбу Якова II со свитой из пяти тысяч человек. И все это были его собственные люди, народ вооруженный и решительный, обязанный повиноваться малейшему приказанию его. И нельзя сказать, чтобы шотландский дворянин должен был прибегать к каким-либо принуждениям для достижения такого послушания. Подчиненность эта была добровольная; она была совершенно в нравах шотландского народа. В то время и долго спустя считалось столько же бесчестным, сколько и опасным, делом не принадлежать к какому-нибудь обширному клану; и те, которым не посчастливилось пристать к какой-либо из первейших фамилий, имели обыкновение принимать имя какого-нибудь начальника и снискивать его покровительство, посвящая себя его службе.

Чем был граф Дуглас на юге Шотландии, тем же были графы Крофорд и Росс на севере. И сам по себе каждый из них был уже страшен, а когда они действовали заодно, то, казалось, ничто не могло противиться им. Поэтому когда в половине XV столетия они действительно соединились, образовав тесный союз против их общих врагов, то трудно было сказать, где был предел их могуществу и оставалось ли какое-нибудь другое средство для правительства, как посеять между ними раздор.

Но в то же время расположение дворянства употребить открытую силу против правительства было еще более увеличено новыми насилиями. Правительство, вместо того чтобы видеть для себя предостережение в участи, постигшей Якова I, подражало его бесцеремонным действиям и следовало той самой политике, которая привела его к гибели. Так как Дугласы были самые могущественные из всех знатных фамилий, то решено было казнить смертью старших из этого рода, а как их нельзя было взять открытой силой, то пришлось умертвить их обманом.

В 1440 г. граф Дуглас, пятнадцатилетний мальчик, и брат его, еще моложе, дружески приглашены были в гости к королю в Эдинбург. Лишь только они приехали туда, как их схватили по приказанию канцлера, подвергли их будто бы суду и, признав виновными, поволокли на двор эдинбургского замка, где бедным мальчикам отрубили головы⁴.

Зная чувство пылкой привязанности шотландцев к их вождам, трудно преувеличить последствия этого варварского убийства для усиления того класса, который этим путем надеялись запугать. Но это ужасное преступление было совершено, собственно, правительством, так как оно случилось во время несовершеннолетия короля. Следующее же за тем убийство было уже делом самого короля.

В 1452 г. граф Дуглас⁵ приглашен был Яковом II, с соблюдением всех форм вежливости, прибыть ко двору, собравшемуся тогда в Стерлинге. Граф колебался, но Яков преодолел его нерешимость, послав ему охранную грамоту с королевской подписью и за большой печатью. Так как в этом деле замешана была честь короля, то все опасения Дугласа рассеялись. Он поспешил в Стерлинг, где и был принят с всевозможным отличием. Но вечером того же дня после ужина король разразился против него упреками и, внезапно выхватив свой кинжал, вонзил его в грудь Дугласа. Затем Грей ударил его бердышом, и он упал мертвым на землю в присутствии своего короля, заманившего его ко двору, чтобы безнаказанно умертвить его⁶.

Свирепость шотландского характера, естественное последствие невежества и бедности этой нации, была, без сомнения, одной из причин, и весьма важной, совершения подобных преступлений, и совершения их не втайне, а среди бела дня, и притом самыми высшими лицами в государстве. Нельзя, однако, отрицать, что другой причиной было влияние духовенства; в интересах этого сословия было унижить дворян, и оно нисколько не стеснялось в выборе средств. Чем больше отклонялась корона от аристократии, тем теснее примыкала она к церкви. В 1443 г. издан был статут, имевший целью обеспечить церковную собственность от нападений со стороны дворянства. И хотя в тогдашнем состоянии общества легче было издавать законы, чем исполнять их, но все-таки подобная мера указывала на общее направление политики правительства и свидетельствовала о существовании союза между ним и церковью. И действительно, насчет этого никто не мог заблуждаться⁷. В течение около 20 лет признанным и доверенным советником короны был Кеннеди, епископ Сент-Эндрюсский, который сохранял свою власть до самой смерти своей, последовавшей в 1466 г., во время несовершеннолетия Якова III⁸. Он был злейшим врагом дворян; он питал к ним непримиримую ненависть, тем более жестокою, что они и ему лично нанесли обиды: граф Крофорд разграбил его земли, а граф Дуглас пытался схватить его самого и грозил заковать его в оковы. Это легко могло ожесточить и самого кроткого; а так

как Яков II в то время, когда он убил Дугласа, находился более всего под влиянием Кеннеди, то очень может быть, что епископ был не чужд этого гнусного дела. Во всяком случае он несколько не одобрял его, и, когда вследствие этого убийства Дугласы и их друзья открыто восстали, Кеннеди подал королю ловкий и хитрый совет, чрезвычайно характеризующий коварство его сословия. Взяв в руки связку стрел, он показал Якову, что, когда они вместе, их переломить невозможно, разделенные же, они легко ломаются. Из этого он сделал такой вывод, что аристократия может быть ниспровергнута, если разъединить ее членов и затем уничтожить их одного за другим.

В этом случае он был совершенно прав, насколько дело шло об интересах его сословия; но с точки зрения интересов всей нации очевидно, что могущество дворянства, несмотря на частое злоупотребление его, было вообще благотельно, так как оно служило единственным оплотом против деспотизма. Зло, действительно причиняемое им, было, конечно, громадно, но зато сословие это устраняло другое зло, которое было бы еще страшнее. Порождая анархию в настоящем, оно обеспечивало свободу в будущем. Так как среднего класса еще не существовало, то в государстве было только три сословия: правительство, духовенство и дворянство. Два первых соединились против третьего, и если бы победа осталась за ними, то нет никакого сомнения, что Шотландия подпала бы под самое ужасное иго, какое только может постигнуть какую-либо страну. Ею управляли бы деспотический монарх и неограниченная церковь; держа сторону друг друга, они тиранствовали бы над народом, который хотя и был груб и невежествен, но все-таки любил известного рода свободу, дикую, варварскую; обладать ею было для него благом, а между тем при таком сочетании властей он, наверно, лишился бы ее.

Но, по счастью, могущество дворянства слишком глубоко укоренилось в понятиях народа, чтобы допустить подобную катастрофу. Напрасно Яков III старался унижить дворян⁹ и возвысить их соперников — духовенство¹⁰. Ничто не могло поколебать их значения; в 1482 г., видя решимость короля, они соединились, и так велико было их влияние на окружающих, что они без труда овладели особой короля и заключили его в эдинбургский замок.

По освобождении его начались новые ссоры¹¹, и в 1488 г. знатнейшие из дворян собрали войска, сразились с ним на открытом поле и, разбив его, лишили его жизни. Ему наследовал Яков IV, при котором дела пошли совершенно тем же порядком, т. е. на одной стороне было дворянство, на другой — корона и церковь. Король с радостью делал все, что только могло поддерживать духовенство. В 1493 г. он провел постановление, обеспечивавшее привилегии епископов Сент-Эндрюсского и Глазговского, двух важнейших епископов в Шотландии¹². В 1503 г.

он выхлопотал отмену всех пожалований и дарений, невыгодных для церкви, были ли они определены парламентом или Тайным советом; а в 1508 г. он решился, по совету Эльфинстона, епископа Абердинского, на меру еще более смелую. Этот умный и честолюбивый прелат заставил Якова предъявить против дворян некоторые отжившие уже права, в силу которых король мог при известных обстоятельствах завладевать их имениями и во всех тех случаях, когда владельцы имели земли от короны, получать почти весь с них доход во время несовершеннолетия владельца.

Предъявить такие права было нетрудно, но привести их в действие было невозможно. Действительно, дворянство в это время скорее усиливалось, чем ослабевало; после смерти Якова IV (1513), во время несовершеннолетия Якова V, оно сделалось так могущественно, что правитель Альбани с отчаяния два раза слагал с себя управление и наконец совершенно отказался от него. Он окончательно оставил Шотландию в 1524 г., и с ним исчезло, по-видимому, всякое значение исполнительного правительства. Дугласы вскоре овладели особой короля, принудили Битона, архиепископа Сент-Эндрюсского, сложить с себя звание канцлера. Все управление перешло теперь в их руки; все места были заняты ими или их приверженцами. Светские интересы преобладали, а духовенство было совершенно отброшено в тень¹³. Однако в 1528 г. случилось одно событие, не только возратившее духовному сословию его прежнее положение, но даже поставившее его на такую высоту, которая, как оказалось впоследствии, была пагубна для самого же духовенства. Архиепископ Битон, выведенный из терпения распоряжениями в высшей степени неблагоприятными для церкви, составил заговор, с помощью которого Якову удалось убежать от Дугласов и укрыться в стерлингском замке. Эта внезапная реакция была если не настоящей, господствующей, то, без сомнения, ближайшей причиной введения протестантизма в Шотландии. Теперь бразды правления перешли в руки церкви, и поэтому самые влиятельные из дворян были преследуемы, а некоторые даже удалены из государства. Но хотя они лишились политического влияния, общественное значение их сохранилось. У них отняли почести и богатство; они стали изгнанниками, изменниками, нищими, но все-таки настоящее основание их значения потрясено не было, потому что значение это было результатом целого ряда обстоятельств и опиралось на привязанности народа. Вот почему дворяне, даже изгнанные и обвиняемые в государственной измене, все-таки были в состоянии вести трудную, по временам успешную, борьбу со своими врагами. Жажда мщения, возбуждая их к напряженной деятельности, привела к войне на жизнь или смерть между шотландской аристократией и шотландской церковью. Этот замечательный спор был в некоторой степени продолжением того, который начался еще в первые годы XV столетия. Но он отличался гораздо большим ожесточением;

война продолжалась непрерывно в течение тридцати двух лет и окончилась лишь торжеством дворян, которые в 1560 г. совершенно ниспровергли церковь и уничтожили почти одним ударом всю шотландскую иерархию.

События этой борьбы и те превратности, которым подвергались в продолжение ее обе стороны, рассказаны, хотя, впрочем, несколько сбивчиво, в обыкновенных наших историях; мне же достаточно будет указать на некоторые наиболее выдающиеся стороны и, не входя в излишние подробности, постараться пролить свет на общий ход этого движения. Таким образом нам станет ясно единство всего плана и мы увидим, что разрушение католической церкви было естественным разложением ее и что последний акт этой блистательной драмы далеко не заключал в себе натянутой неправильной развязки, а, напротив, вполне соответствовал всему предшествовавшему развитию плана.

Когда Яков убежал в 1528 г. из заключения, ему было шестнадцать лет, и политика его — насколько можно сказать, что он действовал своим умом, — определялась собственно духовенством, которому он был обязан своим освобождением и в котором он видел естественных покровителей своих. Главнейшим советником его был епископ Сент-Эндрюсский, и важный пост канцлера, который при Дугласах был занят лицом светским, теперь был поручен архиепископу Глазговскому. Эти два прелата были всемогущи. В то же время аббат Голирудский был сделан казначеем, а епископ Денкельдский — хранителем королевской печати. Всем дворянам из дома Дугласов, даже лицам, состоявшим при них, воспрещено было, под страхом обвинения в государственной измене, подходить ближе как на двадцать миль к месту нахождения двора. Снаряжена была и послана экспедиция против графа Кетнесса, который претерпел поражение и был убит. Незадолго до этого граф Ангус был выслан из Шотландии и имения его конфискованы; Дугласы были признаны виновными в государственной измене; кроме того, по распоряжению правительства были схвачены и подвергнуты заключению граф Ботвел, Гом, Максвелл, два Керра и бароны Бекклю, Джонстон и Польварт.

Все это были довольно сильные меры, свидетельствовавшие о восстановлении могущества церкви. Но готовились еще и другие, не менее решительные. В 1531 г. король лишил графа Крофорда большей части его имений, а графа Аргайля заключил в тюрьму. Даже те дворяне, которые были готовы держать его сторону, находились теперь в опале. Король пользовался всяким случаем, чтобы оказывать им холодность и в то же время замещать высшие должности их соперниками, духовными лицами¹⁴. Наконец, в 1532 г. он задумал нанести смертельный удар дворянскому сословию, лишив дворян значительной доли судебной власти, которой они пользовались в своих владениях и которой они были в довольно сильной мере обязаны своим

могуществом. По настоянию архиепископа Глазго он учредил так называемую Коллегию юстиции, где должны были решаться дела, рассматривавшиеся до того времени баронами в их замках. Постановлено было, чтобы новый трибунал состоял из пятнадцати судей, в числе которых восемь должно было быть духовных; а еще яснее видны намерения короля из того, что председательствовать в этом суде должно было непременно лицо духовное.

Этим уже все довершалось, и распоряжение это вместе с предшествовавшими ему мерами довело дворян почти до иступления. Ненависть их к духовенству перешла всякие границы; в своей жажде мщения они не только бросились в объятия Англии и поддерживали тайные сношения с Генрихом VIII, но многие из них зашли еще далее и стали обнаруживать решительную склонность к принципам Реформации. В такой же точно мере, в какой возрастало ожесточение дворян против духовенства, усиливалось и желание их преобразовать церковь.

Любовь к новизне, подстрекаемая корыстными побуждениями, дошла до того, что в какие-нибудь несколько лет огромное большинство дворян приняло крайние протестантские убеждения; они почти не заботились о том, в какую они впали ересь, до тех пор, пока с помощью ее имели возможность наносить вред духовенству, от которого только что претерпели жесточайшие обиды и с которым они и отцы их были в постоянном споре в течение почти полутора столетий.

В то же самое время Яков V примкнул теснее чем когда-либо к иерархии. В 1534 г. он угодил церкви, лично присутствуя при суде над некоторыми еретиками, которые были призваны пред епископов и сожжены. В следующем году ему предложили, и он охотно принял, титул защитника веры, перенесенный на него с Генриха VIII,—последнего считали потерявшим право на такое отличие по своему безбожию. Как бы то ни было, но Яков вполне заслуживал такого названия. Он был твердой опорой церкви, и его Тайный совет был составлен главнейшим образом из духовных, так как он считал опасным давать светским лицам слишком большое участие в управлении¹⁵. А в 1538 г. он еще более выказал направление своей политики, вступив во второй брак с Марией де Гиз и став таким образом в близкие отношения с самым могущественным католическим домом в Европе; фамилия эта, столько же честолюбивая, как и сильная, поставила себе явной задачей поддерживать католическую веру и защищать ее от грубых и бесцеремонных нападений, которые теперь направлялись против нее в большей части Европы.

Церковь приветствовала это событие как залог добрых намерений короля. Таким оно и оказалось на самом деле. Дэвид Битон, который устроил этот брак, сделался главным советником Якова на все остальное время его царствования. Он был возведен в 1539 г. в звание архиепископа Сент-Эндрюсского, и по

его внушению воздвигнуто было более чем когда-либо жаркое гонение на протестантов. Многие из них бежали в Англию, где они увеличили собой число тех изгнанников, которые только выжидали удобного времени, чтобы смертельно отомстить своим врагам. Они и их приверженцы в Шотландии присоединились к недовольным дворянам, особенно к Дугласам, которые, далеко превосходя могуществом остальную шотландскую аристократию, были притом связаны с большей частью знатных родов или старинными дружескими отношениями, или еще более тесными узами общего интереса в ограничении могущества церкви¹⁶.

В этот критический момент все взоры были устремлены на Дугласов, которые, найдя приют при дворе Генриха VIII, теперь обдумывали свои планы¹⁷. Хотя они еще не смели возвратиться в Шотландию, но их шпионы и агенты доносили им обо всем, что делалось в ней, и поддерживали их связи с отечеством. Феодальные договоры, обязательства личного подчинения и другие сделки, от которых, хотя они и не были законны, считалось нечестным отказываться, оставались в полной силе и давали возможность Дугласам спокойно положиться на многих из могущественнейших дворян; притом самим же этим дворянам уже надоело преобладание духовенства, и они с радостью приветствовали надежду на какую-либо перемену, от которой можно было ожидать ослабления его власти¹⁸.

При таком сочетании партий в стране, где вследствие отсутствия среднего класса народ ничего не значил и только шел всюду, куда бы ни повели его, ясно, что успех или неуспех Реформации зависел чисто от успеха или неуспеха дворян. Они жаждали мести, и весь вопрос был только в том, будут ли они в силах утолить эту жажду. Против них была корона и церковь; за них — феодальные предания, дух кланового быта, слепое повиновение их бесчисленных приверженцев и — что не менее было важно — та любовь к известным именам и семейным связям, которая и теперь еще замечательно развита в шотландском народе, а в XVI столетии имела непомерное влияние.

Но вот наступила минута действовать. В 1540 г. правительство, во всем подчиняясь духовенству, издало новые законы против протестантов, интересы которых были в то время тождественны интересам дворян. В силу этих статутів ни одно лицо, даже только подозреваемое в ереси, не могло на будущее время занять никакой должности; и всем католикам воспрещалось давать приют у себя или оказывать благосклонность к людям, исповедовавшим новые религиозные убеждения. Духовенство, в упоении от такой победы и томимое желанием скорее уничтожить своих давнишних соперников, теперь прибегло к еще большим крайностям. Так непреклонна была его злоба, что в том же самом году оно представило Якову список, содержащий с лишком триста имен членів шотландской аристократии, которых оно формально обвиняло в ереси и на этом основании признавало заслуживающими смертной казни и предлагало короне конфисковать их имения¹⁹.

Эти заносчивые и мстительные люди не знали, какую бурю они вызывали этим и что буря эта должна была вскоре разразиться над их же головами и привести в смятение их самих и их церковь. Мы не имеем, конечно, повода думать, чтобы более благоразумный образ действия мог окончательно спасти шотландскую иерархию; напротив, весьма вероятно, что судьба ее была уже решена; общие причины, управлявшие всем этим движением, действовали так долго, что в то время уже едва ли была какая возможность совладать с ними. Но если мы и признаем за достоверное, что над шотландским духовенством уже произнесен был приговор, то тем не менее достоверно, что заносчивость его сделала его падение более тяжким, возбудив страсти его противников. Правда, что пороховой проводник был уже проложен к нему; что враги его доставили горючие материалы и все было готово для взрыва,—но в последний момент само же духовенство поднесло фитиль к проводнику и взорвало мину на свою же погибель.

В 1542 г. дворяне, видя, что духовенство и корона настойчиво стремятся погубить их, отважились на самый решительный шаг, какой им случалось когда-либо делать, и начали с того, что отказались принять, по приказанию Якова, участие в войне против Англии. Они знали, что война, в которую желали вовлечь их, была затеяна духовенством с двойной целью: прервать всякие сношения с изгнанниками и остановить вторжение в Шотландию еретических убеждений. Обоим намерениям этим они решились не давать осуществиться и, собравшись в открытом поле, единогласно объявили, что они не вторгнутся в Англию. Угрозы, увещания—все было напрасно. Яков, взбешенный, возвратился восвояси и приказал распустить войска. Но едва успел он удалиться, как духовенство попыталось собрать снова войска и заставить их действовать против неприятеля. Некоторые из пэров, устыдившись того, что они как бы из трусости покинули короля, по-видимому, готовы были выступить в поход. Остальные же отказались; а пока они находились в этом состоянии нерешимости и смятения, англичане, захватив их врасплох, вдруг напали на их расстроенные ряды, окончательно разбили их и взяли огромное число пленных. В этом бесславном деле десять тысяч человек шотландского войска бежали перед тремястами английскими всадниками. Известие об этом, дошедшее до Якова в то время, когда он еще не мог опомниться от непослушания дворян, слишком сильно поразило его гордую и впечатлительную натуру. Он не перенес этого двойного удара; изнурительная горячка истощила его силы, и он впал в продолжительное бесчувствие и, не принимая никаких средств успокоения, умер в декабре 1542 г., оставив престол малолетней дочери своей Марии, в царствование которой суждено было окончательно решиться великому спору между аристократией и духовенством.

Влияние дворянства усилилось вследствие смерти Якова V, а еще более вследствие того, что духовенство уронило себя во

всеобщем мнении, затеяв войну, имевшую такой бесславный исход²⁰. Дворянская партия еще более была подкреплена присоединением к ней изгнанников, которые, лишь только дошли до них добрые вести, стали готовиться оставить Англию. В начале 1543 г. Ангус и Дуглас возвратились в Шотландию, а за ними вскоре последовали и другие дворяне, большая часть которых выдавала себя за протестантов, хотя, как ясно доказали последствия, протестантизм был внушен им любовью к грабежам и жаждою мщения. Покойный король в завещании своем назначил кардинала Битона опекуном королевы и правителем государства. Битон, человек хотя без всяких правил, но весьма способный, пользовался уважением как глава шотландской церкви; он был архиепископом Сент-Эндрюским и прима-сом королевства. Но дворянская партия вдруг арестовала его, лишила звания правителя и поставила на его место графа Аррана, который выдал себя в то время за рьяного протестанта, хотя впоследствии и переменял свои убеждения, когда представился к тому удобный случай²¹. Между сторонниками нового учения самыми могущественными были граф Ангус и Дугласы. Они высвободились теперь из пятнадцатилетнего изгнания, с них сняли обвинение в государственной измене и возвратили им имена и почести. Было очевидно, что не только исполнительная, но и законодательная власть перешла от духовенства к аристократии; и те, кому она досталась, не особенно бережно обращались с ней. Лорд Максвелл, один из самых деятельных членов дворянской партии, подобно многим дворянам, в своем рвении досадить иерархии принял принципы Реформации²². Весной 1543 г. он получил соизволение графа Аррана, правителя Шотландии, на одно предложение, сделанное им лордам пунктов (Lords of the Articles), обязанностью которых было излагать по пунктам меры, подлежащие обсуждению парламента. Предложение заключалось в том, чтобы позволено было народу читать Библию в шотландском или английском переводе. Духовенство направило все свои силы против того, что оно справедливо считало весьма опасным для себя шагом, так как дело шло об уступке одному из основных принципов протестантизма. Но все было напрасно. Прилив начался, и отклонить его не было возможности. Предложение было принято лордами пунктов и влиянием их внесено в парламент. Оно прошло в нем, получило согласие правительства и было среди сетований духовенства объявлено со всевозможной формальностью у креста на рынке Эдинбурга.

Но едва удалось дворянам достигнуть этого перевеса, как они начали ссориться между собой. Они решились ограбить церковь, но не могли согласиться в том, каким образом они будут делить награбленное. Они не могли также решить, какой лучший план действий,—одни были в пользу немедленного открытого раскола, между тем как другие хотели подвигаться вперед осторожно, выжидая удобного времени и постепенно

ослабляя иерархию. Самые деятельные и ревностные из дворян были известны под именем Английской партии вследствие их тесной связи с Генрихом VIII, от которого они получали денежные пособия. Но в 1544 г. возгорелась война между Англией и Шотландией, и духовенство, имея во главе своей архиепископа Битона, так удачно пробудило старинное чувство национальной вражды к англичанам, что дворянство было вынуждено на время уступить и стало действовать в пользу союза с Францией. Казалось даже в течение нескольких месяцев, будто духовенство и аристократия, забыв свою застарелую вражду, готовы были соединить свои силы и действовать заодно.

Но это было не более как мимолетное обольщение. Вражда между этими двумя сословиями была непримирима²³. Весной 1545 г. влиятельнейшие из протестантских дворян составили заговор с целью умертвить архиепископа Битона, которого они более чем кого-либо ненавидели, частью потому, что он был главой церкви, а частью и потому, что это был самый способный и самый беззастенчивый из их противников. Прошел, однако, целый год, прежде чем им удалось осуществить свое намерение; только в мае 1546 г. Лесли, один молодой барон, в сообществе с лордом Гренджем и некоторыми другими, ворвался в Сент-Эндрюс и умертвил примаса в его собственном замке.

Легко можно представить себе, с каким ужасом услышало духовенство об этом варварском поступке. Но заговорщики, ничем не смущаемые и полагаясь на поддержку могущественной партии, оправдывали свой поступок, овладели Сент-Эндрюским замком и готовились защищать его до последней крайности. В решимости этой они были поддерживаемы замечательнейшим человеком, теперь впервые явившимся пред лицо общества,— человеком, который удивительно соответствовал духу своего времени и которому суждено было сделаться одной из наиболее заметных личностей этой беспокойной эпохи.

Этот человек был Джон Нокс. Сказать, что он был неустрашимым и неподкупным, что он отстаивал с неослабным рвением то, в чем видел истину, и что он предавался с неутомимой энергией преследованию того, в чем полагал высшую из всех целей,— значит отдать лишь должную справедливость многим благородным свойствам, которыми он бесспорно обладал. Но, с другой стороны, он был суров, непреклонен и нередко груб; он не только был нечувствителен к человеческому страданию, но даже мог обращать его в шутку и упражнять над ним свой грубый, хотя и неистощимый юмор; притом он до такой степени любил повелевать, что, не будучи в состоянии перенести ни малейшего сопротивления, попираал ногами все, что преграждало ему путь или хоть на минуту становилось препятствием его дальнейшим стремлениям.

Конечно, влияние Нокса на успех Реформации было грубо преувеличено историками, которые слишком склонны приписывать громадные результаты деятельности отдельных лич-

ностей, упуская из виду те важные общие причины, без которых деятельность эта не принесла бы никакого плода. Но он все-таки сделал более, чем кто-либо другой²⁴, хотя собственно важный для Шотландии период его жизни объемлет 1559 год и последующее за ним время, когда торжество протестантизма было уже обеспечено и когда он только пожинал плоды того, что было сделано во время его продолжительного отсутствия из отечества. Самая первая попытка его была чистым промахом с его стороны и повредила его репутации более чем какое-либо из его действий. Я говорю о данном им согласии на жестокое убийство архиепископа Битона в 1546 г. Он отправился в Сент-Эндрюсский замок, заперся в нем с убийцами и готовился разделить их судьбу и в написанном им после сочинении открыто оправдывал все сделанное ими²⁵. В этом ничто не может извинить его; и мы узнаем, не без чувства удовлетворенной справедливости, что в 1547 г., по взятии замка французами, с Ноксом было поступлено чрезвычайно строго, его заставили работать на галерах, откуда он был освобожден только в 1549 г.

Следующие пять лет Нокс провел в Англии, откуда в 1554 г. отправился в Дьепп. Затем он путешествовал за границей и только осенью 1555 г. возвратился в Шотландию, где был радушно встречен знатнейшими дворянами и их приверженцами. Но по какой-то причине, которая не была достаточно выяснена, вероятно, вследствие нежелания играть второстепенную роль между этими гордыми повелителями, в июне 1556 г. он снова оставил Шотландию и отправился в Женеву, где ему предложили заведование одной конгрегацией. Он остался за границей до 1559 г. К этому времени борьба собственно была почти окончена — до такой степени дворяне успели подрывать основания церкви.

Так как все было давно подготовлено, то теперь, конечно, дело шло быстро. В 1554 г. вдовствующая королева наследовала Аррану в регентстве. То была Мария де Гиз, на брак которой с Яковом V мы указывали выше как на одно из проявлений преобладавшей в то время политики. Предоставленная самой себе, она, по всей вероятности, мало сделала бы зла; но ее влиятельное и нетерпимое семейство уговаривало ее подавлять еретиков, а следовательно, в связи с тем же планом и смирять дворян. По совету своих братьев герцога де Гиза и кардинала де Лоррена она вознамерилась в 1555 г. учредить постоянную армию, чтобы заменить ею войска, состоявшие из феодальных баронов и их вассалов. Подобная вооруженная сила, получая содержание от короны, была бы в полном ее распоряжении; но дворяне, видя, к чему это должно было повести, заставили Марию отказаться от этого намерения на том основании, что они и вассалы их в состоянии защищать Шотландию и без дальнейшей помощи. Следующей попыткой ее было упрочить интересы католической партии, чего она достигла в 1558 г.,

выдав свою дочь за дофина. Это усилило влияние Гизов, которых племянница, бывшая уже в то время королевой шотландской, должна была при обыкновенном ходе дел сделаться также и королевой французской. Они понуждали сестру свою прибегнуть к крайним мерам, обещая ей помощь французских войск. С другой стороны, шотландское дворянство держалось твердо и готовилось к борьбе. В декабре 1557 г. многие из дворян заключили договор, которым обязывались стоять друг за друга и сопротивляться тирании, которой угрожали им²⁶. Они приняли теперь название лордов конгрегации и посылали всюду своих агентов собирать подписи лиц, желавших преобразования церкви. Кроме того, они списались с Ноксом, проповедь которого, отличавшаяся популярным слогом, могла, по их мнению, быть полезна для возбуждения народа к восстанию²⁷. Он находился в то время в Женеве и приехал в Шотландию только в мае 1559 г., когда исход предстоявшего спора едва ли подлежал уже какому-либо сомнению, так успешно усиливали дворяне свою партию и так много имели они причин рассчитывать на помощь Елизаветы.

Через девять дней по прибытии Нокса в Шотландию нанесен был первый удар духовенству. 11 мая 1559 г. он говорил проповедь в Перте. После проповеди произошло смятение и народ стал грабить церкви и разорять монастыри. Королева-правительница, собрав на скорую руку войска, двинулась к городу. Но дворянство было уже наготове. Граф Пленкерт присоединился к конгрегации с двумя тысячами двумястами человек, и кончилось тем, что заключен был трактат, по которому обе стороны согласились разоружиться под условием, чтобы никто не был подвергнут наказанию за то, что случилось уже. Но таково было всеобщее настроение умов, что мир был невозможен. Через несколько дней война снова возгорелась и на этот раз исход был более решительный. Перт, Стерлинг и Линлитгоу уже были в их руках. Королева-правительница отступила перед ними. Она очистила Эдинбург, и 29 июня протестанты торжественно вступили в столицу.

Все это было сделано в семь недель с того дня, как первый раз вспыхнуло возмущение. Обе стороны теперь готовы были вступить в переговоры для выигрыша времени; королева-правительница в ожидании помощи от Франции, а лорды — от Англии. Но Елизавета медлила высылкой помощи, и протестанты, прождав несколько месяцев, пришли к убеждению, что им следует предпринять что-нибудь решительное, прежде чем придет помощь. В октябре знатнейшие пэры, имея во главе своей герцога Частельгерольта, графа Аррана, графа Аргайля и графа Пленкерта, съехались в Эдинбург. Собрался большой митинг, председателем которого был назначен лорд Ретвен, и на митинге этом королева-правительница была торжественно устранена от управления на том основании, что она шла против «славы Всевышнего, против свободы королевства и против благосостояния дворянства»²⁸.

Зимой английский флот вступил во Фрит и остановился на якоре близ Эдинбурга. В январе 1560 г. герцог Норфолк приехал в Бервик и заключил именем Елизаветы трактат с лордами конгрегации, в силу которого английская армия 2 апреля вступила в Шотландию²⁹. Против этой комбинации шотландское правительство ничего не могло сделать и было радо подписать в июле месяце мир, по условиям которого французские войска должны были очистить Шотландию и вся административная власть перешла в сущности в руки протестантских лордов.

Полный успех этой великой революции и скорость, с какой он был достигнут, служат сами по себе решительным доказательством силы тех общих причин, которые управляли всем этим движением. В течение слишком ста пятидесяти лет длилась смертельная борьба между дворянством и духовенством, и борьба эта кончилась введением Реформации в Шотландии и торжеством аристократии. Она достигла наконец своей цели. Иерархия была ниспровергнута и заменена новыми, еще неиспытанными людьми. Все старые понятия об апостольском преемстве, о рукоположении и о божественном происхождении права посвящения в духовный сан были вдруг отложены в сторону. Должности в церкви были исполняемы еретиками, большинство которых не получило даже посвящения³⁰. Наконец, в довершение всего, летом того же 1560 г. в шотландском парламенте прошли два закона, совершенно ниспровергавшие старый порядок вещей. Одним из этих законов разом отменялись все статуты, когда-либо изданные в пользу церкви. Другим постановлялось, что всякий, кто станет служить мессе или будет присутствовать при ее служении, должен быть подвержен за первый раз — лишению имений, за второй — ссылке в изгнание, а за третий — смертной казни.

Таким-то образом учреждение, продержавшееся слишком тысячу лет, разом рухнуло и распалось на части. И много ожидали от его падения. Думали, что народ просветится, что глаза его начинают раскрываться на его прежние заблуждения и что царство суеверия близко к своему концу. Но забывали об одном, о чем и теперь слишком часто забывают, что в этого рода делах существует известный порядок, известная естественная последовательность, которую никогда нельзя извратить. А именно, что всякое учреждение в том виде, в каком оно оказывается на самом деле, как бы оно ни называлось и каковы бы ни были его стремления, составляет скорее последствие, чем причину общественного мнения; и ни к чему не поведут нападки на то или другое учреждение, если только нельзя будет сперва изменить это мнение.

В Шотландии церковь отличалась грубым суеверием; но из этого не следовало, что с ниспровержением церкви зло это уменьшится. Кто думает, что суеверие может быть ослаблено этим путем, тот не знает живучести этого темного и зловещего начала. Против него есть только одно средство, и это средство — знание. Когда люди невежественны, они не могут не быть суеверны;

и всюду, где только существует суеверие, оно непременно вырабатывается в известного рода систему, в которой и гнездится. Изгоните его из одного места—оно найдет другое. Дух этот переходит, он принимает новую форму, но все-таки живет; следовательно, как бесполезен образ войны, к которому слишком склонны прибегать реформаторы,—убивать мертвое дело, а щадить жизнь! Скорлупу они, конечно, всегда находят и уничтожают, но под этой скорлупой скрывается семя смертельного яда, жизненную силу которого они не в состоянии ослабить; выброшенное из одного места, оно начинает приносить плод в другом и произрастает с новым, часто еще более пагубным плодородием.

Дело в том, что каждое учреждение, как политическое, так и религиозное, деятельностью своей в данное время выражает характер этого времени и его давление. Учреждение может быть очень старо, может носить почтенное имя, может стремиться к самым возвышенным целям,—тем не менее всякий, кто станет тщательно изучать его историю, найдет, что на самом деле оно изменяется с каждым новым поколением и, вместо того чтобы влиять на общество, само находится под его влиянием. Когда была произведена протестантская Реформация, шотландцы были крайне невежественны, и потому, несмотря на реформацию, они остались крайне суеверны. Сколько времени продолжалось это невежество и к каким оно привело результатам, это мы сейчас увидим; но, прежде чем приступить к этому исследованию, не мешает изобразить непосредственные последствия самой Реформации в связи с тем могущественным сословием, влиянием которого она была введена в Шотландии.

Дворянство, ниспровергнув церковь и отняв у ней значительную часть ее богатства, думало, что ему и следует воспользоваться плодами своего труда. Оно убило врага и хотело делить добычу. Но это не согласовалось с видами протестантских проповедников. По их мнению, было нечестивым делом отчуждать в светские руки церковную собственность и употреблять ее для мирских целей. Они находили, что лорды, конечно, хорошо сделали, что ограбили церковь; с другой же стороны, они считали решенным делом, что награбленное должно служить к обогащению их самих. Они были люди Божии, и обязанностью господствующих классов было наделить их теми благами, которые следовало отнять у старого, католического духовенства.

Руководствуясь этим мнением, Нокс и его товарищи в августе 1560 г. представили в парламент прошение, которым приглашали дворян возвратить церкви захваченную у нее собственность и обратить ее, как и следует, на содержание новых пастырей. На требование это могущественные вожди народа не удостоили даже дать никакого ответа. Они были довольны настоящим порядком вещей и потому не имели желания нарушать его. Они сражались, они победили, они и поделили добычу.

Нельзя было предположить, чтобы они добровольно отдали то, что так трудно досталось им. Нельзя было также ожидать, чтобы после тяжелой борьбы с духовенством, продолжавшейся сто пятьдесят лет, победив наконец своего давнишнего врага, они отказались от плодов своей победы ради нескольких проповедников, которых они лишь недавно призвали на помощь; ради этих людей без рода, без известности, которые собственно должны были считать для себя за честь, что их допустили к участию в одном общем деле с людьми, стоящими выше их, а никак не заключать из этого, что они, которые пришли на поле сражения под самый конец, будут допущены к дележу добычи на сколько-нибудь равных условиях.

Но шотландская аристократия мало знала людей, с которыми имела дело. Еще менее понимала она характер своего времени. Она не замечала, что в тогдашнем состоянии общества суеверие было неизбежно и что поэтому духовное сословие, хотя и подавленное на минуту, непременно должно было вскоре снова поднять голову. Дворяне ниспровергли церковь, но те основные начала, на которых зиждется могущество церкви, остались нетронутыми. Все, что они сделали, это только изменили название и форму. Быстро образовалась новая иерархия, которая заменила старую в привязанности народа. Она зашла даже еще далее. Протестантское духовенство, пренебрегаемое дворянством и ничем не наделенное от правительства, имело лишь жалкие средства к существованию и по необходимости должно было броситься в объятия народа, так как в нем одном могло оно найти помощь и сочувствие. Отсюда произошла более тесная связь его с народом, чем какая могла установиться при других условиях. Отсюда, как мы сейчас увидим, произошло также и то, что пресвитерианское духовенство, глубоко оскорбляемое оказываемыми ему несправедливостями, развивало в себе ту ненависть к высшим классам и то нерасположение к монархическому правлению, которые оно выказывало при всяком удобном случае. Со своих кафедр, в своих пресвитериях, в Генеральных собраниях оно поддерживало демократический, независимый тон, который по временам приводил к благим результатам, пробуждая в критические минуты дух свободы, но по этому самому заставлял высшие сословия проклинать тот день, когда несвоевременной и эгоистической бережливостью они озлобили против себя такое могущественное и такое неумолимое сословие.

С удалением французских войск в 1560 г. управление осталось в руках аристократии; ей и предстояло решить, в какой мере реформатское духовенство должно было быть наделено имуществом. Первое прощение, представленное Ноксом и его собратьями, встретило презрительное молчание. Но не так легко было отделаться от пастырей. Следующим шагом их было представление в Тайный совет так называемой «Первой книги учения», в которой они опять настаивали на своем требовании. Против

догматов, содержащихся в этой книге, Совет не находил никакого возражения, но отказался утвердить ее, так как это значило бы дать санкцию принципу, что новая церковь имеет право на доходы старой³¹. Известную долю этих доходов ей, конечно, готовы были предоставить; но какая именно должна была быть эта доля, об этом и шел серьезный спор, породивший сильнейшее недоброжелательство между спорившими сторонами. Наконец дворянство прервало свое молчание, объявив в декабре 1564 г., что реформатское духовенство получит только шестую долю собственности церкви, остальные же пять шестых будут разделены между правительством и католическим духовенством³². Понять настоящий смысл такого решения была нетрудно, так как католики стояли тогда в совершенной зависимости от правительства, а правительство на деле составляли сами же дворяне, которые монополизировали в то время в своих руках все политическое влияние.

При таком положении дел естественно, что проповедники были сильно взволнованы объявлением подобного решения. Они видели, до какой степени оно неблагоприятно для их собственных интересов, и потому считали его неблагоприятным и для интересов религии. Так, по их мнению, мера эта была придумана самим дьяволом, видам которого она должна была способствовать; ибо теперь тем, которые работали в винограднике Господнем, приходилось переносить унижение и нужду ради того, чтобы законное достояние их пожирала праздные утробы. Дворяне, говорили проповедники, будут от этого некоторое время в барыше, но Божья кара недалека, и она непременно постигнет их³³. Действия их с начала до конца не что иное, как грабеж. В истинно христианской стране достояние церкви оставалось бы нетронутым³⁴. Но в Шотландии — увы! — сатана взял верх и христианское милосердие охладело. В Шотландии то имущество, которое следовало бы считать священным, было раздроблено и поделено; и дележ был самого плохого свойства, ибо, говорит Нокс, две трети предоставлены дьяволу, а остальная треть поделена между Богом и дьяволом. Это все равно, как если бы Иосиф, будучи правителем Египта, отказал в хлебе своим братьям и отпустил их домой с пустыми мешками. Или, как утверждал другой проповедник, церковь уподоблялась теперь древним маккавеям, подвергавшимся притеснениям то со стороны ассириан, то со стороны египтян. Но ни увещания, ни угрозы не производили никакого действия на закостенелые умы шотландских дворян. Сердца их, вместо того чтобы смягчиться, еще более затвердели. Даже те ограниченные стипендии, какие назначены были протестантскому духовенству, не всегда исправно выдавались ему, а употреблялись большей частью для других целей. Когда пасторы жаловались на это, то получали в ответ насмешки и оскорбления со стороны дворян, которые, достигнув своих собственных целей, думали, что могут обойтись и без своих прежних союзников³⁵. Граф Мортон, который благодаря своему уму и своим

связям сделался самым могущественным человеком в Шотландии, питал особенную злобу против духовенства и двоих из проповедников, провинившихся против него, казнил смертью с замечательной жестокостью. Дворянство, глядевшее на него как на своего предводителя, избрало его в 1572 г. правителем королевства. Имея теперь в своих руках неограниченную власть, он употребил ее против церкви. Он захватывал все бенефиции, делавшиеся вакантными, и удерживал доходы с них в свою пользу. Ненависть его к проповедникам переходила всякие границы. Он публично объявил, что до тех пор не будет в стране ни спокойствия, ни порядка, пока не повесят нескольких из них. Он отказывался узаконять своим присутствием их собрания; он хотел покончить с их привилегиями и даже с самым именем их; и с такой решимостью продолжал он принимать свои меры, что, по мнению историка шотландской церкви, одно только вмешательство Божества могло сохранить существующее устройство ее.

Между церковью и государством был теперь совершенный разрыв. Оставалось только убедиться, какая сторона сильнее. С каждым годом духовенство проникалось все более и более демократическим духом, и после смерти Нокса, в 1572 г., оно отважилось на такой образ действия, который и сам Нокс едва ли одобрил бы и который в первые времена Реформации был бы решительно невозможен. В это время проповедники уже обеспечили себе поддержку со стороны народа, а между тем обращение с ними правительства и дворянства озлобило их и заставило прибегнуть к отчаянным средствам. В то время, когда планы их еще не созрели и когда будущее еще только смутно представлялось им, явился новый человек, имевший все необходимые свойства, чтобы стать во главе их; он сразу занял место, оставшееся вакантным со смертью Нокса. Этот человек был Эндрю Мельвиль. По своим замечательным способностям, по своему решительному характеру и своей изворотливости он удивительно годился быть вождем шотландской церкви в той тяжелой борьбе, в которую она вскоре должна была вступить.

В 1574 г. Мельвиль, окончив воспитание за границей, приехал в Шотландию³⁶. Он быстро собрал вокруг себя замечательнейшие умы церкви, и под его руководством началась борьба с гражданской властью, продолжавшаяся со многими колебаниями до тех пор, пока шесть лет спустя она не перешла в открытое восстание против Карла I. Рассказывать все подробности этого спора было бы несогласно с планом настоящего введения, и, потому, несмотря на живейший интерес, представляемый многими из последовавших затем событий, большую часть их мы должны выпустить; но мы постараемся указать на общий ход их и сообщить читателю факты, более всего характеризующие тот век, в который они совершились.

Едва пробыл Мельвиль несколько месяцев в Шотландии, как он начал уже свою оппозицию,—сперва тайными интри-

гами, а потом и открытыми враждебными действиями³⁷. При Ноксе епископы признавались в числе учреждений протестантской церкви и звание это получило свою санкцию от главнейших реформаторов. Но такое учреждение не согласовалось с тем демократическим духом, который начинал теперь проявляться. Различие степеней между епископами и низшим духовенством теперь не нравилось, и пасторы решились положить ему конец³⁸. В 1575 г. один из них, по имени Джон Дюри, был подговорен Мельвилем возбудить об этом вопрос в Генеральном собрании, созванном в Эдинбурге. После того как Дюри выразил свой взгляд, Мельвиль тоже высказался против епископства, но, не будучи еще уверен в настроении своих слушателей, он сперва повел дело с некоторой осторожностью. Но такая нерешительность едва ли была необходима, так как благодаря разрыву между церковью и высшими классами пасторы начинали делаться злейшими врагами тех самых правил послушания и подчиненности, которые они поддерживали бы, если бы высшие классы были на стороне духовенства. Теперь духовенство пользовалось только расположением народа; поэтому оно старалось вести систему равенства и было совершенно готово на смелые меры, предложенные Мельвилем и его последователями. Ясным доказательством этого служит быстрота начавшегося затем движения. В 1575 г. первое нападение было сделано на Генеральном собрании в Эдинбурге. В апреле 1578 г. другое Генеральное собрание решило, что на будущее время епископы должны называться по их именам, а не по их титулам. Такое же собрание объявило также, что ни одна епископская кафедра не должна быть замещена до следующего собрания. Спустя два месяца было объявлено, что распоряжение это распространяется на вечные времена и что не должно более делать новых епископов. А в 1580 г. церковное собрание в Данди разрушило до основания всю систему, единодушно решив, что должность епископа есть выдумка человеческая, что учреждение это незаконно, что с ним немедленно следует покончить и что все епископы должны прямо сложить с себя этот сан или, в противном случае, подвергнуться отлучению от церкви.

Пасторы и народ сделали теперь свое дело, и, насколько оно касалось их самих, сделали хорошо³⁹. Но те же самые обстоятельства, которые заставляли их желать равенства, побуждали в то же время дворянство стремиться к неравенству⁴⁰. Поэтому столкновение было неизбежно, а смелый образ действия церкви только ускорил его. Действительно, проповедники скорее напрашивались на спор, чем избегали его. Они говорили в самых возмутительных выражениях против епископства и незадолго до упразднения этого звания окончили и представили в парламент «Вторую книгу учения», в которой грубо противоречили тому, что утверждали в первой. За это их часто упрекают в непоследовательности. Но такое обвинение несправедливо. Они были

совершенно последовательны: они не более как изменили свои правила, чтобы сохранить свои принципы. У них, как и у всех когда-либо существовавших корпораций, духовных или светских, преобладающим принципом было поддерживать свое влияние. Хорош или нет такой принцип, это уже другое дело; но вся история доказывает, что принцип этот есть всеобщий. Таким образом, когда вожди шотландской церкви нашли, что на очереди вопрос о том, кому иметь влияние, они с совершенной последовательностью отказались от своих прежних мнений, увидев, что мнения эти несовместны с существованием их в виде независимой корпорации.

Когда появилась «Первая книга учения» в 1560 г., управление было в руках дворянства, которое только что перед тем сражалось заодно с протестантскими проповедниками и было готово опять сразиться в одних рядах с ними. Когда же вышла «Вторая книга учения» в 1578 г., управление было по-прежнему в руках дворянства, но теперь честолюбивое сословие это, сбросив с себя маску и достигнув задуманного им уничтожения старой иерархии, поворотило назад и напало на новую. Изменились обстоятельства, а с ними изменилась и сама церковь; но в этом изменении ее не было ничего непоследовательного. Напротив, было бы верхом непоследовательности со стороны пасторов, если бы они сохранили свои прежние понятия о повиновении и подчиненности; совершенно было естественно, что в этом кризисе они отстаивали демократическую идею равенства точно так же, как прежде защищали аристократическую идею неравенства.

Вот почему в «Первой книге учения» они установили правильно восходящую иерархию, согласно с этим, все духовенство вообще было обязано повиновением своим духовным властям, которым было придано название суперинтендентов⁴¹. Во «Второй же книге» всякий след этого порядка изгладился, и было постановлено в самых ясных выражениях, что все проповедники, как собратья по труду, пользуются одинаковой властью, что ни один из них не имеет власти над другим и что добиваться такой власти или признавать превосходство одних над другими есть затея человеческая, которой нельзя допустить в церкви, установленной на божественных началах⁴².

Правительство, как можно себе представить, смотрело на это совершенно иначе. Подобные учения высшие классы считали антисоциальными и извращающими всякий порядок⁴³. Они не только не давали им освящения, но даже решились, если можно, ниспровергнуть их; и через год после того, как Генеральное собрание уничтожило епископов, оказалось, что по этому самому поводу обе партии должны были померяться силами.

В 1581 г. Роберт Монгомери был назначен архиепископом в Глазго. Пасторы, составлявшие тамошний капитал, отказались избрать его⁴⁴. Вследствие этого Тайный совет объявил, что король, в силу своей прерогативы, имеет право делать подобные

назначения. И вот начались смятения и беспорядки. Генеральное собрание запретило архиепископу въезд в Глазго. Но он не послушался такого запрещения и положился на помощь герцога Леннокса, который выхлопотал для него это назначение и которому он уступил почти все доходы архиепископства, оставив себе только небольшую стипендию. Это обыкновение, вошедшее в силу в течение нескольких предшествовавших лет, было одним из тех многих ухищрений, к которым прибегало дворянство, чтобы грабить церковь.

Но теперь вопрос был не в этом; дело шло не о доходе, а о власти. Ибо духовенство очень хорошо знало, что если только оно упрочит свою власть, то доходы придут сами собой. Поэтому оно прибегло к самым энергическим средствам. В 1582 г. было создано Генеральное собрание в Сент-Эндрюсе, и Мельвилл был назначен председателем. Правительство, опасаясь всего худшего, запретило членам собрания под страхом ответственности как за возмущение касаться вопроса об архиепископстве. Но представители церкви не смирялись. Они потребовали к себе Монгомери, постановили приговор об устранении его от исполнения духовных обязанностей и объявили, что он подлежит наказанию смещением и отлучением от церкви.

Приговор об отлучении от церкви имел в те времена такие губительные последствия, что Монгомери был поражен ужасом ввиду этой опасности. Чтобы избегнуть таких последствий, он предстал пред собранием и дал торжественное обещание не делать более никаких попыток к получению архиепископства. Этим он спас, по всей вероятности, свою жизнь, ибо народ, стоя заодно со своим духовенством, был уже готов на злодеяние и решился во что бы то ни стало поддерживать то, что он считал правами церкви, в противоположность к захватам государства.

Правительство, с другой стороны, обнаруживало не меньшую решимость. Тайный совет потребовал к ответу многих из пасторов и Дюри, как одного из самых деятельных, выслал из Эдинбурга. Готовились и еще более сильные меры, как вдруг все было прервано одним из тех странных событий, которые нередко случались в Шотландии и которые служат разительным доказательством слабости короны, несмотря на ее часто непомерные притязания.

Это было нападение Ретвена в 1582 г., сопровождавшееся десятимесячным заключением Якова VI. Духовенство, верное руководившей им в то время политике, громко одобряло пленение короля, выставляя его как дело, угодное Богу. Дюри, который был лишен кафедры, теперь с триумфом возвратился в столицу⁴⁵, и Генеральное собрание, созванное в Эдинбурге, приказало, чтобы все пасторы, каждый перед своей конгрегацией, оправдывали заключение короля.

В 1583 г. король освободился из заключения, и борьба сделалась более, чем когда-либо, смертельной, так как с обеих сторон были до крайности возбуждены страсти теми обидами, которые

каждая из них нанесла другой. Когда Ретвенон заговор признали за государственную измену, чем он и был без всякого сомнения, то Дюри проповедовал в его пользу и открыто защищал его; хотя потом, под влиянием минутного страха, он и отказался от своего мнения, но все-таки было ясно из других обстоятельств, что чувства его были разделяемы его собратьями. Многие из них, будучи призваны к ответу пред королем за свои возмутительные речи, сказали ему, чтобы он подумал о том, что делает, и напомнили ему, что еще никто из венценосцев не наслаждался счастьем после того, как пастыри начинали угрожать ему. Мельвиль, имевший огромное влияние как на духовенство, так и на народ, в лицо смеялся над королем, отказываясь дать ему отчет в том, что говорил с кафедры, и сказал Якову, что он извращает и Божеские, и человеческие законы. Симпсон уподобил его Каину и страшал его гневом Божиим⁴⁶. Действительно, дух, которым прониклась теперь церковь, был до такой степени неумолим, что ей, по-видимому, доставляло наслаждение проявлять его в самых отвратительных формах. В 1585 г. один из духовных, по имени Джибсон, в проповеди, сказанной им в Эдинбурге, произнес против короля Иеровоамово проклятие — что он умрет бездетный и что с ним прекратится род его. Год спустя после этого Яков, видя, что Елизавета решилась лишить жизни его мать, вспомнил о том, что считалось в те времена самым верным средством, и изъявил желание, чтобы духовенство молилось за Марию. Но оно почти единодушно отказало ему в этом, и не только само не стало молиться, но даже решило, чтобы и никто другой не делал того, от чего оно уклонилось. Когда архиепископ Сент-Эндрюсский приготовился отправлять богослужение в присутствии короля, духовенство подговорило некоего Джона Коупера стать заранее на кафедру, чтобы не допустить на нее прелата. Наконец капитан королевской стражи погрозил Коуперу, что он сбросит его с насильственно занятого им места, и только тогда могла начаться служба и король мог услышать молитвы за свою родную мать, в этот грустный перелом в ее судьбе, когда не было еще известно, казнят ли ее публично, или же, как вообще скорее полагали, она будет втайне отравлена.

В 1594 г. Джон Росс утверждал с кафедры, что все советники короля — изменники, что сам король — также изменник и что, кроме того, он — бунтовщик и безбожник; что этому нечего и удивляться, зная родственные отношения Якова: его мать из фамилии Гизов, гонительница святых; что он сам, хотя и избегает открыто преследовать их и почтителен к ним на словах, но на деле противоречит своим словам и что по своему притворству это — величайший из лицемеров Шотландии.

В 1596 г. Дэвид Блакк, один из влиятельнейших протестантских пасторов, произнес проповедь, наделавшую много шума. Он сказал в своей речи, что в Шотландии во главе двора стоит сам сатана. Члены совета, прибавил он, — обжоры, а лорды сессии —

нехристи. Дворяне совсем переродились: это безбожники, лицемеры, враги церкви. Что же касается английской королевы, то она просто атеистка. О королеве же шотландской он сказал бы только одно, что народ может, если хочет, молиться за нее, так как это в моде, но что к этому нет никакого другого повода, ибо никому не дожидаться от нее ничего хорошего⁴⁷.

За эту проповедь Блакк был потребован к ответу в Тайный совет. Но он отказался явиться туда на том основании, что наблюдать за тем, что говорится с кафедры, дело не светского, а духовного судилища; церкви он, конечно, послушался бы, но, получив свое призвание от Бога, он должен выполнить его до конца, и было бы с его стороны упущением, если бы он дозволил гражданской власти судить этого рода дела. Король, страшно взбешенный, приказал заключить Блакка в тюрьму; и трудно было решить, что ему оставалось делать, хотя было достоверно, что ни эта, ни какая-либо другая мера не могла бы укротить необузданный дух шотландской церкви.

В декабре того же года церковь объявила пост, и Вэльш говорил в Эдинбурге проповедь с целью возмутить народ против его правителей. Король, сказал он своим слушателям, был сперва одержим одним дьяволом, а когда этого дьявола изгнали, на место его явилось семеро новых, еще худших. Поэтому очевидно, что Яков не в своем уме, и будет совершенно законно, если отнимут у него из рук меч правосудия точно так же, как было бы законно со стороны детей или домочадцев схватить главу семейства, которого Небу угодно было бы поразить безумием. В таком случае, заметил проповедник, справедливо было бы схватить сумасшедшего и связать его по рукам и по ногам, чтобы он не мог более делать никакого вреда.

Ненависть духовенства к правительству дошла до такого ожесточения и до того усилился в этом сословии демократический дух⁴⁸, что оно, по-видимому, не в силах было сдерживать себя; Эндрю Мельвиль на одной аудиенции у короля в 1596 г. дошел даже до личных оскорблений и, схватив короля за рукав, назвал его глупым слугой Божиим. Значительная доля правды, содержащаяся в этом ругательстве, сделала его еще более язвительным. Но пасторы не всегда ограничивались одними только словами. Участие их в Ретвеновом заговоре не подлежит никакому сомнению; и, по всей вероятности, они знали также и о последней страшной опасности, какой подвергался Яков, прежде чем вырвался из беспокойной страны, которой он считался правителем. Достоверно, что граф Гоури, который в 1600 г. заманил в свой замок короля с намерением умертвить его, был главной опорой и надеждой пресвитерианского духовенства и что он близко знал все его честолюбивые планы. Оно было до такой степени ослеплено начет его, что, когда его заговор был расстроен и он сам убит, многие из пасторов распространили слух, будто Гоури пал жертвой вероломства короля и что если и был на самом деле какой-нибудь заговор, то разве только заговор,

с убийственным искусством составленный королем против своего кроткого и невинного хозяина.

Нелепости этой охотно верили в тот невежественный и по тому самому легковверный век. Что духовенство распространяло ее и что в этом, как и во многих других случаях, оно с злостным старанием трудилось над тем, чтобы опорочить личность своего монарха⁴⁹,—это не удивит того, кто знает, как легко было возбудить гнев этой церкви и как велика была всегда готовность духовного сословия очернить, хотя бы самым нелепым злословием, того, кто стоит на его пути. Из собранных свидетельств видно, что пресвитерианское духовенство простирало свою ненависть к установленным властям до неприличных, если только не преступных размеров; и мы не можем защищать его против обвинения в том, что это—беспокойная, бессовестная корпорация, жадная к власти и до крайности нетерпимая ко всему, что только противно собственным ее видам. Но все-таки настоящая причина такого поведения пресвитерианских проповедников заключалась в духе их времени и в особенностях их положения. Никто из нас не может быть уверен, что если бы и нас поставили в точно такое же положение, то мы поступали бы иначе. Теперь, читая об их поступках, какими они представляются в протоколах их же собраний и у историков их же церкви, мы не можем, конечно, не испытывать какого-то болезненного чувства, почти, можно сказать, отвращения, при виде такого суеверия, такой ябеды, таких низких, грязных ухищрений и при всем этом дерзкого, необузданного нахальства. Но дело в том, что в Шотландии самый век этот был дурен,—вот это дурное и вышло наружу.

Времена выходили из обычной колеи, и трудно было снова возратить их в нее. Долгое преобладание анархии, невежества, бедности, насилия и обмана, внутреннего смятения и внешней опасности привело Шотландию в такое состояние, которое мы с трудом можем представить себе. Я приведу далее некоторые данные о том влиянии, какое все это имело на национальный характер, и о происшедшем оттого серьезном вреде. В то же время мы должны отдать справедливость шотландскому духовенству в том, что поведение его лучше всего объясняет положение самой страны, в которой оно жило. Все вокруг него было низко и грубо; привычки людей в их ежедневной жизни отличались насилием, резкостью и совершенным невниманием к самым обыкновенным приличиям; и вследствие этого мерило человеческих деяний было до такой степени узко, что люди правдивые и благомыслящие не гнушались делать то, что в нашем развитом состоянии общества кажется невероятным. Поэтому не будем слишком скоры в суждениях наших, не будем заходить слишком далеко в обвинениях главных деятелей того великого кризиса, через который прошла Шотландия в течение последней половины XVI столетия. Много они делали такого, что возбуждает в нас сильнейшее отвращение. Но одно сделали они, за что мы должны были

бы уважать их память и провозгласить их благодетелями рода человеческого. В самую опасную минуту они сохранили дух национальной свободы⁵⁰. Духовенство спасло то, чему дворянство и корона угрожали опасностью. Его попечением потухшая искра разгорелась в пламя. Когда свет стал тускнеть и уже замерцал на алтаре, готовый погаснуть, рука духовенства поправила лампаду и поддержала священный огонь. Вот в чем его истинная слава, и оно имеет полное право успокоиться на этом.

Протестантские проповедники были хранителями шотландской свободы, и они остались верны своему посту. В опасности они всегда были впереди. Своими проповедями, своей деятельностью, как общественной, так и частной, решениями своих собраний, своими смелыми и частыми нападениями на людей, без различия их общественных положений, даже самой дерзостью своего обращения с высшими лицами — они расшевеливали умы людей, пробуждали их от летаргии, развивали в них привычку к исследованию и возбуждали тот пытливый демократический дух, который составляет единственную надежную гарантию для народа против тирании поставленных над ним личностей. Это было делом шотландского духовенства, — честь и слава людям, совершившим его. Они научили своих соотечественников проникать пытливым смелым взглядом в политику своих правителей. Они-то указали презрительно пальцем на королей и дворян и вывели наружу всю пустоту их притязаний. Они сделали смешными их претензии и потешались над их мистериями. Они прорвали завесу и изобличили все скрывавшиеся за нею проделки. Они заклеили презрением сильных мира сего, а людей, стоявших над ними, низвергли с этой высоты. Этим они сделали такое дело, которое загладило бы все их вины, даже если бы они были в десять раз больше, поколебав то пагубное и унижительное уважение, которое люди слишком склонны бывают оказывать тем, кого случай, а не заслуги, поставил выше их, — они способствовали развитию гордой, стойкой независимости, которая всегда могла пригодиться в нужде. А нужда эта пришла скорее, чем мог кто-либо ожидать. Очень немного лет спустя Яков получил в свое распоряжение все средства, которыми располагала Англия, и с помощью их стал пытаться ниспровергнуть свободу Шотландии.

Начатое им постыдное предприятие было продолжаемо его жестоким и суеверным сыном. Каким образом попытки их не удались; каким образом в предприятии этом Карл I подверг крушению свое счастье и вызвал восстание, приведшее на эшафот этого великого преступника, который осмелился злоумышлять против народа и, как всеобщий враг и притеснитель, снискал наконец справедливую кару за свои грехи, — все это известно всякому, кто читал нашу историю. Известно также, что в деле ведения этой борьбы англичане были многим обязаны шотландцам, которые кроме этого имели еще и ту заслугу, что первые

подняли руку на тирана. А что хотя менее известно, но несомненно справедливо, так это то, что обе нации вместе имеют еще один долг, который они никогда не в силах будут выплатить; это именно долг благодарности по отношению к людям, распространившим в течение последней половины XVI столетия с кафедры и из своих собраний те чувства, которые народ лелеял потом в своих сердцах и которые в удобную минуту снова пробудились на страх и, наконец, на погибель тех, кто угрожал его свободе.

Едва вступив на английский престол, Яков начал серьезно и в широких размерах пытаться поработить шотландскую церковь, которая, как он ясно видел, была главной преградой между ним и деспотической властью. Пока он был только королем Шотландии, его неоднократные посягательства были постоянно неудачны; но теперь, когда он обладал огромными средствами Англии, победа казалась легкой. Еще в 1584 г. достиг он временного торжества, принудив многих из духовных лиц признать епископство¹. Но это учреждение было так противно их антииерархическим и демократическим принципам, что никакая сила не могла преодолеть их отвращения к нему, и, совершенно запугав короля, они заставили его уступить и попятиться. Вследствие этого в 1592 г. издан был парламентский акт, низвергнувший власть епископов и установивший пресвитерианство — систему, основанную на идее равенства и потому соответствовавшую потребностям шотландской церкви.

На эту законодательную меру Яков согласился с величайшим отвращением². В самом деле, его нерасположение к ней было так сильно, что он решился при первом удобном случае добиться отмены ее, хотя бы даже пришлось употребить для этого силу. Принятый им образ действий характеризует и человека, и век. В декабре 1569 г. произошел в Эдинбурге один из тех народных мятежей, которые естественны в грубые времена, — мятеж, который по усмирении не оставил бы по себе никакого воспоминания. Но Яков воспользовался им, чтобы нанести, как он полагал, решительный удар. Он задумал просто-напросто направить в столицу своей державы огромные шайки вооруженной вольницы, которая угрозой разграбить город заставила бы духовных пастырей с их паствами согласиться на все условия, какие ему вздумалось бы предписать. Этот великодушный замысел, вполне достойный сердца Якова, был в точности исполнен. С севера король призвал горских князей, а с юга — пограничных баронов, которые должны были явиться в сопровождении своих свирепых вассалов — людей, живших грабежом и с наслаждением обагривших руки в крови. По именному указу Якова, эти кровожадные разбойники явились 1 января 1597 г. на улицах Эдинбурга, радуясь предстоящему делу и готовые, по первому слову своего государя, опустошить столицу и не оставить в ней камня на камне. Соппротивление было бесполезно. Все требования короля были исполнены, и Яков полагал, что наконец наступило время твердо установить власть епископов и, обуздав с их помощью духовенство, сломить его непокорство³.

На это предприятие потрачено было три года. Для вящего успеха его король, поддерживаемый аристократами, опирался не

только на силу, но и на хитрость, которая была употреблена тогда чуть ли не в первый раз. Она состояла в подтасовке Генеральных собраний огромным числом духовных лиц, вызванных из Северной Шотландии, где при господстве старинного кланового и аристократического духа демократический дух, преобладавший на юге, был неизвестен. До тех пор эти северные священники редко посещали большие собрания шотландской церкви; но в 1597 г. Яков послал сэра Патрика Меррея с особым поручением к ним, требуя, чтобы они присутствовали и подавали голос в его пользу. Крайне невежественные, незнакомые или почти незнакомые с сущностью спорных вопросов и, кроме того, привыкшие к тому состоянию общества, в котором люди, несмотря на свою необузданность, оказывали самое раболепное повиновение непосредственным своим начальникам, они легко поддались и согласились делать то, что им было предложено. С их помощью корона и знать так усилили свою партию, что во многих случаях располагали большинством голосов, и потому постепенно стали вводить новые порядки, целью которых было уничтожить демократический характер шотландской церкви.

Нововведения начались в 1597 г. С тех пор до 1600 г. ряд собраний узаконил различные перемены, отмеченные все тем же аристократическим направлением, которое, казалось, должно было все преодолеть. В 1600 г. Генеральное собрание открылось в Монтрозе, и правительство решилось употребить последнее усилие, чтобы принудить церковь установить епископальное устройство. Эндрю Мельвиль, бесспорно самый влиятельный человек между духовенством и предводитель демократической партии, был по обыкновению избран членом собрания; но король, произвольно вмешавшись, отказался дозволить ему занять место члена⁴. Тем не менее ни угрозами, ни силой, ни обещаниями не мог двор добиться желаемого. Он достиг только того, что некоторым священникам дозволено было заседать в парламенте; но вместе с тем было постановлено, чтобы эти лица ежегодно слагали перед Генеральным собранием свои полномочия и отдавали ему отчет в своих действиях. Собрание оставило за собой право низлагать их; а для того чтобы еще более удержать их в повиновении, оно запретило им называться епископами и предписало им довольствоваться менее значительным титулом церковных комиссаров.

После этого отпора Яков, кажется, струсил, потому что не делал никаких дальнейших попыток, хотя под рукой все еще старался о восстановлении епископства. Если бы он упорствовал, упорство могло бы стоить ему короны. Его средства были ограничены; он был чрезвычайно беден⁵; а последние события показали, что духовенство было сильнее, чем он полагал. Когда он почти не сомневался в успехе, оно заставило его испытать постыдное поражение, и это поражение было тем более замечательно, что оно было вполне делом духовного сословия, ибо духовенство в то время совершенно разошлось со знатью, так что не

могло рассчитывать ни на одного члена этого могущественного сословия.

При таком положении дел, когда вольности Шотландии, охранявшиеся церковью, находились на краю гибели, умерла Елизавета, и шотландский король сделался, кроме того, королем английским. Яков тотчас же решился употребить средства своего нового королевства для обуздания старого. В 1604 г., т. е. всего через год по восшествии на английский престол, он вознамерился нанести смертельный удар шотландской церкви нападением на независимость ее собраний и собственной властью отсрочил Абердинское генеральное собрание. В 1605 г. он опять отсрочил его и для того, чтобы заявить свои намерения, отказался в этот раз назначить день для будущей сходки. Тогда некоторые из священнослужителей, уполномоченные пресвитериями, решились сами созвать собрание, на что они имели несомненное право, так как поступок короля был очевидно незаконен. В назначенный день они сошлись в Абердинской судебной палате. Им было приказано разойтись. Достаточно, как они полагали, заявив самим фактом сходки свои привилегии, они повиновались. Но Яков, опиравшийся теперь на могущество Англии, решился дать им почувствовать перемену своего, а следовательно, и их положения. Вследствие приказаний, присланных им из Лондона, четырнадцать духовных лиц были заключены в тюрьму. Шестеро из них, не признававшие власти Тайного совета, были обвинены в государственной измене. Они были немедленно преданы суду. Суд признал их виновными. Смертный приговор был только отсрочен, чтобы наперед узнать, не благоугодно ли будет королю удовлетвориться каким-нибудь другим наказанием, которое бы не лишало жизни этих несчастных людей.

Их жизнь действительно была пощажена; но они подверглись строгому заточению, а потом были осуждены на вечное изгнание⁶. В других частях королевства приняты были подобные же меры. Почти во всей Шотландии множество духовных лиц были или заключены в тюрьму, или принуждены бежать⁷. Террор и проскрипции были повсеместны. Паника была такова, что, по общему мнению, ничто не могло воспрепятствовать прочному утверждению деспотизма, кроме непосредственного вмешательства Провидения в пользу церкви и народа.

Нельзя отрицать того, что для этих оснований были уважительные причины. У народа не было друзей никого, кроме духовенства; а дельнейшие люди из духовенства находились или в тюрьме, или в изгнании. Чтобы совершенно лишить церковь вождей, Яков в 1606 г. потребовал в Лондон Мельвиля и семерых из его товарищей под предлогом необходимости посоветоваться с ними. Залучивши их к себе, он задержал их в Англии. Им было запрещено возвращаться в Шотландию; а Мельвиль, которого правительство больше всего боялось, был отдан под стражу. Потом он был посажен в Тауэр, где просидел четыре года, и был выпущен только под условием жить за границей и никогда не

возвращаться на родину⁸. Семеро священнослужителей, сопровождавших его в Лондон, были тоже посажены в тюрьму; но так как они считались менее опасными, чем их предводитель, то им через несколько времени дозволено было возвратиться домой. Племянник Мельвиля получил, однако, приказание не отлучаться никуда далее двух миль от Ньюкасла; а шестеро его товарищей были высланы на жительство в различные части Шотландии.

Теперь, казалось, все уже было готово для уничтожения тех идей равенства, единственной представительницей которых в Шотландии была церковь. В 1610 г. открыто было Генеральное собрание в Глазго, и так как члены его были назначены короной, то все, чего желало правительство, было исполнено. По их решению, епископство было установлено, и власть епископов над священнослужителями была вполне признана⁹. Немного ранее, но в том же году учреждены были два суда верховной комиссии: один — в Сент-Эндрюсе, а другой — в Глазго. Им подчинены были все церковные суды. Они были облечены такой огромной властью, что могли потребовать кого угодно к ответу, могли допрашивать ответчика насчет его религиозных мнений, могли распорядиться отлучением его от церкви, могли налагать на него пеню или заключать его в тюрьму совершенно по своему усмотрению. Наконец, к довершению унижения Шотландии, установление епископства до тех пор не считалось полным, пока не совершился акт, который — не будь он так позорен — неизбежно был бы осмеян как пустой и ребяческий фарс. Архиепископ Глазговский, епископ Бречинский и епископ Галлоуэйский должны были проехать все пространство до Лондона для того только, чтобы к ним прикоснулся кто-нибудь из английских епископов. Невероятным может показаться, а между тем действительно предполагалось, что в Шотландии нет такой духовной власти, которая могла бы сделать из шотландца прелата. Вот почему архиепископ Глазговский и его товарищи совершили трудную по тогдашнему времени поездку в чужеземную и отдаленную столицу для приобретения какой-то тайной силы, которую они по возвращении домой могли бы сообщать своей братии. К прискорбию и изумлению соотечественников, эти недостойные священнослужители, отступив от преданий родной земли и забыв гордость, одушевлявшую их отцов, согласились отречься от своей независимости, смириться перед английской церковью и подчиниться шутовским обрядам, которые они в душе должны были презирать, но которые теперь были предписаны им их старинными и закоренелыми врагами.

Легко вообразить, как должны были дальше поступать люди, которые единственно ради своего возвышения и для того чтобы угодить своему государю могли таким образом отказаться от дорогой независимости шотландской церкви. Кто пресмыкается перед высшими, тот всегда давит низших. Немедленно по возвращении в Шотландию они сообщили полученное в Англии посвящение своим товарищам-епископам, которые были одного

с ними покая, потому что все они помогали Якову в его попытке подавить вольности их родной земли. Рукоположенные теперь надлежащим образом, они вполне устроили свою духовную жизнь; но им оставалось еще упрочить благополучие своей мирской жизни. Этого они достигли, постепенно захватывая в свои руки всю власть и относясь с беспощадной строгостью к тем, кто противодействовал им. Полное торжество епископов последовало в царствование Карла I, когда многие из них получили места в Тайном совете, где они вели себя с такой высокомерной наглостью, что даже Кларендон, несмотря на свое известное пристрастие к их сословию, порицает их поведение. Впрочем, и при Якове они торжествовали почти во всех отношениях¹⁰. Они отнимали у городов привилегии и принуждали их принимать начальников, которых сами выбирали для них. Они богатели и открыто чванились своим богатством, поступая тем бесчестнее, что страна была чрезвычайно бедна и ближние их кругом умирали с голоду¹¹. Статейные лорды, без разрешения которых нельзя было предложить никакой меры парламенту, до сих пор избирались мирянами; но епископы произвели теперь перемену, в силу которой право назначения этих лордов перешло к ним. Овладевши таким образом законодательной властью, они добились узаконения новых наказаний для своих соотечественников. Многих из духовенства они отрешили от должностей, других лишили бенефиций, а некоторых заключили в тюрьму. Так как город Эдинбург противился нововведенным обрядам и церемониям и был, подобно остальной стране, враждебен епископству, то епископы напустились и на него, сместили многих из его должностных лиц, арестовали некоторых из его именитых граждан и грозили лишить его судебных палат и чести быть местопребыванием правительства.

Между тем в это самое время, когда положение дел казалось самым отчаянным, готовилась великая реакция. Объяснения этой реакции надлежит искать в том широком и плодотворном начале, на которое я часто указывал, но которого наши обыкновенные историки не умеют понять, а именно что дурное правительство, дурные законы или дурно исполняемые хотя и бывают временно чрезвычайно вредны, однако не могут причинить постоянного зла; другими словами, они могут повредить стране, но никогда не могут погубить ее. Пока народ здоров, в нем есть жизнь, а пока в нем есть жизнь, реакция будет. В подобном случае тирания вызывает бунт, деспотизм порождает свободу. Но если народ нездоров, положение безнадежно, и нация погибает. В обоих случаях правительство, если взять долгий период времени, не оказывает никакого действия и никак не подлежит ответственности за окончательный результат. Правящие классы имеют временно огромную власть, которой неизменно злоупотребляют, если только не обуздываются страхом или стыдом. Народ может внушать им страх; общественное мнение может внушать им стыд. Но осуществление или неосуществление этой

возможности зависит от духа народа и от состояния общественного мнения. Эти два условия сами управляются длинным рядом предшествующих обстоятельств, восходящих ко времени всегда очень далекому, а иногда столь отдаленному, что наблюдение становится невозможным. Когда данных достаточно, эти предшествующие обстоятельства могут быть обобщаемы, и обобщение их приводит нас к известным крупным и могущественным причинам, от которых зависит все движение. В короткие периоды действие этих причин неприметно, но в периоды долгие оно ясно выступает на первый план, окрашивает национальный характер и управляет всеми явлениями народной жизни. В Шотландии, как я уже показал, общие причины заставили народ любить духовенство, а духовенство — любить свободу. Пока эти два факта существовали вместе, участь шотландской нации была обеспечена. Нацию эту можно было обижать, оскорблять и давить; ей можно было вредить различными способами; но чем значительнее был вред, тем вернее было возмездие, потому что тем выше должен был подняться общественный дух. Нужно было только еще немного времени и еще немного раздражения. Мы, отдаленные жители, имеющие возможность рассматривать эти предметы с высшей точки зрения и видеть, как события теснились и густели, мы не можем не заметить правильности их последовательного хода. Несмотря на кажущийся беспорядок, тут все было стройно и последовательно. Для нас весь план ясен. Перед нами — материя одного цвета и одного фасона. Ее узор ясно обозначен и, к счастью, воткан в такую ткань, могучая связь которой не могла быть разорвана ни хитростями, ни насилием коварных людей.

Ни к чему поэтому не послужило то, что тирания напрягала все свои силы. Ни к чему не послужило то, что престол был занят деспотическим и бессовестным королем, которому наследовал другой, еще деспотичнее и еще бессовестнее первого. Ни к чему не послужило и то, что несколько пронырливых и назойливых епископов, получивших посвящение в Лондоне и опиравшихся на авторитет английской церкви, сообща умышляли против вольностей родной земли. Они играли роль шпионов и предателей, но играли ее напрасно. А между тем все, что правительство могло им дать, оно дало. На их стороне был закон и право исполнения закона. Они были законодателями, членами Тайного совета и судьями. У них было богатство; у них были громкие титулы; у них были вся пышность и все атрибуты, на которые они променяли свою независимость и которыми они надеялись обморочить толпу. Но они не могли отвратить потока; они не могли даже остановить его; они не могли помешать ему нахлынуть и поглотить их в своем течении. Не успело одно поколение смениться другим, как эти пигмеи, в надменности своей воображавшие себя гигантами, пошатнулись и пали. Рука времени отяжелела над ними, и они не могли устоять. Они были низвергнуты и унижены; они лишились должностей, почестей и блеска; они потеряли все, чем подобные люди наиболее дорожат. Судьба их есть поучи-

тельный урок. Это урок и для правителей народов, и для тех, кто пишет историю народов. Для правителей она представляет одно из множества доказательств того, как мало могут они сделать и как незначительна роль, которую они играют в великой мировой драме. Для историков этот урок должен быть особенно назидателен, как убедительный пример того, что события, на которых они сосредоточивают свое внимание и которые и они считают чрезвычайно важными, в сущности ничтожны и не только не могут занимать первого места, но даже должны быть подчинены тем крупным и широким началам, путем изучения которых только и можно открыть условия, определяющие поступательное движение и жребий народов.

Дальнейшие события в Шотландии можно бегло рассказать. Терпение страны почти истощилось, и день возмездия близился. В 1637 г. народ начал восставать. Летом этого года первый большой мятеж вспыхнул в Эдинбурге. Пламя быстро распространилось, и ничто не могло остановить его. К октябрю восстала вся нация, и представлено было обвинение против епископов, подписанное почти всеми корпорациями и людьми всякого звания. В ноябре шотландцы, наперекор короне, устроили собственную систему представительства, в которой каждое сословие имело участие. В начале 1638 г. образовался Национальный конвент, и рвение, с каким все присягнули ему, показало, что народ решил, во что бы то ни стало отстоять свои права. Теперь уже очевидно было, что все кончено. В течение лета 1638 г. приготовления были окончены, и осенью буря разразилась. В ноябре Генеральное собрание, невиданное в Шотландии целых двадцать лет, открыло свои заседания в Глазго. Королевский комиссар маркиз Гамильтон приказал членам разойтись. Они отказались и не расходились до тех пор, пока не исполнили дела, которого ожидала от них вся нация. Решением их демократическое учреждение пресвитерий было восстановлено в прежнем виде, обряды посвящения были отменены, епископы отрешены от должностей и епископство уничтожено.

Таким образом епископы пали скорее даже, чем возвысились¹². Но так как их падение было только частным проявлением демократического движения, то дело не могло остановиться на этом¹³. Едва шотландцы прогнали епископов, как они уже начали войну с королем. В 1639 г. они взялись за оружие против Карла. В 1640 г. они вторгнулись в Англию. В 1641 г. король в надежде успокоить их посетил Шотландию и согласился на большую часть их требований. Но было поздно. Народ расшвирился и повсеместно требовал крови. Война снова вспыхнула. Шотландцы соединились с англичанами, и Карл был повсюду разбит. Доведенный до последней крайности, он отдался на произвол своих северных подданных. Но его преступления были так велики и так многочисленны, что их невозможно было простить. Шотландцы, вместо того чтобы помириться с ним, извлекли из него пользу. Он не только попирали их вольности, но и ввел их

в огромные издержки. За обиды он не мог предложить соответственного удовлетворения; но за издержки, понесенные ими, можно было получить вознаграждение. И так как исстари существует юридическое правило, что тот, кто не может платиться своей казной, должен платиться своей головой, то шотландцы не видели причины, почему бы им было не извлечь пользы из личности государя, тем более что он до тех пор причинял им только убытки да хлопоты. Поэтому они отдали его англичанам и взамен получили огромную сумму денег, которую потребовали как плату, причитающуюся им за ведение против него войны¹⁴. Эта сделка была выгодна для обеих сторон, заключивших договор. Шотландцы, очень бедные, приобрели то, в чем наиболее нуждались. Англичане, народ богатый, должны были, правда, заплатить деньги, но были вознаграждены тем, что овладели своим притеснителем, против которого пылали мщением, и позаботились не выпускать его из рук, пока не взыскали с него последней пени за его великие и многочисленные преступления^{14*}.

После казни Карла I шотландцы признали его сына преемником престола. Но прежде чем короновать нового короля, они подвергли его такому унижению, к какому наследственные государи не очень-то привыкли. Они заставили его подписать декларацию, в которой он выражал сожаление о том, что случилось, и признавал, что его отец, побуждаемый дурными советами, несправедливо проливал кровь своих подданных. Он был вынужден также объявить, что происшедшие события смирили его гордыню. Сверх того, он должен был извиниться в собственных своих ошибках, которые приписывал частью своей неопытности, а частью своему дурному воспитанию¹⁵. Для того чтобы он доказал искренность этой исповеди и для того чтобы эта исповедь могла сделаться общеизвестной, ему было приказано соблюдать день поста и покаяния, в который вся нация должна была плакать и молиться за него, да избегнет он последствий грехов, совершенных его домом.

Дух, которого подобные действия служат только проявлениями, продолжал одушевлять шотландцев во все остальное время XVII столетия. И это было к счастью для них, потому что царствования Карла II и Якова II были только повторением царствований Якова I и Карла I. С 1660 по 1688 г. Шотландия снова подверглась тирании, столь жестокой и столь изнурительной, что от нее сломилась бы энергия почти всякой другой нации. Аристократы, могущество которых медленно, но постоянно ослабевало, не были в состоянии противиться англичанам, с которыми они даже скорее готовы были соединиться для участия в ограблении и угнетении своего отечества. В этот период, самый несчастный, какой пережила Шотландия с XIV столетия, правительство было чрезвычайно сильно; высшие классы, пресмыкавшиеся перед ним, думали только о собственной своей безопасности; суды были так продажны, что правосудие не только отправлялось дурно, но даже и совсем не отправлялось; а пар-

ламент, совершенно запуганный, утвердил так называемый отменительный акт (recissory act), посредством которого разом были отменены все законы, изданные с 1633 г., причем законодательное собрание руководилось тем соображением, что эти 28 лет составляли период, память о котором надлежало по возможности изгладить¹⁶.

Но хотя высшие классы позорно изменили своему долгу и уничтожили законы, поддерживавшие вольности Шотландии, последствия доказали, что самые вольности были несокрушимы. Они оказались несокрушимыми оттого, что оставался дух, которым были приобретены эти вольности. Сердцевина нации была здорова; а пока она была здорова, законодатели могли уничтожать только внешние проявления свободы, но отнюдь не могли коснуться причин, от которых свобода зависела. Свобода была низвергнута, но все еще оставалась жива, и потому, несомненно, должно было наступить время, когда народ, так горячо любивший ее, должен был восстановить свои права. Должно было наступить время, когда, по словам великого певца английской свободы, народ воспрянет как богатырь от сна и, потрясая своими победоносными кудрями, встрепенется орлом, который расправляет свои могучие крылья, насыщает свои зоркие глаза полуденными лучами, очищает и изощряет свое зрение в небесном источнике, между тем как робкие птицы, любящие сумрак, мечутся кругом, испуганные его намерениями.

Тем не менее кризис был труден и опасен. Народ, покинутый всеми, кроме духовенства, подвергался беспощадному грабежу, убийству и гонению, преследовавшему его, точно дикого зверя, из конца в конец королевства. Страдания, причиненные ему тиранией епископов, были еще так свежи, что он ненавидел епископство более, чем когда-либо; а между тем правительство не только навязало ему это учреждение, но и поставило во главе епископов Шарпа, жестокого и алчного человека, который в 1661 г. был возведен в сан архиепископа Сент-Эндрюсского. Он учредил суд церковной комиссии, которая битком набил тюрьмы; когда же в них не хватило места, тогда она начала сылать жертвы в Барбадос и другие нездоровые колонии¹⁷. Народ, решившись не подчиняться предписанию правительства, касавшемуся его богослужения, начал собираться в частных домах; а когда эти собрания были объявлены незаконными, он стал уходить из своих домов в поля. Но и там епископы не давали ему покоя¹⁸. Лодердэль, уже давно стоявший во главе управления, находился в значительной степени под влиянием новых прелатов и оказывал им содействие исполнительной власти. С общего их согласия принята была новая мера: отряд войск под начальством Тернера, пьяного и свирепого солдата, был спущен на народ¹⁹. Страдалцы, доведенные до иступления, взялись за оружие. Это послужило предлогом для производства в 1667 г. новых военных экзекуций, причем некоторые из прекраснейших частей Западной Шотландии были

опустошены, дома сожжены, мужчины подвергнуты пытке, а женщины — изнасилованию²⁰. В 1670 г. издан был парламентский акт, гласивший, что всякий, кто станет без дозволения проповедовать на полях, будет казнен смертью. У некоторых юристов достало смелости защищать невинных людей, которым грозил смертный приговор; а потому решено было заставить и их замолчать, и в 1674 г. большая часть адвокатов были изгнаны из Эдинбурга. В 1678 г., по особенному приказанию правительства, горцы спустились со своих высот и, поощряемые местными властями, три месяца беспрепятственно убивали, грабили и жгли обитателей самых населенных и промышленных областей Шотландии. Между жителями северной и южной частей королевства искони существовала смертельная вражда, вследствие чего правительство и вызвало диких северян из трущоб, чтобы они вполне насытились местью. И действительно, они утолили свою ярость досыта. Целых три месяца пользовались они необузданной свободой. Восемь тысяч вооруженных горцев, призванных английским правительством и заранее освобожденных от ответственности за все беззакония, делали все что хотели по городам и селам Западной Шотландии. Они не щадили ни возраста, ни пола. Они лишали людей имущества, отнимали у них даже одежду и прогоняли их умирать в открытом поле. Многих они мучили самыми ужасными истязаниями. Дети, оторванные от матерей, делались жертвами гнусного поругания; а матери и дочери подвергались такой участи, в сравнении с которой смерть была бы радостным исходом.

Таким-то образом старалось английское правительство сломить дух и переделать мнения шотландского народа. Аристократы смотрели на эти попытки молча и не только не противодействовали им, но даже не осмеливались протестовать против них. Парламент был точно так же раболепен и утверждал все, чего требовало правительство. Народ, однако, был тверд. Его духовенство, вышедшее из средних классов, крепко держалось народа, а он крепко держался своего духовенства, и оба были непоколебимы. Епископы возбуждали против себя ненависть как союзники правительства и основательно считались общественными врагами. Они, как было известно, одобряли и часто даже внушали те злодеяния, которые совершались; они были так довольны наказанием своих противников, что никто не удивился, когда спустя несколько лет они объявили в адресе Якову II, самому жестокому из всех Стюартов, что он — любимец Неба, и выразили надежду, что Бог дарует ему сердца подданных и выи врагов.

Личность государя, которого епископы так усердно превозносили, в настоящее время достаточно разгадана. Как ни были ужасны прежде совершенные преступления, они ничего не значили в сравнении с тем, что последовало, когда он в 1680 г. принял бразды правления. Он дошел до такой степени бездушия, что находил действительное наслаждение в зрелище предсмертных

мук своих ближних. Это такая бездна злодейства, в которую редко впадают даже самые испорченные натуры. Было и всегда будет множество людей, нимало не заботящихся о человеческих страданиях и готовых причинять другим людям всякие муки для достижения известных целей. Но для того, чтобы наслаждаться зрелищем мук, нужна особенная и гнусная злоба. Яков, однако, был так нечувствителен к стыду, что даже не старался скрывать своих ужасных наклонностей. Всякий раз как производилась пытка, он непременно присутствовал при ней, услаждая свои взоры и радуясь дьявольской радостью²¹. Страшно даже подумать, что такой человек был правителем миллионов людей. Что же сказать о шотландских епископах, одобрявших того, чьих действий они были ежедневными свидетелями? Где найти выражения достаточно сильные, чтобы заклеймить этих отступников-прелатов, которые после многолетних попыток подавить вольности своей отчизны, в конце своей карьеры и почти накануне окончательного своего падения, соединились между собой и воспользовались всем своим авторитетом служителей святой, мирной религии, чтобы публично восхвалить государя, возбуждавшего ненависть современников своей злобной жестокостью,—государя, возмутительные наклонности которого, если не приписать их нездоровому мозгу, не только позорят терпевшее их время, но и бесчестят высшие свойства человеческой природы?

Но правящие классы в Шотландии были так глубоко испорчены, что подобные преступления, кажется, почти не возбуждали негодования. Страдальцами были непокорные подданные, а потому против них всякие меры считались законными. Обычная пытка, называвшаяся пыткой посредством сапога (torture of the boots), состояла в том, что нога подсудимого вставлялась в колодку, в которую до тех пор вбивали клинья, пока не раздроблялись кости. Но когда Яков посетил Шотландию, начали поговаривать, что это истязание слишком слабо и что надобно придумать другие средства. Дух, который он сообщил своим подчиненным, воодушевил его непосредственных преемников, и в 1684 г., во время его отсутствия, введено было в употребление новое орудие под названием thumbikins. Оно состояло из стальных винтиков, расположенных с таким дьявольским искусством, что ими можно было стискивать не только большой палец, но и целую руку. Орудие это причиняло неслыханно жестокую боль и, сверх того, имело то преимущество, что не подвергало жизнь опасности, так что пытка могла быть часто повторяема над одним и тем же лицом²².

После этого уже нечего более распространяться. От одного намека на подобные вещи на душе становится гадко. Когда читаешь историю того времени, кружится голова и замирает сердце при мысли о тех средствах, которыми эти подлые твари старались задушить общественное мнение и навсегда погубить храбрый и мужественный народ. Но их усилия были по-прежнему тщетны. Тем не менее еще многое оставалось

перенести. Короткое царствование Якова II ознаменовалось в самом начале необычайно варварским делом. Через несколько недель по воцелствии этого злодея на престол все дети в Аннандэле и Нитедэле, от 6- до 10-летнего возраста, были схвачены солдатами, разлучены с родителями и угрожаемы немедленной смертью. Дальнейшей мерой было поголовное изгнание целой массы взрослых людей, отправленных за море в нездоровые колонии, причем многим из мужчин предварительно обрубали уши, а женщинам налагали клейма кому на руку, кому на щеку. Но избежавшее ссылки население не упало духом и готово было на все, что требовалось для довершения дела. В 1688 г., как и в 1642-м, шотландский народ и народ английский соединились вместе против общего своего притеснителя, который спасся внезапным и позорным бегством. Он был не только деспот, но и трус, и с его стороны уже не предстояло опасности. Епископы, правда, любили его, но они были незначительной корпорацией, и притом у них и собственных забот было довольно. Единственными сильными друзьями его были горцы. Эти дикари с сожалением помышляли о минувших днях, когда правительство не только дозволяло, но и приказывало им грабить и угнетать южных соседей. Для этой цели Карл II пользовался их услугами, и едва ли можно было сомневаться в том, что в случае восстановления династии Стюартов они были бы снова употреблены в дело и снова обогащались бы грабежом на счет южан. Война была любимым их времяпрепровождением; она была их промыслом и единственным делом, которое они понимали. Кроме того, одно то, что Яков уже не имел власти, поразительно усилило их приверженность к нему. Горцы разжигались разбоем и промышленными анархией. Поэтому они ненавидели всякое правительство, достаточно сильное для наказания преступления; а так как Стюарты были теперь далеко, то это воровское племя воспыало к ним такой любовью, которая могла быть вызвана только их отсутствием. Со стороны Вильгельма III хищники боялись преследования; изгнанный же государь не мог причинять им никакого вреда и готов был смотреть на все их буйства как на естественное последствие усердия. Они, впрочем, не заботились о принципе монархического преемничества и не помышляли о теории божественного права. Единственное преемничество, которое интересовало их, было преемничество их вождей. Единственное их понятие о праве выражалось исполнением того, что приказывали эти вожди. Нищенски бедные²³, они, начиная бунтовать, не рисковали ничем, кроме жизни, которой люди при таких общественных условиях никогда не дорожат. Не удайся им восстание, они встречали скорую и, по их понятиям, честную смерть. Удайся оно,—они приобретали славу и богатство. В том и другом случае они рассчитывали, наверное, потешиться. Они были уверены в возможности, по крайней мере временно, предаться грабежу и разбою и беспрепятственно совершать те беззакония, которые считались у них лучшей наградой воинской карьеры.

Поэтому, вместо того чтобы удивляться бунтам 1715 и 1745 гг., надо удивляться только тому, что они не вспыхнули раньше и не встретили более сильной поддержки. В 1745 г., когда внезапное появление мятежников поразило ужасом Англию и когда они проникли в самую глубь королевства, наибольшая численность их, со включением южношотландских и английских соумышленников, не составляла и 6000 человек. Средним числом их было всего 5000, и они так мало заботились о деле, за которое будто бы сражались, что в 1715 г., когда их сила была гораздо значительнее, чем в 1745-м, они отказывались вступить в Англию и встать против правительства, пока не соблазнились обещанием добавочной платы. Таким же образом в 1745 г., после того как они выиграли сражение при Престонансе, единственным результатом этой великой победы было то, что горцы, вместо того чтобы нанести новый удар, дезертировали толпами с целью сохранить добычу, которую приобрели и которой одной только и дорожили. Они не заботились о том, Стюарт или Ганноверец выиграл сражение, и в этот критический момент не могли, говорит историк, устоять против желания возвратиться в свои ущелья и украсить награбленным добром свои лачуги.

Немного найдется таких нелепостей, как те романические бредни, которые представляют восстание горцев взрывом верно-подданнической преданности. Ничего подобного даже не грезилось горцам. На них тяготеев столько преступлений, что нет надобности обременять их напраслиной. Они были ворами и разбойниками; но так уже сложилась их жизнь, и они не чувствовали ее позора. Невежественные и свирепые, они, однако, не были настолько безумны, чтобы питать личную привязанность к той недостойной фамилии, которая до воцарения Вильгельма III занимала шотландский престол. Любовь к людям, подобным Карлу II и Якову II, быть может, еще извинительна как одна из тех особенностей вкуса, о каких иногда случается слышать. Но любить всех их потомков, питать привязанность, которая обнимала бы целую династию, и для удовлетворения этой необычайной страсти не только переносить большие тяготы, но и причинять огромное зло двум королевствам,— было бы и пороком, и безумием и обличало бы в горцах особого рода, чуждое их натуре, помешательство. Они восставали, потому что восстание соответствовало их привычкам и потому что они ненавидели всякое правительство и всякий порядок²⁴. О монархе же они не заботились; мало того, самый институт монархии отталкивал их. Он был противен тому духу кланового устройства, которому они были преданы; они с самого раннего детства привыкли не уважать никого, кроме своих вождей, которым оказывали добровольное повиновение и которых считали гораздо выше всех земных властителей. Никто из действительных знатоков их истории не подумает, чтобы они были способны проливать свою кровь за какого бы то ни было государя; еще менее можно полагать, что они покидали родину и предпринимали долгие

и опасные походы с целью восстановить ту порочную и деспотическую династию, преступления которой вопияли к Небу и жестокости которой раздражили, наконец, даже покорных и кротких людей.

Дело просто в том, что восстания 1715 и 1745 гг. были в нашем отечестве последней борьбой варварства против цивилизации. С одной стороны, были война и неурядица; с другой — мир и благоденствие. Вот интересы, за которые действительно люди сражались; о Стюартах же или о Ганноверцах не заботилась ни та, ни другая сторона. Исход такой борьбы в XVIII столетии едва ли мог быть сомнительным. В тогдашнее время эти бунты производили сильную тревогу как неожиданностью своей, так и странным и свирепым видом мятежных горцев²⁵. Но сведения, которыми мы теперь обладаем, показывают нам, что успех этих восстаний с самого начала был невозможен. Хотя правительство было крайне оплошно и, несмотря на полученные донесения, позволило оба раза захватить себя врасплох, тем не менее действительной опасности не было. Англичане, не отличавшиеся особенной любовью ни к горцам, ни к Стюартам, отказались восстать; а потому нельзя серьезно предполагать, чтобы несколько тысяч полунагих разбойников могли предписать английскому народу, какому государю он должен повиноваться и под каким правительством он должен жить.

После 1745 г. перерыва уже не было. Интересы цивилизации, т. е. интересы знания, свободы и богатства, мало-помалу одержали верх и отняли у людей, подобных горцам, всякое значение. Через их страну были проложены дороги, и путешественники с юга начали впервые проникать в их дотоле недоступные пустыни²⁶. В этих частях государства движение было, правда, очень медленное; зато в низменной Шотландии оно было гораздо быстрее. Торговцы и жители городов, выдвигаясь теперь вперед, начали влиянием своим нейтрализовать старинные воинственные и анархические привычки. В исходе XVIII столетия появилась склонность к торговым предприятиям, и огромная доля энергии шотландцев устремилась в это новое русло. В начале XVIII столетия то же направление обнаружилось и в литературе; сочинения о торговых и экономических предметах сделались обыкновенным явлением. Перемена в нравах тоже была заметна. Около этого времени шотландцы начали несколько утрачивать ту грубую свирепость, которой искони отличались. Это улучшение обнаружилось различными путями; одним из самых замечательных его проявлений была перемена, впервые подмеченная в 1710 г., когда оказалось, что местные жители начали обходиться без оружия, которое до тех пор всякий, кто только мог достать его, имел при себе как полезную предосторожность в грубом и потому воинственном обществе.

Чтобы проследить общее преуспеяние в различных его частностях или хотя указать его непосредственные последствия, пришлось бы написать отдельную книгу. Один из его результатов,

впрочем, так резко бросается в глаза, что о нем нельзя умолчать, хотя он и не имеет той важности, какую ему приписывали. Это — уничтожение наследственных юрисдикций, которое в сущности было только симптомом великого движения, а не причиной его, ибо само оно объясняется частью развитием промышленного духа, частью же тем уменьшением могущества аристократии, которое стало заметно еще в начале XVII столетия. В течение многих веков некоторые лица знатного происхождения пользовались привилегией судить преступления и даже казнить преступников потому только, что до них то же самое делали их предки, так что судебная власть была в сущности частью их наследия и переходила к ним подобно остальной их собственности. Учреждение этого рода, делавшее человека судьей не потому, что он был способен к этой должности, а потому, что он родился при известных условиях, было нелепостью, и революционное настроение XVIII столетия не могло пощадить его. Преобразовательный дух, которым отличался этот век, не мог не напасть на такой бессмысленный обычай, тем более что уничтожение его было облегчено как упадком аристократов, пользовавшихся этой привилегией, так и возвышением их естественных противников — промышленного и торгового классов. Упадок шотландской аристократии в XVIII столетии объясняется кроме тех общих причин, которые ослабляли аристократию почти во всей Европе, еще двумя особенными причинами. До общих причин, одинаковых как в Англии, так и в большей части континентальных государств, нам теперь нет дела. Достаточно сказать, что они вполне зависели от того развития знания, которое, усиливая влияние образованного класса, подрывает и в конце концов должно ниспровергнуть исключительно наследственные и случайные отличия. Но те причины, которые ограничивались Шотландией, имели более политический характер, и хотя были чисто местными, однако согласовались с общим ходом событий; а потому они и заслуживают внимания как звенья огромной цепи, связывающей настоящее состояние этой замечательной страны с ее прошлой историей.

Первой причиной было соединение Шотландии с Англией в 1707 г., нанешее тяжелый удар шотландской аристократии. Вследствие его законодательное собрание меньшей страны было поглощено законодательным собранием большей, и наследственные законодатели вдруг утратили прежнее свое значение. В шотландском парламенте было 145 пэров, и все они, за исключением 16 человек, лишились, по акту соединения, права устанавливать законы. Эти 16 пэров были отправлены в Лондон и заняли места в палате лордов, где они составили ничтожную и жалкую фракцию. По всякому вопросу, как бы он ни был важен для их отечества, они были легко побеждаемы большинством голосов; их манеры, жесты и в особенности комическое произношение английских слов открыто поднимались на смех; представители старинной и могущественной аристократии очутились, к крайнему

своему изумлению, ничего не значащими людьми и часто должны были льстить и пресмыкаться в приемной у министра, чтобы выхлопотать место какому-нибудь бедному клиенту. Друзья и родственники осаждали их просьбами о должностях, но большей частью это было напрасно. В самом деле, шотландские пэры, будучи очень бедны, требовали для себя более, чем английское правительство расположено было давать, и назойливостью своих притязаний роняли и достоинство свое, и репутацию. Они подвергались оскорбительным отказам, и так как вскоре сделалось известно, какое они действительно занимали положение, то от этого ослабело их влияние на родине, в народе, уже подготовленном к низвержению их власти. К этому, впрочем, они относились довольно равнодушно, потому что будущих благ ожидали не от Шотландии, а от Англии. Лондон сделался средоточием их интриг и надежд. Те из них, которые не заседали в палате лордов, стремились попасть туда, и все знали, что любимой мечтой почти каждого шотландского аристократа было сделаться английским пэром. С переменой поприща их честолюбия они мало-помалу отделились от старых связей. Как только это обнаружилось, основание их власти рухнуло. С этой минуты исчезла действительная их популярность. Очевидно стало, что патриотизм их был просто эгоистической страстью. Они перестали любить страну, которая ничего не могла им дать, и потому естественно, что и страна в свою очередь перестала любить их.

Таким-то образом расторгнута была эта великая связь. В этом деле, как и во всех подобных движениях, были, разумеется, исключения. Некоторые из аристократов оказались бескорыстными, а некоторые из их клиентов остались верными им. Но, рассматривая всю Южную Шотландию как одно целое, нельзя сомневаться, что около половины XVIII столетия исчезли те узы преданности, вследствие которых в прежние времена десятки тысяч шотландцев готовы были следовать за своими вождями в какое бы то ни было предприятие, жертвовать жизнью по одному их мановению. Дух этот, некогда считавшийся пламенным и благородным, но при более внимательном рассмотрении оказывающийся низким и рабским, угас почти везде, за исключением среды диких горцев, которые благодаря своему невежеству долгое время оставались вне влияния потока событий. Что ближайшей причиной такой перемены было соединение Шотландии с Англией, этого, вероятно, не будет отрицать никто из людей, подробно изучавших историю тогдашнего времени; а в том, что перемена эта была благотворна, могут сомневаться только сентиментальные мечтатели, для которых жизнь есть дело скорее чувства, чем рассудка, и которые, презирая действительные и осязательные интересы, ставят в укор своему веку материальное благоденствие и любовь к роскоши, как будто эти явления — следствие низких и грязных побуждений, неизвестных более возвышенному настроению минувших дней. Подобного рода мечтателям легко может показаться, что дикий и невежест-

венный аристократ, окруженный толпой преданных вассалов и живущий с грубой простотой в своем мрачном и плохом замке, представляет прекрасную картину тех бескорыстных и безрасчетливых времен, когда люди, вместо того чтобы искать знания, богатства или удобств, довольствовались скромной умеренностью своих отцов и когда, благодаря тому, что один класс оказывал покровительство, а другой чувствовал признательность,—поддерживалась общественная субординация и различные части общества связывались воедино взаимным сочувствием и силой общих впечатлений, а не грубыми, как теперь, побуждениями пошлой выгоды.

Но люди, которым знание дает некоторое понятие о действительном ходе человеческих дел, увидят, что в Шотландии, как и во всех цивилизованных странах, упадок аристократической власти составляет необходимую принадлежность общего прогресса. Поэтому надо считать счастливым обстоятельством, что между шотландцами, где власть эта долгое время была громадна, она ослабла в XVIII столетии не только в силу общих причин, действовавших в других местах, но и по двум менее важным, но особенным причинам. Первой из этих второстепенных причин было, как мы уже видели, соединение с Англией. Другая причина была, сравнительно говоря, ничтожна, но тем не менее произвела решительное действие, особенно в северных округах. Она состояла в том, что некоторые из самых старинных аристократов горной Шотландии были замешаны в бунте 1745 г. и что те из них, которые по усмирении этого бунта избежали кары закона, рады были спастись бегством в чужие края, предоставив своим вассалам самим вывертываться из беды. Они сделались придворными претендента или во всяком случае интриговали в его пользу. Интриги эти были единственным их утешением, так как поместья их на родине были конфискованы. Почти сорок лет многие знатные фамилии оставались в изгнании и хотя около 1784 г. начали возвращаться²⁷, но во время их отсутствия образовались новые связи и возникли новые понятия как в собственных их умах, так и в умах их вассалов. Явилось новое поколение и сложились новые отношения. Посторонние люди, к которым народ не чувствовал никакой симпатии, завладели поместьями знати, и хотя им и оказывалось повиновение, но это повиновение не сопровождалось уважением. Истинное почтение исчезло; сердечной преданности уже не было. Продолжаясь около сорока лет, это положение дел изменило весь строй понятий; прежние привычки до того изменились, что вожди шотландского народа, получив обратно конфискованные имущества, заметили, что была другая часть наследия, которой они уже не могли снова приобрести, и что они навсегда лишились той безусловной власти, которая во время оно охотно предоставлялась их отцам.

Благодаря этим обстоятельствам ход дел в Шотландии в XVIII столетии, и особенно в первой его половине, ознаменовался более быстрым упадком влияния высших классов, нежели

в какой-либо другой стране. Вот почему для английского правительства не трудно было провести закон, который, уничтожив наследственные юрисдикции, лишил шотландскую аристократию в 1748 г. последнего великого атрибута ее власти. Закон этот, соответствовавший духу времени, произвел хорошее действие; в особенности в горной Шотландии он был одной из непосредственных причин того, что там установилось нечто вроде порядка благоустроенного государства²⁸. Но в этом, как и во всяком другом, случае действительную и главную причину надлежит искать в положении самого общества. За несколько поколений перед тем едва ли кто-нибудь думал об уничтожении этих зловредных юрисдикций, которые тогда считались благотворными и уважались, как достойные знатных фамилий, принадлежащее им на основании естественного и незаблемого права. Такое мнение было неизбежным последствием тогдашнего положения дел; а потому, если бы законодательное собрание дерзнуло в то время наложить руку на этот предмет национального уважения, народ проникся бы сочувствием к аристократам, и знать усилилась бы тем самым, что имело бы целью ослабить ее. Но в 1748 г. обстоятельства были совершенно иные. Общественное мнение переменилось, и эта перемена мнения была не только причиной нового закона, но и основанием его успеха. Так оно всегда бывает. Люди, знание которых ограничивается почти исключительно тем, что они видят кругом себя, и которые вследствие своего невежества называются практическими людьми, могут, конечно, толковать как угодно о преобразованиях, вводимых правительством, и об улучшениях, ожидаемых от законодательства. Но всякий, кто взглянет на дело с более широкой и возвышенной точки зрения, не замедлит открыть нелепость подобных надежд. Он убедится, что законодатели почти всегда мешают обществу, а не помогают ему и что в крайне редких случаях, когда меры их оказывались благотворными, они были обязаны успехом тому, что, вопреки своему обыкновению, они слепо подчинялись духу времени и становились тем, чем им всегда надлежало быть, т. е. простыми служителями народа, желанием которого обязаны они давать публичную и легальную санкцию.

Другой поразительной особенностью Шотландии в течение этого замечательного периода было внезапное возвышение торгового и промышленного классов. Оно целым поколением предшествовало знаменитому статуту 1748 г. и было одной из причин его, потому что ослабило знатные фамилии, против которых направлен был этот статут. Движение это, как я уже заметил, началось в конце XVII столетия и до истечения первых двадцати лет XVIII века было уже в полном ходу. Торговый и промышленный дух распространился в небывалых прежде размерах, и так как люди стали цениться не по рождению только, но и по состоянию, то образовалось новое мерило отличия и на сцене появились новые действующие лица. До тех пор уважение лицам оказывалось только по их происхождению; теперь же оно стало

оказываться им и по их богатству. Старая аристократия, встревоженная этой переменой, употребляла все возможные усилия, чтобы не дать хода и помешать этим молодым и опасным соперникам. Чувство раздражения с ее стороны неудивительно. Стремление, которое тогда обнаруживалось, грозило гибелью ее притязаниям. Вместо того чтобы спрашивать: кто отец такого-то? — начали спрашивать: много ли у него денег? И конечно, если уже делать один из этих вопросов, то последний разумнее первого. Богатство — действительная и существенная вещь, которая доставляет нам удовольствия, увеличивает наше благосостояние, умножает наши средства и нередко облегчает наши страдания. Рождение же — мечта и призрак; не принося пользы ни телу, ни духу, оно только надмевает человека мнимым превосходством и побуждает его презирать того, кому природа дала первенство над ним и кто — занимается ли он увеличением нашего знания или наших богатств — во всяком случае улучшает положение общества и оказывает ему истинную и полезную услугу.

Этот антагонизм между аристократическим и промышленным духом заключается в самой природе вещей и, как бы он ни замаскировывался по временам, — представляет собой нечто неизбежное. Вот почему история торговли имеет по отношению к общественному развитию глубокое значение, совершенно независимое от практических соображений. По этому поводу я и обратил внимание читателя на то обстоятельство, которое иначе было бы чуждо целям настоящего введения, и теперь очерчу, по возможности кратко, начало того великого промышленного движения, распространению которого надлежит отчасти приписать падение шотландской аристократии.

Соединение Шотландии с Англией, совершившееся в 1707 г., произвело непосредственное и поразительное действие на торговлю. Первым делом оно открыло шотландцам новую и обширную торговлю с английскими колониями в Америке. До соединения нельзя было выгружать в Шотландии никаких товаров из американских плантаций, не выгрузив их предварительно в Англии и не очистив их там пошлиной; даже и в этом случае нельзя было перевозить их на шотландских судах²⁹. Это было одно из многих нелепых распоряжений, которыми наши законодатели нарушали естественный порядок вещей и вредили интересам как своего отечества, так и своих соседей. Прежде, однако, такие законы считались чрезвычайно мудрыми, и государственные люди постоянно придумывали покровительственные меры подобного рода, которые при самых лучших намерениях причиняли неисчислимый вред. Но если, как представляется вероятным, одной из задач в этом случае было замедлить развитие Шотландии, то законодатели достигли необычайного успеха в осуществлении того, к чему стремились. Весь западный берег Шотландии, отрезанный от прямого сообщения с американскими колониями, был устранен от единственной выгодной для него заграничной торговли, потому что европейские порты находятся на востоке,

и жители западной Шотландии могли достичь их не иначе как после долгого объезда, что препятствовало им соперничать на равных условиях с их соотечественниками, которые, отплывая с противоположной стороны, несравненно скорее достигали главных коммерческих пунктов. Вследствие этого Глазго и другие западные порты почти не развивались: они имели сравнительно мало средств удовлетворять предприимчивому духу, возникшему между ними в исходе XVII столетия, и не смели торговать с цветущими колониями, лежавшими прямо против них за Атлантическим океаном, но совершенно загражденными от них ревнивыми предосторожностями английского парламента.

Когда же по акту соединения обе страны слились в одну,— предосторожности эти были уничтожены, и Шотландия получила дозволение вступать в прямые сношения с Америкой и Вест-Индскими островами. Обстоятельство это повлияло на народную промышленность почти мгновенно: оно дало простор тому духу, который начал проявляться между шотландцами в исходе XVII столетия, и было подкреплено теми более общими причинами, которые в большей части Европы предрасположили тогдашний век к усиленной промышленности. Западная Шотландия, как самая близкая к Америке, первая почувствовала это движение. В 1707 г. жители Гринока, без всякого вмешательства со стороны правительства, обложили себя добровольной податью для устройства гавани. В этом предприятии они проявили такое рвение, что к 1710 г. все работы были окончены, мол и вместительная гавань были сооружены, и Гринок из ничтожного городишка вдруг поднялся на степень важного порта в атлантической торговле. Некоторое время купцы его довольствовались тем, что отправляли товары на кораблях, нанятых у англичан. Но вскоре они сделались смелее, начали строить суда на собственный счет, и в 1719 г. первый гринокский корабль отплыл в Америку. С этого времени торговля их возрастала так быстро, что к 1740 г. подать, которой граждане обложили себя, не только оказалась достаточной для покрытия сделанного долга, но и дала значительный остаток, послуживший средством для удовлетворения других городских потребностей. В то же время и вследствие тех же причин поднялся из ничтожества и Глазго. В 1718 г. его предприимчивые жители спустили на Клайде первый шотландский корабль, когда-либо переплывавший Атлантический океан, и таким образом опередили население Гринока одним годом. Глазго и Гринок сделались двумя важными коммерческими портами Шотландии и главными центрами ее торговой деятельности³⁰. Предметы удобства и даже роскоши, доступные прежде лишь за огромные деньги, начали распространяться по всему краю. Произведения тропических стран стали получаться прямо из Нового Света, который в свою очередь представил богатый обширный рынок для мануфактурных изделий. Это обстоятельство дало новый толчок шотландской промышленности, и последствия его не замедлили обнаружиться. Жители Глазго, найдя

у американцев большой спрос на холст, ввели холщовое производство в своем городе в 1725 г., откуда оно распространилось по другим местам и в короткое время дало работу целым тысячам рук. С того же 1725 г. начинается возвышение Пэсли. Еще в начале XVIII столетия этот богатый город был уединенной деревушкой, состоявшей из одной только улицы. Но после соединения Шотландии с Англией бедные и до того времени праздные жители его зашевелились ввиду повсеместной деятельности. Мало-помалу понятия их расширились, и введение у них в 1725 г. обработки пряжи было первым их шагом на том великом поприще, на котором они уже не останавливались, пока не сделали своего Пэсли обширным промышленным торжищем и успешным двигателем всех искусств, питающих промышленность.

Движение это проявлялось не на одном только западе. Вообще в Шотландии промышленный дух созрел до того, что начал вытеснять старинное теологическое направление, которое долго преобладало. До тех пор шотландцы почти ни о чем не заботились, кроме религиозной полемики. В каждом обществе она была главным предметом беседы, и на нее люди тратили свои силы без малейшей пользы для себя или для других. Но около этого времени замечено было, что общей темой разговоров сделалось улучшение мануфактур³¹. Такое заявление со стороны весьма дельного писателя, который был свидетелем того, о чем рассказывает, служит любопытным доказательством перемены, начинавшей, хотя очень слабо, проникать в умы шотландцев. Оно показывает, что у шотландского народа во всяком случае было стремление отвернуться от недоступных нашему пониманию предметов, прение о которых только раздражает спорящих и усиливает в них нетерпимость к теологическим мнениям, несогласным с их собственными. К несчастью, тут, как я не замедлю показать, действовали другие причины, помешавшие этому стремлению произвести все хорошие результаты, каких можно было ожидать. Все-таки даже и неполное его проявление было чистым выигрышем. Как попытка занять человеческий ум чисто светскими помыслами, оно было ударом суеверию. В стране, подобной Шотландии, и то уже было чрезвычайно важно. Надлежит еще прибавить, что, хотя это движение было последствием усиленной промышленности, тем не менее оно, как часто бывает, подействовало на свою причину и усилило ее. Уменьшая, насколько бы то ни было, прежнее чрезмерное уважение к теологическим занятиям, оно настолько же побуждало честолюбивых и предприимчивых людей воздерживаться от этих занятий и посвящать себя житейским делам, где дарования, будучи менее связаны предрассудками, имеют более простора и пользуются большей свободой действия. Из этих людей одни достигли первого места в литературе, а другие, избрав иное, но равно полезное направление, прославились в области промышленности. Вследствие этого и Шотландия XVIII века впервые увидела у себя два могущественные и деятельные класса, цель которых была чисто

светская: мыслящий класс и класс промышленный. До XVIII столетия ни один из этих классов не оказывал независимого влияния; даже нельзя было сказать, чтобы тот или другой из них имел отдельное существование. Мыслящая часть страны была поглощена церковью; промышленность страны была подавлена знатью. Действие, произведенное этой переменой на шотландскую литературу, будет описано в последней главе настоящего тома. Ее действие на промышленность было не менее замечательно и не менее важно для благосостояния народа. Но оно не имеет того общего научного интереса, какой связан с умственным движением, и потому, в дополнение к сказанному выше, я ограничусь несколькими фактами, поясняющими историю шотландской промышленности до половины XVIII столетия, когда уже не оставалось сомнения, что поток материального благоденствия принял надлежащее направление.

В течение XVII столетия единственным сколько-нибудь значительным шотландским производством было производство холста,—да и оно, подобно всем другим отраслям промышленности, развивалось очень туго и подвергалось всякого рода стеснениям. Но после соединения Шотландии с Англией оно вдруг быстро двинулось вперед по двум причинам. Одной из этих причин, как я уже заметил, был спрос из Америки, последовавший за открытием атлантической торговли. Другой причиной была отмена пошлины, наложенной Англией на ввоз шотландского холста. Эти два обстоятельства, случившиеся почти одновременно, произвели такое действие на народную промышленность, что—по словам Дефо, которому подробности дела были известны лучше, чем кому-нибудь другому из его современников,—казалось, будто шотландские бедняки уже никогда не будут испытывать недостатка в работе. К несчастью, такого результата не было и никогда не будет, пока общество не подвергнется коренному преобразованию. Но движение, вызвавшее такое смелое замечание со стороны такого осторожного наблюдателя, как Дефо, конечно, было поразительно, и мы знаем из других источников, что между 1728 и 1738 гг. производство холста только для вывоза удвоилось³². Позднее как эта, так и другие отрасли шотландской промышленности развивались с постоянно возрастающей быстротой. Один из современников, по-видимому хорошо знакомый с делом, говорит, между прочим, что с 1715 по 1745 г. шотландская торговля и промышленность увеличились более чем прежде в течение целых веков. Такое показание, хотя и ценное, как подтверждение других свидетельств, слишком неопределенно, чтобы вполне на него положиться; историки же, обыкновенно занимающиеся ничтожными подробностями о дворах, государях и государственных людях, ничего не сообщают нам о предметах действительно важных, так что теперь почти невозможно воссоздать историю шотландского народа в эту первую эпоху его материального благосостояния. Я, впрочем, собрал несколько фактов, которые, кажется, основаны на верных данных

и представляют довольно точные хронологические указания. В 1739 г. производство холста было введено в Кильбаркене, а в 1740 г.—в Арброте. С 1742 г. ведут свое начало фабрики Кильмарнока. В 1748 г. выделаны были первые полотна в Келлене и в том же году в Инвернесе. В 1749 г. эта важная отрасль промышленности, служащая источником богатства, была заведена в широких размерах в Абердине, а около 1750 г. она начала распространяться в Вэмиссе, что в графстве Файф. Эти факты, случившиеся всего в одиннадцать лет, в разных частях страны, значительно отдаленных одна от другой и ничем между собой не связанных, указывают на существование общих причин, управлявших всем движением,— хотя и тут, как всегда, все приписывается влиянию немногих могущественных лиц. Мы имеем, однако, и другие доказательства того, что это развитие было существенно народным делом. Даже в Эдинбурге, где до тех пор уважались притязания только дворянства и духовенства, начал раздаваться голос нового промышленного класса. В этой бедной и воинственной столице впервые учредилось тогда (1755 г.) общество для поощрения мануфактур, которое, по уверению историка того времени, было только одним из проявлений всеобщего энтузиазма по этому предмету. Рядом с этим движением, и как частное его выражение, можно заметить первые признаки собственно так называемого денежного класса. В 1749 г. учрежден был в Абердине первый из шотландских провинциальных банков, и в том же году основано было другое подобное учреждение в Глазго. Эти банки были представителями востока и запада; каждый из них выдачей ссуд способствовал промышленности своего округа. Соединение между восточной и западной Шотландией все еще было трудно и дорого. Но и это неудобство должно было вскоре устраниться помощью предприятия, один проект которого возбуждал бы прежде насмешки. После 1707 г. возникла мысль о соединении востока с западом посредством канала, который бы связал Ферт с Клайдом. План этот был сочтен несбыточным и оставлен. Но как только промышленный и торговый классы приобрели достаточно влияния, они взялись за него с той энергией, которая характеризует эти сословия и чаще встречается между ними, чем между другими классами общества. Таким образом в 1768 г. великое дело было положительно начато и сделан был первый шаг к тому, что в материальном отношении было предприятием огромной важности, в отношении же общественном и умственном имело еще более значения: давая дешевый и удобный транзит через самую населенную часть Шотландии, оно прямо заставляло различные округа и различные местности чувствовать взаимную надобность друг в друге и таким образом, внушая понятие о принадлежности всех их к одной системе, способствовало ослаблению местных предрассудков и смягчению местной вражды; вместе с тем, соблазняя людей выходить из тесного круга, в котором они постоянно жили, оно подготовляло их к известной степени умственного развития, которая бывает

естественным последствием ознакомления с разнообразными предметами и никогда не встречается в тех странах, где средства сообщения или очень ненадежны, или невыгодны.

Таково было состояние Шотландии около половины XVIII столетия, и, конечно, ни одной стране не представлялась лучшая будущность. Край наслаждался миром. Ему нечего было страшиться ни иноплеменного нашествия, ни внутреннего деспотизма. Искусства, увеличивающие довольство человека и содействующие его благополучию, прилежно возделывались; богатство созидалось с беспримерной быстротой и блага, идущие вслед за богатством, широко распространялись; вместе с тем надменность знати была так обуздана, что промышленный люд стал впервые чувствовать свою независимость, стал сознавать, что плоды его трудов — его неотъемлемое достояние, и стал держаться прямо, с достоинством в присутствии сословия, пред которым долгое время преклонялся в унижительном смирении.

Кроме того, возникла богатая литература редкой, поразительной красоты. Чтобы рассказать умственные подвиги шотландцев XVIII столетия сколько-нибудь достойным образом, потребовалось бы отдельное сочинение; я же не могу теперь остановиться даже для беглого обзора того, с чем знакомы, по крайней мере отчасти, все образованные люди, из которых каждому известно, как много сделано по его специальности. В последней главе этого тома я попытаюсь, впрочем, дать некоторое понятие о результатах всего этого, взятого вместе; теперь же достаточно сказать, что по всем отраслям знания этот некогда бедный и невежественный народ произвел самобытных и плодотворных мыслителей. Явление это тем более замечательно, что оно находится в совершенной противоположности с прежним состоянием народа. До самого начала XVIII столетия Шотландия могла похвалиться только двумя писателями, сочинения которых принесли пользу человечеству. То были Бьюкенен и Непер. Бьюкенен был первым политическим писателем, имевшим правильный взгляд на правительство и ясно определившим истинное отношение между народом и его правителями. Он поставил народные права на прочное основание и оправдал вперед все последующие перевороты. Непер, столь же смелый в другой области знания, успел мощным усилием гения открыть и довести до крайних последствий закон прогрессии чисел, который так прост и в то же время так могуч, что распутывает самые утомительные и сложные выкладки и, сокращая работу мозга, предотвращает огромную, несметную трату времени. Эти два человека были действительно великими благодетелями человеческого рода; но они стоят одиноко, и, если бы все другие писатели, которых Шотландия произвела до конца XVII столетия, никогда не рождались или, родившись, никогда не писали, общество ничего бы не потеряло и находилось бы точно в таком же положении, в каком оно теперь находится.

Но и в начале XVIII столетия почувствовалось движение во всей Европе, и в этом движении Шотландия приняла участие. Дух исследования распространялся так повсеместно и так неотразимо, что никакая страна не могла вполне избежать его действия. Люди пылкие взволновались; даже степенные люди расшевелились. Казалось, будто долгая ночь близится к концу. Свет показался там, где прежде не было ничего, кроме тьмы. Мнения, освященные веками, вдруг подверглись критике; повсюду возникли сомнения и потребовались доказательства. Ум человеческий, становясь смелее, не хотел удовлетворяться прежними свидетельствами. Анализ проникал до корня вещей и тщательно рассматривал основание каждого верования. Некоторое время движение ограничивалось умами высшего полета; но вскоре оно распространилось и в наиболее развитых странах охватило почти все классы. В Англии и во Франции последствия были чрезвычайно благотворны. Можно было надеяться, что и в Шотландии народный ум мало-помалу просветится. Но вышло не так. Время текло, одно поколение сменялось другим, прошло XVIII столетие, наступило XIX, а народ почти не шевелился. Средневековый мрак продолжал тяготеть над ним. Все кругом озарялось светом, а шотландцы, окутанные туманом, по-прежнему плелись оцепенело, угрюмо и боязливо. Другие нации стряхивали с себя старинные предрассудки, а этот странный народ держался своих суеверий с неослабным упорством. Теперь, конечно, его неподатливость мало-помалу уменьшается, но чрезвычайно медленно, и опасные реакции повторяются часто. Это обстоятельство, всегда тяготившее и до сих пор тяготеющее каким-то проклятьем над Шотландией, составляет главное затруднение, с которым приходится бороться ее историку. В других местах, где возвышение мыслящего класса сопровождалось возвышением классов торгового и промышленного, неизменным следствием бывало уменьшение власти духовенства, а следовательно, и уменьшение влияния суеверия. Особенность Шотландии заключается в том, что здесь в продолжение XVIII и даже до половины XIX столетия промышленное и умственное развитие ни мало не потрясало авторитета духовных³³. Странное и беспримерное сочетание! Отечество смелых и предприимчивых купцов, ловких фабрикантов, дальновидных промышленников и искусных ремесленников, отечество таких бесстрашных мыслителей, как Джордж Бьюкенен, Дэвид Юм и Адам Смит, благоговеет перед несколькими крикливыми и невежественными проповедниками, давая им такую волю и оказывая такое повиновение, которые позорят век и несовместны с самыми обыкновенными понятиями о свободе. Народ, во многих отношениях очень развитой и рассуждающий здраво о политических вопросах, обнаруживает по всем вопросам религиозным ограниченность ума, грубость чувства, запальчивость нрава и склонность к преследованию других, показывающую, что протестантизм, которым шотландцы тщеславятся, не принес им никакой пользы, что по отношению к самым важным

предметам он оставил их такими же ограниченными, какими застал, и что он не был в силах освободить их от предрассудков, делающих их посмешищем Европы и обративших самое название шотландской кирки в шутовское прозвище и укоризненное слово между образованными людьми.

Теперь я постараюсь объяснить, как все это произошло и как примирить эти видимые несообразности. Что их можно примирить и что они только видимые, а не действительные, с этим тотчас согласится всякий, кто способен к научному пониманию истории. Как в мире физическом, так и в мире нравственном нет ничего аномального, ничего неестественного, ничего странного. Тут всюду порядок, симметрия, закон. Встречаются противоположности, но нет противоречий. В характере народа несообразность невозможна. Но таково еще отсталое состояние ума человеческого, и с таким неверным и мутным взглядом подходим мы к величайшим задачам, что не только дюжинные писатели, но даже люди, от которых можно бы ожидать лучших результатов, находятся в этом случае в постоянном замешательстве, путая самих себя и своих читателей толками о несообразности, как о свойстве исследуемого предмета, тогда как в действительности это просто доказательство собственного их невежества. Дело историка — устранить это заблуждение, показав, что движения народов совершенно правильны и, подобно всем другим движениям, определяются единственно своим предыдущим. Кто не может этого сделать, тот не историк. Он может быть летописцем, биографом, дееписателем, но выше этого ему не подняться, если только он не проникнется духом науки, который возводит в догмат учение о неизменной последовательности, другими словами, — учение о том, что если известные события совершились, то другие, соответствующие им, тоже произойдут. Твердо овладеть этой идеей и прилагать ее ко всем случаям без исключения — чрезвычайно трудно; но так должен поступать всякий, кто желает поднять историю из ее теперешнего грубого и беспорядочного состояния и содействовать по мере сил возведению ее на подобающее место главы и царицы всех наук. Даже и тогда он не исполнит своей задачи, если только у него нет обильных материалов, заимствованных из несомненно достоверных источников. Но если фактов у него достаточно, если они весьма разнообразны, если они собраны из таких разнородных источников, что могут быть взаимно поверяемы и сличаемы, так что устраняется всякое сомнение в настоящем их значении, и если тот, кто пользуется ими, обладает способностью обобщения, без которой невозможно совершить ничего великого, — в таком случае он почти наверное умеет привести часть своих трудов к благополучному исходу, посвятив, разумеется, все свои силы одному этому предприятию, отложив для него всякий другой предмет честолюбия, и пожертвовав ему многим из того, чем дорожат люди. Он должен пренебречь некоторыми из самых приятных побуждений к деятельности. Не для него те награды, которые на других

поприщах заслужила бы та же энергия; не для него сладости народного одобрения, не для него наслаждения власти, не для него участие в государственных советах, не для него видное и почетное место в общественном быту. Как бы он ни сознавал свои силы, он не может участвовать в великом состязании, не может надеяться на получение приза, не может даже насладиться волнениями борьбы. Для него арена закрыта. Его награда заключается в нем самом, и он должен научиться не заботиться о сочувствии своих ближних, ни о почестях, ими раздаваемых. Не помышляя об этих вещах, он должен скорее приготовиться к поношению, всегда ожидающему того, кто, открывая новые пути мысли, тревожит предрассудки своих современников. Между тем как злоба приписывает ему невежество и даже хуже чем невежество, между тем как она перетолковывает его побуждения и заподозревает его добросовестность, между тем как она обвиняет его в отрицании значения нравственных правил и в нападках на основу всякой религии, точно он какой-то общественный враг, поставивший себе задачей развратить общество и наслаждающийся картиной причиненного им зла,— между тем как все эти нарекания раздаются вслух и переходят из уст в уста, он должен уметь молча мерным шагом идти вперед, не уклоняясь от цели, не останавливаясь на пути и не сворачивая с дороги, чтобы разобрать гневные крики, которых он не может не слышать и которые требуют человеческих усилий для того, чтобы не явилось желания обуздать их. Вот какие качества и какая твердая решимость необходимы тому, кто в самом важном из предметов исследования, находя старый путь никуда негодным, старается проложить новую стезю и в этой попытке не только, быть может, истощает свои силы, но и, наверное, навлекает на себя ненависть поборников неприкосновенности старинного порядка. Чтобы разрешить великую задачу дел человеческих, чтобы открыть сокровенные условия, определяющие развитие и судьбу народов, и найти в событиях минувшего ключ к тайнам будущего,— надобно по меньшей мере соединить в одну науку все законы нравственного и физического мира. Кто сделает это, тот перестроит заново все здание наших знаний, иначе расположит его различные части и согласит его кажущиеся несообразности. Быть может, ум человеческий еще не готов к такому громадному предприятию. Во всяком случае тот, кто примется за подобное дело, встретит мало сочувствия и немного найдет помощников. Мало того, как бы он ни трудился, пройдут утро и полдень его жизни, наступит закат его дней, и сам он сойдет со сцены, а то, что он тщетно надеялся совершить, останется неоконченным. Он может заложить фундамент, но воздвигать здание будут уже его преемники. Их руки довершат начатое: они стяжают славу; их имена будут памятны, когда его имя позабудется. Очевидно, что подобное дело требует не только многих умов, но и преемственной опытности многих поколений. Некогда, сознаюсь, я думал иначе. Некогда, впервые окинув взором все поле знания и вооб-

разив, что я различаю, хотя и смутно, его отдельные части и взаимное их соотношение, я был до того увлечен поразительной красотой зрелища, что рассудок изменил мне, и я счел себя способным не только обнять целое, но и овладеть подробностями. Я плохо знал тогда, как, расширяясь, отступает горизонт и как тщетно стараемся мы схватить летучие образы, которые ускользают и уносятся от нас в отдаление. Теперь я хорошо понимаю, что совершу только малую часть того, что прежде надеялся сделать. В этих прежних упованиях было много мечтательного, быть может, много безумного. В них был, пожалуй, и тот нравственный недостаток, что они отзывались заносчивостью, свойственной силе, не желающей признать своей слабости. Но даже и теперь, когда они разбиты и уничтожены, я не могу раскаиваться, что лелеял их; напротив, я бы охотно предался им снова, если бы мог. Такие надежды — принадлежность того веселого и пылкого возраста, когда только и бываем мы действительно счастливы, когда чувство деятельнее рассудка, когда опыт еще не закалил нашей натуры, когда привязанности наши еще не ослаблены и не разрушены до основания, когда, незнакомые с горечью разочарования, мы не беспокоимся о трудностях, не замечаем препятствий, не страдаем, а наслаждаемся честолюбием и когда у нас, благодаря быстрому обращению крови в жилах, пульс бьется часто, а сердце трепещет в чаянии будущего. Славные это дни, но они уходят от нас, и ничто не может заменить их. Мне они теперь кажутся скорее грезами расстроенного воображения, нежели трезвой действительностью, которая была, да миновала. Тяжело это признание, но я обязан сделать его читателю: мне не хотелось бы оставить его при той мысли, что я в этом или в будущих томах моей «Истории» сдержу свое слово и исполню все, что обещано мной. Кое-что я надеюсь совершить, что интересует современных мыслителей и на чем, быть может, потомство будет в состоянии строить. Но это будет только отрывком моего первоначального плана. В двух предшествующих главах я уже пытался и в следующих двух еще попытаюсь решить любопытную задачу в истории Шотландии, тесно связанную с другими еще более важными задачами; но, хотя решение, надеюсь, будет полное, доказательства решения будут, наверное, недостаточными. К сожалению, я должен прибавить, что такое несовершенство — отныне неизбежная принадлежность моего плана. Оно неизбежно, потому что я отчаиваюсь пополнить те пробелы в моем знании, которые все более и более ощущаю по мере того, как расширяются мои взгляды. Оно неизбежно еще и потому, что по внимательном соображении моих сил, вероятной продолжительности моей жизни и пределов, до которых безопасно может быть доведено прилежание, я пришел к заключению, что это введение, задуманное мною как прочная основа, на которой впоследствии можно было бы воздвигнуть историю Англии, должно быть значительно сокращено и, следовательно, лишено своей силы; в противном же случае я едва ли успел бы

рассказать с подобающей полнотой и обстоятельностью деяния той великой и блестящей нации, с которой я лучше всего знаком и которой я с гордостью считаю себя членом. Со свободным, благородным и великодушным английским народом теснее всего связаны мои симпатии; на нем естественно сосредоточиваются мои привязанности; из его литературы и жизни почерпнуты лучшие мои познания; а потому теперь самое заветное, самое священное желание моего сердца — успеть написать его историю и раскрыть последовательные ступени его мощного развития, пока задача эта мне еще по силам, пока не притупились мои способности и не начало ослабевать напряженное внимание.

Исследование умственного движения в Шотландии в течение XVII столетия

Остальную часть этого тома я намерен посвятить попытке раскрыть еще полнее тот двойной парадокс, который составляет выдающуюся особенность истории Шотландии. Парадокс этот заключается, как мы видели, во-первых, в том факте, что один и тот же народ был долгое время либерален в политике и нелиберален в религии; и во-вторых — в том, что блестящая, пытливая и скептическая литература, которую произвела Шотландия в XVII столетии, была не в состоянии ослабить суеверие этого народа или привить ему более разумные и широкие правила в деле религии. С самого раннего времени существовали, как я уже пытался доказать, многие обстоятельства, предрасполагавшие шотландцев к суеверию и в этом отношении имевшие общую связь с рассматриваемым нами предметом. Но замечательное явление, непосредственно занимающее нас, может, мне кажется, быть приписано двум различным причинам. Первая заключалась в том, что в течение ста двадцати лет после введения протестантизма правители Шотландии или пренебрегали церковью, или преследовали ее и тем как бы толкали духовенство в объятия народа, так как в нем одном оно могло найти сочувствие и поддержку. Отсюда произошел союз между обеими сторонами, более тесный, чем мог бы быть при других условиях; отсюда также возник тот демократический дух, который был необходимым последствием подобного союза и который духовенство поощряло вследствие своего антагонизма с высшими классами. Результат был в высшей степени благотворный в том отношении, что это породило любовь к свободе и ненависть к тирании, которые дважды в течение XVII столетия спасли страну от ига жестокого деспотизма. Но те самые обстоятельства, которые предохранили народ от деспотизма политического, подвергли его в тем большей мере деспотизму религиозному. Не имея никого, кому бы он мог верить, кроме проповедников, он вверился им вполне и во всех предметах. Духовенство мало-помалу приобрело неограниченное влияние не только в делах духовных, но и светских. В конце XVI столетия оно было радо, что нашло убежище у народа, в половине же XVII оно уже повелевало народом. Как постыдно злоупотребляло оно своей властью и как, потворствуя самому худшему виду суеверия, оно продолжало царство невежества и задерживало движение общества, — это будет рассказано в настоящей главе; но должно отдать справедливость этому сословию, что религиозное рабство, в которое попали шотландцы в XVII столетии, было вообще до-

бровольное, и что, какой бы вред ни причинило это рабство, оно все-таки имело благородный источник, так как влияние протестантского духовенства должно быть главнейшим образом приписано тому бесстрашию, с каким оно выступало вперед в качестве предводителей народа в такой период, когда пост этот был полон опасности и когда высшие классы готовы были соединиться с короной, чтобы уничтожить последние следы национальной свободы.

Проследить действие этой причины шотландского суеверия будет делом настоящей главы; в следующей же и заключительной главе я буду разбирать другую причину, о которой я до сих пор только едва упомянул. Этот последний разбор приведет к некоторым соображениям относительно философии метода, которые у нас еще не вполне взвешены и на которые история шотландского ума прольет значительный свет. Окажется, что в течение XVIII столетия способнейшие шотландцы почти все без исключения приняли такой метод исследования истины, который лишил их всякого сочувствия со стороны их соотечественников и не дал их сочинениям произвести то действие, которое без этого они непременно имели бы. В результате оказалось, что, несмотря на существование самой скептической литературы, скептицизм не делал никаких успехов, а следовательно, суеверие оставалось в прежнем размере. Правда, что высокообразованные умы подпали влиянию новых идей, но они составляли совершенно отдельный класс и между ними и народом не было никаких средств сообщения. Что причиной тому был именно метод, избранный литераторами, это я надеюсь доказать в следующей главе; и если я успею в этом, то будет ясно, что я не преувеличивал, называя это обстоятельство второй важной причиной сохранения шотландского суеверия, так как оно имело достаточно силы, чтобы помешать мыслящим классам в выполнении их естественного призвания колебать устарелые мнения.

Мы уже видели, что почти непосредственно после Реформации возбудилось недоброжелательство между высшими классами и духовными вождями протестантской церкви и что это недоброжелательство возросло до того, что в 1580 г. оно разрилось уничтожением епископства. Эта смелая, решительная мера сделала разрыв неисправимым. Проповедники зашли теперь слишком далеко, чтобы отступать, если бы даже и хотели этого; и с этой минуты, чистосердечно примкнув к народу, они заняли позицию, которой никогда уже более не покидали. В течение остальных двадцати лет пребывания Якова в Шотландии они занимались возбуждением народа против его правителей; и по мере того, как проповедники проникались демократическим духом, корона и дворянство становились все более и более враждебны духовенству и проявили впервые расположение соединиться между собой для отстаивания своих общих интересов. В 1603 г. Яков вступил на престол Англии, и борьба началась не на шутку. Она продолжалась с немногими

перерывами восемьдесят пять лет, и во все продолжение ее пресвитерианское духовенство ни разу не дрогнуло, оно всегда оставалось верным правому делу, всегда на стороне народа. Это значительно усилило его влияние; а что еще более благоприятствовало этому влиянию, так это то, что, являясь защитниками свободы народа, духовные были в то же время и защитниками национальной независимости. Когда Яков I и оба Карла пытались силой навязать Шотландии епископство, шотландцы отвергли его не только потому, что они ненавидели самое это учреждение, но и потому, что они смотрели на него как на признак чужеземного господства, которому они решились противиться. Ближайшим и опаснейшим врагом их была Англия, и они гнушались мысли принять епископов, которые на первых же порах должны были быть посвящены в Лондоне; кроме того, не подлежало сомнению, что они никогда не были бы приняты в Шотландию, если бы Англия не была сильнейшей державой. Поэтому столько же политические, как и религиозные причины заставляли шотландское духовенство бороться в течение XVII столетия против епископства¹; и когда оно ниспровергло это учреждение в 1638 г., то его смелое и решительное поведение сделало то, что в понятиях народа любовь к отечеству соединялась с любовью к церкви. Последующие события еще теснее связали эти два чувства². В 1650 г. Кромвель вторгнулся в Шотландию, разбил шотландцев в сражении при Денбаре и возложил на Монка обязанность сломить их непокорный дух посредством сооружения крепостей и устройства длинной цепи военных постов. Нация, запуганная и изнеможенная, упала духом и впервые, в течение трех столетий, почувствовала давление чужеземного ига. Одно духовенство осталось твердо³. Кромвель, который знал, что оно было главным препятствием к довершению его победы, ненавидел это сословие и сделал все, что мог, чтобы погубить его⁴. Но власть духовенства пустила слишком глубокие корни, чтобы можно было потрясти ее. Со своих кафедр проповедники продолжали влиять на народ и воодушевлять его. В глазах завоевателей и наперекор им шотландская церковь продолжала созывать свои Генеральные собрания до лета 1653 г. Тогда, конечно, она должна была уступить грубой силе, и народ, к своему неизъяснимому горю, увидел, как почтенные представители шотландской церкви прямо с места их собрания были взяты английскими солдатами и ведены, как преступники, по улицам Эдинбурга⁵.

Таким образом, в Шотландии после второй половины XVI столетия все обстоятельства направлялись к тому, чтобы поднять значение духовенства, выдвинув его в передовые ряды защитников отечества. И очень естественно, что духовные, сознавая свое возвышение, вели спор согласно с видами своей профессии и скорее заботились о выгодах религии, чем о светских интересах. Война, которую затеяли шотландцы против Карла I, имела в большей мере характер крестового похода, чем какая-

либо из войн, веденных протестантскими нациями⁶. Главной целью было возвысить пресвитеров и низринуть епископов. Прелатство сделалось чем-то гнусным, подлежащим искоренению во что бы то ни стало. Все остальные соображения были подчинены этому. Шотландцы любили свободу и ненавидели Англию. Но даже и эти две страсти, при всей их силе, были ничто в сравнении с их пылким желанием распространять, в случае нужды даже мечом, свое пресвитерианское церковное устройство. Это было их первым, важнейшим долгом. Они боролись, конечно, за свободу, но более всего боролись за религию. В их глазах Карл был идолопоклоннический глава идолопоклоннической церкви, и эту церковь они решили уничтожить. Они чувствовали, что их дело святое, и выступили вперед в полной уверенности, что за них обнажен Гедеонов меч и что их враги будут выданы им.

Итак, восстание против Карла, которое со стороны англичан было делом существенно светским⁷, являлось со стороны шотландцев чисто религиозным предприятием. Это потому, что у нас миряне были сильнее духовных, между тем как у них духовные были сильнее мирян. В 1543 г., так как обе нации соединились против короля, признано было полезным, чтобы они заключили между собой тесный союз; но в возникших по этому поводу переговорах, как замечает один современник, англичане хотели только гражданского союза, шотландцы же требовали религиозного договора. Так как они соглашались продолжать войну только при этом условии, то англичане вынуждены были согласиться. Результатом этого было заключение так называемого «Solemn League and Covenant» (Торжественная лига и Ковенант), которым устанавливалась, по-видимому, искренняя связь между двумя странами. Но подобный договор, конечно, не мог быть долговечен, так как обе стороны имели неодинаковые виды: англичане имели цель политическую, а шотландцы — религиозную. Последствия такого разномыслия не замедлили обнаружиться. В январе 1645 г. открылись переговоры с королем, и комиссары съехались в Уксбридже с целью заключить мир. Попытка не удалась, как и следовало ожидать, в виду того обстоятельства, что не только притязания короля были непримиримы с притязаниями его противников, но и в этих последних не было взаимного согласия между союзниками. Во время конференций в Уксбридже шотландцы выражали готовность уступить его требованиям, если он уступит им в том, что касается церкви; англичане же, говорит Кларендон, занимаясь гражданским и политическим вопросами, менее всего заботились о том, что касалось церкви. Едва ли можно найти лучший пример в доказательство светского характера английского восстания сравнительно с религиозным направлением восстания шотландцев. Последние даже далеко не скрывали этого направления, а, напротив, хвастались им и, очевидно, думали, что оно доказывает, до какой степени они стоят выше своих светски настроенных соседей. В феврале 1645 г. Генеральное собрание обратилось к нации с адресом, касавшимся не

только граждан, находившихся налицо в Шотландии, но и служивших в войсках вне ее пределов. В этом документе, который, исходя из такого источника, имел, конечно, большое влияние,—соображениям политическим, как касающимся лишь временных благ людей, не придавалось никакого значения и упоминалось о них почти с презрением. Что Руперт был разбит, а Йорк и Ньюкасл взяты в плен, это считалось пустым делом. Они были только орудиями для достижения известной цели, а цель эта — преобразование религии в Англии и установление в ней чисто пресвитерианского церковного устройства⁸.

Предполагалось, что в войне, предпринятой с такими святыми намерениями и задуманной в таком возвышенном духе, шотландцы должны были находиться под непосредственным покровительством Бога, во имя Которого они воевали. Говоря языком того времени, это была война, веденная за Бога и за Божью церковь. Каждая победа, которая одерживалась, была не результатом искусства полководца или мужества воинов, но ответом на молитвы⁹. Когда сражение проигрывалось, то это происходило или вследствие гнева Божия за грехи народа¹⁰, или для того, чтобы доказать людям, что они не должны полагаться на плотские силы. Ни одно событие не признавалось естественным — все было сверхъестественно. Ход всего дела определялся не предшествующими обстоятельствами, но целым рядом чудес. Для пользы шотландцев ветры изменялись и бури утихали. Сведения, которые им нужно было получать, нередко доставлялись морем, и в этих случаях они ожидали, что, если ветер неблагоприятен, Провидение вступится и переменит его направление, а после благополучного доставления сведений снова позволит ему возвратиться на прежний путь.

Таким-то образом в Шотландии все содействовало к усилению религиозного элемента, который по силе обстоятельств уже давно сделался там преобладающим, а теперь угрожал поглотить все остальные элементы национального характера. Духовенство владычествовало неограниченно; и умственный склад, свойственный этому классу людей, распространялся и на все прочие классы. Воззрения одного сословия перевешивали взгляды всех других, и не только военное дело, но и все интересы торговли, литературы, науки и искусства считались совершенно ничтожными, если они не служили преобладающему настроению нации. Таких узких и односторонних понятий, какие тогда владычествовали в Шотландии, никогда не бывало ни в какой другой столь же цивилизованной стране. И, по-видимому, не представлялось почти никакой возможности к уничтожению этой странной монополии. Между тем как семнадцатое столетие подвигалось вперед, в Шотландии дела шли все по-прежнему; духовенство и народ продолжали заодно бороться против королевской власти, и необходимость самосохранения вынуждала их только теснее примкнуть друг к другу. Духовные пользовались этим для усиления своего влияния, и более ста лет влияние это останавли-

вало всякое умственное развитие, убивало способность к независимому исследованию, внушало людям робость и преувеличенную строгость в деле религии и, наконец, придало всему характеру нации тот мрачный оттенок, который в нем, несмотря на постепенное смягчение его, сохраняется и донныне.

В XVII веке шотландцы вместо того, чтобы заниматься приобретением житейских познаний, развитием своих умственных сил или увеличением своего благосостояния, проводили большую часть времени в так называемом религиозном подвижничестве. Проповеди были так продолжительны и их производилось так много, что они поглощали все досуги народа, и, однако же, народ никогда не уставал слушать их. Раз проповедник входил на кафедру, то единственным пределом его многоречивости было истощение физических сил. Будучи уверен в терпении и глубоком уважении своих слушателей, он продолжал говорить, покуда мог. Если он говорил два часа сряду не останавливаясь, то его ценили как ревностного пастыря, принимающего к сердцу преуспевание своего стада; долее этого обыкновенный проповедник почти и не мог выдержать, так как предполагалось, что он должен выражать свои чувства сильными порывами и доказывать глубину своих убеждений, работая всем телом и потая до изнеможения¹¹. Впрочем, те, у которых доставало силы, нередко выходили и из этого предела, и, например, Форбсу, который был столь же силен физически, как и многоглаголив, было ни по чем проповедовать пять или шесть часов сряду. Но в обыкновенном порядке вещей такие подвиги случались редко; а так как народ был в этом отношении чрезвычайно ненасытен, то придумано было очень ловкое средство для удовлетворения его желаний. В важных случаях в одной и той же церкви присутствовало несколько проповедников, с тем чтобы, когда один устанет, он мог оставить кафедру и быть заменен другим, за которым в свою очередь следовал третий. Терпение же слушателей было, по-видимому, неистощимо¹². Действительно, в половине XVII века шотландцы привыкли смотреть на своего пастора как на божество и с восторгом принимать каждое слово, выходящее из его уст. Чтобы послушать любимого проповедника, они готовы были подвергнуться какому угодно изнурению и предпринимали с этой целью огромные путешествия, лишая себя при том сна и пищи¹³. Способность их к напряжению внимания была невероятна. Одна конгрегация оставалась нередко собранной в течение десяти часов сряду, внимая проповедям и молитвам попеременно с пением псалмов и чтением духовных книг. Один писатель, изображая Шотландию в 1670 г., говорит, что в одной из эдинбургских церквей каждую неделю производилось тридцать проповедей,—и этому совсем не трудно поверить, зная преобладавший в то время религиозный энтузиазм, под влиянием которого народ с восторгом предавался самому изнурительному и аскетическому подвижничеству. Так, например, в 1653 г. при совершении причащения соблюден был следующий

порядок. В среду все постились и слушали молитвы и проповеди более восьми часов сряду. В субботу они выслушали две или три проповеди, а в воскресенье было столько проповедей, что все оставались в церкви более двенадцати часов, и наконец в понедельник, в заключение всего, были произнесены еще три или четыре добавочные проповеди в виде благодарения Богу.

Такое усердие и такое терпение указывают нам на совершенно исключительное состояние общества; ничего подобного мы не находим в истории какой бы то ни было образованной страны. Это пламенное желание слышать все, что только угодно было проповедникам говорить, уже одно составляло самое лестное проявление уважения, и с ним естественным образом было сопряжено убеждение в том, что все духовные просвещены особенным светом благодати, в котором менее даровитым соотечественникам их отказано. Неудивительно, что духовенство, которое ни в какое время и ни в какой стране не отличалось особенным смирением или недостатком самоуверенности, при обстоятельствах столь благоприятных его притязаниям несколько возгордилось и стало домогаться еще большего авторитета, чем тот, которым оно уже пользовалось. А так как это явление весьма тесно связано со всей дальнейшей историей Шотландии, то нужно будет здесь привести несколько свидетельств об образе действия духовенства; это, между прочим, раскроет нам истинный характер владычества духовного класса и покажет, какое оно имеет влияние не только на умственную, но и на практическую жизнь нации.

Согласно с началами пресвитерианского устройства церкви, которое в XVII столетии достигло своего высшего развития, пастор каждого прихода избирал известное число мирян, на которых он мог положиться, и они под именем старейшин были его советниками или, лучше сказать, исполнителями его повелений. Эти лица, будучи собраны вместе, составляли так называемые приходские сессии, и это маленькое судилище, которое исполняло все решения, произносимые пастором с кафедры, так сильно поддерживалось суеверным уважением народа, что оно было могущественнее всякого гражданского суда. С помощью его пастор сделался неограниченным владыкой своего прихода. Всякий, кто осмеливался ослушаться его, был отлучаем от церкви, лишался собственности и признавался заслужившим вечную кару¹⁴ в будущей жизни. Против такого оружия и при таком устройстве общества сопротивление было невозможно. Духовенство вмешивалось в частные дела каждого человека, предписывало ему, каким образом он должен управлять своим семейством, и нередко даже брало на себя личное распоряжение в его доме¹⁵. Любимцы пастора, старейшины, были повсюду, так как всякий приход разделялся на несколько кварталов и к каждому из них было приставлено одно из этих лиц, с тем чтобы оно могло специально следить за всем, что делалось во вверенном ему участке. Сверх того были назначены особые шпионы, и таким образом ничто не могло укрыться от наблюдения духовенства.

Не только улицы, но и частные дома осматривались и обыскивались, чтобы узнать, не оставался ли кто-нибудь дома в то время, когда пастор поучал народ в церкви. Его все должны были слушать и все — ему повиноваться. Без согласия подчиненного ему судилища никто не мог наняться ни для домашней услуги, ни для полевых работ¹⁶. Если кто навлекал на себя нерасположение духовенства, то оно не затруднялось потребовать его слуг и заставить их высказать все, что они знали о нем, и все, что они могли заметить в его доме. Говорить непочтительно о пасторе считалось тяжкой виной, не согласиться с ним во мнениях — ересью; даже если кто, встретясь с ним на улице, не поклонился, то наказывался за то, как за преступление. Самое имя пастора считалось священным и не должно было быть упоминаемо всуе. А чтобы это священное имя могло быть надлежащим образом охранено, то собрание церкви в 1642 г. воспретило упоминать имя какого-либо духовного лица в общественных изданиях, если не было вперед испрошено согласие самого святого мужа.

Эти и другие, подобные им, распоряжения, будучи поддержаны общественным мнением, вполне достигали своей цели. Впрочем, иначе и не могло быть, так как все вообще верили, что всякий, кто решится идти против духовенства, подвергнется не только земному наказанию, но и божескому. За такое преступление грозила казнь и в этой жизни, и в будущей. Проповедники охотно поддерживали заблуждение, приносившее им так много пользы. Они говорили своим слушателям, что всякое слово, произнесенное с кафедры, обязательно для всех верующих и должно быть признаваемо исходящим непосредственно от самого Божества. Раз было принято такое положение, то за ним естественно следовало несколько других. Духовные считали себя одних посвященными в тайны промысла Божия и что в силу этого знания они могут решать, какая участь постигнет каждого человека в будущей жизни¹⁷. Они заходили еще далее и приписывали себе способность не только предсказывать это будущее состояние, но и определять его и смело утверждали, что они могут своими приговорами отверзать и закрывать человеку врата Царствия Небесного. Но, не довольствуясь даже и этим, они уверяли, что слово, сказанное кем-либо из них, может приблизить час кончины и, прервав жизнь грешника в самом начале, немедленно поставить его пред судом Всевышнего.

Как бы ужасно ни казалось нам теперь такое притязание, но оно было действительно заявляемо, и не только безнаказанно, но даже с большой пользой для духовенства; сохранилось множество примеров, в которых народ видел, до какой степени оно было основательно. Так, рассказывали, что однажды знаменитый Джон Вэльш, сидя вечером за столом, где несколько человек ужинали, начал говорить всем присутствующим о состоянии их душ. Все слушали со смирением, но в этом общем чувстве было одно исключение. Случилось, что присутствовал тут один католик, который, естественным образом, не разделял

мнений, высказываемых пресвитерианским богословом. Если бы он был человек осторожный, то он скрыл бы свое неудовольствие; но, как пылкий юноша, раздосадованный притом, что одно лицо овладело разговором, он потерял терпение и не только насмеялся над Вэльшем, но даже стал делать ему гримасы. Тогда Вэльш попросил все общество обратить внимание на него и заметить, что Господь сотворит с насмешником. Едва была произнесена эта угроза, как уже она исполнилась. Тот, который осмелился насмеяться над пастором, внезапно упал под стол и умер тут же, в присутствии всего общества.

Этот случай произошел в начале XVII столетия и, пущенный в огласку, послужил, конечно, сильной остроткой для беззаконников. Но через несколько времени впечатление этого события, по-видимому, ослабело, так как сорок или пятьдесят лет спустя другой человек позволил себе такую же дерзость. Случилось, что, когда шотландский пастор с довольно значительной известностью, Томас Гог, подобно Вэльшу, сидел за ужином, слуга забыл положить к приборам ножи. Гог, считая это за благоприятный случай для поучения, заметил, что подобная забывчивость ничего не значит и что вообще мы очень много заботимся об удобствах наших в этой жизни, между тем как гораздо нужнее было бы подумать о положении нашем в будущей жизни. Один из присутствующих, которому показались забавными манеры Гога или уменье его наводить речь на предметы, составляющие специальность его профессии, не мог удержаться и громко расхохотался. Но пастора ничто не могло остановить, и он продолжал свою речь таким манером, что хохот повторился громче прежнего. Наконец Гог обернулся и сказал своему веселому собеседнику, что скоро ему придется искать помилования и не находить его. В ту же ночь насмешник заболел и в ужасном страхе послал за Гогом. Но и это оказалось бесполезным. Прежде чем пастор успел дойти до его комнаты, грешник уже лежал мертвый и ввергнутый в вечную гибель.

И не только в частных домах бывали подобные примеры, но иногда священник с кафедры обличал виноватого и наказание совершалось так же публично, как и преступление. Рассказывают, что Габриель Сэмпл имел странную привычку, когда произносил проповедь, высовывать язык и что это возбудило смех пьяного человека, который вошел в церковь и в виде насмешки также высунул язык. Но, к ужасу его, оказалось, что высунуть язык он мог, а снова втянуть его ему не удавалось. Вследствие того язык одеревенел и потерял всякую чувствительность; затем произошел паралич, и человек этот умер через несколько дней после совершенного им греха.

Иногда наказание бывало менее строго, хотя чудо было столько же очевидно. В 1682 г. одна женщина осмелилась разбранить знаменитого проповедника Педена, который справедливо был признаваем за одно из светил шотландской церкви. «Удивляюсь,—сказал этот достойный муж,—тому, как у вас

язык не заболит от такого количества пустой болтовни». Она с негодованием отвечала, что у нее никогда не болел ни язык, ни рот. Тогда он сказал, что скоро будут болеть, и вследствие этих слов язык и десна распухли у нее до такой степени, что в продолжение нескольких дней она была не в состоянии принимать свою обыкновенную пищу.

Этой женщине по крайней мере была оставлена жизнь, с другими же лицами было поступлено строже. Один пастор был прерван посреди своей проповеди тем, что три господина вышли из церкви. Не сказано, чтобы в их манере при этом было что-нибудь обидное, известно только, что они имели целью повеселиться на какой-то ярмарке или на бегу, тогда как проповедник, без сомнения, думал, что они должны были довольствоваться наслаждением слушать его. Как бы то ни было, он остался недоволен и, когда проповедь кончилась, осудил их поведение и угрожал им гневом Божиим. Его слова были замечены, и, к ужасу всех прихожан, предсказание исполнилось в точности. Все трое умерли насильственной смертью: из них один сломал себе шею, упав с лошади, другой найден был в своей комнате с перерезанным горлом.

Подобные случаи часто бывали в XVII столетии, и так как в этот век легковерия подобным вещам люди твердо верили и молва о них далеко распространялась,—то обстоятельство это еще более усиливало могущество духовенства. Лерд Гильтон однажды осмелился стащить проповедника с кафедры, которая ему не принадлежала и на которую он взошел совершенно незаконно. «За ту обиду, которую ты сделал слуге Божию,—воскликнул раздраженный проповедник,—ты будешь принесен в эту церковь, как убитая свинья!» Так действительно и случилось. Через несколько времени Гильтон, вовлеченный в ссору, был смертельно ранен, и тело его, все в крови, принесено в ту же церковь, где им совершено было оскорбление.

Даже и тогда, когда духовное лицо было заключено в тюрьму, оно сохраняло ту же власть. Могущество это было даровано ему свыше, и никакое житейское несчастье не могло уменьшить его. В 1673 г. достопочтенный Александр Педен, находясь в заключении, услышал, что одна молодая девушка за дверями его комнаты смеялась над ним в то время, как он предавался тем громогласным молениям, которыми был известен. Веселость бедного ребенка стоила ему дорого. Педен призвал на него суд Божий. Вследствие этого признания девушку сорвало ветром со скалы, на которой она гуляла, и бросило в море, где она тотчас тонула.

Иногда мщение духовенства распространялось и на невинных потомков провинившегося перед ним человека. Один пастор, имя которого не дошло до нас, встретив в своем приходе оппозицию, впал в денежные и разные другие затруднения. Он обратился за помощью к одному торговцу, который, как человек богатый, обязан был, по его мнению, помочь ему. Но торговец не

разделял этого мнения и потому отказал. Тогда пастор возвестил, что за это Бог посетит его. Вслед за тем не только дела этого купца пошли хуже, но и рассудок его повредился, и он умер идиотом. У него были два сына и две дочери. Оба сына сошли с ума; одна из дочерей также лишилась рассудка; у другой же дочери, замужней, разорился муж, и дети, родившиеся от этого супружества, стали нищими — для того, чтобы ненавистное злодеяние деда было наказано даже в третьем поколении.

Предъявить иск на пастора или даже отстаивать свое право против него перед гражданским судом значило не только рисковать, но идти на верную гибель. Около 1665 г. на Джемса Фрэзера был предъявлен иск в значительную сумму, причитающуюся к уплате с имени его отца. Как обыкновенно бывает в подобных случаях, ответчик находил, что с ним поступают несправедливо и что домогательство его противника неосновательно. Все это еще было естественно. Но особенность заключалась в том, что Фрэзер, на которого был предъявлен иск, приготовлялся к духовному сану и, следовательно, считался под непосредственным покровительством Провидения. Такого человека нельзя было безнаказанно раздражать; и сам Фрэзер утверждает, что Бог именно вступился за него, чтобы спасти его от разорения; что один из его противников оказался не в состоянии явиться в суд, а на других Господь наложил руку, послав им смерть, чтобы таким образом сразу устранить все затруднения.

Когда такого рода рассказам все вообще верили, то совершенно естественно должно было составить мнение, что весьма опасно иметь столкновение с пастором или каким-нибудь образом вмешаться в его действия. Духовные, одуренные своим могуществом, имели дерзость объявить, что всякий, кто почитает Христа, должен по тому же самому почитать и их¹⁸. Они призывали суд Божий на всех тех, которые отказывались слушать учение, преподаваемое ими с кафедры. И это относилось не к одним только лицам, составлявшим обычный круг их слушателей. Так велика была их самонадеянность и жадность к похвалам, что они не позволяли даже чужестранцу оставаться в их приходах иначе как под тем условием, чтобы он также ходил слушать все, что им вздумается говорить¹⁹. Вследствие того что они приняли пресвитерианское устройство церкви, они стали утверждать, что Бог ни разу не преминул наказать того, кто пытался ниспровергнуть это устройство; что оно составляет идеал совершенства, и потому все, не признающее его превосходства, обречены гневу Божию и суть рабы сатаны. То же духовенство, которое таким образом выражалось о своих противниках, раточало самые отборные выражения похвалы, распространяясь о себе самом и о своих деяниях. Когда шотландский пастор восходил на кафедру или брался за перо, казалось, будто он не может найти слов довольно сильных, чтобы выразить свое понятие о чрезвычайной важности того класса, к которому он сам принадлежит. Каждый из них утверждал, что одному лишь духо-

венству известна истина; что только оно в состоянии учить и просвещать род человеческий; что учение его нисходит непосредственно с небес; что члены его суть по истине посланные Христа, от Которого они и получают свое назначение; а так как никто, кроме Христа, не может награждать их, то никто не имеет права и управлять ими²⁰. Так как они были посланные Всемогущего Бога, то их справедливо называли ангелами, и обязанностью народа было внимать своему пастору, как будто бы то был действительно ангел, нисшедший на землю²¹. Поэтому прихожане должны были не только признавать его и печься о нем, но также и повиноваться ему. Да и не мог никто отказать в этом повиновении, зная, что такое духовные и какие они исполняют обязанности. То были не только посланные и ангелы, но также и стражи, которые высматривали, где грозит опасность, и своей неусыпной бдительностью охраняли верующих. То была радость и отрада земли. То были музыканты, певшие сладостные песни,— просто сирены, старавшиеся сманить людей с недоброго пути и не дать им погибнуть²². То были отборные стрелы в колчане Божиим²³. То были горящие светильники, светящие факелы. Без них преобладал бы мрак, а их присутствие озаряло мир и делало все ясным. Вот почему их называли светилами — именем, которое выражало также возвышенность их призвания и превосходство его над всеми другими²⁴. А для того чтобы это стало еще очевиднее, творились чудеса, и можно было по временам видеть странный свет, который, разливаясь вокруг особы пастора, убеждал в его сверхъестественном призвании²⁵. Неверующий хотел бы посмеяться над этими вещами, но они были слишком очевидны, чтобы отвергать их; как всем было известно, случилось однажды, что при смерти одного священника явилась чудесным образом на небе звезда, и многие видели ее, несмотря на то что это было в полдень.

И это не был какой-нибудь единственный случай. Напротив, обыкновенно так бывало, что, когда шотландский пастор ставался с земной жизнью, событие это сопровождалось чудными знамениями, для того чтобы народ почувствовал, что происходит нечто ужасное и что его постигает тяжкая, быть может, невозвратимая потеря. Иногда таинственно гасли свечи без всякого ветра и без того, чтобы кто-либо прикоснулся к ним. Бывало даже, что в то время, когда духовное лицо проповедовало, сверхъестественное появление какого-нибудь животного возвещало приближающийся конец пастыря, и это случалось в виду всей конгрегации, которой оставалось лишь тщетно скорбеть о том, чего она не в силах была отвратить. Иногда тело такого святого человека оставалось многие годы неизменным, неразложившимся, так как смерть не имела на него того действия, какое она произвела бы на тело обыкновенной личности. В иных случаях пастору давалось знать о его смерти за несколько лет вперед; а в довершение того благоговейного страха, который поражал все умы, замечено было, что когда умирал один пастор,

то с ним одновременно бывали отзываемы и другие для того, чтобы на большем пространстве чувствовалось осиротение и чтобы, под впечатлением громадности удара, люди делались чувствительнее к неоцененным достоинствам тех проповедников, которые, по счастью, были пощажены.

Кроме того, вообще предполагалось, что пастор во время своего пребывания на этом свете был чудесным образом охраняем и защищаем. Ему в особенности покровительствовали ангелы, которые хотя и оказывали хорошие услуги всем членам истинной церкви, но особенно любили духовенство; и всем известно было, что знаменитый Петерфорд в то время, когда ему было не более четырех лет, упав в колодезь, был высажен из него ангелом, прибывшим туда с целью спасти его жизнь. Другой духовный, имевший привычку слишком крепко спать, обыкновенно бывал будим утром для исполнения своих обязанностей тремя таинственными ударами в его дверь, которые, если они не производили с первого раза должного действия, повторялись поблизости от его кровати. Они неизменно слышались всякое воскресенье и в те дни, когда он должен был причащать, и продолжались во все время его служения церкви; когда же он стал стар и немощен, они прекратились.

Вследствие распространения этих и подобных им рассказов в стране, уже готовой к принятию их, шотландский ум стал до такой степени пропитан верованием в сверхъестественное вмешательство, что это даже показалось бы решительно невероятным, если бы не имелось в виду показаний целой массы современных, безукоризненных свидетелей. Духовенство, частью потому, что оно само разделяло всеобщее обольщение, частью же ради извлекаемой им из этого пользы,—делало все, что могло, чтобы увеличить суеверие своих соотечественников и освоить их с такими понятиями о сверхъестественном мире, которым можно найти нечто подобное лишь в монашеских легендах средних веков²⁶. До какой степени оно старалось извратить умы страны и как успешно оно выполняло это низкое призвание, до сих пор еще не было известно никому из новейших читателей, ибо никто не имел терпения перелистывать бесконечные рассуждения, комментарии и другие произведения духовной литературы, где сохранились взгляды этого сословия. Но так как в Шотландии проповедники имели более влияния, чем все остальные сословия, взятые вместе, то лишь путем сравнения их показаний с тем, что окажется в общих мемуарах и переписке того времени, можно успеть сколько-нибудь воспроизвести историю периода, который исполнен великого, хотя и грустного, интереса для всякого, кто изучает с философской точки зрения истории человеческого ума. Поэтому я не стану извиняться, если войду в еще большие подробности относительно этого рода вещей; я надеюсь представить читателю такие факты, которые свяжут прошедшую историю Шотландии с настоящим состоянием ее, и дать ему возможность понять, каким образом случилось, что такой вели-

кий народ во многих отношениях еще борется с мраком, единственно потому, что он еще живет в тени той долгой и страшной ночи, которая покрывала всю страну в течение слишком целого столетия. Окажется также, что суровость и угрюмость характера этого народа, недостаток в нем веселости и его равнодушие ко многим из наслаждений жизни могут быть приписаны той же причине и составляют естественный продукт мрачных и аскетических понятий, привитых ему его религиозными наставниками. Ибо в этом веке, как и во всяком другом, духовные, раз войдя в силу, оказывались жестокими, безжалостными повелителями. Они держали народ в более чем египетской неволе, так как они поработили и ум, и тело и не только лишали людей невинных развлечений, но и научали их, что развлечения эти греховны. В такой совершенной мере сделали они свое дело, что прошло полтора столетия с тех пор, как стало уменьшаться их господство, и все-таки повсюду можно различить отпечаток их рук. Народ все еще носит следы батога; память о его прежнем рабстве еще не умерла в нем; и он пресмыкается перед своим духовенством, как и в былое время, отказываясь от своих прав, жертвуя своей независимостью и отдавая свою совесть на произвол нетерпимых и честолюбивых духовных.

Из всех средств, какие употребляло шотландское духовенство, чтобы запугать народ, самым действительным были те учения, которые оно распространяло относительно злых духов и будущего наказания. Эти предметы постоянно вызывали со стороны духовных лиц самые ужасающие угрозы. Речи, которые они держали, могли свести людей с ума от страха и повергнуть их в крайнее отчаяние. Что они часто имели такое последствие и приводили к самым пагубным результатам, это мы сейчас увидим. Действие их еще более усиливалось тем обстоятельством, что они совершенно согласовались с другими мрачными, аскетическими понятиями, которые также внушало духовенство и в силу которых наслаждения считались за грех, а страдания — за состояние праведности. Отсюда родилась та любовь причинять страдания и та способность находить наслаждение в ужасающих, возмутительных идеях, которые составляли отличительную черту шотландского ума в течение XVII столетия. Несколько примеров преобладавших в то время мнений дадут возможность читателю понять настроение той эпохи и оценить те средства, какими могло располагать шотландское духовенство, и те материалы, из которых оно состроило здание своего могущества.

Все вообще верили, что свет наводнен злыми духами, которые не только ходят там и сям на земле, но живут также и в воздухе и занимаются тем, что искушают и тревожат человечество²⁷; их бесчисленное множество, и их можно найти во всякое время года. Во главе их стоит сам сатана, для которого составляет наслаждение являться самолично и опутывать всякого встречного. С этой целью он принимает различные образы. Один день

он является будто бы на земле черной собакой, другой — ворон, третий — слышно в отдалении его мычание, похожее на бычачье. Иногда является он белым человеком в черной одежде, причем было замечено, что у него гробовой голос, что он не носит башмаков и что одна из ног его имеет раздвоение. Ухищрениям его не было конца. По мнению теологов, ловкость его росла с годами, и так как он изощрялся слишком пять тысяч лет, то поэтому он достиг беспримерной изворотливости. Он мог хватать как мужчин, так и женщин и летать с ними по воздуху. Обыкновенно он носил одежду мирян, но говорили, что не раз случалось ему нахально являться и в одеянии слугителя Евангелия²⁸. Как бы то ни было, в той или в другой одежде, но он часто являлся духовным лицам и пытался переманить их на свою сторону. Это, конечно, не удавалось ему, но, кроме духовных, по правде сказать, не много кто мог устоять против него. Он мог поднимать ветры и бури; он мог действовать не только на дух, но и на органы тела, заставляя людей слышать и видеть, что ему угодно. Одних из своих жертв заставлял он совершить самоубийство, других — убийство. Но как бы он ни был страшен, все-таки ни один христианин не считался достигшим религиозной опытности, пока он буквально не видал его, не говорил и не боролся с ним. Духовенство постоянно проповедовало о нем и подготавливало своих слушателей к свиданию с великим врагом. Последствием этого было, что народ почти сходил с ума от страха. Всякий раз, как проповедник упоминал о сатане, страх бывал так силен, что церковь оглашалась стенаниями и вздохами. Нам трудно даже и представить себе, какой вид имела в те дни шотландская конгрегация. Нередко люди, оцепенев и обезумев от ужаса, оставались как бы прикованными к своим местам страшным очарованием, которое заставляло их слушать, несмотря на то что, как говорят, они задыхались и у них становились дыбом волосы. Такие впечатления нелегко изглаживались. Ужасные образы оставались в умах и преследовали людей и дома, и в их ежедневных занятиях. Они верили, что дьявол был всегда буквально под рукой; что он являлся им, говорил с ними, искушал их. Не было никакого спасения. Куда бы они ни пошли, везде он находился. Внезапный шум, даже вид какого-нибудь неодушевленного предмета, например камня, был в состоянии оживить в их уме ассоциации идей и воспроизвести в памяти речи, слышанные с кафедры.

И в этом нет ничего странного. По всей Шотландии проповеди, почти все без исключения, слагались по одному и тому же плану и были направлены к одной и той же цели. Возбуждать страх — было главной задачей²⁹. Духовные хвастали тем, что специальным призванием их было громогласно возвещать гнев и проклятия Господни. В их глазах Божество было не благодетельным существом, а жестоким, бессовестным тираном. Они объявляли, что весь род человеческий, за весьма малым исключением, обречен на вечное бедствие. А когда они доходили до изображения самого бедствия, мрачное воображение их разыг-

рывалось и разгоралось. В картинах, которые они рисовали, они воспроизводили, и притом в усиленной степени, варварские грезы варварских веков. Они с наслаждением говорили своим слушателям, что их будут жарить на страшном огне и вешать за языки. Их станут жалить скорпионы, а кругом они будут видеть истязания своих сотоварищей и слышать их вопли. Их будут бросать в кипящее масло и в растопленный свинец. Для них приготовлена река из огня и серы, шириной превосходящая землю; в нее-то и погрузят их; их кости, их легкие, их печень будут кипеть, никогда не сгорая. В то же время они будут добычей червей, и, пока эти последние будут точить их тело, вокруг них соберутся дьяволы и станут смеяться и потешаться над их страданиями. Таковы были первые степени страданий; но это были только первые. Истязания, кроме того что они были бесконечны, должны были еще постепенно ухудшаться. Так утонченна была жестокость, что за одним адом следовал другой; и чтобы страдалец не отерпелся, его по прошествии некоторого времени переводили далее, с тем чтобы он испытал новые истязания в новых местах; и все было так устроено, чтобы страдания не притупляли чувствительности, но были столько же разнообразны по своему характеру, сколько и бесконечны по своей продолжительности.

Все это было делом Бога шотландских духовных³⁰. Оно было не только делом Его, но и наслаждением, и гордостью. Согласно их учению, ад создан прежде, чем явился на свет человек, ибо Всемогущий Бог — они не посовестились сказать это — употребил свой предшествовавший досуг на приготовление и усовершенствование этого места истязаний, так чтобы, когда явится род человеческий, оно уже было готово принять его. Но как бы ни были громадны эти приспособления, их оказалось недостаточно; так как ад был не довольно велик, чтобы вместить бесчисленные жертвы, беспрестанно ввергаемые в него, то последнее время его расширили. Теперь стало довольно просторно. Но и в этом обширном пространстве не было пусто, ибо на всем его протяжении раздавались стоны и вопли нескончаемой агонии. Они потрясали воздух ужасными звуками, а в промежутках между ними происходили другие сцены, еще более раздирающие. Громкие упреки наполняли воздух: дети упрекали родителей, слуги — господ. Тогда действительно ужас был общий, широко распространявшийся во все стороны. В то время как дитя проклидало отца, отец, снедаемый угрызением совести, сам чувствовал свою вину; и дети, и отцы оглашали ад своими пронзительными криками, борясь в судорожной агонии с переносимыми страданиями и зная, что им готовились еще новые страдания, более мучительные.

Даже теперь кровь стынет в жилах от таких речей, когда подумаешь, что должно было происходить в умах людей, которые могли дойти до того, чтобы держать их. Выказывание подобных идей изобличает характер самых личностей и обнажает их внутреннюю сторону. Мы содрогаемся при мысли о том,

какое мрачное, извращенное воображение, какие мстительные помыслы, какие дикие противозаконные и смутные представления должны были вмещать в себе люди, которые были в состоянии собрать и привести в порядок различные части этого отвратительного целого. Ни малейшее раздумье, ни малейшее угрызение совести, ни малейшее сострадание, по-видимому, не закрадывались в их душу. Ясно, что их воззрения были зрело обдуманы; ясно также, что они наслаждались ими. Они были запечатлены единством соображения и подкреплены энергией и силой речи, которые доказывают, что они всем сердцем участвовали в своем деле. Но прежде чем дойти до этого, они должны были умереть для всякого чувства жалости и любви. А между тем они были наставниками великой нации и во всех отношениях пользовались в ней самым большим влиянием. Народ легковверный и грубо-невежественный внимал и верил им. Мы, живя на таком расстоянии от него по времени и вращаясь в совершенно ином круге мыслей, можем составить себе лишь слабое понятие о том, какое действие производили на народ эти страшные воззрения. Он был убежден, что на этом свете его непрестанно преследует дьявол и что он и другие злые духи постоянно вращаются вокруг него в вещественных видимых образах, искушая и завлекая его в погибель; а на том свете его ожидают самые ужасные, неслыханные наказания; причем как этот, так и тот свет управляются мстительным Божеством, гнев которого ничем невозможно смягчить. Когда людям постоянно присущи подобные идеи, удивительно ли, что рассудок их часто не выдерживает, что на них нападает религиозная мания, под влиянием которой они в мрачном отчаянии лишают себя жизни³¹.

Мало в самом деле утешительного представляла в то время людям их религия. Не только дьявол, как виновник всякого зла, но даже и Тот, кого мы признаем за источник всякого блага, был в глазах шотландских духовных существ жестоким, мстительным, повинующимся, как и они сами, внушению гнева. Они заглядывали в свое собственное сердце и там находили изображение своего Бога. Согласно их воззрениям, это был Бог страха, а не Бог любви. Ему приписывали они самые худшие страсти своей собственной сварливости и раздражительной природы. Они приписывали Ему мстительность, хитрость и постоянное расположение причинять кому-нибудь страдание. В то самое время как они объявляли, что все люди — грешники, лишённые всякой надежды на спасение и предназначенные собственно для вечной гибели, — они без зазрения совести обвиняли Божество в том, будто оно прибегает к разным ухищрениям против этих несчастных жертв, будто оно строит им засады, чтобы захватывать их врасплох. Шотландские духовные учили своих слушателей, что Всемогуший Бог до такой степени кровожаден и до того склонен к гневу, что он свирепствует даже против стен и домов и бессмысленных тварей, изливая свою злобу более чем когда-либо и рас-

пространяя повсюду опустошение. Скорее чем отказаться от своей жестокой, злостной цели, Он решился, говорили они, спустить ангелов-мстителей для того, чтобы они нападали на людей и на их семейства. Независимо от этой меры у Него были еще различные другие средства, с помощью которых Он мог в одно и то же время удовлетворять Самого Себя и казнить свои создания,— что видно в особенности из тех уловок, к которым Он прибегал, чтобы наказать какой-нибудь народ голодом³². Когда какая-нибудь страна голодала, это происходило оттого, что Бог в своем гневe иссушил почву, не дал облакам излить свою влагу и сделал таким образом, что плоды земли завяли. Все невыносимые страдания, причиняемые недостатком пищи,— медленная смерть, предсмертные муки, всеобщее бедствие, преступления, порождаемые этим бедствием, томление матери, когда она видит своих детей, изнемогающих от голода, и не может дать им хлеба,— все это было Его деянием, делом рук Его. В своем гневe Он иногда наносил вред хлебам, посылая такую позднюю весну и такую холодную и дождливую погоду, что жатва непременно должна была оказаться плохой. Иногда также Он обманывает людей, посылая им благоприятную погоду и дав им поработать в поте лица в надежде на обильный сбор хлеба, в самый последний момент вдруг вмешивается и истребляет хлеб, которому оставалось только быть сжатым. Бог шотландской кирки (Kirk)— это был Бог, который столько же истязал свои создания, сколько и наказывал их; и когда Он бывал прогневлен, то Он сперва старался разлакомить людей, поддерживая в них надежды, чтобы таким образом сделать для них предстоящие бедствия тем более чувствительными.

Под влиянием этого ужасного верования и вследствие неограниченного господства духовенства, которое поддерживало его, шотландский ум пришел в такое состояние, что в течение XVII и части XVIII столетия некоторые из самых благородных чувств, к каким только способна наша природа, чувства надежды, любви, благодарности, были отложены в сторону и заменены внушениями рабского, постыдного страха. Физические страдания, которым вообще подвержен человеческий организм, даже самые случайности, иногда постигающие нас, считались происходящими не от нашего неведения или нашей неосмотрительности, но от злобы Божества. Если случался пожар в Эдинбурге, то возбуждалась страшнейшая тревога, потому что в этом слышался голос Всевышнего, взывающий против разврата и распущенности этого города. Если на теле вашем оказывались вередь или язвы, то и это было Божеским наказанием, и считалось более чем сомнительным, вправе ли вы лечиться от них³³. Оспа, как одна из самых опасных болезней, в особенности считалась посылаемой от Бога; и поэтому предупреждение ее посредством прививания отвергалось, как нечестивая попытка идти наперекор Его воле³⁴. Другие расстройств, хотя менее страшные, но все-таки очень мучительные, происходили также из этого же источника; началом

всех их считался гнев Всемогущего Бога. Во всем проявлялось Его могущество, но не тем, что возрастало благоденствие людей или улучшалось их благосостояние, а тем, что всевозможными путями им наносился вред и причинялись страдания. Рука Его, всегда поднятая на людей, иногда лишала их вина, посылая неурожай на виноград, иногда истребляла бурей их стада³⁵, иногда, наконец, даже заставляла собак кусать их за ноги, когда они менее всего ожидали этого. Иногда выражал Он Свой гнев, делая погоду чрезмерно сухой, иногда же — делая ее в такой же степени мокрой. Он постоянно карал, постоянно был занят увеличением суммы всеобщего страдания, или — употребляя язык того времени — тем, что заставлял создание изнывать под ударами бича. Всякая новая война была результатом Его специального Промысла; она не происходила от неуместного вмешательства или нелепого самолюбия государственных людей, а была непосредственным делом Божества, на которое и падала таким образом ответственность за все опустошения, убийства и другие еще более ужасные преступления, сопряженные с войной³⁶. В счастливые промежутки мира, которые случались в те времена очень редко, у Него были другие средства тревожить человечество. Удар землетрясения служил выражением Его недовольства, комета была предзнаменованием угрожавшего бедствия; а когда наступало солнечное затмение, то бывал такой всеобщий панический страх, что люди всех сословий поспешали в церкви, чтобы смягчить гнев Божий. То, что они слышали в церкви, только усиливало их страх, вместо того чтобы успокоить их. Духовенство учило своих слушателей, что даже такое обыкновенное явление, как гром, должно было возбуждать благоговейный страх и посылалось для того, чтобы напомнить людям, с каким грозным повелителем они имели дело. Не трепетать перед громом считалось поэтому признаком безбожия; и в этом отношении человек невыгодно противопоставлялся низшим животным, так как на этих последних всегда производило сильное действие это проявление могущества Божия³⁷.

Эти Божеские посещения, как то: солнечные затмения, кометы, землетрясения, гром, голод, зараза, война, болезнь, ржа в воздухе, неурожай, холодные зимы, сухие лета, — эти и подобные им бедствия были, по мнению шотландских теологов, проявлениями гнева Всемогущего Бога за грехи людей; и что такие проявления бывали беспрестанно, это не удивительно, если принять в соображение, что в том же веке и согласно с тем же верованием самые невинные и даже похвальные поступки считались грешными и достойными наказания. Образовавшиеся по этому предмету мнения не только любопытны, но и чрезвычайно назидательны. Кроме того, что они составляют важную часть истории человеческого ума, они служат также решительным доказательством опасности допущения одной профессии до слишком большого возвышения над всеми другими. В Шотландии, как и везде, лишь только удалось духовенству обратить на себя более

чем обыкновенную долю всеобщего внимания, оно тотчас же воспользовалось этим обстоятельством, чтобы распространять те аскетические учения, которые, поражая в самом корне человеческое счастье, никому не приносят пользы, кроме сословия, проповедующего их. И действительно, сословие это не может не извлечь пользы из такой политики, которая, усиливая опасения, к которым невежество и робость людей делают их и без того слишком склонными, усиливает также и их готовность прибегать к помощи своих духовных советников. Чем сильнее опасение, тем сильнее и эта готовность. Это очень хорошо знали шотландские духовные, которые были совершеннейшие мастера своего дела. Под их влиянием установилась система нравственности, которая, выдавая почти всякое деяние за грешное, держала людей в вечном опасении того, чтобы им не совершить нечаянно какого-нибудь тяжкого проступка, который мог бы навлечь на их головы примерное, поразительное наказание.

Согласно с этим кодексом, все врожденные привязанности, все общественные удовольствия, все забавы и все радостные побуждения человеческого сердца были греховны и подлежали искоренению. Было грехом со стороны матери желать иметь сыновей; а если они у нее были, то было грешно заботиться о их благе³⁸. Грешно было делать приятное себе, и грешно же делать приятное другим, потому что в том и другом случае человек делает будто бы неугодное Богу³⁹. Поэтому следовало тщательно избегать всяких удовольствий, как бы ни были они сами по себе незначительны и как бы ни казались законны. Находясь в обществе, человек должен был стараться назидать гостей, если обладал даром назидания, но отнюдь не должен был и помыслить о том, чтобы забавлять их⁴⁰. Следовало воздерживаться от веселости, особенно же доходящей до смеха; собеседников надлежало искать себе между людьми степенными и скорбными, которые не отдавались бы такой пустой суете. Улыбка могла быть дозволена изредка, лишь бы она не переходила в смех; но так как это плотская утеха, то грешно было даже улыбаться в воскресный день⁴¹. Люди, глубоко проникнутые религиозными убеждениями, даже в будни почти никогда не улыбались, а только вздыхали, стонали, плакали. Истинный христианин должен был во всех своих движениях сохранять неизменную важность, никогда не бегать, а ходить степенно, не позволяя себе живой и бойкой поступи, свойственной неверующим. Когда он писал к приятелю, он должен был остерегаться, чтобы в письмах его не было ничего похожего на шутливость, потому что шутка несовместна с достоинством богобоязненной и серьезной жизни⁴².

Предосудительно было находить наслаждение в созерцании красивой местности, потому что благочестивый человек должен оставаться чужд таким недостойным его вещам и предоставить подобные наслаждения необращенным грешникам. Пусть люди, не возрожденные верой, предаются этим суетам; люди же,

просветленные истинным религиозным учением, видят природу такой, какая она есть действительно; они знают, что природа в непрестанном движении уже около 5000 лет, что силы ее почти истощены, что первоначальная мощь ее исчезла⁴³. В глазах невежества она еще прекрасна и свежа; в действительности же она выжила из сил и дряхла; она страдает старческой немощью; организм ее, утратив прежнюю упругость, покосился набок; она должна скоро умереть от дряхлости. Вследствие людских грехов все на свете становится с каждым днем хуже, и природа вырождается с такой быстротой, что лилии уже утрачивают свою белизну, а розы свое благоухание. Небесный свод дряхлеет; само солнце, освещающее землю, становится бессильным. Тяжело становится на душе, когда подумаешь об этом вырождении всего в мире; но люди непросветленные и не подозревают его. На их нечестивые глаза все, что они видят, еще прекрасно. Это последствие их упорного потворства чувствам, которые все порочны,— а всех их порочнее, без всякого сравнения, зрение. Поэтому-то глаз отмечен по преимуществу как предмет Божией кары; так как он постоянно грешит, то он и обречен пятидесяти двум недугам, т. е. по одному недугу на каждую неделю в году⁴⁴.

Таким образом, непозволительно было ценить какие бы то ни было красоты; или, говоря точнее, никакой действительной красоты не существовало. В мире не было ничего, на что стоило бы смотреть, кроме шотландской кирки, которая была, без всякого сравнения, прекраснейшим созданием во всей Вселенной. Созерцание ее было единственным законным наслаждением, всякое же другое удовольствие было греховно. Так, например, писать стихи считалось за тяжкий грех, заслуживающий особенного осуждения⁴⁵. Слушать музыку было также предосудительно, потому что человек не вправе предаваться таким пустым развлечениям. Поэтому духовенство запрещало музыку даже на свадебных празднествах; ни под каким предлогом не допускало даже национального увеселения волынкой. Грешно было смотреть на уличный кукольный театр, хотя бы только из своего окна⁴⁶. Танцы почитались за такой великий грех, что Генеральное собрание издало особое постановление, которым танцевание положительно запрещалось и которое было читано во всех эдинбургских церквях. Вечер на Новый год был издавна в Шотландии, как и во всей остальной Европе, днем радости и веселья. Церковь и на него наложила руку и повелела, чтобы никто не смел петь песен, присвоенных обычаем этому дню, а также не смел бы пускаться к себе в дом таких певцов.

На крестины ребенка у шотландцев было в обычае созывать всю родню, которой у них тогда, как и теперь, насчитывалось очень много. Но такое собрание гостей доставляло удовольствие, а всякое удовольствие почиталось за грех. Поэтому обычай этот был запрещен, число гостей было ограничено, и духовенство очень строго наблюдало, чтобы никто не мог в подобных случаях радоваться свыше допускаемой им меры⁴⁷.

И не на одни крестины, но также и на свадьбы были распространены подобного рода распоряжения. Во всех странах искони заведено весело справлять свадьбы, отчасти по естественному чувству радости, отчасти же, может быть, вследствие невольного размышления, что при союзе, столь часто сопровождаемом одними страданиями, желательно, чтобы хоть начало было радостно. Но шотландское духовенство смотрело иначе. На свадьбах людей бедных оно просто запрещало всякое веселье⁴⁸, на свадьбы людей богатых непременно являлся один из членов местного духовенства, нарочно для того отряженный, чтобы не допускать излишней веселости. Едва ли возможно было придумать более действительную меру. Но духовенство не ограничивалось ею. Для того чтобы вернее сдерживать плоть, оно подчинило своему контролю кухню, определяло выбор яств и число блюд. До того оно простирало свою заботливость по этим предметам, так боялось, чтобы свадебный пир не был слишком лаком, что ограничило даже его стоимость и никому не позволяло выходить из суммы, которую оно сочло приличным назначить.

Ничто не могло укрыться от его бдительности; ибо, по его воззрению, самый лучший человек в лучшую пору своей жизни был так преисполнен всякой скверны, что действия его не могли не быть порочны. Человек, по уверению шотландского духовенства, дня не может прожить, чтобы не согрешить, а самый незначительный из его грехов заслуживает вечного Божия гнева. Все, что он ни делает, грешно, как бы ни были чисты его помышления. Человек, после первого грехопадения, постепенно падал ниже и ниже и наконец низошел на такую степень нравственного упадка, что стоит ниже животных, для которых все кончено с окончанием земной жизни. Еще до рождения человека, еще в утробе матери начинается уже его виновность. Затем по мере того, как он подрастает, быстро умножаются и усиливаются его преступления; одним из самых возмутительных преступлений в глазах духовенства было обучение детей новым словам,—ужасный обычай, недаром взыскиваемый гневом Божиим⁴⁹. Это, впрочем, только одно из бесчисленного множества беспрестанных прегрешений; так что должно удивляться, как может земля до сих пор терпеть гнусное зрелище, представляемое человеком; как не разверзла она еще своей утробы, подобно тому как бывало во времена ветхозаветные, и не поглотила его среди его нечестивых дел. Ибо бесспорно то, что нет во всем мироздании ничего безобразнее и чудовищнее человека.

При таком положении вещей прилично было духовенству выступить вперед и ограждать людей от собственных их пороков, принять на себя неусыпное наблюдение за всеми их действиями, самыми даже мелочными, и насильно направлять их на путь истины. Эту принятую на себя обязанность оно исполняло с неуклонной твердостью. При помощи старейшин, которые были орудиями и творениями его власти, оно образовало из себя по

всей Шотландии законодательные собрания и в них постановляло законы, которым все должны были повиноваться. И горе тому, кто вздумал бы отказать в этом повиновении. Таких ослушников объявляли непокорными сынами церкви; их сажали в тюрьму, наказывали денежными штрафами, секли, клеймили раскаленным железом или же заставляли приносить публично покаяние перед всей конгрегацией; и они должны были являться босые, с остриженной наполовину головой и повиняться, между тем как пресвитер, под видом поучения им, тешился своим торжеством. Все это было дело весьма естественное, ибо священнослужители почитались наместниками неба, истолкователями его воли. Следовательно, никто не мог лучше их судить о том, что люди должны и чего не должны делать, и подвергшийся их порицанию обязан был покориться со смирением и покаянием.

Эти произвольные и безответственные судилища, возникшие по всей Шотландии, соединяли в себе власть и законодательную, и исполнительную и несли обязанности той и другой одновременно. Постановив, что такое-то действие не должно быть совершаемо, они затем сами же приводили закон в исполнение и наказывали нарушителей его. По правилам этой самой юриспруденции, созданной духовенством, шотландцу стало грешно ездить в католическую страну. Шотландскому содержателю постоялого двора грешно было пускать католика в свое заведение. Шотландскому городу грешно было допускать у себя базар в субботу или в понедельник, потому что оба дня смежны с воскресеньем. Шотландке грешно было прислуживать в трактире; грешно ей было жить одной⁵⁰ и грешно же было жить у незамужних сестер. Грешно было в воскресенье ехать из одного города в другой, как бы ни была настоятельна надобность в этом⁵¹. Грешно было в воскресенье навестить приятеля; грешно было полить сад или огород, грешно было даже побриться⁵². Такие вещи не могли быть терпимы в христианской стране. В воскресенье непозволительно было заботиться о своем здоровье, не должно было вовсе думать о своем теле. В этот день грешно было ездить верхом; грешно было прогуляться в поле, или по лугу, или по улицам; грешно было даже сесть у ворот своего дома, чтобы подышать свежим воздухом. Лечь спать в воскресенье, прежде чем были окончены все обязанности дня, почиталось также за грех, достойный церковного осуждения⁵³. Купание, как вещь приятная и полезная для здоровья, составляло также великий грех, и купаться в воскресенье строго запрещалось⁵⁴. Впрочем, в сущности не решенный вопрос, позволительно ли христианину плавание в какое бы то ни было время, даже в будни; по крайней мере достоверно было то, что Бог однажды явил, что дело это Ему не угодно, лишив жизни одного мальчика в то время, когда он предавался этой плотской утехе.

Что грешно содержать свое тело в чистоте, разумелось, пожалуй, само собой, так как шотландское духовенство призна-

вало за грех все, что служило к житейским удобствам, потому только, что оно составляло удобство. Единственной великой задачей жизни было, чтобы человек находился безвыходно в состоянии страдания⁵⁵. На все, что было приятно чувствам, следовало смотреть с недоверчивостью. Христианин должен остерегаться, чтобы не находить удовольствия в своем обеде, потому что одни только нечестивые услаждаются пищей. По такому же точно умозаключению за грех ставилось человеку стараться о благополучном устройстве своей жизни, заботиться об улучшении каким бы то ни было образом своего положения⁵⁶. Зарабатывать деньги, копить их было неприлично христианину; даже иметь много денег было предосудительно, потому что деньги не только служат к доставлению человеку удовольствий, но еще поощряют в нем предусмотрительность, заботливость о будущем, несовместную с полной покорностью воле Провидения. Желать большего, чем сколько человеку безусловно нужно для того, чтобы не умереть, почиталось и за грех, и за безумие; это было нарушение того повиновения, которым мы обязаны Богу. Что оно противно Его воле, очевидно притом и из того же факта, что Он щедро наделяет богатством иных скряг и любостяжательных людей,— замечательное явление, которое, по понятиям шотландского духовенства, неоспоримо доказывало, что Бог не любит богатства, иначе Он не посылал бы его таким низким и скверным людям.

Быть грязным и голодным, бедствовать всю жизнь и со страхом расставаться с жизнью, мучиться вередями, язвами и всякого рода болезнями, вечно вздыхать и стонать, обливаться слезами и надирать грудь рыданиями — словом, быть удрученным безысходной скорбью и всяческими страданиями,— вот что, стало быть, почиталось за признак благочестия, а все противное — за признак порочности. К чему человек чувствовал влечение, об этом и не спрашивалось; самый факт влечения делал предмет этого влечения грешным. Все, что было естественно, по этому самому было злом. Духовенство отняло у народа все его праздники, его забавы, его зрелища, его игры и развлечения; оно подавляло всякое проявление радости, запрещало всякое веселье, изгоняло всякие празднества; оно забило наглухо все пути, которыми мог проникнуть луч удовольствия, и повергло весь край в глубокую тьму⁵⁷. И действительно, тяжело налег мрак на страну. Все, даже самые обыденные действия людей, их взоры запечатлелись заботой, унынием и аскетизмом. Лица омрачились и поникли. Не только на образе мыслей, но и на поступи, движениях, голосе, на всей наружности людей отразилось действие мертвящего недуга, сгубившего все, что есть в жизни светлого и душевного. Путь жизни стал устилаться пожелтевшей, иссохшей листвой; с каждым днем становился он мрачнее; цвет его поблек и опал; весна, свежесть и красота покинули его; радость и любовь исчезли или принуждены были укрываться в темных закоулках, пока наконец прекраснейшие и самые драгоценные стороны человеческой природы под этим постоянным

гнетом не перестали давать плод и не были, по-видимому, обречены на вечное бесплодие.

Таким образом, в семнадцатом столетии был задержан в своем росте и изувечен национальный характер шотландцев. В народе, как и в отдельном человеке, гармоническое и свободное развитие жизни возможно только при смелом и безбоязненном отправлении ее деятельности во всех главнейших ее стремлениях. Эти стремления двояки: одни имеют предметом увеличить счастье духа, другие — увеличить счастье тела. Если б мы могли представить себе человека вполне совершенного, мы должны бы предположить его соединяющим в высшей степени обе формы наслаждения, извлекающим как из тела, так и из духа высшую меру наслаждения, совместную с его собственным счастьем и с счастьем других людей. А так как такого совершенства в действительности не существует, то мы и видим постоянно, что даже мудрейшие из нас не могут сохранить надлежащего равновесия между обоими стремлениями, а всегда уклоняются в одну какую-либо сторону: одни дают перевес удовлетворению тела, другие — удовлетворению духа. Если сравнить между собой оба направления, нет сомнения, что духовные наслаждения во многих отношениях выше физических; они многочисленнее, разнообразнее, долговечнее, имеют более облагораживающее влияние; они менее способны производить пресыщение в отдельном человеке и приносят более пользы всему человечеству. Но на одного человека, способного к духовному наслаждению, приходится по крайней мере сто способных к наслаждению физическими удовольствиями. Счастье, доставляемое физическим наслаждением, имея обширное применение, распространяясь в данную минуту на большее число людей, чем счастье, проистекающее из духовных наслаждений, получает чрез это большое значение, которое слишком склонны не признавать некоторые люди, называющие себя философами. Много раз отвлеченные мыслители, неразумно восставая против таких наслаждений, употребляли все усилия для того, чтобы уменьшить меру счастья, к какой способно человечество. Такие писатели забывают, что человек состоит не из одного духа, а из духа и тела; забывают также, что в огромном большинстве случаев тело являет большую деятельность, чем дух, могущественнее его, имеет более видное во всем участие и способно к более великим деяниям; вследствие такого забвения они впадают в большую ошибку, пренебрегая целым рядом деяний, к которым наиболее склонны и наиболее способны девяносто девять человек из ста. За эту ошибку они платятся тем, что их книг не читают, что их системы оставляются без внимания, что их строй жизни принимается разве только немногочисленным классом уединившихся ученых, но остается чужд обширному миру действительности, для которого он непригоден и в котором он причинил бы самый серьезный вред.

Поэтому, если мы станем рассматривать историю мысли в связи с историей деяний, мы можем с полной вероят-

ностью сказать, что аскетические учения философов, вроде, например, учения стоиков и тому подобных теорий умерщвления плоти, не причинили того вреда, которого можно бы было от них ожидать, и что им не удалось в ощутительной степени уменьшить количество существенного счастья человечества. Я полагаю, что этому неукладу их были две причины. Во-первых, эти философы, за очень немногими разве исключениями, весьма мало обладали действительным знанием человеческой природы и не умели затрагивать те струны, действовать на те тайные пружины, на которые должен действовать человек для того, чтобы склонить другого человека к своему образу мыслей. А во-вторых, они, к счастью нашему, никогда не имели в руках власти, а следовательно, не могли ни навязывать своих учений страхом наказаний, ни заманивать к ним посредством наград.

Но если философам и не удалось отнять у человечества часть его радостей, то есть зато другой класс людей, который принялся за ту же задачу с большим успехом. Я разумею, конечно, теологов. Взятые в целом как сословие, они во всех странах и во все времена обдуманно ратовали против таких удовольствий, которые для огромного большинства людей составляют существенное условие счастья. Поставив Бога собственного своего изобретения, которого они представляют любящим только наказание, жертвы и самоумерщвления, они под этим предлогом запрещают наслаждения не только невинные, но даже похвальные. Ибо всякое наслаждение, которым мы никому не причиняем вреда, невинно; а всякое невинное наслаждение заслуживает похвалы, потому что оно питает в человеке чувство довольства, удовлетворенности, которое в свою очередь располагает его желать добра и делать добро ближнему. Теологи, однако, по причинам, мною уже объясненным, стремились к совершенно противоположному чувству, и, когда только бывала власть в их руках, они постоянно запрещали множество действий, доставляющих человеку удовольствие, на том основании, что эти действия будто бы неуютны Божеству. Что они не имели к тому никакого уважительного основания и что они позволяли себе так решительно судить и рядить о таких предметах, относительно которых человек не имеет никаких достоверных сведений, это знает очень хорошо всякий, кто беспристрастно, не вдаваясь в предвзятые мнения, исследовал их аргументы и приводимые ими доводы. Об этом, впрочем, мне нет надобности много распространяться; ибо совершенно в той же мере, в какой люди почти с каждым годом и уж, наверное, с каждым поколением приучаются к более строгому и точному мышлению, распространяется между ними и убеждение, что такие теологи исходят из произвольных предположений, в подкрепление которых они ничего не могут привести, кроме новых предположений, столь же произвольных и бездоказательных. Вся система их опирается на страх, и притом на страх самого худшего рода; ибо, по их учению, великий виновник

нашего бытия употребил свое всемогущество самым жестоким образом, наделив свое творение наклонностями, инстинктами и влечениями, которых удовлетворение не только Им же воспрещается, но еще должно, по Его воле, подвергать нас вечной каре.

Что теологи в кабинете, то самые священники на проповеднической кафедре. Теологи действуют на людей, преданных науке, читающих; духовенство действует на людей незанятых, слушающих. Имея, однако, в виду, что один и тот же человек нередко несет оба звания и что к тому же дух и направление того и другого звания совершенно одинаковы, мы можем с практической точки зрения считать оба класса вполне тождественными; а взяв их вместе и рассматривая деятельность обоих как одно общее дело, всякий, кто взглянет на совершенное ими в целом, должен признать, что они всегда были не только самыми злыми, но и самыми ловкими противниками счастья человечества. В дни своего могущества и славы, когда они властвовали над обществом, когда между людьми господствовало легкоеверие и сомнение не западало в умы, они налагали на человечество всякого рода истязания: предписывали посты, покаяния, хождения к святыням; учили свои простодушные и невежественные жертвы всячески истязать себя: бичевать свое тело, терзать свою плоть, умерщвлять в себе самые естественные пожелания. Таково было состояние Европы в средние века. Таково доселе состояние каждой страны, где духовенство пользуется неограниченной властью. Такие аскетические, самоистязательные обычаи составляют неизбежный плод теологического духа, когда он ничем не сдерживается. В наше время благодаря быстрому развитию знания он с каждым днем утрачивает свое влияние, потому что дух научный и светский вытесняет его из занятой им когда-то области. Поэтому-то в наше время, и в особенности в Англии, наиболее возмутительные черты его прикрываются, он принужден маскировать свое природное безобразие. Между нынешним английским духовенством старание согласить противоположные притязания обдуманной, приличной мировой сделкой заступило место отважной и запальчивой борьбы, которую предшественники его вели против погруженного в чувственность и тьму мира. Грозные требования его заметно притихли. Оно уже позволяет людям искать некоторой доли удовольствия, некоторой доли роскоши, небольшой доли счастья. Оно не настаивает уже на умерщвлении всякого пожелания, на отречении от всякого житейского удобства. Оно не смеет уже говорить языком власти. Кое-где показываются еще следы прежнего духа, но только между людьми необразованными и когда они имеют слушателями невежественную толпу. Высшее духовенство, которому страшна утрата доброй славы, стало осмотнительно; и какое бы ни было собственное его убеждение, оно уже редко решает на те грозные карательные речи, которыми оно прежде громило человечество со своих кафедр, перед которыми в былое время трепетали все и каждый,

под мощью которых обращались в перст и прах все, кроме избранника, их произносившего.

Хотя в настоящее время многое из этого уже исчезло, однако уцелевших остатков достаточно для того, чтобы показать, что такое теологический дух, и убедить нас, что одна только сила общественного мнения удерживает его от возвращения к прежнему изуверству. Многие члены духовенства до сих пор упорствуют в гонении всяких мирских удовольствий, забывая, что как мир, так и все существующее в мире есть создание одного Всемогущего Творца и что те наклонности и желания, которые они осуждают как богопротивные, суть часть даров, Им же данных человеку. Они еще не сознали, что наши влечения, составляющие часть нас самих, точно так же, как всякое другое наше свойство, должны быть удовлетворяемы, иначе невозможно целостное развитие человека. Отнимите у человека часть его самого, он останется существом неполным, искалеченным. Настоящий предел самоугождению тот, чтобы человек им не причинял вреда ни себе самому, ни другим людям. До этого предела всякое самоугождение законно; даже более чем законно,— оно необходимо. Кто воздерживается от безвредного, умеренного удовлетворения своих потребностей, тот обрекает на бездействие некоторые из своих существенных способностей, и нельзя не видеть в нем существа несовершенного, неоконченного. Такой человек неполон, ненормален; он никогда не достигал полного своего роста. Он может быть монахом, может быть святым, но не человеком в тесном смысле. А нам, теперь более чем когда-либо, нужны истинные люди, целиком люди. Ни одному из предшествовавших веков не предстояло таких трудов, как нашему; для того чтобы совершить эти труды, нам нужны крепкие и сильные натуры, свободно и беспрепятственно развившие в себе все свойственные им способности и отправления. Никогда еще практика жизни не была так трудна; никогда еще не представлялось человеческому уму такого множества и таких сложных задач. Каждое новое приращение к нашему знанию, каждая новая идея раскрывает новые трудности, приводит к новым соображениям. Мы, без сомнения, пали бы под бременем этого громадного труда, если бы последовали примеру легковерия своих прадедов, которые позволили сковать и ослабить свои силы теми гибельными понятиями, которые духовенство, частью по невежеству, частью из корыстных видов, во все века навязывало народам, уменьшая тем счастье наций и препятствуя развитию национального благосостояния.

На основании той же системы нам постоянно твердят о пагубности богатства, о греховности любви к деньгам, между тем не подлежит сомнению, что после любви к знанию ни одна страсть не принесла столько благ человечеству, как любовь к деньгам. Любви к деньгам обязаны мы всякой промышленности и торговлей; другими словами, всеми предметами удобства и роскоши, которыми не могло бы снабжать нас собственное

наше отечество. Торговля и промыслы познакомили нас с произведениями многих чужих стран, пробудили в нас любопытство, расширили круг наших понятий, приведя нас в столкновение с народами, различными по нравам, языку и складу мысли, дали исход силам, которые иначе пропали бы без пользы, не находя себе достаточного простора, приучили людей к предприимчивости, расчету и соображению; наконец, открыли нам множество чрезвычайно полезных искусств и доставили нам многие из драгоценнейших средств, которыми мы обладаем для спасения жизни человека или по крайней мере для облегчения его страданий. Всем этим мы обязаны любви к деньгам. Если б теологи могли успеть в своих стараниях, если б они могли уничтожить в людях эту любовь, то исчезли бы все эти блага, и мы впали бы сравнительно в варварство. Любовь к деньгам точно так же, как и все другие наши наклонности, может быть обращена на зло; но восставать против нее, как будто она уже сама по себе зло, в особенности же представлять ее как такое чувство, удовлетворение которого вызывает гнев Божий,—значит обнаруживать невежество, понятное, быть может, в прежние века, но в наше время постыдное, особенно же когда оно проявляется в людях, выдающих себя за наставников общества и уверяющих, что их призвание—просвещать мир.

Впрочем, как все это ни вредно для самых дорогих интересов общества, оно еще ничто в сравнении с теми учениями, которые преподавало в былое время шотландское духовенство. Каковы были его воззрения, я уже показал на его проповедях, чтение которых было для меня самой тяжелой работой, какую я когда-либо предпринимал, потому что кроме узкости взгляда и догматизма, неразлучных даже с лучшими произведениями этого рода, проповеди эти представляют жестокость сердца и суровость нрава, такой недостаток сочувствия к человеческому счастью и такую ненависть к человеческой природе, какие редко проявлялись в какие бы то ни было века и, я думаю, никогда не проявлялись ни в какой другой протестантской стране. Проповеди эти я извлек из забвения, которому они давно преданы, и сделал это частью, потому что считал это нужным для уразумения истории умственного развития Шотландии, частью же потому, что хотел показать, каковы бывают стремления теологов, когда они ничем не сдерживаются. Протестанты вообще слишком склонны воображать, что в их исповедании есть нечто такое, что предохраняет их от тех вредных крайностей, которые были и до некоторой степени до сих пор сохранились в католической церкви. Это величайшее самообольщение. Одно только существует средство ограждения людей от тирании какого бы то ни было сословия: оно заключается в том, чтобы оставлять этому сословию как можно менее власти. Какие бы ни были заявления данной корпорации людей, как бы мягок ни был ее язык и как бы ни были благовидны ее притязания, она непременно употребит во зло свою власть, если только будет ей дана власть в обширных

размерах. Вся история мира не представляет ни одного примера, которым опровергалась бы истина этого положения. В католических странах, за исключением одной только Франции, духовенство пользуется большей властью, чем в странах протестантских. Вот почему в католических странах оно причиняет больше вреда, чем в протестантских, и сословные его воззрения развиваются с большей свободой. Различие тут зависит не от свойств исповедания, а от степени власти духовного класса. Это очевидно доказывает пример Шотландии, где духовенство властвовало неограниченно и потому, несмотря на свой протестантизм, преподавало то же аскетическое, нелюдимое и жестокое учение, которое в католических странах порождало монастыри, посты, бичевания и другие проявления странного и мрачного суеверия.

В некоторых своих теориях шотландское духовенство зашло даже гораздо далее любой католической церкви, кроме испанской. Оно силилось уничтожить не только все человеческие радости, но и все нежные чувства человеческого сердца. Оно утверждало, что все наши привязанности неразрывно соединяются с нашими похотями и что поэтому мы должны отрываться от них как от суеты земной. Христианину нет нужды в любви или привязанности. Он должен спасать свою душу,—этого с него достаточно. Пусть он печется о себе самом. В воскресный день в особенности не должен он и помыслить о том, чтобы творить добро другим людям; шотландское духовенство несколько не колебалось учить народ, что в этот день грешно подать помощь гибнущему на море кораблю и что дать ему потонуть со всем экипажем—значит явить благочестие. Пусть себе тонут; пострадают только жены и дети, а это ровно ничего в сравнении с несоблюдением дня Господня. Духовенство учило также, что ни под каким видом не должно подать кусок хлеба или дать приют умирающему с голоду человеку, если его образ мыслей не вполне правоверный. Какая нужда ему жить? Грешно даже терпеть его убеждения, и по-настоящему следовало бы подвергнуть его немедленному и жестокому наказанию⁵⁸. Духовенство шло еще далее по этому пути. Оно разрывало все семейные узы и вооружало родителей против родных детей. Оно повелевало отцу посягать на жизнь неправового сына, учило, что отец должен скорее убить родного сына, чем допустить его распространять заблуждение. Не довольствуясь даже и этим, оно пыталось вырвать из человеческого сердца другую привязанность, еще более священную и самоотверженную. Оно наложило свою грубую и беспощадную руку на самое святое чувство, к какому способна человеческая природа,—на материнскую любовь. И в это святылище дерзнуло оно проникнуть и внести свои изможденные, отвратительные образы. Если образ мыслей матери был неугоден духовенству, то оно несколько не затруднялось ворваться в ее дом, отобрать у нее детей и лишить ее всякого сообщения с ними. Если же случалось, что сын ее навлек на себя гнев

духовенства, то оно не довольствовалось этим насильственным разлучением, а всеми средствами старалось извратить сердце матери, ожесточить ее против родного ее дитяти и таким образом сделать несчастную сообщницей своего гнусного дела. В одном из подобных случаев, занесенных в акты Глазговской церкви, церковная сессия этого города призвала к своему суду одну женщину за то только, что она принимала в своем доме родного сына, после того как он был духовенством отлучен от церкви. Сессия так успешно увещала ее, что довела ее до обещания не только впредь не впускать сына в дом, но и содействовать к поимке и наказанию его. Она согрешила тем, что любила сына; согрешила тем, что дала ему приют под своим кровом; но, продолжает протокол, «она обещала, что в другой раз не провинится и что донесет властям в первый раз, что он придет к ней».

Она обещала, что вперед грешить не будет. Обещала забыть того, кого она выносила в своей утробе, выкормила своей грудью. Обещала забыть дитя, которое она столько раз держала на коленях, которое столько раз засыпало на ее груди, которого нежную юность она так берегла и лелеяла. Все самые дорогие воспоминания прошлого, все, что только может дать или воспринять эта самая дивная форма человеческой любви, все, что улаживает память и озаряет жизнь в будущем,— все исчезло, все стерлось с души бедной женщины велением ее духовных владык. Все было вырвано одним нечеловеческим махом. Так были могущественны приемы этих людей, что они убедили мать вступить в заговор против сына и выдать его им. Они развратили ее душу, вырвав из нее любовь. С этого дня душа ее была осквернена. Она была потеряна для себя самой, как была потеряна для сына. Слышать только о подобных делах уже достаточно, чтобы взволновалась вся кровь в человеке, чтобы он возмущился до самой глубины души. Как же люди были их свидетелями, жили среди них и не восставали против них? Это для нас непостижимо и доказывает только, под каким сильным гнетом были шотландцы и как глубоко они были поработаны не только телом, но и душой.

Что еще говорить после этого? Какими еще более убедительными фактами уяснить характер одной из возмутительнейших тираний, когда-либо существовавших на Земле? В то время, когда шотландская кирка была на высшей степени своего могущества, мы напрасно стали бы искать в истории другого какого-нибудь учреждения, которое могло бы с ней соперничать, кроме испанской инквизиции. Между обоими учреждениями существует тесная и глубокая аналогия. Оба были нетерпимы, оба были жестоки, оба упорно ратовали против благороднейших сторон человеческой природы, оба преследовали всякое проявление религиозной свободы. Есть, однако, между ними одно различие, и очень важное. В политических вопросах церковь в Испании раболепствовала, а в Шотландии крамольничала. Поэтому у шотландцев

всегда оставалась одна область, в которой они могли говорить и действовать с полной свободой. В политике они могли давать себе волю; тут ум их пользовался самым широким простором. И в этом было их спасение. Это спасло их от участи, постигшей Испанию, сохранив им возможность упражнять и развивать способности, которым иначе пришлось бы дремать в полном бездействии, если б только они не были окончательно убиты тем долгим, расслабляющим рабством, в котором держало их духовенство и из которого без этого благоприятного обстоятельства не было бы им никакого исхода.

ГЛАВА VI

Исследование умственного движения в Шотландии в восемнадцатом веке

Чтобы дополнить историю и анализ умственной жизни Шотландии, мне следует теперь рассмотреть то своеобразное движение, которое обнаружилось в восемнадцатом веке и которое по разным причинам заслуживает внимательного изучения. Движение это в сущности было реакцией против теологического направления, преобладавшего в семнадцатом столетии. Такая реакция едва ли была бы возможна, если б не то обстоятельство, мною уже указанное, что политическая деятельность, породившая восстание против Стюартов, спасла умственную жизнь Шотландии от застоя и не дала ей впасть в ту глубокую дремоту, к которой, естественно, должно было привести ее усиление суеверия. Продолжительная и упорная борьба с деспотическим правительством поддерживала некоторую чуткость и энергию рассудка, сохранившиеся и после того, как миновала самая борьба, их породившая. Когда спор был окончательно решен и в стране снова водворился мир, способности, в продолжение трех поколений изощрявшиеся в сопротивлении исполнительной власти, стали искать себе другого занятия и нашли новое поприще, на котором могли действовать на просторе. Таким образом та отвага, которая в XVII столетии применялась к практической жизни, в восемнадцатом веке была перенесена в область отвлеченного мышления и произвела литературу, стремившуюся пошатнуть прежние понятия и снести старые межи человеческого ума. Движение было революционное и стало в такое же отношение к церковной тирании, в каком предшествовавшее движение было в тирании политической. Но это новое восстание представляет одну поразительную, характеристическую особенность. Почти во всех других странах, когда разум решительно восставал против исключительных притязаний церкви, возникавшая вследствие того светская философия была философия индуктивная, принимавшая за основание индивидуальный, прямой опыт и старавшаяся этим путем ниспровергнуть общие и преемственные понятия, на которых основывается всякая церковная власть. План, который она себе начертала, был такой: не принимать таких принципов, которые не могли бы быть доказаны посредством фактов; между тем как противоположный план, теологический, заключается в том, чтобы факты насильно подводить под принципы. В первом случае опыт предшествует теории, во втором — теория предшествует опыту и властвует над ним. В теологии известные начала принимаются за данные и непреложные; усомниться в них почитается противным благочестию, и затем остается нам только умозак-

лючать от них к частностям. Это метод дедуктивный. Напротив того, индуктивный метод ничего не принимает на веру, а настаивает на том, чтобы вести умозаключение от частных явлений к общему началу, и требует, чтобы человеку была предоставлена свобода самому доискиваться до начал. В завершенной системе человеческого знания, когда все наши средства будут вполне развиты и приведены в стройный порядок, что и должно наконец совершиться, эти два метода не будут уже враждебны друг другу, а будут взаимно восполняться и соединяться в одно целое. В настоящее время, однако, мы еще далеко не дошли до такого результата; и не только каждый отдельный ум обнаруживает большую склонность к тому или другому из двух методов, но и в истории мы находим, что разные века и разные страны характеризуются степенью преобладания того или другого метода; находим также, что изучение этого антагонизма составляет самый верный путь к уразумению умственного состояния народа в данный период.

Что индуктивная философия еще более отличается своими светскими стремлениями, чем научными, это вещь очевидная для каждого, кто наблюдал эпохи, в которые она проявляла наибольшую деятельность и имела наиболее последователей. Отличный пример в этом отношении представляет история умственного движения во Франции в восемнадцатом веке; тут, по смерти Людовика XIV, можно ясно проследить связь между развитием индуктивного метода и последующим низвержением галликанской церкви. Точно так же в Англии появление Бэконовой философии с ее твердой решимостью подчинить древние принципы новейшему опыту составляет самый тяжелый удар, какой был когда-либо нанесен теологам, принявшим за правило исходить не от опыта, а от начал, которые они признают неисповедимыми и которые человек обязан принимать на веру без дальнейших споров. И едва ли нужно напоминать читателю, что, как только утвердилась у нас эта философия, она тотчас же породила те смелые исследования, которые скоро завершились падением английской церкви при Карле I. Духовенство наше на время и отчасти оправилось было от этого ужасного поражения; но кажущееся торжество его в царствование Карла II было последствием политических перемен, а не социальных, а потому духовенство и не в силах было возратить свою прежнюю власть над обществом; да и нет возможности ему когда-либо воскресить эту власть, если только не суждено нации пойти вспять. На низший разряд умов оно еще имеет большое влияние; но Бэконова философия, подорвав доверие к любимому методу духовенства, подкопала его систему в самом основании. С той минуты, как вера в его способ исследования была разрушена, исчезла и тайна его могущества. С той минуты, как люди начали настаивать на необходимости подвергать поверке основные начала, вместо того чтобы по-прежнему принимать их без рассуждения и смиренно подчиняться им как предметам

обязательного верования, теологи, теряя позицию за позицией и постоянно отступая перед напором подвигающегося знания, принуждены были бросать одну твердыню за другой, пока не дошли наконец до того, что оставшаяся за ними часть их прежней территории почти не стоит борьбы. Как к последнему средству решились они под конец восемнадцатого века прибегнуть к оружию своих противников; Пэлей и его преемники, расширив план, лишь слабо набросанный Реем и Дерамом, пытались с помощью ловкого применения индуктивного метода вознаградить своих сторонников за неудачи метода дедуктивного. Это предприятие, однако, хотя и искусно задуманное, не привело к желанному результату. В настоящее время уже всеми признано, что из него ничего и не может выйти и что подпереть старые теологические посылки рядом индуктивных умозаключений — вещь невозможная. В этом отношении замечательнейшие философы сходятся с замечательнейшими теологами; и со времен Канта в Германии и Колриджа в Англии ни один из наших наиболее способных деятелей, даже из числа духовенства, не возвращался уже к тому плану, в преследовании которого Пэлей действительно явил большую силу ума, но который в наших Бриджватерских трактатах, в наших университетских диссертациях и тому подобных ученических произведениях находил только жалкие и бесплодные подражания¹. Теперь никто из великих мыслителей не следует этому направлению в религиозных вопросах. Напротив, они предпочитают более надежный и вместе с тем более философский способ: рассуждать об этих предметах только путем трансцендентальным, откровенно сознаваясь, что они избегают столкновения с той индуктивной философией, которая одержала столько блистательных побед в области науки.

При такой очевидной противоположности обоих методов и неприменимости индуктивного метода к исследованиям теологов несколько не удивительно, что шотландцы с величайшей ревностью привязались к одному из этих методов и почти совершенно отвергли другой. Как страна существенно теологическая, Шотландия пристала к теологической системе. История умственной ее жизни в семнадцатом столетии есть почти исключительно история теологии. За исключением одного только Непера, родившегося еще в половине шестнадцатого века, все наиболее замечательные мыслители принадлежали к духовенству. По естественным наукам не делалось почти ничего². Не существовало также ни поэзии, ни драмы, ни самобытной философии, ни изящной словесности, ни светской литературы, ничего такого, что теперь стоило бы еще прочесть. Единственными людьми с действительным влиянием были духовные. Они управляли нацией, и проповедническая кафедра была главным орудием их власти. С проповеднической кафедры двигали они умами всех родов и всех разрядов, от самых высших до самых низших. С нее они наставляли их, устрашали и говорили все что хотели, зная, что все, что они ни скажут, будет принято на веру. Но все их проповеди и все их

ученые прения представляют в высшей степени дедуктивный характер; ни в одном не найдется и покушения на индуктивный способ доказательства. Даже мысль о чем-либо подобном никогда не приходила в голову этим писателям. Они утверждали голословно истину своих религиозных и нравственных понятий, по большей части заимствованных у древних, ставили эти понятия первыми посылками своих силлогизмов и от них вели умозаключение книзу до тех пор, пока не доходили до искомым выводов. Они и не подозревали, что посылки, заимствованные от древних времен, могли быть плодом индукций тех времен и что с развитием и умножением знания самые эти индукции могли нуждаться в проверке. Они принимали за несомненное, что Бог открыл нам первые начала и что если Он сам открыл их нам, то нечестиво было бы подвергать их исследованию. Что Бог открыл нам эти начала, это было для них положительной истиной и не требовало доказательства³. Приняв таким образом чисто дедуктивный метод, им оставалось заботиться об одном только, чтобы не вкралось ошибки между посылками и заключениями. А эту часть задачи они исполняли с редким мастерством. Они были тонкие диалектики и редко давали промах в том, что называется формальной стороной логики. В обращении с готовыми уже посылками они отличались чрезвычайным искусством; а каким путем были добыты эти посылки, об этом они и не задумывались. Это был вопрос, которого они никогда не подвергали сколько-нибудь беспристрастному рассмотрению. По их методу требовалось одного — делать выводы из положений, сообщенных сверхъестественным путем. Индуктивный метод, напротив, научил бы их, что прежде всего надлежало спросить, были ли эти положения действительно сообщены сверхъестественным путем или нет? Как дедуктивные диалектики, они принимали за непреложные данные те именно предварительные положения, которые индуктивные мыслители стали бы оспаривать. Они умозаключали от общего к частному, вместо того чтобы умозаключать от частного к общему. И ни себе, ни другим не позволяли они проверять общие положения, которые должны были служить основой частным фактам и управлять ими; с них было достаточно того, что большие посылки были уже поставлены и что с ними оставалось только обращаться по правилам старой силлогистической логики. Они до того были убеждены в негодности индуктивного метода, что, не запинаясь, утверждали, будто Божество сообщало человеку свою волю посредством силлогизма.

Весьма естественно было ожидать, что духовенство при таком взгляде на надежнейший способ достижения истины употребит все средства, какие были в его власти, для того чтобы склонить нацию на свою сторону, будет всячески стараться об упрочении повсюду своего метода и совершенном вытеснении метода противоположного. Исполнить же эту задачу было не очень трудно. Господствовавшее в обществе легкоеверие было ему в этом случае весьма важным задатком успеха, так как оно

делало людей более склонными принимать предложения на веру, чем исследовать их. Когда положения были раз приняты, то принявшему ничего больше не оставалось, как вести от них умозаключения; и самые деятельные умы в Шотландии, постоянно упражняясь в этой работе, достигли в ней самого полного мастерства; а ловкость, с какой они ее исполняли, еще увеличивала ее славу. Кроме того, в руках усердных поборников этого метода, духовенства, была монополия воспитания и общественного, и домашнего. Ни в какой другой протестантской стране духовенство не имело такой власти над университетами, ибо не только преподаваемое в них учение, но и самый способ преподавания его в Шотландии был отдан под надзор церкви⁴. Этой властью духовенство, конечно, пользовалось для того, чтобы распространять везде свой способ раскрытия истины; и пока власть его оставалась в прежней силе, противоположному, индуктивному, методу едва ли была какая возможность пробить себе дорогу. Над низшими учебными заведениями духовенство имело такую же полную власть, как и над университетами. Оно же назначало и удаляло, по своему усмотрению, преподавателей всех степеней, от сельского учителя до домашнего наставника в частном семействе⁵. Стало быть, каждое поколение, как только подрастало, поступало под влияние духовенства и воспитывалось в его понятиях. Овладевая умом каждого шотландца в то время, когда он был еще молод и гибок, духовенство выгибало его по своему методу. Таким образом этот метод сделался господствующим; он царил повсюду; против него не возвышалось ни одного голоса, и никому не приходило на мысль, что существует и другой путь, которым можно дойти до истины, и что человеческий рассудок пригоден на что-нибудь другое, кроме делания дедуктивных выводов из посылок, которые не дозволялось исследовать индуктивно.

Последствием такого полного незнания индуктивного, или аналитического, направления и исключительного развития направления дедуктивного, или синтетического, было то, что когда в начале восемнадцатого столетия обстоятельства, о которых я уже упоминал, вызвали сильное умственное движение, это движение, хотя новое по своим результатам, было не ново по методу, которым эти результаты добывались. Явилась, правда, светская философия, и способнейшие люди стали посвящать себя уже не теологии, а светским наукам, но теологический строй мышления до того охватил все умы в Шотландии, что даже философы были не в состоянии отрешиться от теологического метода, и индуктивный метод, как я покажу далее, не имел на них влияния. Этот весьма любопытный факт составляет ключ к истории Шотландии в восемнадцатом веке и объясняет многие явления, которые иначе казались бы несоместимыми друг с другом. Он же наводит на некоторую аналогию Шотландии с Германией, где дедуктивный метод был также долгое время господствующим и вследствие тех же самых причин. Как в той, так

и в другой стране светское движение восемнадцатого века не в силах было выйти на индуктивный путь; и это умственное сродство между двумя народами, столь различными в других отношениях, составляет, без сомнения, главную причину, почему шотландская философия и немецкая имели такое сильное влияние друг на друга; Кант и Гамильтон могут служить самыми полными образцами этого взаимодействия. Совершенную противоположность этому представляет Англия. В продолжение с лишком полутора столетия лет по смерти Бэкона величайшие английские мыслители, за исключением Ньютона и Гарвея, были мыслителями по преимуществу индуктивными; и только в девятнадцатом веке появились ясные признаки обратного движения и была сделана попытка возвратиться до некоторой степени к методу дедуктивному⁶. Совершая такой поворот, мы во многих отношениях правы, потому что в постепенном умножении нашего знания мы длинным рядом индуктивных рассуждений дошли до многих заключений, от которых уже смело можем идти дедуктивным путем, т. е. можем принять их за большие посылки для новых умозаключений. Тот же процесс совершился и во Франции, где исключительно индуктивная философия восемнадцатого века предшествовала восстановлению в некоторых пределах дедуктивной философии в девятнадцатом. В Шотландии таких поворотов не было. Шотландцы всегда мыслили дедуктивно; даже наиболее самобытные из их мыслителей не в силах были освободиться от общего стремления и должны были принимать метод, освященный временем и неразрывно слившийся со всеми представлениями национального ума.

Для того чтобы понять исследование, к которому я намерен сейчас приступить, читатель должен хорошо усвоить и постоянно иметь в виду существенное различие между дедукцией, исходящей от начал, и индукцией, восходящей к началам. Он должен помнить, что индукция, наведение, ведет от меньшего к большему; дедукция же, вывод,—от большого к меньшему; индукция—от частного к общему и от чувственных восприятий к идеям; дедукция—от общего к частному и от идей к чувственным восприятиям. Посредством индукции мы восходим от конкретного к абстрактному; посредством дедукции нисходим от абстрактного к конкретному. Рядом с этим различием существуют известные свойства ума, которыми всегда, за весьма немногими исключениями, характеризуется век, народ или отдельное лицо, в котором тот или другой из этих методов преобладает. Индуктивный философ от природы осторожен, терпелив, отчасти идет ползком; дедуктивный философ, напротив, отличается смелостью, ловкостью, нередко также опрометчивой отвагой. Дедуктивный мыслитель постоянно принимает за непреложное некоторые посылки, которые совершенно отличны от гипотез, составляющих существенную принадлежность самой строгой индукции. Посылки эти иногда заимствованы у древности, иногда взяты из понятий, случайно господствующих в окружающем обществе;

иногда они суть результат особенностей организации отдельного человека, иногда же, как мы увидим далее, сознательно избираются, для того чтобы достичь не истины, а чего-то приближающегося к истине. Одним словом, мы можем сказать, что дедуктивный склад мышления, будучи существенно синтетическим, всегда стремится умножить число первых начал или законов, между тем как индуктивное мышление стремится постепенным и последовательным анализом уменьшить число этих законов.

Имея в виду это основное разделение всех способов человеческого исследования на два коренных пути, нельзя не подивиться тому в высшей степени замечательному факту в истории Шотландии, что во все продолжение восемнадцатого века все ее великие мыслители шли по первому пути; и что в тех весьма немногих случаях индуктивного рассуждения, какие встречаются в их сочинениях, из последовательных приемов их очевидно, что они смотрели на эти наведения как на не имевшие сами по себе большой важности, а полезные разве тем только, что доставляли посылки для дальнейшего дедуктивного исследования. Так как различные отрасли человеческого знания никогда еще не были приводимы в стройное целое и рассматриваемы в совокупности, то никто, вероятно, не подозревает, как всеобще было это движение в Шотландии, в какой степени оно проникало все науки и направляло всякое движение мысли. Поэтому, чтобы показать, с какой силой оно действовало, я намерен проследить его проявление во всех главных отделах умозрения, как в области физической, так и в нравственной, и доказать, что во всех их применялся один и тот же метод. При этом я должен, для ясности, держаться естественного порядка в расположении предметов; но буду также, везде где только окажется возможно, следовать и хронологическому порядку, в каком развивался ум шотландского народа, так чтобы читатель мог уразуметь не только характер этой замечательной литературы, но и различные ступени ее развития и изумительную энергию, с какой она высвобождалась из оков, наложенных суеверием.

Начало великой светской философии Шотландии должно, без всякого сомнения, относить к Френсису Гётчесону. Этот замечательный человек родился в Ирландии, но происходил из шотландского семейства и получил образование в Глазговском университете, где был назначен профессором философии в 1729 г. Своими лекциями и своими сочинениями он распространил охоту к смелым исследованиям о предметах первой важности, о которых издавна было решено, что относительно их нельзя научиться ничему новому; ибо шотландцев до того времени учили, что все существенные истины, которые необходимо человеку знать относительно собственной его природы, были ему уже сообщены откровением. Гётчeson, однако, не побоялся построить систему нравственного учения на чисто светских основаниях, чему до него не было еще в Шотландии ни одного примера. Начала, которые он положил ей в основу, были не теологические, а метафизичес-

кие. Он почерпал их из того, что считал естественным строем духа, а не из сообщенного сверхъестественным откровением, как делали прежде. Следовательно, он перенес исследование на другую почву. Хотя он твердо веровал в откровение, вместе с тем, однако, утверждал, что лучшие правила нравственных действий могут быть познаны без его посредства; что человеческий разум может дойти до них без посторонней помощи и что они, будучи получены таким образом, должны в своей совокупности почитаться за закон природы⁷. Эта вера в силу человеческого разума была совершенной новостью в Шотландии, и провозглашение ее образует эпоху в литературе этого народа. До того времени людей учили, что разум опрометчив и ограничен, что его следует держать в узде, что ему не совладать с задачами, которые ему представляются. Гётчeson, напротив, утверждал, что разум совершенно в силах справиться с этими задачами, но что для этого нужно дать ему свободу и снять с него оковы. Поэтому он настойчиво защищал право личного суждения, которое шотландская церковь не только осуждала, но и почти совершенно подавила. Он неотступно доказывал, что каждое отдельное лицо имеет право составлять себе собственное мнение на основании тех доводов, какими оно располагает; и так как это право неотчуждаемо, то только слабые умы могут отказаться от пользования им⁸. Каждому, продолжал он, должно быть предоставлено судить по собственному разумению, и нет никакой пользы заставлять людей держаться образа мыслей, противного их убеждениям⁹. Между тем это так мало понимают, что мы постоянно видим, как все мелкие секты ссорятся между собой и поносят друг друга за то только, что взгляды их различны. Странно слышать, как последователи одного исповедания честят последователей других исповеданий идолопоклонниками и домогаются наказания их. На деле в них во всех много хорошего; единственное действительное в них зло составляет эта любовь к гонению¹⁰. Но толпа считает еретиком всякого, кто не верит тому, чему она верит; и этому образу мыслей слишком потворствует духовенство, которого самолюбие обижается мыслью, что миряне хотят быть умнее своих духовных учителей и осмеливаются не соглашаться с тем, что они говорят.

Такое широкое понятие о свободе опережало умственное развитие страны, в которой оно преподавалось, и могло иметь влияние разве только на немногих мыслящих людей. Эти и подобные им учения, однако, Гётчeson повторял в своих лекциях каждый год. И странными, конечно, должны были они казаться слушателям. В тех, кто принимал их, они совершенно сокрушали преобладавшее теологическое направление, для которого веротерпимость была безбожием и которое, стремясь запретить человеческий ум в границы отживших понятий, считало долгом карать каждого, кто переступал эти границы. В противоположность этому Гётчeson вводил начала исследования, обсуждения и сомнения. Еще в другом отношении знаменательна его философия —

как начало великого умственного восстания в Шотландии. В предыдущей главе мы видели, что духовенство успело развить в умах народа понятия самого мрачного аскетизма и что это учение естественным образом возникло из громадной власти, которой обладала церковь. Гётчесон энергически восстал против таких понятий. Он справедливо полагал, что почитание всякого рода красоты не только не греховно, но даже составляет существенно необходимый элемент в полном и гармоническом развитии духа; и самая оригинальная часть его философии заключается именно в его исследованиях о действии и происхождении наших идей по этому предмету. До того времени шотландцев учили, что чувства, возбуждаемые в нас красотой, суть плод испорченности нашей природы и что их следует подавлять. Гётчесон же, напротив, доказывал, что они сами по себе благи, что они составляют часть общего строя человеческих явлений и заслуживают специального, научного изучения¹¹. И он с таким мастерством принялся за это изучение, что, по отзыву одного из самых сведущих судей нашего времени (Кузена), его должно считать родоначальником всех позднейших исследований по этому предмету; ибо его сочинение было первой попыткой независимого, широкого и всеобъемлющего изучения идеи красоты.

Не только в чисто умозрительных вопросах, но и в практических наставлениях обнаруживал Гётчесон то же стремление; во всем старался он низвергнуть мрачное здание, воздвигнутое суеверием¹². Его предшественники, да и почти все наиболее влиятельные современники его, представляли всякое наслаждение противным нравственности и восставали против изящных искусств, считая их вредными по той причине, что они служат к доставлению нам наслаждения и чрез то отвлекают умы от серьезных помыслов. Гётчесон, напротив, провозглашал, что изящные искусства следует поощрять, потому что, говорит он, они не только доставляют удовольствие, но и заслуживают уважения, и посвящать им свое время есть дело похвальное. В наше время основательность этого суждения очевидна; но в Шотландии давно уже не было слышано подобного учения из уст общественного преподавателя, и оно прямо противоречило всем господствовавшим понятиям. Гётчесон пошел еще далее. Не довольствуясь защитой богатства¹³, которое шотландское духовенство осуждало как один из самых пагубных и плотских предметов, он смело утверждал, что все естественные стремления наши законны и что удовлетворение их совместно с самой высокой добродетелью¹⁴. В его глазах они были законны, потому что имеют начало в природе человека, между тем как по воззрению теологической теории они по этой именно причине и были незаконны. В этом-то и заключается коренное различие между практическими выводами Гётчесона и теми, которые были в ходу до него. Подобно всем великим мыслителям с семнадцатого века, он любил человеческую природу и уважал ее, но не любил и не уважал тех людей, которые ее сковывали и тем ослабляли ее силу и нарушали ее

красоту. Он питал более доверия к человечеству, чем к руководителям человечества. Его предшественники, шотландские духовные, поносили человека; они клеветали на весь человеческий род. По их уверению, в нас нет ничего, кроме греха и порчи, и потому все наши стремления следует подавлять. Гётчесону принадлежит немалая честь, что он первый в Шотландии публично восстал против этих унижительных для человечества понятий. С благородной и высокой целью принялся он за свое дело. Глубоко уважая человеческий ум, он поставил себе задачей отстаивать его достоинство против тех, которые оспаривали его права. К сожалению, он не мог иметь полного успеха: предрассудки его времени были слишком сильны. Однако же он сделал все, что было возможно. Он противился течению, которого не в силах был остановить, неотступно громил то, чего нельзя еще было низвергнуть, с гневом и презрением выкинул из своей философии те гнусные предрассудки, которые, оскверняя все великое и благородное, долго ослепляли современников и, снова выдвинув старое и пагубное учение о нравственном вырождении, представляли человеку собственную его природу одной лишь бездной порока и не позволяли ему видеть, сколько в ней действительно присущих ему добрых качеств, сколько всегда проявлялось в мире духа самоотвержения и свободной, бескорыстной доброжелательности, сколько сохраняется хорошего даже в самых худших из людей, насколько между людьми обыкновенными, среднего закала характера, составляющими большинство человечества, желание делать ближнему добро чаще встречается, чем желание вредить ему,—мягкосердечие обыкновеннее жестокости и число добрых дел в общем итоге превышает число дурных.

До сих пор мы говорили о направлении Гётчесоновой философии. Теперь нам следует рассмотреть его метод, т. е. способ, избранный им для получения своих выводов. Это составляет весьма важную часть в настоящем нашем исследовании. Мы найдем при этом, что в изучении нравственной философии, как и в изучении всякой отрасли знания, не выработавшейся еще до степени науки, не только существуют два метода, но что эти два метода ведут к различным заключениям. Идя путем наведения, мы приходим к одному заключению; идя путем вывода, приходим к другому. Это различие в результатах всегда служит доказательством, что предмет изучения, в котором представляется это различие, еще недостаточно выработан для научного обращения с ним; что требуется еще устранить некоторые предварительные затруднения, прежде чем нужно будет перенести его со степени эмпирического знания на степень науки. Как скоро эти затруднения устранены, результаты, получаемые путем наведения, будут совпадать с результатами, получаемыми путем вывода, предполагая, разумеется, правильное употребление того и другого способа. В таком случае нет уже большой важности в том, как мы мыслили, от частного к общему или от общего

к частному. Тот и другой образ действия даст одни и те же заключения, и это согласие результатов служит доказательством, что исследование есть в строгом смысле научное. Так, например, в химии, если бы, рассуждая дедуктивным путем от общих начал, мы могли всегда с точностью предсказать, что должно выйти из соединения двух или большего числа элементов, хотя бы даже эти элементы были для нас новы, и если бы, рассуждая индуктивно от каждого элемента, мы могли приходить к тому же самому заключению, то оба процесса подтверждали бы друг друга, и чрез эту взаимную их поверку наука была бы завершена. Но мы в химии этого сделать не можем, и потому химия еще не наука, хотя с тех пор, как Дальтон внес в нее понятия веса и числа, она на пути к тому, чтобы сделаться наукой. Напротив того, астрономия — наука, потому что, употребляя дедуктивный прием, математические выкладки, мы можем вычислить движения и уклонения тел; а обратившись к индуктивному приему, наблюдению, мы с помощью телескопа убеждаемся в точности предшествовавших, так сказать примерно предпосланных, наших выводов. Факт совершенно согласуется с идеей; частное явление подтверждает общее начало, а общее начало объясняет явление, и совпадение их дает нам право верить в совершенную точность нашего знания; каким бы путем мы ни шли, мы приходим к одному и тому же заключению, и результаты индуктивного мышления, обобщения частных, совершенно совпадают с результатами мышления дедуктивного, умозаключения от идей.

Но в изучении нравственных явлений нет такого согласия. Частью вследствие силы предрассудков, частью по причине многосложности самого предмета все попытки научного исследования нравственных явлений оказывались неудачными. Поэтому и неудивительно, что в этой области знания индуктивный исследователь приходит к одному заключению, а дедуктивный — к другому. Индуктивный исследователь старается достичь цели наблюдением человеческих поступков, подвергая их анализу, для того чтобы раскрыть в них начала, которыми они управляются. Дедуктивный исследователь, отправляясь с противоположного конца, принимает известные начала за первобытные, прирожденные, и от них ведет умозаключения к фактам, действительно представляющимся в жизни. Первый идет от конкретного к абстрактному, второй — от абстрактного к конкретному. Индуктивный моралист рассматривает историю прежнего общества или состояние современного и утверждает, что первым делом должно быть собрание фактов, а затем уже обобщение их. Дедуктивный исследователь, напротив, пользуясь фактами более в виде примеров для уяснения своих начал, чем для отыскания этих начал, опирается с первого шагу не на внешние явления, а на внутренние идеи и ставит эти идеи большою посылкой силлогистического рассуждения. Обе стороны согласны в том, что человек обладает способностью признавать одни поступки хорошими, другие — дурными. Но лишь только дойдет до вопроса, как

он приобретает эту способность и что такое эта способность, тут они совершенно расходятся. Индуктивный мыслитель говорит, что эта способность имеет целью счастье человека, что мы приобретаем ее путем общения с людьми и что она проистекает из взаимодействия социальных причин, доступных анализу. Дедуктивный мыслитель с своей стороны говорит, что эта способность различения между правым и неправым имеет целью не счастье человека, а истину; что источник ее заключается в самой природе человека и не доступен анализу; что она есть прирожденное человеку, коренное убеждение; что мы можем принять ее за основание и вести рассуждение от нее, но нет надежды когда-либо объяснить ее посредством восходящих к ней умозаключений.

Достаточно лишь слегка ознакомиться с сочинениями Гетчесона, чтобы убедиться уже, что он принадлежит ко второй из этих двух школ. Он предполагает, что все люди наделены способностью, которую он называет нравственной способностью и которая, как первобытное, прирожденное начало, не допускает анализа¹⁵. Затем он предполагает, что назначение этой способности — управлять всеми другими нашими способностями. От этих двух предпосланных положений он ведет рассуждение к видимым фактам образа действий людей и дедуктивно слагает общий строй жизни. Избрав такую чисто синтетическую систему, он презирует аналитический метод и сетует на него как на хитрое покушение уменьшить число наших познавательных способностей. Дело в том, что с каждым таким уменьшением отнималось бы у него которое-нибудь из его коренных начал, и он чрез то лишался бы возможности употреблять их как большие посылки для построения отдельных аргументов. Отнимите у дедуктивного мыслителя его большие посылки, и вы лишите его всякой опоры. Поэтому Гетчесон, как и все философы той же школы, очень ревниво смотрел на всякое вторжение индуктивного направления с его постоянным стремлением нападать на то, что выдается за коренные убеждения, и разлагать эти мнимые убеждения на их составные элементы. Он чутко охранял от таких покушений свои большие посылки, потому что сила и красота его метода проявлялись в нисходящем рассуждении от этих посылок, а не в восходящем рассуждении к ним. По его учению, нравственная способность и обнаруживаемая ею власть недоступны анализу; их невозможно ни проследить до их источника, ни разложить на простейшие составные части; и напрасно пытались иные относить их к влиянию условий, находящихся вне их самих, как то: воспитания, обычая или известного сочетания идей.

Таким образом, суждения, произносимые людьми над действиями других людей или своими собственными, совершенно необъяснимы относительно их источника, так как каждое суждение есть только особая форма одной главной нравственной способности. А так как эта способность недоступна наблюдению и познается только по своим результатам, то очевидно, что для всякой аргументации частные суждения приходится принимать за

коренные и от них вести умозаклучения, как будто они суть последние и высшие формы нашего существа. Таким образом пришел Гётчeson к той склонности размножать число коренных начал, на которую справедливо указывал сэр Джемс Макинтош как на характеристическую черту его философии и за ним всей вообще шотландской философии; хотя даровитый автор этого замечания и не усмотрел, что эта черта составляет только одну из сторон гораздо обширнейшего целого и что она тесно связана с теми привычками дедуктивного мышления, которые целый ряд предшествовавших обстоятельств неизгладимо привил шотландскому уму.

В Гётчесоне это направление было так сильно, что он был убежден в возможности, посредством умозаклучений от известного числа коренных начал, построить теорию и объяснить ход человеческих дел вовсе или почти без пособия опыта прошлого и даже настоящего времени. Его воззрения, например, на существо и цели законодательства, уголовного и гражданского, могли бы быть выражены отшельником, никогда не выходившим из своей пустыни, которого непорочность никогда не осквернялась прикосновением житейской действительности. Точкой исхода берет он так называемую природу вещей; первые его приемы чисто идеальны, и от них он уже надеется перейти к действительности. При обозрении общежитейских обязанностей, существовавших до учреждения прочной верховной власти, он не делает никаких фактических указаний на то, что действительно происходило у варварских племен, находившихся на этой степени развития, а довольствуется одними дедуктивными выводами из предполагаемых им начал. Таким образом поступает он с трудными вопросами, относящимися к законам о собственности, т. е. свои заключения касательно их он основывает на чистом умозрении, а не выводит из сравнительного рассмотрения действия различных законоположений в различных странах. Опыт он или совершенно устраняет, или подчиняет теории; факты приводит только в виде примеров для наглядного пояснения заключений, а не затем чтобы в них искать основы заключениям. Точно так же наиболее свойственное отношение между народом и его правителями и то количество свободы, каким должен пользоваться народ, могут, по мнению Гётчесона, быть приведены в известность не путем индуктивного обобщения, основанного на историческом исследовании обстоятельств, приводивших к наибольшему благоденствию, а посредством умозаклучения, исходящего от существа верховной власти и от целей, для которых она была установлена.

Вторая значительная попытка научного объяснения деяний людей и установления общих начал, которыми они управляются без вмешательства сверхъестественных идей, принадлежит Адаму Смиту, который в 1759 г. издал «Теорию нравственных чувствований», а в 1776 г.— «Богатство народов». Для полного уразумения этого, без сомнения, величайшего из всех шотландских мыслителей должно взять оба сочинения вместе и рассматривать

их как одно целое, потому что в сущности они составляют только два отдела одного и того же предмета. В «Теории нравственных чувствований» автор исследует сочувственную сторону человеческой природы; в «Богатстве народов» — ее своекорыстную сторону. А так как в каждом из нас действует и сочувствие, и своекорыстие, или, другими словами, каждый из нас смотрит и вокруг себя, и внутрь себя, и так как эта классификация есть самое коренное и вполне исчерпывающее деление наших побуждений к деятельности, то очевидно, что если бы Адам Смит совершенно закончил свое обширное предприятие, то он разом поставил бы изучение человеческой природы на степень науки, оставив на долю позднейших исследователей только раскрывать второстепенные пружины действий, которые все нашли бы себе место в общем плане и оказались бы подчиненными ему. Приступая к исполнению этой громадной задачи и готовясь пройти растилавшееся перед ним необъятное поле, он скоро убедился, что индуктивное исследование тут было невозможно, потому что потребовалось бы труда многих человеческих жизней на одно только собрание материалов, над которыми должна была производиться работа обобщения. Вследствие этого соображения, а еще более, быть может, подчиняясь господствовавшему вокруг него складу мышления, он решился принять вместо индуктивного метода дедуктивный; но в приискиании посылок, которые ему следовало принять за точку исхода и на которых он должен был построить все здание, он прибегнул к особой уловке, вполне пригодной и, бесспорно, позволительной, хотя удачное применение ее предполагает в исследователе такой чуткий такт и требует так много утонченностей, что как до Адама Смита, так и после него очень немногие писатели были в состоянии успешно пользоваться ею в применении к социальным вопросам.

Прием, о котором я говорю, заключается в том, что, когда оказывается невозможным применить к исследованию индуктивный метод, по невозможности ли делать опыты над исследуемым предметом, или по чрезвычайной его многосложности, или по огромному количеству сбивчивых подробностей, его окружающих, мы можем в таких случаях мысленно разделять нераздельные факты и умозаключать над целым рядом явлений, не имеющих действительного и самостоятельного бытия, а существующих только в уме исследователя. Получаемый таким путем результат не может быть строго верен истине, но если умозаключения ведены правильно, то он будет настолько же близок к истине, насколько близки были к ней посылки, от которых мы исходили. Для того чтобы сделать его совершенно верным, мы должны сравнить его с другими результатами, добытыми по тому же предмету таким же путем. Эти отдельные выводы могут потом быть сведены в одну общую систему, так что хотя каждый вывод в отдельности будет представлять только приблизительную истину, но все они, взятые в совокупности, будут, однако, заключать полную истину.

Такая гипотетическая аргументация, очевидно, основывается на умышленном устранении фактов; эта уловка необходима, потому что без такого устранения не было бы возможности совладать с фактами. Каждый аргумент в отдельности ведет к заключению, приближающемуся к истине; и следовательно, как скоро количество посылок таково, что они почти исчерпывают факты, к которым относятся, то заключение так близко подойдет к полной истине, что получит величайшую важность даже само по себе, без сличения с другими заключениями, взятыми из той же области исследования.

Наиболее совершенный образец такой логической уловки представляет геометрия. Цель геометра — обобщить законы пространства, другими словами, раскрыть необходимые всеобщие отношения различных его частей. А так как пространство не имеет частей, пока не будет разделено, то геометр предполагает такое деление и берет возможно простейшую форму его — деление на линии. Линия, рассматриваемая как факт, т. е. в том виде, как она встречается в действительности, всегда имеет два свойства — длину и ширину. Как бы ни были эти свойства малы, но непременно они находятся оба в каждой линии. Но если бы геометру принимать в соображение оба свойства, то ему представилась бы задача слишком сложная для того, чтобы при ограниченных средствах человеческого ума или по крайней мере при настоящих средствах нашего знания возможно было справиться с нею. Поэтому он прибегает к научной уловке: умышленно отбрасывает одно из упомянутых двух свойств и говорит, что линия есть одна только длина, без ширины. Он знает, что это положение ложно, но знает также, что оно ему необходимо, ибо если его не допустить, то он не может ничего доказать. Как только вы станете требовать, чтобы он непременно внес в свои послылки идею ширины, он не в состоянии будет идти далее, и все здание геометрии распадается в прах. Между тем ширина самой тонкой линии так мала, что может быть измерена не иначе как инструментом, употребляемым под микроскопом; отсюда очевидно, что предположение существования таких линий, которые вовсе не имеют ширины, до того близко подходит к истине, что наши внешние чувства не могут открыть неточности его без помощи искусства. В прежнее время, до изобретения в семнадцатом веке микрометра, открыть ее было даже положительно невозможно. Следовательно, и заключения геометра будут так близки к истине, что мы имеем полное право принимать их за совершенную истину. Неверность слишком мала для того, чтобы возможно было ее уловить. Но что есть такая неверность, это, по моему мнению, не подлежит спору. Мне кажется несомненным, что, как скоро что-нибудь опущено в послылках, непременно должно чего-нибудь недоставать и в заключении. Во всех подобных случаях поле исследования не все сполна обнято; и так как часть предварительных фактов опущена, то, я думаю, нельзя не согласиться, что не может быть достигнута полная истина и что ни

одна проблема в геометрии не решена еще вполне исчерпывающим ее образом¹⁶.

При всем том поразительные успехи, сделанные в этой отрасли математики, доказывают, какое могущественное оружие представляет эта форма дедукции, действующая посредством искусственного разделения фактов, в сущности нераздельных. Но философию метода так еще мало понимают, что, когда в конце восемнадцатого века политическая экономия приняла научную форму, многие весьма образованные люди упрекали ее последователей в жестокосердии; эти порицатели не в состоянии были понять, что не могла бы быть построена наука, если б необходимо требовалось включить в нее всю область бескорыстных и доброжелательных стремлений человеческой природы. Цель политэкономия — раскрыть законы богатства, которых чрезвычайная многосложность не позволяет исследовать их со всех точек зрения. Поэтому он избирает одну точку зрения и выводит общие законы в том виде, как они выражаются в своекорыстных проявлениях человеческой природы. И, поступая таким образом, он совершенно прав, по той уже простой причине, что в своем стремлении к богатству люди более имеют в виду удовлетворение себя самих, чем удовлетворение других. Следовательно, политэконом, подобно геометру, отбрасывает часть своих посылок для того, чтобы легче ему было управиться с остальной частью. Но мы не должны никогда упускать из виду, что политическая экономия, хотя наука глубокая и великая, есть все-таки наука одной только стороны жизни и что она основывается на устранении некоторой части тех явлений, которыми изобилует всякое обширное общество. Она опускает или — что приводит к тому же — намеренно не выдает многие высокие и бескорыстные чувства, которых нам тяжело было бы лишиться. Поэтому мы не должны допускать исключительного господства ее выводов над всякими другими выводами. Мы можем принимать их в науке и в то же время отвергать в практической жизни. Так, например, политэконом, заключившись в своей области, говорит, и вполне основательно, что безрассудно и вредно правительству принимать на себя заботу о снабжении рабочих классов работой. Как политэконом, он может доказать правильность этого положения; несмотря, однако, на научную его истину, правительство может быть на практике право, поступив прямо наперекор ему. Правительство будет, пожалуй, право, взяв на себя доставление занятий рабочим классам, когда народ так невежествен, что требует этого, и притом так силен, что может ввергнуть страну в анархию в случае неудовлетворения его требования. Тут политик принимает в соображение все посылки, между тем как политэконом принимал из них в соображение только некоторые. Равным образом с точки зрения экономической науки помогать бедным есть дело предосудительное, потому что положительно доказано, что милостыня только увеличивает число бедных, поощряя в них беспечность насчет будущего. Но против этого заключения

восстает противоположное начало сочувствия и в некоторых людях действует так сильно, что приходится желать, чтобы тот, кто чувствует в себе потребность подавать милостыню, подавал ее, ибо, воздерживаясь от этого, он должен насиловать свою природу, а это насилие может причинить ему самому больше вреда, чем подача им милостыни причинила бы интересам общества.

Я надеюсь, что эти замечания не будут сочтены за отклонение от настоящего предмета этой главы; ибо хотя я в них и имел в виду разъяснить один общий вопрос относительно сущности научных доказательств, вместе с тем, однако, я имел и другую, более частную цель — пояснить философию Адама Смита, указать метод, которому следовал этот замечательно глубокий и своеобразный мыслитель. Теперь нам легко будет видеть, в какой совершенной степени его план был чисто дедуктивен и какую особую форму он дал своей дедукции. В обоих своих больших сочинениях он начинает с того, что задается известными общими идеями, и затем уже от них идет к явлениям внешнего мира. И в каждом из этих сочинений он берет за основание одну только часть своих посылок; остальную же часть их добавляет в другом сочинении. Ни один человек не управляется в своих действиях ни исключительно своекорыстием, ни исключительно сочувствием. Но Адам Смит разделяет в отвлеченном мышлении эти два свойства, в действительности нераздельные. В своей «Теории нравственных чувствований» он приписывает наши действия началу сочувствия, а в «Богатстве народов» — началу своекорыстия. Краткий обзор обоих сочинений докажет действительное существование в них этого основного различия и даст нам возможность удостовериться, что они дополняются одно другим, так что для полного понимания того или другого из них необходимо изучать оба.

В «Теории нравственных чувствований» Адам Смит устанавливает одно великое начало, от которого ведет свое рассуждение и которому подчиняет все другие. Это начало заключается в том, что к правилам, которые мы себе предписываем и сообразно которым действуем, мы приходим единственно путем наблюдения поступков других людей¹⁷. Мы судим о себе потому только, что прежде судили о других. Свои понятия мы почерпаем извне, а не изнутри. Поэтому если б мы жили в совершенном одиночестве, мы не могли бы иметь никакого понятия о похвальном или нравственно-предосудительном и не могли бы составить себе суждения о том, правы ли наши помыслы или неправы. Для того чтобы достичь этого знания, мы должны наблюдать вокруг себя. А так как мы не можем непосредственным опытом узнать, что действительно чувствуют другие люди, то нам остается только познать это, представив себе, что чувствовали бы мы сами, если б были на их месте. Таким образом каждый человек, в своем воображении, беспрестанно меняется положением с другими людьми; и хотя эта мена совершается только мысленно и на

одно мгновение, однако она служит основанием тому могучему и всеобщему побуждению, которое называется сочувствием.

Исходя из этих посылок, можно объяснить очень многие социальные явления. Мы весьма естественно более сочувствуем радости, чем горю. Отсюда чувство уважения к людям счастливым и успевающим, совершенно независимое от какой-либо выгоды, которой мы могли бы ожидать от них для себя; отсюда же существование различных общественных разрядов и отличий, которые все происходят из этого же источника. Отсюда же чувство преданности высшим, которого корень не в разуме, не в страхе и не в сознании общественной потребности, а скорее в сочувствии к тем, кто стоит выше нас, порождающем соболезнование свыше обыкновенного к самым даже обыкновенным их страданиям. Обычай и мода играют большую роль в жизни, но они также обязаны своим происхождением единственно сочувствию; точно так же и различные процветавшие в разные времена системы философии, которых разногласие между собой происходит оттого, что каждый из философов сочувствовал другой идее — кто понятию приличия, сообразности, кто понятию благоразумия, кто понятию доброжелательства, и каждый развивал то понятие, которое первенствовало в собственном его уме. Сочувствию также должны мы приписывать установление наград и наказаний и вообще всего здания наших уголовных законов, из которых не существовал бы ни один без нашего влечения сочувствовать тем, кто делает добро или кто терпит обиду; ибо соображение о том, что ими ограждается безопасность общества, явилось уже позднее; это соображение подчиненное, которое усиливает в нас сознание полезности этих законов, а не породило его. Из того же начала проистекает различие характеров, представляющееся между разными классами общества, как, например, раздражительность поэта сравнительно с хладнокровием математика; оно же производит также социальное различие между обоими полами, вследствие которого мужчины более отличаются великодушием, а женщины — человеколюбием¹⁸. Все эти явления поясняют, как действует в человеке сочувствие; они суть отдаленные, но тем не менее прямые последствия этого начала. Действительно, мы можем проследить до этого источника некоторые из самых дробных оттенков в характерах, — например, происходящие из этого начала: гордость и тщеславие, — хотя эти две страсти часто встречаются вместе и иногда самым странным образом сливаются в одном и том же лице.

Итак, сочувствие есть главная пружина человеческих действий. Оно возникает не столько из созерцания страстей в других людях, сколько из созерцания положений, возбуждающих эти страсти. Этому одному процессу мы обязаны не только высшими нравственными началами, но и сокровеннейшими движениями души. Ибо самая сильная привязанность, к какой мы способны, есть не что иное, как сочувствие, обратившееся в привычку; и любовь, существующая между ближайшими родными, вовсе не

есть нечто, заключающееся в самом существе нашем, а проистекает из того же мощного, над всем господствующего начала, которым управляется весь ход человеческих дел.

Посредством этой смелой гипотезы Адам Смит сразу ограничил поле исследования, совершенно исключив из своих соображений своекорыстие как основное начало и приняв только противоположное ему начало сочувствия. Существование антагонизма этих двух начал он положительно признает; ибо он настоятельно отрицает, чтобы можно было сочувствие под каким-либо видом считать за начало своекорыстное. Хотя он знал, что оно доставляет удовольствие и что всякое удовольствие содержит в себе своекорыстный элемент, однако не в его методе философии было подвергать начало сочувствия такому индуктивному анализу, который раскрыл бы его составные элементы. Его дело было вести рассуждение от этого начала, а не восходить рассуждением к нему, сосредоточив все свои силы на дедуктивном процессе и являя в нем то диалектическое искусство, которое составляет как бы врожденное свойство его соотечественников и в котором сам он был одним из величайших мастеров, когда-либо существовавших,— он построил систему философии, конечно несовершенную, потому что его послышки были неполны, но подходящую к истине так близко, как только мог приблизиться к ней мыслитель, сознательно исключавший из своих соображений всю своекорыстную сторону человеческой природы. В действие ее сочувственной стороны он вник так подробно и делал из нее выводы с такой тонкостью, что сочинение его, бесспорно, занимает первое место между всеми, когда-либо писанными по этому любопытному предмету. Но так как план его был построен на умышленном опущении некоторых предварительных и существенных фактов, то и получаемые им результаты не сходятся совершенно с теми явлениями, которые усматриваются в действительном мире. Это, однако, как я уже показал, не составляет существенно важного возражения, потому что такое несогласие между идеальным и действительным, или абстрактным и конкретным, есть необходимое последствие младенческого еще состояния, в котором находится наше знание и которое принуждает нас сложные вопросы изучать по частям и возводить их в науки отдельными и отрывочными исследованиями.

Что Адам Смит сознавал эту необходимость и что это сознание определило метод, которому он следовал, это очевидно из того обстоятельства, что в другом своем большом сочинении он держался того же метода и, приняв в основание новые послышки, тщательно остерегался употребления доводов, опиравшихся на прежние. Он был убежден, что в своей «Теории нравственных чувствований» он с возможной точностью развил все выводы, какие могут дать начала, проистекающие из сочувствия; и многообъемлющий, ненасытный ум его, находивший, что ничего не сделано, пока оставалось еще хоть что-нибудь доделать, побуждал его приняться за противоположное начало своекорыстия

и подвергнуть его такому полному исследованию, чтобы таким образом охватить всю область мысли. Он и исполнил это в своем «Богатстве народов» — сочинении, имеющем еще большее значение, чем «Теория нравственных чувствований», но подобно ему одностороннем относительно начал, на которых оно построено. В нем своекорыстие принято за главного двигателя всех человеческих действий, точно так же как в первом сочинении за такого двигателя было принято сочувствие. Между обоими сочинениями прошло семнадцать лет, ибо «Богатство народов» появилось только в 1776 г. Но что оба сочинения, в мысли автора, составляли только две части одного целого, это доказывается тем знаменательным обстоятельством, что начала, содержащиеся в позднейшем сочинении, он излагал еще на публичных лекциях в Глазго в 1753 г., т. е. в такое время, когда он еще только обдумывал первое сочинение, и задолго до появления его в свет. Из этого очевидно, что изучение им сперва одного движущего начала, а потом другого, ему противоположного, было ничуть не делом прихоти или случая, а результатом той обширной идеи, которая руководила им во всех его работах и которая придает им, когда их правильно понимают, такое дивное единство. И достойный то был предмет честолюбия. Смелый, многообъемлющий гений мыслителя, проникая взором до самого отдаленного горизонта и сразу обняв все заключенное в нем пространство, хотел пройти всю эту почву в двух различных, независимых одно от другого, направлениях, в твердой надежде, что когда посылки, недостающие в одном ряде выводов, будут введены в другой, то получаемые с двух противоположных сторон заключения не будут враждебны между собой, а скорее будут взаимно восполняться и образуют широкое и надежное основание, на котором могла бы быть прочно построена единая великая наука человеческой природы.

«Богатство народов», как я уже заметил в другом месте, есть, быть может, самая важная из всех книг, когда-либо писанных, как по содержащейся в ней массе самобытных мыслей, так и по практическому ее влиянию. Практические наставления ее чрезвычайно благоприятствовали возникшим в восемнадцатом веке идеям свободы, и это обстоятельство обратило на них такое внимание, какое иначе не было бы им оказано. Поэтому если «Богатство народов» и было ближайшей причиной значительных перемен в законодательстве, то, с другой стороны, более глубокий анализ покажет, что успех книги, а следовательно, и изменения в законах были в зависимости от более отдаленных и более общих причин. Должно также согласиться, что те же причины предрасположили ум самого Адама Смита к учению о свободе и вселили в него известного рода предубеждение в пользу выводов, ограничивающих вмешательство законодателя. Вот чем он поизматывался от своего времени; но есть одно, чего он, конечно, не занимался, — это обширный, творческий ум, который целиком принадлежал одному ему. Благодаря этому уму он был бы

великим человеком при всяких обстоятельствах; для того же, чтобы ему сделаться могущественным человеком, требовалось особенное стечение событий. Такое стечение событий действительно настало для него, и он хорошо воспользовался им. Влияния современников было достаточно для того, чтобы дать ему либеральное направление; собственных же способностей его было достаточно, чтобы дать ему широту воззрения. Он был в замечательной степени одарен той плодovitостью мысли, которая составляет одну из высших форм гениальности, но которая завлекает людей, ею наделенных, в далекие побочные исследования, хотя и связанные единством цели, но нередко с укором называемые бесполезными отступлениями по той простой причине, что порицатели не в состоянии уследить общего основного начала, которым все проникнуто и все части сплачиваются в одно целое. Так было и с Адамом Смитом, которого бессмертное сочинение много раз подвергалось подобным жалким нападкам. Действительно, в своем «Богатстве народов» он так широко раздвинул пределы своего исследования, что эта обширность могла показаться очень смешной тому, кто не разделял его воззрения. Все явления не одного только богатства, но и всей общественной жизни, распределенные на классы по различным их формам; происхождение разделения труда и последствия этого разделения; обстоятельства, вызвавшие изобретение денег и имевшие влияние на последующие изменения в их ценности; история этих изменений в различные века и история относительной в разные времена ценности различных благородных металлов; исследование соотношения, существующего между заработной платой и барышами, и законов, которыми управляют их возвышение и понижение; исследование связи их, с одной стороны, с поземельной рентой, а с другой — с ценами на предметы потребления; исследование причин, почему прибыли бывают различны в разных отраслях промышленности и в разные времена; краткий, но, несмотря на свою краткость, полный очерк развития городов в Европе, с падения Римской империи; колебания в продолжение многих веков цен на предметы народной пищи и разъяснение, как и почему на разных ступенях развития общества относительные цены на землю и на мясо являются различными; история законов о корпорациях и муниципальных учреждениях и влияние их на четыре обширных класса: учеников, фабричных рабочих, торговцев и поземельных собственников; исследование о громадной власти и богатствах, которыми обладало в прежнее время духовенство, и о том, каким образом оно постепенно утрачивает свои преимущества по мере развития общества; объяснение сущности религиозных расколов и рассмотрение причин, почему духовенство господствующей церкви никогда не может бороться с ними как равный с равным, а потому призывает на помощь государство и старается преследовать тех, кого не может убедить; почему некоторые секты преподают более аскетическую, а другие — более свободную нрав-

ственность; каким образом дворянство в века феодализма приобрело себе власть и как эта власть потом постепенно уменьшалась; как возникло право суда поземельных владельцев и как оно исчезло; каким путем европейские государи приобрели свои доходы, где источники этих доходов и на какие классы преимущественно ложится их тягость; почему некоторые добродетели, как, например, гостеприимство, процветают в варварские времена и упадают в века более просвещенные; каким образом изобретения и открытия влияют на изменения в распределении власти между различными классами общества; смелый и мастерский очерк особого рода выгод, доставленных Европе открытием Америки и морского пути вокруг мыса Доброй Надежды; начало университетов, их уклонение от первоначальной мысли, постепенное их искажение и объяснение причин, почему они так неохотно принимают полезные преобразования, так мало заботятся о том, чтобы идти в уровень с потребностями века; сравнение общественного воспитания с домашним и оценка относительных преимуществ того и другого—все эти и многие другие предметы, относящиеся к устройству и развитию общества, как, например, феодальная система, невольничество, уничтожение крепостного права, происхождение постоянных армий и наемных войск, влияние церковной десятины, прав первородства, законов, ограничивающих роскошь, международные торговые трактаты, начало банков в Европе, государственные долги, влияние на общественное мнение театров и заграничных путешествий, колонии, законы о нищенстве,—вопросы самого разнообразного характера, нередко расходящиеся между собой в самых противоположных направлениях,—все соединены в одно громадное целое и озарены лучами единого великого гения. В эту сплошную, нестройную массу Адам Смит внес симметрию, метод, закон. При его прикосновении исчезла неурядица, и тьма осенилась светом. Много, разумеется, заимствовал он у своих предшественников, хотя далеко не так много, как обыкновенно полагают. Без такого рода позаимствования не могут обойтись и умнейшие, и способнейшие из нас. Во всяком случае, как бы много ни отнести на долю заимствованного у других, все-таки по совести можно сказать, что ни один человек никогда не совершал такого огромного шага в таком важном предмете и что ни одно дошедшее до нас сочинение не содержит в себе такого множества соображений, представлявших в свое время новость, но подтвердившихся последующим опытом. Но для настоящей нашей цели всего важнее заметить то, что до всех этих результатов он дошел выводами из таких начал, которые он почерпнул исключительно из своекорыстной стороны человеческой природы; он сознательно устранял при этом все сочувственные стремления, которыми наделен непременно хотя бы в самой малой степени каждый человек, но которых он не мог принять в соображение, ибо иначе из этого вышла

бы задача с множеством запутанностей, не представляющих никакой возможности к разрешению.

Поэтому, чтобы избежать такого неуспеха, он упростил задачу, исключив из своего понятия о человеческой природе те посылки, которые уже были им рассмотрены прежде в «Теории нравственных чувствований». В начале своей книги о «Богатстве народов» он ставит два положения: 1) что всякое богатство имеет источником не землю, а труд; и 2) что количество богатства зависит частью от степени умения, прилагаемого к труду, частью от отношения между числом людей трудящихся и числом нетрудящихся. Все остальное сочинение состоит в применении этих начал к объяснению развития и механизма общества. Применяя их, он постоянно предполагает, что единственной движущей силой во всех людях, во всех интересах, во всех классах, во все века и у всех народов служит своекорыстие. Противоположную силу сочувствия он совершенно исключает, и я не припомню даже, чтобы самое слово хоть раз встречалось во всем сочинении. Основное положение его то, что человек во всем следует исключительно собственной выгоде или тому, в чем видит собственную выгоду. И особенно характеристическую черту его книги составляет проводимая в ней мысль, что если взять общество как одно целое, то почти всегда оказывается, что люди, заботясь о своей собственной выгоде, неумышленно способствуют и выгоде других. Отсюда истекает великое практическое правило, что своекорыстия не следует стеснять, а должно его только просвещать; потому что в самой природе вещей лежит закон, в силу которого своекорыстные стремления отдельного человека способствуют успеху всего общества. При таком воззрении благоденствие страны зависит от количества ее капитала, а количество капитала зависит от привычки к сбережению, т. е. от скупости,—свойства, противоположного щедрости; привычка же к сбережению в свою очередь управляется свойственным каждому из нас желанием улучшить свое положение,—желанием, до того тесно связанным с человеческой природой, что оно вместе с нами рождается и сопровождает нас неотлучно до самого гроба¹⁹.

Это постоянное стремление каждого отдельного человека улучшить свое положение так благотворно, и притом так могущественно, что нередко может одно поддерживать успехи общества вопреки безрассудству и нерасчетливости правителей человечества. Не будь этого стремления, совершенствование было бы невозможно, потому что учреждения людские беспрестанно задерживают наше поступательное движение, идя наперекор нашим естественным наклонностям. И нет ничего в этом удивительного, когда вспомнишь, что люди, стоящие во главе наших дел и изобретающие эти учреждения, не лишены, пожалуй, некоторой грубой практической смывленности, но по узкости своих понятий, не будучи способны к широким воззрениям, руководствуются в своих решениях преходящими случайностями, которые одни им

понятны²⁰. Они не видят, что мы благоденствуем не вследствие их законодательных распоряжений, а вопреки этим распоряжениям и что действительная причина нашего благоденствия заключается в том обстоятельстве, что мы можем спокойно пользоваться плодами своего труда²¹. Как скоро это право достаточно ограждено, каждый человек устремится к тому, чтобы доставить себе или наслаждение в настоящем, или выгоду в будущем; если же он не будет стараться о том или о другом, это значит, что он лишен даже простого здравого смысла. Если есть у него капитал, он, по всей вероятности, будет домогаться того и другого; но при этом он нисколько не будет заботиться о благе других людей, единственным его побуждением будет своя личная польза. И тем лучше, что оно так, потому что, домогаясь таким образом выгоды для себя лично, он гораздо более содействует благу всего общества, чем когда бы имел великодушные и возвышенные виды. Некоторые люди уверяют, будто они занимаются торговлей для блага других, но это просто самообольщение,—впрочем, сказать правду, самообольщение это не слишком часто встречается между торговцами, и не требуется очень умных рассуждений для того, чтобы отговорить их от таких нелепых притязаний²².

Таким образом, Адам Смит совершенно меняет посылки, предпоставленные им в первом сочинении. Здесь он предполагает человека от природы своекорыстным, тогда как прежде предполагал его от природы сочувственным²³; представляет людей гонящимися за богатством из низких целей, ради самого узкого эгоистического наслаждения, между тем как прежде представлял их домогающимися богатства из уважения к чувствам других людей, ради снискания их сочувствия²⁴. В «Богатстве народов» нет уже и помину об этом всеоглашающем, сочувственном стремлении; эти умилительные правила совсем забыты, и управление делами мира приписывается уже совершенно иным началам. Тут оказывается, что доброжелательство и любовь к ближнему не имеют никакого влияния на наши действия. Адам Смит едва ли даже допускает в свою теорию побуждений самое простое чувство человеколюбия. Если, говорит он, какой-нибудь народ освобождает у себя рабов, то это нисколько не доказывает, что этот народ действует по каким-либо высоконравственным соображениям или что его чувства возмущаются жестоким положением, которому были обречены эти несчастные существа. Ничуть не бывало. Такие побуждения существуют чисто только в воображении; они в действительности не имеют никакого влияния. Освобождение рабов доказывает только одно, что рабов у этого народа было немного и, следовательно, они не представляли большой ценности. Иначе он бы их не освободил.

Точно так же в прежнем своем сочинении Адам Смит все различные системы нравственности производил от силы сочувствия, а в настоящем уже производит их исключительно от силы своекорыстия. Он замечает, что в низших классах общества разгульная жизнь гораздо губительнее для отдельного лица, чем

в высших классах. Сопряженная с ней расточительность может причинить ущерб и состоянию богача, но обыкновенно ущерб этот может быть исправлен, или во всяком случае богач может предаваться своим порокам в продолжение большего или меньшего числа лет, не разоряя вконец своего состояния и не доводя себя до совершенной гибели. Работника же одна неделя такой поблажки может сгубить безвозвратно; она не только доведет его до нищенства, пожалуй, до тюрьмы, но и загубит всю его будущность, лишив его доброго имени, составляемого трезвостью и исправностью и необходимого ему для получения работы. Поэтому-то лучшие люди из простого народа, руководствуясь собственной пользой, с отвращением смотрят на невоздержание, пагубность которого им вполне известна; между тем как высшие классы, видя, что некоторая умеренная доля порока не причиняет вреда ни их карману, ни доброму имени, считают такую вольность нравов за одну из выгод, доставляемых им богатством, и на возможность предаваться ей, не подвергаясь осуждению, смотрят как на одно из преимуществ, присвоенных их общественному положению. Отсюда же происходит то, что диссиденты держатся более чистых или во всяком случае более суровых правил нравственности, чем люди, пребывающие в лоне господствующей церкви. Ибо новые религиозные секты возникают обыкновенно в среде простого народа, мыслящая часть которого приводится своим интересом к строгому воззрению на житейские обязанности. Поэтому и проповедники нового учения преподают такие же строгие нравственные правила, видя в том самое верное средство для умножения числа его последователей. Таким-то образом сектаторы и еретики, побуждаемые скорее своей выгодой, чем какими-нибудь отвлеченными началами, принимают такую систему нравственности, которая наиболее соответствует их личным целям и своей суровостью представляет разительную противоположность с более распушенными нравами последователей господствующей церкви²⁵. В силу того же начала находим мы в самой среде правоверных, что духовенство держится более строгой системы нравственности в тех странах, где церковные бенефиции приблизительно равны, чем там, где между бенефициями существует большое неравенство. Это происходит оттого, что, когда все бенефиции приблизительно равны между собой, ни одна не может быть очень богата, и, следовательно, знатнейшие даже члены духовенства имеют посредственные доходы. Человек же, не имеющий достаточного состояния для того, чтобы жить широко, не может иметь влияния иначе как только при соблюдении примерной нравственности. Как скоро он не обладает богатством, которое давало бы ему вес, разгульная жизнь делает его смешным. Для того чтобы избежать презрения, а вместе с тем и оградить себя от расходов, которых требует распушенный образ жизни и которых не допускает ограниченность его средств, ему остается один только способ, и за этот способ он и хватается. Он упрочивает свое влияние и бережет карман, восставая против

тех наслаждений, которыми ему самому пользоваться было бы накладно. Тут, как и во всех других случаях, человек идет тем путем в жизни, который указывает ему собственная польза.

В этих поразительных выводах, заключающих в себе значительную долю истины, но далеко еще не полную истину, не оставлено вовсе места для действия благороднейших побуждений нашей природы; всякая система нравственности, господствующая в то или другое время и в том или другом классе общества, выводится исключительно из внушений своекорыстия, без всякой примеси какого-либо иного элемента. Рассуждая от этого начала с той отменной тонкостью, которой отличался его ум, Адам Смит объясняет многие другие явления, которые представляет общество и которые на первый взгляд кажутся ни с чем не сообразными. По старым понятиям, которые, признаться, и теперь не совсем еще исчезли, всякий, кто получал от кого-либо жалованье, считался получившим личное одолжение от того, кто платил это жалованье; т. е., сверх обязанности исполнить известные услуги, на нем еще оставался нравственный долг относительно того лица. Полагали, что господин был властен не только принимать к себе в услужение кого хотел, но и платить служителям столько, сколько ему было угодно; или, по крайней мере, что обычный средний размер платы за услуги определялся волей хозяев как корпорации. Следовательно, низшие классы должны были почитать себя крайне обязанными высшим за то, что последние не давали им меньше; и долгом каждого человека, получавшего плату, было принимать ее с покорной признательностью, с чувством благодарности за милость, оказываемую великодушным господином.

Это учение, столь удобное для высших классов общества и столь естественное при господствовавшем в прежнее время всеобщем невежестве по этим вопросам, впервые начали подрывать отвлеченные мыслители семнадцатого века; но только восемнадцатому столетию суждено было окончательно разрушить его, внося великую идею необходимости и доказав, что установленный в данной стране размер заработной платы есть неизбежный результат условий, в которых находится страна, и что он несколько не зависит ни от воли отдельных лиц, ни даже от желаний какого-либо класса. Теперь это уже избитая истина для каждого образованного человека. Сознание ее исключило понятие благодарности из денежных отношений между хозяевами и наемниками и привело людей к уразумению, что слуги или рабочие, получающие плату, имеют ничуть не более причин быть за нее благодарными, чем сами платящие. Ибо так как назначение платы не зависело от свободной воли нанимателя, то и производством ее не оказывается никакой милости. Все дело вынуждено необходимостью и обусловливается предшествовавшими обстоятельствами. Едва миновал восемнадцатый век, как это важное открытие было окончательно завершено неопровержимым доказательством, что вознаграждение за труд определяется

только двумя условиями, а именно размером национального капитала, из которого оплачивается весь труд страны, и числом работников, между которыми этот капитал должен делиться.

Этим огромным шагом в нашем знании мы обязаны главнейшим образом, хотя не исключительно, Мальтусу; его сочинение о народонаселении, кроме того что оно составляет эпоху в истории отвлеченного мышления, уже привело и к некоторым практическим результатам и, без сомнения, приведет к другим, еще более важным. Оно появилось в 1798 г., так что Адаму Смиту, умершему в 1790 г., не удалось видеть результата, который не мог бы не порадовать его; именно, что его воззрения, при дальнейшей разработке их, не столько, собственно, исправлялись, сколько расширялись. Не подлежит сомнению, что, не будь Адама Смита, не было бы и Мальтуса; т. е., если бы Смит не положил основания, Мальтус не мог бы вывести здание. Адаму Смиту, более чем кому бы то ни было другому, должно приписать внесение понятия однообразной и необходимой последовательности в столь произвольные, по-видимому, явления богатства; он изучил эти явления с помощью начал, которые почерпал исключительно из основного принципа своекорыстия. По его воззрению, хозяева не являют ни снисходительности, ни сочувствия и вообще никакой добродетели. Единственная их цель — собственный, эгоистический интерес. Между ними существует постоянно если не открытая, то безмолвно подразумеваемая стачка, имеющая предметом не допускать выгодного для низших классов возвышения заработной платы; иногда даже они входят и в прямую стачку, с тем чтобы понизить заработную плату против настоящего ее размера²⁶. В них нет сердца, они только думают о себе самих. Мысль, будто они желают сглаживать неравенства состояний, следует откинуть как одну из многих химер, созданных протекционным духом, воображавшим, что общество не могло бы держаться, если б более достаточные классы не помогали беднейшим и не соболезновали об их страданиях. Это устарелое понятие опровергается уже тем фактом, что заработная плата всегда в летнее время выше, чем в зимнее, между тем как расходы, предстоящие работнику зимой, значительнее, чем летом, и, следовательно, человеколюбие требовало бы, чтобы зимой, в более тяжелое время года, давали более денег. Подобное же явление представляют неурожайные годы, когда дороговизна на съестные припасы многих людей заставляет идти в услужение, чтобы иметь возможность содержать свои семейства. Хозяева, вместо того чтобы великодушно назначать таким служителям большую плату, во внимание к их несчастному положению, напротив, еще пользуются этим положением для того, чтобы платить им меньше. Они выговаривают более выгодные для себя условия, понижают заработную плату в то именно время, когда сострадание к терпящим нужду и бедствие должно бы побуждать их повышать ее. Мало этого, видя, что рабочие, под гнетом бедности, кроме того что обходятся дешев-

ле, делаются еще более покорными и сговорчивыми, они смотрят на неурожай как на благодать и утверждают, что годы дороговизны благоприятнее для промышленности, чем дешевые годы.

Таким образом, Адам Смит хотя и не успел открыть более отдаленной причины, определяющей размер заработной платы, однако ясно видел, что ближайшая причина заключается вовсе не в великодушии человеческой природы, а, напротив, в ее своекорыстии; что тут просто дело в спросе и предложении, ибо каждая сторона стремится получить от другой как можно больше. С помощью того же начала он объяснял другой любопытный факт, именно чрезвычайную щедрость, с какой награждаются некоторые наиболее презренные классы общества, например балетные танцоры, которые постоянно получают огромную плату за самые ничтожные услуги. Он замечает, что одну из причин, почему мы платим им так щедро, составляет именно то, что мы их презираем. Если б ремесло публичного танцора пользовалось уважением, то большее число людей обучалось бы ему; предложение этого рода услуг увеличилось бы, и конкуренция сбила бы плату за них. Но мы смотрим на танцоров с презрением и потому, взамен уважения, должны давать им большие деньги, для того чтобы заманивать их на это поприще²⁷. Тут оказывается, что вознаграждение, которое один класс общества дает другому, увеличивается не вследствие сочувствия, а, напротив, вследствие презрения к нему; так что, чем менее мы уважаем занятия и образ жизни ближнего, тем щедрее его награждаем.

Затем, переходя к совершенно иному классу людей, Адам Смит представляет в новом свете широкое гостеприимство, которым славилось духовенство в средние века и за которое воздавалась ему столь громкая хвала. Он доказывает, что хотя духовенство, бесспорно, облегчало в то время многие нужды и страдания, однако этого не следует ставить ему в заслугу, так как это было просто результатом особенностей его положения; да притом же, действуя таким образом, оно, очевидно, действовало в видах собственной пользы. Духовенство в средние века обладало громадным богатством; но доходы свои оно по большей части получало не деньгами, а натурой, как-то: хлебом, вином, скотом. При совершенном почти несуществовании торговли и мануфактурной промышленности ему больше некуда было девать эти продукты, как только обращать их на прокормление посторонних людей. Употребляя их таким образом, оно получало прямую и положительную пользу от своего образа действий. Этим оно стяжало славу обширной и щедрой благотворительности, упрочивало свое влияние, умножало число своих приверженцев, наконец, не только пролагало себе путь к светской власти, но и обеспечивало духовным своим угрозам такое благоговение, какого им иначе никогда б не достигнуть.

Читатель теперь будет в состоянии понять сущность способа исследования, которого держался автор «Богатства народов» и которому я не стал бы представлять такого множества

примеров, если б не то, с одной стороны, что вопрос о методе мышления лежит в самом основании нашего знания, а с другой стороны, что никто доселе не пытался анализировать характер ума Адама Смита, рассмотрев его два больших сочинения как противоположные, но в то же время взаимно себя дополняющие части одного целого. А так как он, без всякого сравнения, величайший из всех мыслителей Шотландии, то мне едва ли нужно извиняться в том, что я в истории умственного развития этой страны уделил столько внимания его системе и старался исследовать ее в самом ее основании. Но затем уже было бы совершенно бесполезным многословием распространяться с такой же подробностью о произведении других замечательных шотландских писателей того же времени, которые почти все следовали методу в сущности одинаковому, хотя и не вполне тождественному с его методом; именно, почти все они предпочитали дедуктивный способ рассуждения, исходящий от начал, индуктивному способу восхождения к началам. По своей особенной форме дедукции, заключающейся в сознательном устранении известной части начал, Адам Смит стоит совершенно одиноко; ибо хотя некоторые другие мыслители и пытались пользоваться его методом, но они не употребляли его последовательно, а только обращались к нему по временам и не сознавали, подобно ему, как необходимо, при употреблении этого метода, следовать ему с величайшей строгостью, неуклонно воздерживаясь от допущения в свои послышки таких соображений, которые могли бы усложнить предстоящую к разрешению задачу.

Между современниками Адама Смита одним из первых и по силе дарования, и по своей славе является Дэвид Юм. Его суждения по разным вопросам политической экономии вышли в свет в 1752 г., т. е. в том самом году, в котором Адам Смит преподавал с профессорской кафедры начала, впоследствии развитые им в «Богатстве народов». Но Юм, хотя превосходный диалектик и притом глубокий и смелый мыслитель, не имел всеобъемлющего взгляда Адама Смита; кроме того, он не обладал тем неоцененным свойством воображения, без которого человек не может в такой степени перенестись в минувшие эпохи, чтобы воспроизвести долгое поступательное движение общества, находящегося в постоянном колебании то в ту, то в другую сторону, но во всем своем целом неизменно идущего вперед. Как мало было у него воображения, видно не только из высказываемых им воззрений, но также из многих случаев его частной жизни. Это видно и из колорита, и самого строения его речи, из того изящного, отчеканенного слога, которым он обыкновенно писал,—отполированного как мрамор, но и столь же холодного, лишенного того пламенного энтузиазма и тех взрывов бурного красноречия, которые, естественно, возбуждаются по временам величием описываемых предметов и которые волнуют людей до глубины души. Вследствие этого именно отсутствия воображения Юм в своей «Истории Англии»,—в этом превосходном произ-

ведении искусства, которому, несмотря на все его погрешности, мы не перестанем дивиться до тех пор, пока будет в нас живо чувство прекрасного,—не мог сочувствовать тем смелым и благородным личностям, которые в семнадцатом столетии жертвовали всем для сохранения свободы отечества. Его воображение было слишком слабо для того, чтобы нарисовать полную картину этого великого века с его обширными открытиями, его стремлением к разгадке неизведанного, его роскошной литературой и — что выше всего остального — его суровой решимостью добыть свободу и положить конец тирании. Ясному и могучему рассудку Юма все это представлялось порознь, разъединенными частями; слить же их в один цельный образ он не мог, потому что ему не дано было той особенной способности, с помощью которой человек сближает прошедшее с настоящим и почти с одинаковой легкостью читает и в том, и в другом. То великое восстание, которое он приписывал духу крамолы и вождей которого он поднимал на смех, было только продолжением того движения, начало которого можно ясно проследить до двенадцатого столетия и в котором такие события, как изобретение книгопечатания и введение Реформации, являются лишь последовательными симптомами. До всего этого Юму дела не было. В области философии, в исследовании чисто отвлеченной стороны религиозных учений проницательный ум его ясно видел, что тут ничего не может быть сделано без духа безбоязненной и ничем не стесняемой свободы. Но тут речь шла о свободе собственного его класса: о свободе мыслителей, а не практических деятелей. Недостаток воображения не позволял ему простираť свое сочувствие далее мыслящих классов, с чувствами которых он непосредственно ведался. Из этого можно заключить, что его политические погрешности происходили не от недостаточности исследования, чему их обыкновенно приписывают, а скорее от свойственной ему холодности²⁸. Она-то и была причиной тому, что он остановился на точке, на которой мы его видим, и что сочинения его представляют такое странное явление,—глубокого и оригинального мыслителя, в половине восемнадцатого века защищающего в практической области такие нелиберальные учения, что осуществление их повело бы к деспотизму, и в то же время в области отвлеченной мысли отстаивающего учения такие смелые и просвещенные, что они далеко опережают не только собственное его время, но отчасти даже и наш век.

Из воззрений его в области отвлеченного мышления наиболее важны его теория причинности, исключаящая идею власти, и его теория законов ассоциации идей. Ни та, ни другая из этих теорий в основных своих чертах не есть что-либо совершенно оригинальное; но его обработка придавала им столько цены, что они могут почитаться за его собственность. Его теория чудес в связи, с одной стороны, с началами теории доказательств, а с другой — с законами причинности разработана им с величайшим искусством и ныне, с некоторыми изменениями, сделанными

в ней впоследствии Броуном, служит основанием, на которое опираются все лучшие исследования по этому предмету. Сочинение его о началах нравственности, установив законы целесообразности, проложило путь Бентаму, который потом соединил с ними оценку более отдаленных последствий человеческих поступков, между тем как Юм преимущественно ограничивался более непосредственными результатами их. Учение о полезности было обще им обоим; но Юм применял его главнейше к отдельному человеку, Бентам же распространял на все окружающее общество. Бентам дал этому учению более широкое значение; но Юм, как первый по времени, имеет преимущество большей оригинальности. Ту же честь оригинальности следует воздать его политико-экономическим теориям, защищавшим те начала свободной торговли, которые политики начали принимать только много лет спустя после его смерти²⁹. В противоположность господствовавшим в его время понятиям он положительно утверждал, что все товары хотя, по-видимому, покупаются на деньги, но, собственно, приобретаются за труд. Деньги, следовательно, не составляют предмета торговли, и вся их польза в том только, что они способствуют торговле. Поэтому безрассудно государству хлопотать о торговом балансе или издавать законы для ограничения вывоза драгоценных металлов. Равным образом и средний размер процента на деньги зависит вовсе не от скудности или обилия их, а от действия более общих причин³⁰. Как необходимое последствие этих положений Юм представлял ложность тогдашней политики, которая побуждала торговые государства смотреть друг на друга как на соперников, между тем как на самом деле, если взглянуть на вопрос с более высокой точки зрения, тут место не соперничеству, а взаимному содействию, ибо каждая страна выигрывает от увеличения богатства ее соседей. Всякий, кто знаком с характером торгового законодательства и с образом мыслей самых даже просвещенных из государственных людей за сто лет тому назад, согласится, что выражение таких воззрений в 1752 г. составляет явление чрезвычайно замечательное. Но еще замечательнее то, что автор их впоследствии открыл основную ошибку, в которую впал Адам Смит и которая вредит правильности многих из его выводов. Ошибка эта заключается в том, что он разлагал цену на три составные части, а именно на заработную плату, прибыль и ренту, между тем как теперь признано, что цена складывается только из заработной платы и прибыли; рента же есть не элемент цены, а результат ее. Это открытие составляет краеугольный камень политической экономики; но оно выводится из такой длинной и утонченной аргументации, что только очень немногие умы могут следить за ней, не сбиваясь, и большая часть людей, принимающих это положение, принимают его только ради авторитета великих писателей, которых они уважают и на мнение которых они полагаются. Поэтому поразительным свидетельством проницательности Юма служит то, что он в такое время, когда наука только что зарождалась

и когда так мало можно было найти помощи у предшественников, умел, однако же, уловить подобную ошибку, кроющуюся так глубоко под поверхностью исследуемого предмета. Как только «Богатство народов» вышло в свет, он писал Адаму Смиту, опровергая его положение, что рента входит в состав цены произведений. Это письмо, писанное в 1776 г., составляет первый намек на ту знаменитую теорию ренты, которую несколько позднее понимали, но не умели удовлетворительно развить Андерсон, Мальтус и Вест и которую только гению Рикардо суждено было окончательно построить на широком и прочном основании.

Достоинно внимания то, что Юм и Адам Смит, два мыслителя, сделавшие такие громадные приращения к нашему знанию основных начал торговли, сами не были практически знакомы с торговым делом. Юм, правда, в молодости пробыв некоторое время в купеческой конторе, но вскоре с отвращением бросил это занятие и удалился в глушь провинциального городка, чтобы предаться более размышлению, чем наблюдению. И действительно, один из главных недостатков его ума составляет пренебрежение к фактам. Но это пренебрежение к фактам не происходило у него, как слишком часто бывает, от равнодушия к истине — этой худшей формы нравственного уродства; напротив, он был ревностный поборник истины, и притом человек самой чистой и возвышенной души, совершенно неспособный лгать или каким бы то ни было образом кривить душой. В нем пренебрежение к фактам было только плодом доведенного до крайности уважения к идеям. Он не только был убежден — и в известной мере совершенно справедливо, — что идеи важнее фактов, но и полагал, что они в порядке изучения должны занимать первое место; что мы должны развивать их, прежде чем приступим к исследованию фактов. К Бэконовой философии, которая хотя и допускает предварительную, так сказать пробную, гипотезу, но вместе с тем неуклонно настаивает на необходимости сперва собрать факты, а потом уже восходить к идеям, он питал отвращение, и этим, без сомнения, должно объяснять то обстоятельство, что он, обыкновенно столь мягкий в своих суждениях и столь ревностный почитатель умственного величия, так грубо несправедлив к Бэкону, методу которого ему невозможно было сочувствовать, хотя он и не мог отрицать пользу от употребления такого метода в естественных науках³¹.

Если б Юм следовал Бэконову методу, т. е. поставил себе за правило всегда восходить от частного к общему и от одного обобщения к другому, непосредственно за ним следующему, то он едва ли написал бы хоть одно из своих сочинений. Конечно, не написал бы он тогда своих политико-экономических рассуждений, потому что политическая экономия — такая же по самому существу своему дедуктивная наука, как и геометрия. Но он избрал путь прямо обратный индуктивному методу; он начинал с того, что он называл общими аргументами, и посредством их

надеялся доказать несостоятельность мнений, которые почитались доказанными из фактов. Он не трудился над исследованием фактов, из которых были выведены заключения, а перевернул порядок, которым надлежало добывать выводы. Ту же неохоту ставить факты торговли в основание науки о торговле видим мы и у Адама Смита, который прямо высказывает свое недоверие к статистике, или, как ее тогда называли, к политической арифметике. Между тем очевидно, что статистические факты так же надежны, как и всякие другие факты, а благодаря своей математической форме они очень определительны³². Но когда они касаются человеческих деяний, они суть результат всех побуждений, которыми обуславливаются эти деяния; в других словах, они суть результат не одного только своекорыстия, но и сочувственного начала. А так как Адам Смит в «Богатстве народов» имел в виду одно только из этих побуждений, а именно своекорыстие, то ему было бы невозможно вести свое обобщение от статистических данных, которые необходимо заимствуются от явлений, составляющих продукт обоих побуждений. Такие статистические факты были бы по своему происхождению слишком сложны для обобщения, тем более что их нельзя было подвергнуть произвольному опыту, а можно было только наблюдать и располагать в том или другом порядке. Адам Смит, усматривая невозможность совладать с ними, очень благоразумно уклонился от принятия их в основание своей науки и пользовался ими только в виде примеров для пояснения, причем мог из них выбирать что ему было угодно. То же замечание относится и к другим фактам, которые он почерпал из истории торговли или даже из общей истории человеческого общества. Все эти факты у него в сущности следуют за теоретическим положением. Они уясняют положение, но нисколько не придают ему большей твердости. Ибо можно сказать без преувеличения, что, если б все торговые и исторические факты, собранные в «Богатстве народов», оказались ложными, книга все-таки уцелела бы, и выводы ее нисколько не утратили бы своей прочности, а только стали бы менее заманчивы. Все в ней зиждется на общих началах; эти же общие начала, как мы видели, были уже выработаны в 1752 г., т. е. за двадцать четыре года до выхода в свет сочинения, в котором они применены. Следовательно, они, очевидно, были выработаны независимо от фактов, которые Адам Смит впоследствии присоединил к ним и которые он собирал в продолжение этих целых двадцати четырех лет. Притом же десять лет, употребленных им собственно на сочинение своей книги, он провел вовсе не в одном из тех средоточий людской деловой жизни, в которых он мог бы наблюдать разнообразные явления промышленности и изучать действие торговли на нрав человека и влияние последнего на нее. Он не поселился на одном из тех обширных рынков, в одном из тех центров торговли, где преимущественно совершались те события и явления, которые он пытался объяснить. Не таков был его метод. Напротив, десять лет, посвященных им на возведение

в науку самой деятельной отрасли человеческой жизни, он прожил совершенным отшельником в Керколди, в своем мирном родном городе. Он всегда отличался необыкновенной рассеянностью и был так мало склонен к наблюдению, что нередко забывал все, что делалось непосредственно около него. Удалившись в Керколди, в тихий приют своего детства, он мог безопасно предаться этой забывчивости. Тут, услаждаясь обществом одной только своей матери, не имея никаких случаев наблюдать человеческую природу в широких размерах, удаленный от шума больших городов, могучий мыслитель одной силой своего ума разгадывал многочисленные и многосложные явления богатства, проникал в побуждения, которыми управляются действия самой трудолюбивой и энергической части человечества, раскрывал все стремления и тайные пружины той житейской деятельности, от которой он загородил себя, т. е., запершись в совершенное почти одиночество, он лишил себя возможности созерцать те именно факты, которые он же так успешно разъяснял.

Ту же решимость предпосылать изучение начал изучению фактов находим мы у Юма в одном из наиболее оригинальных его сочинений, в «Естественной истории религии». Относительно названия этого трактата должно заметить, что, по понятиям шотландских философов, естественный ход какого-либо движения отнюдь не одно и то же, что действительный ход его. Этот разлад между идеальным и действительным есть необходимый результат их метода³³. Ибо, мысля дедуктивно от предвзятых посылок, они не могли принимать в расчет уклонения, которым подвергались их выводы вследствие движения окружающего общества и столкновений с ним. Для этого потребовалось бы особое исследование. Необходимо было бы исследовать обстоятельства, которые приводили к этим столкновениям и чрез то не позволяли их выводам быть тем же в сфере фактов, чем они были в сфере умозрения. Так называемые случайности встречаются на каждом шагу, и они-то и не позволяют действительному ходу дел совпадать с естественным их ходом. И пока мы не будем в состоянии предсказывать эти случайности, до тех пор не будет и полного согласия между выводами дедуктивной науки и явлениями действительной жизни; другими словами, наши выводы будут только приближаться к истине, но не будут вполне совпадать с нею.

Поэтому Юм совершенно основательно назвал свое сочинение «Естественной историей религии». Это превосходный образец дедуктивного метода. Единственный в нем недостаток тот, что автор со слишком большой уверенностью говорит о точности результатов, которых можно по такому предмету достигнуть этим путем. Он верил, что посредством наблюдения основных начал человеческой природы, какими они являлись в собственном его уме, возможно было объяснить весь ход явлений, и нравственных, и физических³⁴. Этих начал можно было достигнуть посредством опыта над самим собой; затем по достижении

их следовало умозаключать от них дедуктивным путем и таким образом построить всю систему. Этот прием он противопоставляет индуктивному методу, называя последний процессом скучным и мешкотным; другим предоставляет он обратиться к этому медлительному и кропотливому методу и постепенно прокладывать себе дорогу к основным началам, сам же хочет обнять их сразу, или, как он сам выражается, не останавливаться на границах, а идти прямо на столичный город, по овладении которым ему уже легко будет преодолеть все остальные трудности и распространить свои завоевания на всю область науки. По мысли Юма, не требуется рассуждать для того, чтобы вырабатывать идеи, а прежде чем рассуждать, нужно иметь ясные идеи³⁵. Этим путем приходим мы к философии, которой выводов нельзя оспаривать, хотя бы они даже противоречили науке. Напротив, ее авторитет есть самый высший авторитет, и ее приговоры, как безусловно верные, должно всегда предпочитать всяким выводам из фактов, представляемых внешним миром.

Юм, следовательно, думал, что все тайны внешнего мира скрыты в человеческом уме. Ум представлялся ему не только ключом, которым можно отомкнуть сокровищницу, но и самой сокровищницей. Ученость и наука могут служить к уяснению нашего умственного достояния, могут придать ему красоты, но не могут доставить действительного знания; они не могут ни дать первых материалов, ни научить плану, по которому эти материалы должны быть разрабатываемы.

Сообразно этим воззрениям написана «Естественная история религии». Сочиняя эту книгу, Юм имел целью раскрыть происхождение и развитие религиозных идей, и он приходит к тому заключению, что поклонение многим богам должно было везде предшествовать поклонению единому Богу. Это он признает за закон человеческого духа, за факт, который не только всегда и везде являлся, но и необходимо должен быть всегда и везде являться. Его способ доказательства чисто умозрительный. Он представляет, что первоначальное положение человека есть необходимое состояние дикости; что дикаря не может занимать обыденная деятельность природы и не может в нем зародиться желание изучить законы, управляющие этой деятельностью; что такие люди должны быть чужды всякого любопытства относительно предметов, которые не причиняют им непосредственного беспокойства; и что, следовательно, они не заботятся об обыкновенных явлениях природы, но устремляют все мысли к необычайным ее явлениям. Страшная буря, рождение уродца, чрезмерная стужа, необыкновенно сильный дождь, внезапные и губительные болезни — вот на какого рода предметы исключительно направлено внимание дикаря; только причины этих явлений желательно ему узнать. И как скоро он убедится, что он не властен над этими причинами, он признает их за нечто высшее, чем он сам, и, не будучи в силах понять их в отвлечении, олицетворяет их. Он возводит их в божества, и многобожие готово; первым

верованиям рода человеческого дана форма, которая уже не может измениться до тех пор, пока люди остаются в состоянии первобытного невежества³⁶.

Эти положения, не только правдоподобные, но, по всему вероятно, и вполне верные, надлежало бы, по требованию индуктивной философии, вывести путем обобщения из рассмотрения фактов, т. е. из собрания данных, свидетельствующих о состоянии религии у диких народов и о степени способности этих народов к отвлеченному мышлению. Юм этого не делает. Он не ссылается ни на одного из многочисленных путешественников, посещавших такие племена; он ни разу даже во всем своем сочинении не упоминает ни об одной книге, в которой содержались бы сведения о быте дикарей. С него достаточно было, что это восхождение от верования во многих богов к верованию в единого Бога есть естественный ход развития, т. е., другими словами, что оно собственному его уму представлялось естественным ходом³⁷. Этим он был вполне удовлетворен. В других частях своего трактата, где он говорит о религиозных понятиях древних греков и римлян, он обнаруживает порядочную, хотя далеко не замечательную, начитанность; но приводимые им цитаты вовсе не относятся к тому совершенно варварскому состоянию общества, при котором, как сам он полагает, впервые возникло многобожие. Следовательно, посылку своего умозаключения он черпает из собственного ума. Он умозаключает дедуктивным путем от идей, которыми снабжает его собственный его могучий ум, вместо того чтобы восходить индуктивно от фактов, свойственных предмету исследования.

Точно так же и в остальных частях своего сочинения, полного тонких и любопытных умозрений, он обращается к фактам не для доказательства своих заключений, а только для наглядного пояснения их. Поэтому он избирал только те факты, которые были пригодны для его цели, а прочие оставлял совершенно в стороне. Многие критики назовут это, пожалуй, недобросовестным, но у него тут не было никакой недобросовестности, потому что он был убежден, что уже твердо установил свои начала и без помощи этих фактов. Факты могли принести пользу читателю, уясняя аргумент, но не могли прибавить ему силы. Ими имелось в виду скорее убеждать, чем доказывать; они имели значение скорее риторическое, чем логическое. Поэтому критик стал бы только напрасно тратить время, когда бы вздумал разбирать их с той подробностью и мелочностью, какие были бы нужны, если бы Юм строил на этих фактах индуктивный аргумент. Если б не то, любопытно было бы, не пускаясь в очень дальние поиски, сравнить эти факты с совершенно иными фактами, которые еще за восемьдесят лет до Юма заимствовал из того же источника и по тому же предмету Кедворт. Кедворт, далеко превосходявший Юма ученостью, но стоявший гораздо ниже его по способностям, обнаруживает в своем большом сочинении об «Истинной духовной системе мира» громадную начитанность, которую он

употребляет на то, чтобы доказать, что в древнем мире преобладало верование в единого Бога. Юм, никогда не ссылающийся на Кедворта, приходит к прямо противоположному заключению. Оба ссылались на древних писателей; но Кедворт выводил свои заключения из того, что находил у этих писателей; Юм же свои заключения выводил из того, что находил в собственном уме. Кедворт, учившийся в школе Бэкона, сперва собирал факты и затем уже приступал к суждению. Юм, воспитанный в совершенно иной школе, думал, что проникаемость судьи гораздо важнее, чем количество доказательств; что свидетели легко могут лжесвидетельствовать и что он в собственном уме обладал самыми надежными материалами для того, чтобы прийти к верному заключению. Неудивительно после этого, что Кедворт и Юм, следуя противоположным методам, пришли к противоположным результатам; такое разногласие, как я уже заметил выше, неизбежно, когда люди путем различных методов исследуют такой предмет, который при состоянии нашего знания в данное время не допускает строго научной разработки.

Настоящая глава разрослась уже до таких размеров и так много о чем еще мне остается сказать, что мне невозможно подробно разобрать философию Рида, замечательнейшего из чисто умозрительных шотландских философов после Юма и Адама Смита, хотя стоящего далеко ниже их по достоинствам, так как он не имел ни всеобъемлющего взгляда Смита, ни смелости мысли Юма. Он обладал достаточно обширным знанием для того, чтобы иметь всеобъемлющий взгляд, а робость, почти доходившая до нравственной трусости, заставляла его отступать перед теми воззрениями, которые защищал Юм, и притом не столько потому, что считал их ложными, сколько потому собственно, что находил их опасными. Между тем не подлежит спору, что тот не может стать высоко в ряду философов, кто позволит сковывать свою мысль такого рода соображениям. Философ должен стремиться к одной только истине, без всякого уважения к практическим последствиям своих умозрений. Если они истинны, пусть удержатся; если ложны, пусть падут. А приятны ли они или неприятны, утешительны или прискорбны, безвредны или пагубны — это вопрос, касающийся не философов, а практических людей. Всякая новая истина, до сих пор когда-либо высказывавшаяся, на первое время оказывала вредное влияние; она порождала неудобства, нередко даже несчастье, иногда тем, что колебала установленные общественные и религиозные порядки, иногда просто тем, что разрывала издавна установившийся и потому милый строй мысли. Только по прошествии некоторого времени, когда строй жизни приладится к новой истине, начинают преобладать ее благие последствия, и это преобладание затем все возрастает, так что наконец истина дает одни благие плоды. На первое же время всегда бывает вред. И если истина очень велика и очень нова, то и вред от нее бывает очень значителен. Люди встревожены, им страшно; они не могут

вынести внезапного света; всеми овладевает сильное беспокойство, поверхность общества мутится или даже подергивается судорогами; старые интересы, старые верования разрушаются, прежде чем успеют создаться новые. Такие симптомы служат предвестниками переворота; они предшествовали всем великим переменам, через которые проходил мир; являясь в умеренных пределах, они предвещают прогресс; когда же переходят за эти пределы, то грозят анархией. Задача практических людей — умерять эти симптомы, заботиться о том, чтобы открываемые философами истины не были применяемы с безрассудной поспешностью, при которой они могут расшатать весь общественный строй, вместо того чтобы укрепить его. Но дело философа только открывать истину и распространять ее, и это уже достаточный труд для одного человека, как бы ни были велики его способности. Это разделение труда между мыслителями и практическими деятелями ведет к сбережению сил, предохраняет оба класса людей от траты своих дарований. Оно устанавливает различие между наукой, раскрывающей нам начала, и искусством, применяющим эти начала. Оно признает также, что философ и практический деятель имеют каждый свой особый круг действия и что каждый из них полновластен в своей сфере. Вмешательство же которого-либо в круг действия другого влечет за собой вредное смятение. Действуя каждый в своей отдельной сфере, они оба независимы и оба заслуживают уважения. Но как практические деятели никогда не должны допускать, чтобы умозрительные выводы философов, как бы ни были они истинны, применялись к действительной жизни, пока общество до известной степени не созреет для принятия их, так точно, с другой стороны, и философы не должны колебаться, не должны пугаться и останавливаться в своем пути из-за того только, что их ум ведет их к заключениям, подрывающим существующие интересы. Задача философа ясна. Путь его лежит прямо перед ним. Он должен прилагать все старания к раскрытию истины; когда же придет к заключению, не только не должен перед ним отступать ради того, что оно неприятно или кажется опасным, но, напротив, по этим именно причинам должен тем крепче привязываться к нему, должен заключение это при враждебном настроении против него общего мнения отстаивать еще ревностнее, чем стал бы его защищать, когда бы общее мнение было в его пользу; должен разглашать его всюду и во всеуслышание, вовсе не заботясь о том, какие мнения будут им оскорблены и каким интересам оно угрожает; обязан ради этого заключения идти на вражду и пренебрегать презрением в полной уверенности, что если заключение ложно, то оно умрет само собой, если же истинно, то принесет наконец пользу, невзирая на то что он, быть может, и не допускает практического применения в том веке и той стране, где впервые высказывается.

Но Рид, несмотря на свой светлый ум и замечательную способность аргументации, был так чужд истинного философского духа, что любил истину не ради самой истины, а ради ее

непосредственных практических результатов. Он сам рассказывает, что принялся за изучение философии потому только, что был возмущен выводами, к которым пришли философы. Пока умозрительные положения Локка и Беркли не доводились до крайних своих логических последствий, Рид соглашался с ними, и они казались ему справедливыми. Пока они были безвредны и до известной степени правоверны, он не слишком был взыскателен относительно их основательности. Но в руках Юма философия стала смелее и пытливей; она начала подрывать разные мнения, которые установились с давних времен и которых приятно было держаться; она начала доискиваться самого начала вещей и, понуждая людей к сомнению и исследованию, оказала этим огромную услугу делу истины. Но это именно направление и не нравилось Риду. Он видел в этом потрескивании неудобство; он видел в нем опасность и потому пытался доказать, что оно неосновательно. Смешивая с вопросом о научной истине совершенно различный с ним вопрос о практических последствиях, он принял за несомненное, что если для собственного его века непосредственное применение этих последствий было бы вредно, то это значило, что они должны быть ложны. Против глубоких воззрений Юма на причинность он преважно возражает, что применение их должно неминуемо подорвать действие уголовных законов. На рассуждения того же мыслителя касательно метафизического основания теории договоров он возражает, что такие рассуждения спутывают понятия людей и ослабляют в них сознание долга, а потому следует их осуждать, ради их последствий. У Рида главный вопрос всегда заключается не в том, верно ли данное заключение, а в том, что последует в том случае, если оно верно? Он говорит, что о всяком учении должно судить по его плодам, забывая, что одно и то же учение дает совершенно иные плоды в разные века и что последствия известной теории при одном состоянии общества часто бывают диаметрально противоположны последствиям той же теории при другом состоянии общества. Он, таким образом, ставил свой век мерилom для всех будущих веков; он опутывал также философию практическими соображениями, отвлекая мыслителей от преследования истины, составляющего настоящую их область, к заботе и практической пользе, которая вовсе не их дело. Рид постоянно останавливался на вопросе не о том, верно ли выведена та или другая теория, а благоразумно ли принять ее, способствует ли она развитию патриотизма, или великодушия, или дружелюбия³⁸ — одним словом, представляется ли она практически удобной и такова ли, что в нее охотно бы верилось в настоящее время? Иногда он спускался на точку зрения еще низшую, еще менее достойную философа. Восставая, например, против учения, что наши способности вводят нас иногда в заблуждение, — учения, которого, как ему было известно, держались иные люди, несколько не уступающие ему в чистоте намерений и превосходившие его дарованиями, — он не колеблется искать поддержки в предубеждениях

невежественного суеверия и пытается очернить положение, которого не может опровергнуть. Он положительно утверждает, что защитники этого учения оскорбляют Божество, ибо позволяют будто бы себе заподозрить Его во лжи. Ввиду такого вывода, истекающего из этого учения, очевидно, что учение это должно быть отвергнуто без дальнейшего исследования, ибо принятие его должно иметь самое пагубное влияние на наш образ действий и неминуемо ниспровергнет всякую религию, всякие нравственные убеждения и всякое знание.

В 1764 г. Рид издал свое «Исследование о человеческом уме», в котором, равно как и в последующем своем сочинении под названием «Опыты об интеллектуальных способностях человека», он старался уничтожить философию Локка, Беркли и Юма. А так как из них троих Юм был самый смелый, то против его философии преимущественно были направлены удары Рида. Выше я указал на характер этих нападений; но они касались собственно его цели и побуждений, теперь же нам следует взглянуть на его метод, т. е. на тактику, которую он употреблял для ведения своей войны. Он ясно видел, что Юм принимал на веру известные начала и от них дедуктивным порядком умозаключал к фактам, вместо того чтобы умозаключать индуктивно от фактов к началам. Он сильно и, пожалуй, справедливо восстает против этого метода. Он признает, что Юм в логическом отношении заключал непогрешимо верно, так что если допустить его начала, то нельзя не допустить равным образом и его выводов. Но, говорит он, Юм не имел никакого права идти таким путем. Он не имел права принимать на веру начала и умозаключать от них. Познания законов природы можно достигать не путем таких предположений, а только посредством тщательной и терпеливой индукции от фактов. Открытия делаются только с помощью наблюдения и опытов; всякий другой способ может породить одни только теории, пожалуй очень замысловатые и правдоподобные, но ни к чему не годные; ибо теория должна подчиняться фактам, а не факты подводиться под теорию. Умозрительные мыслители могут себе, пожалуй, рассуждать об основных началах и строить на них целые системы. Но дело в том, что не существует согласия относительно того, по чему должно познаваться основное начало; и одно и то же начало один человек признает очевидным и разумеющимся само собой, другой считает требующим доказательства, а третий отвергает вовсе³⁹.

Тут отлично выставлены трудности, которые встречает мыслитель, следующий дедуктивному методу. После этого можно бы ожидать, что Рид собственную философию построит по методу индуктивному; что он не захочет опираться на какие бы то ни было предвзятые основные начала, в чем он так резко упрекал своих противников. На деле, однако, мы видим — и это одно из любопытнейших явлений в истории метафизики, — что Рид, осудив метод Юма, сам следует этому же самому методу. Пока он ратует против философии Юма, дедуктивный метод кажется ему

негодным; когда же сам принимается строить свою систему, то признает его правильным. Некоторые заключения он находит опасными и порицает поборников их за то, что они в своих умозаклчениях исходили от начал, вместо того чтобы исходить от фактов, и утверждали, будто они обладают основными началами истины, тогда как люди совершенно расходятся в том, что именно составляет существенные признаки основного начала. Возражение очень дельное, и на него трудно было отвечать. Между тем, странно сказать, при выводе собственных своих заключений Рид исходит от предвзятых основных начал и пользуется этим приемом в гораздо обширнейших размерах, чем кто-либо из писателей противного лагеря. От этих основных начал ведет он свои умозаклчения; весь строй его умозрения есть строй чисто дедуктивный; и во всех его сочинениях едва отыщется один пример той индуктивной логики, на которую он считал нужным указывать в своих ратованиях с противниками. Трудно было бы придумать более разительный пример особенностей шотландского ума в восемнадцатом веке и той силы, с какой господствовал над ним метод, который можно назвать антибэконовским. Рид был человек с замечательным дарованием, человек безукоризненной честности и искренно убежденный, что для блага общества надлежало ниспровергать господствовавшее в то время философское учение. Выполнению этой задачи посвятил он свою долгую и трудолюбивую жизнь; он видел, что слабой стороной системы противников был ее метод; он указывал на недостатки этого метода и утверждал, может быть ошибочно, но во всяком случае чистосердечно, что такой метод не может привести к истине. При всем этом, однако, таково было давление среды, в которой он жил, и обстоятельства в такой степени обуславливали направление его ума, что в собственных сочинениях он не мог отрешиться от того же способа исследования, который он осуждал в других. Действительно, он не только не избежал его, но был совершенно его рабом. Я намерен привести этому доказательства, потому что независимо от значения, какое имеет это обстоятельство в истории умственного развития Шотландии, оно весьма важно еще как один из тех многочисленных фактов, которые указывают нам, в какой тесной зависимости находится строй нашей мысли от окружающего нас общества; как самые даже энергические действия наши обуславливаются общими причинами, которых мы часто вовсе не знаем и которые только немногие из нас пытаются изучить; наконец, как слабы мы и немощны, когда вздумаем, каждый по одиночке, удержать общечеловеческое стремление, противясь великому движению, вместо того чтобы ему содействовать, и тщетно противопоставляя свои ничтожные желания мощному течению событий, которое не допускает прерыва, а несется своим путем, величественное и грозное, между тем как поколения за поколениями исчезают, поглощаемые одним громадным водоворотом.

Как только Рид, покончив с опровержением философии Юма, принялся за построение собственной своей системы, он тотчас бессознательно подчинился господствующему методу. Тут он утверждает, что всякое умозаключение должно исходить от основных начал и что мы должны, нисколько не помышляя о восхождении к этим началам, прямо принять их и положить в основание всей последующей аргументации⁴⁰. Как скоро они приняты, они становятся для последователя путеводной нитью сквозь лабиринт мысли. Противникам своим Рид не позволял опираться на них, но себе самому присваивал это право, потому что он познавал эти основные начала непосредственным умозерцанием. Кто вздумал бы их отрицать, с тем нечего было и рассуждать. Исследовать их, пытаться их анализировать считал он столько же непозволительным, сколько безрассудным, потому что они принадлежат к существу вещей, а существу вещей нельзя найти другого объяснения, кроме того, что такова воля Божия.

Получая свои основные начала с такой легкостью и тщательно ограждая их запрещением всякой попытки разложить их на простейшие элементы, Рид должен был подвергаться сильному искушению умножать их почти до бесконечности, для того чтобы посредством умозаключения от них создать полную и стройную систему человеческого духа. Этому искушению он поддавался с готовностью, которая должна показаться поистине изумительной, когда припомним, как он за тот же самый образ действия осуждал своих противников. В ряду многочисленных основных начал, которые он считает не только необъясненными и необъяснимыми, являются вера в личное тождество, вера во внешний мир, вера в единообразие природы, вера в существование жизни в других, вера в свидетельство, также вера в способность распознавать истину от заблуждения и даже в соотношение лица и голоса с мыслью. О вере вообще он утверждает, что она имеет много основных начал, и сожалеет о том, что иные мыслители опрометчиво покушались объяснять их. Эти вещи суть тайны, и их не следует пытаться. Мы имеем еще и другие способности, которые, как первообразные и неразложимые, не допускают дедуктивного исследования и которых невозможно ни разложить на простейшие элементы, ни подвести под более общие законы. К этому разряду Рид причисляет память, восприятие, потребность самодобрения и, наконец, не только инстинкт, но даже и привычку. Многие из наших представлений, например представления о пространстве и времени, он считает также за прирожденные понятия; есть еще, по его мнению, другие основные начала, которые не исчислены, но которые могут быть принимаемы за исход для умозаключения. Все они, стало быть, составляют первые послышки умозаключения; так как им не найдено еще оснований, то они должны быть начала простые, а так как они еще не объяснены, то они, разумеется, и необъяснимы.

Все это в значительной мере произвольно. Чтобы отдать полную справедливость Риду, должно, однако, сказать, что, при-

няв эти основные начала, он обнаруживает замечательное искусство в своих умозаклечениях от них и что, опровергая философию своего времени, он подвергал ее критическому разбору, принесшему огромную пользу. По своему светлому взгляду, по своей диалектической ловкости, силе и остроте своего мужественного слога он был страшным противником, и все его возражения должны были приниматься с уважением. Мне, однако, кажется, что, несмотря на попытки, сначала г. Кузена, а потом сэра Уильяма Гамильтона, поддержать его упадающую славу, философия его как самостоятельная система не выдерживает строгой критики и не будет долговечна. В этом я, впрочем, могу ошибаться; но совершенно положительно можно сказать, что верх нелепости полагать, как полагали некоторые писатели, будто он принял индуктивный, или, как его обыкновенно называют, бэконовский, метод. Бэкон, наверное, усмехнулся бы такому последователю, который принимает на веру всякого рода первые посылки, с величайшей неразборчивостью предполагает разные общие начала как нечто само собой разумеющееся и все свое умение бережет на процесс умозаклечения от положений, в истине которых он не имеет никаких доказательств, кроме того, что на поверхностный его взгляд или, как он выражается, его здравому смыслу они показались истинами⁴¹. Это сознательное уклонение от анализа предвзятых понятий подходит под то, что Бэкон называл *anticipatio naturae* и что он осуждал как величайшее препятствие знанию по причине порождаемой им в человеке пагубной склонности полагаться на первые, непроверенные, заключения ума. Поэтому, когда мы видим, что Рид превозносит Бэконову философию как образец, которым должны руководствоваться все исследователи, и когда, вдобавок, Дугальд Стюарт, мыслитель, правда, несколько поверхностный, но в то же время осмотнительный писатель, уверяет нас, что Рид следовал этой философии, это может служить нам новым доказательством того, как трудно было шотландцам минувшего столетия усвоить себе истинный дух индуктивной логики, если систему, явно идущую наперекор ее правилам, они могли считать строго построенной по ним.

От философии духа перейду теперь к естествознанию, в котором именно, более чем где-либо, можно бы ожидать преобладания индуктивного метода и даже господства его над противоположным, дедуктивным методом. Насколько это ожидание оправдывается на деле, я постараюсь уяснить рассмотрением важнейших открытий, сделанных шотландцами в области органического и неорганического мира. А так как я имею целью показать только склад и направление шотландского ума, то я оставляю в стороне все подробности, касающиеся практических последствий этих открытий, и ограничусь изложением одной чисто научной их стороны, так чтобы читатель мог видеть, что именно чрез них прибавилось к нашему знанию законов природы и каким путем были сделаны эти прибавления. Я объясню только характер и ход каждого открытия, и больше ничего. Ни здесь, ни

в какой-либо другой части настоящего введения я не намерен входить в рассмотрение вопроса о практической пользе или исследовать связь между открытиями науки и их применением к житейским задачам. Это я предполагаю сделать в самом сочинении, где надеюсь объяснить многие социальные явления, из которых иные почитаются изолированными, чтобы не сказать не имеющими никакого разумного основания. Здесь единственная моя цель — выяснить те широкие начала, которые, отмечая эпохи в развитии мысли, лежат в основании всего здания общества и которые необходимо ясно уразуметь для того, чтобы история не оставалась навсегда простым эмпирическим сборником фактов, которых научная основа не определена, а потому и истинный порядок и связь должны быть неизвестны.

Между предметами знания, относящимися к области неорганического мира, видное место занимают законы теплоты. С одной стороны, они соприкасаются с геологией, ибо находятся в самой тесной и непременной связи со всеми учениями об изменениях и настоящем состоянии земной коры. С другой стороны, они соприкасаются с важнейшими вопросами о жизни как животной, так и растительной; они имеют связь с теорией видов и пород; имеют влияние на изменение почвы, пищи и организации; наконец, в них же должны мы искать главнейшей помощи для разрешения тех великих задач биологии, на которые в последние годы преимущественно было обращено внимание самых смелых и передовых исследователей.

Настоящие познания наши в законах теплоты можно свести к пяти главным отделам. Эти отделы суть скрытая теплота, удельная теплота, теплопроводность, лучистая теплота и, наконец, теория волнообразного распространения теплоты. Под влиянием этой последней теории мы мало-помалу бросаем свои старые материальные понятия и приучаемся видеть в теплоте не что иное, как одну из тех форм силы, которые все, как то: свет, электричество, магнетизм, движение, тяготение, химическое сродство, беспрестанно переходят одна в другую, но которых совокупная сумма не может ни увеличиться, ни уменьшиться⁴². Как ни велика научная важность высокого понятия, ставящего неуничтожаемость силы рядом с неуничтожаемостью материи, но оно имеет еще гораздо более высокое значение. Научая нас, что ничто не погибает, а, напротив, малейшее движение малейшего тела в самой отдаленной области порождает последствия, которые существуют нескончаемо, развиваются по всему пространству, могут видоизменяться, но не могут никогда уничтожиться, оно вселяет в нас такую возвышенную идею о правильном и непреложном ходе физических явлений, что должно влиять и на другие, высшие отрасли исследования. Все наши мысли находятся в такой тесной связи, так переплетаются между собой, что понятие закона и необходимого соотношения явлений, внесенное в одну область мышления, не может не затронуть и других, смежных с нею областей. Поэтому, как скоро с прежним

учением о неунничтожаемости материи будет прочно соединено новейшее учение о неунничтожаемости силы, мы можем быть уверены, что человеческий ум на этом не остановится, но что он применит к изучению человека заключения, подобные тем, которые уже приняты в изучении природы. Убедившись однажды, что состояние материальной Вселенной в каждый данный момент есть не что иное, как результат всего, что совершилось во все предшествовавшие моменты, что самое ничтожное частное уклонение нарушило бы весь строй и повело бы неизбежно к хаосу, и что отделить от общей массы даже малейшую частицу значило бы раскатать целое здание и повергнуть его в одну общую развалину; видя, с какой дивной точностью пригнаны и сплочены между собой все части, и в самой красоте и совершенстве целого строя усматривая лучшее доказательство, что он никогда не был нарушаем Божественным Строителем, Который вызвал его к бытию и всеведению Которого и план, и осуществление плана были присущи с такой ясностью и неуклонной точностью, что ни одного камня не двинулось в этом величественном и стройном здании с тех пор, как положено ему основание; поднимаясь на такую высоту мысли, мы, без сомнения, приближаемся к еще более высокой точке, на которую предоставлено стать нашему потомству и с которой воззрение его так уяснится, что, наверное, приведет к окончательному отвержению старых и противных разуму понятий о сверхъестественном вмешательстве во все земные дела,— понятий, изобретенных суеверием, завещаемых от одного поколения другому невежеством и существованием своим в настоящее время доказывающих малое еще развитие нашего знания, скудность наших умственных средств и застарелость предрассудков, в которые мы до сих пор погружены.

Весьма естественно поэтому, что учение о неунничтожаемости как материи, так и силы есть в строгом смысле создание настоящего века, хотя и встречаются кое-какие намеки на него у некоторых прежних мыслителей, которые, однако, все шли ощупью и без определенной общей цели. Ни один из прежних веков не был достаточно смел для того, чтобы обнять такое широкое воззрение в его целостности, и ни один из прежних ученых, даже если б хотел принять такое воззрение, не был достаточно знаком с законами природы, для того чтобы отстоять его. Так, в настоящем случае очевидно, что, пока теплота почиталась за материю, не могла она быть постигнута как сила, а следовательно, не мог никто прийти к теории перехода ее в другие силы, хотя есть места в сочинениях Бэкона, доказывающие, что он думал об отождествлении ее с движением. Необходимо было сперва понять теплоту в отвлечении как свойство или состояние материи, а это было невозможно до тех пор, пока не были более уяснены ее непосредственные условия, т. е. пока не были с помощью математики раскрыты ее ближайшие законы. Между тем, за исключением одного только Ньютона, которого попытки по этому предмету,

при всей громадности его способностей, были неудовлетворительны и который притом решительно склонялся к материальной теории, никто не пытался разгадать математические законы теплоты до самой второй половины восемнадцатого века, когда Ламберт и Блэк принялись за дело, которое потом продолжали Прево и Фурье. Человеческий ум, довольно медленно справлявшийся с предварительными работами, с передовыми укреплениями исследования, не был готов к несравненно более трудной задаче возвести самую теплоту в идею,—в такое отвлечение, чтобы от нее отпали все материальные атрибуты и оставалось только одно умозрительное представление невещественной силы.

Из этих соображений, без которых читатель не был бы в состоянии оценить важность результатов, достигнутых в Шотландии, можно видеть, до какой степени было необходимо, чтобы законы движения теплоты изучались, прежде чем стало исследоваться ее существо и прежде чем стало возможно так сильно напасть на теорию истечения, чтобы могло возникнуть великое учение о неуничтожаемости силы, которому, я нисколько не сомневаюсь в том, суждено произвести переворот в целом строе нашего мышления и придать будущим умозрениям более широкую основу, чем имели прежние. Что касается движения теплоты, то мы обязаны законами теплопроводности и лучеиспускания теплоты Франции и Женеве; законы же удельной теплоты и скрытого теплорода открыты в Шотландии. Учение об удельной теплоте, хотя любопытное, не имеет такой важности, как прочие части этого обширного предмета; но учение о скрытой теплоте чрезвычайно любопытно не только само по себе, но и ради тех аналогий с разными другими отраслями естествознания, на которые она наводит.

Что называется скрытой теплотой, это видно из следующего. Когда твердое тело вследствие приложения к нему теплоты переходит в жидкое состояние, например лед превращается в воду, продолжительность времени, потребного на это превращение, не может объясниться ни одной из теорий, предлагавшихся до половины восемнадцатого века. Невозможно было также объяснить, каким образом температура льда никогда не поднимается выше 0° до тех пор, пока он не растает окончательно, какая бы ни была степень теплоты окружающих предметов. Не представлялось никакого средства к разъяснению этих обстоятельств. И хотя явления эти, повторяясь ежедневно, не удивляли уже людей практических, успевших присмотреться к ним, тем не менее они поражали мыслителей, привыкших анализировать всякое явление и доискиваться причин в простых, обыденных вещах.

В самом начале второй половины восемнадцатого столетия обратил внимание на этот предмет Блэк, бывший в то время профессором в университете Глазго. Он предложил теорию, которая по своей новизне и оригинальности вызвала тогда сильные нападки, но которая теперь принята всеми. С редкой смелостью и глубиной мысли пришел он к заключению, что, когда

какое-либо тело утрачивает часть своей плотности, как, например, когда лед превращается в воду или вода в пар, тело это принимает в себя известное количество теплоты, которого наши чувства не могут открыть даже при помощи самого чуткого термометра, потому что эта теплота поглощается, ускользает от нас, не производит осязаемого действия на вещественный мир, делается, так сказать, скрытым свойством. Поэтому Блэк и назвал ее скрытой теплотой на том основании, что хотя мы и сознаем мысленно ее присутствие, однако не можем уследить ее как факт. Тело, собственно говоря, стало теплее, а между тем температура его не поднялась. При обратном процессе, т. е. как скоро пар сгущается в воду или вода превращается в лед, теплота возвращается в область наших чувств, перестает быть скрытой, сообщается окружающим предметам. При этом не было произведено новой теплоты; правда, что теплота явилась и исчезла для наших внешних чувств, но это был только обман чувств, потому что в действительности не последовало ни увеличения, ни уменьшения количества теплоты⁴³. Что эта замечательная теория проложила путь учению о неуничтожаемости силы, очевидно каждому, кто размышлял о том, каким образом в истории человеческого ума рождаются и развиваются научные понятия. Процесс их развития так медлен, что никогда ни одно открытие не совершалось иначе как совокупным трудом нескольких последовательных поколений. Поэтому при суждении о том, что именно совершенно каждым отдельным человеком, мы должны судить о нем не по ошибкам, которых он не уберется, а по истинам, которые он предложил. Большая часть его ошибок принадлежит собственно не ему, он их наследует от своих предшественников, и если он успеет устранить некоторые из них, мы должны быть ему благодарны за это, а не винить его за то, что он не устранил их всех. Блэк, конечно, впал в ошибку в том отношении, что смотрел на теплоту как на материю, подчиненную законам химического соединения. Но это была только гипотеза, завещанная ему предшественниками, которую современное ему состояние умственного развития принудило его вплести в свою теорию. Он наследовал гипотезу и не мог освободиться от этого неудобного достояния. Действительная услуга, оказанная им, заключается в том, что, невзирая на помянутую гипотезу, от которой он не мог отделаться до самого конца, он более кого-либо из своих современников содействовал зарождению великой мысли идеализировать теплоту и, таким образом, дал возможность своим преемникам включить ее в разряд невещественных и сверхчувственных сил. Как скоро она была отнесена в этот разряд, число сил было завершено, и сравнительно легче стало применить ко всей совокупности силы то же понятие неуничтожаемости, которое до того времени было применено ко всей совокупности материи. Но этого едва ли было возможно достигнуть, пока теплота была поставлена, так сказать, на половине дороги между силой и материей и давала различным чувствам противополож-

ные результаты: была доступна чувству осязания и незрима глазу. Требовалось поставить ее совершенно вне области наших внешних чувств и признать, что хотя мы и ощущаем ее действие, однако сознаем ее существование только мыслью. Блэк сделал огромный шаг к этому. Может быть и не сознавая отдаленнейших результатов своих трудов, он подрывал то самое учение о материальности теплоты, которое он, по-видимому, поддерживал. Ибо, защищая скрытую теплоту, он учил, что движения теплоты беспрестанно обманывают не только некоторые из наших чувств, но и все наши чувства; и что в то самое время, когда ощущение говорит нам, что теплота пропала, рассудок заставляет нас убедиться, что она не пропала. Тут являются кажущаяся уничижаемость и действительная неуничтожаемость. Утверждать, что тело приняло в себя теплоту, когда его температура не возвысилась, значило возложить на рассудок исправление впечатлений осязания, отвергать показания последнего. Это был смелый и прекрасный парадокс, для создания которого требовались как проницательный ум, так и мужество и принятием которого отмечается эпоха в развитии человеческого ума, потому что оно составляет огромный шаг к идеализированию материи в силу. Некоторые говорили, правда, о невидимой материи; но тут было явное противоречие в сочетании слов, которое никогда не будет допущено, пока не изменятся формы речи. Ничто не может быть невидимо, кроме силы, духа и Верховной Причины всего существующего. Мы должны поэтому признать за Блэком великую заслугу, что он первый в исследовании теплоты отверг авторитет внешних чувств и этим положил основание всему, что совершено после него. Независимо от отношения его открытия к учению о неуничтожаемости силы оно находится также в связи с одним из самых блестящих результатов, добытых уже настоящим поколением, в знании неорганического мира, именно с дознанием тождества света и теплоты. Нашим внешним чувствам свет и теплота являются в некоторых, немногих отношениях несходными. Свет, например, действует на зрение, но не действует на осязание; теплота же действует на осязание, но при обыкновенных условиях не действует на зрение. Но самое главное различие между ними есть то, что теплота обладает свойством температуры, которым не обладает свет; и свойство это так характеристично, что, пока наше понимание не подкреплено наукой, мы не в состоянии постичь теплоту отдельно от температуры и вынуждены смешивать ту и другую. Но с той минуты, как люди стали принимать метод, которому следовал Блэк, и решились смотреть на теплоту как на явление сверхчувственное, они ступили на путь, который должен был привести их к открытию, что свет и теплота суть только различные проявления одной и той же силы. Так как они оставили в стороне действие теплоты на человека или на какую бы то ни было часть творения, способную ощущать ее температуру и, следовательно, даваться ей в обман, то им ничего более не оставалось, как только изучать ее действие на мир

неодушевленный. Тогда все стало ясно; путь открытий был расчищен, и аналогии между светом и теплотой, которые прежде едва подозревала самая смелая фантазия, были поставлены вне всякого сомнения. К отражению теплоты, которое было уже известно и прежде, теперь были прибавлены ее преломление и двойное преломление, поляризация и деполяризация и круговая поляризация, интерференция ее лучей и их задержка; и—что всего замечательнее—знание наше по этим вопросам развивалось так быстро, что еще до истечения 1836 г. вся цепь доказательств была закончена эмпирическими исследованиями Форбса и Меллони, которые сами при этом почти не догадывались, что все, что они делали, было подготовлено еще до рождения их; что они были только слугами и последователями челоуека, указавшего путь, по которому они шли, и что опыты их, при всей их оригинальности и всем их значении, были только прямым практическим последствием одной из тех дивных идей, которыми Шотландия одарила мир и воспоминание о которых почти способно закупить наше суждение и заставить нас забыть, что, в то время как передовые умы нации были заняты такими возвышенными предметами, сама нация оставалась им чуждой, относилась к этим людям с холодным и презрительным равнодушием, будучи погружена в то мертвящее суеверие, которое глухо ко всему разумному и не внемлет голосу чародея, как бы ни были мудры его чары.

Только рассмотрев таким образом происхождение и сродство научных идей, можем мы уразуметь, как многим мы действительно обязаны сделанному Блэком открытию скрытой теплоты. Относительно метода, которым он дошел до этого открытия, нечего много говорить, потому что каждый, изучавший Бэкову философию, тотчас увидит, что открытие было такого рода, к которому не приурочивается ни одно из правил этой системы. Так как скрытая теплота не подлежит нашим внешним чувствам, то и нельзя было подвести ее под законы философской системы, которая основания всякой истины ищет исключительно в наблюдении и непосредственном опыте. Предмет исследования был сверхчувственный, следовательно, и не мог быть подвергнут тому, что Бэкон называл перекрестными опытами и выделением сущности явлений. Истина заключалась в самой идее; поэтому опыты могли только уяснить ее, вывести наружу и таким образом дать людям возможность ее уловить, но не могли доказать ее. Все это очевидно с первого взгляда на открытие и подтверждается притом прямым свидетельством доктора Томсона, который знал Блэка лично и был даже одним из самых замечательных его учеников. Этот неопровержимый свидетель уверяет нас, что Блэк принялся за умозрительное изучение теплоты около 1759 г., что плодом его размышлений была теория скрытой теплоты, что в 1761 г. он уже публично преподавал эту теорию, но что опыты, требовавшиеся для убеждения мира в ее истине, были произведены не ранее 1746 г. При этом едва ли

нужно мне присовокуплять, что удовлетворяться таким образом теорией за три года до произведения опытов значило идти наперекор всем правилам индуктивной философии, а тем более не только удовлетворяться ею, но даже публично преподавать ее как новую и неоспоримую истину, новым способом объясняющую весь строй вещественного мира.

Ум Блэка принадлежал к тем умам, которые в XVIII столетии в Шотландии почти исключительно преобладали, в Англии же едва ли вовсе встречались и которые, за неимением лучшего слова, мы вынуждены назвать умами дедуктивными, хотя и допускаем вполне, что и самые дедуктивные умы имеют значительную долю индуктивности, так как без индукции нельзя, собственно, вести даже обыкновенные житейские дела. Но с точки зрения научной классификации мы можем сказать, что какой-нибудь мыслитель или какой-нибудь век дедуктивен, когда его любимым процессом мышления оказывается умозаключение от основных начал, а не к этим началам и когда в нем обнаруживается стремление придавать слишком мало цены прямому опыту. Что так именно и было с знаменитым виновником открытия скрытой теплоты, это мы видели как из сущности самого открытия, так и из решительного свидетельства его ученика и друга. Дальнейшее же подтверждение можно найти в том обстоятельстве, что, раз заявив о своей великой идее, он, вместо того чтобы начать длинный ряд тщательных опытов, посредством которых можно было бы поверить эту мысль в ее различных разветвлениях, предпочел вести умозаключение от нее по общим правилам диалектики, чем собственно довел ее до крайних логических последствий, а не перенес в ту область, где бы она могла быть подтверждена или опровергнута свидетельством чувств. Следуя этому процессу мышления, он пришел к некоторым дивным умозрениям, которые так далеки от опыта, что даже теперь, со всеми добавочными средствами нашего знания, мы все-таки не можем сказать, верны они или неверны. В этом роде были его воззрения и на причины сохранения человеческой породы, существованию которой, как он полагал, угрожала бы опасность, если б не то свойство, какое имеет теплота, оставаться скрытой, незаметной. Так, например, когда за продолжительной и суровой зимой наступает внезапно тепло, то казалось бы естественным, чтобы снег и лед растаяли с соответствующей быстротой; а если бы это случилось, то результатом было бы такое страшное наводнение, что человек едва ли мог бы спастись от его опустошительного действия. Если бы даже он сам и спасся, то труды его, т. е. материальные результаты его цивилизации, во всяком случае погибли бы. От этой катастрофы спасает его одна только скрываемость теплоты. Благодаря этому свойству теплоты лед и снег начинают непосредственно таять только на своей поверхности; теплота проникает в их строение, где большая часть ее остается в бездействии и оттого в значительной мере утрачивает силу, чрез что и замедляется процесс таяния. Эта страшная сила

становится вялой и приходит в усыпление. Она ослабевает при самом начале своего действия иступает как бы в особый склад, откуда выделяется потом постепенно и совершенно безопасно для человеческой породы.

Таким образом в течение лета накапливается обширный запас теплоты и сохраняется в воде, где теплота эта не может принести никакого вреда человеку, так как чувства его не в состоянии воспринимать ее впечатление. Так она остается погребенной до тех пор, пока в порядке времен года не наступит снова зима и вода не обратится в лед. Во время процесса замерзания это сокровище теплоты, остававшееся затаенным в течение всего лета, снова выходит наружу; она перестает быть скрытой и теперь, впервые действовав на чувства человека, умеряет для него суровость зимы. Чем скорее замерзает вода, тем скорее освобождается из нее теплота; так что в силу этого великого закона природы оказывается, что холод порождает тепло, и суровость всякого времени года хотя и не может быть совершенно устранена, но смягчается в той самой мере, в какой возрастает угрожающая от нее опасность.

Опять, с другой стороны, так как теплота становится скрытой и ускользает от наших чувств не только когда лед переходит в воду, но и когда вода обращается в пары, то мы находим в этом последнем обстоятельстве одну из причин того, почему человек и другие животные могут жить в тропиках, которые иначе оставались бы незаселенными. Люди и животные постоянно страдают от накапливающейся в их телах теплоты, которой одной уже было бы достаточно, чтобы разрушить их. Но теплота эта возбуждает жажду, и они вследствие того поглощают в больших количествах жидкость, значительная часть которой выпотеваает сквозь поры кожи в виде испарений. А так как, согласно с теорией скрытой теплоты, испарения образуются не иначе как с огромным содержанием в них теплоты, то они поглощают в себя и уносят из тела то именно, что, будучи оставлено в нем, имело бы пагубное действие. К этому мы должны прибавить, что в тропиках испарение воды происходит по необходимости быстро и образующиеся от этого пары становятся новым теплом, новым орудием освобождения теплоты из земли и предупреждения вредного действия ее на отправления жизни.

Путем этих и многих других доводов, которые все имели такой существенно умозрительный характер и относились к таким сокровенным отправлениям природы, что даже и теперь мы не имеем достаточного основания ни безусловно принять, ни положительно отвергнуть их, Блэк пришел к тому великому учению о неуничтожаемости теплоты, которое вместе с теорией неуничтожаемости силы имеет, как я уже заметил, еще большее нравственное и социальное значение, чем научную важность. Хотя данные, которые он имел в виду, гораздо скуднее тех, какими мы теперь обладаем, тем не менее, вооруженный скорее зоркостью своего мощного ума, чем числом и точностью собран-

ных фактов, он до такой степени проникся убеждением в постоянстве всего существующего в природе, что применил эту мысль не только к тонким явлениям теплоты, но даже — что было гораздо труднее сделать — к тем случаям, в которых теплота до такой степени ускользает от наших чувств, что человек не может познать ее иначе как с помощью воображения. Согласно с его взглядом, теплота проходит через бесчисленное множество изменений, в течение которых она кажется утратившейся; изменений этих никакой глаз не заметит, никакое осязание не ощутит, никакой прибор не измерит. Но среди всех этих перемен она все-таки остается неприкосновенной. Ничто не убавится и ничто не прибавится в ней. В одном из тех дивных мест в его лекциях, которые, как ни дурно они нам переданы, носят все-таки отпечаток его возвышенного гения, Блэк, объяснив слушателям, что произошло бы, по всей вероятности, если бы уменьшился общий итог теплоты, существующей в мире, переходит затем к умозрениям на тот случай, когда бы итог этот увеличился. Если б какая-либо сила была в состоянии хоть что-нибудь прибавить к этой теплоте, то она разом вышла бы из своих пределов; равновесие было бы нарушено, и все здание природы распалось бы на части. Зло это так быстро возрастало бы и свирепствовало бы с такой сосредоточенной силой, что ничто не могло бы остановить его опустошительное действие. Теплота должна идти все далее и далее, пока не поглотит и не переселит все другие начала. Так как она все истребляет на пути своем, не зная ни преград, ни сопротивления, то животные должны гибнуть, растения — исчезать, воды — обращаться в пар, а твердая земля — расплавляться, пока, наконец, все это дивное здание природы, расслабленное и расшатанное, не рухнет и не возвратится в то состояние хаоса, из которого оно первоначально возникло.

Эти, как и многие другие, из умозрений этого великого мыслителя не особенно понравятся тем чисто индуктивным философам, которые не только думают — пожалуй, справедливо, что все наше знание первоначально зиждется на фактах, но и утверждают — мнение, по-моему, весьма опасное, — что всякому умножению знания должно предшествовать умножение фактов. Таким людям покажется, что лучше бы Блэк занялся деланием новых наблюдений или придумыванием новых опытов, чем давать разыгрываться своему воображению в диких, ни к чему не ведущих мечтаниях. Они найдут, что такие полеты фантазии, пожалуй, пристойны поэту, но что они не достойны той строгой точности и той внимательности к фактам, которые должны быть отличительной чертой философа. В Англии, в особенности между исследователями природы, явно преобладает решимость отделять философию от поэзии и смотреть на них как на предметы не только различные, но и враждебные друг другу. Между этим классом мыслителей, усердие и дарования которых выше всякой похвалы и которым мы почти безгранично обязаны, — существует, конечно, в весьма сильной степени убеждение, что в их роде

занятий воображение чрезвычайно опасно, так как оно приводит к умозрениям, основания которых еще не упрочены, и порождает желание слишком торопливо заглядывать в даль, прежде чем изведано промежуточное пространство. Что воображение имеет такого рода стремление — это бесспорно. Но те, которые восстают против него за это и потому хотели бы отделить поэзию от философии, смотрят, мне кажется, слишком узким взглядом на отправления человеческого ума и на то, каким образом достигается истина. Есть в поэзии известная божественная, пророческая сила, известное ясновидение относительно сущности и природы вещей, которое, если его должным образом употребить в дело, сделало бы из нее не врага, а союзника науки. Поэт рассматривает природу со стороны душевных движений, а муж науки — со стороны разума. Но душевные движения составляют такую же часть нашей природы, как и разум; они одинаково истинны, одинаково могут быть правы. Хотя эти воззрения различны, но они не произвольны. Они повинуются постоянным законам, идут правильным однообразным путем, сохраняют известную последовательность, имеют свою логику, свой метод для вывода заключений. Итак, поэзия есть часть философии просто потому, что душевные движения составляют часть нашей духовной природы. Если муж науки пренебрегает их внушениями, то тем хуже для него. Он располагает только половиной необходимого оружия; арсенал его неполон. Он может, конечно, одерживать победы, потому что его природная сила может вознаграждать недостатки его вооружения. Но он имел бы более полный и скорый успех, если бы он был всем достаточно снабжен и приготовлен к битве. И я не могу не видеть один из худших умственных признаков нашей великой страны в том, что я позволю себе назвать неполным воспитанием естествоиспытателей, проявляющимся как в их сочинениях, так и в процессе их мышления. Это тем более серьезный недостаток, что они, взятые как целая корпорация, образуют самый важный класс в Англии, — посмотрим ли мы на их дарования, или на оказанные ими услуги, или, наконец, на то влияние, которое они имеют и, по всей вероятности, будут и всегда иметь на преуспеяние общества. Нельзя, однако, скрыть, что они обнаруживают слишком несвойственное уважение к опытам, более чем должную любовь к мелким подробностям и склонность преувеличивать заслуги изобретателей новых приборов и людей, открывающих новые, хотя часто ничего не значащие факты. Предшественники их в XVII столетии, смелее прибегая к гипотезам и чаще давая волю своему воображению, конечно, сделали более, по тогдашнему состоянию знания, чем могли сделать наши современники, располагающие более совершенными вспомогательными средствами. Дивные обобщения, сделанные Ньютоном и Гарвеем, никогда не могли бы быть довершены в век, погруженный в один неизменный круг наблюдений и опытов. Мы находимся в таком положении, что у нас факты опередили знание и затрудняют теперь его движение

вперед. Издания наших ученых учреждений и наших ученых писателей переполнены бесчисленными мелкими подробностями, которые только спутывают суждение и которых никакая память не в силах удержать в себе. Напрасно просим мы, чтобы их обобщили и привели в порядок. Вместо того куча все продолжает расти. Нам нужны идеи, а нам дают все более и более фактов. Мы постоянно мыслим о том, что делает природа, но редко узнаем о том, что мыслит человек. Благодаря неутомимой деятельности нынешнего и прошедшего столетий мы обладаем теперь громадной бессвязной массой наблюдений, которые были накоплены с большой заботливостью, но останутся совершенно бесполезными до тех пор, пока не будут связаны какой-нибудь господствующей идеей. Лучшим средством для извлечения из них пользы было бы дать более простора воображению и совместить дух поэзии с духом науки. Этим путем наши философы удвоили бы свои средства, вместо того чтобы действовать, как в настоящее время, под влиянием этого нравственного увечья, только одной половиной своего существа. Они боятся воображения вследствие его склонности слишком поспешно строить теории. Но, конечно, все наши способности необходимы в деле преследования истины, и нет оправдания нашему недоверию к той или другой части духовной природы человека. И я почти не сомневаюсь, что одна из причин, по которым мы в Англии сделали такие дивные открытия в течение XVII столетия, заключалась в том, что столетие это было также великим временем английской поэзии. Два самые мощные ума, каких произвела Англия, были Шекспир и Ньютон; и что Шекспир предшествовал Ньютону, это не было, я уверен в том, обстоятельством случайным, безразличным. Шекспир и поэты сеяли семена, а Ньютон и философы собирали жатву. Оставив в стороне старые схоластические и теологические стремления, они обратили внимание на природу и сделались, таким образом, истинными основателями естествознания. Они сделали еще более: они первые привили английскому уму смелые и возвышенные соображения. Они научили людей своего поколения стремиться к невидимому. Они научили их пылать любовью к идеальному и возвышаться над видимым миром чувственности. Таким образом, возбуждая душевные движения, они открывали один из путей, ведущих к истине. Сообщенное ими направление пережило их время и, как всякое великое движение, отразилось на всех областях мысли. Но теперь это направление исчезло и, если я не очень ошибаюсь, естественные науки страдают в настоящее время от его отсутствия. С XVII столетия мы не имели ни одного поэта высшего разряда, хотя Шелли, если бы он выжил, сделался бы таким поэтом. Он имел известную долю той пылающей страсти, того священного огня, который воспламеняет душу, как бы прямо нисходя с алтаря богов. Но он умер во цвете лет, на самой заре своего блестящего гения. Если мы исключим незрелые, но все-таки дивные попытки этого юного поэта, то мы решительно можем сказать, что в течение почти двухсот лет

Англия не произвела по части поэзии ничего такого, что имело бы те несомненные признаки вдохновения, которые мы находим в Спенсере, в Шекспире, в Мильтоне. В результате оказывается, что мы, которые отделены таким широким промежутком времени от этих великих людей, питавших воображение наших предков, и которые не можем вполне вникнуть в чувства поэтов, писавших в то время, когда почти все убеждения, а следовательно, и почти все виды душевных движений были совершенно не то, что теперь,—мы, по всей вероятности, не можем сочувствовать тем великим произведениям в такой полной мере, как могли сочувствовать их современники. Дивная английская поэзия шестнадцатого и семнадцатого столетий читается теперь более чем когда-либо, но она не сообщает особого оттенка нашим мыслям, не имеет того образовательного действия на наши умы, какое имела на умы наших предков. Между нами и ими находится пропасть, за которую мы не можем вполне перенестись. Мы так удалены от того круга мыслей, среди которого сложились эти поэмы, что они не блистают перед нами той действительностью, той ясностью цели, какую они представляли бы нам, если б мы жили в то время, когда они были написаны. Вся их обстановка странна и принадлежит другому времени. Не только их наречие и одеяние, но даже их строение и их самые заветные мысли,—все говорит о днях минувших, которых мы не можем вполне усвоить себе. Нет никакого сомнения, что люди с самым высшим образованием приобретают от литературы прошедшего известного рода полировку, заключающуюся иногда в развитии большей утонченности вкуса, а иногда и в расширении круга идей; но настоящая образованность великого народа, та образованность, которой особенно крепко каждое поколение, заключается именно в том, что оно приобретает от поколения, непосредственно предшествующего. Хотя часто бессознательно, но мы строим почти все наши соображения на основаниях, признанных теми, кто прямо предшествовал нам. Самые близкие отношения наши — не к праотцам, а к отцам. С ними связаны мы неподдельным сродством, которое, возникая само собою, не требует с нашей стороны ни малейшего усилия и от которого мы не властны даже отрешиться. Мы наследуем их понятия и изменяем их потом точно так же, как они изменяли понятия своих предшественников. С каждым последовательным изменением кое-что утрачивается и кое-что прибавляется, пока наконец не изгладится совершенно первоначальный тип. Поэтому-то идеи, господствовавшие несколько поколений тому назад, имеют к нам почти такое же отношение, как и идеи, сохранившиеся в иностранной литературе. В обоих случаях такие идеи могут послужить украшению нашего знания, но никогда не сроднятся в такой совершенной степени с нашим умом, чтобы составлять самое знание. Усвоение нами этих идей не полно, потому что наше сочувствие к ним неполно. У нас теперь нет великих поэтов, и наша бедность в этом отношении не вознаграждается тем фактом, что у нас они были

когда-то и что мы можем читать и действительно читаем их сочинения. Движение прекратилось, очарование прервано, связующее звено хотя не разорвано, но значительно ослаблено. Вот почему наш век, как бы он ни был велик и как бы он ни превосходил во всех почти отношениях любой из веков, какие видывал до сих пор свет, имеет,—несмотря на широко преобладающие в нем благородные чувства, на беспримерную терпимость, любовь к свободе и щедрую, почти расточительную благотворительность,—какой-то материальный, бедный воображением и лишенный героизма характер, который не раз заставлял наблюдателя трепетать за будущность. Насколько я могу понять настоящее состояние наше, я не разделяю этих опасений; я уверен, что все хорошее, уже приобретенное нами, без всякого сравнения выше того, чего мы лишились. Но что мы лишились чего-то, это бесспорно. Мы лишились в значительной мере той деятельности воображения, которая хотя часто не приводит к добру в практической жизни, но в жизни умозрительной составляет одно из важнейших качеств, так как оно и наводит на мысль, и имеет творческую силу. Даже и с практической точки зрения мы должны бы дорожить этой способностью, потому что от нее главнейшим образом зависит обмен чувств. Тем не менее она приходит в упадок, и в то же самое время развивающаяся утонченность общества приучает нас все более и более подавлять наши душевные движения, чтобы они не сделались неприятными для других. А так как проявления душевных движений и составляют главный предмет изучения для поэта, то мы видим в этом обстоятельстве новую причину того, почему трудно соперничать с великой корпорацией поэтов, которых имели наши предки. Итак, для естествоиспытателей вдвойне необходимо развивать в себе воображение. Это обязанность, налагаемая на них самими их занятиями, которые должны сделаться богаче результатами и надежнее вследствие такого расширения круга вспомогательных средств. Это также обязанность их по отношению к целому обществу, ибо они, которых умственное влияние уже сильнее, чем влияние какого-либо другого класса, и авторитет которых видимо возрастает, могли бы иметь достаточно силы, чтобы исправить один из самых серьезных недостатков нынешнего века и вознаградить отчасти нашу неспособность произвести такую блестящую изящную литературу, как та, которую создали наши предки и в которой, если могу так выразиться, жили и вращались отборнейшие умы семнадцатого столетия.

Итак, если бы Блэк не сделал ничего более, как только показал пример великого естествоиспытателя, дающего полную свободу своему воображению, то и этим он уже оказал бы нам такое благодеяние, которое невозможно слишком высоко оценить. И весьма замечательно то, что еще до его смерти за ту же отрасль неорганической физики, которую он разрабатывал с таким успехом, взялся другой замечательный шотландец, следовавший решительно тому же плану, хотя с несколько меньшим

дарованием. Я, конечно, разумею Лесли, которого исследования о теплоте хорошо известны всякому, кто занимается этим предметом; для нас же в настоящем случае они имеют главнейшим образом тот интерес, что служат пояснительным примером того особого метода, который в XVIII столетии казался существенной принадлежностью шотландского ума.

Спустя около тридцати лет после того, как Блэк предъявил свою знаменитую теорию теплоты, Лесли начал заниматься исследованием того же предмета и в 1805 г. издал специальную диссертацию о нем. В этом сочинении и в некоторых из его трактатов о философии изложены его взгляды, из которых иные теперь оказались неверными, другие же имеют достаточно ценности, чтобы составить эпоху в истории науки. Таково было его обобщение относительно лучеиспускания, а именно, что тела, наиболее отражающие теплород, лучеиспускают его всего менее, а наиболее лучеиспускающие отражают наименее. Таков также был другой широкий вывод его, подтвержденный с тех пор лучшими исследователями; он заключался в том, что когда какое-нибудь тело лучеиспускает теплород, то напряжение каждого луча пропорционально синусу угла, образуемого им с поверхностью тела.

Это важные шаги, и они были результатом опытов, которым предшествовали обширные и здраво задуманные гипотезы. Однако в отношении экономии природы, рассматриваемой во всей ее целости, они мало имеют цены сравнительно с тем, что сделал Лесли для упрочения великой мысли, что свет и теплота тождественны, и, следовательно, для приготовления своих современников к той теории взаимного перехода одной силы в другую, которая составляет главнейший умственный подвиг девятнадцатого столетия. Но любопытно заметить, что при всем своем рвении он не мог перейти за известный предел. Он был так связан материальными стремлениями своего времени, что не мог дойти до того, чтобы представить себе теплоту как чисто недостижимую для чувств силу, внешнее проявление которой составляет температура. Для этого то время еще плохо созрело. Вот почему мы находим у Лесли утверждение, что теплота—это упругая жидкость, чрезвычайно тонкая, но все-таки жидкость. Истинной заслугой его было, что, несмотря на все трудности, заграждавшие его путь, он прочно усвоил себе великую истину, что нет никакого коренного различия между светом и теплотой. Как он выражается, обе эти силы суть только превращения одна другой. Теплота—это свет в состоянии совершенного покоя, а свет—это теплота в состоянии быстрого движения. Как только свет соединяется с каким-нибудь телом, он становится теплотой; отброшенный же от этого тела, он снова делается светом.

Верно это или неверно, мы сказать не можем; и много пройдет лет, а может быть, и много поколений, прежде чем мы будем в состоянии решить это. Но услуга, оказанная Лесли, нисколько не зависит от верности его мнения относительно того,

каким именно образом свет и теплота взаимно переходят друг в друга. Что силы эти переходят одна в другую — вот существенная, самая важная мысль. И мы не должны забывать, что он положил эту мысль в основание своих исследований в такой период, когда некоторые весьма важные или, скажу скорее, весьма заметные факты говорили против нее, между тем как главные факты, свидетельствующие в ее пользу, еще не были известны. В то время как он писал свое сочинение, те аналогии между светом и теплотой, которые мы теперь знаем, еще не были открыты; никто еще не знал, что двойное преломление, поляризация и другие любопытные свойства общи им обоим. Постичь такую широкую мысль, в виду таких препятствий, было замечательной чертой смелости. Но из-за этих препятствий индуктивный английский ум отказался признать эту истину, так как она не была общим выводом из обзора всех фактов. И Лесли, по несчастью, умер слишком рано, чтобы испытать ни с чем не сравнимую радость быть очевидцем эмпирического подтверждения своей теории прямым опытом, хотя он ясно видел, что открытия, относящиеся к поляризации, вели ученый мир к той точке, которой свойства его зоркий глаз уже различал в то время, когда для других она была еще почти незаметным пятнышком в туманной дали⁴⁴.

Что касается метода, принятого Лесли, то автор его уверяет нас, что в выборе основных начал, от которых он вел свое умозаключение, ему много помогала поэзия; ибо он знал, что поэты в своем роде превосходнейшие наблюдатели и что их соединенные наблюдения составляют сокровище истин, которые ни в чем не уступают истинам научным и которыми наука должна пользоваться или не может безнаказанно пренебрегать. Правильно применять эти истины и приспособлять их к требованиям физического исследования задача, без сомнения, чрезвычайно трудная, так как она требует ни более ни менее как удержания равновесия между сталкивающимися притязаниями душевных движений и разума. Как и все великие предприятия, дело это полно опасности, и если за него возьмется ум обыкновенный, то оно, конечно, не удастся. Но есть два обстоятельства, которые делают его менее опасным в наше время, чем в какой-либо более ранний период. Первое обстоятельство заключается в том, что верховное преобладание человеческого разума и его право судить о всех теориях по-своему теперь, более чем когда-либо, всеми признается; так что едва ли можно опасаться, что мы уклонимся в противоположную сторону и дадим поэзии делать захваты в области науки. Другое обстоятельство заключается в том, что наше знание законов природы гораздо обширнее того, каким обладал любой из предшествовавших веков, и, следовательно, менее представляется для нас опасности быть введенными в заблуждение воображением; мы имеем множество хорошо исследованных истин, которые мы можем сличать со всяким умозрением, все равно, как бы оно ни казалось правдоподобно или остроумно.

По обоим этим причинам Лесли, мне кажется, имел полное право избрать тот путь, которому он последовал. Во всяком случае то достоверно, что, идя этим путем, он подошел ближе, чем было бы возможно в другом направлении, к идеям самых передовых мыслителей науки нашего времени. Он ясно сознавал, что в мире вещественном нет ни промежутков, ни перерывов и что, следовательно, так называемые деления природы существуют только в нашем уме. Он даже был почти готов покончить с тем воображаемым различием между органическим и неорганическим миром, которое еще смущает многих из наших естествоиспытателей и не дает им познать единство и непрерывность движения в природе. Они со своими устарелыми понятиями о неодушевленной материи не в состоянии заметить, что всякая материя живет и что так называемая смерть есть не более как выражение, которым мы обозначаем новый вид жизни. К этому заключению теперь склоняется все наше знание; и, конечно, немалая заслуга со стороны Лесли, что он в то время, когда истинно широкие взгляды, объемлющие все творение, были почти неизвестны между учеными, сильно настаивал на том, что все силы однородны и что мы не вправе полагать между ними различие, как будто бы одни из них были живые, а другие мертвые.

Мы много обязаны тому, кто проводил подобные взгляды. Но они до такой степени выходили в то время, да и теперь, хотя в меньшей мере, еще выходят из области физического опыта, что Лесли никогда не дошел бы до них тем путем обобщения, который указывает индуктивная философия. Его великое сочинение о теплоте было выполнено, так же как и задумано, по противоположному плану; и так сильно было предубеждение его в эту сторону, что, как уверяет нас его биограф, он не признавал никакой заслуги за Бэконом, который возвел индуктивный метод в систему и перед авторитетом которого мы, в Англии, добровольно и, почти можно сказать, рабски преклоняемся.

Другой любопытный пример того умения, с каким шотландский ум, раз ухватившись за какое-нибудь основное начало, вырабатывал его далее путем дедуктивным, представляется в геологических умозрениях Гёттона в конце XVIII столетия. Хорошо известно, что две великие силы, изменившие состояние нашей планеты и сделавшие из нее то, чем она представляется теперь, суть огонь и вода. Каждая из них принимала в этом деле такое значительное участие, что мы едва ли можем определить их относительную важность. Судя, однако, по теперешнему виду земной коры, есть повод думать, что старшие каменные породы суть главнейшим образом результат плавления, а младшие — осадка от воды. Поэтому не лишено вероятности, что в том порядке, в каком проявлялись силы природы, огонь шел впереди воды и был ее необходимым предшественником⁴⁵. Но мы теперь вправе утверждать только одно, что эти две причины — огонь и вода — были в полном действии задолго до существования

человека и до сих пор еще отличаются большой деятельностью. Быть может, они готовят новую перемену в обитаемой нами земле, приспособленную к новым формам жизни, настолько вышшим, чем человек, насколько человек выше существ, занимавших землю до него. Как бы то ни было, но огонь и вода — два самые важные и самые общие начала, с какими имеют дело геологи; и хотя, при поверхностном взгляде, каждое из них представляется в высшей степени разрушительным, но то достоверно, что в действительности они ничего не разрушают, а могут только разлагать и снова слагать, изменяя наружный вид природы, но оставляя самую природу неприкосновенной. Возьмет ли когда-либо верх одна из этих стихий над другой, противной ей, это в высшей степени интересный предмет для умозрения. Есть повод думать, что в один период огонь был деятельнее воды, а в другой — вода была деятельнее огня. Что они находятся в постоянной борьбе, это факт, с которым геологи совершенно освоились, хотя в этом, как и во многих других случаях, поэты первые различили истину. В глазах геологов вода постоянно силится привести все неровности Земли к одному уровню; между тем как огонь с своим вулканическим действием в той же мере старается восстанавливать эти неровности, выбрасывая материю на поверхность и всякими средствами приводя в беспорядок земную кору⁴⁶. А так как красота материального мира главнейшим образом зависит от этой неправильности наружного вида, без которой в зрелищах природы вовсе не было бы разнообразия форм и очень мало представлялось бы разнообразия цветов, то я полагаю, что мы не согрешим слишком утонченной изысканностью, если скажем, что огонь, спасая нас от того однообразия, на которое обрекла бы нас вода, был отдаленной причиной того развития воображения, которое дало нам нашу поэзию, нашу живопись, нашу скульптуру и чрез это не только удивительным образом увеличило число наслаждений жизни, но и сообщило человеческому духу ту полноту отправления, которой, без этого возбуждения, он не мог бы достигнуть.

Когда геологи начали изучать законы, по которым огонь и вода изменяли строение Земли, то им представилось два различные пути, а именно индуктивный и дедуктивный. Дедуктивный план заключался в том, чтобы определить вероятные последствия действия огня и воды, умозаклячая от наук термотики и гидродинамики и, проведя каждую из этих стихий через самостоятельный ряд умозаключений, свести потом в одну систему порознь полученные результаты. Тогда оставалось бы только исследовать, до какой степени эта воображаемая система согласуется с настоящим порядком вещей, и если бы несогласие между идеальным и действительным оказалось не более того, какого следовало ожидать от помех, производимых другими причинами, то умозаключение было бы полно, и геология в ее неорганической отрасли сделалась бы наукой дедуктивной. Что-бы наше знание уже достаточно созрело для такого процесса,

этого я, конечно, далеко не могу предположить; но этим именно путем пошел бы дедуктивный ум, насколько это ему было бы возможно. С другой стороны, индуктивный ум, вместо того чтобы начать с огня и воды, начал бы с действия, произведенного огнем и водой, и изучал бы сперва эти две силы не в отдельных, к ним именно относящихся науках, а в их совокупном действии, проявившемся на земной коре. Этого рода исследователь нашел бы, что лучший путь к истине — восходить от действий к причинам, наблюдая то, что действительно произошло, и возвышаясь от сложных результатов к познанию простых причин, в силу которых результаты эти произошли.

Если читатель следил за ходом мысли, которую я старался провести в этой главе и в части предшествовавшего тома, то он будет готов предположить, что, когда в последней половине XVIII столетия начали впервые серьезно изучать геологию, индуктивный план восхождения от действий к причинам сделался любимым планом в Англии, а дедуктивный метод нисхождения от причин к действиям был принят в Шотландии и Германии. Так оно и было на самом деле. Всеми признано, что в Англии научная геология обязана своим происхождением Уильяму Смиту, ум которого питал особенное отвращение к системе; находя, что лучший путь к уразумению прежних причин представляется в изучении настоящих действий, Смит занимался между 1790 и 1815 гг. трудолюбивым исследованием различных земных пластов. В 1815 г., пройдя всю Англию пешком, он издал первую полную геологическую карту, какая когда-либо появлялась, и тем сделал первый важный шаг к накоплению материалов для индуктивного обобщения. В 1807 г., следовательно, прежде чем он окончил свою трудную работу, образовалось в Лондоне Геологическое общество, прямой целью которого было, как уверяют нас, наблюдать состояние Земли, но ни в каком случае не обобщать причины, приведшие к этому состоянию. Решимость эта была, пожалуй, мудрая; во всяком случае она в высшей степени характеризовала трезвое и терпеливое направление английского ума. С какой энергией и каким неусыпным трудом была выполняема эта задача и как именитейшие члены Геологического общества в преследовании истины не только изведали все части Европы, но даже изучили земную кору в Америке и Северной Азии, это хорошо известно всякому, кто интересуется этого рода вещами; нельзя также отрицать, что великие сочинения Лайеля и Мёрчисона служат доказательством, что люди, способные к таким трудолюбивым предприятиям, способны и на еще более трудный подвиг — обобщить собранные ими факты и возвести их в идеи. Они отправились на эти изыскания не простыми только наблюдателями, а с благородной целью сделать свои наблюдения пригодными для открытия законов природы. Такова была их цель, и честь и слава им за это. Тем не менее очевидно, что их процесс исследования существенно индуктивный; это переход от наблюдения сложных явлений к простым началам, от которых

явления эти произошли; другими словами, это изучение естественных последствий с целью узнать действие естественных причин.

Совершенно иной был процесс в Германии и Шотландии. В 1787 г., т. е. только за три года до того, как начал свою работу Уильям Смит, Вернер своим сочинением о классификации гор положил основание германской школе геологии. Влияние его было громадно, и в ряду его учеников мы встречаем имена Моса, Раумера, фон Буха и даже имя Александра Гумбольдта. Но преподанная им геологическая теория определялась исключительно рядом умозаключений от причины к последствию. Он предположил, что все великие перемены, через которые проходила Земля, зависели от действия воды. Приняв это предположение за доказанное, он умозаключал затем дедуктивно от тех посылок, какие давало ему его знание воды. Не входя в подробности относительно его системы, достаточно сказать, что согласно с ней вначале было одно обширное первобытное море, из осадков которого образовались с течением времени первые скалы. Основанием всего был гранит, за ним следовал гнейс, а далее шли другие породы по порядку. В недрах воды, находившихся сперва в покое, мало-помалу стали подниматься волнения, которые, разрушив часть самых ранних осадков, образовали из их обломков новые скалы. Наслоенные следовали таким образом за ненаслоенными, и установилось в некотором роде разнообразие. Затем наступил другой период, в котором поверхность вод вместо простого колебания стала раздражаема бурями, и в их разгаре зародилась жизнь и явились на свет растения и животные. Обширная пустыня мало-помалу населялась, море постепенно отступало, и положено было основание той эпохе, в течение которой выступил на сцену человек, принес с собой зачатки благоустройства и общежития.

Таковы были главнейшие воззрения системы, которая, не должно забывать этого, произвела сильное впечатление в ученом мире и привлекла на свою сторону умы, пользовавшиеся значительным влиянием. При всей своей ошибочности и натянутости она имела ту заслугу, что обратила внимание на одно из двух главнейших начал, определивших настоящее состояние нашей планеты. Другой заслугой ее было то, что она вызвала спор, который был в высшей степени полезен для интересов истины, ибо злейший враг знания — не заблуждение, а бездействие. Нам нужно только одного — это исследования, и тогда мы можем быть уверены, что дело пойдет на лад, все равно какие бы мы ни делали ошибки. Одно заблуждение приходит в столкновение с другим, противоположным ему; они взаимно уничтожаются, и в результате получается истина. Таков ход умственного развития человечества, и с этой именно точки зрения виновники новых идей, новых положений, новых ересей являются благодетелями своей породы. Правы они или неправы, — это последнее дело; но они способствуют возбуждению

ума, вызывают к деятельности способности, подстрекают нас к новому исследованию, выставляют старые предметы в новом свете, нарушают всеобщее бездействие и прерывают резко, но самым спасительным образом ту любовь к рутине, которая, заставляя людей идти ползком по следам своих предков, стоит поперек дороги всякому усовершенствованию как постоянное, неуместное и очень часто пагубное препятствие.

Метод, принятый Вернером, был очевидно дедуктивный, так как он исходил от предполагаемой причины и от нее умозаключал к последствиям. В этой причине он находил свою большую посылку, от которой шел вниз к своему заключению, пока не достигал наконец области чувств и действительности. Он вверялся одной своей великой идее и вырабатывал эту идею с полным умением. По этому самому он мало обращал внимания на присущие факты. Если б он хотел, то и он, не хуже других, мог бы собрать их и подчинить индуктивному обобщению. Но он предпочел противоположный путь. Упрекать его за это нет основания, потому что в своих поисках истины он избрал один из двух только путей, открытых для человеческого ума. Правда, в Англии мы склонны принимать за решенное дело, что один путь несравненно предпочтительнее другого. Оно, может быть, и так; но об этом, как и о многих других предметах, высказываются мнения, которые никогда еще не были доказаны. Как бы то ни было, но Вернер был до такой степени доволен своим методом, что не хотел давать себе труд изучать положение скал и их пластов в тех разнообразных формах, в каких они представляются в различных странах; он не исследовал даже своей собственной страны, но, ограничиваясь одним уголком Германии, в нем задумал и в нем и довершил свою знаменитую систему, не подвергая исследованию фактов, на которых, согласно индуктивному методу, должна была бы быть построена эта система^{46а}.

Точно такой же процесс, по тому же самому предмету и в то же самое время, происходил в Шотландии. Гёттон, бывший основателем шотландской геологии и издавший в 1788 г. свою «Теорию Земли», вел свое исследование совершенно так, как Вернер, хотя в то время, когда он начал свои умозрения, он не знал того, что делал Вернер. Единственная разница между ними была та, что Вернер исходил в своих умозаключениях от действия воды, Гёттон же — от действия огня. Причину этого, мне кажется, не трудно объяснить. Гёттон жил в стране, где впервые были обобщены некоторые из важнейших законов теплоты и где, следовательно, этот отдел неорганической физики приобрел большую известность. Поэтому нам нечего удивляться, что Гёттон, чувствующавший, подобно всем людям, умственное давление того времени, в которое он жил, подчинился тому влиянию, которого, быть может, и не сознавал. Верный общему умственному настроению своей страны, он последовал методу дедуктивному. Под влиянием же более частных обстоятельств, связанных собственно с его непосредственными занятиями, он заимствовал

те основные начала, от которых вел свое умозаключение, из учения об огне, вместо того чтобы, подобно Вернеру, заимствовать их из науки о воде.

Поэтому-то в истории геологии последователи Вернера известны под именем непунистов, а последователи Гёттона — под именем плутонистов. И в этих названиях выражается единственное различие между двумя великими учителями. В самых важных отношениях, именно в методе, они были совершенно согласны. Оба они были люди существенно односторонние; оба обращали слишком исключительное внимание на одну из двух главнейших сил, которые изменяли и до сих пор еще изменяют земную кору; оба вели умозаключение от этих сил, вместо того чтобы к ним вести его; оба, наконец, построили свои системы, не изучив достаточно действительных, налицо находящихся фактов, и впали таким образом в ошибку, которую первые исправили английские геологи.

Так как я пишу не историю науки, а историю научного метода, то я могу бросить лишь краткий взгляд на сущность тех услуг, которые Гёттон оказал геологии и которые так значительны, что его система была названа настоящим основанием этой науки⁴⁷. Однако такое выражение уже слишком сильно, потому что Гёттон хотя далеко не отвергал влияния воды, но недостаточно придавал ей значения; и многие геологи склонны допустить, что система Вернера, рассматриваемая как теория, исходящая от воды, содержит в себе более истины, чем сколько согласны признать в ней защитники остроумной теории, основанной на огне. Все-таки то, что сделал Гёттон, было в высшей степени достойно внимания, в особенности в отношении так называемых метаморфических скал, теорию образования которых он первый постиг. В подробности этой теории и в ее связь, с одной стороны, с осадочными скалами, а с другой — с теми скалами, происхождение которых может быть чисто вулканическое, — мне нельзя войти, не ступив на спорную почву. Но, оставляя в стороне то, что еще не доказано, я упомяну о двух обстоятельствах относительно Гёттона, которые никем не оспорены и которые дадут некоторое понятие о его методе и о складе его ума. Первое обстоятельство заключается в том, что хотя он приписывал подземной теплоте, проявляющейся в вулканическом действии, большую и более постоянную силу, чем решались приписать ей прежние исследователи, он предпочитал, однако, умозрительные выводы относительно вероятных последствий такого ее действия выводам из представившихся уже фактов его и был в этом отношении до такой степени равнодушен, что пришел к своим заключениям, не исследовав ни одной области действующих вулканов, где бы он мог наобзреть отправления природы и увидеть, что происходит на самом деле. Другое обстоятельство не менее характерно. Гёттон в своих умозрениях относительно геологического действия теплоты естественным образом пользовался законами, раскрытыми Блэком. Одним из этих законов было, что известные

земли обязаны своей плавимостью присутствию в них постоянного воздуха (fixed air) до тех пор, пока огонь не выгонит его; так что если бы было возможно сделать, чтобы они удержали в себе этот постоянный воздух, или, как мы теперь называем его, углекислый газ, то никакое количество теплоты не могло бы лишить их способности плавиться. Плодотворный ум Гёттона видел в этом открытии основное начало, из которого ему можно было сделать геологическое умозаключение. Ему пришло на мысль, что большое давление могло бы предупредить освобождение постоянного воздуха из нагретых скал и сделать их способными плавиться, несмотря на их высокую температуру. Вот он и предположил, что в период, предшествовавший существованию человека, такой именно процесс совершился под поверхностью моря и что тяжесть такого большого столба воды не давала скалам разлагаться, в то время как они подвергались действию огня. Таким образом летучие части их были удерживаемы, и сами они могли плавиться, чего не могло бы случиться, если бы не это непомерное давление. Следуя такому порядку умозаключения, он объясняет отверждение пластов от жара; ибо, согласно с посылками, от которых он исходит, маслянистые или смолистые части должны были оставаться, несмотря на усилие жара заставить их улетучиться. Это поразительное умозрение привело к заключению, что летучие составные части материи и постоянные части ее можно заставить слиться, прямо наперекор той, кажущейся непреодолимой, силе, назначение которой — способствовать их разделению. Такой вывод был противен всякому опыту, или по крайней мере никто еще не видал такого примера. Действительно, только предполагалось, что это может произойти в силу известных обстоятельств, которые еще не встречались на поверхности Земли и, следовательно, выходили из пределов всякого человеческого наблюдения. Самое большее, чего можно было ожидать, это что с помощью имеющихся у нас приборов мы будем, пожалуй, в состоянии в малом размере устроить подражание предположенному Гёттоном процессу. Могло случиться, что прямо на опыте были бы искусственно соединены большое давление с большим жаром и что это повело бы к удостоверению чувствами в том, что сообразил ум. Но такого опыта еще никогда не делали, а от Гёттона, находившего наслаждение скорее в умозаключении от идей, чем от фактов, нельзя было ожидать, чтобы он сам предпринял его. Он пустил по свету свои умозрения и бросил их на произвол судьбы. Но по счастью, для признания его системы один очень умный и ловкий экспериментатор того времени, сэр Джеймс Голл, решился проверить его умозрение обращением к фактам, и так как природа не представила тех фактов, какие ему были нужны, то он сам создал их. Он направил действие жара на обращенный в порошок мел и в то же время с большой осмотрительностью в приемах подвергнул этот мел давлению, почти равному весу водяного столба вышиной в полмили. В результате оказалось, что под этим давлением летучие

части мела были удержаны в нем; углекислый газ не мог освободиться, образование жженой извести не состоялось, обыкновенные отправления природы были обойдены, и весь состав, сохранившись неприкосновенным, расплавился и потом, при охлаждении, действительно окристаллизовался в твердый мрамор. Более полной победы еще не бывало. Никогда еще факт не подтверждал полнее идею. Но в уме Гёттона идея предшествовала факту на значительном расстоянии; прежде чем стал известен факт, теория была построена, и даже воздвигнутая на ней система уже несколько лет обнародована. Итак, оказывается, что одна из главнейших частей Гёттоновской теории, и конечно самая удачная часть ее, была задумана в противность всякому предшествовавшему опыту; что она вперед предположила такое сочетание явлений, какого никто никогда еще не наблюдал и самую возможность которого можно поверить одним только искусственным опытом; и наконец, что Гёттон был до такой степени уверен в действительности своего метода исследования, что не считал нужным сам делать опыт, а предоставил другому уму заняться этой эмпирической частью исследования, которую он считал неважной, но которую в Англии нас научили считать единственным надежным основанием физического исследования.

Я представил теперь очерк важнейших открытий, сделанных Шотландией в XVIII столетии по части законов неорганического мира. Я ничего не сказал об Уатте, потому что паровая машина, которой мы обязаны ему, хотя и имеет громадную важность, но составляет не открытие, а изобретение. Ее можно по справедливости назвать скорее изобретением, чем усовершенствованием⁴⁸. Несмотря на все, что было сделано в XVII столетии Каусом, Ворчестером, Папеном и Севери, и несмотря на позднейшие добавления, сделанные Ньюкоменом и другими, действительная оригинальность Уатта не подлежит никакому спору. Его машина была существенно новым изобретением; но с научной точки зрения она оказывалась не более как искусным применением законов, уже прежде известных; и одна из самых важных сторон ее, именно сбережение теплоты, составляла практическое применение идей, распространенных Блэком. Единственным открытием, какое сделал Уатт, был состав воды. Хотя его права на это открытие и оспариваются друзьями Кавендиша, но, как кажется, он первый привел в известность, что вода не есть простое тело, а состоит из двух газов. Это открытие было значительным шагом в истории химического анализа, но оно не заключало в себе ни нового закона, ни намека на новый закон и потому не имеет никаких прав на то, чтобы составить новую эпоху в истории человеческого ума. Есть, однако, одно связанное с ним обстоятельство, которое слишком своеобразно, чтобы пройти его молчанием. Открытие это было сделано в 1783 г. Уаттом, шотландцем, и Кавендишем, англичанином, — и ни один из них не имел понятия о том, что делал другой⁴⁹. Но между ними было различие. Уатт в течение нескольких лет перед тем

строил умозрения относительно связи воды с воздухом, и когда он связал их между собою посредством Блэкова закона скрытого теплорода, то он уже готов был уверовать, что эти тела могут быть обращаемы одно в другое. Идея о близком сходстве между водой и воздухом, раз проникнув в его сознание, постепенно созревала; и когда он, наконец, довершил открытие, то достиг этого только путем умозаключения от тех данных, которые кроме него были известны и другим. Вместо того чтобы вывести на свет новые факты, он выводил новые заключения из прежних идей. Кавендиш, с другой стороны, дошел до своего результата посредством метода, собственного англичанину. Он не решался делать новый вывод, пока не привел в известность новых фактов. Действительно, его открытие было в такой совершенной мере выводом из его собственных опытов, что он упустил из виду принять в соображение теорию скрытого теплорода, от которой исходит Уатт и в которой этот замечательный шотландец находил посылки для своего умозаключения. Оба этих великих исследователя пришли к истине, но каждый из них шел особой дорогой. И эта противоположность с большой точностью выражена одним из знаменитейших химиков, который в своих замечаниях о составе воды справедливо говорит, что, в то время как Кавендиш устанавливал факты, Уатт устанавливал идею⁵⁰.

Вот что было сделано шотландцами в области науки о неорганическом мире. Если мы теперь обратимся к науке о мире органическом, то найдем, что и там также труды их были весьма замечательны. Тем, которые способны подняться до известной высоты и широты мысли, покажется в высшей степени правдоподобным, что между органическим и неорганическим миром нет никакого существенного различия. Что они разграничены, как обыкновенно утверждают, резкой раздельной чертой, которая обозначает, где внезапно кончается один и столь же внезапно начинается другой,—это, по-видимому, предположение, решительно ни на чем не основанное. Природа не делает остановок, не прерывается таким причудливым, неправильным образом. В ее произведениях нет пустых мест, нет пробелов. Истинно научному уму материальный мир представляется одним длинным, непрерывным рядом, постепенно возвышающимся от низших форм к высшим, но нигде не кончающимся. В одной части этого ряда мы находим особого рода строение, которого, насколько мы могли до сих пор наблести, нельзя найти в другой части его. Мы замечаем также особого рода отправления, соответствующие строению и, как мы полагаем, вытекающие из него. Вот все, что мы знаем. Тем не менее от нас требуют, чтобы и из этих скудных фактов мы, которые находимся еще в младенчестве знания и которые только слегка коснулись самой поверхности вещей, сделали вывод, что должна быть такая точка в цепи бытия, на которой и строение, и отправления внезапно прерываются и далее которой мы тщетно стали бы искать признаков жизни. Трудно было бы придумать заключение более

противное всему ходу, всей аналогии новейшего мышления. По всем отраслям наблюдения умозрения величайших мыслителей постоянно стремятся к тому, чтобы подвести все явления под известный порядок и смотреть на них как на различные, конечно, по степени, но ни в каком случае не различные по роду. Прежде люди довольствовались тем, что основывали свое убеждение в существовании различия по роду на свидетельстве глаза, который при беглом взгляде в одних телах видел организацию, а в других — нет. Из организации они заключали о жизни и предполагали, что, например, растения имеют жизнь, а минералы — нет. Такого рода умозаключение долго считалось удовлетворительным; но с течением времени оно оказалось несостоятельно; потребовалось больше доказательств, и с половины XVII столетия было всеми вообще признано, что глаз — сам по себе свидетель, не заслуживающий доверия, и что мы должны употреблять микроскоп, а не полагаться на ничем не подкрепленное показание наших слабых, ненадежных чувств. Но микроскоп постоянно совершенствуется, и мы не можем сказать, какой предел этой способности его к усовершенствованию; не можем, следовательно, сказать, какие новые тайны он еще откроет нам. Мы не можем также сказать, что он не будет совершенно заменен каким-нибудь новым искусственным средством, которое доставит нам свидетельство, настолько совершеннее того, какое мы теперь имеем, насколько это последнее совершеннее показания невооруженного глаза. Даже теперь, несмотря на то, что микроскоп еще так недавно сделался действительно полезным прибором, он уже открыл нам такие организации, существования которых никто прежде и не подозревал. Он доказал, что предметы, считавшиеся целые тысячи лет не более как клочками неодушевленной материи, суть на самом деле животные, имеющие большую часть тех отправлений, какие и мы имеем, воспроизводящие свою породу с постоянной, правильной последовательностью и снабженные нервной системой, обнаруживающей в них способность к ощущению страдания и наслаждения. Он открыл жизнь в ледниках Швейцарии, нашел ее гнездящейся в полярных льдах, а если она там может преуспевать, то трудно сказать, в какой местности может не быть ее. Так неохотно, однако, отстают большинство людей от старых понятий, что призвана была на помощь химия для удостоверения в предполагаемом различии между органической и неорганической материей; утверждают, что в органическом мире замечается большая сложность частичных соединений, чем в неорганическом. Далее, химики уверяют, что в органической природе преобладает углерод, а в неорганической кремний. Но химический анализ, как и микроскопическое наблюдение, делает такие быстрые успехи, что каждое поколение, — я почти мог бы сказать, каждый год, — подрывает какой-нибудь из прежних выводов; так что теперь и еще довольно долгое время мы должны смотреть на такие выводы как на эмпирические и даже как на одни только

попытки. Конечно, нельзя сделать прочного, всеобщего вывода из переменчивых и шатких фактов, которые сегодня признаются, а завтра могут быть опровергнуты. Поэтому казалось бы, что в пользу мнения, что одни тела живые, а другие мертвые, мы не можем ничего привести, кроме того обстоятельства, что наши изыскания в пределах, до которых они до сих пор простирались, обнаружили, что известное строение, рост и способность воспроизведения не суть непрменные свойства материи, а, напротив, в значительной части видимого мира вовсе не замечаются, вследствие чего мы и называем ее миром неодушевленным. Вот все, что имеется из доказательств на этой стороне вопроса. С другой стороны, мы имеем факт, что наше зрение и те искусственные орудия, с помощью которых мы пришли к этому выводу, явно несовершенны; и далее тот факт, что при всем своем несовершенстве они доказали, что органическое царство простирается бесконечно дальше, чем представлял себе когда-либо самый смелый мечтатель; между тем как пределы неорганического царства они не были в состоянии расширить в размере, сколько-нибудь соответствующем этому. Это доказывает, что, насколько дело идет о наших мнениях, весы постоянно склоняются в одну известную сторону; другими словами, что по мере успехов нашего знания вера в органическое делает все более и более захватов в области веры в неорганическое⁵¹. Если мы еще прибавим к этому, что всякая наука явно клонится в сторону одной простой, общей теории, которая будет обнимать весь круг материальных явлений, и что с каждым последовательным шагом какие-нибудь неправильности разъясняются и какие-нибудь неуравновешенности сглаживаются, то едва ли можно сомневаться в том, что такое движение стремится ослабить те различия, действительность существования которых была слишком торопливо признана, и что на место их мы рано или поздно должны подставить более широкий взгляд, согласно с которым жизнь есть принадлежность всякой материи, и классификация тел на одушевленные и неодушевленные, или органические и неорганические, есть только временное деление, которое годится, пожалуй, для настоящих целей наших, но должно, наконец, как и все подобные деления, исчезнуть в более возвышенной и широкой системе.

Но пока не будет сделано этого шага, мы должны довольствоваться умозаключением, основанным на показаниях наших несовершенных приборов или еще менее совершенных чувств. Поэтому мы признаем различие между органической и неорганической природой не в качестве научной истины, а как научный прием, с помощью которого мы разделяем в идее то, что нераздельно в факте, надеясь этим способом облегчить свой путь и достигнуть, наконец, тех результатов, которые сделают уже подобное ухищрение ненужным. Принимая таким образом это деление, мы можем привести все исследования органических тел к одной из двух целей. Первая цель — привести в известность закон, управляющий этими телами в их обычном, здоровом или,

как мы иногда ошибочно называем это, нормальном состоянии. Другая цель — узнать закон, которому они подчиняются в своем необычном, нездоровом или ненормальном состоянии. Когда мы пытаемся достигнуть первой цели, то мы являемся физиологами; стремясь же ко второй — патологами.

Таким образом, физиология и патология составляют два основных деления всякой органической науки⁵². Каждый из этих отделов тесно связан с другим, и нет никакого сомнения, что они сольются наконец в один предмет изучения, открыв законы, из которых окажется, что ни тут, ни там нет ничего действительно аномального или неправильного. До сих пор, однако, физиологи неизмеримо опередили патологов широтой своих воззрений и по этому самому и достоинством своих выводов. Так, лучшие физиологи положительным образом признают, что их наука в ее основаниях должна обнимать не только животных, стоящих ниже человека, но также и все растительное царство; и что, не окинув таким общим взглядом всей области органической природы, мы, по всей вероятности, не в состоянии понимать даже физиологию человека, а еще менее всеобщую физиологию. Патологи, с другой стороны, до такой степени отстали, что болезни низших животных редко входят в их план изучения; болезни же растений находятся у них почти в совершенном пренебрежении; между тем как достоверно, что, пока все эти явления не будут изучаемы и пока не будет сделано кое-каких попыток к обобщению их, всякий патологический вывод будет по преимуществу эмпирическим вследствие ограниченности того круга, в котором делались наблюдения.

Наука патологии находится до сих пор в таком отсталом состоянии как относительно плана, по которому она задумана, так и относительно самого выполнения, что даже истинно даровитые люди думают, будто она может быть построена на простом изучении человеческого тела; поэтому едва ли кто предположит, чтобы шотландцы, несмотря на удивительную смелость своих умозрений, были в состоянии в XVIII столетии упредить тот метод, который девятнадцатому столетию теперь впервые приходится употребить в дело. А между тем они произвели двух патологов с большим дарованием, которым мы в значительной мере обязаны. Это были Келлен и Джон Гентер. Келлен был замечателен только как патолог; Гентер же, обнявший своим дивным, многосторонним гением гораздо большее пространство, был велик и как физиолог, и как патолог. Краткий очерк сделанных ими обобщений в науке об органическом мире будет нелишним добавлением к сказанному уже мною выше о том, что было сделано в тот же период их соотечественниками для науки о мире неорганическом. Это пополнит наш обзор умственного движения в Шотландии и даст возможность читателю составить себе некоторое понятие о блестящих умственных подвигах этого в высшей степени замечательного народа, который в противоположность тому, что было со всеми другими

новейшими нациями, доказал, что научные открытия не ведут непременно к ослаблению суеверия и что два враждебные начала могут преуспевать рядом, никогда не приходя в столкновение на самом деле и не ослабляя друг друга заметным образом.

В 1751 г. Келлен был назначен профессором медицины в Глазговский университет, откуда, однако, в 1756 г. был переведен в Эдинбургский, где и читал те знаменитые лекции, на которых и основывается теперь его слава. В начале своей ученой карьеры он обратил особенное внимание на неорганическую отрасль естествознания и предъявил некоторые замечательные умозрения, которые, как полагают, навели Блэка, его ученика, на теорию скрытого теплорода. Но для того, чтобы далее проследить эти воззрения, потребовалось бы произвести множество тщательных опытов, что не согласовалось с его умственным складом. Поэтому, пустив в ход свои идеи, он оставил их затем укореняться и перешел к своей трудной попытке обобщить законы болезни в том виде, в каком они проявляются в человеческом теле. В изучении болезни, явления которой более темны и менее подлежат опыту, представлялся больший простор для умозрения; поэтому ему легче было предаться любви к теории, являвшейся в нем преобладающей страстью, чрезмерное потворство которой ему ставили в упрек. Что упрек этот не совсем несправедлив, с этим, мне кажется, нельзя не согласиться. Мы находим, например, у него следующее учение: так как в лечении болезни теорию нельзя отделить от практики, то все равно, которая из них должна идти вперед. Это значило сказать, что медик-практик может подчинять свои наблюдения своим теориям; ибо достоверно, что в огромном большинстве случаев люди так крепко держатся усваиваемых ими мнений, что то, чем с самого начала проникается их ум в каком бы то ни было изучении, легко обращается в форму, в которую отливается и все последующее. В обыкновенных умах известное соединение понятий, раз твердо установившееся, делается неразрывным; и способность разделять их и составлять из них новые сочетания есть одно из самых редких дарований наших. Ум среднего разряда, как скоро им овладеет какая-нибудь теория, едва ли может когда-либо избавиться от нее. Поэтому в практических вопросах следует ровно столько же бояться теории, сколько в научных — дорожить ею; ибо практической деятельности предается главнейшим образом низший разряд умов, в котором ассоциации идей и предрассудки необыкновенно стойки; между тем как научные занятия достаются на долю умов высшего полета, в которых такие предубеждения сравнительно слабы и тесные соединения понятий легче всего разрываются. Для самых мощных умов наиболее привычное дело — усваивать себе новый строй мыслей, и потому они более всего способны разрушать старый. В них слабо гнездится всякое верование, потому что они хорошо знают, как мало мы имеем доказательств для многих, даже самых древних, верований. Но умы среднего или, не в обиду будь сказано, низшего разряда не

тревожатся подобными тонкостями. Раз они чистосердечно приняли какие-нибудь теории, им едва ли возможно когда-либо отрешиться от них, и они нередко удостоивают их названия первейших истин и принимают всякое нападение на них за личную обиду. Наследовав такие теории от своих отцов, они смотрят на них с какой-то сыновней набожной привязанностью и ухватываются за них как за какие-нибудь богатые приобретения, к которым никто не имеет права прикоснуться.

К этому последнему классу принадлежат почти все люди, преданные более практическим, чем умозрительным, занятиям. Между ними находятся обыкновенные практики, по медицине ли или по другой части, из которых весьма немногие согласятся нарушить ту последовательность мыслей, в которой они закоснели⁵³. Хотя они объявляют, что презируют теорию, но на самом деле они поработаны ею. Все, что они могут сделать, это скрывать свою подчиненность, называя свою теорию необходимым верованием. Поэтому следует считать замечательным доказательством любви Келлена к дедуктивному умозаключению то, что он, при всей своей сметливости и прозорливости, мог предположить, будто в таком практическом искусстве, как медицина, теория может безнаказанно предшествовать практике. Ибо в высшей степени справедливо, если брать средний вывод, что умы людей так устроены, что одна не может предшествовать другой, не получая преобладания над ней. Не менее справедливо и то, что такое преобладание должно иметь вредное действие. Даже в настоящее время, несмотря на великие шаги, сделанные в патологической анатомии, в животной химии и в микроскопическом наследовании как жидких, так и твердых составных частей человеческого тела, лечение болезней все-таки гораздо более дело искусства, чем науки. Что составляет главную отличительную черту замечательнейших медиков и дает им решительное превосходство,—это не столько объем их теоретического знания,—хотя и оно также бывает часто значительно,—сколько та утонченная верность взгляда, которой они обязаны частью опыта, а частью и врожденной способности быстро замечать аналогии и различия, ускользающие от обыкновенного наблюдателя. Процесс, которому они следуют, есть процесс быстрой и в некоторой степени бессознательной индукции. И вот причина, почему величайшие физиологи и химики между медиками не бывают в естественном порядке вещей лучшими практическими врачами. Если бы медицина была наукой, то они были бы лучшими медиками. Но медицина еще в сущности искусство; она зависит главнейшим образом от тех качеств, которые каждый практический врач должен сам развивать в себе и которых не может дать ему никакая теория. Теперь еще не настало время для установления общей теории, и, по всей вероятности, еще много пройдет поколений, прежде чем оно наступит. Итак, предположить, что теория болезни должна в деле воспитания предшествовать лечению болезни, не только опасно в практическом отношении, но

и логически несправедливо. До практической опасности такого взгляда мне в настоящее время нет дела; но логическая сторона его составляет любопытный пример той страсти к систематическому и диалектическому способу умозаключения, которая была отличительной чертой Шотландии. Из этого видно, что Келлен в своем стремлении умозаключать от основных начал к фактам, а не от фактов к началам был в состоянии в самом важном из искусств предложить такой метод, для которого даже наше знание не довольно зрело; в его же время подобный метод был так странен и несвоевременен, что принятие его таким мощным умом можно объяснить разве тем только обстоятельством, что он жил в стране, где этот особенный метод имел верховное преобладание.

Должно, однако, согласиться, что Келлен владел этим методом с необыкновенным талантом, в особенности в применении его к науке патологии, для которой он гораздо более годился, чем для искусства терапевтики. Ибо мы должны всегда помнить, что наука, исследующая законы болезни, есть нечто совершенно отличное от искусства лечить ее. Наука эта имеет интерес умозрительный, не зависящий ни от каких практических соображений, а определяемый единственно тем фактом, что, когда она будет завершена, она объяснит отклонения от правильности в целом органическом мире. Патология имеет целью привести в известность причины, определяющие всякое отклонение от естественного типа, проявится ли оно в форме или в отравлении. Поэтому никто не может обнять широким взглядом настоящее состояние знания, не изучив теоретическое отношение между патологией и другими отраслями исследования. Но это дело не практиков, а собственно так называемых философов. Патолог-философ столько же различается от медика, сколько правовед различается от адвоката, или химик-агроном от фермера, или политэконом от государственного человека, или астроном, обобщающий законы небесных тел, от шкипера, который, направляя свой корабль, руководствуется на практике этими законами. Оба рода обязанностей могут быть соединены в одном лице, и это бывает по временам, хотя очень редко, но в этом нет никакой необходимости. Итак, хотя и было бы нелепой самонадеянностью со стороны неспециалиста по части медицины произносить суд над терапевтической системой Келлена, но совершенно позволительно всякому, кто изучал теорию этого рода предметов, разобрать патологическую систему его; потому что эта, как и все вообще научные системы, должна подчиняться тем общим соображениям, какие могут быть заимствованы частью от смежных наук, а частью и от всеобщей логики философского метода.

С этой последней или логической точки зрения Келленова патология и представляет именно интересный предмет для настоящей главы. Характер его исследований вполне выяснится, если сказать, что метод, принятый им в патологии, сходен с тем,

которому следовал в то же самое время Адам Смит, хотя на совершенно другом поприще. Оба были дедуктивны и оба, прежде чем начать дедуктивное умозаключение, откинули некоторые из посылок, от которых они умозаключали. Что этот именно прием есть ключ к методу Адама Смита и что он был с намерением введен в его план, это уже было мной доказано, равно как и то, что в каждое из своих сочинений он вводил посылки, не достававшие в другом. В этом отношении он далеко превосходил Келлена. Ибо хотя Келлен, как и Смит, начал с того, что урезал свою задачу с целью удобнее разрешить ее, но он не усмотрел, подобно Смицу, необходимости провести рядом другое, параллельное исследование, которое пополняло бы систему, исходя от посылок, первоначально опущенных.

То, что я назвал урезыванием задачи, было сделано Келленом следующим образом. Целью его было обобщить явления болезни в том виде, в каком они замечаются в человеческом теле; и для него, как и для всякого другого, было ясно, что человеческое тело состоит частью из твердых и частью из жидких веществ. Особенность его патологии составляет то, что он умозаключает почти исключительно от законов твердых веществ и так мало принимает в расчет жидкие вещества, что видит в них только косвенные причины болезни, которые с научной точки зрения должны считаться строго подчиненными прямым причинам, представляющимся в твердых составных частях нашего тела. Такое допущение, хотя и неверное, было, однако, совершенно извинительно, так как, урезывая задачу, он упрощал процесс ее разрешения точно так же, как Адам Смит в своем «Богатстве народов» упростил изучение человеческой природы, откинув всякую сочувственную сторону ее. Но этот в высшей степени дальновидный мыслитель озабочился восстановлением в своей «Теории нравственных чувствований» того свойства человеческой природы, которого он не признавал за ней в «Богатстве народов», и, установив, таким образом, две различные цепи умозаключений, полнее обнял весь предмет. Точно так же и на Келлене лежала обязанность, построив теорию болезни путем умозаключения от твердых составных частей человеческого тела, построить затем другую теорию, основанную на умозаключении от жидких частей, так чтобы из сопоставления двух теорий могла возникнуть наука патологии, настолько совершенная, насколько позволяло тогдашнее состояние знания. Но это было не под силу его уму. При всей его даровитости ему не доставало той сообразительности, которой отличался Адам Смит и в силу которой этот великий человек понял, что всякое дедуктивное умозаключение, основанное на опущении некоторых посылок, должно быть восполнено другим параллельным умозаключением, в котором посылки эти были бы принимаемы в расчет⁵⁴. Так мало, однако, сознавал это Келлен, что, построив ту систему патологии, которая известна у писателей-медиков под именем *солидизма*, он никогда не давал себе труда провести рядом с ней другую

систему, в которой первое место предоставлено было бы жидким составным частям человеческого тела. Напротив, он был убежден, что план его полон и исчерпывает все стороны вопроса и что так называемая патология соков есть фикция, слишком долго несправедливо пользовавшаяся значением истины.

Многие из воззрений, проводимых Келленом, были взяты у Гофмана, а многие из фактов — у Гаубиуса; но что патология его, взятая в целости, была существенно оригинальным произведением, это ясно из некоторого единства в общем начертании, которое несовместимо с позаимствованием в широких размерах и которое доказывает, что он сам целиком обдумал свой предмет. Не останавливаясь, однако, на исследовании того, в какой мере он позаимствовался от других, я укажу вкратце на наиболее выдающиеся стороны его системы, для того чтобы дать возможность читателю понять общий характер ее.

По учению Келлена, все твердые части человеческого тела суть или простые, или жизненные. Простые твердые части сохраняют после смерти те свойства, какие имели при жизни. Жизненные же, составляющие основу нервной системы, отличаются такими свойствами, которые исчезают прямо после смерти. Таким образом, простые твердые составные части тела, имея менее отправления, чем жизненные, имеют также и менее болезней; и те болезни, которым они подвержены, представляют более удобства для классификации. Действительная трудность оказывается относительно жизненных твердых частей, потому что от их особенностей зависит вся нервная система, и почти все расстройства должны быть приписаны происходящим в них переменам. Поэтому Келлен принял нервную систему за основание своей патологии и в умозрениях своих относительно ее отправления поставил на первом плане скрытое начало, которое он называл *животной силой*, или *энергией мозга*⁵⁵. Это начало действует на жизненные твердые части. Когда оно действует исправно, то тело здорово; в противном же случае — оно нездорово. Так как состояние жизненных твердых частей есть главная причина всякого расстройства, а энергия мозга — главная причина того или другого состояния этих частей, то становится важным знать, какие именно влияния действуют на саму эту энергию, потому что в них мы и найдем начало нити. Влияния эти Келлен делил на физические и умственные. Физические заключались в теплоте, холоде и испарениях, трех могущественнейших причинах расстройств в человеческом теле. Умственные влияния, побуждающие мозг действовать на твердые части, подразделялись на шесть различных категорий, а именно волю, душевные движения, похоти, склонности и, наконец, два великих начала — привычку и подражание, в которых Келлен весьма основательно полагал значительную важность. Умозаклячая от этих умственных причин и обобщая отношения между ними и ощущениями тела, он, верный любимому своему методу, исходил дедуктивно от метафизических начал, бывших тогда в ходу, не удостоверившись

индуктивным путем в их состоятельности, так как он думал, что подобная индукция не его дело. Он слишком был озабочен продолжением своей диалектики, чтобы развлекаться таким вздором, как вопрос о том, верны или неверны посылки, на которых опиралось его умозаключение. То, что он сделал в метафизической части своей патологии, повторилось и в физической части ее. Хотя кровь и нервы суть две главнейшие черты в экономике человеческого тела, он не исследовал их особой индукцией; он не подверг их ни химическим опытам для узнания их состава, ни микроскопическим наблюдениям для приведения в известность их строения⁵⁶. Это тем более замечательно, что, хотя мы и должны допустить, что животная химия была тогда вообще в пренебрежении и что настоящее значение ее было едва ли известно до того времени, как труды Берцелиуса открыли всю ее важность,—все-таки микроскоп был уже готов к услугам Келлена; он был изобретен за полтора столетия до того, как Келлен окончил свою патологию, и уже около ста лет был употребляем для научных целей. Но его любовь к синтезу взяла верх. Его система построена путем умозаключения от общих начал; и этим процессом он, конечно, владел в совершенстве. Между посылками и заключением у него едва ли когда-либо вкрадывается ошибка. Что же касается результатов его умозрений, то в этом отношении он имел одну громадную заслугу, которая навсегда обеспечит за ним видное место в истории патологии. Настаивая на важном значении твердых составных частей тела, он, несмотря на то, что сам был односторонен, исправил такую же односторонность своих предшественников; ибо, за весьма немногими исключениями, все лучшие патологи, начиная с Галена, грешили тем, что слишком много придавали важности жидким составным частям и поддерживали чисто патологию соков. Келлен направил умы людей в другую сторону, и хотя, научая их, что нервная система есть единственное коренное местопребывание болезни, он сделал грубую ошибку, но это была ошибка самого спасительного свойства. Налегая на эту сторону, он восстанавливал равновесие. Этим, я уверен, он косвенным образом поощрял те подробные изыскания над нервами, из-за которых он сам бы не стал останавливаться, но которые в следующем поколении привели к капитальным открытиям Бэлла, Шоу, Мэйо и Маршала Голла. В то же время старая патология соков, преобладавшая в течение многих столетий, была на практике пагубна, ибо, предполагая, что все болезни в крови, она привела к тому постоянному, неразборчивому кровопусканию, которое разрушило бесчисленное множество жизней, независимо уже от того неисправимого вреда, который оно постоянно причиняло и телу, и духу, ослабляя тех, кого не было в состоянии убить. Против этой немилосердной напасти, которая делала из медицины какое-то проклятие для человечества, *солидарная патология* была первым действительным оплотом⁵⁷. Поэтому как с практической, так и с отвлеченной точки зрения мы должны приветствовать Келлена как

великого благодетеля своей породы и должны смотреть на его появление как на эпоху в истории человеческого благосостояния столько же, сколько и в истории человеческой мысли.

Читатель-неспециалист, может быть, лучше усвоит себе все сказанное выше, если я представлю, в возможно кратких словах, образчик того, каким образом Келлен применял свой метод к исследованию теории одного какого-нибудь класса болезней. Для этой цели я возьму его учение о лихорадке,—учение, хотя и оставленное всеми в настоящее время, но имевшее некогда более влияния, чем какая-либо другая часть его патологии. Тут, как и везде, он умозаключает от твердых составных частей тела. Не обращая никакого внимания на состояние крови, он говорит, что причина всякой лихорадки есть уменьшение энергии мозга. Уменьшение это может быть произведено разными расслабляющими средствами, между которыми самые обыкновенные: испарения, болотные или человеческие, невоздержность, страх и холод. Лишь только ослабнет энергия мозга, как начинается уже болезнь. Она быстро распространяется по нервной системе, и первым ощутительным действием ее бывает дрожь или озноб, сопровождаемый судорогой в оконечностях артерий, в особенности же там, где они касаются поверхности тела. Эта судорога в оконечностях сосудов производит раздражение в сердце и артериях, и раздражение это продолжается, пока не пройдет судорога. В то же время усилившаяся деятельность сердца восстанавливает энергию мозга; вся система оправляется; оконечности сосудов получают облегчение, и, как результат всего этого движения, выделяется пот и лихорадка утихает. Итак, откинув всякие соображения о жидких составных частях тела, последовательные переходы болезни — томление, озноб и жар, можно, по мнению Келлена, обобщить посредством умозаклучения от одних только твердых частей; на этом, кроме того, основывалось хорошо известное различие, полагаемое им между лихорадками, продолжительность которых зависит от слишком большой силы судорог, и теми, продолжительность которых происходит от избытка слабости.

Из подобного же процесса мысли возникла его «Носология», или общая классификация болезней, которую некоторые считали за самую ценную часть его сочинений, хотя, по причинам, уже упомянутым нами, мы должны, я полагаю, отвергать всякие этого рода попытки, как преждевременные и могущие сделать более зла, чем добра; разве что они будут употребляться в дело чисто как приемы, служащие для облегчения памяти. Как бы то ни было, но Келленова «Носология», хотя в ней и видны ясные следы его мощного, образовательного ума, быстро утрачивает известность, и мы можем быть уверены, что долгое время подобная же участь будет постигать и его преемников. Наше знание патологии еще слишком молодо для такого предпрятия. Мы имеем все причины ожидать, что с помощью химии и микроскопа оно будет возрастать все быстрее и быстрее. Не пытаюсь опреде-

лять вперед, до каких оно дойдет размеров, мы можем, однако, составить себе некоторое понятие об этом по тому уже, что было сделано с гораздо меньшими средствами, чем те, которыми мы теперь располагаем. В одном сочинении, пользующемся большим авторитетом, которое было издано в 1848 г., говорится, что со времени появления в свет Келленовой «Носологии» самый уже наш список болезней почти что удвоился, между тем как наше знание фактов, относящихся к болезням, более чем удвоилось.

Мне остается еще прибавить одно только имя к блестящему каталогу великих шотландцев XVIII столетия. Но это имя человека, который по объему и оригинальности своего гения следует непосредственно за Адамом Смитом и должен быть поставлен гораздо выше всякого другого из философов, каких произвела Шотландия. Я разумею, конечно, Джона Гентера, единственным недостатком которого была по временам неясность не только слога, но и мысли. В этом отношении, и, пожалуй, в этом только одном, Адам Смит имел перед ним преимущество, потому что ум Смита был так гибок и так свободен в своих движениях, что и самые обширные задачи не были в состоянии пересилить его. С Гентером бывало противное: казалось иногда, как будто бы ум его озадачивался величием своих собственных предначертаний и недоумевал, по какому пути ему устремиться. Он колебался; выражение его мысли бывало неопределительно⁵⁸. Все-таки способности его были так необычайны, что между мастерами органической науки он принадлежит, я полагаю, к одному разряду с Аристотелем, Гэрвеем и Биша и стоит выше как Голлера, так и Кювье. Относительно этой классификации люди будут различного мнения, смотря по тем понятиям, какие они имеют о сущности науки, и в особенности смотря по тому, в какой мере они сознают важность философского метода. С этой последней точки зрения мне и предстоит теперь рассмотреть характер Джона Гентера. Следя за движениями его в высшей степени замечательного ума, мы найдем, что в нем дедукция и индукция соединялись теснее, чем в каком-либо другом шотландском уме семнадцатого или восемнадцатого столетия. Причины этого необычного сочетания я теперь попытаюсь привести в известность. Когда они будут поняты, то они не только объяснят многие особенности, встречающиеся в его сочинениях, но и доставят материалы для умозрения тем, которые любят следить за развитием идей и которые способны понять, каким образом различные складывания мысли наций придали различные формы национальному характеру и тем влияли на весь ход дел человеческих в такой сильной степени, какой обыкновенные компиляторы в истории нисколько и не подозревают.

Гентер (род. 1728 г.) оставался в Шотландии до двадцатилетнего возраста, а потом, в 1748 г., поселился в Лондоне и хотя пробыл за границей около трех лет, но совершенно забыл свою родину и сделался в социальном и умственном отношении природным англичанином. Следовательно, первые ассоциации идей

в его уме возникли среди дедуктивной нации, а позднейшие — среди индуктивной. В течение двадцати лет он жил среди народа, который оказывается едва ли не самым тонким мыслителем в Европе, если согласиться с ним в тех основных началах, от которых он умозаключает; но с другой стороны, благодаря своей склонности к этому методу, он так жаден к общим началам, что принимает их почти без разбора доказательств и является, таким образом, в одно и то же время и весьма легковерным, и весьма логичным. В этой школе и в таких привычках воспитывался ум Джона Гентера в период самой сильной впечатлительности его. Затем произошла внезапная перемена декораций. Прибыв в Англию, он провел сорок лет среди самой эмпирической нации в Европе — нации, питающей полнейшее отвращение ко всяким общим началам, гордящейся своим здравым смыслом, хвастающей, и не без основания, своей практической сообразительностью, громко провозглашающей превосходство фактов над идеями и презиравшей всякую теорию, если только от нее нельзя ожидать непосредственной, прямой выгоды. Молодой и пылкий шотландец увидел себя перенесенным в страну, совершенно отличную от той, которую он только что оставил; и различие это не могло не повлиять на его ум. Он видел со всех сторон признаки благоденствия и долгого непрерывного успеха не только в практической, но и в умозрительной жизни; и ему говорили, что все это плод системы, ставящей выше всего факты. Он жаждал славы, но в то же время понимал, что путь к ней в Англии не тот же самый, что в Шотландии. В Шотландии великого логика сочли бы за великого человека; в Англии же мало обратили бы внимания на прелесть его логики, если бы он не озаботился, чтобы посылки, от которых он исходил, заслуживали доверия, были проверены опытом. Новая машина, новый опыт, открытие какой-нибудь соли или какой-нибудь кости были бы встречены в Англии с большим уважением, чем какое-нибудь глубокое умозрение, из которого нельзя было бы усмотреть очевидных результатов. Что такой образ воззрения на вещи сделал много хорошего, это достоверно. Но так же достоверно, что он односторонен и удовлетворяет только одну часть человеческого ума. Многие из возвышеннейших умов стремятся к чему-то, чего нельзя достигнуть при таком взгляде. В Англии, однако, в течение значительной части XVIII столетия взгляд этот имел еще большее преобладание, чем имеет в настоящее время, и был до такой степени всеобщим, что с 1727 г. почти до конца столетия страна наша не имела ни по одной отрасли науки такого мыслителя, который был бы в силах подняться выше тех узких взглядов, какие считались тогда совершенством мудрости⁵⁹. Многое было прибавлено к нашему знанию, но отдаленные пределы его не были расширены; хотя прибавилось много любопытных и ценных подробностей, хотя было сообщено много мелких, ближайших законов природы, нельзя, однако, не согласиться, что те возвышенные обобщения, которыми мы обязаны семнадцатому

столетию, оставались неподвижны, и что не было сделано никакой попытки перейти за их пределы. Когда Джон Гёнтер прибыл в Лондон в 1748 г., то уже прошло слишком двадцать лет со смерти Ньютона, и английский народ, погруженный в практические заботы и только начинавший вступать на поприще политической жизни, проникся большим, чем когда-либо, отвращением к исследованиям, которые стремились к истине, не имея в виду пользы, и привык дорожить наукой главнейшим образом ради прямой, осязательной выгоды, какую он мог надеяться извлечь из нее.

Что на Гёнтера должны были повлиять эти обстоятельства, это будет ясно для всякого, кто сообразит, как трудно для отдельного ума избежать давления современных мнений. Но так как его ранние ассоциации идей склоняли его в другую сторону, то мы и замечаем, что в течение своего долгого пребывания в Англии он находился под влиянием двух сталкивающихся сил. Родная страна делала его дедуктивным, отечество уже по усыновлению — индуктивным. Как шотландец, он предпочитал умозаключение от общих начал к частным фактам; как житель Англии, он приобрел привычку к противоположному порядку умозаключения от частных фактов к общим началам. Во всякой стране люди естественным образом отдают предпочтение тому, что больше ценится. Англичане уважают факты больше, чем общие начала, и потому начинают с фактов. Шотландцы полагают большую важность в общих началах. И я нисколько не сомневаюсь, что одна из причин, по которым Гёнтер в исследовании какого-нибудь предмета часто бывает неясен, заключается в том, что в подобных случаях его ум делился между этими двумя враждебными методами и, склоняясь раз к одному, другой раз к другому, не был в состоянии решить, которому из них он должен последовать. Эта борьба затемняла его ум. Адам Смит, с другой стороны, как и все вообще шотландцы, остававшиеся в Шотландии, был замечательно ясен. Он, подобно Юму, Блэку и Келлену, никогда не сбивался с своего метода. Эти замечательные люди не подпадали английскому влиянию. Из всех знаменитейших шотландцев XVIII столетия один Гёнтер поддался этому влиянию, и один он выказал известную шаткость, известную сбивчивость мысли, которая, по-видимому, неестественна в таком великом уме и, как мне кажется, лучше всего может быть объяснена исключительными обстоятельствами, в которые он был поставлен.

Один из даровитейших комментаторов Гёнтера справедливо заметил, что врожденной склонностью его было строить догадки относительно законов природы и затем от них уже вести умозаключение книзу, вместо того чтобы восходить к ним путем медленной и постепенной индукции. Этот процесс дедукции был, как я уже доказал, любимым методом всех шотландцев, и потому его именно нам следовало бы ожидать и от Гёнтера. Но так как он был окружен последователями Бэкона⁶⁰, то эта врожденная

склонность была пересилена в нем, и он посвятил значительную часть своей дивной деятельности таким наблюдениям и опытам, в какие никогда не вдался бы ни один шотландский мыслитель, живущий в Шотландии. Он сам объявил, что его наслаждение — мыслить, и не может быть никакого сомнения, что если бы он был иначе поставлен, то мыслить было бы и его главным занятием; как бы то ни было, но трудолюбие, с каким он собирал факты, составляет одну из самых заметных черт в его жизни. Изыскания его обнимали всю область животного царства и производились с таким неутомимым рвением, что он анатомировал слишком пятьсот различных видов, независимо от диссекций различных индивидуумов и независимо также от диссекций огромного числа растений. Результаты таких работ были тщательно приведены в порядок и собраны им в ту дивную коллекцию, о громадности которой мы можем составить себе некоторое понятие из свидетельства, что перед его смертью в ней было слишком 10 000 препаратов, служащих объяснению явлений природы. Этим путем он так близко ознакомился с животным царством, что сделал множество открытий, которые и сами по себе уже любопытны, а взятые в совокупности, образуют неоцененное сокровище истин. Из них наиболее важные: открытие истинных свойств кровообращения ракообразных животных и насекомых, открытие органа слуха у головоногих, открытие способности моллюсков всасывать свои раковины, открытие факта, что пчелы не собирают воска, а выделяют его из себя, открытие полукружных каналов у китообразных, лимфатических сосудов у птиц и воздушных клеточек в костях птиц. Нас уверяют также, что он упредил недавние открытия относительно зародыша двуутробки, а изданные сочинения его доказывают, что у человека он открыл мускульность артерий, мускульность радужной оболочки и пищеварение, совершаемое желудком, после смерти, с помощью собственного его сока. Хотя в его время животная химия еще не была возведена в систему и потому мало обращала на себя внимание физиологов, Гентер все-таки попытался с помощью ее исследовать качества крови, для того чтобы привести в известность свойства ее составных частей. Он также изучал ее на различных ступенях жизни зародыша и, тщательно проследив за ней во все периоды его развития, сделал капитальное открытие, что красные шарики крови образуются позже других составных частей ее. Однако современники его так мало признавали важность этой великой физиологической истины, что она была мертва для них; о ней позабыли, и спустя около пятидесяти лет после этого она снова была открыта и в 1832 г. возведена Дельпе и Костом во Французской академии наук как закон природы, только что приведенный в известность. Это один из многих примеров в истории нашего знания, доказывающий, как бесполезно для человека слишком далеко уходить вперед того времени, в которое он живет. Но Гентер, кроме того, что сделал открытие, понял также и его смысл. Он заключил из него, что

назначение красных шариков скорее служит для укрепления системы, чем для восстановления ее. Теперь эта истина всеми признана, но ее признали лишь долгое время спустя после его смерти. Признанием своим она обязана главнейшим образом быстрым успехам животной химии и усовершенствованию микроскопа. Ибо с употреблением в дело этих средств стало очевидным, что красные шарики, процесс дыхания, произведение животной теплоты и энергия органов произвольного движения суть только различные части одной и той же системы. Их взаимная связь подтверждается не только сравнением различных членов одного и того же вида. В человеческом существе, например, отправление движения и другие животные отправления бывают деятельнее в личностях сангвинического темперамента, чем у лимфатиков, и в то же время у людей сангвинического темперамента более и красных шариков, чем у людей темперамента лимфатического. Познанием этого факта мы обязаны Лекамя; ему также мы обязаны подобным же фактом, подкрепляющим то же самое воззрение. Он доказал, что в крови женщин содержится более воды и менее красных шариков, чем в крови мужчин, так что и в этом опять мы усматриваем соотношение между этими шариками и энергией животной жизни. Но так как эти изыскания были сделаны лишь много лет спустя по смерти Гёнтера, то совпадение их с его умозрительными выводами служит разительным доказательством его способности к обобщению и неслыханного знания сравнительной анатомии, доставившего ему материалы, из которых, несмотря на отсталость животной химии, он был в состоянии вывести заключение, положительным образом подтвержденное позднейшими, более подробными изысканиями⁶¹.

Найдя, таким образом, с помощью широкого обзора царства животных соотношение между их замечательной способностью к движению и состоянием их крови, Гёнтер обратил затем внимание на другую сторону вопроса и принял в соображение движения растительного царства в той надежде, что, сравнивая эти два отдела природы, он откроет какой-нибудь закон, который, будучи общим для их обоих, сольет в один предмет изучения все основные начала органического движения. Хотя он и не имел успеха в этом великом предприятии, все-таки некоторые из его обобщений чрезвычайно знаменательны и прекрасно характеризуют силу и проницательность его ума. Смотря на органический мир как на одно целое, он предположил, что его способность к деятельности—как в животном, так и в растениях—тройного рода. К первому роду относится действие каждого индивидуума на содержащиеся уже в нем материалы, отчего происходит рост, отделения и другие отправления, в которых сок растений соответствует крови животных. Второй род действия имеет целью увеличивать количество этих материалов; он всегда вызывается нуждой, и результатом его бывает питание и сохранение неделимого. Третий род совершенно зависит от внешних

причин, обнимающих весь материальный мир, каждое явление которого служит возбуждением к какому-нибудь действию. Делая разные сочетания этих различных источников движения и изучая всякое возбуждение к деятельности, во-первых, по отношению к одному из только что указанных нами трех делений, а во-вторых, по отношению к силе действия, различаемой от количества его, Гёнтер верил, что этим путем могут быть открыты какие-нибудь основные истины если не им самим, то по крайней мере его преемниками. Он думал, что, хотя животные могут делать многое, чего растения делать не в состоянии, все-таки непосредственная причина действия как у тех, так и у других бывает одна и та же. В животных больше разнообразия движения, в растениях же больше истинной силы. Лошадь, конечно, сильнее человека. А между тем виноградная лоза может не только сдерживать на себе, но и двигать кверху столб жидкости в пятеро большей вышины, чем тот, какой по силам лошади. Самая та сила, которую проявляет растение, когда оно держит лист выпрямленным целый день, без отдыха и без утомления, представляет собой удивительное напряжение и служит одним из многих доказательств, что тут действует начало восполнения и что, следовательно, та же энергия, которая в животном мире ослабляется направлением ее на многие предметы, в мире растительном крепнет от сосредоточения в малом числе их.

Преследуя эти умозрения, в которых рядом с многими недовольными вещами содержится, я вполне убежден в этом, и значительное количество важных, хотя и оставленных без внимания, истин, Гёнтер дошел до вопроса о том, каким образом производится движение разными такими силами, как магнетизм, электричество, тяготение и химическое притяжение. Это завело его в область неорганической науки, которая, как он ясно видел, должна лежать в основании всякой науки о мире органическом. Как, с одной стороны, невозможно было бы с успехом изучать человеческое тело без помощи общих начал, выведенных из исследования низших животных, точно так же с другой, говорит Гёнтер, к законам, которым подчинены самые эти животные, должно пролагать путь через законы простой, неорганической материи⁶². Следовательно, целью его было ни более ни менее как соединить все отрасли естествознания в порядке, определяемом их относительной сложностью, начиная с самой простой и переходя постепенно к самой запутанной. В этих видах он рассматривал строение ископаемого царства и путем обширного сравнения кристаллов пытался обобщить основные начала формы, точно так же как из сравнения животных он старался вывести общие начала отправления. И при этом он принимал в соображение не только правильные кристаллы, но и неправильные; ибо он знал, что в природе нет собственно ничего неправильного, нестройного, хотя несовершенство нашей познавательной способности или скорее отсталость нашего знания не дает нам различать симметрии всего здания природы. Красота плана и не-

обходимость последовательности не всегда бывают заметны. Вот почему мы слишком склонны воображать, что цепь прервана, когда не бываем в состоянии различать все ее звенья. От этой важной ошибки Гентер был огражден своим гением еще более, чем своими познаниями. Успокоившись на той мысли, что все совершающееся в материальном мире так тесно связано со своим предыдущим, что составляет неизбежное последствие его,—он смотрел истинно научным взглядом на самые странные и самые причудливые формы, которые в его глазах имели свое значение, свою необходимую цель. Ему они не казались ни странны, ни причудливы. Он видел в них отклонения от естественного хода; но основной мыслью его философии было, что природа даже среди подобных отклонений все-таки сохраняет своего рода правильность, или, как он выражается в другом месте, что отклонение входит при известных обстоятельствах в закон природы.

Обобщить такие неправильности или, другими словами, доказать, что это вовсе не неправильности, было главной задачей всей жизни Гентера, прекраснейшей частью его призвания. Вот почему, несмотря на его обширные труды по части физиологии, любимым предметом его была патология, в которой рассматриваемые явления более сложны и потому представляют более простора для ума. На том обширном поле он изучал отклонения от правильности в форме и в отправлениях как в растительном, так и в животном царстве⁶³, и в то же время при рассмотрении отклонений в форме, составляющих внешнее проявление извращенного строения, он принимал в расчет явления, представляемые царством ископаемым. Там главной чертой является сила кристаллизации, а нарушения симметрии составляют существенный беспорядок, утратил ли кристалл свою форму уже после своего образования, или же эта неправильность формы, будучи результатом обстоятельств, предшествовавших образованию кристалла, составляет в нем первоначальный или, если можно так выразиться, врожденный недостаток. В обоих случаях явление это составляет отклонение от нормального типа и имеет, следовательно, аналогию со всеми уродливостями как животного, так и растительного царства. Ум Гентера, издевавшееся такое громадное поле мысли, дошел до такой высоты взглядов в теории болезни, что по этой отрасли знания ему, конечно, нет равного. В физиологии с ним равнялся и, пожалуй, превосходил его Аристотель, но, как патолог, он остается единственным в своем роде, если принять в соображение, в каком виде он застал патологию и какой она осталась после него. Со времени его смерти быстрые успехи патологической анатомии и химии изменили некоторые из его учений, а иные и вовсе ниспровергли. Это было делом людей низшего разряда, но пользовавшихся более совершенными вспомогательными средствами химии и микроскопа. Сказать, что преемники Джона Гентера стоят ниже его, ничуть не значит дурно отзываться об их способностях, так как

он был одной из тех чрезвычайно редких личностей, которые появляются после долгих промежутков времени и когда появляются, то перестраивают на новый лад все здание науки. Они производят революцию в нашем образе мыслей, они подстрекают ум к восстанию; это — возмутители и демагоги в науке. Хотя патологи XIX столетия избрали более скромный путь, это не должно, однако, заслонять от нас их заслуги, ни мешать нашей благодарности за все, сделанное ими. Тем не менее никогда не будет лишним напомнить нам, что истинно великие люди, единственные вечные благодетели своей породы, это не великие производители опытов, не великие наблюдатели, не люди с большой начитанностью, не великие ученые, а великие мыслители.

Мысль — это творческое и живительное начало во всех делах человеческих. Деяния, факты, всякого рода внешние проявления часто торжествуют на время, но только успех идей окончательно решает преуспевание света. Пока они не изменятся, всякая другая перемена будет поверхностной, и всякое улучшение непрочным. Очевидно, однако, что при настоящем состоянии нашего знания все идеи касательно природы должны относиться или к нормальному, или аномальному, т. е. должны иметь дело или с тем, что правильно, однообразно и верно признанным началам, или же с тем, что неправильно, непоследовательно и несогласно с общими началами. Из этих двух категорий идей первая — принадлежность науке, вторая — суеверию. Джон Гентер задумал великое дело — слить оба рода идей в один, доказав, что нет ничего неправильного, ничего непоследовательного, ничего несогласного с общими началами. Пройдут, может быть, целые столетия, прежде чем осуществится этот план, но то, что сделал для этого Гентер, уже ставит его во главе всех патологов, как древних, так и новых. Ибо у него под наукой патологии разумелись законы болезни не в одном человеке, ни в животных вообще, ни даже в целом органическом мире, а законы болезни и уродства во всем материальном мире, как органическом, так и неорганическом.

Великой задачей его было построить науку об аномальном. Он постановил себе за правило смотреть на природу как на одно громадное целое, представляющее, конечно, в различные времена различные явления, но сохраняющее среди всяких перемен основное начало однообразного и непрерывного порядка, не допускающее никакого отклонения, не подвергающееся никакому расстройству и не проявляющее никакой действительной неправильности, хотя для простого глаза неправильности изобилуют со всех сторон.

Так как патология была наукой, которой наиболее преданся Гентер, то в ней сильнее всего проявлялась и его врожденная страсть к дедукции. Здесь гораздо более, чем в его физиологических исследованиях, замечаем мы желание с его стороны умножать число основных начал, от которых он мог бы вести

умозаключение, в противность индуктивному методу, всегда стремящемуся уменьшить число таких начал, посредством постепенного, последовательного анализа. Так, например, в своей животной патологии он пытался провести, как конечное начало, от которого он мог бы умозаключить далее, ту мысль, что все болезни (кроме рака) развиваются гораздо быстрее в сторону кожи, чем в сторону внутренних частей, повинаясь какой-то скрытой силе, которая заставляет также растения приближаться к поверхности Земли. Другим любимым положением его, которое он часто употреблял как большую посылку и с помощью которого он строил дедуктивно патологическое умозаключение,— было, что ни в каком веществе, какое бы оно ни было, не могут совершаться два процесса в одной и той же части в одно и то же время. Применяя это всеобщее положение к более ограниченным явлениям животной жизни, он пришел к такому выводу, что две общие болезни не могут существовать одновременно в том же неделимом; и он так сильно полагался на это умозаключение, что не хотел верить никакому свидетельству против него.

Есть, однако, повод думать, что его вывод ошибочен и что различные болезни могут таким образом сопровождать одна другую, чтобы совмещаться в одном и том же неделимом, в одно и то же время и в одной и той же части его⁶⁴. Так ли оно действительно или нет, но тем не менее интересно заметить тот процесс мышления, в силу которого Гентер несравненно более трудился над умозаключением от общей теории, чем над умозаключением, восходящим к ней. Едва ли даже можно сказать, чтобы он вовсе умозаключал к теории, так как он приходил к ней путем резкого и торопливого вывода из того, что казалось ему очевидным свойством неорганической материи. Придя к ней таким образом, он применил ее к патологическим явлениям органического мира, и в особенности мира животного. Что он избрал такой именно путь, это служит любопытным доказательством силы его дедуктивных привычек и энергии его ума, давших ему возможность до такой степени ни во что не ставить предания своих современников в Англии, чтобы следовать методу, который, по мнению всех окружавших его, не только был исполнен опасности, но и не мог никогда привести к истине.

Другие части его патологии изобилуют подобными же примерами, показывающими, до какой степени он озабочивался предвзятием основных начал, на которых ему можно было бы строить умозаключения. В таком роде были его идеи относительно связи между сочувствием и деятельностью. Он проводил мысль, что самые простые формы сочувствия, вероятно, оказались бы в мире растительном, потому что в нем общий строй менее запутан, чем в мире животном. На этом предположении он построил целый ряд любопытных и утонченных умозрений, из которых, однако, я должен ограничиться лишь весьма кратким извлечением. В животных более сочувствия, чем в растениях; из

этого нам легко понять, почему и движения их многочисленнее. Ибо сочувствие есть восприимчивость к впечатлению, а следовательно, и побудительная причина к действию. Как и все другие причины действия, сочувствие может быть или естественное, или болезненное. Но какое бы оно ни было, развитие его в растениях возможно только одним путем, ибо в них на него могут иметь влияние только возбуждения, между тем как в животных, способных к ощущению, оно по необходимости развивается трояким путем: от возбуждений, от ощущения и от того и другого вместе. Это самые широкие деления сочувствия, представляющиеся нам при взгляде на органический мир, как на одно целое. В отдельных случаях, однако, сочувствие допускает и дальнейшие подразделения. Мы можем умозаключать от него, сообразуясь с темпераментом, ибо на самом деле темперамент есть не что иное, как восприимчивость к действию. И когда сочувствие находится в действии, мы можем, анализируя наше представление о нем, подвести его под пять различных категорий, можем признать его: или непрерывным, или смежным, или отдаленным, или сходным, или несходным. Все это давало Гёнтнеру общие начала, исходя от которых, путем дедуктивного умозаключения, он пытался объяснить факты болезни; ибо, по его мнению, болезнь есть не более как недостаток должного сочетания действий. Под влиянием этого процесса мысли он пренебрег теми предрасполагающими причинами, на которые индуктивные патологи обращают большое внимание и которые занимали важное место в сочинениях его современников в Англии. Такие причины могли быть обобщены только путем наблюдения, а Гёнтнер нисколько не принимал их в расчет. Он даже отрицает существование их в действительности и утверждает, что предрасполагающая причина — это не более как усиленная восприимчивость к получению расположения к действию.

Умозаключая от этих двух идей — от идеи действия и идеи сочувствия, Гёнтнер построил дедуктивную, или синтетическую, часть своей патологии. Он поступил в этом случае, как шотландец; и если б он всегда жил в Шотландии, то он, вероятно, на этом и остановился бы. Но, проведя сорок лет в кругу англичан и набравшись умом английских привычек, он приобрел отчасти и английский склад мысли. Поэтому мы находим, что значительная часть его патологии так индуктивна, как только мог желать этого и самый ревностный ученик Бэкона, и представляет в этом отношении разительную противоположность с чисто синтетическим методом Келлена, другого великого шотландского патолога. Однако этой попыткой смешать оба метода Гёнтнер одинаково сбивал с толку и самого себя, и своих читателей. Отсюда происходила та темнота мысли, которую замечали и самые жаркие поклонники его, хотя они и не сознавали ее причины. Как ни были велики его силы, он все-таки не мог достигнуть полного слияния индукции; и никто не удивится этому, если только припомнит, какую неудачу претерпели в этом труднейшем из всех

предприятий некоторые из величайших мыслителей. Из древних Платону, а с ним и всем его последователям не далась индукция; никто из них не имел достаточного доверия к фактам и к процессу умозаключения от частного к общему. Среди новейших же мыслителей Бэкону не доставало дедукции, и тот же недостаток замечался во всех бэкониянцах; существенно слабой стороной этой школы было то, что она гнушалась умозаключения от общих положений и слишком низко ставила силлогизм. Можно даже усомниться в том, найдется ли во всемирной истории более двух примеров того, чтобы естествоиспытатель был одинаково велик и в том, и в другом образе исследования. Эти двое были Аристотель и Ньютон; они владели обоими методами с одинаковой легкостью, соединяя ловкость и смелость дедукции с осмотрительностью и выдержанностью индукции; они одинаково мастерски справлялись как с синтезом, так и с анализом, одинаково были способны как к нисхождению от общего к частному, так и к восхождению от частного к общему, то предпосылая идеи фактам, то факты идеям, но никогда не колеблясь, никогда не сомневаясь в выборе пути и никогда не допуская, чтобы которая-либо из двух систем умозаключения брала недоличный перевес над противоположной ей. Что Гентер не был в состоянии сделать то же самое, это только служит доказательством, что он не дорос до этих двух мыслителей, из которых каждый по своим почти неимоверным деяниям имеет право называться чудом человеческой породы. Но и то, что сделал Гентер, было удивительно, и ему также в его отрасли исследования еще не было до сих пор равного. Очерк характера и объема его изысканий, представленный мною выше, при всем несовершенстве своем может все-таки послужить к уяснению антагонизма между шотландским и английским умами, показав, каким образом методы, свойственные каждой из этих двух наций, оспаривали друг у друга право на преобладание в этом великом уме, находившемся под влиянием обеих систем. Какой именно из методов преобладал у Гентера, сказать довольно трудно, но то достоверно, что борьба между ними смущала его ум. Достоверно также, что, благодаря своей любви к дедукции, или к умозаключению от общих идей, он имел гораздо менее влияния на своих современников в Англии, чем имел бы в том случае, если бы он исключительно следовал их любимому методу умозаключения от частных фактов. Отсюда происходила несоразмерность между его значением и его заслугами. Что касается его заслуг, то теперь признано, что независимо от его физиологических открытий и предложенных им важных патологических воззрений мы можем приписать ему почти все усовершенствования, какие были сделаны в хирургии в течение около сорока лет по его смерти (... 1793 г.). Он первый объяснил и даже первый признал болезнь воспаления вен, которая случается довольно часто и была последнее время очень много изучаема под именем Phlebitis, до него же была приписываема совершенно ложным причинам. На воспаление вообще он пролил такой свет,

что учения, которые он защищал и которые были тогда поднимаемы на смех, как причудливые нововведения, теперь преподаются в школах и перешли в число обыкновенных преданий медицинской профессии⁶⁵. Он ввел, кроме того, в хирургию едва ли не самое капитальное усовершенствование, какое случалось когда-либо сделать одному человеку, а именно перевязывание, в аневризме, артерии на некотором расстоянии от пораженного места. Одна эта догадка спасла жизнь тысячи людей; и как самой догадкой, так и первым удачным применением ее мы вполне обязаны Джону Гентеру, который, если бы даже не сделал ничего другого, то уже за это одно имел бы право быть причисленным к величайшим благодетелям рода человеческого⁶⁶.

Но собственно для непосредственной репутации его все это было напрасно. Он жил среди людей, не имевших никакого сочувствия к тому процессу мышления, который был наиболее свойствен ему. Они ни во что не ставили идей, если только идеи эти не согласовались с видами прямой, осязательной пользы; он же дорожил идеями ради их самих, ради заключающейся в них истины, независимо от всяких других соображений. Современники его в Англии, люди благоразумные и сметливые, но близорукие, видящие не много вещей зараз, но видящие их с удивительной ясностью, были не в состоянии оценить его многообъемлющие умозрения. Поэтому в их глазах он был не более как нововводитель, как человек восторженный. По этому самому даже введенные им практические усовершенствования были приняты холодно, как проистекающие из такого подозрительного источника. Великий шотландец, брошенный в среду народа, умственные привычки которого не подходили к его привычкам, стоял, говорит один из знаменитейших учеников его, в положении одинокого, безотрадного превосходства⁶⁷. Действительно, так мало обращали на него внимания даже люди той самой профессии, которой он был лучшим украшением, что в продолжение многих лет, когда он читал лекции в Лондоне об анатомии и хирургии, число его слушателей ни разу не доходило до двадцати человек.

Я окончил теперь свой разбор умственного движения в Шотландии в XVII и XVIII столетиях. Различие между этими двумя периодами должно поразить всякого читателя. В XVII столетии способнейшие шотландцы тратили свои силы на теологические предметы, относительно которых мы не имеем достоверных сведений, ни возможности собрать их. По этого рода вопросам разные лица и разные нации, одинаково честные, одинаково просвещенные и одинаково способные судить о них, имели и теперь еще имеют самые различные мнения, которые они защищают с величайшей уверенностью и подкрепляют доводами, вполне удовлетворительными для них самих, но презрительно отвергаемыми их противниками. Каждая из спорящих сторон признает истину за собой; поэтому беспристрастному исследователю, т. е. тому, кто действительно любит истину и знает, как трудно она

достается, приходится искать каких-нибудь средств добросовестно разобрать эти сталкивающиеся притязания и решить, которые из них правы, а которые нет. Чем далее он заходит в своих розысках, тем более он убеждается, что таких средств не существует и что этого рода вопросы если и не выходят вообще из границ человеческого разума, то во всяком случае превышают его настоящие средства и не дают никакой надежды на разрешение до тех пор, пока еще не решены другие, более простые задачи. Странно было бы в самом деле, если бы мы, незнакомые со столькими вещами меньшей, второстепенной важности, были в состоянии открыть и разгадать эти отдаленные и сложные тайны. Странно было бы, если бы нам, которые, несмотря на все сделанные нами успехи, находимся еще только в начале нашего пути и которые, подобно детям, можем ходить только нетвердой поступью и едва в состоянии двигаться, не спотыкаясь, даже по гладкой и ровной почве, если бы нам все-таки удалось взобраться на те одуряющие высоты, которые, нависая над нашей дорогой, манят нас туда, где нас ждет верное падение. Но, по несчастью, люди во все времена так мало сознают свои слабости, что не только берутся за это невозможное дело, но даже бывают уверены, что совершили его. Между людьми, сделавшимися добычей подобного обольщения, есть всегда известное число таких, которые, став на эту воображаемую высоту, до такой степени увлекаются своим мнимым превосходством, что берутся поучать, увещевать и порицать остальное человечество. Выдавая себя за духовных советников, за преподавателей того, что они сами еще не изучили, они представляют собой самое прочное из сочетаний — соединение страшного невежества со страшным высокомерием. Из этого неизбежно вытекают другие два зла. Невежество порождает суеверие, а высокомерие порождает тиранию. Вот почему в стране, как Шотландия, где под продолжительным гнетом неблагоприятных обстоятельств окрепла власть этих мнимых мудрецов, во всем замечаются такие грустные последствия. Не только национальный характер, но и национальная литература отзываются их влиянием, носят на себе их отпечаток. Поэтому естественно, что в Шотландии в XVII столетии, когда власть духовенства была совершенно неограниченна, последствия такого порядка вещей обнаружались особенно явственно. Естественно, что образовалась такая литература, как та, которой характер я изобразил уже выше; литература, поощрявшая суеверие, неверотерпимость и ханжество; литература, полная мрачных опасений и еще более мрачных угроз; литература, поучавшая людей, что грешно наслаждаться настоящим и праведно трепетать перед будущим; словом, литература, которая, разливая повсюду мрак, окисляла нрав, извращала чувства, обессиливала ум и совершенно роняла в глазах людей те смелые и оригинальные исследования, без которых невозможен успех в человеческом знании, а следовательно, невозможно и увеличение человеческого благосостояния.

Всему этому литература XVIII столетия представляла разительную противоположность. Казалось, будто все мгновенно

изменилось. Бальи, Бининги, Диксоны, Дерамы, Флеминги, Фрэзеры, Джиллеспы, Геттри, Галибертоны, Гендерсоны, Ретерфорды и вся эта монашеская братия были сменены замечательными, смелыми мыслителями; их гений озарил все отрасли знания, их умы, свежие и бодрые, как утро, наши себе новое поприще и обеспечили своему отечеству почетное место в летописях европейского ума. Кое-что из сделанного ими я уже пытался рассказать; многое, однако, осталось недосказанным. Но я достаточно привел доказательств, чтобы убедить даже читателя с особенно скептическим настроением в блистательности их подвигов и в существовании различия между созданной ими дивной литературой и жалкими произведениями, обезобразившими предшествовавшее столетие.

Но как ни велико было различие между этими двумя литературами, все-таки они имели, как я уже доказал, одну важную черту, общую им обеим. Обе были существенно дедуктивны; и, доказывая это, я вдавался в довольно большие подробности, потому что, сколько мне известно, обстоятельство это ускользнуло от внимания всех предшествовавших исследователей, а между тем последствия его имели первостепенную важность для судьбы Шотландии, и, кроме того, оно исполнено интереса для тех, которые в исследовании дел человеческих желают проникнуть несколько глубже самой поверхности, самых наружных признаков вещей.

Если мы бросим общий взгляд на те страны, в которых разрабатывалась наука, то найдем, что везде, где только преобладал дедуктивный метод исследования, знание хотя часто возрастало и накапливалось, но никогда не бывало широко распространено. Мы найдем, с другой стороны, что когда преобладал индуктивный метод, то знание бывало значительно распространено или по крайней мере несравненно более, чем во время перевеса дедукции. Замечание это верно не только для различных стран, но и для различных периодов в одной и той же стране. Оно верно даже для различных индивидуумов, живущих в один и тот же период в одной и той же стране. Если бы в какой-нибудь цивилизованной нации два человека, одинаково даровитые, предъявили какой-нибудь новый поразительный вывод и один из этих людей стал защищать свой вывод посредством умозаключения от идей или общих начал, а другой — посредством умозаключения от частных, видимых фактов, то не может быть никакого сомнения, что при равенстве всех других условий последний приобрел бы более сторонников. Его вывод легче распространился бы единственно потому, что прямое обращение с первого же раза к осязательным фактам производит немедленное действие на массу; между тем как обращение к началам выходит из круга ее понятий, и так как она не сочувствует подобному приему, то она склонна поднять его на смех. Факты, по-видимому, для всякого ясны, они непреложны. Начала же не так очевидны и, будучи часто оспариваемы, становятся для тех, кто не усваивает

их себе, чем-то недействительным, каким-то обольщением, и это ослабляет их влияние. Вот почему индуктивная наука, в которой первое место везде занимают факты, бывает по преимуществу популярна и имеет на своей стороне бесчисленное множество таких людей, которые не станут слушать самых хитрых и тонких доводов дедуктивной науки. Вот почему также мы видим из истории, что введение новейшей индуктивной философии, с ее разнообразными и заманчивыми опытами, ее материальными применениями и ее постоянным обращением к чувствам, было тесно связано с пробуждением общественного духа и совпадало с возникновением того духа исследования и той любви к свободе, которые начиная с XVI столетия постоянно развивались. Мы можем с уверенностью сказать, что скептицизм и демократическое направление составляют две главнейшие черты этого великого научного движения. Семнадцатое столетие, которое ввело Бэконовскую философию, было замечательно своим духом неподчиненности, в особенности в стране, где родилась эта философия и где она наиболее процветала. В следующем веке она была перенесена во Францию и там также подействовала на дух народа и была, как я уже заметил, одной из главнейших причин Французской революции.

Если мы вникнем еще глубже в этот интересный вопрос, то найдем дальнейшее подтверждение того взгляда, что выводы индуктивной философии легче распространяются в массе, чем заключения дедуктивные. Индуктивная наука опирается прямо на испытание или по крайней мере на научный опыт, который есть не что иное, как искусственно устроенное испытание. Затем, огромное большинство людей даже в самых передовых странах бывают по своему умственному складу неспособны усваивать себе общие начала и применять их к ежедневным делам, не причиняя серьезного вреда ни себе самим, ни кому-либо другому. Такое применение требует не только большого искусства, но также и знания тех посторонних причин, которые бывают помехой действию всякого общего закона. На такое трудное дело редко кто решается; и люди средней руки, обладающие мало-мальски здравым смыслом, полагаются главнейшим образом на опыт, который служит им более надежным и полезным руководителем, чем какое-либо общее правило, как бы оно ни было точно и согласно с наукой. Это порождает в них предубеждение в пользу исследования на опыте и соответствующее нерасположение к методу противоположному, более умозрительному. И, мне кажется, едва ли можно сомневаться, что одной из причин торжества Бэконовской философии было возрастание промышленных классов, деловое, положительное направление которых в высшей степени благоприятно для эмпирических наблюдений над однообразием последствий, так как от точности подобных наблюдений зависит действительно успех во всех практических делах. Мы находим, конечно, что падение чисто дедуктивного схоластицизма средних веков везде сопровождалось

распространением торговли; и всякий, кто станет тщательно изучать историю Европы, найдет много следов существования связи между этими двумя движениями, которые оба отмечены возрастающим уважением к материальным, эмпирическим интересам и пренебрежением к занятиям идеальным, умозрительным.

Отношение между всем этим и популярным направлением индукции очевидно. На одного человека, способного мыслить, приходится по малой мере сто человек, способных наблюдать. Точные наблюдатели, конечно, редки, но точные мыслители еще реже. Это подтверждается таким множеством доказательств, что тут не может быть и спора. Действительно, всякий, кому только случилось встречаться со своими собратиями, должен был видеть, до какой степени им свойственнее наблюдать, чем размышлять, и как редко случается встретить кого-нибудь, чей разговор или чьи сочинения носили бы отпечаток терпеливого, своеобразного мышления. И так как мыслители более склонны накапливать идеи и наблюдатели — накапливать факты, то решительное преобладание наблюдающих классов составляет положительную причину того, что индукция, начинающая с фактов, всего популярнее дедукции, начинающей с идей. Часто говорят, и по всей вероятности не без основания, что всякой дедукции предшествует индукция; так что в каждом силлогизме большая посылка, как бы она ни казалась очевидной и необходимой, есть не более как обобщение фактов или вывод из того, что было уже наблюденно чувствами. Но это мнение, справедливо оно или несправедливо, несколько не относится к только что сказанному мною, так как оно касается происхождения нашего знания, а не дальнейшей разработки его, т. е. составляет скорее метафизическое, чем логическое, мнение. Ибо, если даже предположить, что всякая дедукция на проверку оказывается опирающейся на индукцию, все-таки достоверно, что в бесчисленном множестве случаев подобная индукция происходит в такой ранний период жизни, что мы не сознаем ее и никак не можем воспроизвести ее процесс. Геометрические аксиомы представляют лучший образец этого. Никто не в состоянии сказать, когда и как он впервые убедился, что целое больше своей части или что вещи, равные одному и тому же, равны и между собой. Все эти предварительные шаги скрыты от нас, а сила и ловкость дедукции проявляется уже в последующих приемах, с помощью которых большая посылка приспособляется и как бы пригоняется к меньшей. Для этого часто требуется большая тонкость мысли, и при всяком таком случае внешний мир отлагается в сторону и теряется из виду. Процесс этот, будучи идеальным, не имеет ничего общего ни с наблюдениями, ни с опытами. Внушения чувств тут не допускаются, а между тем ум проходит через ряд последовательных силлогизмов, в котором каждое заключение обращается в большую посылку нового аргумента, пока наконец не получится дедуктивно такой вывод, который всякому, кто только услышит

его, покажется не имеющим никакой связи с первыми посылами, хотя в действительности будет необходимым последствием их.

Метод, такой таинственный, до такой степени скрывающийся от всеобщего взора, никогда не может вызвать всеобщего сочувствия. Поэтому, если только не произойдет какой-нибудь замечательной перемены в самом существе человеческого ума или в тех средствах, которыми он располагает, чувственный, наглядный процесс восхождения от частных фактов к общим началам всегда будет заманчивее идеального процесса нисхождения от начал к фактам. В обоих случаях строится, конечно, ряд умозаключений, существенно идеальных; в обоих также случаях образуется совокупность фактов существенно чувственных, наглядных. Ни один из этих методов не есть чисто своеобразный. Но так как в индукции факты более выдаются вперед, чем идеи, а в дедукции идеи более бросаются в глаза, чем факты, то очевидно, что выводы, получаемые первым путем, встретят, вообще говоря, более полное одобрение, чем получаемые вторым. Встретив более полное одобрение, они произведут и более решительное действие и скорее повлияют на характер нации и отразятся на ходе ее дел.

Единственное исключение из этого составляет теология. В ней, как я уже заметил, индуктивный метод неприменим, и одна только дедукция может удовлетворять целям теолога. У него есть особый источник, снабжающий его общими началами, от которых он может умозаключать, и обладание этим вспомогательным средством составляет основное различие между ним и человеком науки. Наука есть результат исследования; теология — результат веры. В одной — дух сомнения, в другой — дух веры. В науке своеобразность воззрения ведет к открытию и составляет, следовательно, заслугу; в теологии же она ведет к ереси и поэтому составляет преступление. Все системы религии, какие видал до сих пор свет, признают веру за непременную обязанность; в системах же науки принятие на веру — не обязанность, а помеха, так как оно не дает установиться той привычке к исследованию и нововведениям, от которой зависит всякий умственный прогресс. Таким образом, теолог, возводящий легкое верие в заслугу и ценящий людей по их простоте и склонности всему верить, мало имеет нужды беспокоиться о фактах, с которыми он даже прямо идет вразрез, в своем рвении повествовать чудовищные и нередко чудесные явления. Индуктивному же философу это не позволено. Он обязан основывать свои выводы на фактах, которые никем не оспорены или которые по крайней мере всякий может поверить сам лично или чрез посредство других. А если он не последует этому пути, то его выводы, будь они сколько угодно верны, с большим трудом проникнут в сознание народа, потому что они будут отзываться той утонченностью и изысканностью мысли, которая более чем что-либо другое предрасполага-

ет обыкновенные умы отвергать заключения, выведенные философами.

Из фактов и аргументов, содержащихся в настоящей главе и в предыдущей, читатели, я надеюсь, будут в состоянии усмотреть, почему направление шотландского ума в семнадцатом и в восемнадцатом столетиях было по преимуществу дедуктивное; а также почему в восемнадцатом веке шотландская литература при всем своем блестящем развитии и при всей своей силе, несмотря на величие и важность выработанных в ней открытий, имела весьма мало или даже вовсе не имела влияния на массу народа. По своей смелости и своему новаторскому характеру литература эта была, по-видимому, особенно приспособлена к тому, чтобы разбивать устарелые предрассудки и возбуждать дух пылкости. Но в ней способ исследования и доказательства был слишком утончен для умов средней руки и потому не имел действия на такие умы. В Шотландии, точно так же как в Древней Греции и как в новейшей Германии, мыслящие классы вследствие своего чисто дедуктивного строя мышления не в состоянии были иметь влияние на массу общества. Они смотрели на вещи со слишком высокой точки зрения, со слишком дальнего расстояния. В Греции один только Аристотель имел верное понятие о том, что такое в сущности индукция. Но даже и он ничего не знал о перекрестных опытах и о теории средних выводов, то есть о двух главнейших пособиях той индуктивной философии, какую мы имеем в настоящее время. Но ни он, ни кто-либо из великих германских или шотландских философов не придавал достаточной важности медленному и осторожному методу, постепенно восходящему от каждого низшего обобщения к непосредственно следующему за ним высшему, не пропуская ни одного промежуточного обобщения. Правда, что Бэкон слишком уже настаивает на этом методе: многие весьма важные открытия сделаны не только помимо него, но, можно даже сказать, вопреки ему. Тем не менее он представляет дивное орудие, и только люди истинно гениальные могут обойтись без него. Да и они, уклоняясь от употребления этого орудия, лишают себя всеобщего сочувствия своего века и своей страны. Ибо меньшие и ближайшие обобщения, которыми они пренебрегают, составляют именно те стороны философии, которые, будучи менее удалены от области осязательных фактов, всего более понятны народу и, следовательно, образуют единственную общую почву для мыслителей и для практических людей. Это род средней посылки, понимаемой обоими классами и доступной тому и другому. Во всяком дедуктивном рассуждении эта посредствующая или, если можно так выразиться, нейтральная область исчезает, и обоим классам нигде сходитья. Вот почему шотландская философия, точно так же как немецкая и как в древности греческая, вовсе не имела влияния на нацию. Напротив того, в Англии с семнадцатого и во Франции с восемнадцатого века господствующая философия была индуктивная, а потому она имела влияние не только на одни об-

разованные классы, но двигала мыслью всего народа. Немецкие философы относительно глубины и широты мысли далеко превосходят и французских, и английских. А между тем они своими глубокими изысканиями так мало сделали для страны, что немецкий народ до сих пор во всех отношениях менее развит, чем народ французский или английский. Точно так же в философии Древней Греции мы находим громадный запас крупных оригинальных мыслей и, что несравненно важнее, находим смелость изыскания и пламенную любовь к истине, в которых не превзошла Грецию ни одна из новейших наций и разве только немногие с ней сравнились. Но метод этой философии ставил непреодолимую преграду ее распространению. Народа она не коснулась, он все пресмыкался в прежнем невежестве и был жертвой суеверий, из которых большую часть великие мыслители презирали, даже часто прямо преследовали, но никакими средствами не могли искоренить. Впрочем, как ни дурны были эти суеверия, мы смело можем сказать, что они менее делали вреда, т. е. имели менее разрушительное влияние на счастье людей, чем те отвратительные и возмутительные понятия, которые защищало шотландское духовенство и которые были приняты шотландским народом. А на эти понятия шотландская философия не могла произвести никакого действия. В Шотландии во все продолжение восемнадцатого века суеверие и наука, эти два непримиримые врага, процветали рядом, нисколько не ослабляя друг друга, не имея даже возможности приходить в столкновение; это было совместное существование, но без соприкосновения. Обе силы держались в стороне друг от друга, и в результате оказалось, что в то самое время, как шотландские мыслители создавали могучую и в высшей степени просвещенную литературу, шотландский народ не внимал великим учителям мудрости, появившимся в его отечестве, и упорно оставался во мраке, предоставляя слепцам водить таких же слепцов и не допуская никого в помощь им.

Истинно любопытно взглянуть, как мало влияния оказывали многие замечательные творения, написанные шотландцами в восемнадцатом веке. За исключением Смита «Богатства народов», я едва ли могу припомнить хоть одну книгу, которой влияние ощутительным образом отразилось бы на общественном мнении. Причина этого изъятия объясняется весьма легко. Книга «Богатство народов» заключала деятельность правительства в более тесные границы, чем какие поставлялись ей когда-либо и каким бы то ни было другим знаменитым сочинением. Ни один из прежних политических писателей с несомненным дарованием не оставлял так много на долю самого народа, не требовал для него такого количества свободы в устройстве собственных дел, как Адам Смит. Поэтому книга «Богатство народов», как книга в высшей степени демократическая, должна была непременно встретить благоприятный прием в Шотландии, — стране по преимуществу демократической. Слыша о выводах ее, люди были уже заранее предрасположены в пользу ее доводов. Точно так же

и в Англии та любовь к свободе, которая с давних веков составляла нашу отличительную черту и которая в сущности приносит нам более чести, чем все наши завоевания, чем вся наша литература и вся наша философия, взятые вместе, постоянно настраивает общественное мнение в пользу всего, в чем высказывается какое-нибудь требование свободы. Поэтому, несмотря на борьбу заинтересованных партий, Англия была предрасположена в пользу учения о свободе торговли как одного из средств предоставить каждому поступать с собственным добром, как ему угодно. Но воображать, что обыкновенные умы в состоянии совладать с таким сочинением, как книга «Богатство народов», и в состоянии следить, не путаясь, за его длинной и многосложной аргументацией, было бы просто нелепо. Десятки тысяч людей, прочтя эту книгу, принимают ее положения потому только, что они приходится им по душе, т. е., другими словами, потому только, что к тому же идет движение века. Другое великое творение Адама Смита, именно его «Теория нравственных чувствований», если и имело какое-либо влияние, то разве только на весьма небольшой кружок метафизиков, хотя по своему изложению оно, как иные находят, гораздо выше «Богатства народов» и, конечно, гораздо доступнее общему пониманию. К тому же оно значительно короче,— что для большинства читателей также немалое достоинство,— и трактует о предметах весьма интересных и близких сердцу каждого из нас. Но век не дорожил положениями, которые развивались в книге, а потому оставлял без внимания и ее аргументации. «Богатство народов», напротив, подходило под общее настроение, и потому книга имела громадный успех. Она быстро увлекала не только философов, но также и государственных людей, и политиков; они в некоторых случаях давали применение главнейшим ее положениям, хотя, как доказывают изданные ими законы и их речи, они никогда не могли усвоить себе те великие начала, которые лежат в основании этих положений и к которым свобода торговли относится только как второстепенная, придаточная часть.

Если оставить в стороне «Богатство народов», то окажется, что шотландская литература восемнадцатого века едва ли сделала что-нибудь для Шотландии. Что она не достигла своей великой цели—ослабления суеверия, это очевидно для всякого, кто бывал в этой стране и наблюдал господствующие в ней до сих пор понятия и склад мыслей. Многие даровитые и образованные люди, живущие в Шотландии, так запуганы общественным мнением, что ради собственного спокойствия и спокойствия своих семейств не оказывают никакого сопротивления и безмолвно подчиняются тому, что в душе презирают. Действуя таким образом, они, по моему твердому убеждению, неправы, хотя я и знаю, что многие добросовестные и во всех отношениях сведущие судьи полагают, что никто не обязан обречь себя на мученичество или подвергать опасности свои личные интересы, если только не имеет в виду очевидной от этого пользы для

общества. Мне, однако, кажется, что это узкое воззрение и что первый долг каждого человека — прямо и открыто стать против того, что он признает ложным, и затем предоставить последствия своего образа действий собственному их течению. Правда, что искушение сделать наоборот всегда очень сильно и в такой стране, как Шотландия, может даже почитаться непреодолимым. Нет ни одной протестантской страны, нет даже ни одной страны католической, кроме Испании, где бы человеку, держащемуся образа мыслей, несогласного с учением установленной церкви, приходилось платить за это столькими неприятностями и неудобствами в жизни, как в Шотландии. В некоторых больших городах он, пожалуй, еще может оставаться безнаказанным, если убеждения его не слишком смелы и если он не будет слишком открыто высказывать их. Если он — человек робкий и молчаливый, неправоту его, быть может, пройдет незамеченной. Но и в больших городах такие случаи безнаказанности составляют лишь исключения, а никак не общее правило. В самой даже столице Шотландии, в этом средоточии умственного развития, некогда гордившемся названием «Новейших Афин», тотчас пронесется шепот, что с таким-то не должно водиться, потому что он слишком своеобразно мыслит; как будто иметь свой взгляд есть преступление, а лучше рабски следовать чужому. В других же местах, т. е. по всей Шотландии, положение дел еще гораздо хуже. Я говорю это не на основании каких-нибудь несвязных толков, а на основании того, что, как мне известно, действительно существует в настоящее время; за верность такого показания я ручаюсь и готов отвечать. Пусть кто-нибудь попробует поспорить со мной, когда я скажу, что в настоящую минуту почти во всей Шотландии с презрением указывают пальцем на всякого, кто, пользуясь своим священным и неотъемлемым правом свободного суждения, не захочет согласиться с теми религиозными понятиями и подчиниться тем религиозным обычаям, которые, правда, освящены временем, но из которых многие противны здравому смыслу, хотя, несмотря на всю их неразумность, народ ко всем им прилепляется с мрачным и непреклонным упорством.

Я знаю, что настоящие слова мои будут читаться и повторяться по всей Шотландии, и, конечно, не желал бы навлечь на себя вражду целой нации, к многим высоким и неоцененным достоинствам которой я питаю искреннее и глубокое уважение; но я тем не менее положительно утверждаю, что нет другой образованной страны, в которой так мало понималась бы веротерпимость и в которой был бы так широко распространен дух ханжества и гонения. И никто этому не удивится, кто только наблюдал, что там делается. В церквях постоянно такая же толпа народа, как бывало в средние века; тысячи усердных и невежественных молельщиков собираются в них слушать поучения, вполне достойные средних веков. Преподаваемые им понятия они принимают с благоговением и, возвращаясь в семью или принимаясь за свои ежедневные, житейские дела, применяют эти учения

на практике. Результат же всего этого тот, что по всей стране господствуют такой дух угрюмого фанатизма, такое отвращение от самого даже невинного веселья, такое стремление стеснять наслаждения других людей, наконец, такая страсть вмешиваться в образ мысли ближнего, каких мы не встречаем ни в какой другой стране; и среди всего этого процветает национальная религия в высшей степени мрачная и суровая, религия, полная всякого рода зловещих предзнаменований, угроз и ужасов, ставящих себе в отраду твердить людям, как они гадки и жалки, какое ничтожное число из них обретет спасение и какая огромная масса их неизбежно обречена на невыразимо страшные, вечные муки.

Прежде чем я заключу настоящий том, кстати будет, мне кажется, припомнить одно происшествие, которое хотя случилось очень недавно и в свое время возбудило большое внимание, однако с тех пор почти забыто под влиянием других, более важных событий; а между тем оно чрезвычайно любопытно для людей, изучающих многообразные проявления народного характера, и притом представляет разительный пример глубокой противоположности, существующей между шотландским умом и английским,—противоположности тем более замечательной, что она является между двумя народами, которые не только занимают смежные области и находятся в постоянных сношениях между собой, но даже говорят одним языком, читают одни и те же книги, принадлежат к одному и тому же государству, имеют одинаковые интересы и в то же время оказываются во многих и весьма важных отношениях так различны между собой, как будто они никогда не имели ни случаев, ни средств влиять друг на друга, как будто никогда не бывало между ними ничего общего.

В 1853 г. холера, произведя сильные опустошения в разных частях Европы, пришла и в Шотландию. Тут она, очевидно, должна была найти себе обильную добычу среди народа, живущего в скверных жилищах и не слишком опрятно. Ибо если мы и можем сказать что-либо положительного о холере, так именно то, что она всегда с наибольшей силой поражает те классы населения, которые, по бедности или по лености, плохо кормятся, небрежны в содержании своего тела и живут в грязных, сырых и плохо проветриваемых домах. В Шотландии эти классы очень многочисленны. Поэтому в Шотландии холера непременно должна была оказаться особенно губительной. В этом не было ничего непостижимого. Напротив, чудо было бы, если б эпидемия, вроде азиатской холеры, пощадила страну, подобную Шотландии, где было собрано и подготовлено все, чем поддерживается зараза; где на каждом шагу представлялись грязь, нищета и беспорядочность. При таких условиях не только люди ученые, но и люди с простым здравым смыслом, смотрящие на вещи без предрассудков, должны бы понять, что шотландцам представлялось одно только средство успешно бороться со своим страшным врагом. Им следовало кормить своих бедных, убрать нечистоты,

очистить воздух в жилищах. Если б они это сделали, не теряя времени, тысячи жертв были бы спасены. Но они об этом нисколько не позаботились, и вся страна была повергнута в скорбь. Мало того что они не приняли этих мер, но, движимые мрачным суеверием, которое постоянно давит их, как чудовище, они задумали меру, которая, если б была вполне приведена в исполнение, довела бы бедствие до самых ужасных размеров. Всем очень хорошо известно, что, когда свирепствует эпидемия, физическое истощение и нравственное удручение предрасполагают человеческий организм к восприятию болезни и что, следовательно, их-то преимущественно должно устранять. Но как ни общеизвестен этот факт, шотландское духовенство, поддерживаемое — прискорбно сказать — общим голосом шотландского народа, требовало, чтобы общественные власти приняли меру, которая неминуемо и очевидно должна была произвести физическое истощение и усилить упадок духа. Злоупотребляя религией и извращая ее во вред людям, вместо того чтобы пользоваться ею ко благу их, духовенство именем религии настаивало на необходимости назначить всенародный пост, который в такой суеверной стране, какова Шотландия, был бы, без сомнения, соблюдаем во всей строгости, а при строгом соблюдении неминуемо должен был истощить тысячи людей слабого сложения и в одни сутки приготовить к действию яда, которым они были уже окружены и к сопротивлению которому у них и без того едва только хватало силы. Всенародный пост должен был сопровождаться всенародным покаянием, так что ничего не было упущено, для того чтобы расстроить дух людей и поразить его ужасом. Проповедники при этом стали бы греметь с кафедр и обличать грехи страны, а бедный, блуждающий во тьме и запуганный народ должен был бы с благоговением и страхом внимать своим учителям, проводить целые дни без необходимой пищи и вечером ложиться в рыданиях и с голодом. После этого, полагали, Бог умилюется, и мор прекратится. Предполагалось, что, как скоро народ изберет тот образ действия, который вернее всякого другого должен вести к увеличению смертности, т. е. когда он все сделает для того, чтобы испортить свое положение, тогда Всемогущий сам вмешается в дело, остановит законы природы и, сотворив чудо, спасет свою тварь от участи, которая без этого чуда должна бы быть непременно последствием ее же собственных сознательных поступков.

Таков был план, задуманный шотландским духовенством, и оно решилось привести его в исполнение. А для того чтобы придать ему более величия и силы, оно обратилось к содействию Англии, и осенью 1853 г. Эдинбургская пресвитерия, убежденная, что по ее положению ей надлежало стать во главе этого движения, поручила своему председателю обратиться с посланием, по-видимому к английскому министру. В этом редкостном произведении, экземпляр которого у меня теперь под рукой, представлялось министру внутренних дел, что члены пресвитерии не

хотели слишком поспешно назначить, собственной своей духовной властью, день общего поста и покаяния, в том предположении, что, по всей вероятности, будет назначен такой день королевской властью. Но так как такого предписания еще не последовало, то пресвитерия почтительнейше просила уведомить ее о том, предполагается ли сделать такое распоряжение. Пресвитерия просила извинения в приемлемой смелости, уверяя, что она отнюдь не желает неуместно вмешиваться в распоряжения правительства и даже не требует от министра внутренних дел ответа на свой вопрос, если только он сам не признает себя вправе и обязанным дать ответ. Ей было бы очень приятно, если б он имел возможность почтить ее ответом. Ибо нет никакого сомнения, что азиатская холера появилась в стране; а ввиду этого обстоятельства Эдинбургской пресвитерии весьма желательно было бы знать, предполагается ли назначение властью королевы всенародного поста и покаяния.

На этот раз, однако, нечего было бояться, что правительство опять впадет в такую пагубную ошибку. Лорд Пальмерстон, знавший, что здравый смысл английского народа поддержит его в том, что он задумал, приказал написать Эдинбургской пресвитерии письмо, на которое, если я не ошибаюсь, со временем будут указывать как на любопытный памятник, объясняющий историю развития общественного мнения. Сто лет тому назад такое письмо вызвало бы взрыв общего негодования против государственного человека, который осмелился бы его написать, и он был бы вынужден оставить министерство; двести лет тому назад он поплатился бы за него еще дороже; оно испортило бы и его положение в обществе, и его политическую карьеру. Ибо в этом письме он явно идет наперекор тем суеверным понятиям относительно происхождения болезней, которые некогда были повсеместно в ходу и почитались за существенную принадлежность всякого религиозного верования. Предания, память о которых сохранилась в богословской литературе всех языческих, римско-католических и протестантских наций, преспокойно оставляются в стороне как вещи, не имеющие никакой важности и о которых не стоит и говорить. Шотландское духовенство, смотря со старой точки зрения, с которой искони привыкли смотреть все члены этого сословия, принимало за неоспоримую истину, что холера есть следствие Божия гнева и что она ниспослана в наказание за наши грехи. В ответе же, данном ему английским правительством, выражалось совершенно иное воззрение, которое англичанам казалось вполне основательным и здравым, но в глазах шотландцев было крайне нечестиво. Пресвитерии сообщалось, что делами мира сего управляют естественные законы и что от соблюдения их или пренебрежения ими зависят благополучие или бедствие человечества. Одним из таких законов установлена связь между болезнями и испарениями от разлагающихся тел; и в силу этого-то закона зараза распространяется или в многолюдных городах, или в таких местах, где

совершается разложение растительных веществ. Человек своими усилиями может рассеять эти вредные влияния или уничтожить их действие. Появление холеры доказывает, что он не употребил этих стараний. Города не были содержимы в надлежащей чистоте — вот где корень зла. Поэтому министр внутренних дел внушал Эдинбургской пресвитерии, что лучше позаботиться об очистке городов, чем поститься. Он полагал, что, когда эпидемия уже появилась, нужно было действовать, а не каяться. Это было осенью, и до возвращения жарких дней должен был пройти значительный промежуток времени. Этим промежутком следовало воспользоваться для устранения источников болезни, и именно для улучшения жилищ бедных классов. Будет это сделано, и все пойдет хорошо. В противном случае не миновать возвращения заразы, «несмотря, — привожу собственные слова английского министра, — ни на какие молитвы и посты соединенного, но бездействующего народа».

На этот обмен письмами между шотландским духовенством и английским министром не должно смотреть как на мимолетный эпизод, представляющий лишь слабый временный интерес. Напротив, в нем выразилась та упорная борьба теологии с наукой, которая, начавшись гонением на науку и мученичеством деятелей ее, в последнее время приняла более отрадный оборот и ныне уже явно идет к уничтожению древнего теологического духа, причинившего миру столько бедствий и гибели. Древнее суеверие, некогда всюду владычествовавшее, а теперь хотя и медленно, но безвозвратно исчезающее, представляло Божество существом постоянно гневным, которое услаждалось будто бы зрелищем самоуничтожения и самоумерщвления своих творений, тешилось их жертвоприношениями и их аскетизмом и, что бы они ни делали, беспрерывно насылало на них тяжкие кары, одним из главнейших видов которых были моровые поветрия. Наука, и одна только наука, постепенно уничтожает эти возмутительные заблуждения. Благодаря ей явления, которые прежде считались посланными свыше богами, теперь признаются происходящими от естественных причин и уступающими естественным же средствам противодействия. Человек может их предсказывать и может с ними бороться. А как скоро они суть неизбежный результат предшествовавших им явлений, то не может уже быть и речи о них как о намеренно насылаемых карах. Эта великая перемена в наших понятиях гибельна для теологии, но благодетельна для религии; ибо наука таким образом становится уже не врагом религии, а ее союзником. Религия в каждом отдельном человеке складывается сообразно тому внутреннему свету, которым он наделен. Поэтому она в различных характерах принимает различные формы и не может быть подведена под одно общее для всех и произвольно установленное правило. Теология же, напротив, требует себе власти над всеми умами, не признает природного их разнообразия и стремится подчинить их всех одному общему верованию; она ставит известную норму абсолютной истины, к которой пригоняет образ мыслей каждого отдельного лица,

и самонадеянно осуждает все те понятия, которые не подходят под эту норму. Такие надменные притязания нуждаются в средствах к своей поддержке. Такими средствами служат угрозы, которые в невежественные времена принимаются всеми на веру и которые побуждают к покорности посредством наведения страха. Вот почему книги всякой теологической системы повествуют о деяниях самой возмутительной жестокости, которые они, несколько не колеблясь, приписывают непосредственному участию Божества. Мягкие, любящие натуры возмущаются этими жестокостями, хотя в то же время сиюются им верить. Задача науки — очистить теологию, показать, что тут не было жестокости, потому что не было вмешательства. Наука приводит к естественным причинам то, что теология приписывает причинам сверхъестественным. По толкованию науки, бедствия, поражающие мир, суть плод невежества людей, а вовсе не намерения Божества. Поэтому мы не должны приписывать Ему того, чем мы обязаны только неразумию и собственным порокам. Мы не должны клеветать на всемогущее и всеблагое Существо, не должны наделять Его теми же мелкими страстями, которые движут нами самими, представлять Его способным к злобе, ревности, мщению, воображать Его с вечно простертой карающей десницей, вечно помышляющим о том, чтобы усилить бедствия человека, сделать страдания рода человеческого более жестокими, чем они были бы сами по себе.

Что это замечательное очищение религиозных понятий есть следствие успехов естествознания, очевидно не только из тех общих соображений, которые заставляют нас предположить, что и не могло быть иначе, но и из того исторического факта, что постепенному падению старой теологии везде предшествует выработка и распространение естественно-научных истин. Чем более мы познаем законы природы, тем яснее понимаем, что все совершающееся в физическом мире — эпидемии, землетрясения, голод и что бы то ни было другое — есть необходимое последствие чего-нибудь случившегося прежде. Причина производит последствие, а это последствие в свою очередь становится причиной других последствий. Мы не видим ни одного пробела в этой последовательности и не допускаем никакой остановки. Цепь является нам непрерывной; постоянство природы — ненарушимым. Ум наш приучается видеть все физические явления в стройном, однообразном и самобытном течении, в правильной и непрерывной последовательности. Таково научное воззрение. Таково же и воззрение религии. Совершенно противоположно ему воззрение теологическое; но то, что уже утратило власть над умами людей, теряет ее и над их чувствами; и это воззрение так явно вымирает, что ни один образованный человек теперь не решится его защищать, не оставив своего мнения такими оговорками и ограничениями, которые почти равносильны уступке на всех существенных пунктах.

Письмо это, которое посредством журналов должно было получить огромную гласность и читаться повсюду, очевидно,

имело целью подействовать на общественное мнение в Англии. Под ним в сущности скрывался упрек английскому правительству за оказываемое им пренебрежение к своим духовным обязанностям, за непонимание того, что пост — самое действительное средство для прекращения эпидемии. В Шотландии оно было повсюду принято с одобрением; на него смотрели как на заслуженный упрек англичанам за их недостаточную религиозность, за то, что, видя холеру у своего порога, они заботились только о врачебных мерах, об охранении общественного здоровья плотскими средствами, ясно показывая этим, что они возлагали надежду преимущественно на оружие плоти. В Англии, напротив, заявление шотландского духовенства было встречено почти общим смехом и нашло себе разве немногих только ревнителей в самой невежественной и легковерной части нации. Министр, которому было адресовано письмо, был лорд Пальмерстон, — человек с громадной опытностью, знавший общественное мнение, может быть, лучше, чем кто-либо из политических деятелей его времени. Отлично понимая различие между Шотландией и Англией, он знал, что то, что годится для одной страны, негодно для другой и что понятия, слывшие религиозными у шотландцев, были фанатизмом в глазах англичан. В прежнее время великобританское правительство однажды, уступая требованиям, возбужденным немногими деятельными и заинтересованными людьми, имело безрассудство поступить, в подобном же деле, наперекор направлению века, предписав всенародный пост; к счастью, впрочем, этот пост не слишком строго соблюдался; но насколько он соблюдался, настолько же усилил он общий страх, присоединив к естественным опасениям еще сверхъестественный ужас, и, таким образом расстраивая нервную систему, увеличил смертность от заразы. Мор и без того великое бедствие для страны, ибо, что бы мы ни делали, он все-таки сразит много жертв. Но тяжелая ответственность падет на тех, которые во время эпидемии, вместо того чтобы стараться по возможности остановить ее опустошения, посредством ли предохранительных мер или же успокаивая народ и поддерживая в нем бодрость, делают все, что могут, для усиления бедствия, поощряя суеверный страх, ослабляющий в народе энергию в то именно время, когда энергия ему всего нужнее, и уничтожающий то хладнокровие, ту самостоятельность и то самообладание, без которых не может быть отражена никакая общенародная опасность.

Но между тем как прежние узкие понятия в отношении материального мира в большей части образованных стран почти уже исчезли, должно сознаться, что относительно духовного мира успехи ума далеко не так быстры. Те же люди, которые признают, что нет сверхъестественного вмешательства в природе, не хотят верить, чтобы не было такого вмешательства и в жизни человека. В первом случае они принимают научную теорию правильности; во втором случае держатся теологической

теории неправильности. Причина такого противоречия в понятиях та, что движения, наблюдаемые в природе, не так сложны, как движения, наблюдаемые в человеке. По меньшей их сложности их легче изучить, и они быстрее постигаются. Отсюда и происходит то, что естественные науки разрабатываются уже с давнего времени, а наука истории еще только что зарождается. Наши сведения об условиях, определяющих развитие человечества, так еще неточны и так плохо разработаны, что они едва могли иметь какое-либо влияние на понятия общества. Философы знают, правда, что в этой области, как и во всякой другой, должна существовать непрерывная связь между самыми отдаленными и самыми разнородными явлениями. Они знают, что всякому противоречию есть оправдание, хотя бы мы при теперешнем состоянии нашего знания и не могли отыскать это оправдание. В этом они убеждены, и ничто не в силах поколебать это убеждение. Но масса рассуждает совсем иначе. Она верит, что если какое явление не объяснено, то это значит, что оно и необъяснимо; а что необъяснимо, то непременно сверхъестественно. Наука объяснила большое число физических явлений, и потому эти явления, даже в глазах толпы, уже не сверхъестественны, а приписываются естественным причинам. Напротив того, наука не объяснила еще явлений истории, а потому теологический дух завладел ими и гнет их в сторону своих воззрений. Таким образом возникла давняя и пресловутая теория нравственного управления миром. Это звонкое название, и обаянию его поддается множество таких людей, которые никогда не дали бы ему в обман, если б хорошо вникли в притязания самой теории. Ибо, подобно другому понятию, которое мы рассматривали перед этим, оно не только не научно, но и крайне нерелигиозно. Это в сущности посягательство на одно из возвышеннейших свойств Божества, это поношение Его всеведения. Учение это утверждает, что судьба народов не есть результат предшествовавших и окружающих их событий, а управляется отдельно произволом и вмешательством Провидения; что есть такие великие общественные вопросы, в которых подобное вмешательство необходимо; что без этого вмешательства дела не могли бы идти правильным порядком; что они путались бы и приходили в разлад; что нарушились бы строй и гармония целого. Таким образом, те самые люди, которые в данное время провозглашают всеведение Божие, вслед за тем защищают теорию, которая уничтожает это всеведение, взводя на премудрое Существо обвинение в том, что порядок дел человеческих, которого все исходы и все последствия Оно должно было предусмотреть с самого начала, так плохо задуман, что может быть нарушаем; что порядок этот вышел не таким, каким Оно предполагало; что он расстроен собственными Его тварями и что для сохранения его целостности приходится Ему направлять его движения и исправлять случающиеся в нем расстройства. Таким образом, Великий Строитель Вселенной, Творец и начертатель всего существующего уподобляется какому-нибудь жалкому ре-

месленнику, который так плохо знает свое дело, что постоянно приходится призывать его для того, чтобы он перестраивал собственную свою машину, устранял ее недостатки, пополнял недосмотры, направлял ее ход.

Пора положить конец таким непристойным понятиям, пора историкам усвоить себе то, что давно уже знают философы, и перестать загромождать историю человечества такими вещами, которые человеку, проникнутому духом науки, должны казаться сущим вздором. Избирайте одно из двух: или отрицайте всеведение Создателя, или признавайте его. Если вы его отрицаете, вы отрицаете то, что для моего по крайней мере рассудка составляет основную истину, и таком случае мы не можем понимать друг друга. Если же вы признаете всеведение Божие, то не порочьте же того, что вы беретесь защищать. Принимая теорию так называемого нравственного управления миром, вы поносите Всеведение, ибо вы этим утверждаете, что начертанный беспредельной Мудростью строй всей Вселенной, включая в него деятельность и природы, и человека, не в состоянии выполнить данного ему назначения, если та же Премудрость не будет по временам вмешиваться в дело. Вы в сущности утверждаете, что или Всеведение ошиблось, или Всемогущество было осилено. Людям, которые веруют и которые горды и счастливы своим верованием в существование Силы, стоящей выше всего и впереди всего, всеведущей и всетворящей, не следовало бы, конечно, впадать в подобную ошибку. Люди, не довольствующиеся нашим тесным чувственным миром и стремящиеся вознестись мыслью к чему-то, чего не могут уловить чувства, вдумавшись глубже в дело, без сомнения, тотчас же поймут, как грубо и как материально теологическое воззрение, которое возлагает на эту Силу мелкие отправления земной власти, облекают ее в образ земного правителя и представляют ее во все и всюду вмешивающейся, гремющей угрозами, налагающей кары и воздающей награды. Это низкие и недостойные представления, порожденные невежеством и мраком. Такие грубые и жалкие понятия не далеко ушли от положительного идолопоклонства. Это обломки отжившего века, и они не должны лежать на нашем пути. Они были приличны тем древним, варварским временам, когда люди еще не в состоянии были очистить своих мыслей, а следовательно, не в состоянии были очистить и своих верований. Теперь же они поражают нас фальшью. Они в разладе с другими частями нашего знания; они ни с чем уже не вяжутся. Все окружающее находится в противоречии с ними. Они стоят особняком; вокруг не осталось уже ничего, с чем бы они гармонировали. Весь строй и все направление новейшей мысли невольно приводят нас к понятиям правильности и закона, которым эти воззрения прямо противоположны. Сами те, которые еще упорно цепляются за них, действуют скорее под влиянием предания, чем вследствие полного и твердого верования. Детская и безграничная вера, с которой некогда принималось учение

о вмешательстве, теперь сменилась холодным и безжизненным признанием его, нисколько не похожим на энтузиазм прежних времен. Скоро и это исчезнет, и люди перестанут тревожиться призраками, созданными их же собственным невежеством. Наш век, быть может, не увидит этого освобождения; но как верно то, что ум человеческий идет вперед, так же верно и то, что наступит для него час освобождения. Быть может, он придет скорее, чем кто-либо думает; ибо мы идем вперед скоро и большими шагами. Знаменья времени всюду вокруг нас, и кто хочет читать — да читает. Письмена горят на стене; приговор произнесен; древнее царство должно пасть; владычество суеверия, уже распадающееся, должно рухнуть и рассыпаться прахом; новая жизнь вдохнется в нестройную, хаотическую массу и ясно покажет, что от начала создания не было ни в чем ни противоречия, ни разлада, ни беспорядка, ни перерывов, ни вмешательства; но что все совершающееся вокруг нас, до отдаленнейших пределов материальной Вселенной, представляет только различные части единого целого, которое все проникнуто единым великим началом всеобщей и неуклонной правильности.

ПРИМЕЧАНИЯ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ГЛАВА I

¹ Один из писателей, сделавший более чем кто-либо для поднятия уровня истории, отзывается с презрением о «бессвязном наборе фактов, несвойственно называемом *Историей*» (*Comte. Philosophie Positive. Vol. V. P. 18*). В методе и выводах этого большого сочинения есть многое, с чем я не могу согласиться, но было бы несправедливо отрицать его необыкновенные достоинства.

² Об отношении этого производства богатства к предшествовавшему Теннеман в своей «Истории философии» говорит: «Известная степень образованности и благосостояния составляет необходимое внешнее условие развития философского духа. До тех пор, пока человек озабочен своими средствами к существованию и удовлетворением своих животных потребностей, развитие и образование его душевных сил подвигается очень медленно, и он приближается только шаг за шагом к более свободной разумной деятельности... Поэтому мы находим, что философствовать начали только у тех народов, которые поднялись до заметной степени образованности и благосостояния». Отсюда происходит, как я попытаюсь доказать в следующей главе, огромная важность физических явлений, которые предшествуют и часто дают направление метафизическим.

³ Что эти учения, разбираемые по обыкновенному методу мышления, являются не только противоположными, но и исключающими одно другое, с этим все согласились бы, если бы не желание отстоять известные части каждого из двух учений,— желание, рождающееся вообще под влиянием двух опасений: ослабить нравственную ответственность, признав свободу воли, или посягнуть на всемогущество Божие, допустив предопределение. Поэтому делались были различные попытки примирить свободу с необходимостью и согласить свободу человека с предвидением Божества.

⁴ Даже Амвросий, никогда не заходивший так далеко, как Августин, высказывает это убеждение во всей его отвратительной наготы: «Бог, кого удостоит,—призывает, кого захочет,—делает набожным». Кальвин объявляет, «что Бог, обрекая пред веки одну часть человечества на вечное блаженство, а другую—на вечное бедствие, не руководствовался при этом разграничении никаким другим побуждением, кроме своего благоусмотрения и своей свободной воли».

⁵ Джонсон сказал Босуэллу: «Мы знаем, сэр, что наша воля свободна,—вот и все». «Вопрос: свободны ли мы?—мне кажется, не стоит обсуждения. Он разрешается свидетельством совести о том, что в известных случаях мы могли бы сделать противное тому, что делаем» (*Cousin*). «Свобода человека как существа нравственного основывается на нравственном сознании» (*Tennemann*). Что в этом заключается единственное основание для верования в свободу воли, это до такой степени очевидно, что нам нет нужды приводить ни мистического довода Филона,

ни физического из Василидовых Монад, ни аргумента Бардезана, который думал доказать свободу разнообразием человеческих обычаев.

⁶ Это требует объяснения. Самосознание непогрешимо со стороны *факта* своего показания, но погрешимо со стороны *истины*. Что мы сознаем известные явления, это доказывает только, что явления эти существуют в нашем уме или представляются ему; говорить же, что это доказывает действительность явлений, значит заходить на один шаг далее и не только давать показания, но и произносить суждение. С той минуты, как мы делаем это, мы вносим элемент погрешности; ибо сознание и суждение, взятые вместе, не могут быть всегда верны, так как суждение часто бывает ошибочно.

⁷ Платон был поражен необыкновенной трудностью отыскания в уме человека того мерила, с помощью которого мы можем отличать истину от лжи, призрачных явлений и снов. И единственное заключение, к которому мог прийти этот замечательный мыслитель, было то, что все, что кажется истинным уму отдельного человека, для него истинно; это значит, однако, уклоняться от задачи, а не решать ее.

⁸ Разумея под свободной волей причину действия, заключающуюся внутри человеческого духа и действующую независимо от побуждений. Если кто скажет, что мы имеем такую способность действовать без побуждений, но что в практическом применении этой способности мы руководствуемся, сознательно или бессознательно, побуждениями, то это будет бесплодное предложение, которое не мешает моим воззрениям, но которого — истинно оно или ложно — еще, конечно, никому не удавалось доказать.

⁹ Т. е. на доказательстве, представляющемся уму в явлениях и оцениваемом обыкновенной логикой, к которой ум постоянно обращается. Но Кант сделал замечательнейшую попытку избежать практических последствий этого, утверждая, что свобода как идея, порожденная разумом, должна быть подведена под трансцендентальные законы разума, т. е. под законы, выходящие из области опыта и не подлежащие проверке наблюдением. По отношению же к научным понятиям ума (различаемого от разума) он допускает существование необходимости, уничтожающей свободу.

¹⁰ Это, конечно, гипотеза, построенная только для уяснения сказанного. Мы никогда не можем знать всего прошедшего какого-нибудь человека, ни даже нашего собственного; но то достоверно, что, чем более мы приближаемся к полному познанию предшествовавшего, тем скорее можно ожидать от нас предсказания последующего.

¹¹ Учение о вмешательстве Провидения находится в связи с учением о предопределении, ибо Божество, предвидя все, должно было предвидеть и свое намерение вмешаться. Отрицать это предвидение значило бы ограничивать всеведение Божие. Поэтому те, которые допускают, что в некоторых отдельных случаях особое Провидение прерывает обыкновенный ход явлений, должны также допустить, что в каждом из таких случаев обстоятельство это было предопределено, иначе это будет посягательство на одно из свойств Божиих.

¹² Я говорю это обдуманно: всякий, кто занимался этого рода предметами, должен был заметить, до какой степени люди, пишущие о нравственности, повторяют общие места и избитые идеи своих предшественников; так что по прочтении всего, что было писано о нравственной деятельности и нравственной философии, человек оказывается почти в таком же мраке, в каком находился при начале чтения. Самыми тщательными исследователями человеческого духа были

до сих пор поэты, особенно Гомер и Шекспир; но эти обыкновенные наблюдатели занимались главным образом конкретными явлениями жизни, а если и вдавались в анализ — что, по всей вероятности, они и делали, — то скрывали от нас следы своих процессов, так что в настоящее время мы можем верить их выводы только эмпирически. Важный шаг, сделанный статистиками, заключается в том, что они применили к такого рода изысканиям теорию средних выводов, чего никто и не думал делать до XVIII столетия.

¹³ «Все, по-видимому, зависит от определенных причин. Так, мы находим ежегодно почти то же число самоубийств, не только вообще, но и по возрастам, полам и даже по орудиям самоуничтожения. Всякий год с таким постоянством повторяются числа предшествовавшего года, что можно предвидеть то, что будет в следующем году» (*Кетле*).

¹⁴ Изыскания Каспера подтверждают показания первых статистиков, что самоубийство чаще случается среди протестантов, чем среди католиков.

¹⁵ И в самом деле, опыт доказывает со всевозможной ясностью справедливость мнения, которое может с первого взгляда показаться парадоксом: *общество prepares преступление, а виновник есть не более как орудие совершения этого преступления* (*Кетле*).

¹⁶ «Любопытно видеть, какая тесная связь находится между ценами на жизненные припасы и числом браков»... «Отношение, существующее между ценами на жизненные припасы и числом браков, не ограничивается одной нашей страной (Англией); легко может быть, что если бы мы имели средства привести в известность факты, то пришли бы к одним и тем же результатам для всякой образованной общины. Мы имеем необходимые данные для Франции — и они вполне подтверждают приведенное выше воззрение» (*Porter*).

¹⁷ В списках браков за 1850 и 1851 гг. видно то же приращение, какое постоянно замечалось с 1750 г. всякий раз, как существенные заработки народа превышали свой средний размер.

¹⁸ Это доказывает, как замечает Сомервилл, что «забывчивость так же, как и свобода воли, подчиняется постоянным законам». Но это только в таком случае, если принимать выражение «свобода воли» в смысле, отличном от общепринятого.

¹⁹ Первым систематическим писателем по отрасли статистики обыкновенно признается Achenwall (живший в середине XVIII столетия), который, как говорят, дал ей и ее настоящее имя.

ГЛАВА II

¹ Я охотно соглашусь с замечанием одного из величайших мыслителей нашего времени (Д. С. Милля), который говорит по поводу предполагаемого различия пород: «Из всех грубых уловок, к которым прибегают, чтобы не входить в рассмотрение действия общественных и нравственных явлений на дух человека, самую грубую составляет объяснение несходства в действиях и характерах людей их врожденным различием». Обыкновенные писатели постоянно впадают в ту ошибку, что признают существование этого различия, которое, существует ли, нет ли, не доказано еще, конечно, не было.

² Слово «климат» я всегда употребляю в его тесном и популярном смысле. Фоггу и многие прежние писатели почти отождествляют его со словом «*физическая география*». «Климат составляет совокупность всех внешних физических условий каждой местности в отношении ее органической природы».

³ Под *незанятыми* классами я разумею то, что Адам Смит называет *непроизводительными* классами; и хотя, собственно говоря, оба эти выражения неточны, но слово «*незанятые*» выражает, по-видимому, яснее всякого другого мысль, высказанную в тексте.

⁴ Древние персидские писатели дали арабам лестное название «толпы нагих ящерицеедов». По правде, немногое в истории доказано так ясно, как варварство того народа, которого некоторые писатели хотят облечь в романический интерес. Похвалы, высказанные ему Мейнерсом, несколько сомнительны. Странно, что этот ученый писатель забыл одно место у Диодора Сицилийского, где представляется привлекательное описание арабов, какими они были назад тому девятнадцать столетий на Востоке: «Ведут они жизнь хищническую и, нападая на большую часть пограничных стран, грабят» и т. д.

⁵ Единственная отрасль знания, возведенная арабами на степень науки,— это астрономия, которую начали разрабатывать при халифах, около половины VIII столетия, и которая все подвигалась вперед, так что город Багдад был в течение X столетия главным театром астрономии у восточных народов. Древние языческие арабы, подобно большей части варварских народов, живя в прозрачной атмосфере, были эмпирически знакомы с небесными явлениями настолько, насколько это было полезно для целей практических; но нет никакого доказательства в пользу общего мнения, будто они изучали этот предмет как науку. О позднейших арабских астрономах должно заметить, что одной из их великих заслуг было то, что они определили годичную *прецессию* гораздо ближе, чем сделал это Птолемей.

⁶ Я приведу пример из писателя (*Гамильтон*), не разделяющего нашего взгляда, и притом писателя, отличающегося значительной ученостью: «Что касается до естествознания у египтян, то современники верили в сверхъестественную силу их магии; а так как мы не можем предположить, чтобы примеры, приведенные в Священном Писании, следовало отнести к действию сверхъестественной силы, то мы должны заключить, что они (египтяне) обладали таким глубоким знанием законов и сочетаний природы, каким не могут похвалиться самые ученые люди нашего времени». Стыдно, что такая бессмыслица могла быть написана в XIX столетии. Знания в собственном смысле египтяне не имели; что же касается их мудрости, то она была довольно значительна, чтобы их отличать от варварских народов, таких, например, какими были древние евреи; но они уступали в мудрости грекам и стояли неизмеримо ниже новейших европейцев.

⁷ «Итак, задельная плата зависит от отношения числа рабочего населения к капиталу или другим фондам, предназначаемым на покупку труда,—скажем для краткости—к капиталу. Если задельная плата в одно время или в одном месте выше, чем в другое время или в другом месте, если наемные работники пользуются лучшим содержанием и большими удобствами жизни, то это не происходит и не может происходить ни от какой другой причины, как от более выгодного отношения капитала к народонаселению. Для рабочего класса важен не абсолютный итог накопления или производства, ни даже итог фондов, предназначаемых для распределения между работниками, а важно отношение этих фондов к числам, на которые они делятся. Положение рабочего класса может улучшиться не иначе как с изменением в его пользу этого отношения; и всякий проект улучшения быта рабочих, если только в нем не это принято за основание, несбыточен со стороны прочности улучшения» (*Милль*). Рикардо представил со

свойственной ему отчетливостью три возможные формы этого вопроса: «Повышение или понижение задельной платы случается во всяком состоянии общества, т. е. будет ли то застой, прогресс или движение назад. В состоянии застоя повышение или понижение задельной платы зависит совершенно от увеличения или уменьшения народонаселения; в состоянии прогресса оно зависит от того, что возрастает быстрее — капитал или народонаселение; в состоянии же движения назад оно зависит от того, что убавляется быстрее — капитал или народонаселение».

⁸ Хотя и то, и другое одинаково необходимо, но надобность в первом бывает обыкновенно настоятельнее; было доказано на опыте — чего, впрочем, следовало ожидать и по теории, — что когда животные умирают с голоду, то происходит прогрессивное понижение температуры их тела, так что ближайшая причина голодной смерти не слабость, а холод.

⁹ Прежде обыкновенно полагали, что это соединение происходит в легких; более же позднейшие опыты сделали правдоподобным то предположение, что кислород соединяется с углеродом во время кровообращения и что шарики крови служат проводниками кислорода. Что соединение это происходит не в сосудах легких, это доказывается еще и тем фактом, что легкие не теплее других частей тела. Другое доказательство в пользу того, что красные шарики содержат в себе кислород, заключается в том обстоятельстве, что их бывает наибольшее количество в тех разрядах позвоночных животных, в которых поддерживается самая высокая температура, между тем как в крови беспозвоночных животных шариков этих очень немного, и сомневались, существуют ли они вовсе в низших классах суставчатых и в моллюсках.

¹⁰ Преобладание печени до рождения замечено Биша и многими другими физиологами; но доктор Эллиотсон, по-видимому, один из первых понял факт, объяснения которому мы тщетно искали бы у предшествовавших писателей. Будучи студентом, говорит он, «я был очень расположен к гипотезе, по которой главное назначение печени, подобно легким, состоит в том, чтобы освобождать организм от углерода, с той разницей, что при действии легких изменение в составе воздуха производит увеличение теплорода в крови, между тем как желчное отделение происходит без образования теплорода. Гейдельбергские профессора приводили много доказательств на эту мысль. В зародыше, которому для поддержания температуры достаточно теплоты матери, легкие остаются в бездействии, но печень очень велика и желчь отделяется в изобилии, так что мезоним накапливается в большом количестве во время последних месяцев беременности».

¹¹ «Печень есть первый орган, образующийся в зародыше. Она развивается через пищеварительный канал и около третьей недели наполняет весь желудок, составляя одну треть всего веса зародыша... В момент рождения она очень велика и наполняет всю верхнюю часть живота... После рождения печень быстро уменьшается, вероятно, через уничтожение пуповой жилы».

¹² Плоды, употребляемые в пищу жителями южных стран, содержат в сыром виде не более 12% углерода; между тем как китовое сало и ворвань, которыми питаются жители полярных стран, заключают в себе от 60 до 80% углерода. Количество масла и жира, обыкновенно потребляемое в холодных странах, достойно внимания. Врангель говорит о племенах северо-восточной Сибири: «Жир составляет для них самое лучшее лакомство. Они едят его под всевозможными видами: сырой, топленый, свежий, испорченный».

¹³ Либих говорит, что для поддержания здоровья одного человека, даже в тех частях Европы, которые пользуются умеренным климатом, необходимо, чтобы пища его содержала на целую восьмую более углерода зимой, чем летом.

¹⁴ Пищу с наибольшим содержанием углерода доставляют, без сомнения, животные; пищу же с самым большим количеством кислорода — растения. В царстве растительном есть, однако, столько углерода, что преобладание его, сопровождаемое недостатком азота, заставило химиков-ботаников признать отличительным составом растений углерод, а животных — азот. Но мы должны иметь в виду двоякую противоположность. В растениях преобладает углерод в той мере, в какой в них недостает азота; но если их противопоставлять животной пище холодных стран, содержащей огромное количество углерода, то отличительным свойством их является кислород. При этом должно также заметить, что в растениях углерод преобладает в деревянистых, непитательных частях, не употребляемых в пищу; между тем как в животных он находится в жирных, маслянистых частях, которые в холодных странах не только едят, но даже с жадностью пожирают.

¹⁵ Кабанис говорит: «В холодное время и в холодных странах едят и действуют более». Что в холодных странах едят много, а в жарких мало, об этом упоминают многие путешественники, но ни один из них не обращает внимания на причины этого явления.

¹⁶ В одном довольно остроумном сочинении замечено, что страны бывают многолюднее, когда в них обыкновенная пища растительная, чем когда в них преобладает животная пища; тут же сделана попытка объяснить это тем, будто недостаток пищи более благоприятствует плодovitости, чем изобилие ее. Но хотя самый факт большего возрастания народонаселения неоспорим, есть, однако, много причин, по которым нельзя удовлетвориться объяснением автора.

а) Что способность размножаться увеличивается от бедного образа жизни, это есть предположение, которое никогда еще не было доказано физиологически; наблюдения же путешественников и правительств не довольно многочисленны, чтобы служить для него статистическим основанием.

б) Растительная пища в жаркой стране так же подкрепляет, как животная в холодной; а как мы знаем, что, несмотря на различие пищи и климата, температура тела мало видоизменяется между экватором и полюсами, то нам нет никакой причины думать, что есть какое-нибудь другое нормальное видоизменение, а скорее должно предположить, что по отношению ко всем существенным отправлениям растительная пища при внешнем жаре имеет то же значение, что животная при внешнем холоде.

с) Если даже допустить, что растительная пища увеличивает плодovitость, то это имеет влияние только на число рождений, а не на густоту населения, потому что большее число рождений может быть и часто действительно бывает уравновешиваемо большей смертностью.

С тех пор как я написал сказанное выше, я нашел, что эти воззрения Дობльдея еще ранее высказаны были у Фурье.

¹⁷ Рис, насколько я мог проследить, распространялся в западном направлении. Рядом с историческими данными есть и филологическая вероятность в пользу предположения, что родина его — Азия; так, санскритское название его чрезвычайно распространено. В четырнадцатом столетии рис был обыкновенной пищей на Занзибарском берегу; он и теперь повсеместно употребляется на Мадагаскаре. С Мадагаскара семена его были завезены в Каролину в самом конце

XVII столетия. Он теперь разводится в Никарагуа и в Южной Америке, где он растет, говорят, дико. Древние греки хотя и знали рис, но не разводили его; он впервые был разведен в Европе арабами.

¹⁸ Диодор Сицилийский упоминает о замечательном плодородии Индии и о происходящем от него накоплении богатства. Но об экономических законах распределения богатства он, как и все древние писатели, решительно не имел понятия.

¹⁹ Один умный и весьма ученый защитник этого несчастного народа (*Кеннеди*) говорит: «Раболепство, так часто приписываемое индусу, более всего заметно, когда его допрашивают как свидетеля. Но если допустить, что он поступает как раб, то зачем обвинять его в том, что он не обладает добродетелями свободного человека? Целые века угнетения научили его слепому повиновению».

²⁰ Рикардо говорит: «Все, что увеличивает задельную плату, необходимо уменьшает прибыль, а все, что возвышает плату за труд, понижает прибыль на капитал». Во многих других местах он утверждает то же самое, к великому огорчению обыкновенного читателя, который знает, что, например, в Соединенных Штатах и задельная плата, и прибыль высоки. Но тут недоразумение в словах, а не в мысли; как в этих, так и в других подобных местах Рикардо под задельной платой разумеет стоимость труда, и в этом смысле его предложения совершенно верны. Но если понимать под задельной платой вознаграждение за труд, то между такой платой и прибылью нет отношения; ибо при низкой ренте и та, и другая могут быть высоки, как это и есть в Соединенных Штатах. Что такой именно взгляд имел Рикардо, это ясно из следующего места: «Прибыль — никогда не будет лишним повторить — зависит от задельной платы, но не от номинальной, а от действительной, не от числа рублей, какое может быть заплачено в год работнику, а от числа рабочих дней, потребных для получения этих рублей».

²¹ Гебер приводит несколько замечательных примеров необыкновенно низкой платы, за которую охотно работают туземцы. О задельной плате на юге Индии можно найти самые полные сведения в прекрасном сочинении Бьюкенена. Я бы желал, чтобы все путешественники соблюдали такую же точность в показаниях о задельной плате, имеющей гораздо большую важность, чем те предметы, которыми они обыкновенно наполняют свои книги.

С другой стороны, богатства высших классов благодаря такому неравномерному распределению были громадны и доходили иногда до невероятных размеров. В автобиографии императора Джедангеяра встречаются такие изумительные показания о его огромном богатстве, что издатель ее, майор Прайс, думал, что в нее вкрались какие-нибудь ошибки при переписке; однако читатель найдет в Гротовой истории Греции положительные сведения о том, какие богатства могли накапливать азиатские владетели при описанном нами состоянии общества. Глин так изображает влияние этого неравномерного распределения богатства: «Европейские народы имеют весьма слабое понятие о настоящем состоянии жителей Индостана; они несравненно беднее, чем мы можем себе представить. Европейцы были до сих пор слишком склонны составлять себе понятие о богатстве Индостана по роскошной обстановке немногих императоров, султанов, набобов и раджей; между тем как более близкий и тщательный осмотр настоящего состояния общества обнаруживает, что эти владетели и вельможи захватывают все богатство страны; большинство же народа, получая только крайне необходимое для существования, изнемогает под невыносимыми тяготами и едва

имеет возможность удовлетворять самым необходимым жизненным потребностям, а еще менее потребности роскоши».

²² Тёрнер, путешествовавший в 1783 г. по северо-восточной части Бенгалии, говорит: «И действительно, крайняя бедность и жалкое положение этого народа становятся понятны, когда мы вспомним, как мало нужно для прокормления поселянина в этих странах. Оно редко обходится дороже двух пенсов в день, даже когда он позволяет себе обед из двух фунтов вареного риса с достаточным количеством соли, масла, зелени, рыбы и хили». Ибн Баттута, путешествовавший по Индостану в XIV столетии, говорит: «Я не видал другой страны, в которой съестные припасы были бы так дешевы».

²³ Один умный наблюдатель говорит: «Замечательно тоже, как мало народ в азиатских государствах принимает участия в переворотах, происходящих в их правительствах. Им никогда не руководит никакое сильное всеобщее впечатление; он никогда не участвует в событиях, имеющих самый большой интерес и самую большую важность для его родины и даже для его личного благосостояния». Подобные же замечания встречаются у Гердера.

²⁴ Справедливо говорит Фридрих Шлегель в своей «Philosophie der Geschichte»: «Чем глубже и дальше заходили в наше время исследования по части древней истории, тем более усиливалось уважение и удивление, возбуждаемые в нас Геродотом». Точность его показаний о Египте и Малой Азии признана в настоящее время всеми сведущими географами. К этому я могу еще прибавить, что в недавнее время один весьма умный путешественник представил некоторые любопытные данные в подтверждение того, что Геродот знал даже западную часть Сибири.

²⁵ Диодор, человек хотя честный и трудолюбивый, но во всех отношениях стоявший ниже Геродота, говорит довольно дерзко: «То, что Геродот и некоторые другие из собиравших деяния египтян наговорили (наврали), предпочитая изложению истины рассказывание небылиц и сочинение сказок для возбуждения интереса, мы оставим без внимания». В других местах он отзывается таким же тоном о Геродоте, хотя собственно не называет его.

²⁶ Нет достаточных данных в пользу предполагаемых путешествий в Египет древних греков и подлежит даже сомнению, был ли когда Платон в этой стране. Римляне много интересовались этим предметом. Бунзен говорит: «С Диодором всякое систематическое исследование истории Египта прекращается не только со стороны греков, но и вообще со стороны древних». Лик приходит к тому заключению, что после Птолемея древние ничего не прибавили к своим познаниям в географии Африки.

²⁷ Сэр Джон Гершель вычисляет, что большая пирамида весит двенадцать тысяч семьсот шестьдесят миллионов фунтов. Но, по Перрингу, настоящее количество каменных материалов в этой пирамиде составляет 6316 000 т, или 82 110 000 кубических футов.

²⁸ Много строено было мечтательных предположений касательно цели сооружения пирамид; но в настоящее время дознано, что это ни более ни менее как могилы египетских царей.

²⁹ Те, которые жалуются, что в Европе этот промежуток все еще слишком велик, могут найти некоторого рода утешение, изучая древние внеевропейские цивилизации.

³⁰ «Один царь подражал другому или старался превзойти его, а добродушный народ должен был употребить все дни своей жизни на постройку этих

памятников. Так произошли, по всей вероятности, египетские пирамиды и обелиски. Их строили только в древнейшие времена, ибо в позднейшее время и у всех народов, которые научились более полезным занятиям, пирамид уже не строили. Итак, пирамиды далеко не должны служить признаком благоденствия и просвещения Древнего Египта, а представляют несомненный памятник суеверия и бессмысленности как тех несчастных, которые строили, так и тех тщеславных, которые приказывали строить» (*Гердер*).

³¹ Скиер (Squier), делавший изыскания в Никарагуа, говорит о тамошних ситуациях: «Материал в них — всегда черный базальт, весьма твердый, который даже самыми лучшими из новейших орудий режется с трудом». Стефенс нашел в Palenque «щегольские образчики искусства, достойные изучения». О картинах в Chichen он говорит: «Они обнаруживают такую легкость руки, которая могла быть достигнута только под строгим надзором и руководством мастеров». В Копане «камни так обтесаны, что более совершенной каменной тески нельзя было бы достигнуть и с помощью самых лучших инструментов новейшего времени». А в Uxmal «кладка и полировка камня везде выполнены с таким совершенством, как будто бы это делалось по лучшим, новейшим правилам для каменных работ». Наши сведения о Центральной Америке почти исключительно заимствованы из этих двух писателей.

³² Есть различие между восточным и западным склонами горных цепей, объясняющее это явление отчасти, но не вполне; но если б даже объяснение это и было более удовлетворительно, то все-таки оно слишком близко к явлению, чтобы иметь научную ценность, и должно быть само проверено высшими геологическими соображениями.

³³ Об этом орошении можно составить некоторое понятие из сделанного вычисления, что Амазонка орошает площадь в 2 500 000 англ. кв. миль, что устье ее имеет 96 миль ширины и что она судоходна на расстоянии 22 000 миль от устья. Что же касается Северной Америки, то Роджерс говорит: «Площадь, орошаемая рекою Миссисипи и ее притоками, исчисляется в 1 099 000 англ. кв. миль».

³⁴ Это хорошо объясняется тем ботаническим фактом, что на западе хвойные породы растут до 68° и даже до 70° с. ш., между тем как на востоке северный предел их — 60°.

³⁵ Те скудные сведения, которые мы имеем о прежнем состоянии североамериканских племен, были собраны у Мак-Куллоха в его ученом сочинении «Researches concerning America», с. 119—146. На с. 121 он говорит, что они «жили вместе, без законов и гражданского устройства». В этой части света не было, по всей вероятности, никогда оседлого населения; и мы теперь знаем, что жители Северо-Восточной Азии переходили в разные времена на северо-запад Америки; так было, например, с чукчами, которые встречаются на обоих материках. И в самом деле, Добелль был так поражен сходством между североамериканскими племенами и некоторыми из племен, встреченными им около Томска, что полагал, что они одного и того же происхождения.

³⁶ Должно полагать, основываясь на общих физических соображениях, что существует соотношение между количеством дождя и протяжением берегов; в Европе, единственной стране, где записываются метеорологические наблюдения, связь эта доказана статистически. «Если измерять количество дождей, выпадающих в различных частях Европы, то при равенстве всех других условий оно везде оказывается уменьшающимся по мере удаления от берега моря» (*Кемц*).

Отсюда, без сомнения, происходит большая редкость дождей, замечаемая по мере удаления к северу от Мексики. К северу от 20°, особенно с 22 по 30° широты, дожди, продолжающиеся только июнь, июль, август и сентябрь, редко бывают во внутренности страны.

³⁷ «Различие между климатом восточных и западных берегов материков и островов было также замечено и в Южном полушарии, но там западные берега холоднее восточных, между тем как в Северном полушарии восточные берега холоднее».

³⁸ Дарвин, написавший одно из самых лучших сочинений о Южной Америке, был поражен превосходством восточного берега ее; он говорит, «что такие плоды, как, например, виноград и винные ягоды, которые на восточном берегу хорошо созревают и изобилуют на широте 41°, на противоположной стороне материка рождаются очень плохо даже и на меньшей широте».

³⁹ Гарднер, присматривавшийся ко всему этому глазами ботаника, говорит, что близ Рио-де-Жанейро теплота и влажность могут удобрить и самую бедную почву; так что «скалы, на которых едва заметны признаки земли, покрыты веллоциями, тилландсиями, меластомациями, кактусами, орхидеями и папоротниками — и все это полно жизни». Walsh дает следующее любопытное описание времени дождей: «По восьми или девяти часов в день в течение нескольких недель я не знал сухого белья; а одежду, которую снимал к ночи, приходилось надевать утром совсем сырую. Когда переставал дождь, что случалось очень редко, то в некоторых местах сияло палящее солнце, и мы на ходу курились испарявшеюся от жара сыростью, как будто бы мы сами превращались в пары».

⁴⁰ Это необыкновенное изобилие поражало всех путешественников. Walsh, проехавший по некоторым весьма плодородным странам, упоминает о «чрезвычайной производительности природы, характеризующей Бразилию». Дарвин говорит: «В Англии всякий, кто любит естественную историю, пользуется в своих прогулках большим преимуществом в том отношении, что всегда имеет на чем остановить свое внимание; в этих же плодородных местностях, переполненных жизнью, столь многое привлекает наше внимание, что почти совсем невозможно гулять».

⁴¹ Лайель упоминает «о неимоверном множестве насекомых, опустошавших жатвы в Бразилии», а Свенсон, путешествовавший по этой стране, говорит: «Красные муравьи в Бразилии так истребительны и в то же время так плодовиты, что они часто оспаривают у земледельца владение землею, презирая все его хитрости, направленные к истреблению их колоний, и решительно вынуждают его оставлять поля невозделанными».

⁴² В настоящее время Бразилия имеет 12 млн жителей.

⁴³ Видака — самое южное место берега, ныне принадлежащего Перу, хотя завоевания перуанцев, сливавшиеся с империей их, распространялись далеко в пределы Чили и лишь на несколько градусов не доходили до Патагонии. Что же касается Мексиканской империи, то северным пределом ее был 21° по берегу Атлантического и 19° по берегу Тихого океана.

⁴⁴ Некогда был возбужден вопрос о том, не происходит ли кукуруза из Азии. Но позднейшие и более тщательные изыскания доказали почти несомненным образом, что кукуруза была неизвестна до открытия Америки. Частые упоминания о кукурузе у Икстлильксохитля, туземного историка Мексики, доказывают всеобщее употребление ее в пищу до прибытия испанцев.

⁴⁵ «Плодородие Tlaolli, или мексиканской кукурузы, превосходит всякое представление европейца. Это растение под благоприятным влиянием сильных жаров и обилия влаги достигает роста в 1 или 1½ сажени. В прекрасных равнинах, простирающихся от С.-Жуан-дель-Рио до Кверетаро, например, на землях большой фермы Эсперанца, от одной фанеги кукурузы родится иногда до восьмисот, а вообще хорошие места дают средним числом от трехсот до четырехсот зерен» (*Гумбольдт*).

⁴⁶ С того времени он постоянно там употребляется в пищу. В Южном Перу, на высоте от 13 000 до 14 000 футов, происходит с картофелем любопытный процесс: крахмал замерзает и обращается в сахарин.

⁴⁷ Единственная наука, с которой эти народы были довольно хорошо знакомы,—это астрономия; ею мексиканцы, по-видимому, занимались с особенным успехом. Впрочем, астрономия их, как и можно было ожидать, была смешана с астрологией.

⁴⁸ Произведения искусства мексиканцев и перуанцев весьма низко оценивает Робертсон, который, впрочем, сознается, что он их никогда не видал. Но в настоящем столетии на этот предмет обращено было сильное внимание; кроме примеров искусства в работе и расточительности в издержках, которые собрал Прескотт, я могу сослаться на свидетельство Гумбольдта, единственного путешественника по Новому Свету, который имеет достаточные сведения как в естественных науках, так и в истории.

⁴⁹ Мексиканцы были, как утверждает Причард, более жестоки нравом, чем перуанцы; но сведения наши недостаточны для того, чтобы решить, происходило ли это главным образом от физических причин или от социальных. Гердер предпочитает перуанскую цивилизацию: «Самое образованное государство этой части света — Перу».

⁵⁰ Что в Персии были касты — это подтверждает Фердоуси; его удостоверение, не говоря уже о самой вероятности факта, должно перевешивать молчание греческих историков, которые по большей части знали очень мало о всех землях, кроме своей собственной.

⁵¹ «Американцы, подобно жителям Индостана и всем тем народам, которые долго страдали под бременем религиозного и гражданского деспотизма, с необыкновенным упрямством держатся за свои привычки, свои нравы и свои понятия... В Мексике, как и в Индостане, не позволено было верующим ничего изменять в наружном виде идолов. Все, что только касалось до религии ацтеков и индусов, было определено неизменными законами» (*Гумбольдт*).

⁵² «Следуя дедовским нравам, они не приобретают ни одного нового обычая» (*Геродот*). В таком же смысле Платон в диалоге «Тимей» заставляет египетского жреца говорить Солону: «Вы, греки, навсегда останетесь детьми, стариком же грек никогда не бывает». А когда Солон спросил, что он под этим разумеет, то ответ был: «Вы все, по душам вашим, люди новые, потому что не имеете в них никакой основанной на старых преданиях древней славы и никакого от времени поседелого знания».

⁵³ Мексиканцы были, по-видимому, еще более расточительны, чем перуанцы. Они воздвигнули огромные пирамиды, из которых одна, Холула, имела основание «вдвое шире величайшей из египетских пирамид».

⁵⁴ Прескотт говорит: «Мы не знаем, сколько времени было употреблено на постройку этого дворца, но утверждают, что трудились над ним 200 000 рабочих. Как бы то ни было, но достоверно, что Тезкуканские монархи, подобно царям

Азии и Древнего Египта, имели в своем распоряжении огромные массы людей и иногда назначали для общественных работ все население завоеванного города, не исключая и женщин. Самые громадные из существующих в мире памятников архитектуры никогда бы не были воздвигнуты руками свободных людей».

⁵⁵ Примером этому может служить прекрасное замечание Маттера о том, что когда египтяне лишились своей расы царей, то нация уже не могла более восстановить свое значение. В Персии также, когда чувство преданности престолу исчезло, то уничтожилось и сознание национального значения. История самых образованных стран Европы представляет картину прямо противоположную.

⁵⁶ Ощущение страха даже там, где нет опасности, бывает достаточно сильно, чтобы уничтожить удовольствие, которое бы мы ощущали без этого чувства. См., например, описание грозного горного хребта, составляющего предел Индостана, в «*Asiatic Researches*». «Чтобы составить себе верное понятие об открывшемся нам зрелище, необходимо, чтобы человек поставил себя на наше место. Глубина долины внизу, постепенное возвышение противоположных гор и дивное величие тучами увенчанных Гималаев составляли такую грозную картину, что ум был поражен скорее ощущением ужаса, чем удовольствия». Относительно Тироля было замечено, что величие гор возбуждает в умах жителей ужас, который и вызвал образование многих суеверных легенд.

⁵⁷ «Почти всегда замечается усиление электричества, и вообще они (землетрясения) предвещаются ревом скота, беспокойством, замечаемым во всех домашних животных, а в людях — ощущением того неприятного состояния, которое в Европе испытывается нервными личностями перед грозой» (*Кювье*).

⁵⁸ Любопытный пример того, как сближение понятий может победить притупляющую силу привычки. Чуди, описывая всеобщий панический страх, говорит: «Никакая привычка к этому явлению не может победить возбуждаемого им ужаса». Беале пишет: «В Перу говорят, что туземцы, несмотря на часто ощущаемые потрясения земли, вместо того, чтобы привыкать к ним, как бывает с лицами, постоянно подвергающимися другим опасностям, всякий раз все более и более ужасаются при каждом повторении удара, так что в старых людях страх, возбуждаемый даже и легким ударом, нередко бывает почти невыносим». Точно так же замечает Вард, что при землетрясениях в Мексике «туземцы более, чем иностранцы, замечают слабые удары и в то же время более пугаются их».

⁵⁹ Самые великие деятели науки и вообще все великие люди, без сомнения, отличались замечательной силой воображения. Но в искусствах воображение играет несравненно более важную роль, чем в науке, что именно я и хотел выразить в тексте. Брюстер полагает, что Ньютон имел слабое воображение. Невозможно рассматривать такой обширный вопрос в примечании. Но, по моему мнению, никто из поэтов, кроме Данте и Шекспира, не отличался более смелым парением воображения, чем сэр Исаак Ньютон.

⁶⁰ Замечания Тикнора об отсутствии научного развития в Испании могут быть распространены еще далее. Он говорит, между прочим, что когда «в 1771 г. Саламанкскому университету было предложено ввести преподавание естественных наук, то он отвечал, что Ньютон не учит ничему, что бы могло усовершенствовать человека в познании логики и метафизики, а Гассенди и Декарт не так охотно признают истину откровения, как Аристотель».

⁶¹ Причард говорит: «Племя гаджин (*Hajin*), обитающее близ гарроев, поклоняется тигру. У самых гарроев это понятие так сильно, что нос тигра, повешенный на шее женщины, считается большим пособием во время родов.

У сейков есть любопытное суеверие относительно ран, нанесенных тигром, а маласиры полагают, что эти животные посылаются людям в наказание за недостаток благочестия.

⁶² Жители Суматры вследствие суеверия весьма неохотно истребляют тигров, хотя они производят страшные опустошения. Камчадалы оказывают божеские почести многим животным, от которых ожидают опасности. В Абиссинии гиен считают волшебниками, и жители ни за что не прикоснутся к шкуре гиены, пока над нею не помолится и не отчитает ее священник. К этому следует присовокупить уважение, оказываемое медведям, а также и весьма распространенное поклонение змею, извилистые движения которого весьма способны внушать страх и тем возбуждать религиозные чувства. Опасность от вредных змей имеет связь с созданием дивов в Зендавесте.

⁶³ Чтобы дать понятие о размере этих явлений, мы укажем на землетрясение с вулканическим извержением, бывшее в 1815 г. на Суматре, которое потрясло землю на пространстве, имеющем 1000 миль в окружности,—удары были слышны за 970 географических миль.

⁶⁴ В шестнадцатом веке «различные секты согласны были в том, чтобы считать тяжкие и опасные болезни непосредственным действием божеского всемогущества,—мысль, которую Фернелъ помог еще более распространить. В сочинениях Паре приведено несколько текстов из Библии в доказательство того, что гнев Божий составляет единственную причину чумы, что достаточно этого гнева для возбуждения ее и что без него отдельные причины не могут произвести чуму». Тот же ученый говорит о средних веках, что, «по распространенному в эти варварские времена духу, люди считали проказу посланной непосредственно от Бога». Епископ Гебер говорит, что у индусов прокаженные лишаются прав своей касты и права обладания собственностью как лица, навлекшие на себя «гнев небесный».

⁶⁵ Под влиянием индуктивной философии (школы Бэкона) теологическая теория болезни была серьезно ослаблена прежде половины семнадцатого века, а около половины и во всяком случае уже в конце восемнадцатого она лишилась всех своих приверженцев среди ученых людей. В настоящее время она еще укрывается в низшем классе народа и встречаются следы ее в сочинениях духовных и некоторых других лиц, малознакомых с естественными науками. Когда холера появилась в Англии, то сделаны были попытки возобновить старинное понятие; но дух времени был уже слишком силен, чтобы допустить успех подобных попыток. Смело можно предсказать, что люди никогда не возвратятся к оставленным ими мнениям,—разве что возвратится прежнее невежество их. В виде образца тех понятий, к возбуждению которых выказалось стремление вследствие холеры, и как пример враждебности их всякому научному исследованию я могу указать на письмо, написанное в 1832 г. г-жой Грант, женщиной довольно образованной и имевшей некоторое влияние, где она говорит: «Мне кажется великой самонадеянностью предаваться до такой степени, как то делают многие, умствованию и построению догадок о болезни, столь очевидно составляющей особое наказание людям и столь отличной от всех доньше известных видов страдания человеческого». Это желание ограничить человеческое мышление есть именно то чувство, которое так долго удерживало Европу во мраке невежества, так как оно совершенно воспрещало те свободные исследования, которым мы обязаны всем приобретенным нами действительным знанием. Сомнения, которые высказывает об этом предмете Бойль, представляют

любопытный пример того переходного состояния, в котором находился ум человеческий в семнадцатом веке и которое пролагало путь великому движению освобождения, наступившему в следующем столетии. Бойль, изложив доводы обоих мнений — теологического и научного, — присовокупляет: «Тем менее вероятно, чтобы эти повальные и заразительные болезни всегда посылались для наказания нечестивых людей, что, как я нашел в некоторых достоверных источниках, иные моровые язвы истребляли как людей, так и животных, а другие преимущественно падали на животных, имеющих весьма мало значения для людей, как, например, кошек и т. п.».

«По этой и по другим подобным причинам я иногда полагал, что в споре о происхождении моровых язв, т. е. о том, естественное оно или сверхъестественное, ни та, ни другая сторона не права совершенно; так как весьма вероятно, что некоторые язвы не могут открываться без особенного, хотя и не непосредственного участия Бога Всемогущего, раздраженного грехами людей, а другие повальные болезни могут быть произведены гибельным стечением простых естественных причин». *Ни одна из спорящих сторон не права!* Это очень поучительное место для составления себе понятия о духе примирения, господствовавшем в семнадцатом столетии, которое стояло на половине пути между легковерием шестнадцатого и скептицизмом восемнадцатого века.

⁶⁶ Для историка человеческого ума весь этот вопрос так полон интереса, что я в конце книги перечисляю все свидетельства, которые мне удалось собрать; каждый, кто захочет пересмотреть указанные мною места, может убедиться в том, что во всех странах мира оказывалась тесная связь между незнанием истинных свойств и надлежащего лечения какой-либо болезни и убеждением, что эта болезнь насыщается сверхъестественной силой и ею только может быть излечена. Жоффруа Сент-Илер говорит, что когда люди не имели понятия о причине уродливых рождений, то и это явление приписывалось божеству. Дополнительным примером может служить «священная» болезнь Камбиза, без сомнения, эпилепсия.

⁶⁷ Жар, сырость и происходящее от них быстрое разложение растительных веществ, без сомнения, принадлежат к причинам этого явления, а к ним, вероятно, можно присовокупить и электрическое состояние атмосферы между тропиками.

⁶⁸ И тем самым должно было усилить власть духовенства, потому что, как говорит весьма откровенно Шарлевуа, «моровые язвы — это жатвы для служителей алтаря».

⁶⁹ «Таким образом, — говорит Роде, — вся духовная жизнь индуса переходит в истинную поэзию, и отличительным признаком всего развития его является преобладание воображения над рассудком, что прямо противоположно направлению развития европейца, общий характер которого состоит в преобладании рассудка над воображением. После этого понятно, что литература индусов исключительно поэтическая, что она чрезвычайно богата произведениями поэзии, но бедна научными сочинениями; что священные книги, законы и предания этого народа проникнуты поэзией и большей частью написаны стихами и что даже учебные книги по части грамматики, медицины, математики и землеописания написаны в стихах». Говорят также, что лучший текст Санхьи, одной из известнейших метафизических систем индусов, есть краткий трактат в стихах; стихотворные трактаты о юриспруденции и других науках изложены тем же свободным метром. Клапрот, разбирая санскритскую историю Кашмира, говорит: «Как

почти все индийские сочинения, эта история написана стихами». Бюрнуф замечает: «Индийские философы, точно будто они не могли избежать поэтического влияния родного климата, разрешают самые отвлеченные вопросы метафизики посредством уподоблений и метафор».

⁷⁰ Ятес (Yates) говорит об индусах, что «ни у какого другого народа не было такого разнообразия произведений поэзии. Различные метры греческие и римские изумляли Европу, но они совершенно ничтожны в сравнении с множеством видов санскритских метров, употребляемых в трех родах поэтических произведений».

⁷¹ В Европе, как мы увидим в шестой главе этого тома, проявлялось также некогда необыкновенное легковерие, но это было во времена варварства,—а необразованность всегда легковерна. Напротив того, примеры, взятые из индийской литературы, выбраны из произведений образованного народа, написанных языком чрезвычайно богатым и до такой степени выработанным, что многие весьма сведущие судьи признают его равным греческому, если не стоящим еще выше.

⁷² А иногда и более. В «*Essay on Indian Chronology*» говорится о «беседе, происходившей между Вальмики и Виазой... двумя поэтами, между временами рождения которых протекло 864 000 лет».

⁷³ Всякие соображения о цифрах до такой степени привычны индусу, что в языке его есть даже выражение, обозначающее единицу с 63 нулями — Азанке — именно потому, что исчисление периодов существования мира сделало необходимыми эти огромные цифры. Простое число — 12 000 лет — казалось слишком ничтожным этому народу, столь расположенному приписать своему божеству величайшее могущество, какое только можно себе представить.

⁷⁴ В лучшие времена Греции те страшные эпидемии, которыми впоследствии опустошалась страна, были сравнительно мало известны. Это могло происходить или от великих космических причин, или от того простого факта, что разные виды моровых язв не были еще занесены с Востока.

⁷⁵ Так вообще утверждают индийские теологи, но, по словам Раммохун-Роя, у Шивы было две жены.

⁷⁶ «Греческие боги имели форму человеческую, только с значительно большими силами и способностями, и действовали так, как бы на их месте стали действовать люди, но с достоинством и энергией, соответствующими большему их приближению к совершенству. Напротив того, божества индусов хотя и одарены человеческими страстями, но имеют всегда в своем виде что-нибудь чудовищное и в действиях что-то дикое и как бы капризное. Они разных цветов: одно красное, другое желтое, третье синее; у некоторых по двенадцати голов и почти у всех четыре руки. Они часто раздражаются без всякой причины и умиляют также без всякого основания» («*Elphinstone's History of India*»).

⁷⁷ То же замечание относится и к красоте формы, которую они сперва старались осуществлять в статуях людей, а потом перенесли и на статуи богов.

⁷⁸ «Поклонение великим людям», которое явилось впоследствии, произошло, вероятно, от греческого влияния.

⁷⁹ В Зендавесте нет указаний на боготворение людей, а Геродот говорит, что персы не похожи на греков в том, что они не веровали в божества, имеющие человеческий вид.

⁸⁰ Мы не знаем ни одного свидетельства о существовании этого элемента в древней аравийской религии, и то достоверно, что он был совершенно чужд духу исламизма.

⁸¹ Thirlwall («History of Greece») говорит, что «воззрения и чувства, из которых возникло поклонение героям, могут быть, по-видимому, уже весьма ясно замечены в Гомеровых поэмах». Сократ представлен у Платона спрашивающим: «Разве ты не знаешь, что герои суть полубоги?» В следующем за тем веке Александр доставил своему другу Гёфестиону право на поклонение в числе героев.

⁸² Поклонение умершим и особенно мученикам было одним из важных предметов спора между православными и манихеями. Легко понять, как возмутительно должно было казаться это обыкновение персидским теологам.

⁸³ Кузен высказывает несколько весьма справедливых замечаний о том, что он называет эпохой *бесконечного* на Востоке в противоположность эпохе конечного, начавшейся в Европе. Но что касается до физических причин этого явления, то он принимает только величие природы, оставляя в стороне те естественные элементы таинственности и опасности, которыми всегда возбуждалось религиозное чувство.

⁸⁴ Один ученый ориенталист (Troyer) сказал, что никакой народ не сделал столько усилий, как индусы, для того, «чтобы разрешить, исследовать и постигнуть то, что неразрешимо, неисследуемо и непостижимо».

⁸⁵ Это замечено было Теннеманом, который, однако же, и не пытался открыть причину этого явления: «Воображение у грека было творческое; оно создавало внутри его целые миры новых идей; но он никогда не доходил до того, чтобы смешивать идеальный мир с действительным, потому что в нем воображение всегда соединялось с правильно действующим рассудком и здравым смыслом. Несмотря на все эти недостатки и погрешности, греки — единственный народ древнего мира, имевший расположение в науке и производивший изыскания для научных целей. Они проложили путь и сравнивали дорогу к науке».

То же говорит и Кант: «Из всех народов мира греки первые стали философствовать. Они первые попытались развивать умственные понятия, не следуя путеводительной нити образов, а *in abstracto*; между тем как другие народы постоянно старались объяснить себе понятия только посредством образов — *in concreto*».

⁸⁶ Так, Стефенс говорит об идолах следующее: «Намерением скульптора, по-видимому, было возбудить страх». «Изображением, наиболее встречавшимся в скульптуре, была мертвая голова». «В Маяпане находятся изображения людей или животных с страшными лицами и ужасным выражением, на воспроизведение которого, по-видимому, истощилось все искусство художника».

ГЛАВА III

¹ Это уменьшение числа случайностей есть, конечно, одна из причин, хотя и довольно слабая, увеличения продолжительности жизни; но самая деятельная из причин есть общее улучшение в физическом положении человека.

² Общие социальные последствия этого положения мы рассмотрим далее, а собственно экономические последствия его прекрасно выражены у Милля в его «Политической экономии»: «Из черт, характеризующих это прогрессивное экономическое движение образованных народов, прежде всех обращает на себя внимание, по тесной связи своей с явлениями производства, постоянное и,

насколько может простираться человеческое предвидение, беспредельное возрастание власти человека над природой. Нет никаких признаков, по которым бы можно было заключить, что наше знание свойств материи и законов видимого мира приближается к своему пределу; оно подвигается вперед быстрее и в большем числе разных направлений вдруг, чем было когда-либо и при каком-либо из предшествовавших поколений, и так часто дает нам случай заглянуть вдаль, на совсем еще неизвестные пространства, что невольно утверждаешься в убеждении, что наше знакомство с природой находится еще в состоянии младенчества».

³ О том, чем была когда-то эта ужасная болезнь, можно судить по тому, что в XIII веке в одной только Франции было 2000 убежищ для прокаженных, а во всей Европе считалось подобных учреждений 19 000.

⁴ В XI, XII и XIII веках в Англии приходилось средним числом по одному голоду на каждые 14 лет.

⁵ По мнению Гершеля, голод при нынешнем положении химии «почти невозможен». Кювье говорит, что нам удалось «сделать всякий голод невозможным». Чисто экономическое доказательство невозможности голода смотри у Милля, во 2-м томе его «Политической экономии».

⁶ Дедуктивные науки, конечно, составляют исключение; но вся теория метафизики основана на ее индуктивном свойстве и на том предположении, что она состоит из общественных наблюдений и что из них только может быть построена наука о человеческом уме.

⁷ Эти замечания относятся только к тем мыслителям, которые придерживаются собственно метафизического метода исследования. Есть, впрочем, весьма небольшое число метафизиков — среди них во Франции первое место занимает Кузен, — творения которых представляют более широкие взгляды и обнаруживают попытку связать исторические исследования с метафизическими; таким образом они признают необходимость проверки своих первоначальных умозрений. Против этого метода мы не можем сделать никакого возражения, если только метафизические выводы будут принимаемы за простые гипотезы, которые, для возведения их на степень теорий, требуют строгой проверки. Но вообще, и почти без исключений, метафизики, вместо того чтобы следовать этому осторожному методу, смотрят на гипотезу так, как будто бы она была уже доказанная теория и как будто бы оставалось только найти несколько исторических примеров на истины, утвержденные психологом. Это смешение понятия о приискании примера с понятием о проверке самого начала составляет, по-видимому, общую погрешность всех тех, которые, подобно Вико и Фихте, размышляют об исторических явлениях а priori.

⁸ Среди индийских метафизиков была секта, признававшая пространство началом всех вещей; впрочем, эта мысль противна Ведам. В Испании учение о беспредельности пространства признается еретическим.

⁹ Это есть название, данное Контом почти всем величайшим метафизикам Англии, а из французов — Кондильяку и всем его ученикам; системе же их он дает *заслуженное название сенсуализма*. В «New System of Philosophy» Джоберта она названа сенсационализмом, и это последнее название, по-видимому, гораздо умнее.

¹⁰ По этому поводу Локк говорит иронически: «Тем не менее так как есть люди, уверяющие самих себя, что они имеют ясные, положительные и полные понятия о бесконечности, то и следует им пользоваться своим преимуществом;

а я с своей стороны вместе с некоторыми мне известными лицами, признающими-ся, что у них нет такого понятия, буду очень рад, если они своим понятием с нами поделятся».

¹¹ Таким образом, Рид говорит: «Я не знаю никакой идеи и никакого понятия, которые имели бы больше права считаться простыми и первобытными, как понятия о времени и пространстве». В санскритской метафизике время признается одной из независимых причин.

¹² «Как пространство,—говорит Милль,—есть обширное выражение, под которым разумеются все положения или вся целость одновременного порядка, так время есть обширное выражение, объемлющее собою всякую последовательность или всю целость последовательного порядка».

¹³ Рид замечает, что необходимые истины не могут быть «заклечениями наших чувств, потому что чувства наши свидетельствуют только о том, что есть, а не о том, что необходимо должно быть». Гамильтон говорит, что необходимые истины отличаются тем, что противное им «вовсе невысказуемо». Но этот ученый-писатель не объясняет, почему мы можем узнать, когда что-нибудь «вовсе невысказуемо». Что мы не можем представить себе какой-нибудь мысли, это, конечно, не составляет доказательства того, чтобы она была действительно невысказуема, так как она может оказаться вполне мыслимой в позднейшее время, когда более разовьются познания.

¹⁴ Чтобы избежать недоразумений, мы повторяем, что и в этом месте, и во всех других мы разумеем под метафизикой огромное количество всех сочинений, основанных на том предположении, что общие законы ума человеческого могут быть выведены только из фактов личного сознания. Для обозначения этого понятия выражение «метафизика» довольно неудобно, но всякое недоразумение устранится, если читатель будет постоянно иметь в виду данное нами теперь определение.

¹⁵ Беркли, в минуту откровенности, делает нечаянно признание, могущее много повредить репутации его трудов. «Вообще,—говорит он,—я очень расположен думать, что большая часть тех затруднений, которые до сих пор останавливали философов и заграждали им путь к знанию, происходят единственно от нас самих: мы сперва подняли пыль, а потом жалуемся, что не можем видеть». Каждому метафизику и каждому богослову следовало бы затвердить это изречение наизусть: «Мы сперва подняли пыль, а потом жалуемся, что ничего не видим».

¹⁶ Относительно одного из затруднений, приведенных в этой главе в числе препятствий метафизическому исследованию, справедливо привести замечание Канта: «То, каким образом мое Я, которое мыслит, различно с тем Я, которое само себя созерцает (так как я могу себе представить и другие способы наблюдения по крайней мере возможными), и между тем то и другое составляет один и тот же субъект—и как я, следовательно, могу сказать, что Я, как умственная сила и мыслящий субъект, признаю себя за мыслимого объекта, насколько дано мне наблюдать себя—подобно другим явлениям—не так, как я действительно есть пред рассудком, но так, как я себе кажусь,—все это не более и не менее трудно себе представить, чем то, каким образом я вообще могу быть сам для себя объектом наблюдения и внутренних ощущений» («Критика чистого разума»). Я очень расположен оставить вопрос на этом, так как мне кажется и то, и другое не только одинаково трудным, но при настоящей степени наших знаний и одинаково невозможным.

¹ Таким образом, мы видим, что крестовые походы, уменьшив число мужчин относительно числа женщин в Европе, усилили разврат. В Юкатане вообще бывает значительный избыток женщин, и результат оказывается вредным для нравственности.

² Между прочим, был действительно возбужден вопрос о влиянии душевного состояния во время образования зародыша. Но каково бы ни было это влияние, оно может действовать на последующее за тем рождение только через посредство физических явлений, которые во всяком случае должны быть признаваемы ближайшей причиной. Следовательно, если бы даже было доказано, что влияние это существует, мы все-таки должны были бы искать физических законов, хотя, конечно, эти законы принимались бы за второстепенные, долженствующие повести к более важным обобщениям.

³ «Метафизик,— говорит Гельвеций,— в самом себе видит источник убеждения и поверенного тайн природы: один я, говорит он, могу обобщить идеи и открыть зародыши событий, ежедневно развивающихся в физическом и нравственном мире; одним только мною человечество может быть просвещено». В. Кузен говорит: «Факт сознания, перенесенный от индивидуума к роду и внесенный в историю, составляет ключ ко всему развитию человечества».

⁴ Сравнительно с тем, как давно уже изучается физиология, физиологи еще замечательно мало приблизились к главной, окончательной цели всякого знания—к приобретению возможности предсказывать явления. Мне кажется, что две главные причины этого—отсталость химии и еще весьма несовершенное состояние микроскопа.

⁵ Одно время полагали, что некоторые восточные страны составляют исключение из этого правила; но более точные наблюдения опровергли опрометчивое показание древнейших путешественников: ни в какой части света, насколько нам известно, не родится больше девочек, чем мальчиков; во всех краях, о которых мы имеем статистические сведения, есть небольшой перевес на стороне мужеских рождений.

⁶ Миллер в своей «Физиологии» говорит: «Причины, которыми определяется пол зародыша, неизвестны, хотя, по-видимому, отношение лет родителей имеет некоторое влияние на пол рождающихся детей». Что отношение между летами родителей имеет отчасти влияние на пол детей, это может быть принято почти за достоверное по огромному количеству собранных доказательств, но Миллер вместо того, чтобы ссылаться на писателей-физиологов, должен был бы упомянуть о том, что статистики, а не физиологи первые сделали это открытие. Что касается до животных низших пород, то мы видим из множества опытов, что у овец и у лошадей лета родителей имеют «весьма важное общее влияние на пол приплода».

⁷ Что врожденные способности человеческого мозга совершенствуются оттого, что могут передаваться от родителей детям,—это составляет любимое учение последователей Галля; оно принято и Огюстом Контом, который, впрочем, сознается, что оно никогда не было достаточно проверено опытом. Причард, человек хотя и совершенно иного склада мыслей, как кажется, тоже склоняется в эту сторону; так, сравнение черепов привело его к тому заключению, что нынешние жители Великобритании—вследствие ли многих веков высшей умственной деятельности или по какой-нибудь другой причине—имеют несравненно

обширнейшие мозговые чаши, чем имели их предки. Даже если бы замечание это и было справедливо, то оно еще не доказывало бы, что содержание черепа изменилось, хотя и наводило бы на эту мысль; я с своей стороны полагаю, что общий вопрос должен остаться нерешенным до тех пор, пока изыскания не будут произведены в несравненно обширнейшем размере, чем это делалось до сих пор.

⁸ Ни один из законов наследственной передачи свойств характера не был до сих пор обобщен; не далее подвинулось и наше знание теории темпераментов, которая и до сих пор составляет главное препятствие для френологов. В последнее время обращено было внимание на различие химического состава крови в различных темпераментах, что составляет, по-видимому, более удовлетворительный метод, нежели прежний, по которому просто описывались наружные признаки каждого темперамента.

⁹ Мы часто слышим о наследственных талантах, наследственных пороках и наследственных доблестях; но кто захочет критически рассмотреть основания таких речей, тот увидит, что мы не имеем никаких доказательств существования подобных явлений. Прием, обыкновенно употребляемый для доказательства их действительности, в высшей степени нелогичен; писатель соберет несколько примеров каких-нибудь особенных свойств, встречающихся у отца и сына, и затем выводит, что эти особенности были наследственны. Таким образом можно доказать какое угодно предположение, так как во всех обширных областях исследования всегда можно найти достаточное число эмпирических случаев для довольно правдоподобного подтверждения любого предположения. Но не таким образом открывается истина; мы должны справиться как о том, сколько было случаев наследственного перехода дарований, так и о том, в каком числе случаев не оказалось наследственности подобных свойств. Пока не будет сделано чего-нибудь подобного, до тех пор мы не можем прийти ни к какому заключению путем наведения, а пока физиология и химия не подвинутся значительно вперед, нельзя решить вопрос и путем вывода.

Эти соображения должны заставить нас усомниться во всех уверениях о существовании наследственного сумасшествия и наследственной склонности к самоубийству (такие уверения встречаются во многих сочинениях). Замечание это относится также и к наследственным болезням и еще более к наследственным порокам и наследственным добродетелям. Нравственные явления никогда не записывались так тщательно, как физиологические, а потому нашим заключением о них следует еще менее верить.

¹⁰ К тому, что уже сказано, я присовокупляю мнение двух из самых глубоких современных мыслителей. «Я думаю,—говорит Локк,—что люди во все времена были одарены природными способностями почти в равной мере». Тюрго говорит, что «природные способности действуют одинаково у народов варварских и народов цивилизованных: они, вероятно, одни и те же во всех странах и во все времена... Чем более будет людей, тем более будет и великих людей или людей, способных сделаться великими».

¹¹ Что система нравственности, изложенная в Новом Завете, не заключает в себе ни одного правила, которое не было бы высказано раньше, и что некоторые из самых прекрасных мест в Писаниях Апостолов — не что иное, как выдержки из языческих писателей, это известно всякому образованному человеку, и это не только не составляет, как думают некоторые, опровержения христианского учения, но даже служит сильным подкреплением ему, доказывая тесную связь, существующую между учением Христа и нравственными стремлениями челове-

ства в разные века. Но уверения, будто бы христианство открыло людям нравственные истины, до того времени неизвестные, доказывают со стороны уверяющего или грубое невежество, или умышленный обман. Для удостоверения в том, что значение нравственных истин существовало у варварских народов независимо от христианства и большей частью до распространения его, отсылаю читателя к сочинениям: Макея «История религии»; Мюра «История греческой литературы». Т. II. С. 398 и Т. III. С. 340; Милля-отца «История Индии»; Бозобра «История манихейства» и др.

¹² Сэр Джеймс Макинтош был так сильно поражен неподвижным характером нравственных начал, что он отверг возможность для них успеха и смело утверждает, что в нравственности не может быть сделано дальнейших открытий. Он говорит: «Нравственность не допускает открытий... Более трех тысяч лет прошло со времени писания Пятикнижия,—и пусть кто-нибудь, если только может, скажет мне, в какой важной черте изменились правила жизни с этого отдаленного времени. Рассмотрим с той же целью законоположение Ману и мы придем к тому же заключению. Откроем книги всех ложных религий—окажется, что нравственная система их во всех главных чертах та же самая... Тут ясен тот факт, что в практической нравственности не было сделано никаких улучшений... Факты, из которых выводятся нравственные правила, так же доступны и должны быть так же очевидны самому грубому варвару, как и самому просвещенному философу... Совершенно наоборот бывает в физических и умозрительных науках, в которых факты весьма отдаленные и едва доступные... По неисчисленному разнообразию фактов, с которыми они имеют дело, невозможно назначить предел их дальнейшему развитию. Совсем другое дело с нравственностью—правила ее до сих пор были неподвижны и, по моему мнению, останутся такими же навсегда». Кондорсе говорит: «Нравственность у всех народов была одна и та же». Кант полагал, что в нравственной философии мы не подвинулись далее древних.

¹³ Часть нашего доказательства превосходно выражена у Кювье, который говорит: «Добро, делаемое людям, как бы оно ни было велико, всегда оказывает-ся скоропреходящим, а истины, завещаемые им, вечны».

¹⁴ Мильман в своей «Истории христианства» говорит: «Безукоризненный последователь строжайшей школы нравственной философии, Марк Аврелий мог, по строгости своей жизни, соперничать с христианами в презрении к житейским безумствам и суетностям; притом его характер, чрезвычайно добрый от природы, не затвердел и не приобрел оттенка горечи, под влиянием строгости и гордости философа. Тем не менее христианство нашло в Аврелии не только честного и великодушного соискателя власти над душою человека, не только соревнователя в деле обращения души к высшим взглядам и более достойным ее побуждениям, но и ревностного и непреклонного гонителя». Гизо сравнивает его с Людовиком IX французским, и действительно, в обеих этих личностях ясно видно сочетание искренности убеждений и склонности к преследованиям людей, иначе мыслящих. «Марк Аврелий и Людовик Святой—может быть, два единственные государя, которые во всевозможных случаях принимали свое нравственное убеждение за первое правило своей деятельности: Марк Аврелий—стоик, а Людовик Святой—христианин». Даже Дюплесси называет его «лучшим из языческих императоров», а Риттер—«доблестным и благородным императором».

¹⁵ Неандер в своей «Истории церкви» замечает, что лучшие из императоров противодействовали христианству, а худшие не обращали внимания на

распространение его. То же замечает Гиббон относительно Марка Аврелия и Коммода. Другой писатель, отличающийся совершенно иным характером (*Гетчинсон*), приписывает это обстоятельство дьявольскому наваждению. «Замечено было в первые времена христианства, что некоторые из лучших императоров были возбуждены дьяволом к тому, чтобы сделаться злейшими гонителями церкви».

¹⁶ Это его, конечно, сильно смущает. «Мое беспристрастие,— говорит он,— очевидно доказывается тем, что в некоторых обстоятельствах я сам указываю на великодушные побуждения инквизиторов, и это заставляет меня думать, что жестокие приговоры, постановляемые Священным Судом, происходят более от всей его организации, чем от личного характера отдельных членов его».

¹⁷ В 1546 г. венецианский посланник при дворе императора Карла V, по возвращении своем на родину, показал в официальном донесении своему правительству, что «в Голландии и Фрисландии более 30 000 человек лишены жизни по суду за последование ереси анабаптистов». В Испании инквизиция в продолжение восемнадцати лет управления Торквемады казнила, по самым умеренным показаниям, более 105 000 человек, из которых 8800 были сожжены. В одной Андалузии в течение одного года инквизиция казнила 2000 евреев кроме 17 000 человек, подвергшихся каким-нибудь видам наказания, легчайшим, чем смертная казнь.

¹⁸ Об ослаблении страсти к войне, которое еще более заметно, чем действительное уменьшение войн, см. любопытные замечания О. Конта в его «*Philosophie Positive*», где антагонизм между воинственным духом и духом промышленности вообще весьма хорошо развит; впрочем, некоторые из самых главных явлений упущены из виду этим замечательным философом по недостаточному знакомству его с историей и политической экономией.

¹⁹ Разве что правила нравственности и религии были распространяемы с большим рвением,— в этом случае и при неподвижности самых правил действие их могло усилиться. Но, напротив того, достоверно известно, что в средние века было сравнительно с населением более церквей, чем теперь; духовное сословие было гораздо многочисленнее, дух прозелитизма гораздо деятельнее, и в самом обществе существовала сильнейшая решимость не давать чисто научным положениям вторгаться в область нравственности. Действительно, в продолжение средних веков нравственная и религиозная литература превышает светскую литературу, взятую в совокупности, не только количеством произведений, но и дарованиями писателей. Между тем теперь правила моралистов уже не руководят более делами человеческими, а уступили свое место широкой теории целесообразности, объемлющей всевозможные интересы и всевозможные классы людей. Писатели, систематически излагавшие теорию нравственности, достигли высшей степени своего значения в тринадцатом столетии; после этого времени значение их стало быстро упадать, встречая противодействие, как говорит Колридж, «в духе протестантизма»; в конце же семнадцатого века они исчезли во всех цивилизованных странах. Сочинение Джереми Тэйлора «*Ductor dubitantium*» («Вождь сомнеющихся») было последней широкой попыткой гениального человека преобразовать общество единственно на основании начала нравственности.

²⁰ Гердер смело утверждает, что человек имел первоначально мирное настроение, но это мнение решительно опровергается огромным количеством новых сведений, приобретенных нами уже после Гердера, о настроении и нравах диких народов.

²¹ От этого происходит, без сомнения, то совершенство пяти чувств, которое естественно и даже необходимо в первобытном состоянии общества и которое, однако, развиваясь на счет способности мышления, приближает человека к низшим животным.

²² В некоторых македонских племенах человек, не убивший ни одного неприятеля, был отмечаем особым унижительным знаком. У даяков, на острове Борнео, человек не имел права вступить в супружество, пока не добудет человеческой головы, и тот, у кого их несколько, отличается своим гордым, надменным обращением, так как они составляют для него патент на знатность. У фракийцев обрабатывать землю считалось презреннейшим, а жить войной и грабежом — славнейшим занятием.

²³ Малькольм в своей «Истории Персии» говорит о татарах: «У них существует только один путь к возвышению — приобретение известности на войне». Также и в законах Тимура сказано: «Тот только способен занимать места, доставляющие власть и общественное уважение, кто хорошо знаком с военным делом и с различными способами разбивать неприятельские войска». То же направление ума видно и в том, что Гомер так часто и с таким очевидным удовольствием описывает сражения — особенность, замеченная Мюром в его «Греческой литературе», где сделана попытка обратить это в доказательство того, что все гомерические поэмы — творения одного и того же автора; хотя более естественным выводом было бы, что все эти поэмы сложены во времена варварства.

²⁴ К надежде на отличия в прежнее время присовокуплялись и виды на обогащение; в Европе в средние века война была очень выгодной профессией вследствие обычая требовать тяжкого выкупа за освобождение пленных. В Европе обычай платить выкуп за военнопленных пережил средние века и был прекращен только Мюнстерским миром в 1648 г.

²⁵ Некоторые предполагали, что в России меньше безнравственности, чем в Западной Европе, но это мнение едва ли не ошибочно.

²⁶ Уважение русского народа к духовенству было замечено многими наблюдателями и вообще слишком известно, чтобы требовать доказательств.

²⁷ Одна писательница новейшего времени, имевшая превосходный случай изучать петербургское общество, которое она оценила с тонкостью такта, свойственной образованной женщине, была изумлена, найдя между лицами, окруженными роскошью и богатством во всевозможных видах, «совершенное отсутствие склонности к серьезным занятиям и к литературе... Здесь положительным образом *mauvais genre* говорить о каком-нибудь серьезном предмете; даже упомянуть о чем бы то ни было, кроме туалета, танцев и *une jolie tournure*, считается *pédanterie*». («*Letters from the Baltic*», 1841). Кюстин в своей «*La Russie en 1839*» говорит: «Можно сказать, в виде общего правила, что здесь никто не говорит ни одного слова, которое могло бы живо заинтересовать кого-нибудь»; а в другом месте: «Из всех способностей ума единственная, которую здесь ценят, — это такт».

²⁸ По словам Шницлера, «в России старшинство определяется военным чином, и прапорщик предпочитается аристократу, не служащему в войске и не занимающему должности, которая бы давала военный чин». Эрман, объехавший большую часть Российской империи, говорит: «В нынешнем разговоре петербургских жителей беспрерывно слышится относительно лиц, принадлежащих к образованному классу, вопрос: «Что он, мундирный или фракник?» — и в этом вопросе выражается важное различие, полагаемое общественным мнением между

тем и другим сословием». То же говорят и другие авторы об этом преобладании военного класса, составляющем неизбежное последствие малой образованности нации, и, между прочим, Алисен говорит: «Все силы нации сосредоточены в войске. Торговля, судебное поприще и все гражданские профессии не пользуются общественным уважением. Все сколько-нибудь порядочные молодые люди поступают в военную службу»...

²⁹ У англосаксов, говорит Эклестон, «все свободные люди и землевладельцы, кроме служителей церкви, были приучены к употреблению оружия и всегда могли выступить в поход в самый короткий срок».

³⁰ Такие противники были тем более страшны, что в те счастливые времена считалось святотатством для мирянина поднять руку против епископа. В 1095 г. его святейшество папа, по постановлению собора, объявил, что всякий, кто лишит свободы епископа, становится вне защиты законов. Так как в тексте не было никакого ограничения этому правилу, то из этого следовало бы, что человек отлучается от церкви даже и в том, если бы он взял епископа в плен, защищая самого себя.

³¹ В 1181 г. английский король Генрих II повелел, чтобы у всякого обывателя был или меч, или лук, и это оружие он не имел права продать, но должен был оставить своему наследнику: а «прочим всем иметь *wanbasiam* (вероятно, наручник), железный шлем, копье и меч или лук и стрелы; и повелел (король), чтобы никто своего оружия не продавал и не закладывал, но чтобы после смерти оставлял его ближайшему наследнику своему». В царствование Эдуарда I было повелено, чтобы всякий обыватель, имеющий земли ценою до сорока шиллингов, имел «меч, лук, стрелы и кинжал... те, которые должны были иметь луки и стрелы, могли брать дерево из королевского леса». Даже в последних годах пятнадцатого столетия в университетах Оксфордском и Кембриджском было «в каждом от четырех до пяти тысяч студентов, которые все были взрослые, носили мечи и копья и по большей части принадлежали к высшему сословию (*gentry*). Одной из последних попыток возобновить стрельбу из луков был патент, изданный Елизаветою в 1596 г. В Юго-Западной Англии луки и стрелы исчезли из милиционных списков не ранее 1599 г., и в течение этого времени мушкет завоевал свое место.

³² Многие писатели утверждают, что в Англии не было приготавлиемого пороха до царствования Елизаветы. Но Шарон Тернер доказал одним повелением Ричарда III, помещенным в Гэрлейских рукописях, что порох приготавлился в Англии уже в 1483 г., а Эклестон утверждает, что англичане приготавливали и вывозили порох уже в 1411 г. Во всяком случае порох долго оставался весьма дорогим товаром, и даже в царствование Карла I мы находим жалобы на дороговизну его, «значительно стесняющую войска в их упражнениях». В 1686 г. цена пороха в оптовой продаже была от 20 до 30 руб. за бочонок.

³³ Мушкеты были такого жалкого устройства, что в половине пятнадцатого столетия требовалось четверть часа времени на то, чтобы зарядить оружие и выстрелить. О мушкетах в Англии первый раз упоминается в 1471 г.; подставки для стрельбы из них вышли из употребления не ранее царствования Карла I.

³⁴ Пистолет был изобретен, как говорят, в начале XVI века. Порох был употреблен в первый раз для устройства мин в 1487 г. Даниель говорит, что бомбы не были изобретены до 1588 г.; но, по словам других писателей, они явились на 100 лет раньше. Существует некоторое сомнение относительно точ-

ного определения времени, когда именно сделались известны пушки, но достоверно, что они употреблялись на войне ранее половины XIV столетия.

³⁵ Grose говорит, что до XVI века английские воины не имели особой отличительной одежды, а различались только щитами с гербами своих предводителей, вроде тех, которые теперь носят лодочники. Также в начале XVI века образовалась особая военная литература.

³⁶ Перемена, совершившаяся после тех времен, когда всякий мирянин был воином, весьма значительна. Адам Смит в своем знаменитом «Богатстве народов» говорит: «В цивилизованных нациях современной Европы рассчитывают обыкновенно, что не более одной сотой части жителей какой-либо страны может быть употреблено в качестве воинов, без разорения того края, который несет на себе издержки по содержанию их».

³⁷ В 1672 г. знаменитый граф Шефтсбери, бывший тогда лордом-канцлером, объявил, «что пришло время Англии предпринять войну против голландцев на том основании, что невозможно обеим нациям стоять наравне и что если мы не пересилим их торговлю, то они переселят нашу. Или они, или мы должны уступить. Одна из двух наций должна предписывать закон другой. Соглашение невозможно там, где спор идет о торговле целого мира». Несколько месяцев позже, настаивая также на необходимости войны, он представлял как довод, что для английской коммерции необходимо прямое решение вопроса о торговле в Ост-Индии. В 1743 г. лорд Гэрдвик, один из самых даровитых людей своего времени, сказал в палате лордов: «Если наше богатство уменьшилось, то пора уничтожить торговлю той нации, которая согнала нас со всех рынков континента,— очистим море от кораблей ее и блокируем ее порты».

³⁸ Даже Локк имел весьма смутное понятие о значении денег в торговле. Беркли хотя был и глубоким мыслителем, но также впал в заблуждение: он признает необходимым поддерживать торговый баланс и уменьшать вывоз. Экономические воззрения Монтескье также радикально ложны; а Ваттель хвалит вредное вмешательство английского правительства в дела торговли и ставит его образцом для других правительств.

³⁹ В 1642 г. граф Бристоль, человек довольно даровитый, сказал в палате лордов, что для Англии весьма выгодно, чтобы другие государства воевали между собою; потому что при этом деньги, или, как он выразился, «богатство их», перейдут к нам.

⁴⁰ Относительно вмешательства английского законодательства в дела торговли Мак-Куллох, основываясь на показании одного из комитетов палаты общин, говорит, что до 1820 г. «было издано в разные времена не менее двух тысяч законов, относящихся к торговле». Смело можно сказать, что каждый из этих законов был положительным злом, ибо никакая торговля и вообще никакой интерес не может быть покровительствуем правительством без того, чтобы прочие, непокровительствуемые интересы и промыслы не потерпели несравненно большего вреда; если же покровительство будет всеобщим, то и потеря распространится на всех. Считалось необходимым, чтобы всякий парламент сделал что-нибудь в этом отношении; так, Карл II в одной из речей своих сказал: «Прошу вас, придумайте какие-нибудь добрые, коротенькие билли, которые бы послужили в пользу промышленности народа... и да благословит Бог наши совещания».

⁴¹ До Адама Смита величайшую в этом роде услугу оказал Юм, но творения этого глубокого мыслителя были слишком отрывочны, чтобы произвести сильное действие. Действительно, Юм, несмотря на огромность своего

дарования, стоит ниже Смита относительно полноты взглядов и тщательности в изложении их.

⁴² В первый раз упомянуто было о «Богатстве народов» в парламенте в 1763 г.; затем от этого года и до конца столетия на эту книгу ссылались несколько раз, и в последние годы это делалось все чаще и чаще. Даже Аддингтон изучал Адама Смита в 1787 г.

⁴³ В 1797 г. Пульней в одной из своих финансовых речей ссылается на «авторитет доктора Смита, который, как было весьма удачно кем-то сказано, и убедит настоящее поколение, и будет владычествовать над следующим».

⁴⁴ «Действительно,—говорит Мак-Куллох,—нельзя не согласиться с тем, что ошибочные воззрения на торговлю, подобно столь частым заблуждениям относительно религии, были причиной многих войн и великих кровопролитий». «Прожнее воззрение заставляло каждую нацию считать благосостояние ее соседей несовместным с ее собственным; от этого родилось во всех взаимное желание вредить одна другой и разорять друг друга, а от этого произошел уже тот дух коммерческого соперничества, который был или непосредственной, или отдаленной причиной большого числа войн новейшего времени».

⁴⁵ Милль в своей «Политической экономии» говорит: «Чувство торгового соперничества, преобладавшее между народами в продолжение нескольких веков, совершенно подавляло всякое понятие об общности выгод, получаемых всеми коммерческими странами от благосостояния каждой страны; и тот самый дух коммерции, который теперь составляет одно из сильнейших препятствий к ведению войн, был в продолжение известного периода европейской истории главной причиной их». Эта великая перемена в понятиях коммерческих классов началась не ранее нынешнего века; она не была заметна для большинства наблюдателей, но Гердер предсказал ее еще в 1788 г.

⁴⁶ Считалось всегда положительным фактом, что самоубийств бывает более в мрачную погоду, чем в хорошую,—и это было даже одной из любимых тем у французских умников, которые не могли довольно наговориться о нашем расположении к самоубийству и об отношении, существующем между нами и нашим мрачным климатом. Но, к несчастью, на деле оказывается прямо противное тому, что всегда полагали, и мы имеем неоспоримые доказательства, что самоубийств бывает больше летом, чем зимой.

ГЛАВА V

¹ Колридж говорит весьма справедливо: «Из многих преимуществ, происходивших от островного положения нашего отечества, главное есть то, что наши общественные учреждения сложились по нашим собственным нуждам и интересам». Политические последствия этого обстоятельства обращали на себя внимание многих во времена Французской революции.

² В другом месте этого сочинения я соберу доказательства быстрого возрастания любви к путешествиям в шестнадцатом столетии, но здесь замечу то любопытное обстоятельство, что во второй половине этого века завелось обыкновение определять к молодым людям особых наставников для путешествия.

³ Единственный гениальный человек среди англичан этого времени, находящийся под влиянием французского духа,—это Драйден; но это главным образом заметно в его драматических произведениях, которые теперь все по справедливости забыты. Его истинно великие творения, в особенности дивные сатиры,

в которых он превосходит всех своих соперников, кроме Ювенала, вполне национальны и, как образцы английского языка, должны, если я смею выразить мое суждение, быть поставлены непосредственно за Шекспиром. В сочинениях Драйдена, без сомнения, много галлицизмов в языке, но весьма мало галлицизмов в мыслях, а по ним-то и следует определять действительную силу иностранного влияния.

⁴ Другое обстоятельство, послужившее к поддержанию независимости и, следовательно, увеличению достоинства нашей литературы, заключалось в том, что ни в каком великом государстве литераторы не были так мало связаны с правительством или поощряемы им, как у нас. Это есть лучший образ действия: покровительствовать литературе — значит вредить ей; для доказательства такого вывода я должен сослаться на гл. IX этого тома, где я говорю о системе Людовика XIV. Между тем я здесь приведу слова одного весьма ученого и — что гораздо лучше — весьма глубокомысленного писателя: «Тот, кто хочет понять английские учреждения, не должен упускать из виду характер тех бессмертных произведений, которые были созданы самобытной энергией английского ума. Литературе было предоставлено развиваться своими средствами. Вильгельм Оранский был совершенно чужд ей; Анна о ней и не думала; Георг I совсем не знал по-английски, и Георг II знал немного более его».

⁵ Это весьма хорошо объяснил Ленг, без сомнения самый даровитый из путешественников, издававших когда-либо свои замечания о европейском обществе: «Немецкие писатели, как философы, так и поэты, обращаются к публике несравненно более развитой и выше образованной, чем наша читающая публика... В нашей литературе самые темные и неудобопонимаемые из метафизических или философических писателей предполагают в публике гораздо низшую степень развития — только знание значения слов и посредственную способность мышления. Следовательно, социальное значение немецкой литературы ограничивается более тесным кругом. Она не имеет влияния на умы людей, действующих в низших или даже в средних сферах практической жизни, — людей, которым недостает времени, чтобы возвысить свои умственные способности до уровня великих писателей их нации. Читающая публика должна посвятить много времени на приобретение знаний, склада чувств и настроенности воображения, нужных к тому, чтобы следить за сословием пишущих. Вследствие того исследователь социальной экономии находит в Германии, ниже известного уровня, самую невероятную тупость, застой ума и невежество, а на этом уровне и выше его — самое необыкновенное развитие ума, ученость и даже гениальность. Эти два класса говорят и мыслят на различных языках. Обработанный немецкий язык, язык немецкой литературы, не есть язык простого человека, ни даже человека, довольно высоко стоящего в среднем классе общества — фермера, торговца, лавочника». Странно, что такому ясно смотрящему и энергическому мыслителю, каким очевидно оказывается Ленг, не удалось открыть причину этого замечательного явления.

⁶ Причины этого исключения и постараюсь очертить в следующем томе; но любопытно заметить, что еще в 1775 г. Бёрк был поражен пристрастием американцев к юридическим сочинениям. Он говорит: «Может быть, ни в какой стране в целом мире право не составляет предмета такого общего изучения. Самое сословие юристов многочисленно и могущественно: в большей части областей оно стоит во главе общества. Большая часть депутатов, посланных на конгресс, были адвокатами. Но и все, без исключения, что-нибудь читающие — а читает

там большая часть людей — стараются приобрести какое-нибудь понятие о науке права. Мне сказал один из первых книгопродавцев, что ни по какой из отраслей его занятия, кроме религиозных трактатов для народа, не вывозится столько книг в плантации, как по части юридической. Колонисты теперь приняли обыкновение перепечатывать их для своего употребления. Я слышал, что в Америке продано столько же экземпляров «Блэкстоновых комментариев», как в Англии».

⁷ Особенно Колбриджем и Джоном Миллем. Но при всем моем уважении к глубоко обдуманному сочинению Стюарта Милля о логике я должен думать, что он приписал Бэкону слишком много влияния на возбуждение индуктивного духа и отнес его слишком мало на долю тех обстоятельств, которым Бэконова философия обязана была своим успехом.

⁸ Два писателя особенно тщательно занимались исследованием того, какого метода должны придерживаться политэкономы: Джон Милль и Рэ. Рэ упрекает Смита в том, что он нарушил правила бэконовской философии и тем самым лишил свои выводы того достоинства, которое бы им непременно сообщил метод индуктивный. Но Милль с большой убедительностью доказал, что только по дедуктивному плану политическая экономия может быть возведена на степень науки. Он говорит, что политическая экономия, «по существу своему, — наука отвлеченная, и ее метод есть метод *a priori*», и что метод *a posteriori* «вовсе не действителен». К этому я могу присовокупить, что до новейшей теории ренты, которая теперь составляет краеугольный камень политической экономии, дошли не через обобщение экономических фактов, а посредством цепи умозаключений книзу, следуя методу геометров. Действительно, противники теории ренты всегда основываются на том, что ей противоречат факты, и в полном неведении о философии метода заключают из этого, что самая теория неверна.

⁹ В последнее время сделался известным поразительный пример той проницательности, которую Юм обнаруживал в применении дедуктивного метода. Он немедленно по прочтении «Богатства народов» открыл ошибку Смита, состоявшую в признании ренты элементом цены; теперь обнаружилось, что Юм первый сделал это великое открытие; заслуга же Рикардо заключается в том, что он доказал эту ошибку.

¹⁰ Исторические факты, которые он вводит в свое сочинение, — не более как пояснительные примеры: это усмотрит всякий, кто прочтет «Естественную историю религии». Здесь я могу упомянуть, что есть много сходства между воззрениями, проводимыми в этом замечательном рассуждении, и религиозными ступенями Конта (*Philosophie Positive*); так как Юмова ранняя форма политеизма, очевидно, тот же фетишизм Конта, откуда, по мнению этих писателей, впоследствии возник монотеизм как позднейшее и более утонченное отвлечение. Весьма правдоподобно, что ум человеческий шел именно таким путем; то же подтверждается и учеными изысканиями Грота.

¹¹ Т. е. он обращался с историческими фактами только как с простыми примерами, поясняющими известные начала, которые, по его мнению, могли быть доказаны без помощи фактов. Шлоссер в своей «Истории XVIII века» справедливо говорит: «История для Юма была второстепенным занятием, только средством к распространению его философии и т. д.». Принимая в соображение, до какой степени мало известны начала, управляющие общественными и политическими событиями, нельзя не согласиться, что Юм преждевременно применил свой метод к истории; но совершенно нелепо называть этот метод

недобросовестным, так как цель Юмовой истории — пояснить его выводы примерами, а не доказать их; и потому он считал себя правым в выборе пояснений. Я просто заявляю его взгляды, нимало их не защищая; в самом деле, я убежден, что в отношении выводов Юм сильно ошибался.

¹² Один писатель с большим авторитетом (Монтюкля) сделал на этот счет некоторые замечания, заслуживающие внимания: «Тогда-то иезуиты проникли в Китай с целью проповедовать там Евангелие. Они вскоре заметили, что заявление астрономических познаний — одно из самых действительных средств к упрочению там пребывания миссионеров, в ожидании предназначенного небом момента для озарения этой обширной империи светом веры. Кювье слегка намекает на то же. Он говорит об Эмери: «Он помнил, что христианство сделало наиболее завоеваний, и служители его пользовались наибольшим уважением в ту эпоху, когда они приносили к новообращаемым народам свет науки вместе с истинами религии, составляя собою во всех нациях самое просвещенное и самое почетное сословие». Даже Соути говорит: «Миссионеры всегда жаловались на изменчивость своих новообращенных и должны будут всегда на это жаловаться, пока не откроют, что некоторая степень образования должна предшествовать обращению в христианскую веру или по крайней мере идти с ним рядом».

¹³ Необходимо было, говорит Мори, чтобы церковь «более приблизилась к грубому, необразованному, невежественному рассудку варвара». Точно то же происходило в Индии, где Пураны относятся к Ведам, как сочинения отцов церкви относятся к Новому Завету. Так что, по меткому выражению Макса Миллера, Пураны — «вторичная формация индийской мифологии».

¹⁴ Учение Лютера в первый раз проповедуемо было в Швеции в 1519 г., а в 1527 г. начала Реформации были формально приняты на общем собрании Штатов в Вестеросе, причем предоставлено Густаву Вазе завладеть церковными имуществами. Отступничество распространялось так успешно, что один историк говорит в 1598 г.: «Это исповедание (лютеранское) так долго уже господствовало в Швеции, что почти невозможно было найти ни в народе, ни среди дворян человека, который бы помнил публичное отречение в этом королевстве католического богослужения».

¹⁵ Г. Ленг, хотя сам протестант, справедливо говорит (1839 г.), что в протестантской Швеции «существует инквизиционный закон, действующий в руках лютеранской господствующей церкви так же сильно, как действовал подобный закон в Испании или Португалии в руках римско-католической церкви». В семнадцатом веке было постановлено шведской церковью и подтверждено правительством, что «если какой-либо шведский подданный переменит веру, то будет изгнан из королевства и потеряет всякое право наследства, как за себя, так и за потомство... Ежели кто-либо приведет в Швецию учителей другой религии, то будет подлежать штрафу и изгнанию». К этому можно присовокупить, что не ранее как в 1781 г. дозволено было католикам исповедовать свою веру в Швеции.

¹⁶ Мы видим ясный пример этому у абиссинцев: они уже несколько столетий исповедуют христианскую веру, но так как никто не позаботился об их умственном образовании, то, находя для себя эту религию слишком чистою, они исказили ее и до настоящего времени ни на волос не подвинулись вперед. Сведения о них, сообщенные Брюсом, достаточно известны; сверх того, один путешественник, посетивший Абиссинию в 1839 г., говорит: «Ничто не представляет собою большего искажения, как номинальное христианство этой несчастной

нации. Оно перемешано с иудейством, магометанством и язычеством; это — куча обрядов и суеверий, которые не могут исправить сердце».

¹⁷ В. Гамильтон, ученость которого по части истории мнений хорошо известна, говорит: «Насколько какой-нибудь писатель ушел вперед против своего века, настолько именно сочинения его имеют шансов остаться в пренебрежении». Точно так же относительно изящных искусств Рейнолдс говорит: «Настоящее и будущее могут считаться соперниками; кто прислуживается одному из них, тот должен ожидать дурного приема от другого».

¹⁸ Отсюда умственно-исключительный и, как его хорошо называет Неандер, «аристократический дух древности». Это постоянно упускают из виду писатели, употребляющие слово «демократия» слишком небрежно; они забывают, что в известном веке демократия политическая может быть явлением весьма обыкновенным и в том же самом веке демократия мысли может быть чрезвычайной редкостью. О всеобщем преобладании в прежние времена этого таинственного аристократического духа можно найти указания у многих авторов (Риттер, Шпренгель, Грот, Варбёртон и др.).

¹⁹ Локк заметил это «ученое невежество», которым отличаются многие люди. Если б этот глубокомысленный писатель был теперь в живых, какую войну объявил бы он нашим великим университетам и общественным школам, где преподают бесчисленное множество таких вещей, которых никому нет нужды понимать и которые помнить дадут себе труд весьма немногие.

²⁰ Статистика этого рода литературы может быть весьма любопытным предметом изучения. Никто, я полагаю, не думал, чтобы стоило труда сосчитать все ее произведения. Но Гизо приблизительно вычислил, что Болландистская коллекция содержит в себе более 25 000 жизнеописаний святых. Говорят, что до Джосляйна (Joceline) было шестьдесят шесть биографов одного святого Патрика.

²¹ Потому что, как говорит Лаплас в своих замечаниях об источниках заблуждений в связи с учением о вероятностях, «влиянию мнения тех, кого толпа считает самыми сведущими, кому она привыкла доверять разрешение самых важных вопросов жизни, должно приписать распространение заблуждений, которые во времена невежества покрывали собою землю».

²² Под названием «cogn-laws» (хлебные законы) известны в Англии постановления, ограничивавшие посредством пошлин ввоз и вывоз зерна и других материалов, из которых готовится хлеб. Эти законы издаваемы были в различные времена, в видах поощрения английского земледелия, и стесняли ввоз зернового хлеба; наконец общественное мнение до того сильно восстало против такого стеснения, что в 1845—1846 гг. сэр Роберт Пиль внес в парламент билли сначала об ограничении, а потом об окончательной отмене cogn-laws, которые и были отменены 1 февраля 1849 г. *Примеч. перев.*

²³ «Ежели, — говорит Бланки, — торговля не погибла под влиянием запретительной системы, то этим она обязана контрабанде. В то время как система эта осуждала народы на необходимость снабжаться предметами потребления из самых отдаленных источников, контрабанда сокращала расстояния, понижала цены и нейтрализовала губительное действие монополий».

²⁴ Так называемая в Англии таблица, служившая к вычислению пошлины на все предметы, пропорционально повышению или понижению цен на зерновой хлеб. *Примеч. перев.*

²⁵ Архиепископ Ватели говорит и едва ли с ним не согласится теперь всякий здравомыслящий человек: «Если бы присяга была уничтожена с оставлением

в своей силе законов о наказании за ложное свидетельство (немалое для нас обеспечение), то, по моему убеждению, в сложности, свидетельские показания оказались бы более заслуживающими доверия, чем теперь».

²⁶ В этом случае ему помогала и церковь. Постановления церковных соборов содержат в себе множество статей против лихвы; а в 1179 г. папа Александр [III] повелел: ростовщиков лишать погребения. «Во всех почти местах преступная лихва до того усилилась, что многие, оставляя другие дела, занимаются лихвой и не внимают тому, до какой степени она (лихва) осуждается текстом обоих заветов; поэтому мы постановляем, чтобы изобличенные ростовщики не были допускаемы к причастию и чтобы они, в случае их смерти в состоянии этого греха, не получали христианского погребения, а также чтобы никто не принимал их пожертвований (на церковь)». В Испании лихва была подсудна инквизиции.

ГЛАВА VI

¹ Замечательное доказательство небрежности, с какой изучали историю варварских народов, представляется в том факте, что писатели постоянно утверждают, будто рифма — изобретение сравнительно недавнее; даже Пинкертон в письме к Ленгу 1799 г. говорит: «Рифма сделалась известна в Европе не ранее, как около IX столетия». Дело в том, что рифма была известна не одним древним грекам и римлянам, а употреблялась также задолго до времени, указываемого Пинкертоном, англосаксами, ирландцами, валлийцами (уэльсцами) и, я полагаю, даже бретонцами. Рифма употребляется также персами, китайцами, малайцами, яванцами и сиамцами.

² Приобретенная таким образом привычка долго переживает вызвавшие ее обстоятельства. В продолжение многих столетий любовь к версификации была так распространена, что сочинения с рифмами писались почти на все предметы, даже в Европе; и это обыкновение, служащее признаком преобладания воображения, есть, как я уже показал, характеристическая черта великой индийской цивилизации, в которой ум всегда находился в состоянии подчинения. Некоторые из старинных французских историков писали рифмами. Монтюкля упоминает об одном математическом трактате, написанном в VIII столетии «en vers techniques». Точно так же мы находим англо-норманнское сочинение «Институты Юстиниана» в стихах и польского историка, пишущего свои многочисленные сочинения о генеалогии и геральдике большей частью рифмами.

³ Вдохновенное начало поэзии объясняют иногда ее самопроизвольностью (*Cousin. Hist. de la Philosophie. II serie. Vol. I. P. 135, 136*); и не может быть сомнения, что одна из причин, возбуждающих глубокое уважение к великим поэтам, заключается в испытываемой ими, по-видимому, необходимости изливать свои мысли независимо от собственного желания. Во всяком случае, я полагаю, будет найдено, что взгляд на поэзию как на божественное искусство наиболее преобладает в таком состоянии общества, в котором знание составляет монополию бардов и в котором барды бывают в то же время священниками и историками.

⁴ Что изобретение письма прежде всего ослабляет память, это замечено в Платоновой «Федре»; однако Платон заходит слишком уж далеко в своей аргументации.

⁵ Обыкновенно обобщать имена предшествовало тому более развитому состоянию общества, в котором люди обобщают явления. Если предположение это совершенно верно — а мне кажется, что это так, — то это проливает некоторый свет на историю споров между номиналистами и реалистами.

⁶ О том, до какой степени обилен этот источник заблуждения, мы можем составить себе понятие из того факта, что в Египте было 53 города одного и того же имени.

⁷ Первым миссионером был Ebbo, около 822 г. За ним следовал Anschar, который впоследствии проник до самой Швеции. Но успехи их были медленны, и христианство прочно утвердилось на севере не ранее второй половины XI столетия.

⁸ Подобные вставки так многочисленны, что прежние немецкие антиквариумы думали, что «Эдда» есть поддельное произведение северных монахов — парадокс, опровергнутый Мюллером много лет тому назад.

⁹ Как ясно видно из противоречивых показаний лучших ориенталистов, из которых каждый имеет свою любимую гипотезу насчет происхождения этой религии. Довольно того, что мы не имеем сведений об Индии, существующей без брахманизма; что же касается до настоящей его истории, то в ней ничего нельзя разгадать, пока мы не приблизимся более к обобщению законов, управляющих усилением религиозных убеждений.

¹⁰ Г. Бузен говорит, что китайцы имеют «правильную хронологию, восходящую до 3000 лет до Р. Х.». Чрезвычайную верность китайских летописей приписывают иногда раннему знакомству китайцев с книгопечатанием, которое, как они уверяют, было им известно за 1100 лет до Р. Х. Но дело в том, что книгопечатание не было известно в Китае до IX или X столетия по Р. Х.; подвижные типы были изобретены не прежде 1041 г.

¹¹ Даже в настоящее время или по крайней мере в течение нынешнего столетия лучшее воспитание в Персии состояло в изучении основных начал арабской грамматики, логики, юриспруденции, преданий Пророка и комментариев на Коран. Точно так же магометане пренебрегали древней историей Индии, и, без сомнения, уничтожили бы или исказили ее, но они никогда не имели и тени той власти над Индией, какую имели над Персией, и, что важнее всего, не были в состоянии искоренить религию туземцев. Однако их влияние, насколько бы оно ни простиралось, было неблагоприятно, и до XVI столетия не было примера, чтобы мусульманин тщательно изучал индийскую литературу.

¹² Греки не знали персидской истории. Ни один греческий писатель никогда не заимствовал своих сведений ни от кого из туземцев собственной Персии, т. е. страны к востоку от Евфрата. Даже на Геродота, сказания которого о Египте выше всякой похвалы, нельзя положиться в показаниях о Персии.

¹³ Почтенный Доулинг, который с большим сожалением оглядывается назад на этот период, говорит: «Писателями были почти исключительно духовные лица. Литература не имела почти никакого другого значения, кроме религиозного: все, что изучалось, — изучалось в религиозных видах. Так, люди, которые писали историю, писали историю церкви».

¹⁴ Так, например, один знаменитый историк, писавший в конце XII столетия, говорит о царствовании Вильгельма Рыжего: «При этом же короле, как было отчасти предсказано, на солнце, луне и звездах видны были многие знаки, а также море весьма часто выступало из берегов, потопляло людей и животных и разрушало многие виллы и дома. В округе, называемом Barujeshire, перед убиением

короля из источника истекла три недели кровь. Многим также норманнам дьявол, под ужасным видом, часто являлся в лесах и много говорил с ними о короле, о Ранульфе и о некоторых других. И не удивительно, ибо в их время почти всякая справедливость законов молчала, в делах же, предполагавшихся справедливыми, управляли всем одни деньги».

¹⁵ В происхождение французских королев от троянцев все вообще верили до XVI столетия. Такое объяснение происхождения считали верным в продолжение почти восьмисот лет, и его поддерживали все вообще наши историки; ошибочность его была признана только в начале XVI столетия. Полидор Вергилий, умерший в половине XVI столетия, восстал против подобного мнения относительно англичан и тем сделал свою историю непопулярной. В 1128 г. Генрих I, король английский, спросил одного ученого о первоначальной истории Франции. Ответ на это сохранил одним из историков XIII столетия: «Могущественнейший из королей! Как большая часть народов Европы, так и франки вели свое происхождение от троянцев».

¹⁶ Всеобщим мнением было, что Брут — сын Энея; но некоторые историки утверждали, что он был его правнуком.

¹⁷ В «Notes to a Chronicle of London» есть генеалогия, в которой история епископов лондонских восходит до Ноя и Адама. Так, точно Gogorius в своей истории Антверпена, писанной в XVI столетии, нашел как нидерландский язык, так и философию Орфея в Ноевом ковчеге. В летописи Уильяма Малмсбёрри генеалогия сакских королей восходит до Адама. Тикнор говорит, что испанские летописцы ведут «непрерывный ряд испанских королей от Тубала, внука Ноева».

¹⁸ Даже в XVII столетии мысль эта еще не совсем утратила силу. Согуат, путешествовавший по Франции в 1608 г., приводит другую версию этого мнения. Он говорит: «Что касается имени Paris, то оно заимствовано (как пишут некоторые) от Париса, о котором иные пишут, что он происходит в прямой линии от Афета, одного из трех сыновей Ноевых, и что он основал этот город».

¹⁹ Райт говорит: «Легенды об основании города Неаполя на яйцах и о яйце, от которого зависит будто бы его участь, были, по-видимому, общераспространенными легендами в средние века».

²⁰ В священных книгах скандинавов свинина представлена главной пищей даже на небе. Она была главной пищей ирландцев в XII столетии, у англосаксов — несколько ранее. Во Франции она была также в общем употреблении, и Карл Великий держал в своих лесах огромные стада свиней. В Испании те, которые не любили свинины, были пытаемы инквизицией, как подозреваемые в еврействе. В самом конце XVI столетия появилась особенная болезнь, происшедшая, как говорили, от слишком большого потребления свинины в Венгрии. В половине XVI столетия я нахожу, что Филипп II в бытность свою в Англии обыкновенно ел за обедом ветчину и съедал ее так много, что очень часто бывал от этого болен. Посол пишет, что Филипп был «grand mangeur outre mesure» и обыкновенно потреблял большое количество «de lard, dont il fait le plus souvent son principal repas». В средние века, по словам Мишле, «тюринги платили свою дань свининой, самым драгоценным съестным припасом их страны».

²¹ Странно, что, наоборот, африканские магометане и теперь «уверены, что существует сильная вражда между свиньями и христианами». Многие медицинские писатели полагали, что свинина особенно нездорова в жарких странах, но это требует подтверждения; а между тем достоверно, что арабские доктора рекомендуют это мясо и что оно как в Азии, так и в Африке в гораздо большем

употреблении, чем обыкновенно полагают. Так как этого рода факты важны в физиологическом и в социальном отношении, то желательно было бы, чтобы их собирали; поэтому я прибавляю, что, по свидетельству путешественников, североамериканские индейцы имеют «отвращение к свинине». Довелль говорит: «Я уверен, что в Китае съедается больше свинины, чем во всех остальных местностях земного шара, взятых в совокупности».

²² Эта любимая мысль средних веков, говорят, выдумка раввинов: «Магомет, лжепророк, был кардиналом, и с досады, что его не избрали папою, он сделался еретиком».

²³ Райт говорит: «В течение одного столетия после первого появления этой книги ей верили все писатели, занимавшиеся историей Англии; в продолжение же нескольких столетий нашлись только один или два человека, которые посмели заговорить против ее достоверности». Сэр Генри Эллис говорит о Полидоре Вергилии, писателе начала XVII столетия: «За оспаривание Гальфрида Монмутского Полидора Вергилия считали почти помешанным. Так сильно было в то время предубеждение». В XVII столетии, которое было первым скептическим веком в Европе, люди стали открывать глаза на этого рода предметы; так, например, Бойль ставит рядом «баснословные деяния Геркулеса и подвиги Артура Британского».

²⁴ Самым ранним представителем нового направления был Фруассар; он первый стал смотреть на вещи светским взглядом, между тем как все предшествовавшие историки были по преимуществу теологами. В Испании тоже мы находим, что в конце XIV столетия начинает проявляться у историков направление политическое. Однако Тикнор представляет Фруассара менее светским, чем он был в действительности.

²⁵ Об этом довольно справедливо замечает Арнольд: «Записки Коммина поражают своей совершенной бессознательностью: уже прозвонил для средних веков погребальный колокол, а Коммин все еще не имеет других идей, кроме тех, которым давали пищу эти века; он описывает их события, их характеры, их отношения, как будто бы они должны были продолжаться еще несколько столетий». К этому я прибавляю еще, что Коммин везде, где ему случается говорить о низших классах — а это случается очень редко, — отзывается о них с большим презрением.

²⁶ По поводу вторжения в Италию Коммин говорит, что предприятие это легко могло бы рушиться, если бы неприятелю пришлось на мысль отравить источники и съестные припасы. «Это непременно удалось бы ему, если бы он захотел попробовать; но должно полагать, что Господь и Избавитель наш Иисус Христос отнял у него это желание. Скажем в заключение, что, по-видимому, нашему Господу Иисусу Христу угодно было, чтобы вся честь этого похода была приписана Ему».

²⁷ Лингард говорит: «Из учения о подчинении всего Провидению набожные предки наши вывели скорое, но весьма удобное заключение, что успех есть выражение Божеской воли и что противиться победившему сопернику — значит противиться суду небесному». Последним признаком этого, некогда всеобщего, мнения является выражение «*вызывать к Богу браней*», — выражение, постепенно выходящее, однако, из употребления.

²⁸ «Пробегите, — говорит Гизо, — историю с V по XVI столетие; умом человеческим владеет и управляет теология; вопросы философские, политические, исторические постоянно рассматриваются с точки зрения теологической. Церковь

до такой степени всеильна в умственной сфере, что даже математические и физические науки обязаны подчиняться ее учениям. Теологический дух — это как бы кровь, которая текла по жилам европейского мира до Бэкона и Декарта». Все это прекрасно и совершенно справедливо, но какое произвели бы действие Бэкон и Декарт, если б вместо семнадцатого столетия они жили в седьмом? Имела ли бы их философия такой же светский характер, или, имея такой же светский характер, имела ли бы она такой же успех?

ГЛАВА VII

¹ Более двухсот лет тому назад Уильям Темпл заметил, что в Голландии духовенство имело меньше силы, чем в других странах, и что поэтому в Голландии была необыкновенно развита терпимость. Почти семьдесятю годами позже тот же вывод сделал другой проникательный наблюдатель — Леблан, который, упомянув о снисходительности, какую оказывали друг другу различные секты в Голландии, присовокупляет: «Главная причина столь совершенного согласия заключается в том, что в этой стране все дела между различными религиями ведутся их светскими членами, что там не потерпели бы таких духовных лиц, неуместная ревность которых могла бы разрушить это благое согласие». Я привожу эти факты только как пояснительные примеры того великого начала, которое будет доказано мною впоследствии.

² В первые одиннадцать лет ее царствования ни один католик не был преследуем уголовным судом за религию.

³ Карл I говорит: «Я знаю, что ни королева Елизавета, ни мой отец никогда не сознавались в том, что в их царствование какой-нибудь священник был казнен единственно за религию».

⁴ Таким же точно образом противники эмансипации католиков в наше время нашлись вынужденными оставить прежние теологические доводы и защищать преследование католиков аргументами скорее политического, чем религиозного, свойства. Лорд Элдон, который был самым влиятельным вождем партии нетерпимости, сказал в одной речи в палате лордов в 1810 г., что «постановлениями против католиков имелось в виду оградиться не от отвлеченных убеждений их религии, но от политических опасностей, которыми угрожала вера, признававшая верховную власть, находящуюся вне государства».

⁵ Вот что говорит один даровитый писатель о преследованиях, которые английская церковь направляла в XVII столетии против своих врагов: «Это избитая уловка, употребляемая духовенством во всех странах; оно же испрашивает у правительства карательные постановления против тех, кого оно называет еретиками или схизматиками, и возбуждает судей к строгому исполнению этих законов, — и оно же потом слагает всю вину на гражданскую власть, для которой не находит другого оправдания, как то, что пострадавшие подверглись будто бы ответственности не за религию, а за послушание законов».

⁶ Джуелева «Апология» была написана в 1561 или 1562 г. См.: Wordsworth's Ecclesiast. Biog. Vol. III. P. 313. Это сочинение, Библию и «Fox's Martyrs» приказано было в царствование Елизаветы «иметь постоянно во всех приходских церквях для чтения народу». Приказание это относительно Джуелевой «Апологии» было подтверждено Яковом I и Карлом I.

⁷ «Поэтому естественным мерилom в суждении о наших действиях должен быть приговор разума, определяющий и постановляющий, что хорошо и что

должно делать». Гукер требует от своих противников, «чтобы они не домогались от нас объяснения каждого действия текстом Священного Писания (из которого, как они силятся доказать разными ссылками, должно вытекать каждое действие наше), а скорее признавали бы истину, как она есть, т. е. считали достаточным, чтобы действия были согласны с законами разума. Для людей быть связанными и водимыми авторитетом, как будто бы суждение их было в каком-нибудь плену, и, хотя бы здравый смысл внушал противное, не внимать ему, а следовать, подобно стаду баранов, за передним, не зная и не желая знать куда, значило бы действовать по-скотски. Опять, чтобы авторитет людей имел у людей же какую-нибудь силу против разума или преобладал над ним,—это тоже не входит в наши верования. Целые собрания ученых людей, как бы ни были они велики и почтенны, должны преклониться перед разумом». Он же говорит, что даже «голос церкви» должно ставить ниже разума. Далее он говорит опять: «Что такое теология, если не знание вещей божественных? Какого же знания можно достигнуть без помощи естественной способности умозаключения или разума». Наконец, он с негодованием спрашивает тех, которые настаивают на самой большой важности веры: «Можем ли мы без разума сделать, чтобы вера наша казалась разумной в глазах людей?»

⁸ Сославшись на пророка Исайю, он прибавляет: «Кроме всего этого, мы видим из истории и из примеров лучших времен, что набожные государи никогда не считали чуждым для себя делом покровительствовать церквям».

«Моисей, гражданский судья и вождь народа, получил от Бога и передал народу все основания религии и богослужения; он же сильно и тяжело наказал епископа Аарона за золотого тельца и за искажение религии. Иисус Навин был не кем иным, как гражданским судьей, но лишь только он был посвящен и поставлен во главе народа, на него возложены были обязанности именно по части религии и богослужения».

«Царь Давид, когда всякая религия была уже почти уничтожена безбожным царем Саулом, возвратил Кивот Завета, т. е. восстановил религию; и в деле этом он участвовал не как советник только, а дал даже псалмы и гимны, распределил священнослужителей по чинам, установил церемонии и как бы стоял во главе духовенства».

«Царь Соломон воздвиг Господу храм, который отец его Давид только задумал; наконец, он держал прекрасную речь народу о религии и богослужении; затем удалил епископа Авиафара и на место его поставил Садока».

⁹ Он говорит, что хотя и можно предположить, что духовенство лучше сумеет устроить дела церковные, чем люди светские, однако в практическом отношении это ему ни к чему не послужит. «Неестественно было бы не считать пастырей и архипастырей душ наших людьми более способными, чем лица светских профессий и знаний; тем не менее когда все сделано, что только может сделать всякого рода мудрость, для предписания законов церкви, то всеобщее только согласие может дать этим постановлениям силу законов; без этого же согласия они не более имели бы для нас значения, как советы врачей для больных». Он говорит далее: «Пока не будет доказано, что каким-нибудь законом Иисуса Христа навсегда предоставлена одному духовенству власть издавать церковные законы, до тех пор мы должны считать совершенно согласным со справедливостью и здравым смыслом, чтобы никакое церковное постановление в христианской общине не было издаваемо без согласия как мирян, так и духовенства, а в особенности без верховной власти».

¹⁰ Этот глубокий взгляд лежит в основании всего сочинения Гукера. Место позволяет мне привести здесь лишь несколько извлечений, в которых заключаются скорее пояснительные примеры, чем само доказательство; доказательство же всякий читатель, сведущий в этого рода вещах, может ясно различить при чтении самой книги. «Справедливо, конечно, что чем древнее религиозные обряды, тем лучше; но справедливо это не безусловно и не без изъятий, *справедливо лишь настолько, насколько в различные века может повторяться тот порядок вещей*, для которого эти обряды, порядки и церемонии были первоначально установлены»... «Ибо если какая-нибудь вещь перестает быть годной для той цели, ради которой она существует, то продолжение ее существования необходимо представляется излишним». Даже о законах Божиих он дерзко говорит: «Несмотря на авторитет их Творца, изменчивость цели, для которой они даны, делает их также подлежащими изменению»... «Поэтому даже и те законы, которые даны Богом и цель постановления которых еще не уничтожилась, должны все-таки прекратить свое существование, если при других лицах или в другое время они окажутся недостаточными для достижения предположенной цели»... «Итак, я скажу в заключение, что ни то обстоятельство, что законы даны Богом для управления Его церковью, ни то, что они заключаются в Священном Писании, не представляет достаточного основания для того, чтобы все церкви обязаны были век сохранять их неизменными». Нет даже и тени таких аргументов у Джуэля, который, напротив, говорит: «Конечно, не может быть более тяжкого обвинения для религии Единого Бога, как обвинение в нововведениях. Ибо как в Самом Боге, так и в служении Ему ничего не должно быть нового».

¹¹ «Итак, обвинять кого-либо в недостатке благочестия за неуважение к тому, перед чем мы благоговеем,—несообразности или же просто сбивчивость в понятиях; потому что благоговеть пред всем и всеми решительно не годится: уважение к тому, что не заслуживает уважения,—вовсе не добродетель; нет, это даже и не любезная слабость, а чистое безумство и грех. Если же смысл обвинения тот, что человек обнаруживает недостаток надлежащего благочестия в неуважении к предметам, действительно заслуживающим уважения, то это значит основывать решение на том, что само составляет вопрос, так как то, что мы называем божеством, обвиняемый называет идолом; и насколько мы—предположив, что мы правы,—обязаны падать ниц и обожать, настолько же он—предположив, что он прав,—обязан низвергать и разбивать» (Arnold's Lectures on Modern History). Если принять в соображение даровитость доктора Арнольда, его значение, его профессию, обстоятельства его жизни и характер университета, в котором он преподавал, то нельзя не согласиться, что приведенное выше место весьма замечательно и вполне заслуживает внимания тех, кто хочет изучать направление английского ума в настоящем поколении.

¹² Быстрое распространение ереси в половине XVII столетия представляет весьма замечательное явление; оно было большой помощью английской цивилизации в том отношении, что прививало привычку к свободному мышлению. В феврале 1646—1647 гг. Бойль пишет из Лондона: «Тут редко проходит день, о котором нельзя было бы по справедливости сказать, что он состряпал или смастерил новое мнение. Некоторые доходят даже до такого утонченного непостоянства в этом отношении, что считают мнение чем-то ежедневным, что едва ли стоит сохранять по прошествии одного, двух дней. Если кто-нибудь потерял свою религию, то пусть обратится в Лондон, и я ручаюсь, что он найдет ее;

я почти мог бы то же сказать, что если у кого есть религия, то пусть он только придет сюда, и он не замедлит потерять ее».

¹³ Характер Лода теперь совершенно разгадан и всем известен. Его гнусные жестокости сделали его до такой степени ненавистным для современников, что после его осуждения многие закрыли свои лавки и не хотели открывать их до тех пор, пока его не казнили. Это рассказывает Вальтон, один из очевидцев.

¹⁴ Чтение отцов церкви он презрительно называет путешествием «за северо-западными открытиями». Даже Августину, который был, конечно, умнейшим из отцов церкви, Чиллингворт не оказывает никакого внимания. Чиллингворт выразился довольно метко, что духовные «называют их отцами — когда они за них, и детьми — когда против них».

¹⁵ Замечательное доказательство медленности прогресса теологов можно найти, наблюдая, в каком духе рассматривали этот вопрос некоторые из нашего духовенства. Ни в одной области исследования не находим мы такой упорной решимости держаться теорий, которые в последние два столетия отвергнуты всеми здравомыслящими людьми.

¹⁶ «Богу угодно только, чтобы мы верили заключению настолько, насколько заслуживают доверия послышки; чтобы сила нашей веры равнялась или была пропорциональна правдоподобию побудительных к ней причин. Я с своей стороны убежден, что Бог дал нам разум на то, чтобы мы различали истину от лжи; и тот, кто не делает из него такого употребления, а верит разным вещам, сам не зная почему, тот, говорю я, может поверить истине только случайно, а не по своему выбору; и я боюсь, что Бог не примет этой жертвы глупцов... Божий дух, если ему будет угодно, может сделать еще более, — может сделать, что достоверность, основанная на допущении, будет выше достоверности, основанной на доказательствах, но ни Бог, ни человек не могут требовать от нас, как должного, чтобы мы в большей мере соглашались с заключением, чем того заслуживают послышки; чтобы мы созидали непогрешимую веру на побудительных причинах, которые только в высшей степени правдоподобны, но не непогрешимы; чтобы мы как бы строили тяжелое здание на фундаменте, не имеющем соответствующей твердости... Ибо вера не есть знание, точно так же, как три не есть четыре, а только составляет существенную часть его; так что кто знает — верит, и даже несколько более чем верит, а тот, кто верит, часто не знает; в тех же случаях, в которых исключительно верит, — даже никогда не знает».

¹⁷ Один писатель (Ленг), коротко знакомый с общественным бытом главнейших стран Европы, говорит: «Власть церкви почти совсем исчезла как деятельный элемент в политических и общественных делах наций и отдельных лиц, в кабинете и в семейном кругу; новый же элемент — власть литературы начинает приобретать значение в управлении миром». Все подкрепляет замечательное предсказание сэра Джемса Макинтоша, что «власть церкви (если только какая-нибудь революция в пользу духовенства не погрузит снова Европу в невежество) не переживет XIX столетия».

¹⁸ «Духовные лица в Англии, в настоящее время ее епископы, профессора и приходские священники, — не теологи. Они логики, химики, искусные математики, историки, плохие комментаторы на греческих поэтов» (*Паркер*).

С самого начала XVIII столетия почти никто не читал внимательно отцов церкви для других целей, кроме чисто исторических, светских. Первый шаг к этой перемене был сделан около половины XVII столетия, когда ссылки на отцов церкви в проповедях начали выходить из употребления. С тех пор делались были

попытки в Оксфорде противодействовать этому направлению, но такие попытки были до такой степени противны общему ходу дел, что остались, и не могли не остаться, бесплодными. И в самом деле, так ничтожны были эти усилия в последнее время, что один из самых ревностных деятелей на этом поприще откровенно сознается, что относительно знания партия его ничего не достигла; он даже утверждает с большим прискорбием, что «грустно сказать, но главный, может быть единственный, английский писатель, имеющий какие-нибудь права на звание историка церкви,— это неверный Гиббон».

¹⁹ Мне заметил один из друзей моих, человек весьма умный, что есть люди, которые не так поймут это выражение, и есть другие, которые хотя и верно поймут его, но с намерением дурно перетолкуют. Поэтому не мешает определить в точности, что именно я хочу выразить словом «скептицизм». Под скептицизмом я только разумею трудное принятие на веру; так что усиленный скептицизм есть усиленное понимание трудности доказать то, что утверждается, или, другими словами, более обширное применение и распространение правил мышления и законов доказательства. Это чувство колебания, эта воздержанность в суждении неизменно предшествовали во всех областях мышления всем умственным переворотам, через которые прошел человеческий дух; без этого не было бы прогресса, не было бы перемены, не было бы цивилизации. В изучении природы такой дух есть необходимый предшественник науки, в политике—свободы, в теологии—терпимости. Вот три главные вида скептицизма. Итак, ясно, что в религии скептик придерживается середины между атеизмом и правоверием, отвергая обе крайности, потому что не видит возможности доказать их основательность.

²⁰ То, что сказал один ученый-историк (*Гром*) о впечатлении, произведенном на весьма немногих греков методом Сократа, может быть применено и к тому состоянию, через которое проходит большая часть Европы. «Сократова диалектика, рассеяв в уме туман воображаемого знания и раскрыв его действительное невежество, произвела непосредственное впечатление, подобное прикосновению к электрическому утню. Вновь возникшее сознание собственного невежества было одинаково неожиданно, болезненно и оскорбительно,— время сомнения и беспокойства, соединенного, однако, с внутренней деятельностью и стремлением к истине, чего прежде никогда не знали. В этом умственном оживлении, которое никак не могло бы проявиться, если б ум не разочаровался в своем прежнем обольщении ложным знанием, Сократ видел не только признак, предвещающий будущий прогресс, но и необходимое условие этого прогресса».

²¹ Доктор Арнольд, который своим проникательным взглядом заметил эту перемену, говорит: «Что нас более всего поражает, это то обстоятельство, что спор, происходивший при Елизавете между теологами, теперь превратился в великую политическую распрю между короною и парламентом». Обыкновенные компиляторы представляли совершенно не в том виде это движение—ошибка тем более странная, что даже многие современники признавали чисто политический характер этой борьбы. Даже Кромвель, несмотря на трудность принятой им на себя роли, ясно выразил в 1655 г., что источником войны была не религия. Яков I также видел, что пуритане более опасны для правительства, чем для церкви: «они не столько отличаются от нас религиозными воззрениями, сколько своим неясным представлением о политике и равенстве; они всегда недовольны настоящим правительством и не хотят никому подчиняться,—что делает их секты недопустимыми ни в какой благоустроенной

общине». «Король и парламент,—говорит Дефо,—расходились во взглядах на предметы гражданского права... Первая размолвка между королем и английским парламентом была не по поводу религии, а по поводу гражданской собственности».

²² Уильям Тэмпл в своих записках замечает, что трон Карла II был упрочен тем, «что происходило в последнее царствование». Это может быть пояснено замечаниями А. Ламартина о казни Людовика XVI. «Смерть его, напротив, сделала чуждым интересов Франции то огромное большинство народов, которое судит дела человеческие одним сердцем. Природа человеческая сострадательна; республика же забыла об этом и выставила короля отчасти мучеником, а свободу — отчасти мстителем. Она приготовила этим реакцию против республиканских стремлений и привлекла на сторону монархического начала чувствительность, участие и слезы некоторой доли народов».

²³ Его последующее обращение к католицизму совершенно уподобляется усиленной набожности Людовика XIV в последние годы его жизни. В обоих случаях суеверие было естественным убежищем для изжившегося и уже ничем не удовлетворяемого развратника, который истощил все средства самых низких и грязных наслаждений.

²⁴ Один из любопытнейших примеров этого можно видеть в уничтожении старинных понятий о колдовстве. Этот важный переворот в наших идеях совершился, по крайней мере в образованных классах, в промежуток времени между реставрацией и революцией; так, в 1660 г. большинство образованных людей верило еще в колдовство, а в 1688 г. большинство уже не верило в него. В 1665 г. старый, правоверный взгляд на этот предмет был выражен главным судьей Гэлэм при суде над двумя женщинами за колдовство; он сказал присяжным: «Что есть такие твари, как колдуньи, в этом я не имею ни малейшего сомнения, ибо, во-первых, Священное Писание подтверждает это, а во-вторых, мудрость всех народов придумывала законы против такого рода лиц, что уже доказывает, что все были уверены в существовании такого преступления». Такой аргумент был неотразим — и женщины были повешены. Но изменение общественного мнения стало мало-помалу отражаться и на судьях; после этой несчастной выходки главного судьи подобные сцены становились все реже и реже. Если верить свидетельству доктора Парра, то 5 колдуний повешены были в Нортгемптоне в 1712 г. Это тем более стыдно, что, как я докажу далее по литературным источникам того времени, почти никто из образованных людей уже тогда не верил в существование колдуний, хотя это старое суеверие и было еще поддерживаемо с судейской скамьи и с кафедры. Что касается до мнения духовенства, то Веслей, имевший больше влияния, чем все епископы, вместе взятые, говорит: «Правда также, что англичане вообще и собственно большая часть людей науки в Европе отвергли все показания о колдуньях и видениях, как простые сказки старых баб. Меня это очень огорчает... Отвергать колдовство — значит собственно отвергать Библию... Я же не могу, в угождение всем деистам в Англии, перестать верить в существование колдовства, пока не потеряю доверия ко всякой истории, как священной, так и светской».

Но все было напрасно. С каждым годом старое верование ослабевало, и в 1736 г., одним поколением ранее того времени, когда Веслей выразил приведенное выше мнение, законы против колдовства были отменены.

К этому, может быть, интересно прибавить, что в Испании одна колдунья была повешена в 1781 г.

²⁵ Уэвелл замечает весьма справедливо, что Бойль и Паскаль имеют для гидростатики то же значение, как Галилей — для механики, а Коперник, Кеплер и Ньютон — для астрономии.

²⁶ Этот закон открыт Бойлем около 1650 г., а в 1676 г. подтвердил его Мариотт. Несмотря на то что Бойль предшествовал Мариотту на целую четверть века, этот закон довольно несправедливо назван законом Бойля—Мариотта, а иностранные писатели, идя еще далее, нередко совершенно опускают имя Бойля и называют открытие это просто *законом Мариотта*.

²⁷ Это презрение к старым авторитетам так постоянно выражается в сочинениях его, что весьма трудно сделать выбор из бесчисленного множества мест, которые мы могли бы здесь привести. Приведу одно из этих мест, в котором выражение кажется мне очень удачным и которое, без сомнения, весьма характерно: «Я имею обыкновение судить о мнениях так же, как о монетах: принимая последнюю, я гораздо менее смотрю на то, чье на ней написано имя, чем на качество металла, из которого она сделана. Мне все равно, была ли она вычеканена много лет или столетий тому назад или только вчера выпущена из монетного двора». В других местах он говорит об «ученых по профессии», облеченных в докторские мантии, почти с таким же презрением, какое выражает сам Локк.

²⁸ Философский взгляд на эту тенденцию самым обширным образом разъяснен посредством примеров у Конта в его «Philosophie Positive»; выводы его относительно первобытного состояния человеческого ума подтверждаются всем тем, что мы знаем о диких народах; они подтверждаются, как он положительно доказал, и историей естествознания. В дополнение к тем фактам, которые он приводит, я могу сказать, что история геологии представляет доказательства, аналогические с теми, которые он собрал из других отраслей науки.

Весьма популярный пример действия этой веры в сверхъестественные причины мы находим в одном обстоятельстве, о котором рассказывает Комб. Он говорит, что в половине восемнадцатого века край, лежащий к западу от Эдинбурга, имел такой нездоровый климат, что каждую весну фермеры и работники их подвергались горячкам и лихорадкам. До тех пор, пока причина такого явления была неизвестна, «предполагалось, что эти бедствия посылаются Провидением»; но чрез несколько времени край был осушен дренажем, и лихорадки исчезли, — тогда жители его увидели, что явление, которое они считали сверхъестественным, было совершенно естественно и что причиной болезней было физическое состояние края, а совсем не воля Божества.

²⁹ Я говорю «видимой таинственности» потому, что истинная таинственность открытием закона нимало не уменьшается. Впрочем, это, несколько не вредит верности моего замечания, потому что люди вообще никогда не входят в такие тонкости, как различие между законом и причиною, — различие, на которое так мало обращают внимания, что оно даже упускается из виду во многих ученых сочинениях. Вообще люди знают только то, что явления, которые они некогда считали непосредственно управляемыми волею Божества и ею одною изменяемыми, не только предугадываются человеческим умом, но даже изменяются вмешательством человека.

³⁰ Это весьма ясно выражено у Ламенне: «Отчего тела тяготеют одни к другим? Потому что так было угодно Богу, говорили древние. Потому что тела взаимно притягиваются, говорит наука».

³¹ Андокид, будучи обвинен перед дикастерией в Афинах, сказал: «Нет, дикасты; опасности обвинения и суда — человеческие, а опасности, встречаемые

на море, посылаются богами». Таким же образом было замечено, что опасности китоловного промысла усиливали суеверие англосаксов. Эрман, упоминая об опасностях плавания по Байкалу, говорит: «В Иркутске есть поговорка, что только на Байкале осенью человек может выучиться молиться от души».

³² В Европе в X веке целая армия бежала от одного из этих явлений, которые в настоящее время едва могли бы испугать ребенка. «Вся армия Оттона,—говорит Шпренгель в своей «Истории медицины»,—рассеялась внезапно при проявлении солнечного затмения, которое заставило всех проникнуться ужасом и было сочтено за предвещание давно ожидаемого несчастья». Ужас, возбуждаемый затмениями, исчез окончательно не ранее XVIII века, а во второй половине XVII они еще возбуждали великий страх и во Франции, и в Англии.

³³ Все лучшие авторитеты согласны между собой в том, что это незнание не может продолжаться долго и что постоянные успехи, которые мы теперь делаем в естественных науках, должны когда-нибудь доставить нам возможность объяснить и метеорологические явления. Так, например, Лесли говорит: «Впрочем, нельзя не согласиться с тем, что все перемены, происходящие в массе нашей атмосферы, какими бы сложными, произвольными и неправильными они нам ни казались, составляют, однако, необходимый результат начал столь же положительных, а может быть, и столь же простых, как те, которые управляют круговращением Солнечной системы. Если бы мы могли распутать сложную комбинацию явлений, то мы имели бы возможность проследить действие каждой отдельной причины и отсюда вывести окончательный результат совокупной деятельности всех причин вместе. Обладая такими данными, мы могли бы верно предсказывать состояние погоды в какое угодно будущее время, как мы теперь вычисляем вперед затмение Солнца или Луны или предсказываем соединение планет». Точно так же д-р Узвелл говорит, что «перемены ветра и погоды» происходят от причин, управляемых законами, в положительности которых не усомнится ни один «философский ум».

³⁴ Эта связь между невежеством и набожностью так ясно обозначается, что многие народы имеют для погоды особого бога, которому они о ней и молятся; а в тех странах, где люди не доходят до такой крайности, они приписывают перемены колдовству или другой какой-нибудь сверхъестественной силе. Индусы также в «Ригведе», которая есть древнейшая из их религиозных книг, приписывают дождь сверхъестественным причинам и с тех пор постоянно держатся того же мнения.

Переходя к состояниям общества, ближайшим к нашему, мы находим, что в девятом веке в христианских землях считалось достоверным, что ветер и град производятся колдунами; что такие же мнения перешли и в шестнадцатый век и были подтверждены Лютером; и, наконец, что, когда Свинбёрн был в Испании (1775—1776), духовенство собиралось прекратить представление опер, так как оно приписывало недостаток дождей влиянию этого богопротивного увеселения.

³⁵ Действительно, никогда не было в истории Англии периода, в котором бы физические опыты были в такой моде; но это заслуживает замечания только как характеристическая черта того времени, так как Карл II и все аристократы не были способны прибавить что-либо и действительно не прибавили ничего к нашему знанию; и покровительство, которое они оказывали науке, скорее унизило ее, чем подвинуло вперед. Тем не менее преобладание этой склонности весьма любопытно.

³⁶ Самые важные из этих реформ совершены, как почти всегда бывает, вопреки истинным желаниям преобладающих сословий. Карл II и Яков II часто говорили об акте Habeas Corpus, что «с таким законом правительство не может существовать». Лорд — хранитель печати Гилфорд даже противился уничтожению военных ленов. «Он считал, — говорит его брат, — уничтожение ленов нанесением губительной раны вольностям английского народа». Такого-то рода бывают люди, которыми управляются великие нации.

³⁷ Эти привилегии заключались в праве брать необходимые для королевского двора предметы, как то: съестные припасы, экипажи, лошадей и т. п., — или даром, или за пониженную плату, и притом преимущественно пред всеми другими покупателями. *Примеч. перев.*

³⁸ Блэкстон называет это узаконение «великим и необходимым ограждением для частной собственности», а лорд Кэмпбелл — «самой важной и самой благодетельной статьей, которой мы можем похвалиться в нашем законодательстве».

³⁹ Это были обвинения в общих выражениях, к которым парламент прибегал в тех случаях, когда не имелось в виду таких действий обвиняемого, которые прямо признавались бы законом за государственную измену. *Примеч. перев.*

⁴⁰ Aids были единовременные денежные пособия, которые, по особым назначениям, собирались с вассалов короны в пользу сюзерена — короля; homages — условия ленной зависимости их от короны; escuages — постоянные денежные взносы взамен личной военной службы; primer seisin — право короля пользоваться в течение первого года доходами с ленного имения, переходящего по наследству в другие руки. *Примеч. перев.*

⁴¹ У Галлама есть прекрасные места, в которых излагаются услуги, оказанные английской цивилизации пороками английского двора: «Мы, однако, многим обязаны памяти герцогини Варвары Кливлендской, герцогини Луизы Портсмутской и Элеоноры Гвин. Мы должны быть благодарны таким личностям, как Мэй, Киллигрю, Чиффинч и Грамон. Они принимали благое участие в избавлении государства от тупоумной преданности двору. Они спасли наших праотцев от Звездной палаты и суда Верховной комиссии; они, по призванию своему, действовали против постоянных армий и против подкупности; они ускорили великое, окончательное упрочение английской свободы — изгнание дома Стюартов».

⁴² Это было общеупотребительное название для всякого, кто нападал на установившиеся религиозные мнения в XVII и даже в начале XVIII столетия.

⁴³ Колридж говорит, что такое пренебрежение Карла к Джереми Тэйлору «составляет загадку, которой разрешение, по всей вероятности, заключается в его добродетелях».

⁴⁴ Все, что сказал Маколей о пренебрежении, которому подверглось духовенство в царствование Карла II, — совершенно справедливо; а между тем я знаю из собранных мною данных, что и этот даровитый писатель, громадные изыскания которого немногие в состоянии достаточно оценить, показал скорее менее, чем более, нежели сколько было на самом деле. Во многом я осмелюсь не согласиться с Маколеем, но не могу не выразить удивления при виде его неутомимого трудолюбия, превосходного умения, с каким он приводил в порядок свои материалы, и благородной любви к свободе, которой проникнуто все его сочинение. Вот качества, которые далеко переживут нападения его ничтожных поносителей, — людей, которые по своему знанию и таланту не достойны развязать башмак того, на кого они безумно нападают.

⁴⁵ Упомянутое движение началось около 1681 г. Духовенство, как сословие, конечно, склонно поддерживать такое учение, и я приведу сейчас одно место из сочинения Севеля, которое дает читателю понятие о взглядах на этот предмет, развиваемых некоторыми из духовных. Почтенный автор «*Christian Politics*» говорит, что царствующий государь есть «существо, вооруженное высшей физической силой от руки и с согласия Провидения; в этом качестве он — хозяин нашей собственности, властелин нашей жизни, источник чести, податель закона, перед которым каждый подданный должен слагать с себя волю и действовать по его желанию... который когда заблуждается, то заблуждается как человек, а не как государь и отвечает за это не перед человеком, а перед Богом». Далее тот же писатель сообщает нам, что церковь «единогласно, не колеблясь, провозгласила обязанность слепого повиновения». Поэтому Фокс совершенно основательно сказал палате общин, что, «будучи хорошим слугою церкви, легко сделаться дурным гражданином».

⁴⁶ В 1678 г. архиепископ Кентерберийский делал попытку обратить Якова. В письме к епископу Винчестерскому он исчисляет «благие последствия», которые могут произойти в случае его успеха.

⁴⁷ При восшествии на престол Якова II «со всех кафедр Англии раздавались благодарственные молитвы; и множество было адресов, заключавших в самых сильных выражениях лестные для Его Величества уверения в непоколебимой преданности и в повиновении безграничном, безусловном» (Nael's Hist. of the Puritans).

⁴⁸ 18 марта король объявил Тайному совету, что он решился «предоставить свою собственную власть полную свободу совести всем своим подданным». 4 апреля последовала достопамятная «*Declaration of Indulgence*».

⁴⁹ В осень 1685 г. духовенство и правительство преследовали диссентеров с самым большим ожесточением. Во многих случаях церковная партия употребляла в дело духовные силы, чтобы требовать денег с неконформистов.

⁵⁰ Из сведений, имеющихся в Военном министерстве, видно, что Яков даже в первый год своего царствования имел постоянного войска до 20 000 человек. Так как это естественным образом сильно всех встревожило, то король объявил, что число это не превышает 15 000.

⁵¹ Из поведения духовенства в это и в предыдущее царствование совершенно ясно, что если бы король был протестантом и принадлежал к исповеданию английской церкви или даже был спокойным, послушным католиком, без всякого рвения к своей религии,—ограничиваясь только делами государственных и имея должное уважение к собственности церкви,—то он мог бы, сколько ему угодно, грабить других протестантов и попираť свободу страны, не опасаясь никакого сопротивления. Или, как говорит Фокс, «до тех пор, пока Яков довольствовался неограниченной властью в одних гражданских делах и не употреблял своего влияния против церкви, все шло легко и гладко».

⁵² Духовенство английской церкви превозносило прерогативу и неограниченную власть до тех пор, пока это было выгодно для него; но когда оно увидело в этом малейшую опасность для себя, то начало кричать, лишь только почувствовало, что башмак жмет, несмотря на то что само надело его. До какой степени оно раболепствовало королю, пока думало, что король за него, можно видеть из следующих слов Дефо: «Я сам слышал, как публично проповедовали, что если бы король потребовал моей головы и прислал людей отрезать ее, то я обязан был бы покориться и спокойно стоять, пока ее резали бы».

⁵³ Из всего духовенства, которого считали до 10 000 человек, не более как двести подчинились требованию короля. Когда все узнали об этом, то говорили, что церковь «поддерживала корону только до тех пор, пока сама повелевала; с той же минуты, как ей запретили быть нетерпимой, она возмутилась».

⁵⁴ Приводим сказанные по этому поводу слова Дефо: «Позвольте, милорды, сделать вам один вопрос. Предположим, что король вместо декларации издал бы прокламацию, предписывающую мировым судьям, констеблям, доносчикам и всем другим лицам быть, если можно, еще строже с диссентерами и приложить все старания к совершенному обузданию и уничтожению их, и приказал бы прочесть это в ваших церквах во время богослужения,—посовестились ли бы вы сколько-нибудь исполнить это?»

⁵⁵ Некоторые писатели пытались защищать духовенство, опираясь на то, будто бы оно считало незаконным делом оглашать декларацию такого рода. Но такое оправдание несовместимо с учением того же духовенства о слепом повиновении и, кроме того, противно прежним действиям и решениям его. Джереми Тэйлор в своем сочинении «*Ductor dubitantium*», которое духовенство считает большим авторитетом, утверждает, что «незаконные прокламации и эдикты правдивого государя могут быть оглашаемы духовенством разных званий». Гебер прибавляет: «Я лучше хотел бы не найти этого у Тэйлора и благодарю Небо, что духовенство не следовало этому правилу в 1687 г.». Но почему оно ему не следовало в 1687 г.? Просто потому, что в 1687 г. король посягал на монополию, которую пользовалось духовенство,—и то последнее забыло о своих правилах, чтобы иметь возможность поражать своих врагов. Причины этой перемены становятся еще нагляднее ввиду того факта, что не далее как в 1681 г. архиепископ Кентерберийский заставил духовенство читать декларацию, изданную Карлом II, и что в пересмотренном издании литургии он прибавил рубрику в том же смысле.

⁵⁶ Закон о веротерпимости прошел в 1689 г.: содержание этого акта встречается у историков диссентеров, которые называют его своей Великой Хартией. Историк католиков тоже соглашается, что царствование Вильгельма III есть «эра, с которой они могут считать время своего пользования религиозной терпимостью». Это сказано Бэтлером не о протестантских диссентерах, а о католиках, так что мы имеем свидетельство обеих партий о важности этой эпохи.

⁵⁷ Кук упоминает об этом замечательном возвышении класса денежных людей в начале XVIII столетия; но он только замечает, что оно имело последствием усиление партии вигов. Это, конечно, не подлежит никакому сомнению, но окончательные результаты, как я после докажу, были важнее всяких политических или даже экономических последствий. Английский банк был основан только в 1694 г., и это великое учреждение сперва было встречено самой жаркой оппозицией со стороны поклонников старины, которые считали его бесполезным, потому что их предки обходились и без банка.

⁵⁸ Это расположение короля опять покровительствовать епископам и церкви было всеми замечено в сентябре 1688 г. Действительно, затруднения, окружавшие Якова, были теперь так велики, что ему едва ли предстоял свободный выбор.

⁵⁹ Тот же дух был вообще распространен во всем духовенстве англиканской церкви, и когда публичные молитвы были приносимы за короля и королеву, то не присягнувшие называли их «безнравственными молитвами», что сделалось техническим и общепринятым выражением.

⁶⁰ Друзья, которых Вильгельм имел в духовенстве, составляли едва десятую долю всего сословия. «Определив численность их в десятую часть всего духовного сословия,—говорит Маколей,—мы, вероятно, преувеличили бы ее».

⁶¹ В феврале Мейнар, один из самых влиятельных членов, с негодованием сказал: «Мне кажется, что наши духовные сошли с ума; и я думаю, что если бы дать им волю, то немногие из нас снова оказались бы здесь, а может быть, и никого не оказалось бы». Само духовенство с горечью сознавало всеобщее нерасположение, и один из членов его в 1694 г. писал: «Английский народ, который во время заключения епископов в Тауэре так чрезмерно любил нас, что едва удерживался от боготворения, теперь, напротив, стал таков, что я желал бы иметь право назвать его только весьма холодным и равнодушным к нам». Возраставшее негодование против духовенства вследствие очевидного желания его пожертвовать благом государства для интересов церкви поразительно изображает Роланд Гвайн в одном письме, писанном в 1710 г.

⁶² Действительно, высшеангликанская партия в своих изданиях ясно высказывала, что если Яков не будет призван назад, то он будет восстановлен на престоле иностранной армией.

⁶³ Епископ Санкрофт на смертном одре молился «за несчастную страдалицу церковь, которая революцией почти совсем уничтожена».

⁶⁴ Борьба между Яковом и Вильгельмом была в самом существе своем борьбою между интересами духовенства и светскими интересами. Это стало заметно уже в 1689 г., когда, по словам Бёрнета, «церковь стала для партии якобитов мнимым лозунгом, который они приняли, чтобы удобнее скрываться за ним». Додвелл весьма справедливо замечает, «что преемники удаленных епископов с духовной точки зрения были схизматиками и что, стараясь представить, что светской власти (их поставившей) было достаточно, они тем совершенно ниспровергали существование церкви как общества». Епископы, назначенные Вильгельмом, были, очевидно, незаконны, по правилам церкви, и так как незаконный захват ими епархий мог быть оправдан только по светским законам, то поэтому успешность захвата была торжеством светских начал над духовными. Итак, основной идеей революции 1688 г. мы должны считать возвышение государства над церковью, точно так же как основной идеей революции 1642 г. было возвышение палаты общин над короной.

⁶⁵ Старая нелепость различия между понятиями *de facto* и *de jure*—как будто бы человек мог сохранить право на престол, который воля народа не позволяет ему занять.

⁶⁶ В 1705 г. Лесли, способнейший среди них, таким образом определяет их положение: «Мы теперь поставлены перед такой дилеммой—присягнуть или не присягнуть: если присягнешь, умертвишь душу, а не присягнешь, умертвишь тело, лишившись насущного хлеба». Результатом этой дилеммы было то, чего и следовало ожидать; писатель, принадлежащий к высшей церкви в царствование Вильгельма III, хвалится тем, что присяги, данные духовными, нисколько не обезопасили правительства: «Правительство этими присягами нисколько не обезопасено». В 1701 г. мы находим такое свидетельство: «Есть теперь некоторые обстоятельства, по которым мы можем заключить, что якобитское духовенство имеет инструкцию принимать какие угодно присяги с тем, чтобы получить кафедру для служения своему делу, а потом кричать о наследственном праве и мнимом праве претендента».

⁶⁷ «Слишком частые проявления недобросовестности в таком святом деле немало содействовали к усилению возрастающего атеизма настоящего времени» (*Бёрнет*). Едва ли нужно мне прибавлять, что тогда было весьма обыкновенным делом смешивать скептицизм с атеизмом, хотя эти два понятия не только различны, но и несовместимы.

⁶⁸ В числе этих средств особенно замечательно обыкновение преследовать книги, возбуждающие к свободному исследованию. В этом отношении духовенство сделало много вреда.

⁶⁹ Относительно упадка дарований в духовной литературе упоминалось ранее. В 1685 г. уже жаловались, что светские профессии начинают более привлекать людей, чем духовные: «Медицина и законоведение,— профессии, во всех нациях считавшиеся ниже духовной, преимущественно избираются людьми из образованного класса, иногда даже аристократического происхождения, и значительно предпочитают духовной профессии». Это предпочтение, конечно, наиболее замечалось в молодых людях с дарованиями, и то значительное количество умственных сил, которое таким образом отвлекалось от духовного класса, было причиной уже замеченного нами в нем упадка духа и энергии во всех отношениях.

⁷⁰ Тёрнер, описывая порядок вещей, существовавший в Англии в пятнадцатом веке, говорит: «Духовные были статс-секретарями правительства, хранителями печати, ближайшими советниками и казначеями короля, посланниками, комиссарами для открытия парламента и для управления Шотландией, председателями Королевского совета, наблюдателями за казенными работами, канцлерами, архивариусами и даже врачами, как при короле, так и при герцоге Глостерском — и в продолжение царствования Генриха VI, и после него».

⁷¹ В настоящее время невозможно вполне привести в известность, до какой степени в семнадцатом веке англиканская церковь преследовала диссентеров, но утверждают, будто бы Иеремия Уайт имел список шестидесяти тысяч человек, пострадавших от 1660 до 1688 г., из которых не менее пяти тысяч умерли в тюрьмах.

⁷² Мы находим некоторые материалы для оценки способностей Анны в письмах, помещенных в «Dalrymple's Memoirs». В одном из них Анна пишет вскоре после обнародования декларации о свободе совести: «Печальная будущность открывается всем нам, принадлежащим к англиканской церкви. Все сектаторы могут теперь делать все, что хотят: каждый имеет право на свободное отправление своей религии, без сомнения, именно для нашей гибели — что, я думаю, весьма ясно для всех беспристрастных судей».

⁷³ Если способность действовать на страсти людей составляет истинный пробный камень для суждения об ораторе, то мы, конечно, должны признать Вайтфилда самым великим из всех ораторов, живших со времени Апостолов. Первая проповедь его была произнесена в 1736 г., а проповедование на полях началось в 1739 г., и все восемнадцать тысяч проповедей, которые он, как утверждают, произнес в продолжение своего тридцатичетырехлетнего поприща, действовали изумительным образом на все классы людей — на образованных и на необразованных.

⁷⁴ О нем Маколей сказал, что его «правительственные способности были не ниже способностей Ришельё», и как бы сильно ни было это выражение, оно едва ли покажется преувеличенным тому, кто только сравнивал успехи Веслея с представлявшимися ему трудностями.

⁷⁵ В 1739 г. Веслей впервые открыто восстал против господствующей церкви и отказался повиноваться епископу Бристольскому, который приказал ему выехать из его епархии. В тот же год он начал проповедовать под открытым небом.

⁷⁶ Вальполь говорит своим насмешливым тоном о распространении методизма в половине XVIII столетия; а лорд Карлейль в 1775 г. сказал в верхней палате, что «методизм с каждым днем все более и более упрочивается, особенно в мануфактурных городах».

По словам документа, найденного в одной из шкатулок Вильгельма III, отношение конформистов к неконформистам в Англии было 22⁴/₅ к 1. Через 24 года после смерти Вильгельма диссентеры составляли вместо одной двадцать третьей «одну четвертую часть всей общины». С тех пор движение не прекращалось, и сведения, недавно обнародованные правительством, обнаруживают тот разительный факт, что в воскресенье 31 марта 1851 г. число членов английской церкви, присутствовавших на утреннем богослужении, только наполовину превышало число индипендентов, баптистов и методистов, находившихся по своим местам богослужения. Если эта убыль будет продолжаться в такой пропорции, то английская церковь не будет в состоянии устоять еще одно столетие против нападений своих врагов.

⁷⁷ Обращение, которому подвергались веслеяны со стороны духовенства, многие из членов которого были судьями, дает нам понятие о том, что было бы, если бы такие насилия не были останавливаемы правительством. Сам Веслей сообщает много подробностей о клеветах и оскорблениях, которые он и его последователи встречали со стороны духовенства. Грослей, посетивший Англию в 1765 г., говорит о Вайтфилде: «Священники господствующей церкви всячески старались уничтожить нового проповедника; они проповедовали против него, выставляя его народу как фанатика, как мечтателя и т. д.; наконец, они так успешно действовали против него, что его побивали камнями везде, где он только открывал рот, чтобы говорить к народу».

⁷⁸ В ранний период своей деятельности Веслей уже метил выше того, чего добивались пуритане, на стремления которых, особенно в XVI столетии, он смотрел с некоторым презрением. Так, например, в 1747 г., т. е. только восемь лет спустя после восстания его против господствующей церкви, он выражает в дневнике своем удивление «при виде слабости этих святых исповедников» (пуритан времен Елизаветы), «из которых многие истратили столько времени и энергии в спорах о стихах и клобуках или о стоянии на коленях при совершении таинства евхаристии!». Такого рода борьба не удовлетворяла бы потребностям возвышенной души Веслея; из того духа, которым проникнут его объемистый дневник, а равно и из заботливых и дальновидных распоряжений его по управлению сектою ясно видно, что этот схизматик имел более обширные воззрения, чем кто-либо из его предшественников, и что он хотел достигнуть такой организации своей секты, которая могла бы соперничать с господствующей церковью.

⁷⁹ Опасность, которой всегда подвергаются, принимая теологию за основание нравственности, теперь довольно хорошо всеми признана; но ни один писатель не определил ее яснее, чем Шарль Конт в своем «*Traité de Législation*». Vol. I. P. 223—247.

⁸⁰ Варбёртон пишет: «Мое мнение и есть, и было всегда, что государству вовсе нет никакого дела до заблуждений в религии и что оно не имеет ни малейшего права принимать меры к подавлению их». Что такой человек был

сделан епископом, это был великий подвиг для XVIII столетия,—подвиг, который в XVII столетии был бы невозможен.

⁸¹ Кумберленд и Юм имеют то общее, что оба они исследовали нравственность на чисто светских началах; в других же отношениях между выводами их существует большое различие; но если только допустить, что антитеологический метод вообще правилен, то нет никакого сомнения, что заключения Юма ближе вытекают из посылок, чем заключения его предшественника; но Юм имел на своей стороне еще то преимущество, что он жил пятьюдесятью годами позже и обладал более обширным умом.

⁸² Система нравственности Пэлейя, будучи по существу своему утилитарной, совершила переворот в этой области исследования; а так как сочинение его было притом написано с большим талантом, то оно имело огромное влияние в тот век, который уже был приготовлен к принятию его. Его «*Moral and Political Philosophy*» вышла в 1785 г.; в 1786 г. она сделалась справочной книгой в Кембридже; а в 1805 г. она «выдержала уже пятнадцать изданий».

⁸³ Отмена «*Test Act*», допущение в парламент католиков и быстро усиливавшееся расположение в пользу распространения этого права и на евреев составляют главные признаки этого движения. О постепенном распространении у нас теории целесообразности, которая во всем, что не возведено еще на степень науки, должна была бы служить единственным руководством человеческих действий, смотри замечательное, хотя грустное, письмо, писанное в 1812 г., в «*Life of Wilberforce*». Vol. IV. P. 28.

⁸⁴ Полемика, возбужденная одной проповедью Годлея (Hoadley), епископа Бангорского, о религиозной свободе. *Примеч. перев.*

⁸⁵ «*The Confessional*», книга, заключающая в себе самое умное нападение на те подписки, которые давались в исповедании известных верований, вышла в 1766 г. и, по словам одного современного наблюдателя, «возбудила всеобщий дух исследования». Последствием этого было то, что в 1772 г. Блэкберн с другими членами духовенства английской церкви составили общество с признанной целью уничтожить всякие подписки в религии.

⁸⁶ Юм говорит, что по возвращении своем из Италии, в 1749 г., он застал всю Англию в брожении по поводу Мидлтонова «Свободного исследования».

^{86a} Гиббонова «История падения Римской империи» была с завистью проверяема двумя поколениями ревностных и беспощадных противников; но я скажу только, выражая мнение сведущих в этом деле судей, что с каждой проверкой сочинение это приобретало все большую и большую славу. Против его знаменитых пятнадцатой и шестнадцатой глав были употреблены все ухищрения теологических прений, и это привело только к тому, что слава историка осталась непомянутой, между тем как враги его преданы забвению. Гиббоново сочинение еще остается, а кто же сколько-нибудь интересуется знать, что было писано против него?

⁸⁷ Скептический характер геологии впервые ясно проявился в последние тридцать лет XVIII столетия. В прежнее время геологи действовали заодно с теологами; но усилившаяся смелость общественного мнения дала им возможность начать самостоятельные исследования, не стесняясь учениями, преобладавшими до того времени. В этом отношении много сделали изыскания Геттона, в сочинении которого, говорит Лайель, видна первая попытка «объяснить первоначальные изменения земной коры действием сил чисто физических». Ввести такой метод в употребление значило, конечно, разорвать союз с теологами; но

первый признак этой перемены был замечен еще в 1773 г., т. е. пятнадцатью годами ранее, чем писал Геттон. Смотри одно письмо в «Автобиографии Ватсона», где говорится, что «свободные мыслители» нападали на Моисеево свидетельство о древности мира, особенно после выхода сочинения Брайдона «Путешествие по Сицилии и Мальте». С тех пор успехи были так быстры, что никто из просвещенных людей, даже среди духовенства, не стал более признавать историческое значение книг Моисеевых.

⁸⁸ Обыкновенно полагают, что начало воскресных школ было положено Рексом в 1781 г., но, хотя он, по-видимому, первый организовал их в надлежащих размерах, тем не менее не подлежит сомнению, что основаны они были Линдсеем в 1765 или в следующем за ним году. Духовенство английской церкви вообще было против учреждения воскресных школ. Во всяком случае школы эти быстро размножились и к концу столетия сделались обыкновенным явлением.

⁸⁹ Лорд Белгрев сказал в палате лордов, что воскресные газеты впервые появились «около 1780 г.». Вильберфорс хлопотал о том, чтобы издан был закон, воспрещающий эти газеты.

⁹⁰ Когда Франклин приехал в Лондон в 1725 г., то во всей столице не было ни одной библиотеки для чтения, а в 1697 г. «единственной во всем Лондоне библиотекой, сколько-нибудь похожей на публичную, была библиотека Сионской коллегии, принадлежащая лондонскому духовенству». Когда именно была открыта самая первая библиотека, я еще не мог привести в известность, но, по словам Сеути, первая библиотека в Лондоне была основана около половины XVIII столетия Сэмюэлом Фанкортом. Геттон говорит: «Я первый открыл общественную библиотеку в Бирмингеме в 1751 г.». О библиотеках упоминается еще в последней половине XVIII столетия. Число таких библиотек возрастало так быстро, что некоторые умные люди предложили обложить их податью «в размере 2 шил. 6 пен. с каждых 100 томов в год».

⁹¹ В 1746 г. Джент, известный типограф, написал свою собственную биографию. В этом любопытном сочинении он говорит о 1714 году: «Мало было в то время типографов в Англии, кроме Лондона; не было, я достоверно знаю, ни одного в Честере, Ливерпуле, Вайтгевене, Престоне, Манчестере, Кендале и Лидсе, где теперь они по большей части изобилуют». В царствование королевы Анны не было ни одного книгопродавца в Бирмингеме. Нам говорили, что около 1780 г. «едва ли был хоть один книгопродавец в Корнуолле».

⁹² Дезаюлье и Гилл были первыми двумя писателями, занявшимися обучением в популярную форму физических истин. В начале царствования Георга I Дезаюлье «первый стал читать в Лондоне лекции опытной физики». Что касается Гилла, то говорят, что он первый подал пример издания в значительном числе популярных научных книг; предприятие это до такой степени соответствовало тому пылливому времени, что, если верить Горасу Вальполю, «автор наживал по 15 гиней в неделю».

Во второй половине XVIII столетия спрос на книги по части естественных наук быстро увеличился. Пристли начал писать популярным языком о предметах физики. В царствование Георга II издатели начали поощрять элементарные сочинения по химии.

⁹³ В 1704, 1708 и 1710 гг. Гаррис издавал свой «Dictionary of Arts and Sciences», и от него произошли все другие лексиконы и энциклопедии, какие с тех пор появлялись.

⁹⁴ В конце XVII столетия была сделана в Англии первая попытка основать литературные журналы. Обозрения же в том смысле, в каком мы теперь понимаем это слово, т. е. критические издания, не были известны до восшествия Георга II; но около половины его царствования они стали размножаться. В более раннее время обязанности обозрений исполнялись, как говорит Монк, памфлетами.

⁹⁵ В 1696 г. единственные газеты были еженедельные; первые же ежедневные газеты появились в царствование Анны. В 1710 г. газеты вместо того, чтобы, как в прежнее время, только сообщать новости, стали принимать участие в обсуждении политических вопросов; а так как за несколько лет до этой перемены введены были в употребление дешевые политические памфлеты, то стало очевидным, что готовилось великое движение относительно распространения этого рода исследований. В течение двадцати лет после смерти Анны переворот был довершен, и пресса в первый раз в истории мира сделалась выражением общественного мнения. Первое замечание об этой новой силе, сделанное в парламенте, нашел я в речи, которую произнес Данверс в 1738 г.; ее стоит привести как потому, что в ней выражается самая эпоха, так и потому, что она характеризует тот беспокойный класс, к которому принадлежал оратор. «Но я нахожу,—говорит этот замечательный законодатель,—я нахожу, что народ Великобритании управляется такой властью, о которой никогда еще не было слышно как о высшем авторитете ни в каком виде и ни в какой стране. Власть эта, сэр, заключается не в неограниченной воле государя, не в управлении парламента, не в силе армии, не во влиянии духовенства: это и не правление юбок, сэр, а правление прессы. Всякая всячина, которой наполнены наши еженедельные газеты, принимается с большим уважением, чем акты парламента; и чувства, выражаемые одним из таких писак, имеют более веса в глазах массы, чем мнение лучшего политика в государстве».

⁹⁶ Этому великому спору был положен конец в 1771 и 1772 гг., когда, как говорит лорд Кэмпбелл, «право оглашать в печати парламентские прения было упрочено в существе своем».

Георг III, всегда последовательный, но и всегда неправый, был сильно против такого положения прав народа. В 1771 г. он писал к лорду Норту: «В высшей степени необходимо положить предел этому странному и противозаконному обыкновению печатать прения в газетах. Но не есть ли палата лордов лучшее место для суда над этими злодеями, так как она может приговаривать к денежному штрафу и к тюремному заключению и имеет довольно широкие плечи, чтобы снести ненависть, которую может возбудить эта спасительная мера?»

⁹⁷ По этому предмету я могу привести одно филологическое замечание, не лишенное интереса, а именно, что есть повод думать, что и «слово *независимость* (independence) в его новейшем смысле» не встречается в нашем языке ранее самого конца XVIII столетия.

⁹⁸ Колридж сделал несколько любопытных замечаний об изменениях в английском слоге; он справедливо говорит, что «после революции дух нации стал гораздо более коммерческим, чем был прежде; что ученые, в смысле особой корпорации или клира, мало-помалу исчезали, и литература вообще стала обращаться к обыкновенной, смешанной публике». Далее он жалуется на такую перемену, но в этом я с ним не соглашаюсь.

Дело в том, что движение это составляло только часть того стремления к сближению различных классов общества, которое впервые ясно обнаруживалось

в XVIII столетии и которое имело влияние не только на слог писателей, но и на их обращение в обществе. Юм замечает, что в «последнем веке ученые люди слишком уже отделились от света, а что в его время они начинали делаться более общительными». Впоследствии Джонсон, Гиббон и Парр пытались произвести реакцию, но это было противно духу времени и потому не могло продолжаться.

⁹⁹ За раболепство большей частью хорошо платили; оно вознаграждалось даже больше, чем стоило. В течение XVI, XVII и первой половины XVIII столетия автор всегда получал известную сумму денег за свое посвящение. Конечно, чем наглее была лесть, тем больше была и сумма. Об установившемся таким образом отношении между писателями и знатными лицами и о жадности, с какой даже лучшие писатели добивались от своих патронов вознаграждений, изменявшихся от 40 шил. до 100 ф. ст., можно найти сведения у многих авторов.

Около половины XVIII столетия произошел перелом в этом плачевном порядке вещей; так, например, Ватсон в 1769 г. принял за правило: «никогда не посвящать своих сочинений тем, от кого мог ожидать милостей». Так, тоже Варбёртон в 1758 г. хвастает тем, что у него посвящение не наполнено, как бывает обыкновенно, «вздорами и неправдами». Почти в тот же период такая же перемена произошла и во Франции, где Д'Аламбер первый поднял на смех это старинное обыкновение.

¹⁰⁰ В половине царствования Георга II обыкновение писателей полагаться на покровительство отдельных личностей уже начинало ослабевать, и стало входить во всеобщее употребление издание по подписке. Бёрк, приехавший в Лондон в 1750 г., замечает с удивлением, что «писатели первейшие по дарованиям поставлены в зависимость от причудливого покровительства публики. Несмотря на такое безнадежное положение, литературой занимаются весьма много». Это увеличение самостоятельности заметно также из того факта, что в 1762 г. мы находим первый пример популярного писателя, нападающего на государственных людей, называя их по имени; прежде писатели ограничивались тем, что выставляли только «первые буквы имен тех великих людей, на которых нападали».

¹⁰¹ В Англии заметное увеличение числа книг произошло в течение второй половины XVIII столетия. К этому я могу прибавить, что между 1753 и 1792 гг. обращение газет почти удвоилось.

¹⁰² Недостатком Георга II был дурной выговор английского языка; но Георг I не был в состоянии даже и дурно выговаривать его и мог говорить со своим министром, сэром Робертом Вальполом, только по-латыни.

¹⁰³ В 1715 г. Лесли писал о Георге I: «Он совершенно чужд вам и совсем не знает ни вашего языка, ни ваших законов, ни ваших нравов, ни вашей конституции».

¹⁰⁴ Относительно упадка королевской власти необходимо заметить, что со времени восшествия на престол Георга I никому из наших государей не было дозволено присутствовать при решении государственных вопросов.

¹⁰⁵ Нерасположение, которое английское духовенство вообще питало к правительству двух первых Георгов, высказывалось открыто и было так упорно, что оно составлял один из достовернейших фактов в истории Англии. В 1722 г. епископ Аттербёри был арестован, так как узнали, что он находится в изменнической переписке с претендентом. Как только он был схвачен, духовенство стало приносить особые молитвы о нем. «Под тем предлогом,— говорит лорд Мэгон,—

что он страдает подагрой, о нем публично молились во всех церквях в Лондоне и в Вестминстере».

Непосредственное последствие этого явления было весьма замечательно. Правительство и диссентеры, находясь одинаково в оппозиции с церковью, естественным образом соединились между собой: диссентеры употребляли все свое влияние на противодействие претенденту, а правительство защищало их от преследований духовенства.

¹⁰⁶ Гросли, который посетил Англию через пять только лет после вступления Георга III, упоминает о сильном действии, произведенном на англичан, когда они услышали короля, говорившего на их природном языке без «иностранного выговора». Достоверно известно, что король в первой речи своей хвалился тем, что он — британец; но, может быть, менее известно, что это обстоятельство должно было делать честь не ему, а стране. «Каким блеском,— сказала палата лордов в своем адресе к нему,— озаряется имя британца, когда вы, сэр, удостоиваете считать его в числе источников вашей славы».

¹⁰⁷ Карл Стюарт был так глубоко невежествен, что в двадцать пять лет едва умел писать и не мог написать ни одного слова правильно. После смерти своего отца, в 1766 г., это жалкое существо, называвшее себя английским королем, переселилось в Рим и предалось пьянству. В 1779 г. Свинбёрн видел Карла во Флоренции, где он каждый вечер являлся в оперу совершенно пьяный. В 1787 г., за год до своей смерти, он продолжал следовать той же унижительной привычке.

¹⁰⁸ «Божественное и неотъемлемое право короля,— говорит Кэмпбелл,— сделалось любимым предметом рассуждений, причем совершенно забыли о несоместимости такого учения с отношениями царствующего короля к парламенту». Вальполь говорит, что в 1760 г. «слово «прерогатива» сделалось самым модным словом».

¹⁰⁹ Воспитание Георга III было чрезвычайно небрежно; и он сам, достигнув совершенных лет, никогда не пытался исправить недостатка своего воспитания, а остался на весь свой долгий век в состоянии жалкого невежества.

¹¹⁰ См. несколько прекрасных замечаний лорда Джона Росселя в его предисловии к «Bedford Correspondence». Vol. III. P. LXII.

¹¹¹ В одном из предложений своих о реформе парламента в 1782 г. он объявил, что она «существенно необходима». Несправедливо утверждают некоторые, будто он покинул дело реформы только потому, что времена были неблагоприятны для нее; напротив того, в речи, произнесенной в парламенте в 1800 г., он сказал: «Об этом предмете, сэр, я считаю себя обязанным высказать самую сокровенную мысль мою; считаю себя обязанным объявить мое самое решительное мнение, а именно, что *если бы даже настало время, удобное для опытов, то и тогда всякую, даже малейшую перемену в такой конституции следовало бы признавать за зло*».

¹¹² В 1794 г. Грей упрекал его за это в палате общин: «Уильям Питт, тогдашний реформер, был тот же Уильям Питт, которого мы ныне видим обвинителем и даже преследователем реформеров». Лорд Кэмпбелл говорит: «Он потом старался повесить несколько человек из своей братии-реформеров, оставшихся верными этому делу».

¹¹³ Так сильно было расположение короля к торговле неграми, что в 1770 г. «он послал собственноручную инструкцию, в которой предписывалось губернатору Вирджинии, под опасением сильнейшей немилости, не соглашаться ни на какой закон, в каком бы то ни было отношении воспрещающий и стесняющий

ввоз рабов». Таким образом, как с негодованием замечает Бэнкрофт, в то время как судебные места решали, «что всякий раб становится свободным, как только ступит на английскую землю, король английский противился прогрессу человечества и представлял собою опору колониальной торговли рабами». Трудно, чтобы какой-нибудь честный человек простил Питту двусмысленный образ действия его в этом деле.

¹¹⁴ В то время уже было предсказано, что последствием многочисленных пожалований, состоявшихся во время управления Питта, будет унижение палаты лордов. Но слово этих людей, хотя и полное негодования, еще было стеснено желанием не поссориться совершенно с двором. Другие лица, более независимые по положению и не заботящиеся о видах на занятие должностей, держали такие речи, каких еще никогда не слышали в стенах парламента. Ролл, например, объявил, что «во время управления нынешнего министра пожалованы в пэры люди такие, которые не годились бы ему в грумы». Вне парламента чувство презрения было также сильно. См. также замечание вежливого сэра Уильяма Джонса о возрастающем презрении к учености, выказываемом «аристократами наших времен».

¹¹⁵ Никкольс, знавший его лично, говорит: «Политические познания Бёрка можно считать почти энциклопедическими; каждый, кто только сближался с ним, почерпал новые сведения из его запасов». «Круг познаний, объятых его гениальным умом,—по отзыву Галла,—был громаден. Его могучая любознательность обложила данью всю природу и собрала богатства со всех царств творения и всех областей искусства». Вильберфорс также говорит о нем: «Он поздно вступил в парламент и имел время собрать огромные запасы познаний. Поле, на котором он, как жатву, собирал примеры для развития своих мыслей, было изумительно плодородным. Как у девицы, награжденной милостями волшебницы в детской сказке, из уст его, как только он открывал их, сыпались жемчужины и бриллианты».

Но самая благородная похвала Бёрку была высказана человеком, стоящим в первом ряду английских государственных деятелей. В 1790 г. Фокс сказал в палате общин: «Если бы я положил с одной стороны все политические знания, какие я заимствовал из книг и приобрел с помощью науки, и все то, чему научило меня знакомство с миром и мирскими делами, а с другой—сумму всех тех сведений, какие я извлек из поучительной беседы с моим достопочтенным другом, то я не мог бы решить, какой из двух сумм должно быть отдано предпочтение».

¹¹⁶ «Политика,—говорит Бёрк,—должна применяться не к человеческим умствованиям, а к человеческой природе, которой разум составляет лишь часть, и никак не самую большую». На этой мысли основано различие, никогда не упускавшееся им из виду, между обобщениями философии, которые должны быть неприкосновенны, и обобщениями политики, которые должны изменяться. На том же основании он говорит: «Мудрость гражданская или политическая не может быть очерчена никакими неизменными чертами. Существо ее не подлежит точному определению».

¹¹⁷ В 1780 г. он прямо высказал палате общин, что «народу стоит только высказать свои потребности в общем и обширном смысле, а мы—опытные художники или искусные рабочие, обязанные придать этим желаниям совершенную форму и приспособить орудие к предстоящему употреблению. Народ—это больной, высказывающий симптомы болезни, а мы узнаем, в каком именно месте находится недуг, и умеем лечить его сообразно с правилами науки. Как ужасно

было бы, если бы мы стали обращать наше искусство на зловредные и рабские ухищрения с тем, чтобы уклониться от нашей обязанности и обманом лишить тех, чьи интересы мы должны оберегать, предмета их справедливых ожиданий». В другом месте он говорит: «Следовать общественному настроению, а не насилловать его; давать направление, образ, техническую форму и особую санкцию преобладающим воззрениям общества— таково истинное назначение законодательной власти». Было бы ужасно в самом деле, если бы существовала в нации какая-нибудь сила, способная противостоять ее единодушному желанию или даже желанию какого-нибудь весьма значительного и решительного большинства народа. Народ может обмануться в своем выборе какой-нибудь цели; но я почти не могу представить себе, чтобы какой бы то ни было выбор, который он может сделать, был до такой степени пагубен, как существование какой-нибудь человеческой силы, способной противостоять ему». Точно так же он говорит, что когда правительство и народ не согласны во взглядах, то ошибается обыкновенно правительство.

¹¹⁸ Бёрк никогда не переставал опровергать часто высказываемое мнение, будто если страна долгое время процветала при каком-либо особом учреждении, то это значит, что такое учреждение вообще полезно. См. превосходный пример такого опровержения в речи его о праве генерального атторнея возбуждать обвинения *ex officio*, где он уподобляет людей, таким образом судящих, отцу Скриблеруса, который «уважает ржавчину и плесень, превращающие медную крышку с кастрюли в щит героя»; затем он присовокупляет: «Но нам говорят, сэр, что то время, когда это право существовало, было временем наибольшего процветания монархии. Что же? Разве две вещи не могут существовать одновременно, не будучи связаны между собою как причина и следствие? Разве какой-нибудь человек не мог бы пользоваться лучшим здоровьем в то время, когда он ходил бы с дубовою палкою, чем впоследствии, когда он ее переменял бы на трость,— без того, чтобы не заставить нас, подобно друидам, полагать, что в дубе скрываются таинственные силы и что здоровье его было последствием употребления палки».

¹¹⁹ Легко себе представить, как должен был оскорбляться Георг III такими рода мыслями, как, например, следующие. «Я не понимаю тех,— говорит Бёрк,— которые восстают против всякого нарушения общественного спокойствия; я желаю, чтобы везде слышался крик, где существует злоупотребление. Пожарный набат в полночь прерывает ваш сон, но предохраняет вас от опасности сгореть в постели. Судебные процессы по делам о воровстве нарушают спокойствие графства, но служат к охранению собственности во всей провинции».

¹²⁰ Доводы Бёрка более чем двадцатью годами предупредили знаменитый *Libel Bill* (билль о пасквиях) Фокса, который был утвержден не ранее 1792 г.; впрочем, с 1752 г. присяжные стали, невзирая на домогательства судей, произносить приговоры вообще и о виновности.

¹²¹ В 1778 г. лорд Роккингем сказал в палате лордов: «Вместо того, чтобы называть войну с американцами войной парламента или народа, ее называли войной короля, любимой войной его величества». Никкольс говорит: «Война считалась личным делом короля. Те, которые стояли за нее, назывались друзьями короля, а лиц, желавших, чтобы Англия остановилась и размыслила о том, прилично ли продолжать эту распря, клеймили именем неверных подданных».

¹²² Глубокая ненависть, с которой Георг III смотрел на американцев, была так естественна в подобном характере, что его почти нельзя осуждать за

обнаружение этих чувств во все время борьбы. Но особенно постыдно то, что после окончания войны он высказал эту злобу в том случае, в котором более чем когда-либо он должен был бы превозмочь ее. В 1786 г. Джефферсон и Адамс с официальной целью посетили Англию и, желая оказать вежливость королю, явились ко двору. Но Георг III до такой степени пренебрег самыми обыкновенными требованиями приличия, возлагаемыми его саном, что обошелся с этими замечательными людьми весьма невежливо, несмотря на то что они явились засвидетельствовать ему свое уважение в его собственный дворец.

¹²³ Все великие революции имеют прямое влияние на умножение случаев помешательства во все время продолжения переворотов и, вероятно, и на несколько времени после них; но и в этом отношении, как и в других, Французская революция выделяется из числа всех по количеству своих жертв.

¹²⁴ Эту вежливость ставили в противоположность с грубостью Джонсона, так как эти два замечательные человека славились в свое время умением говорить лучше всех.

¹²⁵ Герцог Бедфордский, недурной ценитель характеров, сказал в 1794 г., что «вся жизнь Лафайета была примером искренности, бескорыстия и чести», в сочинении Сисмонди («Hist. des Francais») сказано: «Лафайет — рыцарь американской свободы»; а Ламартин сказал о нем: «Мученик свободы, бывший герой ее». Сегюр, который был с ним коротко знаком, сообщает нам также некоторые сведения о благородстве его характера, как оно проявлялось, когда он был мальчиком девятнадцати лет. Сорок лет спустя с ним встретила в Франции леди Морган, и из рассказа ее видно, как мало он изменился и как просты были и тогда его вкусы и привычки.

¹²⁶ Кондорсе (хотя и не маркиз, как он называл себя до революции) — «человек совершенно другого рода по рождению, по привычкам и занятиям, чем Бриссо, но по всем нравственным основаниям и склонностям, от самых низших и до самых высших и решительных подлостей, совершенно равен ему».

¹²⁷ Едва можно поверить, что подобные речи относились к такому человеку, как Лафайет; но я взял их из «Parliamentary History». Vol. XXXI. P. 51, и из Adolphu's Hist. of George III. Vol. V. P. 593. Единственная разница заключается в том, что у Адольфуса сказано: «Я бы не хотел унижить мое человеколюбие», а в «Parliamentary History» — «Я бы не хотел развратить мое человеколюбие». Но оба авторитета согласны относительно того, что Бёрк употребил выражение «ужасный злодей».

¹²⁸ В «Letters on a Regicide Peace», обнародованных за год до смерти Бёрка, он говорит: «Эти посланники, конечно, могут возвратиться столь же хорошими придворными, какими они отправились в миссию, но могут ли они возвратиться из этого постыдного посольства честными и верными подданными — с истинной любовью к своему государю или искренней преданностью конституции, религии или законам своего отечества? Очень можно опасаться, что люди, которые входили в эту Тифонову пещеру улыбаясь, выйдут из нее печальными и серьезными заговорщиками и такими останутся на всю свою жизнь». В том же сочинении он прибавляет: «Разве для этих благ мы открываем обычные сношения мира и дружелюбия? Для этого разве наше юношество обоих полов должно образовываться посредством путешествий? Для этого разве, не шадя издержек и трудов, мы приучаем их еще младенческим летом произносить французские слова?.. Не должно забывать, что ни один юноша не может отправиться ни в какую страну Европы, не проехав по пути тот край, полный чумной заразою:

в то время как менее деятельные члены общества будут развращаемы этим путешествием, в то время как дети будут отравляемы в таких школах,— торговля наша довершит нашу гибель. Мы не заведем во Франции ни одной коммерческой конторы, которая бы не сделалась клубом настоящих французских якобинцев. Умы молодых людей торговой профессии будут заражены и в религиозном, и в нравственном, и в политическом отношении, и эту заразу они в скором времени сообщат всему королевству».

¹²⁹ «Говорят, что причиною назначения их было особенное желание короля». Прайор исчисляет эти пенсии в 3700 ф. ст. в год; но если верить Никколсу, сумма была еще более: «Бёрк был награжден двумя пенсиями, оцененными в 40 000 ф. ст.».

¹³⁰ В то время предполагали — и это не лишено вероятия, — что король сам предложил обложение податями Америки и что Гренвилл сперва противился этой мере. Это могло быть только слухом, но, как бы то ни было, оно совершенно согласно со всем тем, что нам известно о характере Георга III, и во всяком случае не может быть никакого сомнения в том, с какими чувствами он смотрел на весь этот вопрос. Достоверно, что он убедил лорда Норта вступить в борьбу с Америкой и склонить этого министра начать войну, а потом продолжать даже и тогда, когда исчезла надежда на успех. В Америке воззрения короля были хорошо известны. В 1775 г. Джефферсон пишет из Филадельфии: «Нам говорят — и все подтверждает эту мысль, — что он злейший из всех наших врагов». Франклин пишет к Ливингстону: «Король ненавидит нас от всей души».

^{131–132} «Двор требовал, — как замечает лорд Альбемарль, — чтобы министры были не общественными слугами государства, но частными прислужниками короля». Точно так же Бёрк в 1767 г. пишет: «Его Величество никогда не был в лучшем расположении духа: министерство у него слабое и зависимое, и — что еще лучше — расположенное оставаться таким». Десять лет спустя лорд Чатам открыто упрекал короля в этой постыдной наклонности: «Таким образом, управление этим некогда славным государством вверено самым гибким людям».

¹³³ Об этих ужасных жестокостях нередко говорили в парламенте, но такие речи не производили никакого действия на короля, ни на министров его. Между расходами на эту войну, о которых правительство представляло парламенту, была статья на приобретение «пяти grossов ножей для скальпирования».

¹³⁴ В Манчестере вследствие американских волнений девять из каждых десяти рабочих остались без работы. По мере того как борьба становилась упорнее, зло проявлялось сильнее.

¹³⁵ Д-р Джебб, весьма способный наблюдатель, полагает, что американская война «должна решить участь свободы обеих стран». Также и лорд Чатам писал в 1777 г.: «Бедная Англия будет пронзена своим собственным мечом». В том же году Бёрк сказал о попытке правительства подчинить колонии военной силе, «что, хотя установление такой власти в Америке совершенно расстроит наши финансы (вернейшее последствие), это составляет, однако, лишь меньшее из наших опасений. Эта власть сделается удобным, сильнейшим и самым надежным орудием для ниспровержения и здесь нашей свободы». Поэтому-то Фокс и желал, чтобы победа осталась за американцами, за что некоторые писатели обвинили его в недостатке патриотизма.

¹³⁶ Перед самой революцией Сен-Винцент весьма кстати заметил, в виде предостережения, что англичане «свергли семь из своих королей и обезглавили

восьмого», а Алисон в своей «Егоре» сказал, что в 1792 г. Людовик «предвидел для себя участь Карла I».

¹³⁷ Лорд Бругам справедливо говорит об этой войне, что «самый младший из людей, находящихся в живых, не переживет роковых последствий этого явного преступления в политике». Между тем Георг III был так ужасно настроен в пользу войны, что когда Вильберфорс по поводу ее отделился от Питта и предложил в палате общин изменение принятого постановления, то король высказал свою досаду тем, что не обратил никакого внимания на Вильберфорса первый раз, как он явился ко двору.

¹³⁸ В 1793 г. и в последующих годах было высказываемо как оппозицией, так и приверженцами правительства, что война с Францией направлена против учений и мнений и что одна из главных целей ее заключается в том, чтобы противодействовать распространению демократических учреждений.

¹³⁹ Лорд Кэмпбелл говорит, что если бы законы, постановленные в 1794 г., были приведены в действие, то «единственным средством для избежания рабства была бы междоусобная война».

¹⁴⁰ Это относилось к митингам, «собранным с целью или под предлогом обсуждения или составления какой-либо просьбы, жалобы, заявления недовольства, декларации или другого какого-либо адреса королю, обеим палатам или одной из палат парламента, об изменении порядков, установленных в государстве или в церкви, или же с целью или под предлогом обсуждения какого-либо стеснения для граждан, существующего в государстве или в церкви».

¹⁴¹ Это должно быть признано, как сказано в акте, таким уголовным преступлением, при котором даже не допускается изъятия духовных лиц от подсудности общим судам, и виновные в нем должны быть признаны уголовными преступниками и подлежат смертной казни как за уголовное преступление означенного выше разряда.

¹⁴² Разрешение «должно сохранять свою силу в течение одного года, не более, или какого-нибудь меньшего времени, которое должно быть в нем обозначено; такие разрешения мировые судьи и др. должны иметь право отменять, объявлять недействительными и не имеющими силы, посредством особых ордеров... и затем подобное разрешение должно кончиться, потерять всякую силу и быть совершенно недействительным».

¹⁴³ Эти вещи так невероятны, что я считаю долгом опять привести слова самого акта: «Всякий дом, комната или место, которые будут открыты или употребляемы как место собрания для чтения книг, брошюр, газет или других изданий и в которые кто-либо будет допущен за денежную плату (если нет на то установленного разрешения от властей)... должны быть признаны за развратный дом, и содержатель должен быть наказан, как того требует закон относительно развратных домов». Ни в чем слабейшие стороны человеческого ума не высказываются так ясно, как в истории законодательств.

¹⁴⁴ Гент говорит: «В придачу ко всем этим законам, направленным исключительно против прессы, изданы и другие статусы, относящиеся отчасти к ней, но имеющие и вообще целью подавить свободное выражение общественного мнения». В 1793 г. д-р Керри пишет: «Преследования, предпринятые правительством по всей Англии против хозяев типографий, издателей и пр., без сомнения, удивили бы вас; и большая часть этих преследований относится к проступкам, совершенным уже несколько месяцев назад. Типографщик, печатавший «Manchester Herald», подвергся семи отдельным обвинениям за статьи,

помещенные в его газете, и шести также отдельным обвинениям за продажу или отдачу шести экземпляров Пейна (Paine)—и все это ранее процесса против Пейна. Этот человек был богат; полагали, что он имеет 20 000 ф. ст., но что все эти судебные дела разорят его, что, впрочем, и имелось в виду».

¹⁴⁵ В 1793 г. д-р Керри, упомянув о попытках правительства уничтожить свободу печати, присовокупляет: «Я с своей стороны предвижу смуты и полагаю, что нация никогда еще не подвергалась такому опасному кризису». Фокс пишет: «Мне кажется, что в настоящее время предстоит выбор только между двумя исходами: или решиться на совершенное отречение от прав нации на свободу, или предпринять энергическое сопротивление, сопряженное, конечно, в такие времена с значительной опасностью. Мой взгляд на дела, признаюсь, весьма мрачен — я совершенно убежден, что через несколько лет или это правительство будет совершенно абсолютным, или произойдут такого рода смуты, которых надобно почти столько же опасаться, как самого деспотизма». В 1796 г. епископ Лландафский пишет: «Болезнь, укоренившаяся в конституции (влияние короны), неизлечима; возможны были бы лишь насильственные средства, но успех их весьма сомнителен, и я с своей стороны никогда бы не желал видеть употребление их». Пристли опасался революции, но в то же время полагал, что уже нет никакой надежды на мирную и постепенную реформу.

¹⁴⁶ В этой достопамятной декларации Фокс сказал, что он «считает себя вправе надеяться, что эти новые билли, положительно отменяющие билль о правах и подрезывающие самые корни конституции, превращая монархию с ограниченной властью в совершенный деспотизм, не будут утверждены парламентом, вопреки убеждению, высказанному значительным большинством нации. Впрочем, если бы министры решились посредством покупного влияния, которым они пользуются в обеих палатах парламента, провести означенные билли, в прямую противность высказанному убеждению огромного большинства нации, и они были бы приведены в действие во всей строгости своих положений,—то в случае, если бы нация спросила его мнения о том, должна ли она повиноваться подобным законам, он бы ответил, что это повиновение не составляет уже вопроса нравственного долга и обязанности, а практического расчета. Действительно, это был бы случай такой крайности, которая одна только может оправдать сопротивление правительству, и вопрос был бы только о том, можно ли рассчитывать на успех в сопротивлении». На это Виндгам заметил — и Фокс того не отрицал, — что «по очевидному смыслу слов достопочтенного джентльмена, он бы посоветовал народу везде, где только он будет довольно силен для этого, противиться исполнению закона»; с этим замечанием и Шеридан, и Грей немедленно согласились.

¹⁴⁷ «И самые старые люди не помнили, чтобы существовало когда-либо такое твердое и решительное большинство лиц, противодействовавших мерам министерства, как было в этом случае (т. е. в 1795 г.); интересы всей публики казались так глубоко затронутыми, что личности не только из высших, но и из самых простонародных профессий жертвовали значительной долей своего времени и своих занятий для посещения многочисленных митингов, которые собирались во всех краях государства, с признанной целью противодействовать этой попытке министерства». (Примечание в «*Parl. Hist.*». Vol. XXXII. P. 381.) В это время Фокс высказал то, что мы привели в предыдущем примечании.

¹⁴⁸ Эта система названа была тогда же «Царством страха», и таким царством она действительно была для всякого лица, противящегося видам правительства.

¹⁴⁹ «Противозаконная система тайных арестов, на основании которой Питт и Дундас наполняли теперь все тюрьмы парламентскими реформерами, людьми, которых сажали в крепость без всякого гласного обвинения и которых приостановление действия акта Habeas Corpus лишало всякой надежды на освобождение» (Кук).

¹⁵⁰ Роско пишет в 1793 г. следующее: «Всякий человек призывается быть шпионом над своим братом». Фокс замечает, что все меры правительства направляются к тому, чтобы «сделать из каждого человека не только инквизитора, но также судью, шпиона и доносчика,—восстановить отца против отца, брата — против брата; и этим путем вы надеетесь поддержать спокойствие страны».

¹⁵¹ Представилось даже довольно значительное затруднение — найти типографщика, который бы согласился напечатать большое филологическое сочинение Тука — «The Diversions of Purley».

¹⁵² Тех, которые действовали против торговли невольниками, называли якобинцами и «врагами министерства»; знаменитый д-р Керри был объявлен якобинцем и врагом отечества, потому что он протестовал против постыдного обращения с французскими пленными, которое в 1800 г. было допускаемо английским правительством.

¹⁵³ В 1798 г. Кальдвелл писал сэру Джеймсу Смиту: «Власть короны становится невыносимой. Новый план проникновения в частную жизнь всякого превосходит все попытки, предпринятые правительством в царствование Людовика XIV, о которых я когда-либо слышал».

¹⁵⁴ В 1794 г. Фокс сказал в своей речи по поводу билля о приостановлении действия акта Habeas Corpus: «Всякий человек, свободно говорящий и ненавидящий эту войну, как я ее от всей души ненавижу, может быть и действительно бывает в руках и в полной власти министров. Живя при этом правительстве и при возможности подвергнуться последствиям возмущения, я откровенно признаюсь, что, сравнив оба зла, я считаю то, которое они будто бы хотят устранить, меньшим, чем то, которое они непосредственно произведут своим врачеванием». В 1800 г. лорд Голланд сказал в палате лордов, что «из семи лет этой войны в течение пяти действие акта Habeas Corpus было приостановлено и что из множества людей, арестованных на основании этого приостановления, подвергнуты были суду весьма немногие, осужден же только один».

¹⁵⁵ Один весьма внимательный наблюдатель явлений, происходивших в конце восемнадцатого века, высказал то, что в начале девятнадцатого сделалось убеждением большей части людей, одаренных простым здравым смыслом и не имеющих личного интереса в существовавшей системе подкупов: «Причину наших затруднений составляет неумеренное отягощение нации податями — последствие ненужных войн царствования Георга III; а это неумеренное отягощение происходит оттого, что палата общин состоит из людей, не имеющих интереса защищать собственность нации».

¹⁵⁶ Епископ Горслей, упорный защитник существующего порядка вещей, в 1795 г. сказал в палате лордов: «Не знаю, какое дело массе народа в какой-либо стране до законов, за исключением того, чтобы повиноваться им».

¹⁵⁷ Лорд Кокбёрн говорит: «Если только какое-нибудь начало и признавалось неоспоримым почти всеми приверженцами партии, преобладавшей шестьдесят, пятьдесят или даже сорок лет тому назад, так это то, что невежество народа составляет необходимое условие его повиновения законам». Одним из

доводов в пользу этого мнения было то, что «распространять образование значило бы умножать случаи преступления подлога».

¹⁵⁸ На основании этих актов, изданных в царствование Карла II, все лица, вступающие в какую-либо правительственную должность, гражданскую или военную, должны были в полном составе корпораций торжественно присягать королю, и, сверх того, каждое из этих лиц в течение года до избрания своего должно было причаститься по обряду англиканской церкви. Оба акта окончательно отменены в царствование Георга IV, в 1828 г. *Примеч. перев.*

¹⁵⁹ Епископ Берджесс в письме к лорду Милборну с горечью жалуется на то, что эмансипация католиков была «уничтожением чисто протестантского характера английского парламента». Нет никакого сомнения в том, что епископ верно оценил предстоящую его партии опасность; что же касается до актов *Corporation* и *Test*, которые, как сказал другой епископ, «были справедливо признаваемы самими твердыми опорами британской конституции», то это чувство было так сильно, что на одном собрании епископов в 1787 г. оказалось только два голоса, которые согласились на отмену этих стеснительных законов. Лорд Эддон, до конца стоявший за церковь, объявил, что билль об отмене этих актов есть «билль революционный».

ГЛАВА VIII

¹ Каким образом это сделалось, объяснено вкратце у Теннемана: «Хотя и появился теперь дух более свободного исследования, но он тотчас же был стеснен и остановлен двумя положениями, прямо вытекавшими из тогдашнего преобладания теологии. Первое из них состояло в том, что ум человеческий не может идти далее откровения... Второе вытекало из первого: ум не должен признавать за истину ничего, что противоречит откровению, и — за ложь ничего, что согласно с откровением».

² Кореро, бывший послом во Франции в 1568 г., пишет: «По моему мнению, папа может сказать, что он среди этих волнений более выиграл, чем проиграл, так как до разделения этого королевства на две партии такая была свобода каждому жить как угодно и так мало было уважения к Риму и к тем, кто в нем жил, что на папу более смотрели как на сильного владетеля в Италии, чем как на главу церкви и всеобщего пастыря. Но лишь только появились гугеноты, католики начали уважать самое имя папы и признавать его истинным наместником Христовым, тем более утверждаясь в мысли, что они так должны смотреть на него, чем более они видели, что его презирают и отвергают гугеноты». Это любопытное место составляет одно из множества доказательств того, что непосредственные блага, происшедшие от Реформации, слишком преувеличены, хотя более отдаленные преимущества были, несомненно, громадны.

³ Равнодушие англичан к теологическим прениям и легкость, с какой они переменяли религию, заставили многих иностранцев осуждать их за легкомыслие. Перлен, путешествовавший по Англии в половине шестнадцатого столетия, говорит: «Народ состоит из безбожников и совершенно враждебен как добрым нравам, так и образованию; он сам не знает, кому принадлежит: Богу или дьяволу, — за что многих осуждал св. Павел, говоря: не увлекайтесь всякого рода верами, но будьте тверды и постоянны в своей вере».

⁴ Генрих VIII имел одно время пятьдесят человек конной стражи, но она была вскоре уничтожена по причине дороговизны ее содержания, и после этого

единственную защиту короля составляли пешие телохранители, в числе пятидесяти, и обыкновенная прислуга королевского дома. Такие «телохранители» были набраны Генрихом VIII в 1485 г.

⁵ Хотя Мария и легко произвела перемену религии, но вообще нерасположение к церкви было слишком сильно, чтобы она могла возвратить ей ее собственность. «Итак, в царствование Марии парламент, столь послушный ей во всех предметах религии, крепко ухватился за владение церковными землями» (*Галлам*).

⁶ Точно таким же образом в Александрии религиозные споры были вредны для интересов знания.

⁷ Теологический дух овладел даже театром, и различные сектаторы осмеивали на сцене религиозные убеждения своих противников.

⁸ Кореро пишет в 1569 г.: «Я застал, конечно, это государство снова поверженным в величайшее смятение; ибо религиозный раскол, превратившийся как бы в две партии, притом особенно враждебные, сделал то, что всякий, не допуская ни родства, ни дружбы, держал ухо востро и полный подозрения прислушивался, с которой стороны поднимается какой-нибудь шум». К этому он выспренно прибавляет: «В страхе были гугеноты, в страхе католики, в страхе государь, в страхе подданные». С обеих сторон распространяли самые гнусные клеветы, и им верили. Екатерину Медичи, между прочим, обвиняли в том, будто она заставляла подвергать жен протестантов операции *кесарева сечения* в тех видах, чтобы не могли родиться новые еретики.

⁹ В одно царствование Карла IX было не менее пяти таких религиозных войн, из которых каждая оканчивалась трагатом.

¹⁰ «Тогда нация слушалась только своего фанатизма. Умы, день ото дня все более и более воспламеняясь, перестали, наконец, думать о других целях, кроме религиозных; люди из набожности наносили друг другу самые страшные оскорбления» (*Мабли*).

¹¹ Девятнадцатый и двадцатый тома «Истории французов» Сисмонди заключают в себе грустные сведения о внутреннем состоянии Франции перед восшествием на престол Генриха IV. Действительно, как говорит Сисмонди, казалось одно время, будто единственным исходом всего этого могло быть только возвращение к феодализму. «Более трехсот тысяч домов разрушены» (*Монтель*). Де Ту в мемуарах о собственной жизни говорит: «Законы были презрены, и честь Франции почти не существовала... и под покровом религии дышали только злобою, мщением, убийством и поджогами».

¹² С каким усердием отстаивались эти мнения, видно, в числе других достоверных свидетельств, из показаний Марино Кавалли, который пишет в 1546 г.: «Господа, члены Сорбонны имели полную власть наказывать еретиков, что они и делали посредством огня, на котором медленно жарили их живых».

¹³ Климент VIII даже опасался после этого четвертого с его стороны отступничества: «Он все еще думал, что Генрих IV, может быть, под конец опять обратится к протестантизму, как он раз уже и сделал».

¹⁴ Нантский эдикт последовал в 1598 г., а отречение было в 1593 г.

¹⁵ Сисмонди говорит об этом эдикте: «Может быть, ни одна эпоха в истории Франции не обозначает лучше конец древнего мира и начало нового».

¹⁶ Его шутка насчет силы Самсона («Oeuvres de Rabelais». Vol. II. P. 29, 30) и его насмешка над одним из законов Моисеевых (Vol. III. P. 34) имеют так мало общего с другими частями его сочинения, что даже не кажутся входящими

в общий план. Комментаторы, находящие скрытое значение в каждом авторе, которого они дополняют примечаниями, представили Рабле человеком, стремящимся к высшим целям и желающим совершить самые обширные социальные и религиозные реформы. В этом я сильно сомневаюсь; во всяком случае я не нашел доказательств в пользу такого предположения. Поэтому я не могу не заключить, что Рабле обязан значительной долей своей славы неясности своего слога.

¹⁷ Галлам говорит, что его скептицизм «проявляется не в религии». Но если употреблять слово *религия* в его обыкновенном значении, т. е. в связи с догматом, то из слов Монтеня ясно видно, что он был скептик, и притом непреклонный. Действительно, он даже заходит так далеко, что говорит, что все религиозные убеждения — результат обычая: «Comme de vray nous n'avons aultre mire de la verité et de la raison, que l'exemple et idée des poinions et usances du pais où nous sommes: là est tousiours la parfaicte religion, la parfaicte police, parfaicte et accomply usage de toutes choses». Из этого он выводит как естественное последствие то заключение, что религиозное заблуждение не имеет в себе ничего преступного. Дело, по-видимому, в том, что Монтень хотя и признавал существование религиозных истин, но сомневался в нашей способности познать их, т. е. сомневался в том, имеем ли мы средства в огромном числе религиозных мнений различать, которое справедливо. Его замечания насчет чудес дают нам понятие о свойствах его ума; а то, что он говорит о пророческих видениях, приводится Пинелем в его глубокомысленном сочинении «*Aliénation Mentale*». Р. 256.

¹⁸ Он говорит: «Не случайно не без основания приписываем мы глупости и невежеству способность верить и легко убеждаться». Ничего в этом роде не появлялось прежде на французском языке.

¹⁹ Шаррон был в весьма значительной мере обязан Монтеню, но это уже слишком преувеличивается многими писателями. В самых важных вопросах Шаррон оказывался более смелым и глубоким мыслителем, чем Монтень, хотя в настоящее время его так мало читают, что единственное хоть сколько-нибудь полное изложение его системы нашел я у одного Теннемана. Довольно странно, что Талейран был большой поклонник Шарронова сочинения «*De la Sagesse*» и подарил свой любимый экземпляр его г-же де Жанлис!

²⁰ Вот почему он восстает против прозелитизма и придерживается того философского основания, что религиозные убеждения, будучи управляемы непреложными законами, бывают обязаны своими изменениями изменениям в предшествовавших им обстоятельствах и, предоставленные самим себе, всегда соответствуют существующему порядку вещей: «И из этих выводов мы научимся ничему не присягать, ничему не удивляться, ничем не смущаться, но, что бы ни происходило, кричат ли, бушуют ли, — держаться одного: что все в мире идет этим путем, что таковы проказы природы» («*De la Sagesse*». Vol. I. P. 311).

²¹ «Но так как они рождаются одна после другой, то младшая зиждется всегда на старшей, на ближайшей предшественнице своей, которую она не порочит и не осуждает всю до основания — иначе ей самой не внимали бы и она не могла бы укрепиться, — а только обвиняет ее либо в несовершенстве, либо в устарелости (вследствие чего она будто бы и пришла сменить и усовершенствовать ее), и тем мало-помалу разрушает ее и обогащается на ее счет; так сделала иудейская религия с языческой и египетской, христианская — с иудейской, магометанская — с иудейской и христианской вместе; старые же религии, напротив, совершенно и вполне осуждают молодые и считают их за опасных врагов»

(«De la Sagesse». Vol. I. P. 349). Это, я уверен, первый пример изложенного на одном из новейших языков учения о религиозном развитии,— учения, которое со времени Шаррона быстро двигалось вперед, в особенности между людьми, которые обладают довольно обширными познаниями, чтобы быть в состоянии сличать различные религии, преобладавшие в различные времена. В этом, как и в других предметах, те, которые не в состоянии делать подобные сличения, предполагают, что всякая вещь находится в совершенном разобщении со всем остальным потому только, что для них никакая связь не заметна.

²² Сорбонна дошла до того, что осудила великое сочинение Шаррона; она не могла, однако, добиться, чтобы запретили его.

²³ Генрих IV изгнал иезуитов в 1594 г.; но позднее, в его же царствование, им дозволено было снова поселиться во Франции. Почти не подлежит сомнению, что иезуиты были обязаны своим возвращением во Францию тому страху, который возбуждали их интриги; и Генрих, очевидно, столько же не любил их, сколько и боялся. Из «Мемуаров Ришельё» видно, что король уже не допускал их более до такого авторитета в деле воспитания, каким они пользовались прежде.

^{24–25} Когда стали допрашивать Равальяка, то он сказал, «что был возбуждаем к этому делу интересами религии и непреодолимым влечением».

²⁶ Как говорит Монтеиль, «Ришельё имел в руках скипетр, а Людовик XIII носил корону». А Кампион говорит о нем, что он «скорее повелитель, чем министр», и присовокупляет, что он «управлял восемнадцать лет Францией с неограниченной властью и с беспримерной славой».

²⁷ Общее мнение было, что Ришельё уничтожил влияние французской знати; но эта ошибка происходит оттого, что смешивают политическое влияние с социальным. То, что называют политическим могуществом известного класса общества, есть только признак, проявление действительного могущества его; и нет никакой пользы нападать на первое, если вы не можете в то же время ослабить второе. Действительное могущество знатных заключалось в их социальном значении, а этого значения ни Ришельё, ни Людовик XIV ослабить не могли; оно оставалось нетронутым до половины XVIII столетия, когда ум Франции восстал против него, ниспровергнул его и, наконец, произвел Французскую революцию.

²⁸ Многие из французских королей имели сильную врожденную склонность к монахам, но замечательнейший из встреченных мною примеров этого рода привязанностей упоминается у де Ту относительно Генриха III. Де Ту говорит об этом государе: «Происходило ли это от какой-нибудь врожденной особенности или же от воспитания, но Генриху всегда было приятно присутствие монаха; и я сам часто слышал, как он говорил, что вид монаха производит такое же действие на его душу, как самое приятное шекотание — на его тело».

²⁹ Одно из его внушений касалось «опасностей, которым подвергался католицизм в Германии вследствие союза короля с протестантскими державами».

³⁰ «Французское духовенство, невежественное и развращенное, думало, что вся его обязанность заключается в искоренении еретиков; оно предлагало даже большие суммы денег под условием, чтобы их употребляли на эту войну» (*Бенуа*).

³¹ В этом вполне оправдывает его Ваттель, слова которого я приведу, ради тех политиков, которые придерживаются еще устарелой теории святости церковной собственности: «Не только не должно быть изъятия для имуществ церкви вследствие того, что они посвящены Богу, а, напротив, по этой самой причине они

первые должны быть взяты для спасения государства, ибо ничто не может быть угоднее Отцу всех людей, как ограждение какой-нибудь нации от гибели. Так как Бог ни в чем не нуждается, то посвящать ему богатства — значит обращать их не на такое употребление, которое было бы Ему угодно. Кроме того, имущество церкви, как сознается и само духовенство, большей частью предназначается для бедных. Когда государство в нужде, то, без сомнения, оно — первый бедный, и притом наиболее заслуживающий помощи.

³² Базэн, упоминая об этом постыдном деле, просто говорит: «Маршал де Витри, следуя примеру, который был подан ему герцогом д'Эперноном, до того забылся, что ударил его (архиепископа) своим жезлом». Герцог, перед тем как побить архиепископа, «сказал народу: посторонитесь, вы увидите, как я буду колотить вашего архиепископа». Это показал свидетель, который сам слышал, как герцог сказал эти слова. Таллеман де Рео, который был в своем роде отчасти философ, презрительно говорит: «Этот архиепископ мог похвалиться тем, что он наиболее был бит из всех прелатов в мире».

³³ В конце XVI столетия наименование «старший сын церкви» было признанным и вполне заслуженным титулом испанских королей.

³⁴ Еще в 1656 г. французское духовенство желало «ускорить мир с Испанией и обуздать еретиков во Франции». Во время малолетства Людовика XIII мы слышим о «ревностных католиках и о тех, которые желали, во что бы то ни стало, соединения двух королей и двух корон — Испании и Франции, как единственного, по их мнению, средства для искоренения ересей в христианской церкви».

³⁵ Даже в царствование Генриха IV французских протестантов не считали за французов: «Нетерпимые догматы римского католицизма не признавали их за французов. На них смотрели, как на иностранцев или, скорее, как на врагов, и так поступали с ними» (*Felice. Hist. of the Protestants of France*).

³⁶ «Будучи кардиналом римской церкви, Ришельё не призадумался, однако, сам открыто вступить в союз с протестантами» (*Ранке*).

³⁷ Де Рец упоминает об одном любопытном примере того, какие чувства питала церковная партия по отношению к этому трактату. Он говорит, что епископ Бовэ, который, через год после смерти Ришельё, находился короткое время во главе управления, начал свои распоряжения с того, что «с первых же дней потребовал от голландцев, чтобы они обратились к католической религии, если хотят остаться в союзе с Францией».

³⁸ Эта перемена делается яснее, если сравнить сочинения Гроция и Ваттеля. Эти два замечательных человека пользуются и до сих пор уважением, как величайшие авторитеты по части международного права; но между ними есть то важное различие, что Ваттель писал с лишком столетием позже Гроция, и в такое время, когда светские принципы, которые поддерживал Ришельё, уже проникли в умы даже самых посредственных политиков. Поэтому Ваттель говорит: «Спрашивают, позволительно ли быть в союзе с нацией, которая исповедует другую религию? Имеют ли силу трактаты, заключенные с врагами веры? Гроций входил в довольно долгое по этому поводу разбирательство. Это могло быть необходимо в то время, когда ярость партий затмевала еще известные принципы, которые она долго заставляла забывать; в нашем веке, можно смело сказать, это было бы излишним. Один закон природы управляет трактатами наций; им решительно чуждо различие религий». Гроций, с другой стороны, не допускает союзов между нациями разных религий; он говорит, что ничто не может оправдать их, кроме разве «крайней необходимости... Ибо должно сперва стремиться

в царствие небесное, т. е. прежде всего заботиться о распространении Евангелия». Место это тем более назидательно, что Гроций был человек с большим дарованием и человеколюбием».

³⁹ «Франция приобрела по этому трактату в вознаграждение три епископства — в Меце, Туле и Вердене, а также в Эльзасе. Удовлетворение или вознаграждение других заинтересованных сторон было большей частью определено на счет церкви и посредством отчуждения в светскую власть нескольких епископств и духовных бенефиций» (*Кох*).

⁴⁰ В конце XVI столетия Дюплесси-Морне пришлось сказать то, что большинством людей признавалось в то время за парадокс, а именно «что нет ничего несовместного в том, чтобы быть хорошим гугенотом и в то же время верным слугой Франции».

⁴¹ Несмотря на увеличение народонаселения, число протестантов уменьшилось как вообще, так и сравнительно с числом католиков. В 1598 г. у них было 760 церквей, а в 1619 г. оставалось только 700. Де Ту в предисловии к своей «Истории» замечает, что число протестантов увеличилось во время веденных против них войн, но что «во время мира как число, так и значение их уменьшилось».

⁴² Римская церковь постоянно имела это в виду и потому была всегда, как и в настоящее время, весьма сговорчива относительно морали и весьма непреклонна относительно догматов, — поразительное доказательство необыкновенного умения, с каким ведутся ее дела. Эта особенность хотя резко обозначается в римско-католической церкви, но никак не ограничивается ею одной, а встречается во всякой религиозной секте, правильно организованной. Локк в своих «Письмах о веротерпимости» замечает, что духовенство естественным образом с большим рвением преследует заблуждение, чем пороки. О том, что оно предпочитает догматы православным истинам, упоминает также и Конт («*Traité de Législation*». Vol. I. P. 245), и на то же намекает Кант.

⁴³ Бланко Уайт резко замечает: «Искренние римские католики не могут быть по совести веротерпимы». Но он, конечно, ошибается, ибо дело не в искренности, а в последовательности. Искренний римский католик может быть, и часто бывает, по совести, веротерпимым, последовательный же римский католик — никогда.

⁴⁴ Мы также очень ясно видим это в Англии, где диссентерское духовенство имеет гораздо более влияния на своих слушателей, чем духовенство господствующей церкви на своих. Это часто было замечано беспристрастными наблюдателями, и мы имеем теперь статистическое доказательство, что «большинство протестантских диссентеров гораздо ревностнее» посещают божественную службу, чем последователи господствующей церкви.

⁴⁵ В пользу действительности этих фактов мы имеем самые несомненные доказательства: не только говорили о них католики в 1623 г., но их не отрицает также и протестантский историк Бенуа: «Там обвиняли реформаторов в том, что они наносили оскорбления проходившим мимо их священникам, мешали католическим процессиям, мешали совершению таинств над больными, погребению мертвых с обычными церемониями... что в некоторых местах реформаторы овладели колокольнями, в других же пользовались католическими колокольнями для возвещения о времени проповеди; что они нарочно производили шум вокруг церквей во время богослужения; что они поднимали на смех церемонии римской церкви».

⁴⁶ В 1625 г. Говэлль пишет, что протестанты сделали надпись на воротах Монтобана: «Roy sans foy, ville sans peur».

⁴⁷ Иногда называли их собаками, возвращающимися к грязи, низвергнутой папством, иногда же — свиньями, купающимися в грязи идолопоклонства.

⁴⁸ В Англии угроза отлучением от церкви потеряла силу к концу XVII столетия.

⁴⁹ Сущность дела заключалась в том, что Нантский эдикт предоставлял право как католикам, так и протестантам повсюду вступить вновь во владение своими имениями, и потому беарнское духовенство тотчас потребовало своих владений.

⁵⁰ «Влиятельнейшие члены партии, особенно мудрый Дюплесси-Морне, всячески старались уговорить реформатов не идти против королевской власти ради таких причин, которые не могут оправдать междоусобную войну; но власть над партией уже исключительно перешла к городским обывателям и к пасторам, которые слепо предавались своему фанатизму и своей гордости и которые тем большее возбуждали одобрение, чем больше обнаруживали наглости» (*Сисмонди*).

⁵¹ «Они дают предписания о вооружениях и об обложении народа податями, все это за печатью с изображением религии, опирающейся на крест, имея в руке книгу Евангелия и попирая ногами старый скелет, который, как они говорили, изображал собой римскую церковь» («Мемуары Ришельё»).

⁵² Даже Мосгейм, который, как протестант, был естественным образом предубежден в пользу гугенотов, говорит, что они установили «*impregium in impregio*» (власть над властью), и приписывает заносчивости их повелителей войну 1621 г.

⁵³ В постановлении Алезского синода (1620 г.) говорится: «Пастор может быть в то же время профессором богословия и еврейского языка. Но ему не подобает преподавать также греческий язык, ибо в таком случае ему большую часть времени придется говорить о языческих и притом светских писателях, — разве что он сложит с себя духовный сан». Три года спустя Шарантонский синод совершенно уничтожил кафедры греческого языка «как излишние и не особенно полезные».

⁵⁴ Это составляло весьма трудный вопрос для теологов, но его разрешили наконец утвердительно на синоде в Сомюре: «По тому же пункту, той же главы, представители Пуату спросили, можно ли было давать дитяти два имени при крещении? На что было отвечено, что это безразлично, но что родителям советуют соблюдать в этом случае христианскую простоту».

⁵⁵ Точно таким же образом испанское духовенство в начале нынешнего столетия пыталось подчинить своим правилам женский туалет, из чего ясно видно, что духовенство, как католическое, так и протестантское, проникнуто тем же духом.

^{55a} В 1625 г. архиепископ лионский писал к Ришельё, уговаривая его «осадить Ла-Рошель и наказать или, лучше, истребить гугенотов, отложив заботу обо всем другом».

⁵⁶ О страданиях, перенесенных жителями этого города, очевидец говорит, что были случаи, когда осажденные ели собственных детей, и что были приставляемы караулы к кладбищам, чтобы воспрепятствовать отытию тел для использования их в пищу.

⁵⁷ Он непременно был бы поддержан в этом Людовиком XIII, о котором Моттвилль говорит: «Он был исполнен набожности и усердия к служению Богу».

и к величию церкви; и при взятии Ла-Рошели и других пунктов, которыми он овладел, самой большой для него радостью была мысль, что он прогонит из своего королевства еретиков и этим путем очистит его от различных религий, портящих и оскверняющих церковь Божию».

⁵⁸ Замечательно, что изучение глазного хрусталика долгое время после смерти Декарта оставалось в пренебрежении; в течение более ста лет не было сделано ни одной попытки пополнить его воззрения ближайшим изучением строения этого тела. Томсон в своей «Животной химии» говорит, что хрусталик и обе жидкости были впервые химически разложены только в 1802 г. Я говорю об этом частью как о материале для истории нашего знания, частью же, чтобы доказать, как долго медлили, прежде чем последовать за Декартом и пополнить его воззрения; ибо, как справедливо замечает Бленвилл, необходимо узнать химические свойства хрусталика, чтобы полнее определить оптические законы преломления в нем света; так, в сущности, исследования Берцелиуса, относящиеся к глазу, служат дополнением к исследованиям Декарта.

⁵⁹ Торичелли первый взвесил воздух в 1643 г.; но есть письмо, писанное Декартом еще в 1631 г., «где он объясняет явление стояния ртути на известной высоте в трубке, закрытой сверху, приписывая его давлению воздушного столба, возвышающегося за пределы облаков». А Монтюкля говорит о Декарте: «Мы имеем доказательства, что философ этот признал тяжесть воздуха ранее, чем Торичелли». Сам Декарт говорил, что ему принадлежит мысль опыта, произведенного после Паскалем.

⁶⁰ Доктор Уэвелл, оказывавший явную несправедливость к Декарту, признает, однако, его «настоящим виновником объяснения радуги».

⁶¹ «Нельзя дать вернейшего понятия о том, чем была эпоха Декарта в новейшей геометрии, как сравнив ее с эпохой Платона в древней геометрии... Наконец, подобно тому, как Платон приготовил своим открытием открытия Архимедов, Аполлониев и др., можно сказать, что Декарт положил первые основания тех открытий, которыми прославились в новейшее время Ньютоны, Лейбницы и др.» (*Montucla. Hist. des mathematiques. Vol. II. P. 112*).

⁶² Декарт писал Мерсенну, что он «одиннадцать лет» занимался изучением сравнительной анатомии посредством диссекции.

⁶³ Д-р Уэвелл в своей «Истории индуктивных наук» говорит: «Открытие это было большей частью охотно принято соотечественниками Гарвея, но в других странах встретило сильную оппозицию». Это мнение не подтверждено никакой ссылкой, а между тем мы бы очень желали знать, откуда д-р Уэвелл взял, что открытие Гарвея было охотно принято. Не только не встретило оно в Англии благосклонного приема, но даже в продолжение нескольких лет было отвергаемо всеми. Гарвей уверял Обрея, что вследствие своей книги о кровообращении он потерял значительную часть своей практики, был признан за сумасшедшего и встретил оппозицию «со стороны всех врачей».

⁶⁴ Кузен говорит о Декарте: «Первое сочинение его, написанное по-французски, издано в 1637 г. Следовательно, с 1637 г. началось существование новой школы философии».

⁶⁵ «Декарт установил в области мышления абсолютную независимость разума. Он объявил, ввиду притязаний схоластики и теологии, что ум человека отныне подчиняется лишь очевидной истине, им самим выведенной. То, что Лютером начато было в религии, французский ум, по деятельности и быстроте своей, внес в философию, и к обоюдной славе Германии и Франции мож-

но сказать, что Декарт есть старший сын Лютера» (*Lerminier. Philos. du Droit*).

⁶⁶ Ибо, как превосходно выразился Тюрго, «не заблуждение противодействует успехам истины, а лень, упорство, дух рутины и все, что располагает нас к бездействию».

⁶⁷ «Таким образом, он начал с сомнения и посредством его дошел до убеждения» (*Tennemann. Gesch. der Philos.*).

⁶⁸ Он весьма ясно отделяет себя от людей, подобных Монтеню. «Я,— говорит Декарт,— не подражаю в этом скептикам, которые сомневаются только для того, чтобы сомневаться, и никогда не выходят из нерешимости; напротив, вся моя цель заключается в том, чтобы достигнуть достоверности и, разрыв сыпучую землю и песок, дойти до твердой скалы или глинистого материка».

⁶⁹ По мнению Декарта, следовало начать с того, что игнорировать такое знание, а не отрицать его. В его сочинениях нельзя найти ни одного примера отрицания внешнего мира, и место, которое приводит Джоберт в своей «*New System of Philos.*», нисколько не подтверждает толкования этого остроумного писателя, смешивающего достоверность в обыкновенном смысле слова с достоверностью в картезианском смысле. В подобное же заблуждение впадают те, которые считают изречение его «Я мыслю, следовательно, я есть» за энфимему и, приняв это за данное, восстают против великого философа и обвиняют его в ошибке, называемой *petitio principii*. Такие критики упускают из виду разницу между логическим процессом и психологическим и поэтому не видят, что знаменитое изречение есть выражение умственного факта, а не сокращенный силлогизм. Тот, кто изучает философию Декарта, должен всегда различать эти два процесса и помнить, что каждый из них имеет особый разряд доказательств, свойственных ему, или по крайней мере что таково было мнение Декарта.

⁷⁰ Дюкло в своих «Мемуарах» прямо говорит: «Если со времени произведенного Декартом переворота теологи удалились от философов, то это потому, что последние стали не слишком уважать первых. Философия, основанная на сомнении и исследовании, должна была их испугать».

⁷¹ «Характеристика средневековой философии есть подчинение авторитету, отдельному от разума, а новейшая философия не признает иного авторитета, кроме разума. Этот решительный переворот произведен картезианством» (*Кузен*).

⁷² Д-р Уэвелл, например, говорит, что мы должны отбросить конечные причины в неорганических науках, а в органических — признать их; другими словами, это просто значит, что мы знаем меньше об органическом мире, чем о неорганическом, и так как мы меньше знаем, то должны больше верить; здесь, как и во всех других предметах, чем меньше знания, тем более суеверия. Если бы вопрос мог быть разрешен посредством авторитетов, то достаточно было бы сослаться на Бэкона и Декарта, двух самых великих писателей по философской методологии в семнадцатом веке, и на Огюста Конта, который всеми, изучавшими его «*Philosophie Positive*», признается за самого великого писателя нынешнего времени. Эти глубокие и всеобъемлющие мыслители все отвергли учение о конечных причинах, которое, как они ясно убедились, составляет вторжение теологии в область науки.

⁷³ Декарт в письме Мерсенну пишет: «Теологию до такой степени подчинили Аристотелю, что невозможно изложить другую философию без того, чтобы она не показалась противной вере».

⁷⁴ Д-р Броун («Philosophy of the Mind») говорит о Декарте: «Этот знаменитый революционер, который низвергнул авторитет Аристотеля и т. д.». Едва ли нужно сказать, что это относится к обыкновению ссылаться на Аристотеля так, как будто бы он был непогрешим, что весьма отлично от уважения, естественно питаемого к человеку, который был, вероятно, самым великим из древних мыслителей.

⁷⁵ Декарт умер в Швеции, отправившись туда посетить Христину. Но это нисколько не изменяет моего доказательства; так как творения Декарта с жадностью читались во Франции и не были запрещены, то мы должны предполагать, что если б он остался в своем отечестве, то и личность его была бы безопасна. Сжечь еретика — шаг гораздо более решительный, чем запретить книгу; и так как французское духовенство не имело довольно силы, чтобы сделать последнее, то едва ли правдоподобно, чтобы оно могло совершить первое.

⁷⁶ Развитие неверия было так значительно, что дало повод к смешному показанию, будто «около 1623 г. в Париже было более 50 000 атеистов». Балль без затруднения отвергает это нелепое сказание; но распространение скептицизма в высших классах и между придворными в течение царствования Людовика XIII и несовершеннолетия Людовика XIV подтверждается множеством разнообразных свидетельств.

⁷⁷ Можно было бы написать целые тома о влиянии Декарта, проявлявшемся не только в предметах, непосредственно связанных с его философией, но даже и в предметах, по-видимому отдаленных от нее.

⁷⁸ Его так беспокоил совершенный им грех, что перед самой своей смертью он умолял маршалов-протестантов переменить веру: «Он не хотел умереть, не сделавши из собственных уст увещания маршалам де Лафору и де Шатийону, чтобы они сделались католиками» (*Бенуа*).

⁷⁹ В особенности папа был оскорблен этим союзом, и, судя по образу выражения Кларендона, православная партия в Англии также была раздражена.

⁸⁰ О явном оскорблении, нанесенном чрез этот договор папе, Ранке говорит: «И действительно, он (папа) ни разу не принимал видного участия в Пиренейском мире: ухитрялись не допускать его уполномоченных; о нем почти не думали на конгрессе».

⁸¹ «Печать пользовалась совершенной свободой во время неурядиц Фронды, и публика принимала такое участие в политических прениях, что памфлеты продавались иногда в числе восьми и десяти тысяч экземпляров».

В Англии Долгий парламент наследовал право заведования цензурой от Звездной палаты, но из письменных источников того времени очевидно, что это право в действительности не применялось. Обе партии свободно нападали друг на друга через посредство печати; существует предание, что от начала Гражданской войны до Реставрации издано было от 30 до 40 тыс. памфлетов.

⁸² Дугальд Стюарт говорит: «Нет ничего справедливее замечания Фонтенеля, что число верующих в религиозную систему, установившуюся в мире, нисколько не увеличивает ее вероятия, но число сомневающихся в ней клонится к его уменьшению!»

⁸³ «Религиозный дух нисколько не примешивался к спорам Фронды» (*Капфиг*). Даже народ говорил, что решительно все равно, умрет ли человек протестантом или нет; но что всякий приверженец Мазарини мог быть уверен в проклятии.

⁸⁴ Действительно, он не скрывает этого даже в своих записках. Он говорит на с. 3: «Я имею наименее церковную душу, какая только существует на свете». На с. 21: «Я ненавидел свое звание более чем когда-либо». На с. 48: «Духовенство, всегда подающее пример рабства, проповедовало его другим под именем послушания».

⁸⁵ Один из самых замечательных людей (Тюрго), каких мы когда-либо имели, упоминает об этой связи, которую выражает в обратном проложении, но тем не менее верно: «Чем меньше человек знает, тем меньше сомневается; чем меньше он открыл, тем меньше видит, что остается открыть... Когда люди находятся в состоянии невежества, тогда легко все узнать».

⁸⁶ Мазарини пользовался подавляющим влиянием над Людовиком XIV до самой своей смерти, в 1661 г. Оно доходило до такой степени, что, как говорит Монтгль, «это время (1661 г.) должно называть началом царствования Людовика XIV». Торжественность, с которой король, немедленно после смерти Мазарини, принял правление, описана очевидцем Бриенном.

⁸⁷ Т. е. признанию их на практике; в теории эти истины отвергаются еще бесчисленным множеством государственных людей, которые тем не менее содействуют применению их в жизни, лаская себя надеждой, что каждое нововведение будет последним, и вовлекая людей в реформу под предлогом, будто с каждой переменной они возвращаются к духу древней Британской конституции.

ГЛАВА IX

¹ В самом начале одиннадцатого века духовенство впервые стало систематически подавлять независимые исследования, подвергая наказанию людей, пытавшихся мыслить по-своему. До тех пор, как справедливо замечает Сисмонди, в подобной политике не предстояло надобности: «В течение многих веков церковь не была смущаема никакой ересью; невежество было слишком безусловно, покорность слишком раболепна, вера слишком слепа для того, чтобы латины могли даже понять те вопросы, над которыми так долго упражнялось остроумие греков. По мере того, как знание делало успехи, вражда между исследованием и слепой верой более и более обозначалась, церковь удвоила свои старания, и в конце двенадцатого столетия папы впервые формально стали требовать от светской власти, чтобы еретики были наказуемы; и самый ранний устав «инквизиторам преступлений по ереси» (*inquisitoribus hereticae pravitatis*) издан был Александром IV».

В 1222 г. синод, собравшийся в Оксфорде, осудил на сожжение одного отступника; и это, говорит Лингард, «есть, я полагаю, первый пример уголовного наказания в Англии по поводу религии».

² «Земля— все в этой системе... Феодальная система есть как бы религия земли» (*Мишле*). «Отличительной чертой феодализма было преобладание *вещности* над *личностью*, земли — над человеком» (*Эшбах*).

³ Согласно социальному и политическому устройствам, введенным с IV по X столетие, духовенство составляло такой исключительный класс общества, который не нес «государственных тягостей» и не был обязан военной службой, если сам не желал ее. Но во время феодальной системы эта привилегия была утрачена и различие классов в отношении к отправлению разных повинностей не допускалось. «После установления феодального строя мы не встречаем никаких исключений в пользу духовных ленов» (*Галлам*). «От переворота, образовавшего феодальное устройство, выиграл лично каждый вельможа-мирянин; но епископы

и аббаты, сделавшись сюзеренами в своих землях, напротив того, много проигрвали относительно своей власти и своего достоинства» (*Мабли*).

⁴ Великая перемена — превращение пожизненных владений земель в наследственные — началась в конце IX столетия; во Франции ей было положено начало капитулярием Карла Лысого в 877 г.

⁵ Ибо, как говорит Лерминье, «феодалный закон есть не что иное, как предоставление верховной власти земле». В Англии мы имеем один факт, указывающий на ранние захваты духовенством светского элемента, а именно, что до XII столетия мы не встречаем примера, чтобы государственная печать поручалась «хранению светского лица».

⁶ «Ни один подданный в Англии не пользовался правом чеканить монету без королевского штемпеля и надзора — замечательное доказательство того, что в Англии феодальную аристократию всегда держали в узде» (*Галлам*).

⁷ Относительно общего вопроса о смешении рас мы имеем ясные указания трех родов:

Во-первых, к концу XII столетия, вследствие слияния языков норманнского и саксонского, начинает образовываться новый язык, и собственно английская литература появляется в начале XIII столетия.

Во-вторых, мы находим прямое указание одного писателя в царствование Генриха II: «Так перемешаны обе народности, что ныне едва ли можно различить — я говорю о свободных людях, — кто англичанин, а кто норманн по происхождению».

В-третьих, в конце XIII столетия разница в одежде, которая при этом состоянии общества переживает многие другие различия, не была заметна, и особенностями норманнского и саксонского народов исчезли.

⁸ «Равномерное распределение гражданских прав между всеми классами свободных людей составляет особенную прелесть хартии» (*Галлам*).

⁹ «Его должно почитать, как основателя представительной системы управления в Англии» (*Кэмбелл*). Некоторые писатели полагают, что горожане были призваны в парламент раньше царствования Генриха III; но это предположение не только не подтверждается доказательствами, но даже само по себе не правдоподобно; ибо в первое время горожане, несмотря на быстрое возрастание их силы, едва ли имели такое значение, которое оправдывало бы подобную меру. Лучшие авторитеты в настоящее время относят происхождение нижней палаты к упомянутому нами периоду.

¹⁰ Копигольдерами были первоначально несвободные крестьяне, пользовавшиеся участками земли в поместьях баронов; с течением времени за крестьянами эти участки были закреплены по праву давности, которое доказывалось копиями со списков таким участковым владельцам (*The copies of the Court-rolls*). *Примеч. перев.*

¹¹ История упадка класса английских мелких землевладельцев (*yeomanry*), некогда одного из значительнейших классов в государстве, есть весьма интересный предмет, и притом один из тех предметов, для которых я собрал довольно много материалов; в настоящее время я скажу только, что упадок этого класса впервые ясно замечается во второй половине XVII столетия; он упал окончательно вследствие быстрого возрастания в начале XVII столетия могущества коммерческого и мануфактурного классов. Потеряв свое влияние, землевладельцы уменьшались в числе и были вытеснены из своего места другими корпорациями, которые менее имели предрассудков и потому более подходили к новой форме,

принятой обществом в последнее столетие. Я говорю об этом потому, что некоторые писатели сожалеют о совершенном исчезновении мелких землевладельцев (yeomen freeholders), забывая тот факт, что они исчезли не вследствие бурного переворота и не действием произвольной власти, а просто по общему ходу дел; общество устраняет то, в чем более не нуждается.

¹² Об этом говорят как о несомненном факте французские писатели, жившие в различные периоды и имевшие различные убеждения; все согласны, что во Франции было только два деления общества, «так как во Франции всякий или дворянин, или простолюдин, а середины нет». Кто не назывался маркизом, бароном, графом и кавалером, тот был простолюдин, виллан, темный человек, сволочь и т. п. (*Мерсье*).

¹³ «Генеральные штаты внесены в список наших учреждений. Я не знаю, однако, можно ли дать это имя таким неправильным собраниям» (*Монтлозье*). «Во Франции Генеральные штаты во время наибольшего их блеска, т. е. в XIV веке, были не что иное, как случайности — народная власть, часто призываемая, но не конституционное учреждение» (*Гизо*).

¹⁴ Так как некоторые писатели-юристы смотрят на эту систему слишком легко, то не мешает определить настоящее значение ее.

Булвер, например, говорит: «Община не только не имеет права без согласия министра или его чиновников определить свои собственные расходы, но не может даже выстроить здания и утвердить на него смету без того, чтобы план его не был одобрен департаментом публичных работ, который находится в зависимости от центральной власти и заведует и распоряжается всеми общественными постройками во всем королевстве».

Токвиль в 1856 г. писал: «При старом порядке, как и в наше время, не было во Франции города, местечка, деревни, мызы, госпиталя, фабрики, монастыря, училища, которые могли бы независимо распоряжаться в своих частных делах или управлять по своей воле своим имуществом. Тогда, как и теперь, администрация держала Францию под опекой, и хотя это дерзкое слово еще не было произнесено, но зато самая вещь уже существовала».

¹⁵ Число гражданских чиновников во Франции, которые получают жалованье от правительства, превосходит всякое вероятие; в различные периоды нынешнего столетия их насчитывали от 138 000 до 800 000.

¹⁶ Один замечательный французский писатель сказал: «Франция страдает болезнью века — и страдает более всякой другой страны; болезнь эта — ненависть к власти» (*Custine. Russie. Vol. II. P. 136*).

¹⁷ Мы должны приписать деятельности духа покровительства и централизации то, что тридцать лет тому назад было замечено известным авторитетом как «недостаток самодеятельности, характеризующий учреждения современной Франции» (*Meyer. Instit. Judic. Vol. IV. P. 536*). Это же располагает их в литературе и в науке к учреждению академий, и, вероятно, тому же самому принципу обязаны французские юристы своей любовью к кодификации. Все это признаки нежелания довериться общему ходу дел и несправедливого презрения к выгодам, делаемым частным лицом, без посторонней помощи.

¹⁸ Сэр Томас Смит, писавший около 1550 г., заявляет, что он никогда не встречал ни одного личного или дворового раба и что крепостные или рабы, приписанные к земле, которых еще можно было найти, так малочисленны, что об этом почти не стоит упоминать. Галлам не мог отыскать «несомненного доказательства существования крепостного состояния» позже 1574 г. Однако — если

мне не изменяет память — я нашел признаки его в царствование Якова I, но не могу вспомнить, в каком именно месте.

¹⁹ Так глубоко вкоренились подобные чувства, что даже в 1789 г., в самый год разгара революции, считалось за уступку со стороны дворян, если они согласятся в самом деле на уравнильное обложение податями.

²⁰ «Старый порядок допускал только дворян быть офицерами» (*Ролан*).

²¹ Соединение рыцарства с религиозными обрядами часто приписывается крестовым походам, но есть ясные доказательства, что оно получило начало несколько ранее и должно быть отнесено к последней половине одиннадцатого столетия. Высшее духовенство имело право посвящать в рыцари, и Вильгельм Рыжий был действительно посвящен в рыцари архиепископом Ландфранком.

²² Около 1127 г. св. Бернард написал речь в защиту рыцарей [ордена] храмовников, в которой «он превозносит этот орден, как соединение монашества с рыцарством... Он утверждает, что цель этого учреждения — дать военному ордену и рыцарству серьезное христианское направление и превратить войну в нечто угодное Богу». К этому можно прибавить, что в начале тринадцатого столетия образовалась рыцарская община, которая превратилась впоследствии в орден доминиканцев, названный воинством Христа: «Новый орден рыцарства, предназначенный для преследования еретиков, наподобие ордена храмовников и под именем Христова ополчения».

²³ Некоторые писатели приписывают рыцарству честь смягчения нравов и доставления большого влияния женщинам. Что было такое стремление, это, я думаю, бесспорно; но его слишком уже преувеличивают. Один писатель, много писавший об этих предметах, говорит: «Суровое обращение с военнопленными в прежние времена резко указывает на жестокость и грубость нравов наших предков; таково было обращение даже с женщинами высшего круга, несмотря на почтение, которое, как говорят, оказывалось прекрасному полу в дни рыцарства».

²⁴ Галлам говорит: «Можно сделать третий упрек рыцарству за то, что оно увеличило расстояние между различными классами общества и закрепило аристократический взгляд на знатность рождения, вследствие которого огромная масса человечества осталась в несправедливом унижении».

²⁵ Это не есть только народное мнение; оно основано на множестве доказательств, собранных сведущими и беспристрастными наблюдателями. Аддисон, судья столько же снисходительный, сколько и умный, живший долго среди французов, называет их «тщеславнейшим народом в свете». Наполеон говорит, что «тщеславие есть руководящее начало французов». Дюмон говорит, что «господствующая черта французского характера есть самолюбие»; а Сегюр — «ибо во Франции самолюбие, или, пожалуй, тщеславие, самая раздражительная из всех страстей». Сверх того известно, что и френологические наблюдения доказывают, что французы тщеславнее англичан.

²⁶ Отношение между дуэлью и рыцарством было хорошо определено многими писателями; во Франции, где дух рыцарства не был совершенно уничтожен до самой революции, мы находим по временам следы такой связи даже в царствование Людовика XVI. В Англии, я полагаю, не было ни одного примера частной дуэли ранее XVI столетия, и вообще их было немного до второй половины царствования Елизаветы; но во Франции обычай этот возник в самом начале XV столетия, а в XVI вошло в обыкновение, чтобы секунданты тоже дрались между собой. С этого времени склонность французов к дуэли делается чистой страстью, и это продолжается до конца XVIII столетия, когда революция

или скорее обстоятельства, которые вели к ней, произвели относительное прекращение дуэлей.

²⁷ Кларендон замечает с большой досадой, но совершенно справедливо связь между «гордым, ожесточенным отвращением к дисциплине английской церкви и мало-помалу дошедшим до той же степени неуважением к самому правительству». Испанское правительство, быть может, лучше всякого другого в Европе поняло это соотношение, и даже в самом 1789 г. эдиктом Карла IV было объявлено, «что во всем, что направлено или способствует к распространению революционных идей, заключается также и преступление ереси».

²⁸ Одним из обвинений, которые в 1558 г. Сикст V публично высказывал против Елизаветы, было, что «она отвергла и удалила от себя старинное дворянство, а возвысила людей темных». Персонс также попрекает ее низкорожденными министрами и говорит, что она находится под влиянием «особенно пяти лиц — все они вышли из массы — это Бэкон, Сесил, Дёдлей, Гаттон и Валсингем». Кардинал Аллен порицал ее за «немилость к старинному дворянству, за возведение во все гражданские и церковные звания низких и недостойных людей», прибавляя, что Елизавета оскорбила Англию «великим пренебрежением и унижением старинного дворянства, которое она устраняла от участия в управлении, от должностей и почетных мест».

²⁹ Для историка-философа это восстание, хотя не достаточно оцененное обыкновенными писателями, представляет весьма важный предмет изучения, потому что это последняя попытка знатных английских фамилий восстановить свое значение силой оружия.

Сэр Джордж Боуз (Bowes) пишет, что инсургенты жаловались на то, что «были некоторые члены совета, которые, пресмыкаясь перед королевой, отстранили от нее дворянство» и т. п. Издатель в примечании говорит, что это было одним из обвинений, вошедших во все прокламации графов.

ГЛАВА X

¹ Сент-Олер в своей «Истории Фронды» говорит, что цель фрондеров была «ограничить королевскую власть, освятить начала гражданской свободы и поручить охранение ее государственным собраниям». Жоли, весьма недовольный этим стремлением, жалуется, что в 1648 г. «народ незаметно наталкивался на опасное соображение: что естественно и позволительно защищаться и вооружаться против насилия властей». В числе непосредственных целей Фронды было: уменьшить подати и достигнуть издания закона, которым бы воспрещалось держать кого-либо более 24 часов в тюрьме, «не предавая в руки парламента для начатия процесса, если подозреваемый оказался бы виновным, или для освобождения его, если он невинен».

² Я употребляю слово «парламент» в смысле, принятом писателями того времени, а не в истинном значении этого слова.

³ Доктор Бэтс, бывший врачом Кромвеля, намекает, что это было предвидено с самого начала. Он говорит, что народная партия предложила начальство некоторым из дворян «не потому, чтобы она питала какое-либо уважение к лордам, которых она имела намерение вскоре удалить и сравнять с коммонерами, но для того, чтобы отравить их их же собственным ядом и достигнуть большего значения, привлекая побольше людей на свою сторону». Лорд Норт также предполагает, что почти непосредственно после начала войны было решено

распустить палату лордов. Я не знаю другого прямого и раннего свидетельства об этом, кроме слов, сказанных, как утверждают, Кромвелем в 1664 г.: «В Англии до тех пор не будет хорошего времени, пока мы не покончим с лордами».

⁴ Некоторые из неловких панегиристов Кромвеля хотят отвергнуть тот факт, что он был пивоваром; но что он действительно занимался этим полезным ремеслом—это подтверждается разными доказательствами и положительным свидетельством собственного врача его, доктора Бэтса.

⁵ Уокер, рассказывающий то, чему он сам был очевидцем, говорит, что в 1649 г. армией командовали полковники и старшие офицеры, разъезжавшие бaramи в позолоченных каретах, в богатой одежде и дававшие дорогие пиры, между тем как некоторые из них прежде правили ломовыми лошадьми, носили кожаные фартуки и никогда не могли назвать своих отцов или матерей. Когда Вайтлокк был в 1653 г. в Швеции, претор одного из городов, браня парламент, сказал, «что он представляет сборище портных и штопальщиков».

⁶ Даже де Рец, который тщетно пытался образовать народную партию, нашел, что ничего нельзя предпринять без дворян, и, несмотря на свои демократические тенденции, счел за более благоразумное «стараться втянуть в общественные интересы знатных лиц».

⁷ Мабли откровенно говорит: «Пример знатных всегда был заразительнее у французов, чем где-либо». «Никогда пример знатных не был так заразителен в других странах, как во Франции; как будто они имеют злополучную привилегию все оправдывать». Ривароль, хотя его мнения относительно других вопросов совершенно противоположны Мабли, тоже говорит, что во Франции «дворянство в глазах народа есть своего рода религия, в которой дворяне суть жрецы». Французская революция или скорее обстоятельства, вызвавшие ее, совершенно уничтожили это поклонение.

⁸ Герцог де Ларошфуко откровенно сознается, что в 1649 г. дворяне начали междоусобную войну с «тем большим жаром, что это было новостью». Также Лемонте говорит: «Древнее дворянство, которое только и умело, что сражаться, вело войну из охоты, из нужды, из тщеславия и от скуки».

⁹ Отсюда произошло название герцогинь «*femmes assises*», а дам низшего звена — «*non assises*».

¹⁰ Нововведение это имело весьма серьезные последствия, и Таллеман де Рео, упоминая об одной знатной даме, говорит: «Чтобы удовлетворить ее честолюбие, ей нужен был табурет; она интригует, чтобы выйти замуж за старого Буйон-Ламарка, вдовца от второго брака». Это ей не удалось; но, решившись не дать себя в обиду, «она не унывает и, желая во что бы то ни стало добиться табурета, выходит замуж за старшего сына герцога де Виллара, смешного и телом, и умом: он горбат и почти полоумный, а в довершение всего и нищий». Это грустное событие случилось в 1649 г.

¹¹ Длинный рассказ об этих спорах, находящийся в «Мемуарах» Моттвилль, доказывает, какую важность придавало им современное общественное мнение.

¹² Этот запутанный вопрос решен был в пользу герцога Йоркского, которого в 1649 г. королева «приняла с большим почетом и дала ему стул с ручками». В комнате короля дело это было, по-видимому, устроено иначе; ибо Омер Талон говорит нам, что «герцог Орлеанский не имел кресла, а простой складной стул, потому что мы были в комнате короля». В следующем году—дело было уже не в комнате короля—тот же писатель представляет «герцога Орлеанского сидящим в кресле». Вольтер говорит: «Кресло с ручками, стул со спинкою, табурет,

правая рука и левая рука были в течение многих веков важными предметами политики, главными причинами распрей».

¹³ Ленэ, большой поклонник аристократии, рассказывает в своих «Мемуарах» все эти вещи без малейшего сознания их нелепости. Не могу не упомянуть об одном ужасном споре, бывшем в 1652 г. по поводу признания справедливости притязаний герцога де Рогана о месте на первой скамье при «Te Deum», и о другом споре, возникшем в царствование Генриха IV, должен ли герцог подписывать-ся выше маршала, или же маршал — выше герцога.

¹⁴ Это затруднение в 1652 г. сделалось причиной жестокой ссоры, окончившейся дуэлью, в которой герцог де Немур был убит, как говорит большая часть современных писателей.

¹⁵ Поншартрен, один из государственных министров, пишет под годом 1620-м: «В то же самое время шел весьма жаркий спор между принцем Конде и графом Суассонским по поводу того, что каждый из них утверждал, будто он должен подавать салфетку королю, когда они оба окажутся при его величестве». Левассер, который сообщает более подробные сведения, говорит: «Каждый из двух принцев крови, сильно разгорячившись по поводу того, кому из них исполнять обязанности метрдолтеля, тянул салфетку в свою сторону, и спор этот возрос до таких размеров, что мог иметь печальные последствия». Но когда вмешивался в это дело король, «то они вынуждены были уступить, не без того, однако, чтобы не наговорить друг другу громких слов угрозы».

¹⁶ По словам одного авторитета, человек должен был быть герцогом для того, чтобы жена его могла касаться белья королевы; по другим же свидетельствам, каждая статс-дама, кто бы она ни была, имела это право, разве что случалась тут же принцесса. О двояком толковании этого права и о возникавших из него затруднениях см. «Мемуары» Сен-Симона.

ГЛАВА XI

¹ Относительно постыдного раболепства самых замечательных людей между литераторами см. «Людовик XIV» Капфига; о настроении же нации Левассер, писавший в конце царствования Людовика XIV, с горечью говорит: «Французы, привыкшие к рабству, даже не чувствуют тяжести своих цепей». Иностранцы также удивлялись такому всеобщему и — еще более — такому добровольному раболепству. Лорд Шефтсбери в письме, написанном в феврале 1704 или 1705 г., высказывает пламенные похвалы гражданской свободе и вслед за тем присовокупляет: во Франции «такие речи едва ли кому-нибудь понятны; ибо хотя и встречаются изредка некоторые проблески, но я не знал ни одного француза, который был бы в душе свободный человек». В том же году Дефо сказал то же самое о французских дворянах, а Аддисон в 1699 г. написал из Блуа письмо, поразительно изображающее унижение французов, где он говорит «о грубой и в прежних веках беспримерной лести, до которой дошли французы в прославлении своего короля».

² Вольтер говорит, что протестанты, оставшиеся твердыми в своей религии, «были выдаваемы солдатам, которым позволено было делать с ними все, что угодно, только не убивать их. Впрочем, некоторые лица были так жестоко истерзаны, что умерли от этого». И Бернет, бывший во Франции в 1685 г., говорит: «Все мы устремились на то, чтобы изобретать новые способы истязаний». В чем заключались некоторые из этих способов, я здесь намерен рассказать,

потому что эти свидетельства хотя чрезвычайно прискорбны, но необходимы для того, чтобы дать нам возможность верно понять царствование Людовика XIV. Необходимо, чтобы покров был разорван и чтобы ложная деликатность, стремящаяся скрыть подобные факты, умолкла перед обязанностью историка выставлять на всеобщее презрение и клеймить всенародным позором духовенство, возбуждавшее к этим мерам государя, который приводил их в действие, и век, дозволивший совершение подобных злодеяний.

Два первоначальные источника, из которых мы почерпаем сведения об этих событиях, суть: «Quick's Synodicon in Gallia», 1692, folio, и *Benoist. Histoire de l'Edit de Nantes. 1695. 4-о.* Из этих сочинений мы берем на выдержку следующие известия о событиях во Франции в 1685 г.: «Затем они (солдаты) нападали на самую личность протестантов, и нет того злодейства, как бы оно ужасно ни было, которого бы они не употребляли в дело, чтобы вынудить протестантов к перемене религии... Они связывали их, как преступников, подвергаемых пытке, и в этом положении, вставивши им в рот воронку, лили им в горло вино до тех пор, пока пары его не лишат их рассудка и пока они в этом состоянии не изъявят согласия сделаться католиками; некоторых они раздевали донага и, подвергнув тысяче унижений, обкалывали булавками с ног до головы, резали их перочинными ножами, брали их за нос раскаленными щипцами и таким образом таскали по комнатам, пока они не обещают переменить религию или пока болезненные крики несчастных жертв, вопиющих к Богу о милости, не вынудят мучителей оставить их в покое... В некоторых местах они привязывали отцов и мужей к кроватям и в присутствии их бесчестили жен и дочерей... У других они вырывали ногти на руках и ногах, что должно производить невыносимую боль. Нередко посредством мехов надували мужчин и женщин до того, что они чуть не лопались. Если же такие ужасные терзания не могли вынудить протестантов нарушить требование совести и отступить от своей религии, то они заключали их в тесные и зловонные тюрьмы, в которых продолжали подвергать их всякого рода жестокостям» (Quick's Synodicon. Vol. I. P. CXXX, CXXXI). «Между тем войска производили везде неслыханные жестокости. Все было им позволено, кроме убийства. Иногда они заставляли своих хозяев плясать, пока не упадут без памяти, других подкидывали на простынях до изнеможения. Некоторым лили в рот кипяток. Многих били палками по подошвам, чтобы узнать, действительно ли это мучение так ужасно, как говорят путешественники. Другим вырывали бороды по одному волоску. Некоторые из солдат обжигали свечой волосы на руках и ногах своих хозяев. Другие жгли порох около самого лица сопротивлявшихся протестантов, так что он обжигал им всю кожу. Иным клали горячие уголья в руки и заставляли держать их сжатыми, пока уголья не погаснут... Многим обжигали ноги, держа их долгое время перед сильным огнем, или прикладывали к подошвам раскаленные лопаты; или же надевали им на ноги сапоги, наполненные салом, которое потом растапливали и понемногу доводили до кипения над горящей жаровней» (*Benoist. Histoire de l'Edit de Nantes. Vol. V. P. 887, 889*). Одного из протестантов, по имени Рио (Riau), они «крепко связали, защемили ему пальцы, загоняли ему булавки под ногти, жгли в ушах его порох, протыкали ему в нескольких местах ляжки и лили в раны уксус и сыпали соль. Такими терзаниями они в два дня истощили его терпение и вынудили его переменить религию» (p. 180). «Драгуны везде действовали одинаково. Били, доводили до беспамятства, жгли в Бургундии так же, как и в Пуату, Шампани, как и в Гиени, в Нормандии, как и в Лангедоке. Женщинам они не оказывали ни

большого уважения, ни большого милосердия, чем мужчинам. Напротив, они употребляли во зло нежную стыдливость, составляющую одну из принадлежностей женского пола, и пользовались ею для нанесения женщинам чувствительнейших оскорблений. Иным они поднимали юбки на голову и обливали их ведрами воды. Многих солдаты раздевали до рубашки и заставляли в этом виде плясать с ними... Двух девиц из Кале, по имени ле Нобль, совсем нагих разложили на мостовой, и в этом виде они подвергались насмешкам и оскорблениям прохожих... Драгуны привязали г-жу де Везансэ к ее кровати и, когда она открывала рот, чтобы сказать слово или вздохнуть, плевали ей в рот» (с. 891, 892). На с. 917 описываются другие, еще более ужасные подробности о том, как было поступаемо с женщинами; от выписывания этих вещей здесь меня удерживает не стыд, а негодование. Стыд падает только на ту церковь и на то правительство, под соединенной властью которых такие постыдные оскорбления могли быть наносимы людям — и притом с единственной целью принудить их к перемене религиозных убеждений.

³ В донесении, представленном Наполеону французским Институтом, сказано о царствовании Людовика XIV: «Точные и естественные науки весьма мало разрабатывались во Франции в этом веке, находившем, по-видимому, интерес только в литературе». Лакретель в «Dix-huitième Siècle» выражается так: «Франция, произведя Декарта и Паскаля, в продолжение некоторого времени не могла, подобно другим нациям, похвалиться ни одним творческим дарованием в области наук».

⁴ В конце XVII столетия один писатель сказал довольно наивно: «Нынешний французский король слывет покровителем по всем отраслям знания даровитых людей, могущих содействовать его прославлению».

⁵ «Principia» Ньютона явились в 1687 г., а в 1732 г. Мопертюи был первым французским астрономом, предпринявшим критическую защиту теории тяготения. В 1738 г. Вольтер писал: «Франция — доныне единственная страна, где теории Ньютона по предмету физики и Бозргава по медицине еще оспариваются. У нас вовсе нет хорошей элементарной физики, а единственный наш курс астрономии — книга Биона, которая есть не что иное, как безобразная компиляция из разных записок академии» («Correspond». — «Oeuvres de Voltaire». V. LVII. P. 340). Позднее принятие Францией ньютоновских открытий тем более замечательно, что многие из выводов, к которым пришел Ньютон, были обнародованы еще прежде, чем он изложил их в «Principia», а исследования его о законах тяжести начались в 1666 и, может быть, даже осенью 1665 г.

⁶ Несмотря на сильное предубеждение, существовавшее тогда против англичан, Беттерфилд имел заказы от короля и от всех принцев. Фонтенель упоминает о Любэне как об одном из самых знаменитых инструментальных мастеров в Париже в 1687 г., но забыл упомянуть о том, что он был также англичанином. Также и в отношении производства часов громадное преимущество английских мастеров в конце царствования Людовика XIV было неоспоримо.

⁷ Мануфактуры были более направлены к блестящему, чем к полезному. Постановлением, изданным в марте 1700 г., старались даже уничтожить или по крайней мере значительно стеснить машинное производство чулок. Но, несмотря на это ложное направление, производство предметов самой изысканной роскоши делало весьма медленные успехи. В 1687 г. после смерти Кольбера двор еще должен был прибегать к промышленности варварских народов и заказывал шитье для самых блестящих камзолов в Константинополе. Лемонте

говорит, что в продолжение последних тридцати лет царствования Людовика XIV «мануфактуры приходили в упадок».

⁸ Кювье следующим образом описывает положение Франции семь лет только спустя после смерти Людовика XIV: «Наши железные заводы были еще в состоянии младенчества; стали мы еще вовсе не производили; все орудия, нужные для разных ремесел, получались из чужих краев... Мы также не делали и жести, а выписывали ее из Германии».

⁹ «Самым знаменитым хирургом шестнадцатого столетия был Амбруаз Паре... Со времени Паре до начала восемнадцатого века хирургией весьма мало занимались во Франции. В продолжение восемнадцатого века Франция произвела двух хирургов, отличавшихся необыкновенными способностями, это были Пети и Дезо» (Bowman's Surgery Encyclop. of Medical Sciences).

¹⁰ На это мы находим множество жалоб со стороны иностранцев, посещавших Францию. Я приведу свидетельство одного известного лица. В 1699 г. Аддисон писал из Блуа: «Я имел дело с одним из здешних врачей, которые берут так же дешево, но вместе с тем и так же невежественны, как наши английские конювалы».

¹¹ Действительно, Франция была последним из великих государств Европы, в котором учреждена была кафедра клинической медицины.

¹² Буйо в своем обзоре положения медицины в семнадцатом столетии не упоминает за весь этот период ни об одном французе (*Bouillaud. Philosophie Medicale*). В продолжение многих лет владычества Людовика XIV во французской академии был только один анатом, Дюверне; и о нем весьма немногие из лиц, изучавших физиологию, что-либо знают.

¹³ После Бёлона во Франции ничего не было сделано по естественной истории царства животных до 1734 г., когда явился первый том великого труда Реомюра.

¹⁴ Этот замечательный человек был первым философом-химиком, которого произвела Европа, предусматривавшим еще в 1630 г. многие из обобщений, до которых сто пятьдесят лет позже достиг Лавуазье.

¹⁵ Кювье говорит о Рэе: «Сочинение его подверглось полнейшему забвению», а в другом месте: «Прошло уже более сорока лет с тех пор, как Беккер представил свою новую теорию, которая была развита Шталем, еще более прошло времени с тех пор, как были обнародованы опыты Бойля о пневматической химии, а между тем из всего этого ничего еще не входило в преподавание химии, по крайней мере во Франции».

¹⁶ Самые замечательные из нынешних обобщений законов питания сделаны Шеврелем.

¹⁷ Брунфельс в 1530 г. и Фукс в 1542 г. были первыми из писателей, наблюдавших растительное царство самостоятельно, вместо того чтобы повторять то, что сказали древние.

¹⁸ Дреббель показывал в Лондоне микроскоп около 1620 г., и это было, по-видимому, первым несомненным примером его употребления, хотя некоторые писатели и утверждают, будто он был изобретен в начале семнадцатого века или даже в 1590 г.

¹⁹ В июле 1765 г. он писал из Парижа к своему отцу: «Лекции о растениях здесь состоят только в перечислении их с означением нужного для них числа градусов тепла и холода, а иногда и употребления их в медицине,—едва ли более того, что можно найти в каждом гербариуме».

²⁰ Кювье, говоря о том, что понятия Турнефора были гораздо ниже воззрений его предшественников, приводит в пример то, что «он отверг мысль о полах растений». Этот ботаник полагал, что плодотворная пыль есть не что иное, как испражнение (Pulteney's Progress of Botany. Vol. I. P. 340).

²¹ Относительно принятого Турнефором метода деления растений по форме цветочной чашечки Кювье с холодной иронией говорит: «Вы видите, господа, что этот метод имеет преимущество совершеннейшей ясности, что он основывается на форме цветков, следовательно, на данных, весьма удобных для усвоения... Успех метода зависит оттого, что Турнефор к сочинению своему присовокупил рисунки цветов и плодов по каждому из установленных им делений». Но даже и это, как утверждают, сделано у него довольно небрежно, так как он описал «множество растений, которых он никогда не рассматривал и даже не видал».

²² Самые лучшие из картин его были написаны от 1640 до 1660 г., а умер он в 1682 г.

²³ Рейнолдс, по-видимому, предпочитал его всем художникам французской школы, а в записке, представленной Наполеону Институту, он один из французских живописцев упомянут наряду с греческими и итальянскими художниками.

²⁴ В «Oeuvres de Voltaire», V. XIX. P. 200, он назван «отцом истинной музыки во Франции». Людовик XIV сильно восхищался им.

²⁵ «Когда Людовик XV вступил на престол, то живопись во Франции находилась на самой низшей ступени» (леди *Морган*). Лакретель в «Dix-huitième Siècle» говорит: «Изящные искусства в течение второй половины царствования Людовика XIV еще заметнее пришли в упадок, чем литература... достоверно, что в последние двадцать пять лет царствования Людовика XIV явились лишь весьма второстепенные произведения» и т. д. Баррингтон в «Observations on the Statutes» также говорит: «Весьма замечательно, что со времени учреждения Людовиком XIV академий в Риме и в Париже, стоивших огромных сумм, французская школа не произвела ни одного особенно замечательного живописца».

²⁶ «Полиевкт», составляющий, может быть, самое великое из его произведений, вышел в 1640 г., «Медея» — в 1635-м, «Сид» — в 1636-м, а «Гораций» и «Цинна» — в 1639-м.

²⁷ Чтобы убедиться в упадке Франции и совершенном истощении ее сил в последние годы царствования Людовика XIV, стоит только заглянуть в мемуары того времени. В «Неизданных письмах» мадам Ментенон и во множестве других мест вполне подтверждается то же самое; сверх того, доказывается, что в Париже в начале восемнадцатого века средства даже самых богатых сословий начали истощаться, между тем как кредит и государственный, и частный был потрясен до такой степени, что нельзя было найти денег ни на каких условиях. В 1710 г. госпожа де Ментенон, жена Людовика XIV, жалуется, что она иногда не может занять 500 ливров: «Весь мой кредит нередко оказывается недостаточным для того, чтобы добыть от г. Демаре пятьсот ливров». В 1709 г. она пишет: «Игра становится очень скучным делом, потому что денег почти совсем нет»; «не изобилие в деньгах, а корыстолюбие заставляет наших придворных играть — они рискуют всем, чтобы только добыть сколько-нибудь денег, и столы, за которыми играют в ланскнехт, более похожи на место какой-то жалкой торговли, чем на место развлечения».

Относительно самого народа мы находим весьма мало сведений у французских писателей, потому что в это время они были слишком заняты своим великим

королем и своей блестящей литературой, чтобы обращать внимание на интересы простого народа.

Но я собрал из других источников некоторые сведения, которые здесь и представлю.

Локк, путешествовавший по Франции в 1676 и 1677 гг., пишет в своем дневнике: «Рента с земель во Франции в эти годы понизилась наполовину, вследствие бедности народа». Около того же времени сэр Уильям Темпл писал: «Французские крестьяне совершенно убиты работой и нуждой». В 1691 г. другой путешественник (Бёртон) на пути из Кале писал: «На пути отсюда до Парижа я имел возможность вполне удостовериться в том, до какой страшной бедности честолюбие и самовластие тирана могут довести богатую и плодородную страну. Видны были все признаки возрастающей бедности — все печальные атрибуты крайнего бедствия. Поля были не обработаны, деревни опустели, дома разваливались».

В одном трактате, изданном в 1689 г., автор говорит: «Я видел во Франции много примеров, что бедные люди продавали свои постели и спали на соломе, продавали свои горшки, кастрюли и всю необходимую домашнюю утварь — для того, чтобы удовлетворить немилосердного сборщика королевских податей». Д-р Листер, посетивший Париж в 1698 г., говорит: «Во всех частях этого города так много бедных, что, едешь ли в экипаже или идешь пешком, находишься ли на улице или даже в лавке, везде одинаково невозможно заняться своим делом вследствие докучливости нищих». Аддисон, который по личным наблюдениям хорошо знал Францию, пишет: «Мы думаем здесь, как и вы в нашем краю, что Франция находится при последнем издыхании». Наконец, в 1718 г., т. е. через три года после смерти Людовика XIV, леди Монтегю сообщает следующие сведения о результатах его царствования в письме к леди Бич из Парижа от 10 октября 1718 г.: «Я полагаю, что нет ужаснее зрелища, как вид человеческой нищеты — если только не имеешь Божеской власти помочь ей, а между тем все деревни во Франции только это зрелище и представляют. Пока перепрягут почтовых лошадей, все население сбегается просить милостыню, и у всех людей такие жалкие, изнуренные лица и такая нищенская, оборванная одежда, что им не нужно другого красноречия, чтобы убедить вас в бедственности своего положения».

ГЛАВА XII

¹ «В день погребения Людовика XIV устроены были кабачки по дороге в Сен-Дени. Вольтер, отправившись из любопытства на похороны короля, увидел в этих кабачках народ, упоенный вином и радостью по случаю смерти Людовика XIV» (*Дюверне*).

² Толчок, сообщенный этими событиями деликатности французского ума, был очень силен. Ученый Сомэз объявил, что англичане «более дики, чем их собственные дворовые собаки». Другой писатель сказал, что англичане — «возмутившиеся варвары» и «варварские подданные короля». Патэн уподобил нас туркам и сказал, что, казнив одного короля, мы, вероятно, повесим другого. После того как мы удалили из Англии Якова II, негодование французов зашло еще далее, и даже любезная госпожа де Севинье, упомянув при одном случае о Марии, супруге Вильгельма III, не нашла для нее лучшего имени, как Туллия. Другая влиятельная французская дама (Ментенон) тоже говорит о «хищности

англичан», а в другом месте восклицает: «Я ненавижу англичан как народ... Я, право, терпеть их не могу».

Я приведу еще только два примера чрезвычайного распространения этих чувств. В 1679 г. сделана была попытка вывести из употребления хинную корку как «лекарство английское», а в конце XVII столетия в Париже одним из аргументов против кофе было то, что его любят англичане.

³ «Во время Буало во Франции никто не учился английскому языку» (*Вольтер*). Среди «наших великих писателей XVII столетия нет, кажется, ни одного, у которого можно было бы заметить какой-нибудь след, какой-нибудь отпечаток английского ума» (*Вильмен*).

Французы в царствование Людовика XIV знали нас главнейшим образом по сведениям, сообщенным двумя соотечественниками их — Монконисом и Сорбиером, которые оба издали свои путешествия по Англии, но из которых ни один не знал английского языка.

Когда Прайор приехал ко двору Людовика XIV в качестве уполномоченного, то никто во Франции не знал, что он писал стихи, а когда Аддисон в бытность свою в Париже подарил Буало экземпляр «*Musae Anglicanae*», то француз этот в первый раз узнал, что мы имеем хороших поэтов: «В первый раз получил понятие об английском даровании в поэзии». Наконец говорит, что Мильтонов «Потерянный рай», даже по слухам, не был известен во Франции до самой смерти Людовика XIV, несмотря на то что поэма эта была издана еще в 1667 г., а король умер в 1715-м: «Мы никогда ничего не слыхали об этой поэме во Франции до тех пор, пока творец «Генриады» не дал нам о ней понятия в своем опыте об эпической поэзии» (*Вольтер*).

⁴ «Истинный король XVIII столетия — это Вольтер; но Вольтер в свою очередь — ученик Англии. До тех пор, пока Вольтер не ознакомился с Англией, посредством ли путешествий или через свою дружбу с англичанами, — он не был Вольтером, и XVIII столетие еще отыскивалось» (*Кузен*).

⁵ «Я, — говорит Вольтер, — был первый, который осмелился изложить моей нации открытия Ньютона понятным языком». После этого картезианские физики с каждым днем все более и более теряли почву, и в переписке Гримма есть одно письмо, писанное из Парижа в 1757 г., в котором говорится: «Здесь нет уже более приверженцев Декарта, кроме Мэрана».

⁶ Которыми он не мог нахвалиться, так что, по словам Кузена, «Локк есть настоящий учитель Вольтера».

⁷ «Руссо почерпнул из сочинений Локка значительную часть своих идей о политике и воспитании, а Кондильяк — всю свою философию» (*Вильмен*).

⁸ В 1668 г. Вольтер пишет к Горасу Вальполю: «Я первый познакомил французов с Шекспиром».

⁹ Сохранилось еще много английских писем, писанных Вольтером; в них, конечно, встречаются ошибки, но они служат тем не менее полным доказательством того, до какой степени Вольтер усвоил себе особенности оборотов нашего языка.

¹⁰ Это именно разделение наших познавательных способностей (на память, разум и воображение), взятое Д'Аламбером у Бэкона.

¹¹ Герцог Орлеанский вынес, таким образом, вкус к свободе из лондонской жизни. Он привез оттуда во Францию привычки дерзкого обращения с двором, страсть к народным волнениям, презрение к своему собственному званию, короткость с толпой» и пр. (*Ламартин*. История жирондистов).

¹² Лерминье говорит об Англии: «Этот знаменитый остров дает Европе уроки политической свободы; он служил в этом отношении в XVIII столетии школой для всех мыслителей, каких только имела Европа».

¹³ Юм, который был знаком со многими из французских знаменитостей, посещавших Англию, говорит: «Ничто не может возбудить большее удивление в иностранце, как та чрезмерная свобода, какою мы пользуемся в нашей стране, относительно сообщения публике всего, что нам угодно, и открытого порицания всяких мер, принятых королем или министрами».

¹⁴ «Английская нация есть единственная нация на всей земле, достигшая ограничения власти королей путем сопротивления им» (*Вольтер*).

¹⁵ Дюверне, который писал на основании материалов, доставленных Вольтером и, следовательно, пользовался самым лучшим источником сведений, приводит образки утонченности чувств французского герцога в XVIII столетии. Он говорит, что прямо после того, как Роган публично нанес Вольтеру это оскорбление, «Вольтер возвращается в отель, требует от герцога де Сюдли, чтобы он принял эту обиду, нанесенную одному из его гостей, как причиненную ему самому, и просит его присоединиться к нему в преследовании этого оскорбления и пойти с ним к комиссару засвидетельствовать его показание. *Герцог де Сюдли во всем отказал*».

¹⁶ Негодование Вольтера проявляется во многих из его писем; он часто объявлял своим друзьям о своем намерении навсегда покинуть страну, где могли таким образом поступать с ним.

¹⁷ Все преступление, по словам Гримма, заключалось в том, «что янсенист осмелился напечатать, что Юлиан, ненавистный Отступник в глазах хорошего христианина, был, однако, человеком не без некоторых хороших качеств, если смотреть на него с светской стороны».

¹⁸ Вольтер пишет в 1743 г.: «Недавно посадили в Бастилию аббата Лангле за издание всем уже известных записок, служивших дополнением к истории нашего знаменитого де Ту. Неутомимый, несчастный Лангле оказал важную услугу добрым гражданам и любителям исторических изысканий. Он заслуживал награды, а его безжалостно сажают в тюрьму в семьдесят восемь лет».

¹⁹ Мармонтель говорит: «Кто знал Дидро только по его сочинениям, тот вовсе не знал его», разумея под этим, что его сочинения уступали его беседам. О его разговорном таланте упоминают даже Сегюр, который не любил его, и Жоржель, который ненавидел его.

²⁰ Издатель его перепiski говорит также, что он написал много писем к разным писателям, которые издали их под своим именем.

²¹ Это были его «*Pensées Philosophiques*», его первое оригинальное произведение, изданное в 1746 г., так как до того появлялись только его переводы с английского.

²² Дугальд Стюарт, собравший несколько важных данных об этом предмете, подтвердил многие из воззрений Дидро. С того времени обращено было еще большее внимание на воспитание слепых и было замечено, что особенно трудное дело — научить их правильно думать. Это говорит в пользу сметливости Дидро и свидетельствует также о невежестве преследователей, старавшихся положить конец подобным исследованиям, наказав их автора.

²³ Таким образом любопытство одерживает верх над деспотизмом. В 1767 г. один остроумный наблюдатель (Гримм) замечает: «Только и печатаются по несколько раз одни осужденные книги. Теперь, для того чтобы книга

хорошо расходилась, книгопродавец должен попросить судей предать ее сожжению».

²⁴ «В теперешнее время,—спрашивает Гримм,—кто из наших литераторов, имеющих какие-нибудь достоинства, не испытал более или менее ярость клеветы и преследования?» Это было написано в 1767 г.; в течение с лишком сорока предшествовавших лет мы находим подобные же отзывы; первый, который я встретил, был в письме к Тирию (1723), в котором Вольтер говорит: «Со дня на день все более и более увеличивалась строгость инквизиции над книжной торговлей».

²⁵ Мы должны также помнить, при каких обстоятельствах впервые послышалось это обвинение во Франции: «Упреки за разрушение всего, обращенные к философам XVIII столетия, начались с того самого дня, как оказалось во Франции правительство, желавшее восстановить злоупотребления, уничтожение которых было ускорено писателями того времени» (*Comte. Traité de Législation*).

²⁶ Свойства этой перемены и обстоятельства, при которых она совершилась, будут рассмотрены в последней главе настоящего тома; но что революционное движение, пока во главе его стояли Вольтер и его сподвижники, было направлено против церкви, а не против государства,—это замечено многими писателями; некоторые из них заметили также, что в самом начале второй половины царствования Людовика XV почва стала изменяться и впервые выказалось расположение нападать на политические злоупотребления. На этот замечательный факт указывали многие писатели, но никто из них не объяснил его.

²⁷ Не только политическая история Испании, но и ее литература представляют грустные примеры необыкновенной преданности испанцев своему правительству и пагубных последствий ее.

²⁸ Наше усиленное уважение к Альфреду в значительной мере происходит оттого, что мы вообще мало знаем о нем. Кроме того, оказывается, что некоторые из учреждений, обыкновенно приписываемых Альфреду, существовали еще до него.

²⁹ Французские писатели старого времени постоянно хвастаются, что преданность престолу составляет отличительную черту их нации, и попрекают англичан преобладающим в них духом сопротивления и неподчиненности. «Здесь дело идет не о французах, которые всегда отличались от других наций любовью к своим королям» (*Леблан*). «Англичане не любят своих государей настолько, насколько это желательно было бы» (*Сорбиер*). «Любовь и верность — врожденные чувства французов к их монархам» (*Моттвилль*).

В противоположность ко всему этому теперь можно поставить чувства, выраженные в одном из известнейших исторических сочинений на английском языке: «There is not any one thing more certain and more evident than that princes are made for the people and not the people for them; и, может быть, нет в целом мире нации, более усвоившей себе такое понятие о монархах, как англичане нынешнего века; так что они скоро надоедят государю, не руководствующемуся этим правилом, и со временем очень дурно поступят с ним» (*Burnet's Hist. of his Own Time. Vol. VI. P. 223*). Эти смелые и здравые строки написаны были в то самое время, когда французы еще слизывали пыль с ног Людовика XIV.

³⁰ «Самый древний род королей» (*Жанлис*). «Наши короли, которые произошли от самого великого рода в свете и перед кем Кесари и большая часть государей, повелевавших некогда столькими народами,—не более как выскочки»

(Моттвилль). А один венецианский посол в XVI столетии говорит, что Франция «есть государство более древнее, чем какое-либо из ныне существующих».

³¹ Ранке приписывает это обстоятельством, сопровождавшим отступничество Генриха IV; но настоящая причина находится гораздо глубже — она связана с тем торжеством светских интересов над духовными, которого сама политика Генриха IV была последствием.

³² Но, если можно, еще большим скандалом было то, что в 1723 г. собрание духовенства избрало *единогласно* в свои *председатели* презренного Дюбуа, который всем был известен как самый безнравственный человек своего времени.

³³ Токвиль говорит: «Духовные проповедовали нравственность, которую сами оскорбляли своим поведением», — знаменательное замечание со стороны такого противника скептической философии, как старик Токвиль. От этой развращенной толпы отделялся один Масийон; это был последний французский епископ, одинаково отличавшийся как умом, так и добродетелями.

³⁴ Вольтер говорит об англичанах: «Когда они слышат, что во Франции молодые люди, известные своим развратом и возведенные в достоинство прелатов с помощью женских интриг, открыто предаются любви, забавляются сочинением нежных песенок, каждый день дают тонкие ужины, довольно продолжительные, и прямо с этих ужинов отправляются молиться о ниспослании благодати Святого Духа и дерзко называют себя преемниками апостолов, — то они благодарят Бога за то, что они протестанты».

ГЛАВА XIII

¹ Никто не разработал вопроса о первоначальном подчинении философии богословию с таким умением, как Огюст Конт, в превосходном своем сочинении «Philosophie Positive». Услуга, которую метафизики оказали церкви развитием учения о пресуществлении (Blanco White's Evidence against Catholicism. P. 256—258), представляет разительное доказательство подчинения ума догматам церкви.

² Токвиль говорит — и я готов согласиться с ним, — что возрастающий дух равенства ослабляет расположение к основанию новых религиозных сект. Во всяком случае положительно известно, что таково бывает последствие развития знаний; ибо те великие люди, которые по своему складу ума в прежние времена сделались бы еретиками, теперь довольствуются применением своих новых воззрений к иным областям мышления. Если бы св. Августин жил в XVII веке, то он, наверное, преобразовал бы или пересоздал естественные науки. Если бы сэр Исаак Ньютон жил в IV столетии, то он организовал бы новую секту и смутил бы спокойствие церкви новизной своих воззрений.

³ По свидетельству Д'Обинье, король при своем обращении сказал: «Я всем докажу, что я не послушался никакой иной теологии, кроме государственной необходимости». Что так думал Генрих, это достоверно; что он так говорил своим друзьям — очень вероятно; но трудна была его роль относительно католической церкви, и в одном из эдиктов его мы находим «великую радость по случаю возвращения его в лоно церкви, — возвращения, которое он приписывает благодати Всемогущего и молитвам своих верноподданных».

⁴ Впрочем, это не мешало ему думать, что внезапные бури и необыкновенные явления на небе составляют aberrации, происходящие от сверхъестественного вмешательства и поэтому предвещающие важные политические перемены.

Все эти места очень поучительны в том отношении, что доказывают, как в то время даже в самых сильных умах научный, светский взгляд на вещи был еще слаб.

⁵ Труды его по всем этим предметам весьма замечательны, в особенности если принять в соображение, что некоторые из лучших материалов для них в то время были еще неизвестны и оставались в рукописях и что даже Де Ту не дает нам о них никаких сведений; так что Мэзере не имел перед собой вовсе никакого образца.

⁶ Всякий, кто только изучал французские мемуары семнадцатого столетия, знает, как мало в них находится данных, касающихся положения народа; самые полные частные корреспонденции, как то: письма Севинье и Ментенон, также неудовлетворительны. Большая часть имеющихся в настоящее время сведений собраны Монтейлем в замечательном труде его «*Histoire des divers Etats*»; между тем всякий, кто рассмотрит все эти материалы, должен будет согласиться, что мы более знаем о разных диких племенах, чем о положении низших сословий во Франции во время царствования Людовика XIV.

⁷ Красноречивые замечания Ранке о деспотизме в Италии могут быть превосходно приложены ко всей системе Людовика XIV: «Странное сочетание дел человеческих! Силы страны производят двор, центр двора есть государь, и, наконец, последним продуктом всей совокупной жизни государства является самосознание государя».

⁸ В 1685 г. было напечатано в Париже так называемое исправленное издание истории Мэзере, т. е. издание, из которого выброшены были самые правдивые замечания. Гемпден, который был знаком с Мэзере, рассказывает о любопытном свидании своем с ним в Париже, при котором великий историк скорбел о гибели свободы во Франции.

⁹ Это произошло «от неверности слуги, которому поручено было перебить рукопись». «Телемак» был запрещен во Франции и явился в Голландии в том же самом (1699) году.

¹⁰ «Людовик XIV принял «Телемака» за личность... Так как он (Фенелон) заслужил немилость короля, то и умер в изгнании» (*Лерминье*).

¹¹ Один даровитый писатель (*Флассан*) справедливо назвал его «скорее тщеславным, чем понимающим истинную славу».

¹² Бёрнет рассказывает об этом с восхитительной простотой: «Другие думали, с большею вероятностью, что король, услышав о моих исторических трудах, вознамерился склонить меня писать в благоприятном для него духе. Говорили, что мне будет предложена пенсия. Но я не сделал для этого ни одного шага, и хотя мне была предложена аудиенция у короля, но я отказался, извиняясь тем, что не могу иметь честь быть представленным этому монарху английским министром» (*Burnet's Own Time. Vol. II. P. 385*).

¹³ См. об этой попытке Боссюз несколько прекрасных замечаний у Штейдлина («*Geschichte der theologischen Wissenschaften*»): «Церковь и христианство составляют для этого епископа центр всей истории. С такой точки зрения смотрит он не только на патриархов и пророков, на иудейство и на древние предсказания, но и на все царства в мире».

¹⁴ Он говорит, что если обыкновенно принимаемое летосчисление Пятикнижия и Пророков неверно, то этим самым уничтожаются все чудеса и самые книги перестают быть боговдохновенными. Трудно было бы найти, даже в сочинениях Боссюз, более опрометчивое заявление.

¹⁵ Это они сделали так же, как и все остальное, не на основании разума, а на основании догмата; как сказал один ученый писатель, «церковь, конечно, разделила некоторые книги на апокрифические и положительно православные; она формально решила, какие книги должны быть признаваемы каноническими; тем не менее критика ее никогда не основывалась на исследовании разума, а только на решении вопроса, согласна или нет такая-то книга с преподаваемыми церковью догматами» (*Maury. Légendes Pieuses*).

¹⁶ Теологи всегда были замечательны точностью своих сведений о тех предметах, о которых ничего не известно; но никто из них в этом отношении не мог бы превзойти ученого д-ра Сюкли. В 1730 г. этот замечательный теолог писал: «По сделанным мною исчислениям оказывается, что Господь повелел Ною собрать животных в ковчег в воскресенье 12 октября, в самый день осеннего равноденствия того года, а ровно через неделю, в воскресенье (19 октября), началась эта ужасная катастрофа, в то время, как месяц перешел уже за третью четверть».

¹⁷ «Во-первых, эти государства большей частью находятся в неразрывной связи с историей народа Божия. Господь избрал ассирийцев и вавилонян для того, чтобы наказать этот народ; персов — для того, чтобы восстановить его; Александра и первых преемников его — чтобы покровительствовать ему; Антиоха Великого и преемников его — чтобы упражнять силы этого народа, римлян — чтобы защищать его свободу против сирийских царей, стремившихся лишь к тому, чтобы его истребить». Справедливо мог сказать Лерминье, что Боссюэ «еврейскому народу принес в жертву все прочие нации».

¹⁸ Первоначальной целью христианства, как высказал великий виновник его (Мф. X: 6 и XV: 24), было только обратить евреев; и если бы учение Христа никогда не пошло далее этого невежественного народа, то оно не подверглось бы тем изменениям, которые произвела в нем философия. Все это превосходно раскрыто в Mackay's Progress of the Intellect in Religious Development of the Greeks and Hebrews.

¹⁹ Около того же времени, когда писал Боссюэ, один ученый писатель исчислил, что пространство тех земель, в которых исповедуется магометанство, одною пятою превышает пространство земель христианских. Исчисление Соути весьма неопределенно; но вообще гораздо легче судить о пространстве магометанских земель, чем о количестве населения их. По последнему предмету мы имеем самые противоположные показания. В девятнадцатом столетии, по словам Шарона Тёрнера, магометан восемьдесят миллионов; по словам д-ра Эллиотсона, их более ста двадцати двух миллионов, а по мнению Вилькина, число их превосходит сто восемьдесят восемь миллионов.

²⁰ «Лжепророк единственным доказательством своего признания представил свои победы» (*Боссюэ. Р. 125*).

²¹ Первостепенные магометанские писатели всегда выражали о божестве более высокие понятия, чем те, которые имеет большинство христиан. Коран заключает в себе несколько высоких мыслей о единстве Бога. Тем людям, которые довольно легкомысленны, чтобы считать Магомета лицемером, полезно было бы изучить превосходные заметки Огюста Конта, который говорит весьма справедливо, что «человек с истинно высокими дарованиями никогда не мог произвести сильное действие на своих ближних иначе, как будучи сам искренно убежден».

²² Бенедиктинцы говорят, что он построил первый монастырь в Галлии: «Мартин, всегда страстно любивший уединение, построил монастырь, который был первым в Галлии». Они делают совершенно, впрочем, лишнее допущение, что

угодник «не изучал мирских наук». Я могу прибавить, что чудеса Мартина рассказаны у Флэри, который, очевидно, думает, что они действительно были совершены. Неандер, имевший преимущество жить столетием позже Флэри, довольствуется тем, что говорит: «Благоговение современников наименовало его чудотворцем».

^{22a} Он принадлежал к разряду тех историков, которых один знаменитый писатель определяет одной фразой: «В творениях их автор нередко кажется велик, но человечество всегда ничтожно» (*Токвиль*).

²³ «Карл XII — самый необыкновенный, может быть, из всех людей, живших на земле, — человек, который соединял в себе все великие качества своих предков и единственным недостатком или несчастьем которого было то, что он все эти качества преувеличил».

²⁴ Некоторым лицам, может быть, любопытно будет узнать, что носилки, на которых этого сумасброда «унесли с поля Полтавской битвы», донныне сохраняются в Москве.

²⁵ Даже некоторые из географических подробностей, как говорят, неточны. Впрочем, это должно всякий раз случаться, когда писатель, знающий какую-либо страну только по картам, пытается входить в подробности, относящиеся к высшей географии. В отношении же слога эта книга стоит выше всякой похвалы; известный критик Лакретель называет ее «самым совершенным образцом повествования, какой существует на французском языке». В 1843 г. она еще употреблялась как учебная книга во французских королевских коллегиях.

²⁶ Из переписки Вольтера становится очевидным, что он потом несколько устыдился похвал, расточенных им Карлу XII. В 1735 г. он пишет де Формону: «Если бы Карл не был так велик, так несчастлив и так сумасброден, я бы ни за что не стал говорить о нем». В 1758 г. он заходит еще далее и говорит о Карле: «Вот вам, милостивый государь, то, что люди всех времен и всех национальностей называют героем; толпа во все времена и во всех странах украшает этим именем страсть к кровопролитию». В 1759 г., занимаясь составлением истории Петра Великого, он писал: «Но я сомневаюсь, чтобы это сочинение вышло так занимательно, как история Карла XII, потому что Петр был только необыкновенный мудрец, а Карл — необыкновенный безумец, сражавшийся как Дон Кихот с ветряными мельницами». Эти места показывают нам, как постепенно у Вольтера развивалось сознание того, чем должна быть история и какое должно быть ее назначение.

²⁷ Поверхностные писатели так часто называют Вольтера поверхностным, что, может быть, нелишним заметить, что точность его показаний была vychваляема не только его соотечественниками, но и многими английскими писателями, ученость которых всеми признана.

²⁸ В 1763 г. он пишет: «Было около двенадцати сражений, о которых я, слава Богу, и не упомянул, потому что я пишу историю ума человеческого, а не газету». «Никто не читает подробностей сражений и осад — нет ничего скучнее правых и левых флангов, бастионов и контрэскарпов».

²⁹ Изумительная многосторонность Вольтерова ума видна из того беспримерного в литературе факта, что он был одинаково велик как драматический писатель и как историк.

³⁰ В восемнадцатом столетии и даже, можно сказать, до издания сочинения Галлама «Middle Ages» в 1818 г. на английском языке не было ни одного полного изображения феодальной системы, за исключением разве книги Робертсона,

который по этому предмету, как и по многим другим историческим вопросам, был учеником Вольтера. Не только Дарлимпль и подобные ему писатели, но даже Блэкстон с такой узкой точки зрения смотрели на это великое учреждение, что они даже не могли связать его с общим состоянием общества, к которому оно принадлежало. Некоторые из историков весьма серьезно возводили его ко временам Моисея, в законах которого они находили начало установления аллодиальных земель.

³¹ Констан в сочинении своем о римском многобожии говорит: «Непристойные обряды могут быть исполняемы религиозным народом с величайшей искренностью. Но когда в таком народе распространяется неверие, то эти обряды становятся для него причиной и предлогом самого возмутительного разврата». Это место цитировано у Мильмана, который называет его «весьма глубоким и верным». И таково оно действительно — весьма глубоко и справедливо. Но случилось так, что именно это самое замечание было высказано Вольтером около того времени, когда Констан только что родился. Говоря о поклонении Приапу, он сказал: «Наши понятия о благопристойности заставляют нас думать, что обряд, кажущийся нам столь постыдным, был придуман развратом, но весьма невероятно, чтобы у какого-либо народа развращение нравов послужило источником религиозных обрядов. Напротив того, вероятно, что этот обычай был впервые введен во времена величайшей простоты и что люди думали только о том, чтобы почтить божество в символе дарованной им жизни. Подобная церемония могла располагать юношество к разврату, а зрелым умам казаться смешною только тогда, когда пришли времена большей утонченности, большего развращения и большей образованности».

³² Неандер замечает, что в греческой церкви было больше ересей, чем в латинской, потому что греки более мыслили; но он упустил из виду благоприятное влияние этого обстоятельства на могущество пап.

³³ Говоря о торговле Архангельского порта, он сказал: «Англичане получили привилегию торговать там, не платя никакой повинности, и именно таким образом, может быть, следовало бы условиться между собою и всем нациям». Эти слова весьма замечательны, если принять в соображение, что они написаны французом, родившимся в конце семнадцатого столетия; а между тем, сколько мне известно, они до сих пор не были замечены никем из людей, писавших об истории политической экономии. Действительно, в этом отношении, как и во многих других, не было отдано должной справедливости Вольтеру, суждения которого вообще правильнее, чем мысли Кенэ и всех его последователей.

³⁴ «Идея о различии пропорций, в которых возрастает народонаселение и увеличиваются средства к пропитанию, была первоначально высказана Вольтером и затем поднята и развита во множестве томов нашими английскими политэкономами настоящего столетия» (*Ленг*).

³⁵ Неоднократно было высказано, что Мальтус обязан своими понятиями о народонаселении сочинениям Таунсенда; но факт этого позаимствования был слишком уж резко обличаем, как всегда бывает, когда подобное обвинение высказывается против какого-нибудь великого творения. Тем не менее Таунсенда следует считать предвестником Мальтуса. Так как Вольтер предшествовал этим писателям, то он естественным образом впал в такие заблуждения, которых они избегли; но ничто не может быть лучше его нападения на невежественное понятие его времени, будто бы следует употреблять все средства для умножения населения. «Не в том главная цель, чтобы иметь как можно больше людей, а в том,

чтобы сделать тех, которых мы имеем, как можно менее несчастливymi» — вот вкратце сущность его глубоких замечаний, высказанных в «Dict. Philos.», art. «Population».

³⁶ За исключением одного Порсона, ни один из великих английских филологов не умел ценить красот своего родного языка, и многие из них, как, например, Парр во всех своих сочинениях и Бентлей в своем сумасбродном издании Мильтона, сделали все, что могли, чтобы испортить английский язык. Нет никакого сомнения, что главная причина того, почему образованные женщины пишут и говорят более чистым языком, чем образованные мужчины, заключается в том, что они не образовали свой вкус по тем классическим образцам, которые, как бы превосходны они ни были сами по себе, не должны никогда быть вводимы в такое общество, состояние которого к ним не подходит. К этому можно присовокупить, что Коббет, самый энергичный из наших писателей, и Эрскайн, без сомнения, самый великий из наших судебных ораторов, или совсем не знали древних языков, или весьма мало знали их; то же замечание относится и к Шекспиру.

³⁷ «Должно обратить внимание на то, что Римская республика в течение пятисот лет вовсе не имела историков и что Тит Ливий сам выражает сожаление о потере других источников, которые все уничтожились во время пожара» и т. д. «Этот народ, явившийся так недавно в сравнении с азиатскими нациями, в течение пятисот лет не имел историков. Поэтому и неудивительно, что Ромул оказался сыном Марса и что с тысячею людьми из своей деревни — Рима — он пошел на двадцать пять тысяч воинов из деревни сабинян».

³⁸ «В большую часть историй люди верили без всякого рассуждения, и это доверие есть предрассудок. Фабий Пиктор рассказывает, что за несколько столетий до него весталка из города Альбы, шедшая с кувшином за водой, была изнасилована, что она родила Ромула и Рема, что они были вскормлены волчицей и т. д. Римский народ поверил этой сказке, он не подумал о том: были ли в то время в Лации весталки, правдоподобно ли, чтобы царская дочь вышла с кувшином из монастыря, и, наконец, правдоподобно ли, чтобы волчица стала кормить двоих детей вместо того, чтобы съесть их; предрассудок этот утвердился» («Dict. Philos.», art. «Prejudices» — Oeuvres. Vol. XLI. P. 488, 489).

³⁹ В этом случае, как и во многих других, невежество было подкреплено изуверством, ибо, как справедливо сказал о Вольтере лорд Кэмпбелл, «со времени Французской революции в Англии стало доказательством ортодоксии и преданности престолу бранить этого писателя за все без разбора». Действительно, общественное мнение так сильно было предубеждено против этого великого человека, что до самого последнего времени, когда лорд Брум издал его биографию, на английском языке не было ни одной книги, которая содержала бы в себе хоть сколько-нибудь сносное изображение этого человека, одного из самых влиятельных писателей, каких произвела Франция. Этот труд лорда Брума есть произведение хотя и весьма посредственное, но по крайней мере честное, и так как оно гармонирует с общим духом нашего времени, то, вероятно, имело значительное влияние на публику. Он говорит в нем о Вольтере: «Нельзя назвать ни одного человека со времен Лютера, которому бы мы стольким были обязаны за содействие развитию духа исследования и даже эмансипации ума человеческого от духовной тирании». Достоверно, что, чем лучше будет понимаема история восемнадцатого века, тем более будет возрастать уважение к Вольтеру, что уже ясно предвидел за целое поколение до нас один знаменитый писатель. В 1831 г. Лерминье написал эти замечательные и, как оказалось впоследствии, пророческие

слова: «Пора возвратиться к более почтительным чувствам относительно памяти Вольтера. Вольтер сделал для Франции то же, что Лейбниц для Германии; в продолжение трех четвертей века он был представителем своего отечества, уподобляясь могуществом Лютеру и Наполеону; его имени суждено пережить много славных имен, и я сожалею о тех, которые забылись до того, что презрительно выражаются о гении этого человека».

⁴⁰ «Есть общие причины нравственные или физические, которые действуют в каждой монархии, возвышая, поддерживая либо ниспровергая ее; все случаи подчинены этим причинам, и если случайность какого-нибудь сражения, т. е. частная причина, разрушила какое-нибудь государство, то, значит, была общая причина, сделавшая то, что государство это должно было погибнуть от одного сражения. Одним словом, главное положение влечет за собой все частные случаи» («Grandeur et Decadence des Romains». Chap. XVIII. P. 172).

⁴¹ До какой степени изучение это было бесполезно по своим последствиям, ясно видно из того факта, что прошло сто лет с тех пор, как он писал, и мы, при всем увеличении нашего знания, все-таки не можем ничего положительно сказать о прямом действии климата, пищи и почвы на личный характер, хотя, я надеюсь, и видно из второй главы настоящего введения, что можно кое-что привести в известность относительно косвенного влияния этих деятелей, т. е. относительно их влияния на отдельные умы чрез посредство социальной и экономической организации обществ.

⁴² Что может быть лучше того места, в котором он делает вывод из этих обширных соображений: «Все века соединяются друг с другом рядом причин и последствий, который связывает настоящее состояние Вселенной со всеми предшествовавшими состояниями ее». Все, что написал Тюрго по части истории, есть развитие этого глубокого взгляда. Что он сознавал необходимость того, чтобы историк был знаком с естественными науками, чтобы он знал законы, от которых зависит вид земли, климат, почва и т. п., это ясно видно из его отрывка «La Géographie Politique» в Oeuvres. Vol. II. P. 166—208. Немалым доказательством его политического чутья служит то, что в 1750 г. он положительным образом предсказал освобождение американских колоний.

ГЛАВА XIV

¹ В то время, когда было напечатано первое издание этой книги, евреи еще не были допущены в парламент. *Примеч. перев.*

² «Около 1750 г.,—говорит Тюрго,—два гениальные человека, наблюдатели здравомыслящие и глубокие, дошедшие путем самого неослабного внимания до строгой логичности в воззрениях, воодушевленные благородной любовью к родине и человечеству,—Кенэ и де Гурнэ, занялись последовательными изысканиями с целью узнать, не укажет ли природа вещей на возможность науки политической экономии и какие могут быть основания такой науки». Бланки также говорит: «Около 1750 г.», а Вольтер замечает: «Около 1750 г. нация, насытившись стихами, трагедиями, комедиями, операми, романами, романическими историями, нравственными рассуждениями (еще более романическими) и теологическими диспутами о благодати и о беснованиях, начала, наконец, рассуждать о зерновом хлебе».

³ Нация, говорит Сисмонди, привыкла все более и более удаляться от своего правительства уже по тому самому, что ее писатели стали заниматься

политическими науками. Эпоха особенного движения в секте экономистов началась с тех пор, как маркиз де Мирабо издал в 1755 г. свое сочинение «Друг человечества». В том же 1755 г. Голдсмит был в Париже и его до такой степени поразили успехи, сделанные неподчиненностью, что он предсказал освобождение народа, хотя едва ли нужно говорить, что он был не такой человек, который мог бы понимать движение экономистов.

⁴ В феврале 1759 г. он пишет к г-же де Боккаж: «Мне кажется, что грации и хороший вкус изгнаны из Франции и уступили место запутанной метафизике, политике пустых голов, бесконечным прениям о финансах, о торговле, о народонаселении, которые никогда не доставят государству ни лишнего эюю, ни лишнего человека». В 1763 г. он пишет: «Прощайте, наши изящные искусства, если дела будут продолжать идти таким путем. Нацией овладела бешеная страсть к предостережениям и к финансовым проектам». Так как многие из самых даровитых людей были таким образом отвлечены от чисто литературных занятий, то за двадцать лет до революции стал обнаруживаться заметный упадок слова, особенно у прозаиков.

⁵ Сегюр («Souvenirs». Vol. I. P. 138) говорит, что Неккерово сочинение лежало «в кармане у всех аббатов и на туалетном столе у всех дам». Дочь Неккера, г-жа де Сталь, говорит о сочинении своего отца под заглавием «Финансовое управление»: «Его распродано восемьдесят тысяч экземпляров».

⁶ Сколько я припомню, нет ни одного примера таких нападений ни в одном из его сочинений; и те, кто осуждает его на этом основании, пусть лучше приведут самые места, на которые они опираются, чем высказывать обвинения в общих, неопределенных выражениях.

⁷ Наполеон сказал Станисласу Жирардену о Руссо: «Без него во Франции не было бы революции». Это, конечно, преувеличение; но влияние Руссо в течение второй половины XVIII столетия было почти неимоверно. В 1765 г. Юм пишет из Парижа: «Невозможно ни выразить, ни представить себе энтузиазм этой нации в его пользу... никто еще не привлекал в такой мере ее внимания, как Руссо. Вольтер и все другие им совершенно затменены». В одном письме, написанном в 1754 г., сказано, что его Дижонская речь «произвела нечто вроде революции в Париже». Обращение его сочинений являлось чем-то небывалым, и, когда вышла «Новая Элоиза», книгопродавцы не могли удовлетворить требования людей всех сословий. Давали читать эту книгу за известную плату в день или в час. Когда она только появилась, то требовали по 12 су за каждый том, давая на прочтение его только шестьдесят минут.

⁸ «Наступление 1760 г. было ознаменовано чувствительным ослаблением преследования... Духовенство заметило это с ужасом и в своем общем собрании 1760 г. решилось обратиться к королю с настоятельными увещаниями по поводу такого послабления законов» (*Felice. Protest. of France*).

⁹ Генрих II обыкновенно ссылался на этот титул, оправдываясь в том, что он преследует протестантов; и великое значение придавал этому же титулу примерный монарх Людовик XV. Французские антикварины возводят этот титул ко времени Пипина, отца Карла Великого.

¹⁰ Принц де Монбарэ, воспитанный иезуитами, около 1740 г. говорит, что в их школах было обращено величайшее внимание на учеников, предназначенных для церкви, между тем как пренебрегали способностями тех, которые предназначались для светских профессий. Монбарэ, далеко не предубежденный против иезуитов, приписывает революцию их ниспровержению.

¹¹ Голландская церковь первая приняла как догмат веры учение об избранных, которого придерживались в Женеве.

¹² Гебер говорит, что кальвинизм есть система «наименее привлекательная для чувств римского католика». Филипп II, великий поборник католицизма, особенно ненавидел кальвинистов и в одном из своих эдиктов назвал их секту «ненавистною». Возьмем еще более ранний пример. Когда римская инквизиция была возобновлена в 1542 г., то вышло приказание, чтобы еретики, в особенности кальвинисты, не были терпимы.

¹³ Среди арминиян было много людей большой учености, в особенности из числа отцов церкви; но самые глубокие мыслители были на другой стороне, как, например, Августин, Паскаль и Ионафан Эдвардс. Этим кальвинистским метафизикам арминиянская партия не могла противопоставить ни одного человека равной с ними способности; и замечательно, что иезуиты, эти самые ревностные арминияне римской церкви, всегда славилась своей ученостью, но обращали мало внимания на изучение души. И замечательно, что это превосходство мысли на стороне кальвинистов, сопровождавшееся меньшей ученостью, существовало с самого основания их секты, потому что Неандер замечает, что Пелагий «не обладал глубоким умозрительным гением, который мы находим у Августина», но что «по учености он стоял выше Августина».

¹⁴ «Философская необходимость, основанная на идее предвещения Божия, поддерживалась теологами кальвинистской школы, более или менее строго, в продолжение всего настоящего столетия» (*Морелле*). В самом деле, это стремление было так естественно, что мы находим учение о необходимости или нечто чрезвычайно похожее на него даже у Августина.

¹⁵ По учению иезуитов, «Павел родил Августина, Августин — Кальвина, Кальвин — Янсения, Янсений — Санкрияна, Санкриян — Арнальда с братиею».

¹⁶ Связь между янсенизмом и духом неподчиненности была уже замечена в это время, и [Таллеман] де Рео, писавший в половине семнадцатого столетия, приводит мнение, что Фронда «произошла от янсенизма». Омер Талон также говорит, что в 1648 г. «оказалось, что все те, которые придерживались этого мнения, не любили существовавшего в то время правительства».

¹⁷ Бриенн, лично знавший Людовика XIV, говорит: «Янсенизм — предмет ужаса для короля». В конце его царствования одно лицо было сделано епископом явно за оппозицию янсенизму.

¹⁸ Говорят, что Шуазель сказал о иезуитах: «С уничтожением их воспитания все другие религиозные корпорации падут сами собою».

¹⁹ Так низко упали таланты когда-то знаменитой французской церкви, что в последней четверти восемнадцатого столетия, когда напали на само христианство, не явилось в рядах ее ни одного замечательного защитника; и когда собрание духовенства к 1770 г. обнародовало свое знаменитое проклятие против угрожавшего неверия и предложило награды за лучшие сочинения в защиту христианской веры, то вызванные этим произведения были так ничтожны, что они повредили интересам религии.

²⁰ И сохранить также свои огромные богатства, которые в то время, когда началась революция, исчислялись в 80 000 000 ф. ст. на английские деньги и приносили ежегодно дохода не многим менее 75 000 000 франков.

²¹ «Вскоре, — говорит Барант, — начали отрицать все; уже неверие отвергло божественные доказательства откровения и отреклось от обязанности и преданий христианских; атеизм поднял тогда смелее чело и провозгласил, что всякое

религиозное чувство есть мечта — расстройство человеческого ума. В эпоху энциклопедизма и начали именно появляться сочинения, в которых мнение это проводилось самым положительным образом.

²² Пристли, посетивший Францию в 1774 г., говорит: «Все философы, которым я был представлен в Париже, не веровали в христианство и даже объявляли себя атеистами».

²³ Читал ли когда Гельвеций нападения Аристотеля на Анаксагора за то, что последний утверждал: «Вследствие обладания руками человек есть умнейшее из животных»?

²⁴ «Дойдя раз до этой истины, я легко открываю источник человеческих добродетелей; я вижу, что если б не чувствительность к печали и к физическому удовольствию, то люди без желаний, без страстей, одинаково равнодушные ко всему, не сознавали бы и личного интереса; что без личного интереса они не соединялись бы в общества, не входили бы между собою в договоры; что не было бы общественного интереса и поэтому не было бы и действий справедливых и несправедливых; и что, следовательно, физическая чувствительность и личный интерес были источниками всякой справедливости» («De l'Esprit»).

²⁵ Он заключает в немногих словах: «Из этого следует, что дружба, равно как и жадность, гордость, честолюбие и другие страсти, есть непосредственный результат физической чувствительности».

²⁶ Сен-Сюрен, ревностный противник Гельвеция, допускает, что «самые влиятельные (по своим заслугам или по своему уму) иностранцы желали быть представленными философу, имя которого раздавалось по всей Европе».

²⁷ Бриссо говорит, что в 1775 г. «система Гельвеция была в наибольшем ходу». Тюрго, писавший против нее, жаловался на то, что ее расхваливали «с какою-то яростью», а Жоржель говорит: «Эта книга, написанная слогом, полным жара и образов, находилась на всех туалетных столах».

²⁸ Держался ли или нет Локк того мнения, что мышление есть независимая, так же как и отдельная способность, — неизвестно, потому что из его сочинений можно привести места, говорящие об этом как утвердительно, так и отрицательно. Доктор Узвелл справедливо замечает, что Локк употребляет это слово так неопределенно, что «дает право своим ученикам делать что им угодно из его учения».

²⁹ Что касается до предполагаемой невозможности представить себе материю существующую без тех свойств, которые дают начало силам (примечание в *Paget's Lectures on Surgical Pathology*. 1853. Vol. I. P. 61), то две причины заставили меня не придавать большого веса этому предположению. Первая причина — что то, что в одном состоянии знания признается непостижимым, делается при позднейшем состоянии совершенно понятным и до такой степени естественным, что часто называется даже необходимым. Вторая причина та, что, как бы ни казалась неразрывной связь между силой и материей, она все-таки не была пагубна для динамической теории Лейбница; она не помешала также другим знаменитым мыслителям держаться подобных же взглядов, и доводы Беркли, хотя постоянно оспариваемые, не были никогда опровергнуты.

³⁰ Каждое химическое разложение есть только новая форма сложения.

³¹ То, что ошибочно называется атомистической теорией, есть, собственно говоря, гипотеза, а не теория; но хотя это и гипотеза, мы, однако, ей обязаны теорией определенных пропорций — краеугольным камнем химии.

³² Многие из них до сих пор связаны в геологии гипотезой катастроф, а в химии — гипотезой жизненных сил.

³³ Первая попытка составить систематическую номенклатуру для химии была сделана Лавуазье, Бертолле, де Морво и Фуркруа вскоре после открытия кислорода (Turner's Chemistry). Томсон говорит: «Эта новая номенклатура весьма скоро проникла во все части Европы и сделалась общим языком химиков, несмотря на все предубеждения против нее и на встреченное ею повсюду сопротивление».

³⁴ Часто полагают, что знаменитый центральный жар Бюффона заимствован у Лейбница; но хотя это учение и преподавалось смутным образом у древних, настоящий основатель его все-таки, как кажется, Декарт. Относительно центрального жара упоминается в так называемых Оракулах Зороастра. Но совершенное невежество древних в геологии сделало то, что воззрения эти были не более как догадками.

³⁵ Вот почему Оуэн называет его «основателем науки палеонтологии». В 1796 г. «представились ему совершенно новые воззрения на теорию земли». Важность этого шага становится с каждым годом очевиднее, и справедливо было замечено, что без палеонтологии не было бы, собственно говоря, и геологии. Мёрчисон говорит: «Обозревая весь ряд формаций, геолог-практик вполне проникается убеждением, что во все времена поддерживалась весьма тесная связь между существованием животных и тою средой, в которой они оказывались окаменелыми».

³⁶ В древнейшей половине вторичных скал едва замечаются млекопитающие — они становятся обыкновенным явлением не прежде третичного слоя. Точно то же бывает и в растительном царстве: многие из растений третичных слоев принадлежат к породам, еще и теперь существующим; во вторичной формации это случается уже реже; в первичной же даже семейства различны от тех, которые теперь находятся на земле.

³⁷ Жоффруа Сент-Илер собрал несколько примеров тех мнений, какие прежде высказывались об этого рода предметах. В числе других он упоминает об одном ученом, по имени Генрион, академике, и даже, кажется, теологе, издавшем в 1718 г. сочинение, в котором «он приписывал Адаму рост в 123 фута и 9 дюймов»; Ноя же представлял двадцатью футами ниже и т. д. Кости слонов принимались иногда за великанов.

³⁸ Даже Кювье придерживался теории катастроф, но, как говорит Лайель, его же открытия дали средство к ниспровержению этой теории и к освоению нас с идеей непрерывного движения. Даже именно одно из наблюдений Кювье над окаменелостями открыло первое звено между пресмыкающимися, рыбами, китообразными и млекопитающими. К этому я могу прибавить, что Кювье бессознательно проложил путь к поколебанию старинного догмата постоянства пород, хотя сам он до конца придерживался этого догмата.

³⁹ Ни Монтескьё, ни Тюрго, по-видимому, не верили в возможность обобщить прошедшее до такой степени, чтобы предсказывать будущее; что же касается Вольтера, то самой слабой стороной в его взгляде на историю — взгляде во всех других отношениях весьма глубоком — была его привязанность к старинной поговорке, что великие события вытекают из малых причин; заблуждение это весьма странно в человеке с таким обширным умом — это значит смешивать причины с условиями. Что такой человек, как Вольтер, впал в такую, по настоящим понятиям, грубую ошибку, это весьма грустно для тех,

кто в состоянии оценить его обширный, проницательный ум, и это может послужить полезным уроком и для самых лучших из нас. Монтескьё и Тюрго избегли этого заблуждения, и первый из них в особенности проявил такие необыкновенные дарования, что если бы он жил несколько позже и имел таким образом возможность пользоваться всеми средствами, какие дают политическая экономия и естествознание, то нет никакого сомнения, что ему досталась бы честь не только положить основание, но и возвести самое здание философии истории человека. Так, он не мог постичь, что конечная цель всякого научного исследования есть именно приобретение возможности предсказывать будущее; между тем как после его смерти (1755 г.) все лучшие умы Франции, исключая одного Вольтера, сосредоточивали все свое внимание на изучении явлений природы.

⁴⁰ Единственная грозная оппозиция классификации Кювье была со стороны защитников учения о круговой прогрессии — замечательной теории, настоящими творцами которой были Ламарк и Маклэ и которая, конечно, опирается на довольно большое количество доводов. Тем не менее у значительного большинства сведущих зоологов остается еще в своей силе четверное деление, хотя увеличивающаяся точность микроскопических наблюдений и открыла нервную систему гораздо ниже той ступени, на какой она предполагалась прежде.

⁴¹ Мы можем исключить Аристотеля; но между Аристотелем и Биша я не нахожу ни одного посредствующего человека.

⁴² Суэнсон жалуется довольно странно на то, что Кювье «отвергает более простые и наглядные свойства, которые всякий может видеть и которыми так удачно воспользовался Линней, и ставит различие между этими группами в зависимость от таких обстоятельств, которых не может понять никто, кроме анатома». Другими словами, это значит жаловаться на то, что Кювье пытался возвести зоологию на степень науки и этим, конечно, лишил ее некоторых из ее общепривлекательных сторон с целью сообщить ей другую привлекательность более возвышенного свойства.

⁴³ Весьма сомнительно, был ли Биша знаком с сочинениями Смита, Бонне или Фаллопия, и я не помню, чтобы он где-либо упоминал хоть их имена. Но он, конечно, изучал Бордэ; впрочем, я подозреваю, что писатель, наиболее влиявший на него, был Пинель, патологические обобщения которого появились около самого того времени, когда начал писать Биша.

⁴⁴ Список этим тканям см. у Биша («Anatomie Générale». Vol. I. P. 49). «С какой бы точки зрения ни смотрели на эти ткани,—говорит Биша,—они вовсе не похожи друг на друга: сама природа, а не наука провела между ними раздельные черты». Теперь, однако, есть повод думать, что как животным, так и растительным тканям во всех их видоизменениях может быть приписано клетчатое происхождение. Этот широкий взгляд, главнейшим образом выработанный Шванном, составит, когда он вполне установится, самое обширное обобщение, какое мы имеем относительно органического мира, и трудно будет преувеличить его значение. Тем не менее следует опасаться, чтобы, увлекаясь преждевременно выводом такого обширного закона, нам не пренебречь теми второстепенными, но резко обозначающимися различиями между тканями, которые действительно существуют.

⁴⁵ Пинель говорит: «В одну зиму он вскрыл более 600 трупов». Занимаясь день и ночь таким громадным трудом, и притом в атмосфере, по необходимости испорченной, он положил основание тому болезненному расположению,

вследствие которого самый ничтожный случай имел смертельное действие. «Ум с трудом представляет себе, как могло быть достаточно жизни одного человека для стольких трудов, для стольких открытий, сделанных либо указанных,— Биша умер, не дожив до тридцати двух лет».

⁴⁶ Этого рода сравнительной анатомии (если можно так назвать ее), которая до него почти не существовала, Биша придавал большое значение; он видел, что она со временем приобретет огромную важность для патологии. По несчастью, исследования эти не были надлежащим образом продолжаемы его непосредственными преемниками, и Мюллер, писавший долгое время спустя после его смерти, вынужден был ссылаться главнейше на Биша, когда дело шло об «истинных началах общей патологии».

⁴⁷ У Беклара сказано, что «отыскание этих начальных тканей или органических начал стало почти исключительной заботой анатомов нашего времени». «Теперь мы заходим далее,—говорит Бленвилл,—мы проникаем в сокровенное строение не только органов, но и самых тканей, входящих в их состав; одним словом, мы занимаемся действительной анатомией в собственном смысле. Это один из тех родов исследований, которыми весьма деятельно занимались и которые сделались особенно обширны со времени издания прекрасного сочинения Биша».

Вследствие этого движения возникла под именем «*перерождение тканей*» совершенно новая отрасль патологической анатомии, которой, я уверен, нельзя найти ни одного примера до Биша, но важность которой теперь признана большей частью патологов.

⁴⁸ Мнение, что они составлены из волокон, преобладало до тех пор, пока Пюркенже в 1835 г. не открыл присутствия в них трубочек. До Пюркенже только один наблюдатель, Левенгук, утверждал, что зубы имеют трубчатое строение, но никто ему не поверил, а Пюркенже не был знаком с его изысканиями.

⁴⁹ Но, сравнивая достоинства самих виновников открытий, мы должны хвалить скорее того, который доказывает что-нибудь, чем того, который только наводит на какую-нибудь мысль.

⁵⁰ Под новым методом исследования какого-нибудь предмета я разумею применение к нему обобщений, заимствованных от другого предмета для расширения сферы мышления. Называть это новым методом не совсем точно, но нет другого слова для обозначения этого процесса. Собственно говоря, существует два метода—индуктивный и дедуктивный, которые хотя существенно различны, но так тесно сливаются, что невозможно совершенно разграничить их. Рассуждение о самой сущности этого различия я оставляю до следующего тома, когда буду сравнивать цивилизацию германскую с американской.

⁵¹ В литературе и теологии Шатобриан и де Местр были, конечно, самыми красноречивыми, а по всей вероятности, и самыми влиятельными вождями этой реакции. Оба они не любили индукции, а предпочитали умозаключение дедуктивное от первых посылок, которые они принимали и которые называли первыми принципами. Однако ж де Местр был сильным диалектиком, и потому сочинения его читаются многими из тех, которые не обращают никакого внимания на пышную декламацию Шатобриана. В метафизике произошло совершенно такое же движение, и Ларомигьер, Ройе Коллар и Мен де Биран основали ту знаменитую школу, величайшую славу которой составляет Кузен и которая в одинаковой степени отличается незнанием индуктивной философии и недостатком любви к естественным наукам.

⁵² «Отсюда,—говорит Биша,—без сомнения, проистекает другое различие между органами двух жизней, а именно что природа реже уклоняется от первоначального устройства в жизни животной, чем в жизни органической... Те, которые побольше занимались трупоразъятиями, не могли не заметить частых изменений форм, величины, положения, направления внутренних органов, как то: селезенки, печени, желудка, почек, слюнооточных желез и проч. Бросим теперь взгляд на органы животной жизни—на чувства, нервы, мозг, на мускулы произвольного движения, на гортань: здесь все совершенно верно, точно, строго определительно в форме, величине и положении. Почти никогда не встречается разнообразий устройства, а если они и оказываются, то отправления бывают неправильны и прекращаются; между тем как в жизни органической они остаются неизменными, несмотря на повреждения различных частей». Этот взгляд подтверждается отчасти данными, собранными Жоффруа Сент-Илером, о чрезвычайных уклонениях от правильности, которым подвержены растительные органы; он приводит один случай, что в теле человека при анатомировании «нашли все внутренности размещенными в обратном порядке». Сравнительная анатомия представляет другой пример. Тела моллюсков менее симметричны, нежели тела суставчатых; «у моллюсков органы растительной жизни,—говорит Оуэн,—более развиты, чем органы животной жизни; между тем как у суставчатых заметнее развитие органов животной жизни». Эта замечательная противоположность еще яснее видна из того обстоятельства, что идиоты, у которых отправления питания и извержения весьма деятельны, в то же самое время отличаются недостатком симметрии в органах чувств.

Результатом, может быть даже бессознательным, применения и распространения этих идей было то, что в продолжение последних нескольких лет возникла патологическая теория так называемых «симметрических болезней»; главные факты ее были давно известны, но только теперь их стали обобщать.

⁵³⁻⁵⁴ Диоскорид и Гален знали от 450 до 600 растений; но, согласно Кювье, Линней в 1778 г. «насчитывал их до восьми тысяч видов». С тех пор прогресс был непрерывен; и в «Ботанике» Генсло (1837) говорится, что «число видов, уже известных и классифицированных в сочинениях по части ботаники, доходит до 60 000». Десять лет спустя д-р Линдлей насчитывает их 92 930; а два года спустя Бальфур говорит «около 100 000». Вот в какой пропорции увеличивается наше знание природы. Для заключения этого исторического замечания я должен был бы еще упомянуть о том, что говорит в 1812 г. д-р Томсон: «До 30 000 видов растений исследованы и описаны».

⁵⁵ Т. е. в изучение уродливостей животных, которые, как бы ни представлялись они случайными, теперь признаны необходимым результатом предшествовавших им явлений. В продолжение последних лет некоторые законы этих ненатуральных рождений, как их обыкновенно называют, были открыты и было доказано, что они далеко не ненатуральны, а совершенно естественны. Таким образом была создана новая наука под именем тератологии, которая разрушила старое верование в игру природы (*lusus naturae*), подорвав последние любимые опоры его.

⁵⁶ Любопытно заметить, что даже хорошие ботаники придерживались системы Линнея еще долгое время после того, как было доказано превосходство натуральной системы. Это тем более замечательно, что сам Линней, человек, без сомнения, гениальный и обладавший чрезвычайной способностью соображения, всегда допускал, что его система есть только нечто предварительное и что

великая задача, которую надо иметь в виду, заключается в классификации по естественным семействам. В самом деле, что можно было подумать о прочности системы, соединявшей в одну категорию тростник и барбарис потому только, что оба имеют по шесть тычинок, и шавель с шафраном, потому что они имеют по три маточника.

⁵⁷ Сочинение Антуана Жюсье «*Genera Plantarum*» было напечатано в Париже в 1789 г. «Только в 1789 г.,—говорит Ришар,—явилось, собственно, полное собрание о методе естественных семейств. Сочинение А. Жюсье «*Genera Plantarum*» представило науку о растениях в совершенно новом свете; оно отличается такой точностью и таким изяществом и в нем проведены впервые такие глубокие и верные принципы, что, собственно говоря, только с этого времени был создан метод естественных семейств и только с этого времени начинается новая эра для науки о растениях... Автор «*Genera Plantarum*» первый положил основание этой науке, указав на относительную важность различных органов и, следовательно, на их значение в классификации... По замечанию Кювье, он произвел такой же переворот в науках наблюдательных, какой произвела химия Лавуазье в науках опытных. В самом деле, он не только совершенно изменил ботанику, но имел также влияние и на другие отрасли естественной истории и ввел в них тот дух исследований и сравнений и тот философский и естественный метод, к усовершенствованию которого направлены с того времени все усилия натуралистов».

⁵⁸ Таким образом был устранен обильный источник заблуждений; только теперь поняли, что в одних двусемядольных растениях можно с верностью определять возраст.

⁵⁹ Классификация по семядолям была так успешна, что, «за небольшими исключениями, почти все растения могут быть отнесены каждым ботаником с первого же взгляда и с непогрешимой верностью к свойственному им классу; и одного только куса стебля, листа или какой-нибудь части очень часто бывает совершенно достаточно для разрешения этого вопроса» (*Генсло*).

⁶⁰ Относительно одной замечательной способности кристаллов (общей с животными) самим исправлять свои повреждения см. *Paget's Lectures on the Surgical Pathology*. 1853. Vol. I. P. 152, 153, где подтверждаются опыты Иордана по этому любопытному предмету: «Способность исправлять свои повреждения... не составляет исключительного свойства живых существ, потому что даже кристаллы сами собою восполняются, если, после того как от них отбить кусок, они бывают поставлены в те же условия, при которых они первоначально образовались».

⁶¹ Вот что говорит Жоржэ в своем сочинении о помешательстве: «Пинель дал новое направление изучению сумасшествия... Тем, что он просто включил эту болезнь, не делая никаких различий, в число других расстройств наших органов; определив для нее место в ряду болезней вообще, он чрезвычайно подвинул вперед ее историю»... «Пинель первый во Франции, даже можно бы сказать первый в Европе, положил основание рациональному лечению сумасшествия, отнеся его к числу других органических поражений». Эскироль, выражающий новейший и чисто научный взгляд, говорит в своем обширном сочинении «*Des Maladies Mentales*»: «Помешательство, на которое древние народы смотрели как на вдохновение или наказание от богов, которое впоследствии принимали за дьявольское наваждение и в котором иногда видели действие волшебства,—помешательство, говорю я, со всеми своими бесчисленными видоизмене-

ниями в сущности ничем не отличается от других болезней». Признание этой истины он положительным образом приписывает своему предшественнику: «благодаря началам, изложенным Пинелем» (Р. 340). Сам Пинель ясно видел связь между своими мнениями и духом времени: «Медицинское сочинение, издаваемое во Франции в конце восемнадцатого столетия, должно иметь не тот характер, который оно имело бы, если б было написано в прежнее время».

⁶² В 1779 г. было замечено, что «публичные заседания Французской Академии сделались чем-то вроде модных зрелищ». Все более и более увеличивавшаяся толпа посетителей сделалась наконец так велика, что в 1785 г. признано было необходимым уменьшить число билетов для входа и даже предложено было не допускать дам вследствие нескольких случаев беспорядка.

⁶³ Хорошо сказал один знаменитый писатель, хотя несколько с другой точки зрения: «В науках нравственных, равно как и в естественных, не может быть ни господ, ни рабов, ни королей, ни подданных, ни граждан, ни иностранцев» (*Comte. Traité de Législation*).

⁶⁴ Замечания, сделанные Томасом о Декарте в 1765 г. в одном *éloge*, увенчанном Академией, служат образцом мнений, которые в последней половине восемнадцатого столетия быстро распространились во Франции. См. место, начинающееся словами: «O préjugés! o ridicule fierté des places et du rang!» etc. Конечно, тридцатью годами ранее при подобном случае никто бы не решился говорить таким языком. Точно так же граф Сегюр говорит о молодых дворянах перед революцией: «Мы предпочитали одно слово похвалы из уст Д'Аламбера или Дидро самой большей благосклонности со стороны какого-нибудь принца» (*Mem. de Segur. Vol. I. P. 142; Vol. II. P. 46*).

⁶⁵ В августе 1787 г. Джефферсон писал из Парижа: «Habit habillé почти изгнано из общества, и даже на большие ужины начинают ходить во фраке; двор и дипломатический корпус, однако ж, составляют исключение. Они стоят слишком высоко, чтобы до них дошло какое-нибудь улучшение. Это последние убежища, из которых будут изгнаны этикет, формальности и изысканность. Отнимите у них это, и они станут на один уровень с народом». Сегюр, бывший свидетелем этих перемен и недовольный ими, говорит о защитниках этих нововведений: «Они не замечали, что замена фраками широких и пышных одежд прежнего двора предвещала всеобщее стремление к равенству». Сулави замечает, что «около самого времени революции вельможи носили только простую и недорогую одежду» и что «не существовало уже более различия между герцогиней и актрисой».

⁶⁶ Люди высшего класса, даже пожилые, хлопотавшие всю жизнь о том, чтобы получить королевские ордена как знаки высочайшего благоволения, приобрели привычку прятать эти знаки отличия под самым скромным фраком, в котором можно было бы ходить пешком по улицам и смешиваться с толпою. Достойно также внимания еще одно проявление того же направления. Баронесса д'Оберкирк при своем вторичном посещении Парижа в 1784 г. заметила, «что около этого времени дворяне начали ходить безоружными и носили шпагу только при парадном костюме... Итак, французское дворянство бросило обычай, освященный вековым примером их отцов».

⁶⁷ Поразительный пример этого виден также в числе заключаемых неравных браков (*mésalliances*), которые сделались довольно часты в половине царствования Людовика XV.

⁶⁸ «Мы обзавелись также клубами: там люди собирались не для прений еще, а для того, чтобы пообедать, поиграть в вист и прочитать новые книги. Этот первый, тогда почти не замеченный шаг имел потом важные и по временам гибельные последствия. Ближайшим результатом его были отделение мужчин от женщин и происшедшая от этого заметная перемена в наших нравах; мы стали менее легкомысленны, но и менее вежливы, более положительные, но менее любезны, отчего выиграла политика, общество же потеряло» (*Сегюр*). Весной 1789 г. это разъединение полов сделалось еще более заметным; слышались общие жалобы, что дамы принуждены ходить в театр одни, так как мужчины сидят в своих клубах.

ТОМ ВТОРОЙ

ГЛАВА I

¹ «Дурное состояние земледелия в Испании может быть приписано частью физическим, частью нравственным причинам. Во главе первых должны быть поставлены жар климата и безводие почвы. Большая часть рек, которыми пересекается эта страна, текут в глубоких руслах и весьма мало приносят пользы, за исключением немногих мест, представляющих удобства для ирригации» (*Мак-Куллох*).

² «Прибавьте ко всему этому частое посещение чумы и других повальных болезней, опустошавших Испанию, в особенности южные провинции, которые более других страдали от этих бедствий. Об этом очень часто упоминается в летописях и исторических сочинениях. С другой стороны, основание многочисленных часовен и крестных ходов в честь св. Роха и св. Себастиана (избавителей от чумы), сохранившихся до сих пор почти во всех городах Испании, представляет другое доказательство распространения и частого появления этого бедствия. Справедливость этих фактов подтверждается еще значительным числом сочинений о предохранительных мерах против чумы и о лечении ее, написанных врачами в царствование Карла V, Филиппа II, Филиппа III и Филиппа IV» (*Capmany. Questiones Criticas. Madrid, 1807*).

³ Отречение Рекареда произошло между 586 и 589 гг. Лафуэнте говорит (р. 384): «На третьем Толедском соборе Рекаред, пылавший жаром неопита, в первый раз предложил собранию духовных лиц обсуждение и решение вопросов, касающихся светского управления... Рекаред отказался от арианской ереси, принял окончательно веру Иисуса Христа и предоставил служителям церкви влияние на управление государством, сделавшееся со временем неограниченным».

⁴ «Относительно советов, собиравшихся при вестготских королях в Испании в течение VIII столетия, не легко определить, считать ли их духовными или светскими собраниями. Ни одно королевство не было в таком совершенном рабстве у иерархии, как Испания» (*Галлам*).

⁵ Собор Толедский в 633 г. предписывает епископам увещевать судей. Ученый испанский законовед Семпере говорит о епископах: «Кодекс был их творением; судьи были им подведомственны; тяжущиеся, обиженные приговором судей, могли жаловаться епископам, и эти последние могли таким образом подвергать подобные приговоры пересмотру, изменять их и наказывать судей. Королевские прокуроры, так же как и судьи, обязаны были являться в ежегодно

собиравшиеся епархиальные синоды, чтобы поучаться у духовенства отправлению правосудия; таким образом, правительство готов было в сущности теократическое».

⁶ «Грозные законы против ереси и жестокие юридические преследования евреев,—говорит Мильман,—уже заставляют смотреть на Испанию как на средоточие, как на царство беспощадного изуверства». Как скоро католическая вера овладела престолом и народом, члены Толедских соборов начали издавать канонические постановления и налагать наказания на идолопоклонников, евреев и еретиков.

⁷ Они бежали туда с такой поспешностью, которая вызвала со стороны их заклятого врага, Музы, несколько двусмысленную похвалу. «Он говорил, что они за крепостными стенами лвы, на лошадях орлы, а в пешем строю бабы; ибо умеют пользоваться всяким случаем и после поражения спасаются в горы, как козы, так что земли не слышат под собою».

⁸ Магометанский взгляд на этот первый решительный удар, нанесенный их делу, изложен у Конде: «Так пал этот славный город, и покорением Толедского царства исламу был нанесен тяжелый удар». Христианский же взгляд такой, что «Бог допустил короля покорить эту столицу» (*Флорен*).

⁹ По выпсреннему выражению испанских историков, «в течение восьми столетий происходила почти непрерывная война и было дано три тысячи семьсот сражений, прежде чем последнее из маврских царств в Испании покорилось христианскому оружию».

¹⁰ Тикнор в своей «Истории испанской литературы» говорит: «Ни один народ никогда не считал себя таким совершенным воинством креста, как испанцы со времени их маврских войн; ни один народ не верил так твердо в появление чудес в делах его обыденной жизни; и потому ни один народ никогда не говорил о Божественных деяниях как о вещах, в сущности весьма обыкновенных и простых. Следы такого настроения и характера видны повсюду в испанской литературе».

¹¹ «Духовные вмешивались во все, как в совете, так и в лагере, и нередко в своем священническом облачении вели армии в сражение. Они толковали волю небес, таинственно сообщенную будто бы в видениях и снах. Чудеса были делом весьма обыкновенным. Оскверненные могилы святых посылали громы и молнии на неверных» (*Прескотт*). В половине IX столетия случилось следующее событие: «Во время самого жестокого гонения на христиан Абдаррахман однажды поднялся на крышу своего дворца. Увидев оттуда тела повешенных и посаженных на кол мучеников, он приказал их сжечь, чтобы христианам не достались их мощи. Повеление тотчас было исполнено, но и гнев Божий скоро настиг нечестивца, пролившего святую кровь. Внезапно язык его пристал к небу и гортани и зубы стиснулись так, что он не мог произнести ни одного слова, нистонать. Его снесли на постель, где он скончался в ту же ночь, и еще не погасли костры, на которых тлели тела мучеников, как уже вечный огонь ада поглотил злополучную душу Абдаррахмана» (*Ормис*).

¹² Сиркур («Histoire des Arabes») говорит: «Христиане, не хотевшие покориться, были оттеснены в дикие ущелья Пиренеев, где они могли существовать, как существует красный зверь в лесах».

¹³ «После уничтожения маврского владычества на нашем полуострове осталась еще секта евреев, язва, может быть, еще более вредная и, без сомнения, еще более опасная и распространенная, так как евреи расселились по всем

городам. Но католические монархи, главной заботой которых было искоренение в государстве всякого растения злогокачественного и противного вере Иисуса Христа, издали декрет в Гранаде 30 марта 1492 г., которым повелевалось всем евреям, не принявшим крещения, по истечении четырех месяцев оставить государство» (*Ortiz. Compendio. Madrid, 1798*). Необходимость показать, как эти и подобные им события обслуживались испанцами, заставляет меня приводить их собственные слова с такой подробностью, которая без этого была бы совершенно излишней. Историки вообще слишком склонны обращать больше внимания на общественные дела, нежели на мнения, вызванные этими делами; хотя на самом деле мнения составляют самую драгоценную часть истории, так как они являются результатом более общих причин, между тем как политические действия часто происходят от особенностей характера могущественных личностей.

О числе евреев, действительно изгнанных, я не мог найти достоверного сведения. Считают различно, от 160 000 до 800 000.

¹⁴ Она была введена в Арагоне в 1242 г. Мариана основательно относит инквизицию ко времени Фердинанда и Изабеллы, называя ее «новым святым трибуналом».

¹⁵ Приписка к завещанию Карла до сих пор существует или существовала еще весьма недавно в архивах Симанки. В замечательном сочинении Лафуэнте («*Historia de Espana*») об этой приписке говорится в совершенно испанском духе: «Его завещание проникнуто христианскими и благочестивыми идеями, которыми он руководствовался в жизни, и набожностью, которой отличалась его кончина. Особенно замечателен первый параграф (прибавления к завещанию), в котором он настоятельно предписывает королю Филиппу наказывать с полной строгостью лютеранских еретиков, открытых уже и могущих впредь оказаться в Испании... не разбирая лиц и не уважая никаких просьб, для того, чтобы страхом поддерживать и заставлять уважать св. Инквизицию и т. д.».

¹⁶ Свидетельства соотечественников еще могут быть заподозрены в пристрастии; но, с другой стороны, Раумер справедливо замечает, что его характер был представлен в ложном свете «вследствие того, что историки предпочли неприязненные рассказы французских и протестантских писателей».

¹⁷ При его рвении к истреблению ереси одной из его первых забот было преследование лютеран, и 8 октября в Вальядолиде казнили в его присутствии множество виновных в этом преступлении.

¹⁸ Таким образом произошло то, что «Испания охранила себя от заразы. Карл V достиг этой цели оружием, а инквизиция — кострами. Испания отстранилась от европейского движения» (*Лафуэнте*). Лафуэнте присовокупляет, что, по его мнению, все христианство готово последовать хорошему примеру, поданному Испанией, в искоренении протестантизма. «Если мы не ошибаемся, то наше время (1850 г.) представляет симптомы, из которых видно, что эта задача приближается к своему решению. Католицизм приобретает прозелитов; нынешние протестанты не те, что были прежние, и мы полагаем, что католическое единство со временем осуществится».

¹⁹ До прибытия Альбы Филипп настоятельно приказывал Маргарите, чтобы она употребила все усилия для искоренения еретиков. А в 1563 г. он писал: «Пример и бедствия Франции показывают, как полезно жестоко наказывать еретиков». Испанцы считали голландцев виновными в двойном преступлении: в возмущении против Бога и против короля.

²⁰ Мотлей говорит под 1566 г.: «Принц Оранский высчитывал, что до этого периода, во исполнение указов, в провинциях было казнено пятьдесят тысяч человек. Он был человек умеренный и привыкший взвешивать свои слова».

²¹ Вот его последний совет сыну: «Будь всегда в повиновении у св. Римской церкви и у Папы, которого ты должен считать своим духовным отцом». По отзыву другого писателя, последние слова, которые он произнес, испуская дух, были: «Умираю католиком христианином, веруя в Римскую церковь и покоряясь ей и почитая Папу как хранителя ключей Небес, как главу церкви и как Наместника Бога в мире духовном».

²² Елизавета, соединявшая в себе три ужасные качества — ересь, могущество и ум, была почти до невероятной степени противна испанцам, и снаряжение против нее Армады было вполне национальным предприятием. Несколько слов, сказанных одним почтенным историком (*Davila*), прекрасно обрисовывают чувства, с которыми смотрели на эту королеву даже после ее смерти, и дают возможность читателю составить себе понятие о состоянии испанского ума. «Елизавета, королева английская, кальвинистская еретичка и жесточайшая гонительница крови Иисуса Христа и сынов церкви... Успех во внешних делах государства возбуждал восторг; но самая большая удача, желанная всем христианством, была смерть Елизаветы, королевы Англии, кальвинистской еретички, прославившейся позорной жизнью, преследованием церкви, пролитием крови святых, защищавших истинную католическую веру. Ее злодеяния, однако, записаны на страницах истории; душа ее в адских мучениях пожинает плоды своей упорной надменности и в вечном наказании познает ложность своих стремлений во время земной жизни».

²³ Прекрасно выразился один из замечательнейших историков нашего времени, Мотлей: «Для Филиппа было предметом восторга воплощать гнев Божий на еретиков»... «Филипп жил только для одного — чтобы исполнять то, что он решился считать волей Божией».

²⁴ Это слова Контарини, приведенные у Ранке. Спустя полстолетия после его смерти Sommerdeyk посетил Испанию и в своем любопытном повествовании об этой стране говорит нам, что Филиппа называли «Соломоном своего века». Другой писатель уподобляет его Нуме: Когда он умер, на его похоронах лились слезы и раздавались стенания. От Вандергаммена мы узнаем, что народ приписывал ему «величие, достойное поклонения, и всякие качества, превосходящие обыкновенные человеческие».

²⁵ «Привычка к благоговению, которая, будучи перенесена в религию, порождает суеверие, а будучи введена в политику, производит деспотизм» (*Бокль. История цивилизации. Т. I*).

²⁶ В слепом повиновении древнего испанского рыцаря королевское повеление стояло выше всяких других соображений, даже выше дружбы и любви. Этот кодекс послушания вошел в пословицу: «*mas pesa el Rey que la sangre*» (король дороже крови).

²⁷⁻²⁸ Сид, несмотря на то что был жестоко преследуем Альфонсом, счел первой своей обязанностью после важной победы приказать одному из своих капитанов отвезти королю Альфонсу тридцать хорошо оседланных арабских лошадей и столько же мечей, прикрепленных к седлам, в знак покорности, *несмотря на оскорбление, которое ему нанесли*. Соути с удивлением замечает, что старые летописи представляют Сиду «предлагающим целовать ноги короля».

²⁹ «XVI Толедский собор называл королей *наместниками Бога и Христа*; и соборы того времени чаще всего обращались к народу с увещаниями хранить присягу верности королю и грозили анафемой всем мятежным» (*Sempere. Monarchie Espagnole*). «Кроме предметов гражданского и канонического законодательства и различных других, связанных с церковным управлением, большая часть законов, изданных этими собраниями, имели цель упрочить королевскую власть, провозглашая ее неприкосновенность и назначая строгие наказания нарушителям их и еретикам» и т. д. (*Antequera. Historia de Legislacion Espanola*).

³⁰ Верность обязанностям к высшему лицу доведена в испанском законодательстве до таких крайних размеров, каких я не встречал еще нигде... «Партиды» говорят об одном старом законе, по которому каждый, кто явно пожелал бы видеть короля мертвым, присуждался к смерти и к лишению всего имущества. Самая большая милость, какую могли оказать такому обвиненному, ограничивалась тем, что ему даровалась жизнь, но выкалывались глаза, чтобы он никогда не мог видеть ими то, чего пожелал. Поносить короля считалось таким же тяжким преступлением, как и убить его, и за это наказывали смертью. Самым большим смягчением наказания было, когда виновному только вырезывали язык.

³¹ Таким образом Монтальван, знаменитый поэт и драматург, родившийся в 1602 г., избегал представления на сцене возмущения, чтобы не показалось, что он возбуждает к нему. Подобным же духом отзываются комедии Кальдерона и Лопе де Вега.

³² Г-жа д'Онуа, особенно интересовавшаяся подобными предметами, говорит: «Существует еще один этикет, в силу которого оставленная королем любовница должна постричься в монахини; и мне рассказывали, что когда покойный король, будучи влюблен в одну придворную даму, однажды вечером тихонько постучался в дверь ее комнаты, то она, поняв, кто стучит, и не желая отпереть дверь, ограничилась тем, что из-за двери сказала ему: «*Вауа, бауа, con Dios, no quiero ser monja*», т. е. «Ступайте, ступайте, с Богом, я не желаю быть монахиней». Точно так же Генрих IV Кастильский, вступив на престол в 1454 г., сделал одну из своих любовниц «настоятельница одного монастыря в Толедо»; и это всех скандализировало, потому что, как говорит Прескотт, он для этого изгнал ее предшественницу, девицу знатного рода и безупречного поведения».

³³ Есть, однако, один весьма замечательный старый закон, в форме канона, изданный третьим Сарагосским собором, по которому вдовы королей «обязаны обещаться в монашеское одеяние и на всю остальную жизнь заключиться в монастыре».

³⁴ Г-жа д'Онуа пишет в 1679 г. из Мадрида: «Как бы ни были богаты гранды, как бы ни была велика их гордость или надменность, они все-таки исполняли малейшие приказания короля с такой точностью и уважением, которых нельзя достаточно похвалить. По первому велению они отъезжают, возвращаются, отправляются в темницу, в изгнание без малейшего ропота. Трудно найти более совершенную покорность и послушность и более искреннюю любовь, как любовь испанцев к их королю. Имя его для них священо, и чтобы заставить народ сделать, что угодно,— достаточно сказать: «*Так угодно королю*»».

³⁵ Ученый испанский законовед Семпере сделал несколько замечаний, которые стоит привести и которые заключают в себе странную смесь истины с заблуждением: «Каким образом испанская монархия могла низойти с такого величия и славы? Каким образом она потеряла Нидерланды и Португалию в XVII столетии и сделалась одним скелетом того, чем была прежде? Каким образом исчезло

более половины ее населения? Каким образом, при обладании неисчерпаемыми рудниками Нового Света, ее государственные доходы в царствование Филиппа III не превышали шести миллионов *червонцев*? Каким образом погибли в ней земледелие и промышленность? И каким образом почти вся ее торговля перешла в руки ее величайших врагов? Здесь не место приводить истинные причины такого печального превращения; достаточно сказать, что *подобные великие государства носят в самих себе зародыш своего разложения*» и т. д. «Впрочем, преемники этих двух государей (Карла V и Филиппа II) не имели их дарований, равно как и их министры; но вообще трудно разбирать влияние хорошего или дурного управления делами на благосостояние или бедствие наций. При одной и той же форме правления, какова бы она ни была, *государства падают либо возвышаются, смотря по способности их правителей* и по обстоятельствам, при которых они действуют». Из двух выражений, которые я обозначил курсивом, первое есть неловкая, хотя и обыкновенная, попытка объяснить сложные явления метафорой, которая избавляет от труда обобщать законы этих явлений. Другое выражение, хотя совершенно справедливое относительно Испании, не допускает такого всеобщего применения, как полагает Семпере; особенно неприменимо оно к Англии или Соединенным Штатам, народное благосостояние которых постоянно увеличивалось даже и тогда, когда они были управляемы самыми неспособными людьми.

³⁶ Некоторые новейшие испанские писатели, обратив внимание на большие издержки, причиненные политикой Филиппа II, и на сделанные им долги, полагают, что упадок страны начался в последние годы его царствования. Но дело в том, что ни один великий народ не был и не будет разорен расточительностью своего правительства. Подобное зло причиняет, правда, всеобщее расстройство, но я легко мог бы доказать, если бы здесь были уместны пространные доводы, что его другие, более постоянные неудобства заключаются вовсе не в том, в чем их обыкновенно предполагают.

³⁷ «Филипп III, погруженный в набожность, Филипп IV, увлеченный удовольствиями, и Карл II, изнуренный страданиями, мало или вовсе не заботились об управлении государством и вручили его надменным, алчным и неспособным любимцам, оставившим по себе грустную память» (*Rio. Historia del Reinado de Carlos III en Espana*).

³⁸ Вот что говорит Давила о Филиппе II: «Он правил один, без помощи любимцев. Как главный двигатель администрации, он повелевал и запрещал, награждал, миловал и карал, рассматривал дела, выбирал министров и давал места. Подобно духу, парящему над водами, он все знал и все предвидел, дабы ничего не делалось без его приказанья. Министры были только исполнителями его повелений, и он за ними наблюдал, как пастырь за стадом, чтобы убедиться, в точности ли исполнялись его приказанья».

³⁹ Даже Филипп II всегда сохранял некоторую власть над духовной иерархией, несмотря на совершенное подчинение религиозным предрассудкам. «В то время как Филипп желал таким образом возвысить духовное сословие, уже и без того слишком могущественное, он все-таки старался, чтобы оно никогда не достигало положения, которое ставило бы его выше королевской власти» (*Прескотт*). «Но этот монарх, столь привязанный к инквизиции, пока она служила его целям, умел очень хорошо удерживать святое судилище в законных пределах, когда это последнее пыталось посягать на преимущества королевской власти или присваивало себе чрезмерные права» (*Лафузенте*).

⁴⁰ В одном только выказал энергию Филипп III, это в содействии усилиям своего министра, направленным к распространению влияния церкви.

⁴¹ Сущность прошения состояла в том, «чтобы основательнее было об-суждено, каким образом положить предел ежедневному переходу имений из светских рук в духовные, отчего скудеет не только королевское, но и общественное достояние, над которым тяготеют всевозможные подати и повинности... Что монастырей множество, нищенствующих пропасть, а духовенства страшное количество. Что в Испании 9088 мужских монастырей, не считая уже женских. Что мало-помалу пожертвованиями и продажей все королевство перейдет во владение духовенства. Что необходимо положить преграду такому великому злу. Что необходимо ограничить как число монастырей, так и черного и белого духовенства».

⁴² «Царствование Филиппа III, прозванного вследствие его набожности Добрым, было золотым веком для духовенства. Хотя богослужбные учреждения были уже и без того слишком многочисленны, но число их еще более увеличено, а в существовавших уже были воздвигнуты новые алтари. Как бесполезно увеличивали число священнослужителей, еще более ясно из того факта, что в Севильском соборе их было сто, тогда как и полдюжины было бы совершенно достаточно для отправления божественной службы» (*Дунгам*).

⁴³ «Между тем могущество и власть церкви, ежеминутно возрастая, увеличились до громадных размеров. Ее огромные богатства значительно уменьшали доход казны, и духовное звание, в которое прежде часто поступали только преследуемые несчастиями в жизни, теперь сделалось самым привлекательным вследствие огромных преимуществ, которые оно представляло перед другими сословиями» (*Антекера*). «Утварь здешних церквей, а также богатство и великолепие гробниц, находящихся в каждом монастыре (если принять в соображение всеобщую бедность этого государства), почти невероятны. В этом народе миряне могут сказать с Давидом (хотя и в другом смысле): «*Zelus domus tuae comedit me*», ибо в самом деле богатства мирян попали некоторым образом во рты духовных» (*Винвуд*).

⁴⁴ «В царствование Карла V 2 000 000 дукатов, получаемых духовенством, считались непомерным доходом; а полстолетия спустя, когда этот доход воз-высился до 8 000 000, считали еретическим всякое предложение, стремившееся к некоторому ограничению его возрастания» (*Семпере*).

⁴⁵ В сочинении об испанской литературе, изданном в конце прошлого века и наделавшем много шума при своем появлении на свет, эта особенность откровенно допускается, но она отнесена скорее к чести Испании в том отношении, будто эта страна произвела философов, исследовавших вещи глубже, чем Бэкон, Декарт и Ньютон, которые хотя и были, без сомнения, люди смышленные, но ни в каком случае не могут быть сравнены с великими мыслителями Пиренейского полуострова. Подобные уверения, как высказываемые не каким-нибудь невежественным порицателем естествознания, осуждающим то, чего он не потрудился изучить, но человеком действительно талантливым и в некоторой степени знающим это дело, весьма важны для истории мнений; и так как книга эта не из обыкновенных, то я сделаю из нее два или три извлечения. «Хотя французы соглашались, что Декарт был мечтатель, они все-таки утверждают, что он подвинул вперед европейскую философию, как будто его мнения очень отличаются от учений древних. Его трактат «О методе» не выдержит сравнения с сочинением Хуана Луиса Вивеса «Об упадке искусств», написанным гораздо раньше...»

«Действительно, у нас не было ни Картезия, ни Ньютона, и мы не очень жалею об этом, но у нас были справедливейшие законодатели и превосходные практические философы, предпочитавшие невыразимое удовольствие трудиться для пользы человечества пустому созиданию мнимых миров в уединенной тишине кабинета».

⁴⁶ Окончательное пострижение последовало не ранее 1616 г., но он начал носить монашеское одеяние в 1613 г.

⁴⁷ В 1623 г. Говель пишет из Мадрида: «В Испании оказывают церкви такое уважение и имеют такое святое понятие о всех духовных лицах, что величайший сановник не осмелится оскорбить или обидеть самого низшего из духовных. Благоговение перед священнодействиями церкви удивительно; короли и королевы не гнушаются целования рукава капуцина или священника... Здесь нет таких скептиков и спорщиков, как в других странах». В 1669 г. другой наблюдатель пишет: «В Испании властвуют монахи и всюду, где бы ни находились, занимают первое место».

⁴⁸ «Кардинал Ришельё, который был не слишком способен к состраданию, называет дело это *самым смешным и самым бесчеловечным решением*, какое встречается в истории всех предшествовавших веков» (*Сисмонди*).

⁴⁹ «Эти несчастные были бы все истреблены, если бы не согласились принять крещение. Посреди развалин своих жилищ, на дымящихся трупах своих жен они падали на колена. Germanos, упоенные кровью, исполняли обязанности священников; один из них, схватив метлу, окропил ею толпу мусульман, произнося при этом таинственные слова, и думал, что этим сделал из них христиан. Потом армия germanos рассеялась по окрестностям, грабя сначала, а потом крестя».

⁵⁰ Вандергаммен говорит нам только: «В 1566 г. королевским повелением предписано было морискам оставить одежду, язык и обычаи свои и во всем соображаться с христианами... Чтобы мориски в три года выучились говорить по-испански и чтобы по истечении этого срока никто не читал, не писал по-арабски, ни открыто, ни тайно, чтобы все условия и контракты, заключенные на арабском языке, считались недействительными, чтобы все книги, написанные по-арабски, были представлены в течение тридцати дней председателю Гранадского суда для рассмотрения, с тем что оказавшиеся неупреждаемыми дозволено будет хранить еще в течение трех лет; чтобы более не носили платья маврского покроя, чтобы женщины, одетые по-маврски, не закрывали лиц, чтобы при свадьбах не было ни обрядов, ни увеселений маврских, чтобы соображались с предписаниями матери-церкви, чтобы в такие дни двери домов были открыты, равно как и в праздники, чтобы не пели и не играли маврских песен, хотя бы в них не заключалось ничего противного христианской вере» и т. д.

⁵¹ Один такой случай был в 1578 г., в самый день рождения Филиппа III.

«В тот самый день, когда родился король, монах по имени Варгас проповедовал в местечке Рикла, или Торрелес, в Арагоне, населенном исключительно морисками. Видя, что его проповедь принесла мало плодов, он обратился к упорствующему народу со следующими пророческими словами: «Так как вы, проклятые еретики, не хотите отстать от ваших заблуждений, то знайте, что в Кастилии родился принц, который вас изгонит из Испании!»».

⁵² «Почему можно полагать, что Господу Богу угодно было даровать Вашему Величеству подвиг столь достойный короля, подобно тому как Он избрал Моисея для освобождения Своего народа, Иисуса Навина — для введения его в обетованную землю, Саула — для истребления амалекитян, а Давиду даровал

победу над филистимлянами)... «Когда Бог избрал первого царя мира и утвердил за ним царство, Он через пророка повелел ему истребить амалекитян, не щадя ни мужчин, ни женщин, ни грудных детей, чтобы не осталось и следа этого народа. Царь не исполнил в точности этого повеления, и гнев Божий лишил его царства. Второй царь, Давид, исполнил данный Богу обет и истребил филистимлян».

⁵³ «Когда погибла могущественная Армада, посланная против Англии, я, как духовник и верный вассал, полагаясь на благосклонность покойного короля, осмелился сказать Его Величеству, что после долгого размышления о причине, по которой Господь допустил такое несчастье, я убедился, что этим Царь Небесный хотел сказать католическому королю, что он не должен заниматься уничтожением ереси в чужих странах, пока не искоренит ее во вверенной ему Испании. Теперь же, уповая на милость Вашего Величества, я осмеливаюсь также сказать, что если Господь не допустил нас завоевать Алжир, несмотря на великую предусмотрительность, с какой экспедиция была снаряжена, и несмотря на хорошую погоду и многие другие обстоятельства, способствовавшие ей благоприятнейшим образом, то это, без сомнения, потому, что Ему угодно было в последний раз напомнить Вашему Величеству об обязанности совершить это богоугодное дело». Было бы жаль, если бы такой удивительный образчик теологического рассуждения остался погребенным в старом римском *in quarto*. Я поздравляю себя самого и читателя с тем, что я приобрел книгу Хименеса «*Vida de Ribera*», которая представляет обширное хранилище могущественных, хотя и устаревших орудий.

⁵⁴ «Все эти обстоятельства и многие другие,—о которых я не упоминаю, чтобы не слишком распространиться,—по моему мнению, ясно доказывают, что для службы Божией Ваше Величество по совести обязаны, как король и высший повелитель, который должен защищать и сохранять свое государство, повелеть изгнать из Испании всех морисков, не щадя никого. Можно оставить только детей моложе семи лет, поместив их в домах старых христиан. Некоторые ученые люди весьма дельно полагают, что Ваше Величество можете отдать этих детей в невольники. Из тех же, которых следует изгнать, Ваше Величество можете, без всякого угрызения совести, иных назначить в службу на галеры, а других послать на работу в американские рудники, что принесет немалую пользу». Сделать это значило быть милосердным, потому что все они заслуживали «наказания смертью».

⁵⁵ «Теперь мы видим, Ваше Католическое Величество, что Господь Бог, по неисповедимым Его судьбам, допуская, чтобы сохранились те, которые всегда были врагами его церкви, и чтобы другие покинули ее, предоставил Вашему Величеству звание и подвиги католического короля. Вы для славы Божией избраны, чтобы очистить Испанию от еретиков и примером вашим пристыдить других королей. Хотя бы это и стоило больших трудов и всего золота и серебра Америки, все-таки это не было бы напрасной тратой. Эти деньги, напротив, будут употреблены с пользой, ибо Вы их жертвуете на возвеличение славы Божией, Его церкви и Вашей короны» и т. д.

⁵⁶ «Он уверял всех старых мирян, что, по слову короля, они могут, без всякого зазрения совести, перерезать всех морисков и не щадить их, хотя бы они и называли себя христианами, а следовать священному и похвальному примеру крестоносцев, поднявшихся на альбигойцев, которые (крестоносцы), завладев городом Безьер, населенным двумястами тысячами католиков и еретиков, спросили отца Арнольда, цистерцианского монаха, главного их проповедника, должны ли они предать мечу тех, которые объявят себя католиками; и получили ответ

от святого аббата, что они должны убивать всех безразлично и предоставить Богу, Который знает своих верных слуг, вознаградит в будущей жизни тех, которые были истинными католиками, что и было исполнено» (*Geddes*).

⁵⁷ В одной современной проповеди, сказанной в воспоминание изгнания мавров, проповедник радостно восклицает: «Какая слава для нашего государства может быть выше той, что мы все, живущие в нем, верны Богу и королю и избавлены от соседства этих еретиков и изменников?» Другой священник восклицает: ««Наконец, они выселились, и земля наша избавилась от этого гнусного народа». Усердие, с которым короли Испании во всякое время поддерживали католическую веру, достойно внимания, ибо в разные времена они изгнали из своего королевства три миллиона евреев, врагов нашей церкви» (*Давила*).

⁵⁸ См. проповедь архиепископа Валенсии. Я бы охотно выписал ее всю, но довольно будет познакомить читателя только с частью заключения: «Описывая благоденствие сынов Израиля в царствование Соломона, Св. Писание говорит, что они жили в безопасности, спали под сенью своих виноградников и смоковниц, не боясь никого. *Таким же счастьем будем наслаждаться и мы в Испании отныне впредь* благодаря милосердию нашего государя и отеческой заботливости Его Величества. У вас всего будет в изобилии: земля оплодотворится и благословение низойдет на нее. С тех пор как эти проклятые окрестились, не было ни одного хорошего урожая. Теперь все годы будут урожайные, ибо эти люди навлекали своей ересью и своим богохульством бесплодие на землю, которая, по словам царя пророка, Давида, истощилась и заразилась от стольких грехов и гнусностей... И они населят бесплодные места и будут пить вино из своих виноградников и есть плоды из своих садов, и никто их не изгонит из их жилищ, говорит Бог. Все это обещает Господь через двух пророков Своих. *Всего, повторяю вам, будет у нас в изобилии...* воспоминание об этом сохранится вовеки».

⁵⁹ «Среди благоговейного ликования целого королевства Сервантес, Лопе де Вега и другие гениальные люди участвовали во всеобщем торжестве» (*Тикнор*). Порреньо говорит, что это торжество «может быть причислено в семи чудесах света». Все это довольно естественно; но что действительно любопытно, так это проследить новейшие остатки этого чувства. Кампоманес, весьма способный человек и гораздо более либеральный, нежели большая часть его современников, не стыдится говорить о справедливом изгнании морисков с 1610 по 1613 г. Ортис в 1801 г. говорит менее решительно, но очевидно в пользу меры, которая освободила Испанию от оставшегося в ней вредного семени Магомета. Даже в 1856 г. великий новейший историк Испании (*Лафуэнте*), допуская серьезный материальный вред, причиненный стране этим ужасным преступлением, уверяет нас, что оно имело то «огромное преимущество», что произвело религиозное единство; но он упустил из виду, что самое это единство, которым он хвастает, порождает уступчивость и застой ума,—свойства, пагубные для всякого существенного улучшения, потому что оно предупреждает тот обмен и то столкновение мнений, от которых умы людей изощряются и делаются способными к дальнейшей работе. А год спустя после того, как это премудрое мнение было заявлено миру, другой знаменитый испанец (*Yáñez*), в сочинении, увенчанном королевской исторической академией, заходит еще далее и объявляет, что изгнание морисков не только оказало великое благодеяние, обеспечив единство веры, но что подобное единство было «необходимо на испанской почве». «И если мы с экономической точки зрения порицаем эту меру, вредные

последствия которой тотчас обнаружились, то, с другой стороны, беспристрастие историка заставляет нас одобрять ее за несметные блага, которые она принесла увеличением порядка религиозного и государственного... Единство веры было необходимо в Испании». Что думать о стране, в которой выражаются подобные мнения не какими-нибудь невежественными фанатиками, с подмостков или кафедры, но способными и учеными людьми, которые проповедуют их со всем авторитетом своего положения, считая себя чуть ли не слишком смелыми и слишком либеральными для народа, которому посвящают свои сочинения?

⁶⁰ Более благоразумные из испанцев замечают с сожалением это национальное презрение во всякой отрасли полезной промышленности. Один путешественник, ездивший по Испании в 1669 г., говорит о народе: «Они презируют до такой степени труд, что большая часть ремесленников у них иностранцы». Другой путешественник между 1693 и 1695 гг. говорит: «Они считают несогласным с достоинством испанца — работать и заботиться о будущем». Третий наблюдатель в 1679 г. уверяет нас, что «они сносят гораздо легче голод и другие житейские нужды, нежели труд, говоря, что рабочие суть не что иное, как рабы».

^{60a} «На карте Испании в тысяче мест надписано это постыдное слово «Despoblado» (не населено); в тысяче мест дикая природа заменила пашни. Заметьте направление пустырей и справьтесь с реестрами комиссаров изгнания, и вы увидите почти всегда, что семейства морисков населяли эти пустыни. Покинутая ими земля их предков сделалась достоянием воров, которые с некоторой безопасностью нагло распространяли свои сношения по всей Испании. Разбои организовали нечто вроде обычного промысла, а спутница их — контрабанда — начала свою деятельность столь же дерзко, сколько и успешно» (*Circourt. Histoire des Arabes d'Espagne*).

⁶¹ Правительство тогда только сделалось чувствительно ко всему этому, когда нашло, что нельзя более выжимать деньги из народа. В мае 1667 г. Государственный совет, созданный королевой, сказал, между прочим, следующее в своем донесении: «Что касается денежных средств, которые хотели бы извлечь из Испании под видом ли добровольных приношений или как-нибудь иначе, то Совет находит, что весьма трудно обложить народ новыми тягостями»; а в ноябре того же года, при другом собрании Совета, была составлена записка, в которой излагалось, что «со времени царствования Фердинанда Католика и до наших дней испанская монархия еще ни разу не была так близка к падению, так истощена, так бедна средствами, необходимыми для того, чтобы стать лицом к лицу с большой опасностью».

⁶² Только точное и неопровержимое показание современного свидетеля может сделать эти вещи вероятными. В 1686 г. Alvarez Osorio y Redin писал свои «Discursos». Они были изданы в 1687 и 1688 гг., а в 1775 г. перепечатаны в Мадриде; из этого перепечатанного издания и извлекаю следующие замечательные слова: «Необходимо описать со всей краткостью, какую допускает этот предмет, каким образом сборщики податей грабят города и села под предлогом служения Вашему Величеству. Они являются и сообщают местным властям о своем поручении. Тогда последние просят их щадить жителей, терпящих крайнюю нужду. Первые же, по своему обыкновению, тотчас отвечают, что не их дело миловать, что им велено собирать подати со всей строгостью и что им сверх этого нужно доставать и собственное жалованье. Они отправляются в дома бедных земледельцев и других жителей, отбирают последние деньги, а где их нет, берут вещи в залог. У кого и вещей нет, у тех отнимают даже жалкие постели, на которых

спят бедняки, и наконец остаются продавать собранное до тех пор, пока возможно... Эти грабежи совершаются и в настоящее время и принуждают деревенских жителей покидать свои дома и оставлять поля невозделанными. Сборщики же, действуя как в неприятельской земле, не чувствуют никакой жалости при виде этих печальных зрелищ. Они продают покинутые дома, когда только находят покупателей, если же их нет, то снимают крыши и продают балки и черепицу за бесценок. От этого разорения в деревнях едва осталась третья часть домов, и много народа погибло от разных лишений. Народонаселение Испании уменьшилось наполовину, и если описанные злоупотребления скоро не прекратятся, то придется населять ее людьми из других государств».

⁶³ «Столетие тому назад,— говорит Дюнлоп,— Испания была так же полновластна на море, как и на суше; ее обыкновенные морские силы состояли из 140 галер, которые были ужасом Средиземного моря и Атлантического океана. Но теперь (1656 г.), вследствие упадка торговли и прибрежного рыболовства, вместо многочисленных эскадр Дориев и Мендос, требовавшихся для содействия предприятиям первого великого Хуана Австрийского и императора Карла, нынешний генерал-адмирал Испании и любимый сын ее монарха вышел в море с тремя плохими галерами, которые с трудом ушли от каких-то алжирских корсаров и впоследствии едва не потерпели крушения у берегов Африки». В 1663 г., по словам Минье, «в Кадиксе не было ни кораблей, ни галер, способных выйти в море. Мавры делали дерзкие нападения на берега Андалусии и забирали безнаказанно лодки, осмеливавшиеся удалиться на одну лигу от рейда. Командовавший морскими силами герцог Альбукерке громко жаловался на унижительное положение, в котором его оставляли. Он настоятельно требовал, чтобы ему дали матросов и солдат для посадки на суда; но граф Кастрильо, президент финансового совета, объявил, что у него нет ни денег, ни возможности найти их, а потому советовал отказаться от морских сил».

⁶⁴ В 1680 г. г-жа Вильяр, жена французского посла, пишет из Мадрида, что дела там были в таком положении, что муж ее считал благоразумным, чтобы она возвратилась домой. В одном письме, написанном датским послом в 1677 г., говорится, что каждый дом в Мадриде правильно вооружен «сверху донизу». Случаи голодной смерти были, говорят, особенно многочисленны в Андалузии, и севильское городское правление прислало депутацию представить королю, что в городе осталась только четвертая часть того населения, которое он имел за пятьдесят лет до того.

⁶⁵ В 1681 г. жена французского посла пишет из Мадрида: «Мне нечего уже и говорить вам о крайней бедности этого королевства. Голод ощущается даже в самом дворце. Я была вчера в обществе восьми или десяти камеристок и Молины, которые говорили, что им уже давно не отпускают ни хлеба, ни говядины. В конюшнях короля и королевы происходит то же самое».

⁶⁶ «Недостаток хлеба быстро приближается к голоду, усиливаясь от стечения страшного множества нищих из окрестных местностей. Я кое-как перебивался до сегодняшнего дня, но трудность достать что-либо без содействия властей заставила меня обратиться к Коррежидору, подобно тому, что уже сделали прежде большая часть иностранных министров; он, весьма вежливо осведомившись о числе членов моего семейства, дал ордер на ежедневное получение двадцати хлебов; но я должен послать за ними за две лиги, в Вальехас, что я сделал уже сегодня вечером, и мои слуги возвращаются вооруженные длинными ружьями, иначе у них отняли бы ношу, ибо ежедневно на улицах случается

несколько убийств в драках из-за хлеба,—все, что кому удастся захватить, считается законной добычей»...

⁶⁷ В 1714 г. признано было необходимым, чтобы Филипп, не имевший счастья получить испанское воспитание, был просвещен на счет значения инквизиции. Поэтому ему сообщили, «что чистота католической веры в Испании зависит от бдительности инквизиции, слуги которой все справедливы, снисходительны и осмотрительны, а не строги и жестоки, как их ошибочно или злонамеренно описывают французы. Что целость государства очень много зависит от сохранения чистоты католической веры» (*Ортис*). У Бакальяра есть интересный рассказ о нападениях на права церкви,—нападениях, которые, по его словам, «несообразны с учением отцов церкви и с ее привилегиями и очень близки к ереси». Он выразительно присовокупляет: «Испанцы, столь благочестивые и преданные церкви, стали думать, что ее угнетают. *Обнаруживалось некоторое волнение, поджигаемое противниками короля, который, несмотря на чистоту своих намерений, мог быть введен в заблуждение, но никогда не мог увлечься до сопротивления священным католическим законам*» и т. д. Подобные слова, исходя в XVIII столетии из уст человека, подобного маркизу де Сан-Фелипе, имеют немалую важность для истории испанского ума.

⁶⁸ Уже в мае 1702 г. Филипп V в письме к Людовику XIV жалуется, что испанцы противодействуют ему во всем. «Я считаю себя обязанным сказать вам, что я все более и более примечаю, как мало имеют испанцы усердия к моей пользе, как в ничтожных вещах, так и в важных, и что они сопротивляются всему тому, чего я желаю».

⁶⁹ Однако заем в четыре миллиона, сделанный у духовенства в 1707 г., очень не понравился Папе или его министрам.

⁷⁰ Маркиз Сан-Фелипе, писавший в 1725 г., говорит: «Католические короли постановили основным законом не заключать мира с магометанами. Эта бесконечная война продолжается со времени короля Пелайо более семи столетий, без заключения перемирий или мирных договоров, каковые беспрестанно заключаются императором и другими католическими государями». В самом влиятельном сочинении о коммерции, появившемся в царствование Филиппа V, я нашел следующее поучительное место: «Хотя через это Испания не может принимать большого участия в торговле с портами Средиземного моря в Европе, Азии и Африке, столь выгодной для некоторых народов, но все-таки будет соблюдено правило: постоянно воевать с маврами и турками (владеющими большей частью прибрежных земель), несмотря на то, что *в этой войне, происходящей, однако, от христианского усердия, мы сами терпим больший вред, чем причиняем неверным* (замечательно, как здесь проглядывает меркантильный дух), по крайней мере в течение многих лет, как я это объяснял в различных главах».

⁷¹ «Их леность и их невежество не только в науках и искусствах, но чуть ли не вообще во всем, что происходит вне Испании и даже, можно сказать, вне их мест жительства,—почти равносильны и одинаково непостижимы. Они очень бедны, и это происходит от их крайней лености... Воспитание их детей похоже на то, какое они сами получили от своих отцов, т. е. они не обучаются ни наукам, ни ремеслам; и я не думаю, чтобы между всеми грандами, каких я знал, нашелся хоть один, который сумел бы сказать свое имя... Они несколько не любопытствуют видеть чужие края и еще менее знать, что в них делается» (*Грамон*). «Даже там не вся земля возделывается местными жителями; во время пахания, посева и уборки хлеба к ним приходит множество крестьян из Беарна и других мест

Франции, которые зарабатывают большие деньги тем, что сеют и убирают их хлеб. Архитекторы и плотники у них тоже большей частью иностранцы, которые берут втрое против того, что получили бы в своем отечестве. В Мадриде не видно ни одного водовоза, который не был бы иностранец, и большая часть башмачников и портных также иностранцы» (*Соммердейк*).

⁷² В 1535 г. это был, как описывают, «великий университет с семью или восемью тысячами студентов». Но подобно всему, что было ценного в Испании, и университет этот упал в XVII столетии; и Монконис, который тщательно осматривал его в 1628 г. и который хвалит некоторые из существовавших еще в нем порядков, присовокупляет: «Но я все-таки принужден сказать после стольких похвал, что обучающиеся в этом университете совершеннейшие невежды». Однако их невежество, любопытные примеры которого приводит Монконис, не помешало испанским писателям в то время и долго спустя считать Саламанкский университет величайшим в мире учреждением этого рода, «славнейшей матери всех наук и самых великих гениев, какие прославили человечество».

⁷³ Один знаменитый испанский писатель XVIII столетия просто хвастает невежеством своих соотечественников в математике и видит в их пренебрежении к этому глупому занятию решительное доказательство их превосходства над другими народами. «Не давайте ослеплять себя замысловатыми выкладками и запутанными доказательствами геометрии, с помощью которых хитрый ум скрывает обман под личиной истины. Пользу математики мы видим на алхимии, которая учит подделывать золото».

⁷⁴ Этот маленький эпизод отмечен Кабаррюсом, в его «Elogio de Carlos III». «Здоровый воздух, чистота и безопасность на улицах... Но кто бы поверил, что это благородное предприятие вызвало самые громкие жалобы, что неучи всех классов общества возмутились этим, и что дикое мнение, будто мепитические испарения служат спасительным средством против суровости климата, нашло защитников между разными авторитетами? Но самые полные подробности можно найти в «Истории Карла III» Рио, из которой я приведу одно или два извлечения. «Городская дума имела суммы на очищение улиц, но когда король обратил внимание на эту отрасль полицейской деятельности, она представила ему нелепый отзыв медиков, защищавший грязь, как элемент здоровья». Когда министр Эскилаче упорствовал в своих попытках очистить улицы Мадрида, противники его плана справились с мнениями своих отцов об этом предмете, и результатом этого было, «что ему представили весьма оригинальное решение врачей в царствование одного из Филиппов из дома Австрийского, где утверждалось, будто городской воздух, весьма резкий по причине близости Гуадаррамы, бывает очень вреден, если не питается испарениями, поднимающимися из грязи, покрывающей улицы». Что эта мысль была долго поддерживаема мадридскими врачами, это мы знаем также из другого свидетельства, с которым не знаком ни один из испанских историков. Уинн, посетивший Мадрид в 1623 г., описывая одно отвратительное обыкновение жителей, говорит: «Когда я пожелал знать, как допускают такой скотский обычай, мне сказали, что это предписывается их врачами, которые держатся того мнения, будто воздух так пронзителен и едок, что подобная порча его дурными испарениями как бы сдобривает его»...

⁷⁵ В 1780 г. бедный Кемберленд в бытность свою в Мадриде чуть-чуть не был уморен тремя из тамошних докторов в каких-нибудь несколько дней; самый опасный из них был ни более ни менее как «главный доктор гвардии», который, говорит несчастный страдалец, был «послан ко мне властями».

⁷⁶ «В Лондоне, в Стокгольме, в Париже, в Вене и в Венеции представителями государя — иностранцы. Князь Массерано, итальянец — послом в Англии; граф де Ласи, ирландец, — резидентом в Стокгольме; маркиз Гримальди — послом во Франции (до своего министерства); граф Мегони, ирландец, — послом в Вене; маркиз Скилачи (по выходе из министерства) — послом в Венеции» (*Бургоэн*). К этому я могу прибавить, что в царствование Филиппа V итальянец, маркиз де Беретти Ланди, был представителем Испании в Швейцарии, а потом в Гааге и что в 1779 г., или несколько раньше, Ласи занимал такой же пост в Санкт-Петербурге. Точно так же Рио говорит о важных переговорах, происшедших в 1761 г. между Испанией, Англией и Францией: «Таким образом испанцы были отстранены от переговоров, которыми Людовик XV хотел опутать Карла III, так как, с одной стороны, они велись французами, герцогом Шуазелем и маркизом Оссе́ном, а с другой — ирландцем маркизом Уоллем и генуэзцем Гримальди. Около того же времени Кларк пишет: «Испания в течение многих лет была под управлением министров из иностранцев. Было ли то вследствие недостатка способных людей между природными испанцами или же вследствие нерасположения к ним государей, я не берусь решать. Но как бы то ни было, туземное дворянство сетует на это, как на великое зло».

⁷⁷ «Будучи в Париже в 1786 г., я слышал следующий анекдот от лица, знакомого с энциклопедистами. В продолжение своего пребывания в этой столице Аранда часто высказывал литераторам, с которыми водил компанию, свою решимость добиться уничтожения инквизиции, если только он будет когда-либо призван к управлению. Поэтому назначение его было торжественно приветствуемо этой партией, и в особенности Д'Аламбером. Едва только Аранда начал свои реформы, как уже появилась статья в печатавшейся тогда «Энциклопедии», в которой смело предсказывалось это событие на основании либеральных убеждений этого министра. Аранда был поражен, читая эту статью, и сказал: «*Это неосторожное раскрытие поднимет против меня такую бурю, что все мои планы рушатся*». Он не ошибся в своей догадке» (*Кокс*).

⁷⁸ Даже случай, бывший в 1781 г., относится, по-видимому, скорее к колдовству, нежели к ереси. «Последняя жертва, погибшая на костре, была некая *блаженная*: ее сожгли в Севилье 1 ноября 1781 г. за то, что она вступила будто бы в договор и имела плотскую связь с демоном, а также за упорное заперательство в своей вине. Она могла бы избежать смерти, признав себя виновной в преступлении, в котором обвиняли ее» (*Льоренте*). Около того же времени пытка стала выходить из употребления в Испании.

⁷⁹ «Замечательно число пленных, которых в течение трех столетий варварийские пираты увозили с испанских берегов. В прошлом столетии считали, что в Алжире постоянно находились 30 000 испанских невольников. Выкуп их, считая по меньшей мере по тысяче песо за человека, составлял тридцать миллионов песо».

⁸⁰ Рио, которого объемистая «История царствования Карла III», несмотря на ее многочисленные пропуски, имеет значительные достоинства, более справедливо оценил личный характер короля, чем кто-либо из предшествовавших ему писателей; он имел доступ к разным необнародованным бумагам, из которых видна необыкновенная энергия и деятельность Карла. «Ни одно из наших самых замечательных лиц не превосходит Карла III. Не высокое положение его в свете делает его замечательным, а блестящая роль, которую он играл как муж совета, вводя бесчисленные улучшения, покрывшие его неувядаемой славой. Знаю, что

иные упрекают этого монарха в недальновидности и узости взгляда, что другие полагают, будто министры обманом или неожиданностью вынуждали его к изданию некоторых постановлений. Но сорок восемь томов его собственноручной переписки, с октября 1759 г. по март 1783 г. с маркизом Танучи, хранящиеся в архивах в Симанке, которые я читал страницу за страницей, делая при этом подробные выписки, дают вернейшее средство изобразить его таким, каким он действительно был, проникнуть в его самые задушевные мысли и опровергнуть мнение тех, которые его судят поверхностно.

⁸¹ Лафуэнте, который справедливо хвалит выказанную Фердинандом VI любовь к миру, присовокупляет: «Доказательством хорошего управления Фердинанда VI служит то, что при смерти этого доброго государя в казне оставалось триста миллионов реалов, за покрытием всех государственных расходов,—явление, в первый раз встречающееся в Испании. Подобный результат свидетельствует, конечно, и о хорошей администрации, но он мог быть достигнут только его мудрой нейтральной и миролюбивой политикой».

⁸² «Карлу III обязан Мадрид своим нынешним великолепием. Его работами окончен королевский дворец, воздвигнуты величественные ворота Алькала и Сан-Висенте, построены таможня, почтамт, музей и королевская типография, улучшена академия трех изящных искусств, учрежден кабинет естественной истории, ботанический сад, национальный банк Сан-Карлоса и многие даровые школы; кроме того, проведены удобные дороги из города и устроены прекрасные места гуляний внутри и вне его, украшенные статуями и фонтанами,—все это свидетельствует об отеческой заботливости этого короля» («Spain by an American». London, 1831).

⁸³ Следующее место изображает состояние ее в 1766 г.: «Добровольно или под влиянием страха содержатели постоянных дворов позволяли разбойникам собираться в них. Там они условливались о своих предприятиях и потом выполняли их безнаказанно, скрываясь в пещерах, откуда прогоняли диких зверей. Иногда в отдалении от редких деревень показывались пастухи вроде тех, с которыми, по словам Сервантеса, встретился смышленный идальго Ламанчский. Часть этого хребта была заселена маврами, теперь же все было покрыто густым кустарником и единственное обитаемое место была обитель Св. Елены, откуда раздавались звуки благодарственных молебствий за славную победу при Лас Навас» (*Río. Historia del Reinado de Carlos III*).

⁸⁴ Действительно, Río говорит, что издержки на них были уменьшены на две трети, а в некоторых частях и на три четверти. «Прежде постройка каждой мили стоила миллион реалов, теперь она обходится в три или четыре раза дешевле».

⁸⁵ В донесении председателя казенной палаты Кастилии дона Бласа де Ховера, представленном по королевскому повелению в 1746 г., говорится, что, согласно показаниям историка Кабреры, в течение тридцати лет полтора миллиона римских дукатов пересылались из Кастилии в Рим, в виде подати с высших духовных лиц. Этот самый Ховер прибавляет, что в начале XVIII столетия эта контрибуция доходила ежегодно со всего испанского государства до пятисот тысяч римских скудо, что *составляло около третьей части того, что Рим получал от всего христианства*.

⁸⁶ Необходимо заметить, что Кортесы, единственное место, где мог быть слышен голос народа, были собираемы только три раза в течение всего XVIII столетия, и то только ради формальности.

⁸⁷ В Испании голос народа всегда был против либеральной партии, как замечают многие писатели, не зная, однако ж, причины этого. Вальтон («*Revolutions of Spain*». London, 1837) говорит о Кортесах: «Всеобщее негодование низвергло их с занимаемых ими мест в 1814 г.; а в 1823 г. они были осилены не оружием Франции, а недовольством своих же соотечественников» и т. д. В «*Quin's Memoirs of Ferdinand the Seventh*» (London, 1824. P. 121) упоминается, что «во всех городах, чрез которые проезжал король, толпа, возбужденная монахами и духовенством, опрокидывала конституционные основы и произносила страшные ругательства против конституции, Кортесов и либералов». Один весьма умный писатель, говоря о делах Испании в 1855 г., утверждает, и я убежден, что это совершенная правда, что Испания «одна из тех стран, где население всегда бывает непременно менее либерально, чем правительство».

⁸⁸ И действительно, депутаты городов собственно сами уничтожили свою свободу, как справедливо замечает один испанский историк. «Неудивительно, что испанские монархи старались, насколько это было возможно, укрепить свою власть, и еще менее удивительно, что их советники и министры содействовали им в этом. История всех наций представляет нам многочисленные примеры подобной политики; но что всего замечательнее в истории Испании, так это то, что депутаты городов, которые должны бы быть самыми ревностными защитниками прав горожан, открыто злоумышляли против среднего сословия и стремились к уничтожению и самых остатков древнего национального представительства» (*Sempere. Histoire des Cortes d'Espagne*). Удивительно странно, что Семпере никогда не исследовал, почему это случилось именно в Испании, а не в другом месте.

⁸⁹ Окончательное уничтожение национальной свободы приписывается многими историками сражению при Вильяларе в 1521 г., хотя вполне известно, что, если бы роялисты, вместо того чтобы выиграть, проиграли это сражение, окончательный результат был бы тот же самый. Одно время я имел намерение проследить историю муниципального и представительного элементов в течение XV столетия, и собранные мною тогда материалы убедили меня, что дух свободы никогда собственно не существовал в Испании и что поэтому признаки и наружные формы свободы, рано или поздно, наверно, изгладились бы.

⁹⁰ Папа был того мнения, что Карл III этим актом подверг опасности свою душу. В грамоте, адресованной Карлу III, он объявил, что акты короля против иезуитов очевидно ставят в опасность его спасение.

⁹¹ «Замечательное и вопиющее доказательство их (иезуитов) влияния представлялось в Мадриде год спустя после их изгнания. В праздник св. Карла, когда король показывался народу с балкона своего дворца и обыкновенно исполнял какую-нибудь общую просьбу, к удивлению и смущению целого двора, огромная толпа в один голос просила возвращения иезуитов и позволения им носить одежду белого духовенства. Этот неожиданный случай встревожил и оскорбил короля, и после строгого исследования он счел необходимым изгнать кардинала архиепископа Толедского и его главного викария как тайных подстрекателей этой мятежной просьбы» (*Кокс*).

⁹² О ней один знаменитый писатель (*Устарис*) царствования Филиппа V говорит с самодовольствием: «Ее бдительность одинаково простиралась на испанцев и иноземцев». Если такой человек, как Устарис, мог выразить подобное суждение, то мы можем представить себе, что чувствовал народ, который был гораздо невежественнее и гораздо правовернее его. Тапия в одном замечательном, необыкновенно смелом месте откровенно сознается, что только давление обще-

ственного мнения помешало Карлу III уничтожить инквизицию. «Казалось бы странным, что король, сделавший так много для ограничения чрезмерной власти духовенства и искоренения нелепых предрассудков, не упразднил чудовищного трибунала инквизиции. Надобно, однако, помнить, что после мадридского бунта он с большой робостью принимал такие меры, которые были несогласны с общественным мнением, и был убежден в том, что народ желал сохранения инквизиции. Он это выразил министру Рода и графу Аранда, присовокупляя, что она ни в чем не уменьшала его власти». Нам инквизиция кажется несколько странным предметом привязанности для людей; но в существовании пристрастия к ней нельзя сомневаться. Геддес говорит нам, что «инквизиция, подкрепляемая не только законом, но и каким-то удивительным ослеплением, до того укоренилась в сердцах и привязанности народа, что всякий, кто нанес бы малейшую обиду другому за донос или свидетельство в инквизиции, был бы растерзан на тысячу частей».

⁹³ «Чиновники (*familiars*) инквизиции, Абрантес, Мора и другие гранды Испании, присутствовали в ней в качестве прислужников, без шляп и мечей» (*Кокс*). Это было в важном деле Олавиды.

⁹⁴ В Испании, как и во всех других странах, католических или протестантских, духовенство как сословие старается внушить легкоеверие вместо пытливости и по какому-то инстинкту охранения противодействует той смелости исследования, без которой не может быть действительного знания, а возможна только большая начитанность, простое учение по книгам. В Испании духовенство сильнее, чем в какой-либо другой стране, и потому в Испании оно обнаруживает это стремление с большой смелостью; прекрасный пример этого можно видеть в сочинении, изданном епископом Барселонским, в котором делается сильное нападение на все естественные и философские науки в следующих словах: «Не хочу упрекать католиков, преданных новой философии и старающихся беспрестанно расширять области этой науки, но желал бы, чтобы они обратили все свое внимание на следующее: во-первых, что голландская, немецкая, английская и французская школы, нерасположенные к католицизму, создали и усердно распространяли философские мнения, которые в их глазах составляют торжество разума над верой, спиритуализмом; во-вторых, что эти учения не что иное, как возобновление или новое изложение заблуждений, тысячу раз опровергнутых и осужденных здравой философией и церковью,—почему следует не радоваться успехам философии, а стыдиться ее отсталости» («*Costa y Borrás, Iglesia en España*»).

⁹⁵ «Немедленно по своему прибытии в Мадрид Фердинанд восстановил инквизицию, и его декрет, изданный по этому поводу, был приветствован по всей Испании иллюминациями, изъявлениями благодарности и другими обнаружениями радости» (*Quin's Memoirs of Ferdinand VII*). Этот и подобные ему акты доставили такое удовольствие церкви, а также и народу, что, по словам одного богослова, возвращение Фердинанда в Испанию следует считать непосредственным делом Божественного Провидения, пекущегося об интересах Испании. «Провидение положило конец испытаниям, и католическая Испания, увенчанная лаврами победы, опять вздохнула и вскоре была осчастливлена возвращением любимого монарха, короля Фердинанда VII».

⁹⁶ Весьма незадолго до уничтожения монашеских орденов «уважение к расе повсюду так глубоко укоренено, что ей приписывают охранительную силу даже за пределами земной жизни, как бы она ни была неправильна. Поэтому-то чаще всего случается видеть, что умерших одевают в монашескую рясу, и в таком

наряде и с открытым лицом провожают до последнего жилища... Ряса, сопровождающая испанцев в могилу, овладевает также некоторыми из них и при выходе из колыбели. Нередко встречаются маленькие монахи от пяти до шести лет, шалашащие на улице» (*Bourgoing. Tableau de l'Espagne*).

⁹⁷ В тот самый год, в который конкордат получил силу закона, Госкинс, известный путешественник по Африке, человек, по-видимому, весьма умный, по возвращении своем из Испании издал описание этой страны. Его сочинение драгоценно как свидетельство об общем настроении в Испании перед самым Конкордатом и в то время, когда испанское духовенство еще страдало от благонамеренных, но грубо несправедливых действий либеральной партии. «Мы посетили эти церкви в воскресенье и удивились, найдя их всех переполненными до крайности народом. Доходы духовенства сильно уменьшились, но их богатства постепенно восстанавливаются. Отсутствие всего сколько-нибудь похожего на бедность в капеллах и при богослужении доказывает, что испанцы и теперь такие же преданные поклонники и такие же усердные друзья церкви, какими они были в ее лучшие дни».

ГЛАВА II

¹ Один из их историков говорит с видимым удовольствием: «Шотландцы редко отличались преданностью престолу». Об этом же самом предмете Броди говорит: «Недостаток уважения к королевскому сану проглядывает на каждой странице шотландской истории». Или, как выразился Вилькс в палате общин, «в самом деле, Шотландия, по-видимому, самой природой предназначена быть убежищем мятежа, так же как Египет — чумы»; а Ниммо говорит: «Не было расы монархов более несчастной, как шотландская; их царствования были вообще бурны и бедственны; сами же они имели часто трагический конец».

² Действительно, один весьма известный шотландец семнадцатого столетия насмешливо говорит об англичанах: «Таковы подобострастие и почти суеверная преданность этого народа к своим монархам». Это, однако ж, было написано в 1639 г., после которого мы действительно смыли с себя этот упрек. С другой стороны, один английский писатель семнадцатого столетия с негодованием, хотя очевидно не без преувеличения, обвиняет шотландцев в том, будто «сорок из их королей были варварски умерщвлены ими, а половина этого числа или сами убили себя, страшась угрожавших им истязаний, или жалким образом окончили жизнь в тесном заключении».

³ В Англии путешествовать было довольно плохо, а в Шотландии еще хуже. Морер, рассказывая то, что он видел в 1689 г.; говорит: «Дилижансов у них вовсе нет, есть только несколько наемных карет в Эдинбурге, которые они могут нанимать в крайних случаях для поездок за город. Дело в том, что состояние дорог едва ли позволяет иметь подобные удобства; в этом и заключается причина, почему их джентри, мужчины и женщины, предпочитают ездить верхом».

Что касается северных местностей, то о них мы находим следующий рассказ в письме, писанном из Инвернесса между 1726 и 1730 гг.: «Горная Шотландия весьма мало известна даже жителям низменной части страны, потому что они всегда боялись трудностей и опасностей путешествия в горах; а когда какой-нибудь чрезвычайный случай принуждал кого-либо к такой поездке, то такой

человек писал завещание, как будто он уезжал в продолжительное и опасное морское путешествие, из которого возвращение было весьма сомнительно». Между 1720 и 1730 гг. были проведены через некоторые местности горной Шотландии военные дороги, но направление их «было начертано воином-практиком, сообразно с видами военными, но без всякого почти внимания к тем целям, для которых свободные и мирные граждане устанавливают систему внутренних сообщений». Это подтверждается тем фактом, что даже между Инвернесом и Эдинбургом «до 1755 г. почтовые сношения делались посредством пешеходов». «Почтовая коляска впервые показалась в Инвернесе в 1760 г. и была в продолжение значительного времени единственным четырехколесным экипажем в округе».

История усовершенствования дорог за последнюю половину XVIII столетия еще никем не была писана; но усовершенствование это имеет громадную важность, как по результатам его для умственного развития нации, достигнутым слиянием ее различных частей, так и по экономическим результатам, оказавшимся вследствие облегчения торговых сношений.

⁴ Один старый шотландский писатель (*Сомервилл*) говорит с некоторым преувеличением: «В 1296 г. разразилась кровопролитнейшая и продолжительнейшая из войн, какие когда-либо бывали между двумя народами, она продолжалась двести шестьдесят лет, на погибель и разорение многих благородных фамилий, и истребила до миллиона людей».

⁵ В Fordun's «*Scotichronicon*» находится следующий ужасный рассказ о состоянии окрестностей Перта в 1339 г.: «Вся ближайшая окрестность была в то время до такой степени опустошена, что не осталось почти ни одного обитаемого дома и вокруг города часто охотились за дикими зверями и оленями, спускавшимися с гор. Такая в то время настала дороговизна и такой недостаток в жизненных припасах, что местами простой народ пропадал, и люди эти, пасясь, как овцы, на траве, были находимы потом мертвыми в ямах. Недалеко оттуда, в уединении, жил некий мужик, по имени Кристиклейк, с женой своей, которые подкарауливали девочек, мальчиков и юношей и, загрызая их, как волки, жили их мясом».

⁶ Но весьма медленно. Пинкертон («История Шотландии») говорит: «Частые войны между Шотландией и Англией, после смерти Александра III, были причиной того, что первая отстала более чем на столетие в цивилизации. В то время как в Англии только одни северные провинции были подвержены набегам со стороны шотландцев, в Шотландии страдали от неприятельских вторжений самые цивилизованные округа. Очевидно, что при Александре III в королевстве было более полезных ремесел и мануфактур, чем при Роберте III».

⁷ Вследствие этого их замки, по положению своему, были самые сильные во всей Европе, исключая разве Германию. Ни Англия, ни Франция, ни Италия, ни Испания не представляли таких громадных естественных преимуществ для своей аристократии.

⁸ «Удалившись в свой собственный замок, мятежный барон мог смеяться над властью своего государя, так как было почти несбыточным делом вести целую армию по бесплодной стране, к местам, с трудом доступным даже для одного человека» (*Робертсон*. История Шотландии).

⁹ В 1299 г. старший барон был во всех отношениях королем в миниатюре. В 1377 г. власть баронов решительно увеличивалась со времени Роберта I, а около 1398 г. она стала еще выше (*Тайтлер*. История Шотландии).

¹⁰ В 1492 г. абердинское казначейство принуждено было занять 4 фунта 16 шиллингов шотландских. Файнс Морисон, бывший в Шотландии в конце XVI столетия, говорит: «Джентльмены считали свои доходы не денежными рентами, но шолдронами зернового хлеба». Сто лет спустя после того как писал Морисон, было замечено, что «в Англии ренты уплачиваются деньгами, а в Шотландии они вообще уплачиваются хлебом, или, как они называют это, натурой».

¹¹ Мы узнаем из «Rymer's Foedern», что в 1368 г., когда двум шотландцам пришлось драться на дуэли, они достали себе вооружение из Лондона.

¹² Абердин в течение долгого периода был одним из самых богатых и в некоторых отношениях самым передовым из всех шотландских городов. Но из списков городского совета Абердина видно, что «в начале XVI столетия не было ни одного механика в городе, способного произвести обыкновенную починку часов».

¹³ Рэй, посетивший Шотландию в 1661 г., говорит: «В лучших шотландских домах, даже в королевских дворцах, не целые окна стеклянные, но только верхние их части: нижняя же часть имеет две деревянные дверцы или затворки, которые можно было бы отворять по желанию для выпуска свежего воздуха... Обыкновенные сельские дома — просто жалкие хижины, построенные из камня и крытые дерном; они заключают в себе только одну комнату; многие из них не имеют очагов, а окна их заключаются в маленьких отверстиях и делаются без стекол».

¹⁴ В 1650 г. упоминается о шотландцах, что «многие из их женщин так неопрятны, что стирают свое белье не более одного раза в месяц, а руки и лицо моют не более раза в год» (*Вайтлок*). Мы имеем положительное доказательство, что в некоторых частях Шотландии даже в конце XVIII столетия народонаселение употребляло вместо мыла вещество, о котором упоминать было бы слишком гадко. См. сведение, сообщаемое достопочтенным Уильямом Лесли сэру Джону Синклеру.

¹⁵ Из списков жителей Абердина видно, что в 1512 г. умерло в нем семьдесят два человека. Годичная смертность 1 на 40 была бы еще весьма выгодной пропорцией, даже слишком выгодной, если принять в соображение обычаи того времени. Но положим, что умирал 1 на 40 человек, — в таком случае население должно было состоять из 2880 душ, а если, в чем я не сомневаюсь, смертность была более нежели 1 на 40, то население, конечно, должно было быть еще меньше. Кеннеди предполагает, что ежегодно умирала одна пятидесятая часть жителей; между тем известно, что тогда не было в Европе ни одного города, хоть сколько-нибудь подходящего к этому по условиям здоровья. На основании этой гипотезы, которой противоречат все дошедшие до нас статистические сведения, число жителей составило бы $72 \times 50 = 3600$.

¹⁶ Иногда дворяне не оставляли гражданам даже и тени свободы выборов, а решали дело между собой оружием. Один пример этого случился в Перте в 1544 г., где спор из-за должности городского головы решен был оружием между лордом Ретвеном, с одной стороны, поддерживаемым многочисленной свитой вассалов, и лордом Греем, с Норманом Лесли, владельцем Рота — с другой.

¹⁷ См. в «Истории Англии» Маколея живое описание Шотландии в 1639 г. «Парламент северного королевства вовсе не был похож на собрание, носившее то же имя в Англии... Три сословия заседали в одной Палате. На úplномоченных от бургов смотрели только как на свиту знатных дворян». Гораздо позднее лорд Кокбёрн изображает в ужасном виде положение дел в Шотландии в 1794 г., когда

Джеффри был призван к решетке. В то время в этой стране не было ни народного представительства, ни независимых бургов, ни деятельного соперника господствующей церкви, ни независимой печати, ни свободных общественных митингов, не было даже в политических делах (за исключением государственной измены) лучшего суда присяжных, как тот, который соответствовал тогдашним обстоятельствам, когда присяжные назначались в суд не по какому-нибудь беспристрастному правилу и когда те, кому следовало судить дело, назначались председательствующим судьей. Шотландских представителей было только сорок пять, из которых тридцать избирались за графства и пятнадцать за города. Право выбора в графствах, которые одни действительно имели его, по цензу и по существу своему (обставленное всякими феодальными и техническими нелепостями), было далеко не достигаемо для всего низшего, большей части среднего и даже многих из высших классов. Во всей Шотландии было, вероятно, не более 1500 или 2000 избирателей в графстве, — корпорация не слишком многочисленная, чтобы правительство не могло держать ее в своих руках. Поэтому никогда нельзя было ожидать избрания хотя одного члена оппозиции... Из пятнадцати членов за города Эдинбург выбирал одного. Остальные четырнадцать избирались группой из четырех или пяти не соединенных между собой бургов, выбиравших каждый по одному делегату, а эти четыре или пять делегатов избирали уже представителя. Какова бы ни была эта система в первое время, но она превратилась в отношении к народу в совершеннейшую насмешку, как бы нарочно придуманную для унижения его. Народ не имел никакого участия в выборах. Всем управляли городовые советы, в которых никогда не было более тридцати трех членов; и каждый городской совет составлялся по собственному избранию и, следовательно, упорчивал навсегда свои собственные интересы. Избрание того или другого члена от города или от графства было делом до такой степени безразличным для народа, что он часто узнавал об этом только по звону колокола или читая на следующий день известие в газетах, так как комедия эта обыкновенно совершалась в комнате, в которую, если этого нужно было, публику не допускали, а не на открытом воздухе».

¹⁸ Бокль. История цивилизаций. Т. I.

¹⁹ Там же.

²⁰ Мы не должны смешивать недоумевающее удивление (*wonder*) с удивлением сознательным (*admiration*). Первое есть продукт невежества, второе — продукт знания. Невежество удивляется воображаемым неправильностям природы; наука удивляется однообразной последовательности в ее явлениях. Писатели раннего времени редко обращают внимание на это различие, потому что их обманывает этимология слова (*admiration*). Римляне были поверхностными мыслителями во всем, кроме юриспруденции; ошибочное употребление у них слова «*admirari*» и подало повод к заблуждению, столь обыкновенному у наших старинных писателей, вследствие которого они употребляют «*I admire*» вместо «*I wonder*».

²¹ Они могли употреблять в дело все средства — страх и надежду, устрашение и утешение, — которые особенно сильно действуют на человеческий ум. Они посещали слабых и лежачих, осаждали постели больных и умирающих; немного кому удавалось покинуть сей мир, не оставив церкви доказательств своей щедрости; духовные учили людей примиряться со Всевышним за свои грехи, наделяя богатствами тех, которые назывались Его служителями. Замечательная ревность, с како... духовенство одного исповедания обличало все ухищрения

другого. Сравнивая их различные показания, миряне имеют возможность вполне проникнуть в их замыслы.

²² Бокль. История цивилизации. Т. I.

²³ То были времена, когда, как деликатно выражается шотландский законвед, «воровство не было наклонностью, свойственной одним только низшим и неимущим классам, но часто входило также и в привычки лиц высшего сословия и землевладельцев».

²⁴ В начале XVI столетия я нахожу сделанное вскользь замечание, что «Дэвид Стретон, младший из дома Лорестон... не умел читать». Знаменитый военачальник Вальтер Скотт Гарденский женился в 1567 г., и «его брачный договор подписан нотариусом, потому что ни та, ни другая сторона не умела подписать своего имени».

²⁵ Один весьма ученый шотландец говорит: «Шотландия была не менее невежественна и суеверна в начале XV столетия, чем в конце двенадцатого».

ГЛАВА III

¹ Чалмерс о положении дел до Альбани говорит: «Нет ни малейшего следа какой-либо попытки со стороны Роберта II к ограничению могущества дворян, между тем как своими неосмотрительными пожалованиями он значительно увеличил их независимость. Он, по-видимому, попробовал поднять королевскую прерогативу из того ничтожества, до которого довели ее неосторожность и несчастья Давида II». О преемнике же его, Роберте III, он говорит: «Такой кроткий государь и такой слабый человек не очень-то был способен посягнуть на власть других, если он едва мог сохранить свою собственную».

² Так как те, которые имели земли от короны, были если не в действительности, то перед законом королевскими арендаторами, то в акте объявлялось, что «если угодно королю, он может собрать всех держащих от него имения в назначенные день и место, чтобы они показали свои грамоты».

³ Тайтлер под 1433 г. говорит: «Посреди забот об умиротворении своих северных владений и подавления ереси король не забывал своего великого плана ограничения непомерного могущества дворян». «Одним из принципов этого предприимчивого государя в его планах восстановления и упрочения своей власти было: поддерживать дружбу с духовенством, на которое он смотрел как на нечто уравновешивающее влияние дворянства». Лорд Сомервилл говорит, что высшее дворянство «никогда не призывалось или только изредка было призываемо в Совет в царствование этого короля».

⁴ Интересный рассказ об этом подлом преступлении находится у Юма в «История дома Дугласов», где выражено сильное, но совершенно естественное негодование. С другой стороны, Лесли, епископ Росский, рассказывает о нем с хладнокровным равнодушием, характеризующим то озлобление, которое существовало между дворянами и духовенством и которое мешало ему видеть преступление в убийстве двоих детей. «И после того как он сел за стол с правителем, канцлером и другими находившимися тут дворянами, кушанье было вдруг унесено и подана бычачья голова, которая в те времена была знаком казни; и немедленно вышесказанный граф, его брат Давид и Малькольм Флеминг из Кеммернальда были обезглавлены на дворе эдинбургского замка».

⁵ Двоюродный брат мальчиков, умерщвленных в 1440 г.

⁶ Юм. История дома Дугласов. V. 1. P. 351—353. Король «поразил его в грудь кинжалом. В то же самое мгновение Патрик Грей ударил его по голове бердышем. Остальные, стоявшие за дверью, услыша шум, вошли и также бросились на него; и чтобы показать свою привязанность к королю, нанесли каждый по удару даже мертвому» (Ср.: Lindsay of Pitcottie's «Chronicles of Scotland». Vol. I. P. 103). «Он пронзил его насквозь; и после того стража, услышав в комнате шум, ворвалась и тотчас убила графа».

⁷ В 1449 г. Яков II «пожаловал духовенству некоторые важные привилегии, с той привязанностью и тем уважением, которые не мог не оказывать ему государь, так удачно воспользовавшийся его поддержкой и советами, чтобы избавиться от тирании своих дворян» (*Тайтлер*. История Шотландии. V. III). Рядом со многими подобными мерами он предоставил монахам Пэсли некоторые важные права по отправлению правосудия, принадлежавшие прежде короне. Хартия, 13 января 1451 г.

⁸ В «Memorie o the Somervilles» говорится под 1452 г., что страх, наведенный знатными дворянами, «однажды внушил его величеству мысль оставить отечество; но его отговорил от этого епископ Кеннеди, бывший тогда архиепископом Сент-Эндрюским, советов которого в то время и позже он в большей части случаев слушался, что, наконец, и послужило к большой пользе его величества».

⁹ «Он не допускал к себе дворян и не советовался с ними об управлении королевством» (*Лесли*. История Шотландии).

¹⁰ См., например, грамоту, которая получила название золотой хартии вследствие обширных привилегий, пожалованных ею архиепископу Шевец от Якова III, 9 июля 1480 г.

¹¹ «Король и его министры наносили множество оскорблений дворянству... Издана была прокламация, запрещающая кому бы то ни было показываться с оружием в пределах местопребывания двора, что в то время, когда ни один человек высшего класса не выходил из дому без многочисленной вооруженной свиты, значило собственно лишить дворян всякого доступа к королю... Его пренебрежение к дворянам раздражило, но не ослабило их» (*Робертсон*. История Шотландии).

¹² Вышесказанным аббатствам предписывается не посылать никакой дани к Римскому двору.

¹³ Полновластие Дугласов продолжалось с прекращения регентства Альбани до бегства короля, в 1528 г. «Граф Ангус силой вступает в управление и держит при себе короля как какого-нибудь пленника, и в это время он сам, граф Леннокс, и Джордж Дуглас, его внучатый брат, свободно распоряжаются всеми делами церкви и государства» (*Бальфур*).

¹⁴ Причины, побуждавшие его к этому, изложены им самим в любопытном письме, написанном им в 1541 г. к Генриху VIII. «Мы замечаем,—пишет Яков,—из означенных писем ваших, что, по дошедшим до вас сведениям, в последнее время сделаны были некоторые попытки со стороны нашего духовенства, вредные нашим интересам и противные нашим убеждениям и нашей воле. Мы не можем понять, что могло заставить вас поверить этому, и уверяем вас, что мы во всякое время встречали в духовенстве нашем только преданность и послушание; и оно никогда и не добивалось ни судебной власти, ни таких привилегий, которыми бы оно не пользовалось с самого учреждения шотландской церкви, которую мы, по совести, не можем ни переделывать, ни изменять вследствие уважения нашего к Богу и святой церкви; и мы сомневаемся, чтобы могло

произойти от этого какое-либо неудобство для нас или нашего королевства, ибо с тех пор, как церковь была впервые учреждена в нашем государстве, положение духовенства никогда не изменилось; а между тем оно (духовенство) было всегда послушно нашим предкам, а в наше время еще более благодарно, чем было когда-либо».

¹⁵ Сэр Ральф Садлер во время своего посольства в Шотландию (1530—1539 гг.) пишет: «Король, насколько я могу заметить, для управления своим королевством поневоле должен избирать своих министров из епископов и прочего духовенства. Из всех, кого я вижу здесь, они одни — люди с умом и политическим тактом; король их во всем слушается. И если они проводят что-нибудь такое, что хоть сколько-нибудь может коснуться их, или заметят, что король, по видимому, доволен чем-нибудь подобным, то тотчас начинают напоминать ему, каким хорошим католиком был его отец, и наговаривают ему так много и все таких хороших вещей, что с помощью этой политики (управляя также и всеми его делами) они вертят им, как хотят».

¹⁶ Утверждают о Дугласах, что в начале XVI столетия они «по своим связям и своему могуществу были равносильны половине всего дворянства Шотландии».

¹⁷ Генрих VIII «в 1532 г. прямо требовал, в числе других условий мира, чтобы, согласно его обещанию, Дуглас был возвращен. С своей стороны, король Генрих осыпал их всевозможными благодеяниями и почестями и сделал обоих, графа и сэра Джорджа, членами своего Тайного совета (*Юм. История дома Дугласов*). Яков смотрел с неудовольствием на всякие сношения, происходившие между Дугласами и другими его подданными; но ему невозможно было воспрепятствовать им. См. письмо, которое он написал к сэру Томасу Эрскину, начинающееся так: «Скажу вам чистосердечно, знаете ли, что здесь поговаривают, будто вы имели разговор с Джорджем и Арчибальдом Дугласами в Англии, а это противно тому, что я приказывал вам и что вы мне обещали, когда мы расставались».

¹⁸ «Дугласы все еще пользовались большой милостью и щедрым содержанием в Англии; хотя номинально могущество их не существовало, но оно далеко не было сокрушено; их шпионы проникали всюду, следовали за королем во Францию и сообщали о самых негласных действиях его; феодальные союзы и обязательства личного подчинения все еще существовали и связывали с ними многих из самых сильных дворян; между тем сила королевского правительства и предпочтение духовенства светским лордам надоели этим гордым вождям и заставили их надеяться на возвращение их влияния, в случае если произойдет какая бы то ни была перемена» (*Тайтлер. История Шотландии*). Эти обязательства личного подчинения, замеченные Тайтлером, были в числе самых действительных средств, которыми шотландские дворяне обеспечивали свою власть. Без них трудно было бы для аристократии противостоять соединенной силе короны и церкви. По этой причине они заслуживают особенного внимания. Так как подобные «договоры» были чрезвычайно полезны для сохранения равновесия власти и не допускали шотландскую монархию сделаться деспотической, то против них бывали, конечно, парламентские постановления. Подобные узаконения, не согласные с духом времени и с потребностями общества, не произвели никакого действия вообще ни по обычай, хотя в силу их и подверглись наказанию многие отдельные личности. Обязательство личного подчинения все еще часто встречалось до 1620 или 1630 г., когда был совершен великий социальный перево-

рот, вследствие которого власть аристократии была подчинена власти церкви. Тогда вследствие изменившихся обстоятельств без малейшего труда, даже само собой, совершилось то, чего тщетно пыталось достигнуть законодательство. Дворяне, постепенно теряя свое значение, упали духом и перестали прибегать к тем изворотам, которыми они так долго поддерживали значение своего сословия. Договоры личного подчинения с каждым годом становились реже, и едва ли был хоть один пример их после 1661 г.

¹⁹ Этот документ был найден в бумагах короля после его смерти; тогда же оказалось, что из шестисот имен на листе более трехсот принадлежало к знатнейшему дворянству. По словам Ватсона, список этот «был назван кровавым свертком».

²⁰ Поражение это было до того постыдно, особенно для духовенства, которое подготовило короля к этой попытке, обещая ему великий успех; в нем представлялось такое очевидное доказательство гнева Всевышнего, Который посредством своего провидения сражался против них,—что все люди были поражены страхом и изумлением; некоторые дела епископа стыдились показывать» (Стивенсон. История шотландской церкви).

²¹ Он не допускал духовенство к власти. 20 марта 1543 г. сэр Ральф Садлер пишет Генриху VIII: «Сэр Джордж Дуглас «ввел меня в присутствие совета, где я нашел большое число дворян и других за длинным столом, а некоторых стоящими, *но между ними не было ни одного епископа, или священника*. На верхнем конце стола сидел правитель».

²² Но он так же, как и другие дворяне, не знал этих учений, да и не заботился о них; кроме того, это был человек продажный. В апреле 1543 г. сэр Ральф Садлер пишет к Генриху VIII: «И лорд Масквел сказал мне наедине, что он в самом деле нуждается в серебре и ниоткуда не ждет помощи, кроме как от вашего величества, о чем он и просил меня довести до сведения. Я спросил его, сколько ему нужно? И он отвечал— 300 фунтов; за это, сказал он,— так как ваше величество, в то время когда он был у вашей милости, оказывали ему больше доверия, чем другим пленникам вашего величества,—он надеется оказать вам не меньшую услугу, чем любой из них; что вместе с ними да окажет вам ту услугу, что в случае удачной войны вы легко завоюете королевство; *сам же по себе он вручит вам, при вступлении вашей армии, ключи королевства с западной границы, так как все тамошние укрепленные места находятся в его заведовании*. Я тотчас предложил ему написать к лорду Сёфболку о присылке ему 100 фунтов, но он сказал мне, что подождет до тех пор, пока не получит и этого ответа от вашего величества».

²³ Бьюкенен передает весьма любопытный разговор между регентом и Дугласом, происходивший, по-видимому, в 1544 и 1545 гг.: «Когда правитель стал плакаться на свое одиночество и жаловался, что он покинут дворянством, Дуглас представил ему, что в этом его вина, а не дворян; что они употребляют все имущество и жизнь на защиту общественного блага, а он, презрев их совет, во всем руководится духовенством, которое, в людях робкое, а дома беспокойное, не принимая участия ни в каких опасностях, злоупотребляет плодами чужого труда для своего удовольствия. Из этого источника произошло между тобой и знатью недоразумение, которое (при взаимном недоверии) служит самой большой помехой ведению дел».

²⁴ Незадолго до своей смерти он сказал с благородной и справедливой гордостью: «Хотя этот неблагоприятный век не будет знать, чем я был для моей родины, но грядущие века вынуждены будут засвидетельствовать об истине».

Достойно сожаления, что до сих пор еще не издано ни одной порядочной книги о жизни Нокса. Сочинение Мак-Кри есть безразличное неосновательное восхваление, которое, вызвав реакцию мнения, повредило репутации великого реформатора. С другой стороны, епископальная секта в Шотландии чрезвычайно слепа к истинному величию этого человека и не в состоянии различать порывистую любовь к истине и врожденную в нем благородную неустрашимость.

²⁵ В своей «Истории Реформации» он называет дело это «богоугодным» и говорит: «Вот деяния нашего Бога»; что попросту значит называть Бога убийцей. Но как бы ни было дурно это дело, я все-таки соглашаюсь с Мак-Кри, что нет несомненного основания считать Нокса участником этого убийства.

²⁶ Этот договор, составляющий важную эпоху в истории Шотландии, наменчен 3 декабря 1557 г.

²⁷ Кейт называет его «трубачом возмущения», кем он, несомненно, и был, и что делает ему большую честь, хотя вежливый епископ и ставит ему это в упрек. Шотландцы, если бы не их тогда непокорный дух, давно лишились бы уже своей свободы.

²⁸ При этом случае «Джон Виллок», проповедник, сказал речь в пользу ее низложения. В числе других аргументов он сказал, «что в низложении государей и тех, кто был в силе, Бог не всегда действовал своей непосредственной властью, но иногда употреблял другие средства, которые были признаваемы за благие Его премудростью и одобряемы Его справедливостью. Как посредством Асы Он удалил Мааху, его родную мать, от почестей и власти, которой прежде она пользовалась; как посредством Ииуия истребил Иорама и все потомство Ахава». Поэтому «он (оратор) не видит никакой причины, почему бы они, по рождению, советники, дворяне и бароны королевства, не могли по справедливости лишиться ее всякого участия в управлении».

²⁹ Так велико было влияние дворян, что английские войска были хорошо приняты народом, несмотря на существовавшую между обеими нациями старинную, жестокую вражду.

³⁰ «Что сам Нокс был священником,— этот факт, который его биограф покойный Мак-Кри считал не подлежащим никакому сомнению; и некоторые из других вождей были также священниками; но большое число проповедников и все, которые впоследствии сделались пасторами, были совершенно без всякого посвящения, даже и без такого, какое могло быть дано суперинтендентами; потому что предполагаемое собственное призвание их, избрание народа и гражданский обряд введения во владение бенефицией,— вот все, что тогда считалось необходимым» (*Стивенсон. История шотландской церкви*).

³¹ «Форма устройства дел церкви, предложенная в «Первой книге учения», никогда не была надлежащим образом утверждена правительством, главнейше вследствие жадности дворян и джентри, которые хлопотали об упрочении за собой доходов церкви» («*Miscellany of the Wodrow Society*»). Многие из дворян, однако ж, подписали ее; но Споттисвуд говорит, что «большая часть подписавшихся, раз захватив в свои руки владения церкви, уже ничем не могли быть подвинуты к уступке их и сделались по вопросу о наследственном достоянии церкви еще большими противниками ее, чем были паписты или кто-либо другой».

³² Это весьма ловко придуманное номинальное соглашение состояло в том, что одна треть церковных доходов должна была быть разделена на две части: одна предназначалась для правительства, другая—для проповедников. Ос-

тальные две трети были переважно назначены католическому духовенству, которое в то же самое время подлежало в силу парламентского постановления смертной казни за отправление богослужения по обрядам католической церкви. Люди, жизнь которых была в руках правительства, вероятно, не стали бы спорить с тем же правительством о денежных делах; и в результате оказалось, что почти все перешло в руки дворян.

³³ В сентябре 1571 г. Джон Ро, говоря проповедь, объявил во всеуслышание с кафедры лордам, что за их алчность и за то, что они не удовлетворяют справедливым просьбам церкви, их вскоре постигнет Божия кара, и прибавил: «Мне нет дела, господа лорды, до вашего неудовольствия, ибо я говорю по совести, пред Богом, Который не потерпит, чтобы такая злоба и такое презрение остались без наказания».

³⁴ В 1576 г. Генеральное собрание объявило, что право духовенства на «наследственное достояние церкви вытекает из права Божественного». Спустя слишком сто лет один шотландский богослов доказывает, как глубоко члены его сословия чувствовали такое ограбление церкви, тем, что решительно выходит из себя, упоминая об этом. Но это еще ничего в сравнении с одним позднейшим писателем г. Лайоном, который сознательно утверждает, что так как эти и подобные им акты последовали в царствование Марии, то королеву эту и постигла насильственная смерть, как справедливое наказание за святотатство. «Обыкновенное это (служить мессы по умершим) прекратилось, конечно, с Реформацией, и деньги были переданы королевой Марией гражданским властям города. Это было, без сомнения, святотатственным деянием; ибо хотя жертвовать на мессы по умершим было заблуждение, но хранители денег, завещанных на такой предмет, были связаны обязательством употребить их на благочестивые назначения. Это и другие святотатственные деяния со стороны Марии, имевшие еще более решительный и важный характер, справедливо считались причиной всех бедствий, постигших ее впоследствии». В другом месте тот же богослов говорит, что святотатство обыкновенно наказывается лишением мужского потомства. «Следующие примеры, взятые из Сент-Эндрюсской епархии, в тех пределах, какие она имела перед Реформацией, подтвердят доктрину, отстаиваемую во всем этом сочинении: что святотатство всегда наказывается в сей жизни преимущественно неимением потомства мужского пола». Курсив находится и в подлиннике. Для будущего историка общественного мнения, быть может, не излишне заметить, что сочинение, содержащее в себе подобные мнения, не есть перепечатка какой-нибудь старой книги, а издано, по-видимому, тотчас по написании, в 1843 г.

³⁵ «Пасторов называли спесивыми лакеями, и они слышали много обидных слов от лордов, особенно от Мортон, который управлял всем. Он сказал, что пособьет им спеси и приведет их в порядок» (*Кальдервуд*. История шотландской церкви).

³⁶ Он оставил Шотландию в 1564 г. девятнадцати лет от роду и возвратился после десятилетнего отсутствия.

³⁷ Он, кажется, впервые принял за дело в ноябре 1574 г.

³⁸ Немного спустя Давид Фергюссон, умерший в 1598 г. и бывший пастором в Данфермлине, очень откровенно сказал Иоанну VI: «Да, государь, вы можете иметь здесь епископов, но помните, что вы должны сделать всех нас равными, сделать всех нас епископами, иначе вы никогда не удовлетворите нас».

³⁹ Джеймс Мельвиль в «Автобиографии» говорит, что вследствие такого подвига дядя его Эндрю «получил название бича епископов».

⁴⁰ Тайтлер замечает, что в то время как «большинство мещан и средних, и низших классов народа» были пресвитериане, «значительная-часть дворянства поддерживала епископство». Он не ошибся бы, если б вместо «значительная часть» сказал «все». И действительно, «сам Мельвиль говорит, что все сословие пэров против него». Форбс приписывал аристократическое движение против пресвитерства «нечестивым атеистам», которые настаивали на том, «будто ничто не может быть так противно сущности монархии, как это равновластие между пасторами». «Эта демократия (как они называют ее) была всегда готова сделаться полной смут и беспокойства для аристократии, а также, наконец, и для монархии». Читатель заметит эту важную перемену в относительном положении классов общества в Шотландии. Прежде духовенство было союзником короны против дворянства. Теперь дворянство соединилось с короной против духовенства. Духовенство же, по чувству самосохранения, должно было соединиться с народом.

⁴¹ Суперинтенденты должны были «избирать, посвящать и назначать пасторов». Кажется, что ни один пастор не мог быть и сменен без согласия суперинтендента. Во время своих объездов они должны не только проповедовать, но также наблюдать за учением, образом жизни, степенью прилежания и обращением пасторов, тццов, старейшин и дьяконов». По свидетельству Споттисвуда, «суперинтенденты сохраняли свою должность пожизненно и имели власть епископскую, потому что они избирали и посвящали пасторов, председательствовали в синодах и распоряжались всеми церковными наказаниями, и никто не мог быть приговорен к отлучению от церкви без их согласия». «Наказание должно быть назначаемо тем, которые окажут непослушание или неуважение суперинтендентам при отправлении ими своих обязанностей». «Если пасторы ослушаются суперинтендентов в чем-либо относящемся до духовного назидания, то они должны подлежать за это исправительным мерам».

⁴² «Ибо хотя церковь Божия и управляется Иисусом Христом, Который ее единственный царь, священник и глава, но Он действует и чрез посредство людей, как самых необходимых посредников в этом деле... А чтобы устранить всякий повод к тирании, Ему угодно, чтобы они управляли по общему согласию братии и с совершенным равенством власти, каждый согласно с своими обязанностями... Что же касается епископов, то если принимать это слово в настоящем его значении, они все равно, что пасторы, как было уже объявлено. Но имя это не выражает собой превосходства и господства, а обозначает должность, соединенную с обязанностью надзора». Чтобы понять все значение этого, должно заметить, что суперинтенденты, установленные церковью в 1560 г., нередко принимали титул «лордства» (Lordship), как необходимое добавление к предоставленной им обширной власти.

⁴³ Точно так же, как в Англии, мы находим, что высшие классы большей частью принадлежат к епископальной церкви — их ум поддается, часто бессознательно, влиянию нравящегося им зрелища неравенства чинов, неравенства совершенно произвольного, не зависящего от способностей. С другой стороны, вся сила диссентеров — в средних и низших классах, где энергия и ум в большем уважении и где естественно зарождается презрение к той системе, при которой жалуются титулы и богатства личностям, не предназначенным от природы к величию, но к величайшему изумлению современников оказывающимся в искусственном величии.

⁴⁴ Вооруженный гонец вошел в дом и заставил председателя и членов собрания под страхом обвинения в возмущении отложить в сторону этот вопрос.

⁴⁵ «Когда он ехал из Лита в Эдинбург, его встретила толпа в двести человек, которая постепенно увеличивалась и начала петь 124-й псалом. Толпа шла по улице до самого собора, все время с пением, и возросла под конец до двух тысяч. Манифестанты были очень растроганы, а также и все зрители. Герцог был удивлен и испуган этим зрелищем более нежели чем-либо, что до того случалось ему видеть в Шотландии, и со злости рвал себе бороду» (*Кальдервуд. История шотландской церкви*).

⁴⁶ М-р Патрик Симсон, говоря в присутствии короля проповедь на текст книги Бытия, IV: 9, сказал королю перед всей конгрегацией: Господь спросил Авеля: где брат твой Каин? Я уверяю вас, государь, именем Бога, что Господь спросит и у вас, где ваш брат, граф Морэй. На это король возразил перед всей конгрегацией: м-р Патрик, дверь моя никогда не была закрыта для вас; вы могли бы сказать мне все, что вы думаете, негласно. Он же, Симсон, отвечал: государь, скандал гласен.

⁴⁷ Он утверждал, что «лорды-паписты возвратились в страну с дозволения короля и что этим король раскрыл коварное лицемерие своей души; что все короли — исчадия дьявола и что дьявол сидит во дворе и руководителях его. В молитве своей он употребил, говоря о королеве, следующие неприличные выражения: *мы должны молиться о ней ради моды, но мы очень могли бы и не делать этого, потому что она никогда не сделает нам никакого добра*. Он назвал — английскую королеву атеисткой, а лордов сессии *лихоимцами*; и сказал, что все вообще дворяне — *выродки, безбожники, лицемеры и враги церкви*». Говоря о дворянах, он сказал, что они *выродки, нехристи, лицемеры и враги церкви*. А равно, говоря о Совете, назвал членов его *пьяницами, обжорами и людьми без всякой религии*.

⁴⁸ Это не ускользнуло от внимания английского правительства, и Елизавета, которая замечательно хорошо знала обо всем, что делалось в Шотландии, написала к Якову в 1590 г. предостережение, которое едва ли было нужно, но тем не менее должно было увеличить его опасения. «А чтобы благовидная наружность, легко вводящая в обман, не ослепляла вас насчет людей, пользующихся религией как предлогом или притворяющихся набожными, позвольте мне предостеречь вас, что как в вашем королевстве, так и в моем возникла секта, угрожающая опасными последствиями, которая желала бы, чтобы вовсе не было королей, а только пресвитерии, и стремится занять наше место, отрицая в то же время наши привилегии и прикрываясь словом Божиим, которому считается правильно следующим только тот, кто, по ее мнению, следует ему. Да, за нею нам должно хорошенько смотреть».

⁴⁹ Его речи и вообще все его поведение до того взбесили Якова, что заставили его объявить в сердцах в 1592 г., что «не бывать добру, пока дворяне и джентльмены не получают дозволения разбивать головы пасторам» (*Кальдервуд. История шотландской церкви*).

⁵⁰ «В период, о котором мы говорим (около 1584 г.), кафедра проповедника была в самом деле единственным органом, посредством которого высказывалось или могло высказываться общественное мнение, и церковные суды были единственными в этой нации собраниями, обладавшими хотя чем-нибудь, что имело право называться свободой или независимостью. Парламенту приходилось рассматривать уже вперед решенные дела, предлагавшиеся ему в форме актов, требовавших только его согласия. Прения и свобода речи были неизвестны в его собраниях. Суды находились в зависимости от воли монарха, и часто

делопроизводство в них было направляемо и решения навязываемы им письмами от короля или приказами, передаваемыми чрез посланных его. Проповедники первые научили народ выражать мнения об образе действий его правителей; и собрания церкви подали первый пример правильной и твердой оппозиции произвольным и неконституционным мерам двора» (*Мак-Кри. Жизнь Эндрю Мельвиля*).

ГЛАВА IV

¹ Яков, льстивший себя надеждой, что он теперь все устроил, ознаменовал свое торжество личным оскорблением духовенства, назвав духовных мошенниками, мятежными трусами и т. п.

² «Король раскаивался потом, что дал свое согласие». Но эти слова дают лишь слабое понятие об истинных чувствах короля. Быть может, и не нужно приводить свидетельств о том, какие чувства питал в этом случае государь, любимой поговоркой которого было: «Нет епископства — нет короля». Тем не менее я выписываю здесь одно письмо Карла I, которое стоит прочесть, потому что в нем он откровенно сознается, что в своей любви к епископству и ненависти к пресвитерианству он руководствовался скорее политическими, чем религиозными, побуждениями. Карл пишет: «Требования благоразумия в каком бы то ни было соображении никогда не окажутся противными требованиям совести; здесь же они даже идут рука об руку; ибо укажите мне пример, чтобы когда-либо пресвитерианское правительство совмещалось с королевским и не было при этом постоянных возмущений. *Что было причиной, побудившей короля, отца моего, переменить это правительство в Шотландии*». Привожу также слова одного шотландского пресвитерианина XVII столетия: «Причиной тому, что король Яков так горячился из-за епископов, не было ни божественное начало их учреждения (которого он не признавал за ними), ни польза, которую они могли бы принести церкви (он хорошо знал и самих людей, и их взгляды), а просто он был уверен, что это полезные орудия для обращения ограниченной монархии в неограниченное господство, подданных в рабов, т. е. для достижения цели, к которой он стремился более всего на свете».

³ В числе других угроз было: «срыть и вспахать Эдинбург и засеять его солью».

⁴ Это рассказывает его племянник Джеймс Мельвиль. «М-р Эндрю Мельвиль явился в собрание по поручению своей пресвитерии, но ему приказано было идти домой; будучи призван частным образом к королю и спрошен, почему он так непокорен, что явился в собрание, несмотря на то что был смещен, он отвечал, что имеет свое назначение в церкви Бога и Иисуса Христа, Царя царей, которое готов выполнять во всех случаях, будучи законным образом призван к тому, как теперь; и что он делает это под страхом большего наказания, чем то, какому может подвергнуть его кто-либо из земных царей».

⁵ Яков в течение всего своего царствования находился в зависимости главнейшим образом от тех денег, которые давала ему Елизавета, и давала несколько скупо. Он так нуждался, что должен был заложить свой столовый сервиз и при всем этом часто бывал не в состоянии покрывать обыкновенные домашние расходы.

⁶ Относительно этого дела сохранилось одно письмо в «Winwood Papers», которое слишком любопытно, чтобы обойти его молчанием. Оно написано графом Солсбери к сэру Чарлзу Корнуоллису и помечено 12 сентября 1605 г. Солсбери, который был тогда во главе управления, пишет: «Правда, что вследствие того, что его величество стремился украсить шотландское королевство такими прелатами, как в Англии, некоторые из пасторов восстали против этого; и хотя его величество всегда обеспечивал им право созыва генеральных собраний, не полагая других условий, кроме того, чтобы они давали знать о них, получали его разрешение и допускали уполномоченного от его величества к заседанию в своих советах, тем не менее они (сопровождаемые бедным простонародьем) задумали создать свое генеральное собрание в какой-то части королевства, наперекор его повелению. На что его величество выразил неудовольствие и призвал некоторых из них к ответу в свой совет». А между тем человек, который мог написать такую нелепость и который в великом демократическом движении шотландского ума мог видеть не более как нерасположение к украшению епископства, считался одним из замечательнейших государственных людей своего времени, и его слава пережила его самого. Если великие государственные люди так мало различают, что происходит перед ними и вокруг их, то нам хотелось бы знать, какое доверие можно иметь к мнениям тех средней руки государственных людей, которыми управляют государства. Я с своей стороны могу только сказать, что я имел случай читать много тысяч писем, писанных дипломатами и политиками, но едва ли я нашел хоть одного, который понимал бы дух и стремление своего времени.

⁷ Свобода речи была до такой степени подавлена, что в 1605 г., когда самые ретивые и умные из духовенства были изгнаны, отдано было строгое приказание судьям и другим должностным лицам бургов, чтобы в случае если какой-нибудь проповедник станет говорить открыто против этого изгнания или в защиту этого собрания или публично молиться о его безопасности, то чтобы его отмечали, сообщали о нем Тайному совету и подвергали его исправлению за его вину.

⁸ Этот истинно великий и бесстрашный человек умер в изгнании в 1622 г.

⁹ Собрание запретило даже защищать демократическую идею равенства: «Ибо неприлично, чтобы законы и учреждения, гражданские ли или церковные, раз установленные и получившие силу с общего согласия, открыто выраженного, были бы осуждаемы и подвергаемы сомнению каким-нибудь частным лицом; поэтому постановляется с единодушного согласия всего собрания, чтобы никто из пасторов ни в своей проповеди с кафедры, ни в публичной речи не говорил и не рассуждал противно актам настоящего собрания, не ослушивался его, под страхом смещения по суду и приговору; *в особенности же чтобы вопрос о равенстве и неравенстве в церкви не обсуждался с кафедры под страхом того же наказания*».

¹⁰ Еще в 1613 г. в одном письме Джемса Инглиша высказываются жалобы на то, что «свобода церкви Божией значительно уменьшилась от гордости епископов, и власть над ней с каждым днем увеличивается». Гражданские права были также обращены в ничто епископами; и в числе других постановлений, которые они выхлопотали, одно заключалось в том, чтобы никому не позволялось преподавать медицину или лечить, если он сперва не заявлял удовлетворительным образом перед епархиальным епископом о своих религиозных убеждениях. Это вдруг поставило в зависимость от них все сословие врачей.

¹¹ «Их расточительность,— говорит Кальдервуд,— не уступала их грабительству. Когда в 1615 г. умер архиепископ Гладстэнс, то оказалось, что, «несмотря на огромную ренту с его епископства, он оставил 20 000 фунтов долгу». Также было и с епископом Галлоуэй, умершим в 1619 г.: «Полагают, что если бы сделать точное вычисление всякого добра, награбленного им с епархии усиленными рентами, требованием единовременных взносов с арендаторов, наложением на них особой за некоторые статьи платы, десятинными сборами и другими подобными мерами, то стоимость всего этого превысила бы 100 000 мерк, а по мнению других, составила бы вдвое большую сумму, так что многие в этой епархии и причисленных к ней прелатствах едва ли во всю жизнь поправят свои дела».

¹² В 1639 г. Говэлль пишет из Эдинбурга: «Епископы все потерпели крушение, и жалкие были их похороны; самое имя это сделалось до того презрительным, что черную собаку, если на ней есть какая-нибудь белая отметина, называют Bishop (епископ). Милорд Кентерберийский здесь стал до такой степени ненавистен, что его обыкновенно называют с кафедры жрецом Ваала, сыном Велиала».

¹³ Теперь впервые английское правительство пришло в трепет. 13 декабря 1639 г. секретарь Вайндбанк пишет: «Его величество в течение последних шести недель почти постоянно совещался с особым комитетом, составленным из некоторых членов его совета (в котором и я имел честь находиться), о том, как поправить его дела в Шотландии, так как пожар там все продолжается и доходит до таких опасных размеров, что *угрожает монархическому правлению не только там, но и в нашем королевстве*». Это первый намек, какой мне случилось встретить, на то, что Карл и его советники сознавали всю опасность, угрожающую им. Однако король, будучи способен к страху, не имел способности сознавать свою вину. Нет и помину о чем-нибудь таком, из чего видно было бы, что он чувствовал хоть угрызение совести, после того как задумал и привел в исполнение те произвольные и незаконные меры, которыми он причинил громадное зло Шотландии и Англии, но в особенности Шотландии.

¹⁴ «Шотландцы продали своего несчастного короля, бежавшего под их защиту, комиссарам английского парламента за 200 000 ф. ст.» (*Сомервилл*).

^{14a} В одном письме сэра Эдварда Гайда к лорду Гаттону, от 12 апреля 1649 г., говорится о Карле II, что шотландцы «продали его отца тем, которые умертвили его». Но это неправда. Карл I хотя и был куплен англичанами, но не умерщвлен ими. Он был судим в виду всех, признан виновным и казнен. И конечно, не проходило года, чтобы люди, гораздо менее преступные, не подвергались той же участи. Может быть, и правы те, которые считают всякое уголовное наказание ненужным. Но это еще не было доказано; а если следует когда-либо применять это последнее и самое ужасное из наказаний, то я не в состоянии решить, где бы можно было найти личность, заслуживающую его более, чем деспот, старающийся подавить свободу народа, которым он призван управлять, подвергающий жестокому и незаконному наказанию тех, кто противится ему, и решающийся, скорее чем отказаться от своих намерений, начать междоусобную войну, которая вооружает отцов против детей, приводит в расстройство все общество и обагрят кровью всю страну. Такие люди — разбойники; это — враги рода человеческого: кто удивится тому, что они падают, кто станет сожалеть о них после падения?

¹⁵ Декларация была подписана Карлом 16 августа 1650 г. В декларации этой Карл говорит, что «хотя его величество, как добрый сын, обязан чтить

память своего царственного родителя и уважать личность своей матери, но тем не менее он желает смириться и восскорбеть духом пред Богом за то, что отец его внимал и следовал дурным советам и противился делу Реформации и торжественной лиге и ковенанту, вследствие чего так много крови люда Божьего было пролито в этой стране». Далее он говорил, что хотя он и мог бы привести в извинение своим собственным дурным поступкам «свое воспитание и свои лета», но он считает за лучшее «чистосердечно признать все свои собственные грехи и грехи дома отца своего».

¹⁶ Так как мало кто побеспокоится прочесть шотландские парламентские акты, то я выпишу из этого акта его самое убедительное место. «Так как теперь было угодно всемогущему Богу, силой своей десницы; столь чудесным образом восстановить его королевское величество в управлении его королевствами и в отправлении его верховной власти над ними, то сословия парламента считают себя обязанными, в исполнение своего долга и требования совести, в отношении к Богу и королевскому величеству, употребить всю свою власть и все старание, чтобы оградить власть его величества от тех нападений, какие были делаемы на нее, и возможно далее устранить с пути все, что сколько-нибудь может напоминать о тех вещах, которые были так вредны его величеству и его авторитету, так пагубны и постыдны для королевства и имели такое разрушительное влияние на его истинные интересы... Не сохранить ни малейшего воспоминания о них, предать их вечному забвению». Акт этот помечен 28 марта 1661 г.

¹⁷ Все управление было с виду похоже скорее на действия инквизиции, чем на действия законных судов; но Шарп все-таки не был еще доволен. Так как отдельные случаи более всего уясняют подобные предметы, то я выпишу из «Истории шотландской церкви» Крукшенка приговоры, произнесенные при одном случае судом епископским. «Поведение некоторых прихожан Анкрема не должно быть оставлено без внимания. Когда их прекрасный пастор, м-р Ливингстон, был взят от них, то на его место представили некоего Джемса Скотта, состоящего под приговором к отлучению от церкви. В день, назначенный для его посвящения, собралось несколько человек, чтобы воспротивиться этому; в особенности же одна деревенская женщина, желая поговорить с ним, чтобы посоветовать ему не идти наперекор настоятельным требованиям народа, дернула его за одежду, прося выслушать ее; за это он ударил ее посохом. Тогда двое или трое мальчиков бросили в него несколько камней, которые, однако, не задели ни его, ни кого-либо из окружавших. Тем не менее на это взглянули как на мятежное действие, и шериф, и мировые судьи этого округа оштрафовали и подвергли тюремному заключению некоторых из среды народа, что, казалось, было достаточным возмездием за такого рода преступления. Но верховная комиссия, не удовлетворяясь этим, приказала представить преступников к ее суду. Вследствие этого четыре мальчика и женщина с двумя братьями ее, по имени Тернбеллы, были отвезены арестованными в Эдинбург. Четыре мальчика признались, что, когда Скотт ударил женщину, они бросили в него каждый по камню. Один член комиссии сказал им, что повесить их было бы слишком мало. Однако приговор этого безжалостного суда заключался в том, чтобы они были высечены среди Эдинбурга, заклеены в лицо раскаленным железом и затем проданы в рабство в Барбадос. Мальчики перенесли свое наказание, как взрослые люди и христиане, к удивлению толпы. Два брата были сосланы в Вирджинию, а женщину приказано было высечь среди города Джебберга. Когда заметили Бернету, епископу

Глазговскому, что ее можно было бы пощадить, если бы она была беременна, то он кротко отвечал, что он только заставил бы почесать ей плечи, чтобы с них сошла чесотка».

¹⁸ Они были облечены такой громадной властью, что древний епископский престол, установленный парламентом 1612 г., был бы не более как пигмеем в сравнении с теперешними высокопоставленными и могущественными лордами. «Поэтому,—говорит Дуглас,—неудивительно слышать жалобу против епископов, что их мизинец толще поясницы прежних епископов».

¹⁹ «Эта метода посредством солдат подчинять народ церкви, как противная духу христианства, была чужда Шотландии, пока епископ Шарп и прелаты не ввели ее в употребление» (*Водроу*. История шотландской церкви).

Сэр Джемс Тернер на с. 144 своих «Мемуаров» говорит: «Я не только не выходил из пределов данных мне полномочий и инструкций, но даже никогда не исчерпывал их до конца». Судя по тем же жестокостям, которые он совершал, какие же инструкции должны были дать ему его начальники?

²⁰ Приводим несколько примеров из «Истории шотландской церкви» Водрова. Одна женщина была привезена арестованной в Килмарнок, где она «была приговорена к посажению в глубокую яму под домом декана, наполненную жабами и другими гадкими тварями. Вопли ее оттуда были слышны на значительном расстоянии». Два поселянина «были связаны вместе веревками и привешены к дереву за большие пальцы рук на целую ночь». Солдаты сэра Уильяма Баннатайна схватили одну женщину, связали ее и вставили зажженные фитили между ее пальцами на несколько часов; она почти сошла с ума от страданий, лишилась одной из рук и через несколько дней умерла».

²¹ Это всем было известно в Шотландии, и очевидно, что на это самое намекает один писатель того времени, который называет Якова не человеком, а чудовищем. Он и был, бесспорно, чудовищем. «Если,—говорит Бернет,—кто должен быть подвергнут пытке *сапога* (ножным тискам), то это делается в присутствии совета, и в этом случае почти все стараются убежать. Зрелище это до такой степени ужасно, что без особого приказания, обязывающего такое-то число лиц оставаться, весь совет разбежался бы. Но герцог, пока он находился в Шотландии, далеко не хотел удалиться, а, напротив, смотрел на это все время с невозмутимым равнодушием и с таким вниманием, как будто бы он смотрел на какой-нибудь любопытный опыт. Это давало страшное о нем понятие всем, как о человеке, у которого нет ни сердца, ни человечности».

²² В 1684 г. Карстерс был подвергнут этой пытке. Ленг («История Шотландии». Т. IV. С. 143) говорит: «Тиски для пальцев, небольшие стальные винты, сдавливавшие большой палец и всю кисть руки с необычайной мучительностью,—изобретение, привезенное Дреммондом и Далзиелем из России».

²³ «Скот был главным средством существования этого племени, а приобретение его — главным предметом его враждебных набегов. Ненадежные жатвы давали ему, из чего печь его овсяные лепешки, или варить его эль, или гнать его водку. Когда этого не доставало, то скученное население страдало от крайней нужды и лишений. Одно время оно вынуждено было питаться отваром из крапивы, заправленным небольшим количеством овсяной муки. В другое время те, которые имели скот, должны были прибегать к такому средству: пускали ему кровь и, мешая ее с овсяной мукой, резали тесто это на ломтики и жарили».

²⁴ «Всякий, кто только хотел мечом расстроить или ниспровергнуть установленное правительство, был уверен в помощи начальников горских племен, ибо всякое прочное правительство было пагубно для их власти и почти враждебно их существованию. Чем более оно развивало мирные занятия и поощряло возрастание трудом создаваемого благосостояния, тем более оно становилось во враждебные отношения к тому народу, который не изменял своей природы, который не делал никаких успехов в промышленности и который жил мечом, добывавшим ему плоды трудолюбия других людей. С его интересами было так же несовместимо миролюбивое прочное правительство, как хорошо охраняемый овечий хлев — с интересами волков» (*Бертон. История Шотландии*).

²⁵ Это подало повод к молве, будто они каннибалы. В английском народе распространено было убеждение, что горцы едят детей. Этой молве, несмотря на ее нелепость, придавали некоторое правдоподобие возмутительные поступки горцев во время первого восстания (1715 г.), когда они страшно издевались над мертвыми телами, которые выкапывали из земли. В 1745 г. они ознакомили свое вступление в Англию следующим образом: «Мятежники во время своей стоянки в Карлайле делали самые отвратительные и возмутительные гнусности; недовольствуясь тем, что отнимали у семейств их наиболее ценные вещи, они имели еще бессовестность проявлять свою скотскую наглость и над личностями некоторых молодых леди даже в присутствии их родственников. Один джентльмен в письме к своему другу в Лондон пишет, что после совершенного ограбления он имел несчастье видеть, как три из его дочерей подверглись такому обращению, о котором он не в силах и рассказывать».

²⁶ Проведение дорог причинило им большое неудовольствие. Пеннант, посетивший Шотландию в 1769 г., говорит: «Эти общественные сооружения были сперва очень неприятны старым военачальникам и значительно ослабили их влияние, ибо когда между горцами стали появляться иностранцы, то кланы узнали, что их лорды — не первые из людей».

²⁷ В 1784 г. «в парламенте прошел без оппозиции билль» о возвращении «конфискованных имений» на севере Шотландии. При этом случае Фокс сказал, что владельцы «были достаточно наказаны сорокалетним лишением своих состояний за проступки предков».

²⁸ Макферсон говорит: «Этот прекрасный статут может без преувеличения быть назван новой великой хартией, данной свободному народу Шотландии».

²⁹ В 1696 г. мудрые люди в нашем, английском, парламенте провели закон, «чтобы ни под каким предлогом никакого рода товары из английских плантаций в Америке не были выгружаемы ни в Ирландии, ни в Шотландии, не побывав предварительно на берегу Англии, где за них и платилась пошлина,—под страхом конфискации кораблей и грузов». Конечно, чем более кто знаком с историей законодательства, тем более будет удивляться, что нации были в состоянии подвигаться вперед ввиду тех страшных преград, которые ставили на их пути законодатели.

³⁰ Успехи торговли были так быстры, что в одном сочинении, напечатанном в 1732 г., говорится, что «город Глазго есть средоточие обширнейшей торговли в королевстве, в особенности с плантациями, откуда приходят ежегодно двадцать или тридцать кораблей с грузами табаку и сахару,—выгода, которой королевство это никогда не пользовалось до соединения (королевств). Торговцы Глазго нанимают гавань на Фрите и могут отправлять свой сахар и табак в Голландию,

Германию и Балтийское море, не подвергаясь трудностям плавания вокруг Англии или Шотландии».

³¹ Автор сочинения «The Interest of Scotland Considered» (Edinb., 1733) говорит, что с 1727 г. «мы, по счастью, обратили свои взоры на улучшение наших мануфактур, которое составляет теперь общий предмет разговора, а это немало способствует успеху».

³² Излишек полотна сверх потребления составлял в 1728 г. 2 183 978 ярдов, а в 1738 г. — 4 666 001.

³³ Я приведу место, содержащее мнения одного знаменитого немца, Георга Комба, и одного знаменитого шотландца. «Доктор Шпуригейм при последнем посещении Шотландии заметил, что шотландцы кажутся ему народом, наиболее покупаемым духовенством, из всех наций Европы, не исключая даже испанцев и португальцев. Повидав другие страны, я могу понять всю силу этого замечания».

ГЛАВА V

¹ В 1638 г. один из замечательнейших людей среди шотландского духовенства пишет: «Наш главный страх» заключается в том, «чтобы нам не лишиться нашей религии, чтобы нам не перерезали горла, чтобы несчастная страна не сделалась английской провинцией, предоставленной навсегда в распоряжение какого-нибудь епископа Кентерберийского... Эта церковь есть церковь свободная, независимая; не менее свободно и независимо и это королевство; и подобно тому как наши патриоты лучше всего могут судить о том, что служит ко благу королевства, наши собственные пасторы должны быть лучшими судьями в деле выбора формы богослужения, соответствующей нашей реформации и ведущей ко благу народа». Двумя поколениями позже одним из самых популярных аргументов против соединения королевств было то, что оно даст возможность англичанам навязать Шотландии епископство.

² Ненависть, которую, естественно, питали шотландцы против англичан за причинение им стольких страданий, была все-таки очень сильна около половины XVII столетия, несмотря на временное соединение обеих наций против Карла. В 1652 г. уголовные протоколы полны случаев убийства английских солдат. Народ резал их всякий раз, как представлялся к тому удобный повод, и их столько же ненавидели в Шотландии, как ненавидели французских солдат в Испании во время войны на Пиренейском полуострове.

³ Кларендон под 1655 г. говорит: «Хотя Шотландия и была побеждена и подчинена до такой степени, что не было ни одного места, ни одного лица, обнаруживающего хотя малейшую тень сопротивления Кромвелю, который посредством управления Монка сделал иго особенно тяжким для всей нации, тем не менее проповедники сохраняли свободу кафедры и скорее под влиянием оскорбления, нанесенного пресвитерству, чем по чувству долга к королевскому величеству, многие из них вздумали молиться за короля; и вообще хотя тайно, но восстанавливали умы народа против настоящего правительства».

⁴ А что им было особенно больно, так это то, что он не хотел слушать их проповеди. Один писатель того времени (Гордон) сообщает нам, что даже в 1648 г., когда Кромвель был в Эдинбурге, «он не ходил в их церковь; но постоянно упоминается, что бывали проповеди у него на дому, так как он сам

проповедовал, когда на него нисходило вдохновение, что случалось с ним, точно пароксизмы лихорадки, иногда по два, иногда по три раза в день». В 1650 г., по словам другого современника, «он делал конюшни для своих лошадей из всех церквей всюду, куда бы ни приходил, и жег в них все кресла и скамьи, грабил дома пасторов и захватывал их хлеб». С другой стороны, духовенство, употребляя в дело все средства, какими оно всегда пользовалось, представляло Кромвеля противящимся Провидению тем именно, что он противился духовным. Петерфорд («Religions Letters», reprinted Glasgow, 1824. P. 346) говорит, что он боролся против «поверенных тайн Всевышнего», а Роу под годом 1658-м с торжеством замечает: «В начале сентября сего года протектор, эта старая лисица, умер. Замечено было как редкое проявление Божеского промысла, что он умер в третий день сентября, каковой день он, возгордившись тем, что разбил в оный наши войска при Денбаре, называл своим днем. Именно в этот самый день справедливый Судья призвал его к ответу» и т. д.

⁵ Балби в одном письме к Калями, помеченном из Глазго от 27 июля 1653 г., пишет: «20-го минувшего июля, когда наше Генеральное собрание заседало в обыкновенный день и в обыкновенном месте, подполковник Коттералль окружил церковь несколькими ротами стрелков и отрядом конницы; сам он взошел в дом собрания и непосредственно после молитвы м-ра Диксона, председателя, потребовал, чтобы его выслушали; при этом он спросил, заседали ли мы там с дозволения парламента английской республики? или главнокомандующего английских войск? или английских судей в Шотландии? Председатель отвечал, что мы составляем церковный синод, духовный суд Иисуса Христа, который не вмешивается ни во что гражданское; что наша власть происходит от Бога и установлена законами страны, до сих пор еще не отмененными; что торжественной лигой и Ковенантом английская армия обязалась защищать наше Генеральное собрание. После нескольких речей в этом роде подполковник сказал нам, что ему приказано заставить нас разойтись; после чего он приказал всем нам следовать за ним, грозя в противном случае выгнать нас. Заявив протест против такого неслыханного, беспримерного насилия, мы встали с мест и последовали за ним. Он провел нас всеми улицами и вывел на одну милю за город под конвоем нескольких рот пеших стрелков, без конницы; на что весь народ смотрел в скорби, как на самое грустное зрелище, какое ему случалось когда-либо видеть. Выведя нас на расстояние одной мили от города, он объявил нам о том, что еще было поручено ему сказать, а именно: чтобы мы не смели впредь сходитьсь более как по трое; и что к 8 часам следующего дня мы должны выехать из города под страхом обвинения в нарушении общественного спокойствия. И на следующий день звуком трубы нам возвещено было, что мы должны оставить город под страхом немедленного заключения в тюрьму. Таким образом наше Генеральное собрание, честь и сила нашей земной церкви, было сокрушено и стоптано вашим солдатством, без малейшего в то время с нашей стороны повода ни в слове, ни в деле».

⁶ В августе 1640 г. армия вступила в Англию; и «очень отрадно было заметить, что, когда мы остановились на ночлег, по всей армии не было слышно почти ничего другого, кроме пения псалмов и молитв и чтения Св. Писания солдатами во многих шалашах» («Select Biographies», ed. by Mr. Tweedie for the Wodrow Society). В 1644 г. знаменитый проповедник Эндрю Кант был назначен комиссарами Генерального собрания «говорить проповедь при открытии парламента, причем он вполне оправдал их ожидания. Ибо главным предметом его

проповеди было указать на оппозицию короля Карла царю Иисусу (так вздумалось ему выразиться) и вследствие этого настаивать на сопротивлении королю Карлу во имя интересов царя Иисуса.

⁷ Междоусобная война наша была не религиозная; это была борьба между короной и парламентом. См.: Бокль. История цивилизации. Т. I.

⁸ В этом адресе встречается следующее место: «Что же касается нас, то наши вооруженные силы, отправленные в это королевство во исполнение означенного Ковенанта, были так милостиво и так очевидно подкрепляемы и благословляемы свыше (среди многих опасностей, бедствий, нужд и тягостей) и способствовали в такой сильной мере к разбитию и рассеянию двух главных армий, сперва армии маркиза Ньюкаслского, а потом соединенных армий принца Руперта и его, а также ко взятию двух сильно укрепленных городов — Йорка и Ньюкасла,— что нам есть что отвечать врагам, упрекающим нас в этом деле, и есть чем замазать рот сущей неправде. А то дело, которое, *по-нашему, важнее, чем все победы или какие бы то ни было временные блага*, именно преобразование религии в Англии и установление единства в этом отношении между обоими королевствами (главнейшая цель этого Ковенанта),— до такой степени подвинуто вперед, что английский молитвенник с содержащимися в нем праздниками и многими другими церемониями вместе с прелатством, источником всего этого, уничтожены и выведены из употребления повелением парламента, и по вопросу об управлении делами религии во всех трех королевствах последовало соглашение в собраниях и парламентах обоих королевств без малейшего в котором-либо из них возражения; управление церковью посредством старейшин конгрегации, классных пресвитерий, областных и народных собраний принято собранием духовных в Вестминстере и решено также большинством голосов в обеих палатах английского парламента».

⁹ В 1684 г. комиссары Генерального собрания в адресе принцу Уэльскому утверждали, что «Божество сражалось за свой народ», разумея под этим народом народ шотландский. Они прибавляли, что факт отражения их врагов служит доказательством, «до какой степени Господь был недоволен их образом действия».

¹⁰ Передо мной теперь два шотландских свидетельства о роковом сражении при Денбаре. Согласно одному, поражение это должно было свидетельствовать о «великой греховности и порочности» народа. Согласно же другому, оно происходило от гнева Божества на то, что шотландцы оказывали некоторое снисхождение приверженцам Карла. Мнения эти составлялись после сражения. Перед сражением строились другого рода гипотезы. Сэр Эдвард Вокер, который находился в то время в Шотландии, говорит нам, что духовенство уверяло народ, будто «на его стороне была армия святых, и потому он не мог быть разбит».

¹¹ Никто, может быть, не доводил этого до такой крайности, как Джон Мензис, знаменитый профессор богословия в Абердине. «Так необычайно было его рвение, когда он находился на кафедре, что, как сказывают, он имел обыкновение всегда переменять белье после проповеди и за всякой проповедью смачивал по две и по три салфетки слезами» (*Водпроу*).

¹² Бернет говорит: «Я помню, в один день поста было шесть проповедей, сказанных без промежутков. Я сам находился при этом и немало был утомлен такой скучной службой».

¹³ Когда Гетри проповедовал в Фенвике, церковь его, хотя и довольно обширная, бывала битком набита по воскресным дням, и очень многие стояли за

дверями — прибывшие из отдаленных приходов; они алкали услышать проповедь чистого Евангелия и находили пищу в его слове. У них вошло в обыкновение ходить в Фенвик по субботам, присутствовать на общественном богослужении в воскресенье и затем отправляться домой в понедельник за 10, 12 или 20 миль без малейшего ропота на отдаленность пути или на лишение сна или других потребностей; и они не оказывались вследствие этого менее готовыми к другому какому-либо занятию в течение недели. Одна женщина пришла за 40 миль, чтобы слушать проповедь Ливингстона.

¹⁴ Справедливо говорит автор «Мемуаров Лошейля»: «Каждый приход имел тирана, который заставлял величайшего из лордов своего округа склониться перед его авторитетом. Церковь была местом заседания его суда; кафедра была его тронном или трибуналом, с которого он объявлял свои грозные приговоры; и двенадцать или четырнадцать суровых невежд, с титулом старейшин, составляли его совет. Если кто-нибудь, какого бы он ни был звания, имел смелость ослушаться его приказаний, то ужасный приговор об отлучении от церкви разражался над ним, его имения и движимость конфисковались и захватывались, а на него самого смотрели, как на находящегося действительно во власти дьявола и безвозвратно обреченного на вечную гибель».

¹⁵ Кларендон под годом 1640-м напыщенно говорит: «Проповедник делал выговоры мужу, управлял женой, наказывал детей и помыкал прислугой в доме величайших из людей». В половине XVII столетия один из известнейших шотландских проповедников открыто защищал право своей профессии вмешиваться в дела семейные на том основании, что таков был обычай во времена Иисуса Навина. «Служители дома Божьего не только ведают священные предметы, как то: слово Божье и таинства, вверенные их попечению, но и имеют власть церковного управления принимать меры в случае скандалов внутри семейств». В 1603 г. Абердинская пресвитерия сочла себя обязанной приказать, чтобы каждый хозяин дома имел у себя прут, которым можно было бы бить членов семейства, в том числе и прислугу, в случае употребления ими непристойных выражений. Оказывается также, что в 1674 г. думали, что духовное лицо должно иметь надзор за всеми лицами, посещающими частные дома, так как его следовало уведомлять, «не принимается ли в семействе какое-нибудь лицо без засвидетельствования, представленного пастору». В 1652 г. церковная сессия в Глазго «секла мальчиков и слуг в своем присутствии за несоблюдение воскресных дней и другие проступки».

¹⁶ «Другую особенность составляло наблюдение за всеми движениями народа, доведенное до такой степени, что люди не могли *ни приискать квартиру, ни найти занятие*, иначе как с дозволения от церковной сессии, или подвергались за ослушание этого полицейского суда штрафу и тюремному заключению» (Lawson's Book of Perth).

¹⁷ «Подлинно, дерзость их доходила до того, что они, точно будто посвященные в намерения Божии и предназначенные для исполнения над светом Его кары, осмеливались произносить приговор над будущим состоянием людей и обречать как их тела, так и их души на вечные мучения» (Wishart's Memoirs of the Marquis of Montrose. P. 237). «Вы услышали от меня всю волю Божию» (Rutherford's Religions Letters. P. 16). «Я не причащен к крови всех людей, потому что сообщил вам всю волю Божию» (Ibid. P. 191). «Таково великое призвание служителей Евангелия — объявлять всю волю Божию» (Holyburton's Great Concern of Salvation. P. 4). «Уверяя, что он объявил всю волю Божию и ничего не утаил»

(«Life of the Reverend Alexander Peden». P. 41 — Walker's Biographia Presbyteriana. V. I).

¹⁸ Фергюссон преспокойно говорит, что оскорбить духовное лицо, не поверив его показанию, или (как он называет это) «посланию», — значит «оказывать неуважение Богу».

¹⁹ Следующее приказание было обнародовано абердинской церковной сессией 12 июля 1607 г. «В означенный день донесено сессии, что в город прибыло несколько деревенских джентльменов и других, которые живут в нем и не ходят на проповедь ни в воскресенье, ни в какие-либо дни; поэтому приказывается, чтобы трое старейшин из каждого квартала сошлись с пасторами в доме сессии непосредственно после окончания проповеди в следующий вторник и там собрали имена джентльменов и других беспечных людей, пребывающих в этом городе, которые не бывают в церкви и не ходят слушать слово Божие; когда имена их будут собраны, то чтобы один из пасторов с городским старшиной пошел к ним и увещевал их посещать проповеди и бывать в церкви, в противном же случае выслать их из города». Недостаточно было ходить по временам в церковь; должно было постоянно бывать в ней, иначе духовенство оставалось недовольно и наказывало виновных. Ни расстройство, ни болезнь не могли быть приняты в уважение. Ни под каким видом проповедники не потерпели бы такого оскорбления, чтобы кто-либо проявил нежелание слушать их проповеди. В 1650 г. явился лорд Олифант, потребованный к ответу за непосещение своей приходской церкви в Аберчердоре, и объявил, что его частое нездоровье и недостаток домов для удобного помещения его и его семейства, так как церковь так далеко от них, — единственная причина тому и что он заглядит эту вину на будущее время. М-р Ридферд приказал донести об этом пресвитерии, а за его постоянное отсутствие подвергнуть его суду.

²⁰ «И нет никакой посредствующей власти между Господом и посланными Его в делах, относящихся до их призвания; один Он посылает их; Он один назначает их быть пастырями и учителями; Ему одному должны они отдавать отчет в исполнении своего назначения; и Он сам, один непосредственно, управляет ими с помощью своего духа и слова» (Forbes's Certaine Records touching the Estate of the Kirk). В силу этих забавных притязаний шотландские духовные постоянно называли себя послами Божиими, ставя себя этим бесконечно выше всех других людей.

²¹ «Пасторы называются ангелами, потому что они — посланные Бога, уполномоченные от Него на великое, небесное дело; этот именно титул и должен напоминать пасторам об их обязанности — исполнять волю Божию на земле, как ангелы исполняют ее на небеси, в духовном, небесном смысле, весело, с охотой, с готовностью; и должен *напоминать народу его обязанность — принимать это слово от пасторов, как от ангелов*» (Джургем). Кокбёрн говорит, что по этой именно причине «мы должны пристойно и почтительно держать себя» в церкви; «ибо если присутствие короля держит нас в страхе, то кольми паче должно (иметь то же действие) присутствие Бога и ангелов».

²² Один из самых популярных шотландских проповедников XVII столетия, Бининг, действительно ставит себя в этом отношении наряду с Сыном Божиим. «Христос и служители Его это — музыканты, пленяющие своими песнями слух и сердца людей, чтобы тем задержать их на пути и не дать погибнуть. Это блаженные сирены».

²³ Ретерфорд называет себя «отборной стрелой, скрытой в Его (Бога) колчане». Чтение этих и других мест, наполненных таким грубым материализ-

мом, я знаю, должно неприятно поражать и даже оскорблять многие чистые и утонченные умы, которым я не хотел бы без нужды причинять страдание. Но тот не может понять историю шотландского ума, кто не хочет входить в эти подробности; и пусть сам читатель решит, следует ли ему или нет оставаться в неведении о том, что я, как историк, обязан раскрывать. Помочь горю для него не трудно. Ему стоит только или закрыть книгу, или разом перейти к следующей главе.

²⁴ «Пасторов,—говорит Дюргем,—называют светилами по следующим причинам: I. Чтобы этим определить и выказать высокое положение и достоинство этой должности, чтобы заявить, что должность эта есть славная и блестящая. II. Чтобы указать, какое специальное назначение этой должности; оно заключается в сообщении света; подобно тому как светила употребляются для освещения Вселенной, главная обязанность пасторов — сиять и уделывать своего света другим; делать так, чтобы мир, являющий собою темную ночь, становился светлым».

²⁵ Достопочтенный Джемс Керктон говорит о достопочтенном Джоне Вэльше, что кто-то, наблюдавший его во время прогулки, «ясно видел какой-то странный свет, окружавший его...».

²⁶ В пояснение этого можно было бы наполнить целый том извлечениями из сочинений шотландских теологов XVII века; но, пожалуй, не хуже других и следующее место: «Да, едва ли можно найти пример какой-нибудь великой перемены или переворота на земле, которому не предшествовал бы такой необыкновенный предвестник. Может ли свет отрицать то, как иногда эти чудесные знаки принимали формы, указывавшие на самый род угрожавшего в то время удара,—своим странным сходством с ним; таковы огненный меч в воздухе, появление сражающихся армий, иногда даже на земле, на виду самых трезвых и здравомыслящих зрителей, также кровавые дожди, звуки барабанов и тому подобные явления, которые, как известно, обыкновенно предшествуют войнам и смятениям» (Fleming's Fulfilling of the Scripture. 1681).

²⁷ Дёрам, упомянув «о древних аббатствах, или монастырях, или замках, когда стоят одни стены и ничто не живет в них», присовокупляет: «Если бы кто спросил, бывает ли что-нибудь вроде посещения злых духов в этих запустелых местах, мы ответим: 1) что есть злые духи, блуждающие там и сям по земле, это достоверно; хотя ад есть собственно их место заключения, тем не менее они имеют известное господство и местопребывание как на земле, так и в воздухе; частью потому, что в проклятие их входит также блуждание, частью же в силу призвания своего искушать людей и причинять им духовное или временное зло» и пр.

²⁸ См. рассказ о том, как один молодой проповедник был введен таким образом в обман, в Wodrow's «Analecta». Достопочтенный Роберт Блер раскрыл этот обман и «с благоговейной серьезностью, проявлявшейся во всей его наружности, начал говорить юноше, в какой он был опасности и что человек, которого он принял за пастора, был дьявол, одурачивший его и завлекший в свои сети; советовал ему усердно молиться Богу и также не предаваться отчаянию, ибо еще была надежда». Проповедник был в этом случае до такой степени обманут, что дал дьяволу «письменное обещание» сделать все, чего от него требовали. Лишь только достопочтенный м-р Блер удостоверился в этом факте, он привел молодого человека перед пресвитерией и рассказал обстоятельство это членам. «Они были все странно поражены этим и единодушно решили немедленно окончить дела пресвитерии и остаться всю ночь в городе, а наутро собраться для молитвы

в одну из самых уединенных церквей пресвитерии, никому не сообщая о своем деле, (но) вода всюду за собой юношу, которого они во все время держали близко при себе. Это было исполнено, и после того как они все кругом помолились, кроме м-ра Блера, который молился последний, во время его молитвы сильный вихрь набежал на церковь, такой сильный, что они думали, что церковь обрушится на них, и с этим вместе бумага с договором юноши (т. е. договором, подписанным им по требованию сатаны) падает с крыши церкви посреди пасторов».

²⁹ Только тот, кто чрезвычайно много читал произведений теологической литературы того времени, может составить себе понятие об этом, почти общем, стремлении ее. В течение около ста лет шотландские кафедры оглашались этими ужаснейшими обличениями. Грехи народа, Божья кара, бдительность сатаны и адские муки были главными темами. На этом свете бедствия всякого рода объявлялись неизбежными; они всегда были наготове; не должно было пройти поколения, может быть, года без того, чтобы бедствия самого худшего свойства, какое только можно представить себе, не разразились над всей страной. Я приведу только вступление одной проповеди, которая теперь у меня перед глазами и которая была сказана в 1682 г. ни более ни менее как Александром Педеном. «Три или четыре вещи я имею сказать вам сегодня; и вот первая: кровавый меч, кровавый меч, кровавый меч тебе, о Шотландия, который поразит большую часть тебя в самое сердце; и вот вторая: много миль проедут по тебе, о Шотландия! и ничего не увидят, кроме опустошенных местностей. Вот третья: самые плодородные места в тебе, о Шотландия! станут голы, как вершины гор. И в-четвертых: беременные женщины в тебе, о Шотландия! будут терзаемы в куски. И в-пятых: много было в тебе еретических сходов (Conventicles), о Шотландия! но незадолго Бог созовет в тебе сходку, которая заставит тебя, Шотландия, дрожать. Многими проповедями предостерегал тебя Господь, о Шотландия! но незадолго приговоры Божии будут так же часты, как те драгоценные собрания, в которые Он посылал Своих верных слуг давать верное предостережение, Его именем, о том риске, которому подвергались отступающие от Бога и нарушающие Его дивные заветы. Бог посылал Вэльшей, Камеронов, Карджиллей и Сэмплей проповедовать тебе; но незадолго Бог будет проповедовать тебе посредством кровавого меча».

³⁰ И, по их мнению, варварская жестокость была результатом Его всеведения. Я с прискорбием выписываю следующие богохульные места: «Обратите внимание на то, кто придумывает эти истязания. Очень хороши бывали некоторые пытки, придуманные человеческим умом, одного названия которых, если бы вы понимали их сущность, было бы уже достаточно, чтобы наполнить сердца ваши страхом; но *все это настолько ничтожно в сравнении с муками, которые вам предстоит испытать, насколько ничтожна человеческая мудрость в сравнении с премудростью Божией... Бесконечная премудрость изобретала это зло*» («The Great Concern of Salvation» by the late Rev. M-r Thomas Halyburton. 1722).

³¹ Уильям Ветч, проповедуя в городе Джебборо перед многочисленной конгрегацией, сказал: «Вас тут сегодня две тысячи, но, я уверен, и восемьдесят из вас не будут спасены» После этого трое из его невежественных слушателей, придя в отчаяние, вскоре лишили себя жизни. То умственное настроение, которому потворствовало учение духовенства и которое приводило к самоубийству, живо изображено Сэмюэлом Петерфордом, самым популярным из всех шотландских теологов XVII столетия. «О! Он ложится (спать), и ад с ним ложится в постель; он спит — и ад, и они видят вместе сны; он встает, и ад идет вместе

с ним в поле; он идет в свой сад—и там ад... Человек идет к столу—о! он не смеет есть, он не имеет никакого права на создание; есть—это грех и ад; так во всяком блюде ад. Он идет в церковь, а перед его глазами собака величиной с гору: вот где ужасы».

³² «У Бога много путей, которыми Он может теснить людей и *найти Себе удовлетворение*. У Бога множество средств к тому, чтобы теснить людей и ниспосылать им всякие скорби, какие Он задумает против них; и в особенности у Него много средств для ниспослания голода. Он может вооружить все Свои твари, чтобы истребить все жизненные припасы людей, один за другим. Он может произвести перемену в воздухе, и мелкие насекомые сделают это дело, когда Ему будет угодно» (Гётчесон). Тот же самый теолог положительным образом приписывает Божеству ощущение удовольствия при нанесении вреда даже невинному. «Когда Бог насылает бич под видом меча, голода, заразы, чтобы внезапно низложить и истребить людей, то Он поражает не только виновных (которые имеются при этом в виду), но и невинных, т. е. тех, которые правы и не подали грубого повода к тому; и во всяком другом смысле никто не невинен и не свободен от греха в этой жизни. Скажу более: испытывая невинных этими бичами, *Господь, по-видимому, действует, как будто бы это доставляло Ему наслаждение*, и мало соболезнует о тех крайностях, в которые они ввергаются... Господу нравится, что он располагает великим множеством средств для причинения скорби сынам человеческим» и пр.

³³ Ретерфорд говорит: «Ни один человек не должен радоваться болезням и недугам; но, я полагаю, мы можем ощущать известного рода счастье при вередях и язвах, ибо без них персты Христа, как убитого (?) Господа, никогда не коснулись бы нашей кожи». Не знаю, какое действие произведут эти места на читателя; меня же мороз по коже подирает, когда я привожу их.

³⁴ Не ранее как в конце XVIII столетия отрешилось шотландское духовенство от этих понятий. Наконец и на него возымели влияние те насмешки, которым оно подвергалось вследствие своего суеверия и которые действовали на него сильнее всяких аргументов. Однако те учения, которые духовные эти и их предшественники долгое время вбивали в голову народу, до такой степени извратили его понятия, что, я уверен, найдутся даже в XIX столетии примеры того, что шотландцы считают за преступление принимать предосторожности против оспы, или, как они называли это, вцепляться в лицо Провидению. Последнее свидетельство об этом, какое я имею под рукой, заключается в одной книжке, изданной в 1797 г. Достопочтенный Джон Патерсон утверждает, что в приходе Олдерн, в графстве Нэрншир, «весьма немногие пали жертвой оспы, хотя народ питает вообще отвращение к оспопрививанию вследствие мрачности вообще его веры, которая научает его, что все недуги, поражающие человеческий организм, суть проявления Божеского заступничества, направленного к наказанию греха; поэтому всякое с их стороны вмешательство они считают посягательством на прерогативу Всемогущего Бога». Совершенно справедливо. Без всякого сомнения, такое гнусное и пагубное суеверие в народе было результатом «мрачности вообще его веры». Но достопочтенный Джон Патерсон позабыл прибавить, что та мрачность, на которую он жалуется, строго согласовалась с тем, чему научали самые умные, самые энергические и наиболее уважаемые из членов шотландского духовенства. М-р Патерсон мало отдаст справедливости своим соотечественникам; он скорее должен был бы похвалить ту стойкость, с какой они придерживались тех наставлений, которые они издавна привыкли получать.

³⁵ Понятие это так глубоко укоренилось, что мы действительно встречаем наложение всеобщего поста и покаяния по случаю «нынешних жестоких бурь, морозов и снегов, продолжавшихся столько времени, что скот вымирает целыми хлевами».

³⁶ «Война есть один из жестоких бичей, которыми Бог наказует нечестивые нации; и она постигает народ не случайно, а *по особому промыслу Божьему*, в руках которого и война, и мир...» «Справедливый Господь, терпеливо переносящий нечестивость наций, наконец *восстанет в ярости... Негодование Господне* на все христианство велико» (Из *Гетчесона и Бальи*).

³⁷ «Тупоумия и бесчувственности в человеке больше, чем в диких тварях, на которых вообще гром производит более сильное впечатление, чем на сердца большей части людей» (Dickson's Explication of the First Fifty Psalms). Гетчeson делает подобное же замечание по поводу землетрясений. «Потрясение и дрожание бессмысленных тварей, ввиду гнева Божия, служит укором для людей, которые нечувствительны к этому и не хотят смириться пред Его десницами».

³⁸ Под влиянием этого ужасного верования нежная мать Данена Форбса в письме к нему о своем собственном здоровье и о здоровье своего брата, говорит: «Моя грешная, прогневающая Бога заботливость как о душах, так и о телах ваших». Теологическая теория, лежащая в основании этого понятия и внушающая его, состояла в том, что «чувство благодати сдерживает этого рода влечения». Отсюда происходит строгое применение ее к особым дням для религиозных целей. Лайон упоминает, что некоторые из шотландского духовенства, начерчивая правила для управления одной колонией, включили в них следующее условие: «Ни один муж не должен целовать свою жену и ни одна мать не должна целовать своего ребенка в воскресный день».

³⁹ «Чем более вы угождаете себе и миру, тем далее вы от угождения Богу... «Приязнь человека к себе самому есть неприязнь к Богу».

⁴⁰ По Гетчесону, «ни в какое время не бывает человек так близок к прегрешению, к обнаружению присущих в нем корней зла, как когда он много обращается с тварями и среди веселья и радости». До чего развилось это учение, всего лучше можно видеть из мыслей, высказанных в начале уже XVIII столетия одним шотландцем, полковником Блакедером, человеком, получившим хорошее воспитание, много обращавшимся в свете и которого можно, до известной степени, назвать светским человеком. В декабре 1714 г. был он однажды на свадьбе и по возвращении домой пишет: «Был весел и, быть может, слишком дал волю насмешливости; однако думаю, что в разговоре не вдавался в легкомыслие и суетность. Я всегда стараюсь, чтобы речь моя была надлежащим образом приправлена солью и чтобы она приносила пользу слушателям. Засиделся поздно и был весел; надеюсь, однако, что безгрешно; впрочем, не стану себя оправдывать». В другой раз, в 1720 г., был он вечером в гостях: «Молодежь веселилась. Я сдерживал себя, чтобы не завлечься слишком далеко, и мало принимал участия в веселье, единственно настолько, чтобы не показаться букой или человеком неблаговоспитанным. Сидели до позднего часа, но беседа была безгрешная, и пили не больше, как сколько кто желал. Однако в этом затрачивается много времени, чего я не смею оправдывать. *Во всем человек согрешает*». Далее он пишет: «Я желал бы, чтобы к речам моим всегда примешивалось что-нибудь назидательное»; биограф же его замечает: «Как скоро беседа уклонялась от этой цели, она, по его мнению, *делалась суетным препровождением времени*, которое надлежало осуждать, а никак не поощрять»...

⁴¹ В 1650 г., когда Карл II был в Шотландии, «духовенство, по свидетельству Кларендона,—делало ему весьма строгие выговоры, когда случалось ему улыбаться в эти дни» (в воскресные).

⁴² Даже для детей, с восьми лет и старше, игрушки и игры почитались предосудительными и удаление от забавы почиталось добрым признаком.

⁴³ «Настоящее время есть старческий век мира; мир дряхлеет, хотя на глаза людей непонимающих он красив и прелестен, и тем, которые лишь вчера родились на свет и ничего не смыслят, кажется, будто он создан только со вчерашнего дня; на самом же деле,—и люди верующие это знают,—он уже склоняется в могилу» (Binning's Sermons).

⁴⁴ Шотландское духовенство в особенности обратило свой гнев на глаза человека. Ретерфорд презрительно называет их «бренными окнами персти». Грей идет еще далее и восклицает: «Эти проклятые глаза наши!»

⁴⁵ Я встретил один пример распространения и силы этого предрассудка в Шотландии, принадлежащий к очень позднему времени и поэтому весьма любопытный. В 1767 г. открылась вакансия старшего учителя классической гимназии в Гриноке. Место было предложено Джону Вильсону, автору поэмы «Клайд». Но, присовокупляет его биограф, «гринокские власти и пастор сочли долгом, прежде чем вверить Вильсону управление школой, поставить ему в условие, чтобы он бросил неблагочестивое и бесполезное искусство стихописания».

⁴⁶ Это понятие продержалось, вероятно, до начала настоящего, а во всяком случае существовало еще в самом конце минувшего столетия. В одной книге, изданной в Шотландии в 1836 г., рассказывается, что был еще в живых один пастор, который однажды подвергся «строжайшему выговору» за то только, что, увидев на улице кукольную комедию, он «послал служанку пригласить ее под окно, чтобы ему с женой посмотреть на зрелище».

⁴⁷ В 1654 г. пресвитерия города Сент-Эндрюса определила, «по причине существующего также в народе великого злоупотребления—приглашать толпу гостей на крестины и на помолвки, священникам и сессиям вменить в обязанность строго наблюдать за прекращением таковых злоупотреблений; чтобы гостей бывало не более шести или семи человек. А также определяет, чтобы трактирщикам, у которых происходят подобные пиры, были делаемы сессиями строгие выговоры».

⁴⁸ В Шотландии, как и повсюду, справлять свадьбу без пированья и веселья было для простолюдина вещью немислимой. Бедность в этом случае не была помехой. Напротив, по исконному обычаю, когда жених и невеста были недостаточны, они перед свадьбой объезжали весь околоток и созывали как можно более гостей. Собственный их расход был очень невелик: до отправления в церковь—по стакану вина с закуской ближайшим родственникам и более почетным гостям, да на вечер один или два музыканта. По возвращении же из церкви не только все собрание (иногда до двухсот человек) пировало и веселилось на собственный счет обыкновенно в ближайшем постоялом доме, иногда в нарочно устроенном для того доме при приходской церкви, но каждый из гостей считал себя обязанным участвовать в обзаведении хозяйства молодых домашними припасами, скотом, даже деньгами; сбор доходил нередко до 50, иногда даже до 100 ф. ст. Приношение это считалось не подарком, а только ссудой, которой молодые вели строгий счет и которую они обязаны были возратить таким же приношением в случае подобного приглашения дарителя или кого-либо из его родственников. Этот обычай существовал по всей Шотландии и во многих

частях Англии под различными наименованиями: penny-bridal, penny-wedding, bidding, bride-wain (грошовые свадьбы).

Духовенство запретило музыку и танцы и постановило, чтобы число присутствующих никак не превышало двадцати четырех человек. В 1650 г. пресвитерия, с прискорбием усматривая, что «по-прежнему водятся грошовые свадьбы, сопровождаемые чрезмерным и бесполезно многочисленным стечением народа и неприличным и противозаконным играми на волынках и пляской, каковой обычай особенно производит соблазн и грешен в настоящее время, при плачевном состоянии нашей церкви; и опасаясь, что священнослужители и церковные сессии не были так бдительны и усердны, как бы им надлежало быть, в преследовании этих злоупотреблений,—посему наистрожайше предписывает священнослужителям и церковным сессиям прекратить оные».

⁴⁹ «И в речи нашей библейские и старинные шотландские названия выходят из употребления; вместо *отец* и *мать* — *nana* и *мама*; детей учат говорить бессмыслицу и то, чего они не понимают. Эти немногие примеры из огромного количества, которое можно бы привести, составляют еще новые причины гнева Божия».

⁵⁰ «Так как разнесся слух, что Джанета Ватсон живет своим домом одна, причем она может подать повод к дурной молве, то поручается старейшине Патрику Питкерну именем сессии уговорить ее, чтобы она или выходила замуж, или определилась в услужение, иначе не будет ей дозволено жить одной своим домом» (Kirk-Session Records of Perth).

⁵¹ «Явился Уильям Киннер и сознался, что он был в пути в воскресный день, присовокупив, что решился на это по крайней необходимости, так как ему предстояло дважды переправляться через воду, а день был ненастный, почему он и опасался, что не успеет переправиться, а через это мог бы быть подорван его кредит. Сделано ему строгое увещание, и он обещал вперед не грешить» (Selections from the Records of the Kirk-Session of Aberdeen).

⁵² Даже в половине уже восемнадцатого века священники иногда подвергались нареканиям за то, что осмеливались выбраться в воскресный день. Прежде никому, даже из мирян, не позволено было побриться в этот день.

⁵³ Даже детям ставилось в грех, когда они скучали нескончаемыми проповедями, которые их принуждали выслушивать. Галибертон, обращаясь к юношеству своего прихода, говорит: «Не радовались ли вы, когда прошел день Господень или по крайней мере когда окончилась проповедь, помышляя, что вы наконец освободились? Не было ли вам в тягость сидеть так долго в церкви? А это великий грех!»

⁵⁴ В 1719 г. Эдинбургская пресвитерия с негодованием восклицает: «Воистину: иные люди дошли до такого безграничного нечестия, что не стыдятся купаться в реках и потешаться плаваньем в святой воскресный день».

⁵⁵ Грей, защищая учение о том, что «на земле подобает быть неискходно в скорби», сводит свои доводы к следующему размышлению: «Я думаю, что самым сладостным временем в жизни царя Давида было то время, когда его сын Авессалом преследовал его как куропатку».

⁵⁶ Ибо, говорит Абернети, «люди неохотно внимают Слову, когда пользуются изобилием». Таким же образом Гетчесон говорит: «Такова слабость даже богобоязненных людей, что они едва ли могут жить в благоденствии и не впадать до некоторой степени в беспечность, плотскую самонадеянность или в иные прегрешения».

⁵⁷ «Отсутствие в Шотландии внешних проявлений радости, резко противоположащееся столь частому на материке празднованию и ликованию, было замечаяемо не один раз. В актах церковного благочиния видим мы ясные указания на процесс, которым было достигнуто это отличие. По понятиям пуританской церкви шестнадцатого и семнадцатого столетий, всякое внешнее выражение радости или естественного веселья было чем-то вроде греха, и его следовало подавлять сколько возможно... Вся светлая сторона жизни была, так сказать, вытеснена вон из общества» (Chambers' Annals of Scotland).

⁵⁸ «Мы думаем,—говорит Ретерфорд,—что терпимость, оказываемая всем религиям, весьма близко подходит к богохульству». В 1645 г. Бальи, находясь в Лондоне, пишет: «Здесь индипенденты хлопочут о веротерпимости для себя и для других сект. Мое *«увещание»* подоспело очень кстати. Мы надеемся, что Бог поможет нам доказать нечестивость веротерпимости». В следующем 1646 г. Бальи пишет по поводу желания индипендентов оказывать милосердие людям, не разделявшим их образа мыслей: «Из всех известных нам людей индипенденты являют наименее усердия к истине Божией».

ГЛАВА VI

¹ Это, разумеется, я говорю только относительно их богословского содержания. Некоторые из Бриджватерских трактатов, каковы, например, сочинения Белля, Бокланда и Проута, имели в свое время большое научное значение, да и теперь еще могут читаться с пользой, но религиозная часть их жалка до крайности и доказывает или что у авторов сердце не лежало к принятому труду, или что предмет был им не по силам. Как бы то ни было, но должно надеяться, что нам не придется больше видеть примеров, чтобы люди с такими дарованиями подражались как какие-нибудь наемники и за деньги брались защищать те или другие мнения. Не постыдная ли вещь, что такие важные философские вопросы, которые должны бы быть предметом добросовестного и бескорыстного обсуждения, имеющего целью раскрыть истину, могут делаться предметом денежной сделки, в которой всякий человек, хотя бы самого ограниченного ума, но с деньгами, может закупить сколько ему угодно людей для того, чтобы они направляли мышление общества сообразно собственным его теориям.

² «Больно сознаться, что все сведения о кометах, какие мы можем почерпать в шотландских писателях по это время (1682 г.), не заключают в себе ничего, кроме рассказней о народных поверьях по этому предмету. Практическая астрономия была тогда, по-видимому, еще вовсе не известна; в то самое время, когда в других странах люди тщательно наблюдали, делали вычисления и приближались к истинным понятиям об этих прославленных небесных странниках, наши сочинители дневников умели только отмечать, на сколько ярдов, казалось, тянулся их хвост, каких последствий, вроде войны или моровой язвы, народ ожидал от их появления, как некоторые проповедники пользовались их появлением для душеспасительных поучений. В начале столетия Шотландия произвела великого философа, одарившего своих собратий тем математическим орудием, с помощью которого только и могли быть разрешены такие сложные задачи, каково движение комет. Следовало бы ожидать, что семьдесят лет спустя после Непера в отечестве его найдется много людей, умеющих пользоваться его ключом к подобным тайнам природы. Однако не явилось ни одного, и потом прошло еще

пятьдесят лет, прежде чем Маклорен начал наконец излагать в Эдинбургском университете великое учение Ньютона. Нечего было бы и искать более знаменательного признака характера семнадцатого века в Шотландии. Несчастные наши распри из-за внешних религиозных форм поглотили все умственные способности народа, так что у нас век Коулея, Уоллера и Мильтона был таким же веком бесплодия в изящной литературе, как век Горрокса, Галлея и Ньютона» (*Chambre's Domestic annals of Scotland*).

³ «Верующее невежество, — проповедовал Биннинг, — предпочтительнее опрометчивой и самонадеянной учености. Не добивайтесь причины этих вещей, а лучше благоговейте и трепещите перед их таинственностью и величием». Воспрещалось даже исследование библейских книг, и Диксон говорит о разных книгах Ветхого Завета: «Не следует нам доискиваться имени писавшего или времени сочинения какой-либо части их, тем более что Бог в иных случаях с намерением скрыл от нас имя писавшего и время, когда книга писана».

⁴ Боуэр в своей «Истории Эдинбургского университета» говорит: «История университетов в новейшей Европе, а может быть, и во всех других образованных странах света тесно связана с историей церкви. В Шотландии связь эта теснее, чем в какой бы то ни было другой цивилизованной стране, называющей себя протестантской, потому что Генеральное собрание имеет право, основанное на законе, контролировать всю деятельность этих учреждений относительно не только способа преподавания, но и самого преподаваемого учения, как религиозного и нравственного, так и по естественным наукам».

⁵ Одна запись, между прочим, гласит, что в январе 1648 г. «пресвитерия постановила, что все молодые ученые, живущие у разных лордов и дворян в пределах пресвитерии, в звании ли наставников при их детях или же для домашних душеспасительных бесед и чтения молитв, должны посещать пресвитерию, дабы братия могла знать, что они читают и какие успехи делают в своих ученых занятиях, а также судить о их поведении в тех семействах и о степени их приверженности Ковенанту и теперешней религии».

⁶ Восстановление старой логики служит важным признаком указанного движения. Книги, вроде сочинений Вэтли, Де Моргана и Манселя, не могли бы появиться в XVIII столетии; по крайней мере если б и явились по какому-либо чрезвычайному стечению обстоятельств, то не нашлось бы для них читателей. Как бы то ни было, но они имели очень обширное и благотворное влияние, и хотя архиепископ Вэтли не был достаточно знаком с историей формальной логики, однако обыкновенные ее процессы изложены у него с такой удивительной ясностью, что он, без сомнения, более чем кто-либо способствовал тому, чтобы уяснить своим современникам значение и важность дедуктивного способа мышления. Он, впрочем, не ценит, как бы следовало, противоположную школу и даже увлекся в старое академическое заблуждение, будто всякое умозаключение делается посредством силлогизма. Это совершенно то же, как если б кто вздумал уверять, что всякое движение совершается путем нисхождения.

⁷ «Цель нравственной философии (по Гётчесону) — направлять людей на тот образ действий, который самым действительным образом ведет их к наибольшему счастью и совершенству, насколько это возможно посредством наблюдений и заключений, раскрываемых из существа самой природы, без помощи какого-либо сверхъестественного откровения; эти житейские правила считаются поэтому законами природы, а совокупность или собрание их называется естественным правом».

⁸ «Такое же право,—говорит Гетчесон,—имеет от природы всякое разумное существо в деле своих мнений о явлениях отвлеченной или практической сфер судить по тем доводам, которые ему присущи. Право это вытекает из самого строения разума, который не иначе может с чем-либо соглашаться, как только сообразно с представляемыми ему доводами, и имеет врожденное стремление к познанию. Те же соображения убеждают нас, что это право не может быть отчуждаемо: оно не может быть подчиняемо воле другого человека, хотя при существовании уже прежде составившегося понятия о высшей мудрости другого человека или о непогрешимости его суждения мнение этого другого и может для человека со слабым рассудком сделаться достаточным доводом. Касательно мнений о Божестве, религии и добродетели право это подтверждается еще всеми благородными стремлениями души; ибо когда человек не будет держаться тех мнений, которые считает справедливыми, а станет исповедовать противное им, в этом не может быть добродетели; скорее это будет нечестие».

⁹ «Таким образом ни один человек не может действительно переменить своего образа мыслей, своего суждения, своего внутреннего настроения по приказанию другого человека, и никакого не будет добра из того, что его заставят наружно держаться учения, противного его внутреннему убеждению» (*Гетчесон*).

¹⁰ «Ариане и социнриане суть идолопоклонники и безбожники, говорят правоверные, а те возражают, что правоверные троебожники; так поступают и другие секты, и все таким образом побуждают правительства к гонению на противников. А между тем очевидно, что во всех сектах заключаются одинаковые побуждения ко всем социальным добродетелям, истекающие из верования в нравственный Промысел; все одинаково признают, что благодать Божия есть источник всех благ, которыми мы пользуемся или которых ожидаем в будущем; все одинаково учат человека быть благодарным и покорным Богу. И ни одна из них не возбуждает людей к пороку, кроме одного только учения, слишком общего почти всем им, которым они присваивают себе право гонения» (*Гетчесон*).

¹¹ «Идеи красоты и гармонии, как и все идеи, имеющие источником чувство, непременно и непосредственно доставляют нам наслаждение»... «Существующее в нас чувство красоты назначено, по-видимому, для того, чтобы доставлять нам положительное удовольствие»... «Красота внушает благоприятное предположение относительно хороших нравственных качеств»... «Очевидно, что не в нашей власти давать форму своим чувствам и желаниям, приспособлять их к какому-либо частному интересу; они определены для нас Творцом нашей природы и подчинены интересам целого; так что каждое отдельное лицо, еще до собственного своего выбора, состоит уже членом обширного целого и принимает участие в общих его судьбах или по крайней мере значительной части его и не может отложиться от этого отношения по своему произволу» (*Гетчесон*).

¹² Он так резко идет против господствовавших в его время понятий, что утверждает, что «ощущение нами удовольствия необходимо и что полезным или естественно благим для нас может быть только то, что способно, посредственно или непосредственно, возбуждать удовольствие».

¹³ «Богатство и власть истинно полезны не только ради житейских удобств и приятностей, но и потому, что дают средства к совершению добрых дел»... «Как несостоятельны также рассуждения некоторых отшельников-моралистов, которые осуждают вообще всякое стремление к богатству и власти, считая их недостойными истинно добродетельного человека, между тем как богатство и власть

суть самые действительные средства и самые могучие орудия к высочайшим добродетелям и к великодушнейшим действиям» (*Геттесон*).

¹⁴ «Величайшее счастье всякого существа должно заключаться в полном обладании всеми благами, которых требует его природа и к которым она способна... «высшее чувственное наслаждение доступно тем людям, которые душой и телом энергически трудятся на поприще доблестной общественной деятельности и всем естественным стремлениям удовлетворяют в свое время»... «Так как на деле благо целой системы требует, чтобы каждое вложенное в нас природой стремление и желание, даже низшего разряда, было удовлетворяемо, насколько удовлетворение их согласуется с более высокими наслаждениями и не выходя из пределов справедливого подчинения этим последним, то можно сказать, что самой же природой связано с ними некоторое понятие о праве».

¹⁵ В своей «*A System of Moral Philosophy*» он называет ее «первообразным суждением или присущим нашей природе чутьем, которого нельзя производить от других способностей восприятия».

¹⁶ Т. е. относительно только фактов. Геометрия, рассматриваемая в высшем ее значении, опирается на идеи, и с той точки зрения она несокрушима, пока не могут быть опровергнуты аксиомы. Но когда геометры хотят иметь не только аксиомы, но и определения, они без сомнения выигрывают относительно ясности, но зато теряют относительно точности. Мне кажется, что без определений геометрия не могла бы быть наукой о пространстве, а была бы наукой о величинах, мыслимых в отвлечении, и, следовательно, так чиста, как только могло бы быть отвлеченное развитие понятия. Это не касается вопроса об эмпирическом происхождении аксиом.

¹⁷ «Постоянные наши наблюдения над поступками других людей нечувствительно приводят нас к составлению себе известных общих правил относительно того, что прилично и следует делать, а чего должно избегать... Таким-то путем образуются общие правила нравственности. Они окончательно основываются на опыте, указывающем нам, что в данных частных случаях нашими нравственными способностями, нашим природным чувством заслуги и приличия одобряется или не одобряется. Первоначально мы одобряем или осуждаем известные частные действия не потому, что они, по обсуждению, оказываются согласными или несогласными с каким-либо общим правилом. Напротив того, общее правило устанавливается вследствие того, что мы по опыту узнали, что все действия известного рода или обставленные известным образом одобряются или осуждаются... Мы одобряем или осуждаем собственные свои поступки сообразно своему сознанию, что, поставив себя на место другого человека и глядя на свои поступки его глазами, с его точки зрения, мы могли бы или не могли вполне согласиться и с теми побуждениями, под влиянием которых мы действовали так или иначе, и сочувствовать им».

¹⁸ «Человеколюбие есть свойство женщины, великодушие — свойство мужчины. Прекрасный пол, обыкновенно отличающийся гораздо большим против нас мягкосердием, редко являет столько великодушия» (*Smith's Theory of Moral Sentiments*. Т. II. Р. 19). Еще не собрано достаточного числа фактов для того, чтобы нам иметь возможность проверить справедливость этого замечания; а отрывочные заметки некоторых одиночных наблюдателей имеют мало значения в такой обширной задаче. Тем не менее я позволяю себе усомниться в совершенной справедливости указанного Адамом Смитом различия. Мне кажется, что вообще женщины не только мягкосердечнее, но и великодушнее нас. Но для того,

чтобы подкрепить доказательствами такого рода положение, потребовались бы чрезвычайно обширные изыскания, сделанные весьма тщательно и с весьма тонким аналитическим умом; в настоящее же время не существует ни одного сколько-нибудь ценного сочинения о нравственных особенностях, характеризующих оба пола, да и не может существовать до тех пор, пока к биографии не присоединится физиология.

¹⁹ «Не трудолюбие, а бережливость составляет непосредственную причину возрастания капитала. Трудолюбие, правда, доставляет предметы, которые бережливость накапливает; но, сколько бы трудолюбие ни приобретало, капитал от этого нисколько бы не увеличивался, если б бережливость не сохраняла и не копила»...

²⁰ «Это хитрое и коварное животное, обыкновенно именуемое государственным человеком или политиком, которого суждения управляются обстоятельствами данной минуты» («Богатство народов». Ч. IV. Гл. II).

²¹ «Одной уверенности, доставляемой законами Великобритании каждому человеку, в том, что он будет безопасно пользоваться плодами своего труда, достаточно уже для того, чтобы вести страну к благосостоянию, несмотря на эти и на двадцать других нелепых законодательных распоряжений относительно торговли» («Богатство народов». Ч. IV. Гл. V).

²² «Забываясь только о своей собственной выгоде, он нередко гораздо действительнее способствует пользе всего общества, чем когда ставит себе целью эту последнюю. Я никогда не видывал, чтобы много выходило добра из притязания некоторых людей заниматься торговлей ради блага общества».

²³ В своей «Theory of Moral Sentiments» (Ч. I. С. 21) он говорит, что «человек от природы склонен к сочувствию».

²⁴ «Это-то уважение к чувствам людей главный образ и побуждает нас гоняться за богатством и избегать бедности» («Theory of Moral Sentiments». Ч. I. С. 66). «Сделаться естественным предметом радостных поздравлений и сочувствующего внимания людей,— вот, следовательно, что придает богатству его обаятельный блеск» (С. 78).

²⁵ В каждом цивилизованном обществе, в каждом обществе, в котором уже вполне установилось различие сословий,— всегда существовали одновременно две различные системы или степени нравственности, из которых одну можно назвать строгой или суровой, а другую — свободной или, пожалуй, распушенной. Первая вообще в большой чести у простого народа, второй более оказывает уважения и охотнее придерживается так называемое высшее общество. Главное различие между обеими системами составляет, по-видимому, степень неодобрения, с каким люди относятся к порокам вертопрашества и порокам, нередко возникающим из большого богатства, из избытка веселости и из рассеянной жизни. Свободная или распушенная система очень снисходительно смотрит на сластолюбие, на пустое и даже беспорядочное веселье, на жажду удовольствий, доводимую до некоторой степени невоздержности, на нарушение целомудрия, по крайней мере со стороны мужчины,— лишь бы эти пороки не сопровождались грубой непристойностью и не доводили человека до лживых и насильственных поступков; все это свободная система легко извиняет и даже положительно прощает. Суровая система, напротив, смотрит на такую невоздержность с величайшим отвращением и негодованием. Для простолюдина подобные пороки всегда гибельны; одной недели невоздержности и разгула бывает иногда достаточно для того, чтобы вконец сгубить бедного работника и довести его с горя

до самых тяжких преступлений. Поэтому благоразумнейшие и лучшие люди из простого народа всегда смотрят с величайшим ужасом и отвращением на подобные увлечения, зная по опыту, что они людям их сословия грозят неминуемой гибелью. Человека высшего общества, напротив, несколько лет беспорядочной жизни и мотовства не всегда разорят вконец; и светские люди более или менее склонны считать возможность предаваться до некоторой степени таким излишества за одну из выгод, доставляемых им богатством, а в возможности это делать, не подвергаясь осуждению или нареканию, видят одну из льгот, присвоенных их общественному положению. Поэтому в людях себе равных они смотрят на подобные пороки только с весьма легким оттенком неодобрения и осуждают их с большим снисхождением или даже вовсе не осуждают.

«Почти все религиозные секты возникали из среды простого народа и в нем обыкновенно находили себе самых первых и многочисленных последователей. Вследствие того эти секты почти всегда принимали строгую систему нравственности; исключения, конечно, бывали, но их очень немного. Принятием этой системы они могли всего лучше зарекомендовать себя тому классу народа, к которому они прежде всего обращались со своими планами преобразования существующего порядка. Многие из них, пожалуй, даже большая часть, старались перецегилять друг друга, еще более усиливая эту строгость нравственных правил и доводя их до некоторой степени безумия и чудовищности; и эта чрезмерная суровость действительно более чем что-либо иное доставляла им почтение и благоговение простого народа... В мелких религиозных сектах поэтому нравственность простого народа всегда почти отличалась замечательной чистотой и строгостью; вообще она была всегда гораздо строже, чем в господствующей церкви. Нередко даже нравственное учение этих мелких сект доходило до крайней суровости и до враждебного отношения к обществу» («Богатство народов». Ч. V. Гл. I).

²⁶ «Возражают, что весьма редко приходится слышать о стачках между хозяевами, между тем как среди работников они случаются очень часто. Но кто на этом основании вообразит, что стачки между хозяевами редкость, тот плохо знает людей и вовсе не знаком с делом. Между хозяевами везде и во всякое время существует негласная, так сказать подразумеваемая, но постоянная и неизменная стачка — не возвышать заработной платы против существующего в данное время размера; нарушение этого уговора считается изменой и делается для виновного предметом нарекания со стороны его соседей и сотоварищей. Правда, что до нас очень редко доходят толки об этой стачке; но это происходит от того, что она есть обычное, так сказать естественное, положение дела, о котором нечего и толковать» («Богатство народов». Ч. I. Гл. VIII).

²⁷ «На первый взгляд кажется несообразностью, что мы презираем их самих и в то же время с такой широкой щедростью награждаем их искусство. Однако второе есть необходимое последствие первого. Если мнение или предрассудок общества относительно подобного рода занятий когда-либо изменится, то вслед за тем уменьшится и денежное вознаграждение, которое за них дается. Большее число людей примется за это искусство, и конкуренция быстро понизит цену их труда. Такие таланты, хотя не на каждом шагу встречаются, однако далеко не такая редкость, как мы воображаем. Много найдется таких людей, которые обладают этим искусством в замечательной степени, но считают унизительным делать из него подобное употребление; и много бы нашлось еще таких, которые без труда могли бы приобрести его, если б можно было извлекать из него пользу, не утрачивая общего уважения» («Богатство народов». Ч. I. Гл. X).

²⁸ В этом мнении особенно утверждает меня то обстоятельство, что по мере того, как Юм старел и чем более он изучал историю, тем упорнее привязывался он к своим ошибочным воззрениям,—чего не могло бы быть, если б эти ошибочные воззрения происходили, как утверждают многие критики, из недостаточного знакомства с памятниками. Бертон сравнением различных изданий его «Истории Англии» доказывает, что суждения его постепенно становились все более и более неблагоприятными для народной свободы; что он в последующих изданиях постоянно умерял и даже вовсе исключал все те выражения, которые клонились в пользу свободы. Сам Юм в своей автобиографии говорит: «Изменения — их больше сотни, — которые я находил нужным сделать в своей истории царствования двух первых Стюартов, вследствие ближайшего изучения, чтения и размышления, — сделаны все в духе торийской партии». В одном из своих мелких трактатов он говорит, что «в мыслителях не бывает энтузиазма», — замечание вполне верное в применении к нему самому, но вовсе не основательное, если распространять его на весь класс людей, к которому он его относит.

²⁹ Между тем как современные ему политики ни во что не ставили его воззрения, политики нашего времени, по-видимому, расположены превозносить их выше действительного их достоинства. Лорд Брум, например, в своей биографии Юма говорит о его значении в политической экономии: «Юм, без всякого сомнения, есть родоначальник новейших учений, ныне господствующих во всем ученом мире». Этот отзыв, однако, весьма далек от истины; напротив, в науку политической экономии со времен Юма внесено столько новых дополнений, что этот знаменитый мыслитель, если б встал из мертвых, едва ли узнал бы ее. Ему были совершенно неизвестны многие из самых широких и основных ее начал. Юм ничего не знал о причинах, управляющих накоплением богатства, и о том, почему это накопление совершается с различной степенью быстроты, при различных состояниях общества. Ничего не знал также Юм ни о законе взаимного отношения населения и заработной платы, ни о взаимном отношении заработной платы и прибылей. Он был даже убежден, что, чем богаче какая-либо страна и чем значительнее ее торговля, тем легче другой, бедной стране продавать свои произведения в подрыв ее произведениям, потому что бедная страна имеет перед богатой преимущество низкой заработной платы; что внутреннее достоинство денег может быть понижаемо без повышения от того цен и что страна может увеличить свое народонаселение посредством обложения пошлинами иностранных продуктов.

«Если, например, — говорит он, — перечеканить все наши деньги и убавить серебра на один пенс в каждом шиллинге, то на такой новый шиллинг можно будет, по всем вероятностям, покупать все то же, что покупалось на прежний; таким образом цены на всякого рода вещи нечувствительно понизятся, оживится внешняя торговля, а внутренняя промышленность расширится и будет поощрена чрез обращение большого числа фунтов и шиллингов».

Все это ошибки капитальные, подрывающие политическую экономию в самом основании; и если добросовестно оценить то, что сделано в науке Мальтусом и Рикардо, то становится очевидно, что Юмовы учения вовсе не «господствуют в ученом мире». Этим нисколько не умаляются заслуги Юма, который, конечно, совершил удивительные вещи, если принять в соображение состояние науки в его время. Вся ошибка на стороне тех, которые воображают, что наука, так быстро идущая вперед, как политическая экономия, может руководиться учениями, высказанными слишком за сто лет назад.

³⁰ И в последующее время понимание этой истины было так еще мало распространено, что, когда началось в Австралии и в Калифорнии добывание золота в огромных количествах, повсюду стали ходить сильные толки, что проценты на деньги должны упасть вследствие этого происшествия, между тем как не подлежит никакому сомнению, что, хотя бы золото было так же изобильно, как железо, размер процентов на деньги от этого нисколько бы не изменился; все влияние отразилось бы только на ценах.

³¹ Он отзываясь о нем в следующих странных выражениях: «Когда мы имеем в виду чрезвычайное разнообразие способностей, которыми обладал этот человек; соображаем, что он был и публичный оратор, и делец, и острый светский человек, и ловкий царедворец, и приятный собеседник, и писатель, и философ,— тогда он по справедливости возбуждает удивление. Но если смотреть на него только как на писателя и философа, в каком отношении мы в настоящую минуту собственно и судим о нем, то он хотя и является все-таки человеком очень замечательным, *однако стоит ниже своего современника Галилея, а пожалуй, даже и Кеплера.* ... Чувство национальной гордости, сильно развитое у англичан и составляющее источник их счастья, побуждает их осыпать своих замечательных писателей, в том числе и Бэкона, такими восторженными хвалами, которые часто могут казаться пристрастными и преувеличенными».

³² Действительно, одно, что можно против них возражать, это то, что способ выражения их собирателей бывает иногда сбивчив, так что под одним и тем же показанием один статистик разумеет одно, а другой — нечто совершенно иное. Это особенно бросается в глаза во врачебной статистике, из чего некоторые писатели, незнакомые с сущностью научных доказательств, вывели заключение, будто медицина не допускает применения математического метода. На деле же единственное действительное препятствие к тому заключается в жалком состоянии клинической и патологической терминологии, в которой такая путаница, что приходится сомневаться в точности всяких обширных числовых данных касательно болезней.

³³ Один шотландский философ очень ясно и точно выразил сущность этого любимого приема своих соотечественников. «При рассмотрении истории человечества, равно как и при рассмотрении явлений физического мира, в тех случаях, когда мы не можем проследить процесса, которым *произведено* событие, весьма важна бывает иногда возможность показать, каким образом оно *могло быть произведено* естественными причинами... Такого рода философское исследование, не имеющее названия на нашем языке, я позволяю себе называть *theoretical* или *conjectural history* (*теоретической* или *гадательной историей*), словом, значение которого весьма близко подходит к выражению *естественная история* в том смысле, в каком употреблял его Юм, и к тому, что некоторые французские писатели называют *histoire raisonnée*». Отсюда в «большей части случаев гораздо важнее бывает раскрыть самый простой ход (события или явления), чем ход его, наиболее согласный с действительностью, ибо, как бы такое положение ни смахивало на парадокс, не подлежит спору, *что действительный ход не всегда есть самый естественный*. Он мог быть обусловлен особенными случайностями, которых повторение маловероятно и которые не могут почитаться за непремennую часть того общего порядка, который природа установила для совершенствования человеческого рода».

³⁴ И наоборот, что «как скоро что-либо из умозрения оказывается ложным», оно «никогда не могло быть ясно создано умом».

³⁵ «Никакое умствование не может породить такой новой идеи, какова идея власти; но когда мы принимаемся рассуждать, мы должны предварительно иметь ясные идеи, которые могли бы быть предметом нашего рассуждения... Мы достигаем познания причин с помощью какого-то чутья или фантазии». Поэтому более широкое воззрение, предшествуя понятию более тесному и будучи от него существенно независимо, постоянно находится с ним в противоречии; и Юм, например, сетует на то, что «трудности, которые в теории кажутся непреодолимыми, легко преодолеваются на практике», а в другом месте — на усилие, потребное для того, «чтобы примирить разум с опытом». Собственно говоря, уразуметь его метод можно только из тщательного изучения его сочинений в целом, а не из каких-нибудь отдельно приводимых мест. Впрочем, из двух приведенных фраз читатель усмотрит, что теория и разум представляют у него более широкое, а практика и опыт — более тесное воззрение.

³⁶ «Мало-помалу деятельное воображение человека, не находя успокоения в этом восприятии отвлеченных понятий, над которым оно беспрестанно работает, начинает давать им большую определенность, облекать их в образы, более соответствующие его природному пониманию. Оно представляет их существами сознательными и разумными, подобно человеку, способными к любви и ненависти, склоняющимися на подарки и просьбы, молитвы и жертвоприношения... Тут начало религии; тут же начало идолопоклонства или многобожия... Первоначальная религия человека возникает главным образом из страха и опасения за будущее» (Юм).

³⁷ «Можно, кажется, принять за несомненное, что, по естественному ходу человеческой мысли, невежественная толпа должна составить себе грубое и ребяческое понятие о высших силах, прежде чем дойдет до понятия о том совершеннейшем Существо, Которое установило законы для всего строя природы. Вообразить, что люди жили в роскошных палатах, прежде чем стали строить себе шалаши и избы, или принялись за изучение геометрии, прежде чем научились земледелию, было бы точно так же разумно, как утверждать, что Божество представлялось им чистым, всеведущим, всемогущим и вездесущим духом, прежде чем они стали бояться его как могучего, но ограниченного существа, наделенного человеческими страстями и наклонностями и человеческими членами и органами. Ум постепенно восходит от низших понятий к высшим. Путем отвлечения от несовершенного вырабатывает он идею о совершенстве; и медленным отделением в себе самом более возвышенных сторон от более грубых научается еще, возвысив и очистив первые, возводить их себе в Божество. Ничто не могло нарушить этого естественного хода мысли, кроме какого-нибудь очевидного и несокрушимого аргумента, который непосредственно привел бы разум к чистым началам теизма и заставил бы его одним махом перескочить все громадное расстояние, отделяющее человеческую природу от божественной. Но хотя я и признаю, что порядок и строй Вселенной при внимательном наблюдении их действительно представляют такой аргумент, однако я не могу допустить, чтобы это соображение имело влияние на людей при создании ими своих первых грубых понятий о религии» (Юм).

³⁸ «Епископ Беркли без сомнения не сообразил, как бы следовало, что чрез посредство материального мира сообщаемся мы с мыслящими существами и познаем их существование и что, отнимая у нас материальный мир, он в то же время отнимает у нас семейство, друзей, отечество и всякое человеческое существо; лишает нас всех предметов любви, уважения или участия, кроме нас самих. Не

таково было, конечно, намерение почтенного епископа. Он был сам слишком преданный друг, слишком ревностный патриот и слишком добрый христианин, чтобы такая мысль могла прийти ему на ум. Он не сознавал последствий своей системы» (бедный простачок Беркли!), «а потому их и не следует ставить в вину ему, их должно ставить в вину самой системе. Она душит всякие бескорыстные и общительные стремления» (*Рид*).

³⁹ «Между тем философы, как видно, значительно расходятся в своих мнениях относительно основных начал, что один признает за очевидное само по себе, то другой силится доказать аргументами, а третий решительно отрицает» (*Reid's Essays*. Т. II. С. 218). «Д. Локк, по-видимому, полагает, что в основных началах весьма мало пользы» (Там же. С. 219).

⁴⁰ «Всякое умозаключение должно исходить от основных начал; существование же основных начал нельзя объяснить иначе как тем только, что мы по самому существу своей природы принуждены принять их» (*Reid's Inquiry*. С. 140). «Всякое умозаключение исходит от основных начал... Поэтому начала эти по всей справедливости не подчиняются обсуждению разумом и отбивают все орудия логики, направляемые на них мыслителем» (С. 372). «Всякое знание, добываемое умозаключением, должно опираться на основные начала» (*Reid's Essays*. Т. II. С. 220). «Во всякой отрасли действительного знания должны быть основные начала, которых истина познается непосредственным умосозерцанием, без всяких рассуждений, теоретических или практических. Они не опираются на рассуждение, но всякое рассуждение опирается на них» (С. 360).

⁴¹ В весьма замечательном сочинении Бэна («*On the Senses and the Intellect*») приводится пример того, как произвольно Рид принимал за неоспоримую истину, что известные явления суть основные начала, для того чтобы иметь право не анализировать их, а полагать их в основание своих умозаключений. «Доктор Рид, не колеблясь, относит к числу инстинктов произвольное употребление наших органов, т. е. последовательность ощущения и действия, заключающуюся в каждом проявлении нашей воли. По его мнению, способность поднести кусок пищи ко рту есть инстинктивное или предустановленное сочетание желания с действием; т. е. ощущение голода в сочетании с видом куска хлеба соединяется связью, существующей в нашем уме по самой его природе, с различными движениями пальцев, руки и рта, составляющими акт еды. *Это утверждение доктора Рида можно опровергнуть просто, противопоставив ему факты.* Несправедливо предположение, будто человек при самом рождении обладает способностью произвольно пользоваться своими членами. Двухмесячный ребенок не может действовать руками сообразно своим желаниям. Младенец ничего не может ухватить, ничего не может держать; он едва может определенно смотреть на какой-либо предмет... Если совершеннейшее управление произвольными нашими движениями, предполагаемое каждым искусством, есть приобретение, то приобретением же должно считать и менее совершенное управление этими движениями, постепенно достигаемое ребенком в первый год его жизни».

⁴² Теория неуничтожаемости силы применена к закону тяготения профессором Фарадеем в его «*Discourse on the Conservation of Force*» (1857) — трактате, исполненном глубины и силы мысли, который следовало бы тщательно изучить всякому, кто желает понять направление, которое приняли в последнее время исследования в высших областях естествознания. Я приведу одно только место из вступления, для того чтобы дать читателю понятие об общем его характере, независимо от специального вопроса о тяготении. «Благодаря успехам в послед-

нее время точного знания, все более и более утверждается убеждение, что силу нельзя ни создать, ни уничтожить; и с каждым днем очевиднее становится польза познания этой истины для опытных исследований... Вполне соглашаясь с теми, которые признают сохранение силы за одно из начал естествознания, такое же широкое и неопровержимое, как и неуничтожаемость материи или неизменность тяготения, я полагаю, что никакое особенное понятие о силе не может быть допускаемо безусловно и без ограничений, если оно не включает в себе признака этого начала».

⁴³ Доктор Робисон, издавший лекции Блэка, говорит (с. 513): «Ничего не могло быть проще его учения о скрытой теплоте. Слишком сто лет опыта приучили нас смотреть на термометр, как на вполне надежный и точный указатель теплоты и всех ее изменений. Мы привыкли не доверять никаким другим указаниям. Между тем переход тел в жидкое или в парообразное состояние неопровержимо доказывал нам, что теплота входит в эти тела. Мы могли даже, посредством приспособленных к тому процессов, опять извлечь ее из них. Доктор Блэк говорил, что она в них скрывается *latet*; она тут скрывалась точно так же, как скрывается углекислота в мраморе; она скрывалась, пока доктор Блэк не открыл ее. Он назвал ее скрытой теплотой. Этим выражением он ничуть не хотел сказать, что эта теплота отличная от той, которая расширяет тела; он разумел только, что она скрывается от нашего осязания и от термометра».

⁴⁴ В 1814 г., т. е. через десять лет по издании его великого сочинения, или около двадцати лет после того, как он приступил к нему, он пишет из Парижа: «Моя книга о теплоте более известна здесь, чем в Англии. Мне даже напомнили о некоторых местах в ней, на которые в Англии смотрели как на мечтания, между тем как недавние открытия касательно поляризации света подтвердили их». Лесли умер в 1832 г., а решительные опыты Форбса и Меллони были произведены между 1834 и 1836 гг.

⁴⁵ Предположение, что вулканические силы были прежде могущественнее, чем теперь, несколько не противоречит научной теории однообразия, хотя и считают вообще, что существует такое противоречие: утверждать об однообразии законов природы и об однообразии естественных причин суть две вещи совершенно различные. Очень может быть, что теплота некогда производила гораздо большее действие, чем может производить теперь, и что все-таки законы природы не изменились и порядок и последовательность событий не были прерваны. Одно я осмелился бы заметить геологам, это именно, что они не приняли достаточно в соображение теорию замены сил одной другой, которая дает, по-видимому, разрешение по крайней мере части задачи. Ибо по этой теории значительная часть теплоты, существовавшей прежде, могла превратиться в другие силы, такие, например, как свет, химическое сродство и тяготение. Увеличение этих сил, следовавшее за уменьшением теплоты, могло облегчить отвердение материи; и пока эти силы имели известную энергию, вода, взявшая потом такой верх, могла не образоваться. Если бы, например, сила химического сродства была слабее, чем она теперь, то вода непременно разложилась бы на составляющие ее газы. Не желая придавать слишком много важности этому умозрению, я повергаю его на усмотрение сведущих судей; я убежден, что любая гипотеза, не совершенно противоречащая известным законам природы, может быть предпочтена тому принципу вмешательства, который чудесная, так сказать, школа геологов хочет навязать нам в совершенном неведении о его несообразности с выводами самых передовых умов по другим отраслям мышления.

⁴⁶ «Великие двигатели перемен в неорганическом мире могут быть разделены на два главных класса — на водных и огневых. К водным принадлежат: дождь, реки, ручьи, источники, течения, приливы и отливы; к огневым — вулканы и землетрясения. Оба этих класса суть орудия разрушения столько же, сколько и восстановления; но на них можно также смотреть как на силы, враждебные друг к другу. Ибо водные деятели постоянно сиются привести неровности земли к одному уровню, между тем как огневые столь же деятельны в восстановлении неровностей внешней коры, частью насыпая новые вещества в известных местностях, частью же вдавливая одну и заставляя выдаться другую части земной оболочки» (*Лайель. Основы геологии*).

^{46a} «Если справедливо, что образ выражения есть первое необходимое свойство в популярном ораторе, то не менее достоверно, что путешествовать есть предмет первой важности для тех, кто желает создать верные и широкие взгляды на строение земного шара. Вот Вернер, тот не предпринимал путешествий в отдаленные страны; он изведаль только небольшую часть Германии и уже смекнул сам и заставил других поверить, что вся поверхность нашей планеты и все горные цепи в мире созданы по образу его провинции... Теперь оказывается, что он неверно истолковал многие из самых важных явлений даже в непосредственном соседстве с Фрейбергом. Так, например, на расстоянии одного дня пути от его школы порфир, названный им первобытным, оказался не только пускающим жилы в пласты угольной формации, но даже лежащим целыми массами поверх их» (*Лайель. Основы геологии*).

⁴⁷ «Она не только вытеснила систему Вернера, но и легла в основание исследований и сочинений наших самых просвещенных наблюдателей и справедливо признается за краеугольный камень великой, здоровой геологии нашего времени» (*Ричардсон*).

⁴⁸ Его можно, несомненно, проследить назад до начала XVII столетия, а может, и еще далее. Но, по-видимому, справедливо общераспространенное мнение, что настоящим виновником этого открытия был Уатт, хотя, конечно, он не мог бы сделать того, что сделал, без помощи своих предшественников. Это, впрочем, можно сказать обо всех людях, от самых замечательных и имевших наиболее успеха до самых обыкновенных.

⁴⁹ Что со стороны Уатта не было никакой кражи чужих идей, это мы знаем из положительного источника; а что не было ничего подобного и со стороны Кавендиша, это смело можно предположить как на основании характера самого человека, так и из того факта, что при тогдашнем состоянии химических знаний такое открытие было неизбежно и не могло слишком замедлиться. Можно было вперед предположить, что состав воды будет приведен в известность разными лицами в одно и то же время, как мы это видели во многих других открытиях, которые были сделаны одновременно, когда человеческий ум в определенной отрасли исследования дошел до известной точки. Мы слишком склонны заподозрить философов в краже друг у друга таких идей, которые каждый из них сам достаточно способен выработать. Тем не менее достоверно, что Уатт считал, что Кавендиш был виноват перед ним.

⁵⁰ И Кавендиш, и Уатт оба открыли состав воды. Кавендиш установил факты, Уатт — идею... «*придавание слишком высокой цены голым фактам есть часто признак недостатка идей*» (*Либих*). Последнее суждение этого знаменитого ученого, помеченное мною курсивом, следовало бы хорошенько взвесить в Англии. Если б была моя воля, то я начертал бы их золотыми буквами на порталах Королевского общества и Королевского института.

⁵¹ Я, конечно, отношу замечание это только к обитаемой нами планете, а не к внезапным явлениям. Относительно организации или неорганизации того, что существует вне нашей земли, мы не имеем никаких данных и едва ли можем надеяться иметь их даже через несколько столетий. Правда, были выводимы некоторые заключения из телескопических наблюдений; и за границей делаются теперь попытки определить посредством еще более утонченного процесса физический состав некоторых из небесных тел. Но не решаясь в этой заметке входить в рассмотрение подобного рода рассуждений, ни взвешивать их достоинство, я могу только сказать, что трудность *поверки* будет долго еще непреодолимым препятствием к узнанию, верны или неверны те или другие результаты, какие могут быть получены.

⁵² В предыдущем томе моего сочинения я принимал общеупотребительное деление на органическую статику и органическую динамику, причем статику составляла анатомия, а динамику — физиология. Но теперь я полагаю, что знание наше не довольно подвинулось вперед, чтобы подобное деление было так же удобно, как деление на физиологическую и патологическую, или на нормальную и аномальную, причем, разумеется, мы должны помнить, что в действительности нет ничего аномального. Практически полезное, но решительно ненаучное мнение, что возможно изменение в отправлении без изменения в строении, сгладило некоторые из самых существенных различий между анатомией и физиологией, и в особенности между патологической анатомией и патологической физиологией. До тех пор, пока не будут признаны эти различия, научные воззрения писателей-специалистов должны оставаться неясными, как бы ни были ценны их практические назидания. Пока люди способны верить, что изменения в отправлении могут происходить от какой-нибудь другой причины, кроме изменений в строении, научное значение анатомии не будет вполне оценено, и истинное отношение ее к физиологии останется неопределенным. Но так как при настоящих средствах наших самая тщательная диссекция бывает часто не в состоянии открыть (например, в случаях сумасшествия) те изменения в строении, которые производят изменения в отправлении, то поверхностные мыслители вводятся в сильное искушение — отрицать существование постоянной связи между теми и другими изменениями; и пока микроскоп еще так несовершенен и химия еще находится в таком отсталом состоянии, невозможно, чтобы опыты всегда убеждали их в их ошибке. Вот почему я уверен, что если только наши средства к эмпирическим изысканиям не будут значительно улучшены, то все подобные исследования, несмотря на их громадную ценность в других отношениях, будут способствовать к введению в обман чисто индуктивных умов, заставляя их слишком много полагаться на то, что они называют фактами данного случая, в ущерб здравому смыслу. Это именно я и разумею, говоря, что наше знание не довольно ушло вперед, чтобы можно было делить науки об органических телах на физиологические и анатомические. Теперь, а по всей вероятности и еще некоторое время, более скромное деление на физиологические и патологические может считаться более безопасным и более способным привести к прочным результатам.

⁵³ Даже сам Келлен говорит довольно дерзко: «Великая корпорация медиков — это рабские подражатели, которые не в состоянии ни замечать, ни исправлять погрешности своей системы и всегда готовы облаять и даже растерзать гениального человека, который отважился бы на это. Таким образом система Галена безопасно господствовала в медицинских школах, пока вторжение готов

и вандалов не истребило всяких следов литературы в западных частях Европы и не заставило все то, что уцелело из нее, искать слабой защиты в Константинополе».

⁵⁴ Разве что опущенные посылки, как бывает в геометрии, так незначительны, что почти незаметны.

⁵⁵ Я должен сказать, что Келлен под словом «мозг» разумел столько же содержание позвоночного столба, как и черепа.

⁵⁶ Келлен с той удивительной прямоотой, которая была одной из самых привлекательных особенностей его ума, сознается в своем недостатке знакомства с микроскопом: «Я, который не опытен в этого рода наблюдениях, остаюсь в совершенном недоумении на счет точного свойства этой части крови». Патолог без микроскопа это — просто человек безоружный. Что касается его животной химии, то можно привести одно место как образчик того, каким образом он приходил к заключениям путем умозрений, вместо того чтобы подвергать явления исследованию на опыте. «Мы можем заметить, как вещь в высшей степени правдоподобную, что всякое животное вещество образуется первоначально из растительного, ибо все животные питаются или непосредственно и исключительно растениями, или же теми животными, которые делают это. Итак, правдоподобно, что во всех животных веществах можно проследить начало растительное; *поэтому*, если бы мы захотели исследовать образование животной материи, то мы *должны сперва узнать*, каким образом растительная материя может быть обращена в животную?» Слова *поэтому* и *должны* в выводе из одной лишь предшествовавшей правдоподобности характеризуют тот избыток смелости, в какой склонна переходить дедукция и который составляет разительную противоположность с избытком робости, отличающим индуктивных мыслителей.

⁵⁷ Д-р Ватсон говорит о патологии соков, что «нелепость гипотез, а еще более опасность, порождаемая на практике этим учением, начинали становиться очевидными и повели к совершенному оставлению его». Но при всем уважении к этому известному авторитету, я осмелюсь заметить, что такое предположение д-ра Ватсона противоречит всей истории человеческого ума. Нет ни одного вполне достоверного случая, в котором бы какая-нибудь теория была покинута, потому что она приводила к опасным результатам. До тех пор пока люди верят в теорию, они будут приписывать ее дурные последствия всякой другой причине, кроме настоящей. И теории, раз установившейся, всегда будут верить, — если только не произойдет какой-либо перемены в знании, которая пошатнет ее основания. Всякая практическая перемена, если только тщательно разобрать ее, может быть прежде всего объяснена какой-нибудь переменной в умозрительных взглядах. Даже в настоящее время в самых цивилизованных странах держатся вообще многих таких учений, которые приводят к опасным практическим последствиям и приводили к ним в течение целых столетий. Но зло, порождаемое учением, не ослабляет самого учения. Ничто не может ослабить его, кроме общих успехов знания, которые, изменяя прежние мнения, изменяют и будущий образ действия.

⁵⁸ Г. Оттли говорит: «В сочинениях его мы по временам находим темноту в выражении мыслей, недостаток логической верности в умозакключениях и неправильность в слоге, происходящие от плохого воспитания». Но недостаток воспитания никогда не сделает писателя темным, а хорошее воспитание — ясным. Единственная причина ясности выражения — ясность мысли; а ясность мысли —

это природный дар, который самое законченное и систематическое воспитание может лишь несколько улучшить; люди без воспитания, не имеющие и тысячной доли ума Гентера, бывают часто довольно ясны. С другой стороны, так же часто случается, что люди, получившие превосходное воспитание, не могут высказать или написать к ряду десяти предложений, в которых бы не оказалось какой-нибудь сбивчивой двусмысленности. В сочинениях Гентера такие двусмысленности изобилуют; и это составляет, по всей вероятности, одну из причин, по которым никто до сих пор еще не изложил в должной связи его систему.

⁵⁹ См.: Бокль. История цивилизации в Англии. Т. I.

⁶⁰ Чтобы меня не могли заподозрить в преувеличении, я приведу то, что сказал об этом предмете Шпренгель, величайший из всех историков медицины. «Большинство медиков, утверждавших, будто они образовались по Бэкону,—наследовали от него только непреодолимое отвращение к гипотезам и системам, большое уважение к опыту и необыкновенное желание умножать число наблюдений. Именно между англичанами эмпирический метод в медицине нашел наиболее приверженцев, и у них-то он главнейшим образом и распространялся до самого близкого к нам времени. Распространению его там благоприятствовало не только то глубокое уважение, которое все еще питают англичане к бессмертному канцлеру, но и та особенная важность, которую придает вся нация простому смыслу, «common sense»; вот он (эмпирический метод) и оставался там непримиримым врагом всех систем, не опирающихся на наблюдения».

⁶¹ Гентер умер в 1793 г. Изыскания Лекаю были изданы в 1831 г.

Другое, еще более замечательное доказательство того, до какой степени Гентер опередил свой век, представляется в следующем месте, находящемся в только что изданных посмертных сочинениях его, где он утверждает самую великую и знаменательную из всех идей в физиологии XIX столетия. «Если бы мы были в состоянии проследить за ходом увеличения числа частей самого совершенного животного, по мере их образования, с самого начала и до состояния полного совершенства,—то мы, вероятно, могли бы сравнить его с каким-нибудь даже из несовершенных животных, из всякого разряда животных в природе, так как ни на одной из степеней они не различаются от какого-нибудь из низших разрядов. Или, другими словами, если бы мы взяли ряд животных, от менее совершенного до совершенного, то мы, вероятно, нашли бы несовершенное животное соответствующим какой-нибудь из степеней самых совершенных животных».

⁶² «Прежде чем мы попытаемся дать понятие о животном,—говорит Гентер,—необходимо узнать свойства той материи, из которой животное составлено; а чтобы лучше узнать животную материю, необходимо понимать свойства простой материи; иначе мы будем часто применять наши понятия о простой материи, с которой мы коротко знакомы, к материи животной,—ошибка, до сих пор слишком часто встречающаяся, которой мы, однако, должны тщательно избегать»... «Поэтому в естественной истории растений и животных необходимо будет возвратиться назад к первоначальной или простой материи земного шара и объяснить ее общие свойства; потом посмотреть, в какой мере эти свойства переходят в растительные и животные организмы, или скорее, пожалуй, в какой мере они пригодны и полезны для их деятельности»... «Каждое свойство в человеке уподобляется какому-нибудь свойству, находящемуся или в другом животном, или, пожалуй, в растении, или даже в неживой материи. Таким образом (человек) оказывается подходящим под один из этих разрядов, в некоторых частях своих».

⁶³ Его сочинения содержат несколько любопытных доказательств желания его установить связь между животной и растительной патологией; таковы, например, его замечания: о «местных болезнях», о влиянии времен года на зарождение болезней и о теории воспаления, обнаруживающегося в дубовом листе. Но даже и теперь еще слишком мало знают о болезнях в растительном мире, чтобы можно было слить изучение их с наукой о болезнях в мире животном; во времена же Гентера подобная попытка еще менее обещала успеха. Все-таки самое стремление показывает уже величие и широкий полет ума этого человека; и хотя он не многого достиг, но метод его был верен.

⁶⁴ Доктор Вильямс говорит: «Различать подагру от ревматизма часто бывает чрезвычайно трудно, до такой степени трудно, что носоологи установили смешанный класс — ревматическую подагру. Гентер горячо восставал против этого сложного названия, ибо, по его мнению, никакие две различные болезни, ни даже различные расположения к болезням, не могут совмещаться в одном организме, — закон, который, должно сознаться в том, допускает много исключений». По мнению другого авторитета, «трудно сомневаться в том, что два и более процесса брожения часто происходят одновременно в крови и теле, — факт, имеющий глубокий интерес для патолога и заслуживающий внимательного исследования». Паджет сделал несколько интересных замечаний на счет одной части теории совмещения действий; и замечания его, насколько он развил их, клонятся к подтверждению взгляда Гентера. Он очень настойчиво приводил противоположность между раком и другими специфическими болезнями, и в особенности между расположением к раку и расположением к туберкулам.

⁶⁵ «Обращение к философским началам в сочинениях Гентера было, правда, причиной того, что они оказывались нераскрытой книгой для его менее просвещенных современников; но хотя общие начала, предполагаемые или прямо высказанные в этих сочинениях, навлекли на них презрение людей, менее проникнутых духом философии, все-таки выводы из этих начал, как оправданные фактами, постепенно и нечувствительно проникали в убеждение писателей специалистов; хотя они принимали их молча, без прямого признания, как будто бы сами не знали, откуда брали их, тем не менее выводы эти составляют теперь главное основание всех книг, трактатов и лекций по медицинским предметам» (Green's Vital Dynamics). В заключение приведу свидетельство Саймона, который в своем мастерском, превосходном исследовании о воспалении не только свел в одно место почти все, что известно об этом интересном предмете, но и доказал, что он сам владеет силой обобщения, редкой в медиках и даже в любой профессии. «Англичанин может с радостью сказать без излишнего пристрастия, что специальное изучение воспаления начинается с трудов Джона Гентера. Будучи неутомимым наблюдателем, свободным от влияния школьной рутины и совершенным скептиком по своему методу изучения и обладая обширным умом, наш хирург приступил к исследованию воспаления с полным сознанием физиологической важности своей задачи. Он видел, что для того, чтобы понять воспаление, он должен рассматривать его не как одиночный факт болезни, а в связи с однородными явлениями, из которых иные имеют действительно болезненный характер, многие же соединяются и с здоровым состоянием. Он видел, что для всякого, кто бы захотел объяснить воспаление, все неуравновешенности в снабжении кровью, все периодические явления роста, все действия сочувствия, — все это входит в задачу, подлежащую разрешению»...

«Его нельзя понять, если не вдуматься в него более, чем сколько способны к тому обыкновенные читатели; и только те, которые рады добиваться сквозь

оболочку неясного слога того именно, что он действительно хотел сказать,— могут узнать, с каким великим мастером они имеют дело... Несомненно, что он был велик по своим открытиям. Но английская хирургия навеки обязана ему именно за тот дух, которым проникнуты его труды, и даже в большей мере, чем за введение новых учений. По части фактов патологии он, пожалуй, не может быть постоянно учителем, но для изучающих медицину он всегда останется благородным образцом для подражания. Можно сказать о нем, выражаясь несколько изысканно, что он был физиолог-хирург. Другие до него (Гален, например, в особенности) были в одно и то же время физиологами и практическими врачами, но у них наука мало приходила в соприкосновение с практикой. Никогда еще физиология не была так слита с хирургией, никогда не была она так применяема к исследованию болезни и к преподанию средств лечения, как у этого великого нашего мастера. И ему именно (насколько можно быть лично кому-либо обязанным в этого рода вещах) мы, конечно, обязаны тем, что в основание английской хирургии легла вместо эмпиризма наука.

⁶⁶ Г. Боумен в своих «Principles of Surgery» говорит: «До Гентера операция в аневризме состояла в том, что делали разрез самого вздутия и перевязывали сосуд сверху и снизу. Этот образ действия был так страшен по своим последствиям, что часто предпочитали отнятие самого члена, как меру менее опасную и гибельную. Гений же Гентера навел его на мысль в подколенной аневризме перевязывать бедренную артерию, не касаясь самого вздутия. Безопасность и действительность этого способа делать операцию теперь вполне доказаны, и правило это распространено на все операции, имеющие предметом излечение от этой страшной болезни».

⁶⁷ «Те, которые далеко опережают других, должны по необходимости стоять одинокими; и действия их часто кажутся необъяснимыми, даже сумасбродными для тех, которые следуют позади их на большом расстоянии, которые не знают ни породившей эти действия причины, ни имеющих произойти от них последствий. В таком положении стоял д-р Гентер относительно своих современников. То было безотрадное передовое положение, ибо оно лишало его сочувствия и содействия со стороны общества» (Abernethy's Hunterian Oration).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ТОМ ПЕРВЫЙ

- Abd-Allatif*. Relation de l'Egipte; traduite par Silvestre de Sacy. P., 1810. 4-to.
- Adolphus (J.)*. History of England from the Accession of George III. L., 1840—1845. 7 vols.
- Aguesseau (Chancelier d')*. Lettres inédites. P., 1823. 2 vols.
- Aikin (L.)*. Life of Addison. L., 1843. 2 vols.
- Albemarle (Earl of)*. Memoirs of the Marquis of Rockingham. L., 1852. 2 vols.
- Alison (Sir A.)*. History of Europe, from the commencement of the French Revolution to 1815. Edinb., 1849—1850. 14 vols.
- Allen (J.)*. Rise and Growth of the Royal Prerogative in England. L., 1849.
- Arnold (Dr.)*. Lectures on Modern History. L., 1843.
- Asiatic Researches*. London and Calcutta, 1799—1836. 29 vols. 4-to.
- Aubrey (J.)*. Letters and Lives of Eminent Men. L., 1813. 2 vols.
- Audigier (M.)*. L'Origine des François. P., 1676. 2 vols.
- Azara (F.)*. Voyages dans l'Amérique Méridionale. P., 1809. 4 vols.
- Bakewell (R.)*. Introduction to Geology. L., 1838.
- Balfour (J. H.)*. A Manual of Botany. L., 1849.
- Bancroft (G.)*. History of the American Revolution. L., 1852—1854. 3 vols.
- Barante (M.)*. Tableau de la Littérature Française au XVIII-e siècle. P., 1847.
- Barrington (D.)*. Observation on the Statutes. 5-th edit. L., 1796. 4-to.
- Barruel (L'Abbé)*. Mémoires pour l'Histoire du Jacobinisme. Hambourg, 1803. 5 v.
- Barry (G.)*. History of the Orkney Islands. Edinb., 1805. 4-to.
- Bassompierre (Maréchal de)*. Mémoires. P., 1822, 1823. 3 vols.
- Bates (G.)*. Account of the late Troubles in England. L., 1685. 2 vols.
- Baxter (R.)*. Life and Times, by himself. Publ. by M. Sylvester. L., 1696. Folio, 3 parts.
- Bazin (M. A.)*. Histoire de France sous Louis XIII. P., 1838. 4 vols.
- Beausobre (M.)*. Histoire Critique de Manichée et du Manichéisme. Amsterdam, 1734—1739. 4-to. 2 vols.
- Béclard (P. A.)*. Eléments d'Anatomie Générale. P., 1852.
- Bedford*. Correspondence, ed. by Lord J. Russell. 1842—1846. 3 vols.
- Beechey (F. W.)*. Voyage to the Pacific. L., 1831. 2 vols.
- Belsham (W.)*. History of Great Britain, from 1688 to 1802. L., 1805. 12 vols.
- Benoist*. Histoire de l'Edit de Nantes. Delft, 1693—1695. 4-to. 5 vols.
- Berkeley (Bishop of Cloyne)*. Works. L., 1843. 2 vols.
- Bichat (X.)*. Traité des Membranes. P., 1802.
- Idem*. Anatomie Générale. P., 1821. 4 vols.
- Idem*. Recherches sur la Vie et la Mort, éd. Magendie. P., 1829.
- Biographie Universelle*. P., 1811—1828. 52 vols.
- Birch (T.)*. Life of Tillotson, Archbishop of Canterbury. L., 1753.
- Bisset (R.)*. Life of Edmund Burke. 2-d ed. L., 1800. 2 vols.

- Blackstone's Commentaries on the Laws of England. L., 1809. 4 vols.
- Blainville (D.). Physiologie Générale et Comparée. P., 1833. 3 vols.
- Blanqui (M.). Histoire de l'Economie Politique en Europe. P., 1845. 2 vols.
- Bogue (D.) and Bennet (J.). History of the Dissenters, from 1688 to 1808. L., 1808—1812. 4 vols.
- Bohlen (P.). Das alte Indien, mit besonderer Rücksicht auf Egypten. Königsberg, 1830. 2 Bd.
- Bordas-Demoulin. Le Cartésianisme. P., 1843. 2 vols.
- Bossuet (Evêque des Meaux). Discours sur l'Histoire Universelle. P., 1844.
- Bouillaud (J.). Philosophie Médicale. P., 1836.
- Bouillé (M. de). Mémoires sur la Révolution Française. P., 1801—1809. 2 v.
- Boulainvilliers (Comte). Histoire de l'Ancien Gouvernement de la France. La Haye, 1727. 3 vols.
- Boullier (M.). Histoire des divers Corps de la Maison Militaire des Rois de France. P., 1818.
- Bowdich (T. E.). Mission to Ashantee. L., 1819. 4-to.
- Bowles (W. L.). Life of Bishop Ken. L., 1830, 1831. 2 vols.
- Boyle (R.). Works. L., 1744. 5 vols. folio.
- Brande (W. T.). A Manuel of Chemistry. L., 1848. 2 vols.
- Brewster (Sir D.). Memoirs of Sir Isaac Newton. Edinb., 1855. 2 vols.
- Brienne (L. H. de Loménie). Mémoires inédits. P., 1828. 2 vols.
- Brissot (J. P.). Mémoires. P., 1830. 2 vols.
- British Association for Advancement of Science, Reports of. L., 1833—1853. 21 v.
- Brodie (Sir B.). Lectures on Pathology and Surgery. L., 1846.
- Brodie (Sir B.). Physiological Researches. L., 1851.
- Brougham (Lord). Sketches of Statesmen in the time of George III. L., 1845. 6 vols.
- Brougham (Lord). Lives of Men of Letters and Science in the Time of George III. L., 1845—1847. 2 vols.
- Brougham (Lord). Political Philosophy, 2-d ed. L., 1849. 3 vols.
- Broussais (F. J. V.). Examen des Doctrines Médicales. P., 1829—1834. 4 vols.
- Broussais (F. J. V.). Cours de Phrénologie. P., 1836.
- Brown (T.). Lectures on the Philosophy of the Mind. Edinb., 1838.
- Browne (Sir Thomas). Works and Correspondence, by S. Wilkin. L., 1836. 4 v.
- Buchanan (F.). Journey through Mysore, Canara and Malabar. L., 1807. 3 v. 4-to.
- Buchanan (J.). Sketches of the North-American Indians. L., 1824.
- Buckingham (Duke of). Memoires of George III. L., 1853. 2 vols.
- Bullock (W.). Travels in Mexico. L., 1824.
- Bulstrode (Sir R.). Memoirs of Charles I and Charles II. L., 1721.
- Bunbury (Sir H.). Correspondence of Sir Thomas Hanmer. L., 1838.
- Bunsen (C. C. J.). Egypt's Place in Universal History. L., 1848—1854. 2 vols.
- Burckhardt (J. L.). Travels in Arabia. L., 1829. 2 vols.
- Burdach (C. F.). Traité de Physiologie considérée comme Science d'Observation. P., 1837—1841. 9 vols.
- Burke (E.). Works, by H. Rogers. L., 1841. 2 vols.
- Idem. Correspondence with Laurence. L., 1827.
- Idem. Correspondence between 1744 and 1797. L., 1844. 4 vols.
- Burnes (Sir A.). Travels into Bokhara. L., 1834. 3 vols.
- Burnet (Bishop). History of his own Time. Oxford, 1823. 6 vols.
- Idem. Lives and Characters, edit. Jebb. L., 1833.

- Burton (J. H.)*. Life and Correspondence of D. Hume. Edinb., 1846. 2 vols.
- Burton (R. F.)*. Sindh and the Races in the Valley of the Indus. L., 1851.
- Burton (T.)*. Diary, from 1655 to 1659. L., 1828. 4 vols.
- Butler (C.)*. Memoirs of the English, Irish and Scottish Catholics. L., 1822. 4 vols.
- Idem*. Reminiscences. L., 1824—1827. 2 vols.
- Cabanis (P. J. G.)*. Rapports du Physique et du Moral de l'Homme. P., 1843.
- Calamy (E.)*. Account of my own Life, 1671—1731. L., 1829. 2 vols.
- Campan (Madame)*. Mémoires sur Marie Antoinette. P., 1826. 3 vols.
- Campbell (Lord)*. Lives of the Lord Chancellors of England. 3-d edit. L., 1848—1850. 7 vols.
- Idem*. Lives of the Chef-Justices of England. L., 1849. 2 vols.
- Campion (H. de)*. Mémoires. P., 1807.
- Capefigue (M.)*. Histoire de la Réforme, de la Lique et du Règne de Henri IV. Bruxelles, 1834, 1835. 8 vols.
- Capefigue (M.)*. Richelien, Mazarin et la Fronde. P., 1844. 2 vols.
- Capefigue (M.)*. Louis XIV. P., 1844. 2 vols.
- Cappe (C.)*. Memoirs, written by herself. L., 1822.
- Carlyle (T.)*. Letters and Speeches of Cromwell. 2-d edit. L., 1846. 3 vols.
- Carpenter (W. B.)*. Principles of Human Physiology. 3-d edit. L., 1846.
- Cartwright (Major)*. Life and Correspondence. L., 1826. 2 vols.
- Carus (C. G.)*. Comparative Anatomy of Animals. L., 1827. 2 vols.
- Carwithen (J. B. S.)*. History of the Church of England. Oxford, 1849. 2 vols.
- Cassagnac (M. A. G. de)*. Causes de la Révolution Française. P., 1850. 3 v.
- Catlin (G.)*. Letters on the North American Indians. L., 1847. 2 vols.
- Charron (P.)*. De la Sagesse. Amsterdam, 1782. 2 vols.
- Chatham (Earl of)*. Correspondence. L., 1838—1840. 4 vols.
- Chillingworth (W.)*. The Religion of Protestants. L., 1846.
- Clapperton (H.)*. Second Expedition into the Interior of Africa. L., 1829. 4-to.
- Clarendon's History of the Rebellion and Life*, by himself. Oxford, 1843.
- Clarendon*. Correspondence and Diary, by S. W. Singer. L., 1828. 2 vols. 4-to.
- Cloncurry (Lord)*. Recollections and Correspondence. Dublin, 1849.
- Clot-Bey (A. B.)*. De la Peste observée en Egypte. P., 1840.
- Colebrooke (H. T.)*. A Digest of Hindu Law. Calcutta, 1801. 3 vols.
- Coleman (C.)*. Mythology of the Hindus. L., 1832. 4-to.
- Coleridge (S. T.)*. Literary Remains. L., 1836—1839. 4 vols.
- Idem*. The Friend. L., 1844. 3 v.
- Combe (G.)*. Notes on the United States of North America. Edinb., 1841. 3 vols.
- Comines (P. de)*. Mémoires, éd. Petitot. 1826. 3 vols.
- Comte (A.)*. Cours de Philosophie Positive. P., 1830—1842. 6 vols.
- Comte (C.)*. Traité de Législation. P., 1835. 4 vols.
- Condillac (E. B.)*. Traité des Sensations. P., 1798.
- Condorcet (Marquis de)*. Vie de Turgot. L., 1786.
- Idem*. Vie de Voltaire, vol. i. Oeuvres de Voltaire. P., 1820.
- Conrart (V.)*. Mémoires. P., 1825.
- Cook (J.)*. Three Voyages round the World. L., 1821. 7 vols.
- Cooke (G. W.)*. History of Party. L., 1836, 1837. 3 vols.
- Copleston (E.)*. Inquiry into the Doctrines of Necessity and Predestination. L., 1821.
- Cousin (V.)*. Cours de l'Histoire de la Philosophie moderne, I série. P., 1846. 5 vols.
- Idem*. II série. P., 1847. 3 vols.

- Crantz (D.)*. History of Greenland. L., 1767. 2 vols.
- Crawfurd (J.)*. History of the Indian Archipelago. Edinb., 1820. 3 vols.
- Cudworth (R.)*. The True Intellectual System of the Universe. L., 1820. 4 v.
- Currie (J.)*. Life and Correspondence, by his Son. L., 1831. 2 vols.
- Custine (Marquis de)*. La Russie en 1839. P., 1843. 4 vols.
- Cuvier (G.)*. Recueil des Eloges Historiques. P., 1819—1827. 3 vols.
- Idem*. Histoire des Sciences Naturelles depuis leur Origine. P., 1831.
- Idem*. Histoire des Progrès des Sciences Naturelles depuis 1789. Bruxelles, 1837, 1838. 2 vols.
- Idem*. Le Règne Animal. P., 1829. 5 vols.
- Dabistan (The)*, translated from the Persian, by D. Shea and A. Troyer. P., 1843. 3 vols.
- Dacier (M.)*. Rapport sur les Progrès de l'Histoire et de la Littérature depuis 1789. P., 1810. 4-to.
- Dalrymple (J.)*. History of Feudal Property in Great Britain. L., 1758.
- Idem*. Memoirs of Great Britain and Ireland. L., 1790, 3 vols.
- Daniel (G.)*. Histoire de la Milice Française. P., 1721. 2 vols. 4-to.
- Daniel (J. F.)*. Meteorological Essays. L., 1827.
- Darvin (C.)*. Journal of Researches in Geology and Natural History. L., 1840.
- Davis (J. J.)*. The Chinese. L., 1844. 3 vols.
- De Lisle (Romé)*. Cristallographie. P., 1772.
- Idem*. Essai de Cristallographie. P., 1783. 4 vols. 8-vo.
- Denham (D.)*. Travels in Northern and Central Africa. L., 1826. 4-to.
- Descartes (R.)*. Oeuvres, par v. Cousin. P., 1824—1826. 11 vols.
- Des Maizeaux (P.)*. Life of Chillingworth. L., 1725.
- Des Réaux (Tallemant)*. Les Historiettes. P., 1840. 10 vols.
- De Staël (Madame)*. Considérations sur la Révolution Française. P., 1820. 3 v.
- De Thou (J. A.)*. Histoire Universelle, depuis 1543 jusqu'en 1607. Londres, 1734. 16 vols. 4-to.
- Diberot (D.)*. Mémoires et Correspondance. P., 1830, 1831. 4 vols.
- Diodori Siculi*. Bibliotheca Historica; recensione Wesselingii. Bipont. 1793—1807. 11 v.
- Diogenes Laertius*. De Vitis Philosophorum, edit. Meibomius. Amsterdam, 1692. 2 v. 4-to.
- Disney (J.)*. Life of Dr. John Jebb, vol. i. Jebb's Works. L., 1787.
- Dobell (P.)*. Travels in Kamtchatka and Siberia. L., 1830. 2 vols.
- Doblado's Letters from Spain* (by Rev. B. White). L., 1822.
- Doddridge (P.)*. Correspondence and Diary. L., 1829—1831. 5 vols.
- Doubleday (T.)*. The True Law of Population. L., 1847.
- Dowling (J. G.)*. Introduction to the Study of Ecclesiastical History. L., 1838.
- L'Oyly (G.)*. Life of Sancroft, Archbishop of Canterbury. L., 1840.
- Duclos (M.)*. Mémoires secrets sur Louis XIV et Louis XV. P., 1791. 2 vols.
- Du Deffand (Madame)*. Correspondance inédite. P., 1809. 2 vols.
- Idem*. Lettres à H. Walpole. P., 1827. 4 vols.
- Dufau (P. A.)*. Traité de Statistique. P., 1840.
- Du Mesnil (M.)*. Mémoires sur le Prince Le Brun. P., 1828.
- Dumont (E.)*. Souvenirs sur Mirabeau. L., 1832.
- Dumlessis Mornay (P.)*. Mémoires et Correspondance. P., 1824, 1825. 12 v.
- Dutens (L.)*. Mémoires d'un Voyageur qui se repose. L., 1806. 3 vols.
- Duvernety (J.)*. Vie de Voltaire. Genève, 1786.
- Idem*. Histoire de la Sorbonne. P., 1791. 2 vols.

- Eccleston (J.)*. Introduction to English Antiquities. L., 1847.
- Edwards (M.)*. Zoologie. P., 1841, 1842. 2 parts.
- Elliotson (J.)*. Human Physiology. L., 1840.
- Ellis Correspondence (The)*. 1686—1688, ed. by G. A. Ellis. L., 1829. 2 vols.
- Ellis (Sir H.)*. Original Letters of Literary Men. Camden Soc., 1843. 4-to.
- Ellis (W.)*. A Tour through Hawaii. L., 1827.
- Idem*. Polynesian Researches. L., 1831. 4 vols.
- Idem*. History of Madagascar. L., 1838. 2 vols.
- Elphinstone (M.)*. The History of India. L., 1849.
- Encyclopaedia of the Medical Sciences. L., 1847. 4-to.
- Epinay (Madame d')*. Mémoires et Correspondance. P., 1818. 3 vols.
- Erman (A.)*. Travels in Siberia. L., 1848. 2 vols.
- Eschbach (M.)*. Introduction à l'Etude du Droit. P., 1846.
- Esquirol (E.)*. Des Maladies Mentales. P., 1838. 2 vols.
- Evelyn (J.)*. Diary and Correspondence. L., 1827. 5 vols.
- Fairfax Correspondence (The)*, ed. by G. W. Johnson and R. Bell. L., 1848, 1849. 4 vols.
- Felice (G.)*. History of the Protestants of France. L., 1853.
- Feuchtersleben (E.)*. The Principles of Medical Psychology. Sydenham Soc., 1847.
- Flassan (M.)*. Histoire de la Diplomatie Française. P., 1811. 7 vols.
- Flourens (P.)*. Histoire des Travaux de Cuvier. P., 1845.
- Fontenay-Mareuil (Marquis de)*. Mémoires. P., 1826. 2 vols.
- Fontenelle (B. de)*. Eloges, vols. v. vi. Oeuvres. P., 1766.
- Forbes (J.)*. Oriental Memoirs. L., 1834. 2 v.
- Forry (S.)*. Climate of the United States and its Endemic Influences. N. Y., 1842.
- Forster (J.)*. Life and Times of Goldsmith. 2d ed. L., 1854. 2 vols.
- Fox (C. J.)*. History of the Early Part of the Reign of James II. L., 1808. 4-to.
- Franklin (B.)*. Private Correspondence. L., 1817. 2 vols.
- Idem*. Life, by himself. L., 1818. 2 v.
- Galfridus Monumetensis, Historia edit Britonum, Giles. L., 1844.
- Gardner (G.)*. Travels in the Interior of Brazil. L., 1849.
- Genlis (Madame de)*. Mémoires sur le XVIII-e siècle. P., 1825. 10 vols.
- Gent (T.)*. Life, by himself. L., 1832.
- Geoffroy Daint Hilaire (I.)*. Histoire des Anomalies de L'Organisation chez l'Homme et les Animaux. Bruxelles, 1837. 3 vols.
- Georgel (L'Abbé)*. Mémoires. P., 1817—1818. 6 vols.
- Georget (M.)*. De la Folie. P., 1820.
- Giraud (C.)*. Précis de l'Ancien Droit coutumier Français. P., 1852.
- Godwin (W.)*. Of Population, or the Power of Increase in Mankind. L., 1820.
- Goethe (J. W.)*. Wahrheit und Dichtung. B. ii. Werke. Stuttgart, 1837.
- Grant (R. E.)*. Comparative Anatomy. L., 1841.
- Grant (R.)*. History of Physical Astronomy. L., 1852.
- Grégoir (M.)*. Histoire des Confesseurs. P., 1824.
- Grenville Papers (The)*. ed. by W. J. Smith. L., 1852, 1853. 4 vols.
- Grieve (J.)*. The History of Kamtschatka, translated from the Russian. Gloucester, 1764. 4-to.
- Grimm et Diderot*. Correspondance Littéraire. P., 1813, 1814. 17 vols.
- Grose (F.)*. Military Antiquities; a History of the English Army. L., 1812. 4-to. 2 v.
- Grosley (M.)*. A tour to London. L., 1772. 2 vols.

Grote (G.). History of Greece. L., 1846—1856. 12 vols.
Guizot (M.). Histoire de la Civilisation en France. P., 1846. 4 vols.
Idem. Histoire de la Civilisation en Europe. P., 1846.
Idem. Essais sur l'Histoire de France. P., 1847.
Halhed (N. B.). Code of Gentoo Laws. L., 1777.
Halkett (J.). Notes respecting the Indians of North America. L., 1825.
Hallam (H.). Constitutional History of England. L., 1842. 2 vols.
Idem. Introduction to the Literature of Europe. L., 1843. 3 vols.
Idem. Europe during the Middle Ages. L., 1846. 2 vols.
Idem. Supplemental Notes to Europe during the Middle Ages. L., 1848.
Hamilton (W.). Egyptiaca. L., 1809. 4-to.
Hamilton (Sir W.). Discussions on Philosophy and Literature. L., 1852.
Idem. Notes and Dissertations to Reid. Edinb., 1852.
Hare's Guesses at Truth. First and second series. L., 1847, 1848. 2 vols.
Harford (J. S.). Life of T. Burgess, Bishop of Salisbury. L., 1841.
Harris (G.). Life of Lord Chancellor Hardwicke. L., 1847. 3 vols.
*Harris (W.). Lives of James I, Charles I, Cromwell and Charles II. L., 1814.
5 vols.*
Hausset (Madame du). Mémoires. P., 1824.
Hauy (B. J.). Traité de Minéralogie. P., 1801. 5 vols.
Hawkins (B.). Elements of Medical Statistics. L., 1829.
Heber (Bishop). Life of Jeremy Taylor, vol. i. Taylor's Works. L., 1828.
Idem. Journey through the Upper and Southern Provinces of India. L., 1828. 3 v.
*Heeren (A. H. L.). Politics, Intercourse and Trade of the African Nations. Oxford, 1838.
2 vols.*
Idem. Politics, Intercourse and Trade of the Asiatic Nations. L., 1846. 2 vols.
Helvetius (C. A.). Le l'Esprit. Amsterdam, 1759. 2 vols.
Henderson (J.). History of Brazil. L., 1821. 4-to.
Henle (J.). Traité d'Anatomie Générale. P., 1843. 2 vols.
Henslow (J. S.). Descriptive and Physiological Botany. L., 1837.
Herder (J. G.). Ideen zur Geschichte der Menschheit. Stuttgart, 1827, 1828. 4 B.
Herodoti Musae, edit. Lipsiae 1830—1835, 4 vols.
Herschel (Sir J.). Discourse on the Study of Natural Philosophy. L., 1831.
Hitchcock (E.). The Religion of Geology. L., 1851.
Hodgson (R.). Life of Porteus, Bishop of London. L., 1811.
Holcroft (T.). Memoirs, by himself; continued by Hazlitt. L., 1816. 3 v.
Holland (Sir H.). Medical Notes. L., 1839.
Holland (Lord). Memoirs of the Whig Party. L., 1852—1854. 2 vols.
Holles (Lord). Memoirs. L., 1699.
Hooker (R.). Ecclesiastical Polity. L., 1830. 3 vols.
Howell (J.). Letters. L., 1753.
Huetius (P. D.). Commentarius de Rebus ad eum pertinentibus. Amsterdam, 1718.
Humboldt (A.). Essai sur la Nouvelle Espagne. P., 1811. 2 vols. 4-to.
Idem. Cosmos. L., 1848—1852. 4 v.
Hume (D.). Philosophical Works. Edinb., 1826. 4 vols.
Idem. Letters of Eminent Persons to. Edinb., 1849.
Hunt (F. K.). History of Newspapers. L., 1850. 2 vols.
Hutchinson (Colonel). Memoirs of, by this Widow. L., 1846.
Hutton (W.). Life of, by himself. L., 1816.

- James II, The Life of, from Memoirs by his own hand, by J. S. Clarke. L., 1816. 2 vols. 4-to.
- Ibn Batuta*. Travels in the Fourteenth Century translated from Arabic by S. Lee. L., 1829. 4-to.
- Jefferson (T.)*. Memoirs and Correspondence, by Randolph. L., 1829. 4 vols.
- Jehangueir* (The Emperor). Memoirs, by himself translated from Persian by D. Price. L., 1829. 4-to.
- Jewel (J.)*. Apologia Ecclesiae Anglicanae. L., 1581.
- Jobert (A. C. G.)*. Ideas or Outlines of a New System of Philosophy. L., 1848, 1849. 2 v.
- Joly (G.)*. Mémoires. P., 1825.
- Jones (C. H.) and Sieveking (E. H.)*. Pathological Anatomy. L., 1854.
- Jones (R.)*. Organization of the Animal Kingdom. L., 1855.
- Jones (Sir W.)*. Works. L., 1799. 6 vols. 4-to.
- Jones (W.)*. Life of G. Horne, Bishop of Norwich. L., 1795.
- Journal Asiatique*. P., 1822—1827, 11 vols.
- Journal of the Asiatic Society*. L., 1834—1851. 14 vols.
- Journal of the Geographical Society*. L., 1833 (2d edit. of vol. i.). 1853. 23 vols.
- Jussieu's Botany*, by J. H. Wilson. L., 1849.
- Ixtlixochitl*. Histoire des Chichimèques ou des anciens Rois de Tezcuco. P., 1840. 2 vols.
- Kaemtz (L. F.)*. Course of Meteorology. L., 1845.
- Kant (J.)*. Werke. Leipzig, 1838, 1839. 10 vols.
- Kay (J.)*. Condition and Education of the People in England and Europe. L., 1850. 2 vols.
- Kemble (J. M.)*. The Saxons in England. 1849. 2 vols.
- Ken* (Bishop of Bath and Wells). Life of, by a Layman. L., 1854. 2 vols.
- King (Lord)*. Life of J. Locke. L., 1830. 2 v.
- Klimrath (H.)*. Travaux sur l'Histoire du Dorit Français. P., 1843. 2 vols.
- Koch (M.)*. Tableau des Révolutions de l'Europe. P., 1823. 3 vols.
- Kohl (J. G.)*. Russia. L., 1842.
- Lacretelle (C.)*. Histoire de France pendant le XVIII Siècle. Bruxelles, 1819. 3 vols.
- Lafayette* (Général). Mémoires, Correspondance et Manuscrits. Bruxelles, 1837—1839. 2 vols.
- Laing (S.)*. Sweden in 1838. L., 1839.
- Idem*. Notes on the Social and Political State of Europe. L., 1842.
- Idem*. Second Series of Notes on Europe. L., 1850.
- Idem*. Denmark, being the Third Series of Notes. L., 1852.
- Lamartine (A. de)*. Histoire des Girondins. Bruxelles, 1847. 8 vols.
- Lankester (E.)*. Memorials of John Ray. Ray Soc., 1846.
- Larenaudière (M. de)*. Mexique et Guatemala. P., 1843.
- Lathbury (T.)*. History of the Convocation of the Church of England. L., 1842.
- Idem*. History of the Nonjurors. L., 1845.
- Lavallée (T.)*. Histoire des Français. P., 1847. 4 vols.
- Lawrence (W.)*. Lectures on Comparative Anatomy and the Natural History of Man. L., 1844.
- Le Blanc (L'Abbé)*. Lettres d'un François. Lyon, 1758. 3 vols.
- Ledwich (E.)*. Antiquities of Ireland. Dublin, 1804. 4-to.
- Le Long (J.)*. Bibliothèque Historique de la France. P., 1768—1778. 5 vols. folio.
- Lémontey (P. E.)*. L'Etablissement Monarchie de Louis. XIV. P., 1818.
- Lenet (P.)*. Mémoires. P., 1826. 2 vols.

- Lepan (M.)*. Vie de Voltaire. P., 1837.
- Lepelletier (A.)*. Physiologie Médicale. P., 1831—1833. 4 vols.
- Lerminier (E.)*. Philosophie du Droit. P., 1831. 2 vols.
- Leslie (Sir J.)*. Natural and Chemical Philosophy. Edinb., 1838.
- Le Vassor (M.)*. Histoire du Règne de Louis XIII. Amsterdam, 1701—1711. 10 vols.
- Liebig (J.)*. Animal Chemistry. L., 1846.
- Liebig and Kopp's Reports of the Progress of Chemistry and the allied Sciences*. L., 1849—1853. 4 vols.
- Liebig (J.)*. Letters on Chemistry in its Relation to Physiology. L., 1851.
- Lindley (J.)*. The Vegetable Kingdom. L., 1847.
- Idem*. An Introduction to Botany. L., 1848. 2 vols.
- Lingard (J.)*. History of England. P., 1840. 8 vols.
- Lister (M.)*. An Account of Paris at the close of the Seventeenth Century. Shaftesbury, n. d.
- Lister (T. H.)*. Life and Correspondence of the first Carl of Claredon. L., 1837, 1838. 3 vols.
- Llorente (D. J. A.)*. Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne. P., 1817, 1818. 4 vols.
- Locke (J.)*. Works. L., 1794. 9 vols.
- Longchamp et Wagnière*. Mémoires sur Voltaire. P., 1826. 2 vols.
- Loudon (J. C.)*. An Encyclopaedia of Agriculture. L., 1844.
- Low (H.)*. Sarawak, its Inhabitants and Productions. L., 1853.
- Ludlow (E.)*. Memoirs. Edinb., 1751. 3 vols.
- Lyell (Sir C.)*. Principles of Geology. L., 1853.
- Mably (L'Abbé)*. Observations sur l'Histoire de France. P., 1823. 3 vols.
- Macaulay (T. B.)*. History of England. L., 1849—1855. 1-st edit. 4 vols.
- Mackay (R. W.)*. The Progress of the Intellect in the Religious Development of the Greeks and Hebrews. L., 1850. 2 vols.
- Machintosh (Sir J.)*. Memoirs, by his Son. L., 1835. 2 vols.
- Idem*. History of the Revolution in England in 1688. L., 1834. 4-to.
- Idem*. Dissertation on the Progress of Ethical Philosophy. Edinb., 1837.
- M'Culloch (J. R.)*. The Principles of Political Economy. Edinb., 1843.
- M'Culloch (J. H.)*. Researches concerning the Aboriginal History of America. Baltimore, 1829.
- Macpherson (J.)*. Original Papers, from the Restoration to the Accession of the House of Hanover. L., 1775. 2 vols. 4-to.
- M'William (J. O.)*. Medical History of the Expedition to the Niger. L., 1843.
- Mahon (Lord)*. History of England, from 1713 to 1783. L., 1853, 1854. 7 vols.
- Maintenon (Madame de)*. Lettres inédites avec la Princesse des Ursins. P., 1826. 4 vols.
- Malcolm (Sir J.)*. History of Persia. L., 1829. 2 vols.
- Mallet's Northern Antiquities*, ed. Blackwell. L., 1847.
- Mallet du Pan*. Memoirs and Correspondence. L., 1852. 2 vols.
- Malthus (T. R.)*. An Essay on the Principles of Population. L., 1826. 2 vols.
- Manning (W. O.)*. Commentaries on the Law of Nations. L., 1839.
- Marchmont Papers*, from 1685 to 1750. L., 1831. 3 vols.
- Mariner (W.)*. An Account of the Natives of the Tonga Islands. L., 1818. 2 vols.
- Marmontel (J. F.)*. Mémoires. P., 1805. 4 vols.
- Marsden (W.)*. History of Sumatra. L., 1783. 4-to.
- Matter (M.)*. Histoire du Gnosticisme. P., 1828. 2 vols.
- Idem*. Histoire de l'Ecole d'Alexandrie. P., 1840—1844. 2 vols.

- Matthaei Paris Historia Major, edit. Wats. L., 1684. folio.
- Matthaei Westmonasteriensis Flores Historiarum. L., 1750. folio, 2 vols.
- Maury (L. F. A.). Légendes Pieuses du Moyen Age. P., 1843.
- May (T.). History of the Long Parliament. L., 1647. folio. 3 books.
- Mayo (H.). Outlines of Human Physiology. L., 1837.
- Meadley (G. W.). Memoirs of W. Paley. Edinb., 1810.
- Meiners (E.). Betrachtungen über die Fruchtbarkeit &c. der Länder in Asien. Lübeck, 1795, 1796. 2 Bd.
- Mercier (M.). J. J. Rousseau considéré comme l'un des premiers Auteurs de la Révolution. P., 1791. 2 vols.
- Meyen (F. J. F.). Outlines of the Geography of Plants. L., 1846.
- Meyer (J. D.). Esprit, Origine et Progrès des Institutions Judiciaires. P., 1823. 5 vols.
- Mezeray (F. E.). Histoire de France. P., 1643—1651. 3 vols. folio.
- Michelet (M.). Origines du Droit Français. vol. ii. Oeuvres. Bruxelles, 1840.
- Mill (J.). Analysis of the Phenomena of the Human Mind. L., 1829. 2 vols.
- Idem. The History of British India, edited by H. H. Wilson. L., 1848 (the first two vols, only).
- Mill (J. S.). Principles of Political Economy. L., 1849. 2 vols.
- Mills (C.). History of Chivalry. L., 1825. 2 vols.
- Moffat (R.). Southern Africa. L., 1842.
- Monconys (M. de) Voyages de Paris, 1695. 5 vols.
- Monk (Bishop of Gloucester). Life of R. Bentley. L., 1833. 2 vols.
- Montaigne (M.). Essais. P., 1843.
- Montbary (Prince de). Mémoires. P., 1826, 1827. 3 vols.
- Monteil (A. A.). Histoire des Français des divers Etats. Bruxelles, 1843. 8 vols.
- Montesquieu (C.). Oeuvres complètes. Paris, 1835.
- Montglat (Marquis de). Mémoires. P., 1825, 1926. 3 vols.
- Montlosier (Comte de). La Monarchie Française. P., 1814. 3 vols.
- Montucla (J. F.). Histoire des mathématiques. P., 1799—1802. 4 vols. 4-to.
- Morellet (L'Abbé). Mémoires. P., 1821. 2 vols.
- Mosheim (J. L.). Ecclesiastical History. L., 1839. 2 vols.
- Motteville (M-me). Mémoires, édit. Petitot. P., 1824. 5 vols.
- Müller (J.). Elements of Physiology. L., 1840—1842. 2 vols.
- Murchison (Sir R.). Siluria. L., 1854.
- Mure (W.). History of the Language and Literature of Ancient Greece. L., 1850—1853. 4 vols.
- Murray (A.). Life of J. Bruce. Edinb., 1808. 4-to.
- Musset Pathay (V. D.). Vie de J. J. Rousseau. P., 1822. 2 vols.
- Neal (D.). History of the Puritans, from 1517 to 1688. L., 1822. 5 vols.
- Neander (A.). History of the Christian Religion and Church. L., 1850—1852. 8 vols.
- Newman (F. W.). Natural History of the Soul, as the Basis of Theology. L., 1849.
- Newman (F. W.). Phases of Faith. L., 1850.
- Newman (J. H.). Essay on the Development of Christian Doctrine. L., 1845.
- Newton (Bishop of Bristol). Life of, by himself. L., 1816.
- Nicholls (J.). Recollections. L., 1822. 2 vols.
- Idem. Literary Anecdotes of the Eighteenth Century. L., 1812—1815. 9 vols.
- Idem. Illustrations of Literary History of the Eighteenth Century. L., 1817—1848. 7 vols.
- Niebuhr (C.). Description de l'Arabie. Amsterdam. 1774. 4-to.

- Noble (D.)*. The Brain and its Physiology. L., 1846.
- Noble (M.)*. Memoirs of the House of Cromwell. Birmingham., 1784. 2 vols.
- Idem*. Lives of the English Regicides. L., 1798. 2 vols.
- North (R.)*. The Lives of the Norths. L., 1826. 3 vols.
- Orme (W.)*. Life of John Owen. L., 1820.
- Otter (W.)*. Life of E. D. Clarke. L., 1825. 2 vols.
- Owen (R.)*. Lectures on the Anatomy &c. of Invertebrata. L., 1855.
- Paget (J.)*. Lectures on Surgical Pathology. L., 1853. 2 vols.
- Palgrave (Sir F.)*. Rise and Progress of the English Commonwealth. L., 1832. 2 vols.
4-to.
- Palissot (M.)*. Mémoires pour l'Histoire de notre Littérature. P., 1803. 2 vols.
- Pallme (I.)*. Travels in Kordofan. L., 1844.
- Palmer (W.)*. A Treatise on the Church. L., 1839. 2 vols.
- Park (Mungo)*. Travels in Afrika. L., 1817. 2 vols.
- Parker (Bishop)*. History of his own Time. L., 1727.
- Parliamentary History of England, to 1803. L., 36 vols.
- Parr (S.)*. Works. L., 1828. 8 vols.
- Patin (G.)*. Lettres. P., 1846. 3 vols.
- Peignot (G.)*. Dictionnaire des Livres condamnés au feu. Paris, 1806. 2 vols.
- Pellew (G.)*. Life and Correspondence of Lord Sidmouth. L., 1847. 3 vols.
- Pepys (S.)*. Diary, from 1659 to 1669. L., 1828. 5 vols.
- Percival (R.)*. Account of the Island of Ceylon. L., 1805. 4-to.
- Petrie (G.)*. Ecclesiastical Architecture and Round Towers of Ireland. Dublin, 1845.
- Phillimore (R.)*. Memoirs of Lord Lyttelton, from 1734 to 1773. L., 1845. 2 vols.
- Phillips (B.)*. Scrofula, its Nature, Causes and Prevalence. L., 1846.
- Pinel (P.)*. Traité sur l'Aliénation Mentale. 2-d. éd. P., 1809.
- Pontchartrain (P. de)*. Mémoires. P., 1822. 2 vols.
- Porter (G. R.)*. The Progress of the Nation. L., 1836—1843. 3 vols.
- Pouillet (M.)*. Eléments de Physique. P., 1832. 2 vols.
- Prescott (W. H.)*. History of Ferdinand and Isabella. P., 1842. 3 vols.
- Idem*. History of the Conquest of Mexico. L., 1850. 3 vols.
- Idem*. History of the Conquest of Peru. L., 1850. 3 vols.
- Prichard (J. C.)*. A Treatise on Insanity. L., 1835.
- Idem*. Insanity in relation to Jurisprudence. L., 1842.
- Idem*. Researches into the Physical History of Mankind. L., 1841—1847. 5 vols.
- Priestley (J.)*. Memoirs by himself, continued by his Son. L., 1806, 1807. 2 vols.
- Prior (J.)*. Life of O. Goldsmith. L., 1837. 2 vols.
- Idem*. Memoir of E. Burke. L., 1839.
- Prout (W.)*. Bridgewater Treatise on Chemistry &c. L., 1845.
- Pulteney (R.)*. Historical Sketches of the Progress of Botany in England. L., 1790.
2 vols.
- Quatremère (E.)*. Recherches sur la Langue et la Littérature de l'Egypte. P., 1808.
- Quérard (J. M.)*. La France Littéraire. P., 1827—1839. 10 vols.
- Quetelet (A.)*. Sur l'Homme et le Développement de ses Facultés. P., 1835. 2 vols.
- Idem*. La Statistique Morale, vol. XXI. Mém. de l'Acad. de Belgique. Bruxelles, 1848.
4-to.
- Quick (J.)*. Synodicon in Gallia; the Acts & c. of the Councils of the Reformed Churches in France. L., 1692. 2 vols. folio.
- Rabelais (F.)*. Oeuvres. Amsterdam, 1725. 5 vols.

- Rafflais* (Sir T. S.). History of Java. L., 1830. 2 vols.
- Rammohun Roy*. Translations from the Veds and works on Brahmanical Theology. L., 1832.
- Rammohun Roy* on the Judicial and Revenue Systems of India. L., 1832.
- Ranke* (L.). Die Römischen Päpste. Berlin, 1838, 1839. 3 Bd.
- Idem*. Civil Wars and Monarchy in France in 16-th and 17-th Centuries. L., 1852. 2 vols.
- Ray* (J.). Correspondence, éd. by E. Lankester. Ray Soc., 1848.
- Reid* (T.). Essays on the Powers of the Human Mind. Edinb., 1808. 3 vols.
- Relation des Ambassadeurs Vénitiens sur les Affaires de France au XVI Siècle. P., 1838. 2 vols. 4-to.
- Renouard* (P. V.). Histoire de la Médecine. P., 1846. 2 vols.
- Reports on Botany by the Ray Society. L., 1846.
- Revesby* (Sir J.). Travels and Memoirs during the Time of Cromwell, Charles II and James II. L., 1831.
- Retz* (Cardinal de). Mémoires. P., 1844. 2 vols.
- Rey* (J. A.). Théorie et Pratique de la Science Sociale. P., 1842. 3 vols.
- Reynier* (L.). De l'Economie Publique et Rurale des Arabes et des Juifs. Genève, 1820.
- Reynolds* (Sir J.). Literary Works. L., 1846. 2 vols.
- Rhode* (J. G.). Religiöse Bildung, Mythologie und Philosophie der Hindus. Leipzig, 1827. 2 Bd.
- Ricardo* (D.). Works. L., 1846.
- Richard* (A.). Nouveaux Eléments de Bonatigue. P., 1846.
- Richardson* (J.). Trawelz in the Desert of Sahara. L., 1848. 2 vols.
- Idem*. A Mission to Central Afrika. L., 1853. 2 vols.
- Richardson* (Sir J.). Arctic Searching Expedition. L., 1851. 2 vols.
- Richelieu* (Cardinal). Mémoires sur le Règne de Louis XIII. P., 1823. 10 vols.
- Rig-Veda-Sanhita, translated from Sanscrit by H. H. Wilson. L., 1850—1854. 2 vols.
- Ritter* (H.). History of Ancient Philosophy. L., 1838—1846. 4 vols.
- Rivarol* (M.). Mémoires. Paris, 1824.
- Robertson* (W.). Works. L., 1831.
- Robin* (C.). et *Verdeil* (F.). Traité de Chimie Anatomique. P., 1853. 3 vols.
- Rochefoucauld* (Duc de la). Mémoires. P., 1826. 2 vols.
- Rohan* (H. Duc de). Mémoires. P., 1822.
- Roland* (M-me). Mémoires. P., 1827. 2 vols.
- Romilly* (Sir S.). Life, written by himself. L., 1842. 2 vols.
- Roscoe* (H.). The Life of W. Roscoe. L., 1833. 2 vols.
- Russel* (Lord J.). Memorials and Correspondence of C. J. Fox. L., 1853, 1854. 3 vols.
- Sadler* (M. T.). The Law of Population. L., 1830. 2 vols.
- Sainte-Aulaire* (Le Comte de). Histoire de la Fronde. P., 1843. 2 vols.
- Sainte Palaye* (De la Curne). Mémoires sur l'Ancienne Chevalerie. P., 1759—1781. 3 vols.
- Schlosser* (F. C.). History of the Eighteenth Century. L., 1843—1845. 6 vols.
- Scriptores post Bedam Rerum Anglicarum. L., 1596. folio.
- Ségur* (Le Comte de). Mémoires ou Souvenirs. P., 1825—1827. 3 vols.
- Sevigné* (Madame de). Lettres. P., 1843. 6 vols.
- Sewell* (W.). Christian Politics. L., 1845.
- Sharp* (Sir C.). Memorials of the Rebellion of 1569. L., 1840.

- Sharp* (Archbishop of York). Life, edited by T. Newcome. L., 1825. 2 vols.
- Sharpe* (S.). History of Egypt. L., 1852. 2 vols.
- Short* (Bishop of St. Asaph). History of the Church of England, to 1688; L., 1847.
- Simon* (J.). Lectures on General Pathology. L., 1850.
- Simon* (J. F.). Animal Chemistry. L., 1845, 1846. 2 vols.
- Simpson* (T.). Discoveries on the North Coast of America. L., 1843.
- Sinclair* (Sir J.). History of the Public Revenue of the British Empire. L., 1803, 1804. 3 vols.
- Idem*. The Correspondence of. L., 1831. 2 vols.
- Sismondi* (J. C. L. S. de). Histoire des Français. P., 1821—1844. 31 vols.
- Smedley* (E.). History of the Reformed Religion in France. L., 1832—1834. 3 vols. 8-to.
- Smith* (A.). Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edinb., 1839.
- Smith* (Sir J. E.). Memoir und Correspondence of. L., 1832. 2 vols.
- Somers Tracts, ed. by Sir W. Scott. L., 1809—1815. 13 vols. 4-to.
- Somerville* (M.). Connexion of the Physical Sciences. L., 1849.
- Idem*. Physical Geography. L., 1851. 2 vols.
- Sorbière* (M.). A Yoyage to England. L., 1709.
- Sorel* (M. C.). La Bibliothèque Française. P., 1667.
- Soulavie* (J. L.). Mémoires du Règne de Louis XVI. P., 1801. 6 vols.
- Southey* (R.). History of Brasil. L., 1822—1829. 3 vols. 4-to (2d edit. of vol. i).
- Idem*. The Life of Wesley. L., 1846. 2 vols.
- Spence* (G.). Origin of the Laws and Political Institutions of Europe. L., 1826.
- Spix* (J. B.) and *Martius* (C. F.). Travels in Brazil. L., 1824. 2 vols.
- Sprengel* (K.). Histoire de la Médecine. Paris, 1815—1820. 9 vols.
- Squier* (E. G.). Travels in Central America. N. Y., 1853. 2 vols.
- Statistical Society (Journal of). L., 1839—1855. 18 vols.
- Ständlin* (C. F.). Geschichte der theologischen Wissenschaften. Göttingen, 1810, 1811. 2Bd.
- Stepheus* (A.). Memoirs of J. H. Tooke. L., 1813. 2 vols.
- Stephens* (J. L.). Travels in Central-America. L., 1842, 1843. 4 vols.
- Stewart* (D.). Elements of the Philosophy of the Human Mind. L., 1792—1827. 3 vols.
- Story* (J.). Commentaries on the Conflict of Laws. L., 1841.
- Sully* (Duc de). Mémoires des Sages et Royales Economies, édit. Petitot. P., 1820, 1821. 9 vols.
- Swainson* (W.). Discourse on the Study of Natural History. L., 1834.
- Idem*. Geography and Classification of Animals. L., 1835.
- Swinburne* (H.). The Courts of Europe an the close of the last Century. L., 1841.
- Symes* (M.). Embassy to the Kingdom of Ava. 2d édit. L., 1800. 3 vols.
- Talon* (Omer). Mémoires. Paris, 1827. 3 vols.
- Talvi's Historical View of the Languages and Literature of the Slavic Nations. N. Y., 1850.
- Taylor* (A. S.). Manual of Medical Jurisprudence. L., 1846.
- Temple* (Sir W.). Works. L., 1814. 4 vols.
- Tennemann* (W. G.). Geschichte der Philosophie. Leipzig, 1798—1819. 11 Bd.
- Thirlwall* (Bishop. of St. David's). History of Greece. L., 1835—1850. 8 v.
- Thomson* (T.). History of the Royal Society. L., 1812. 4-to.
- Idem*. History of Chemistry. 2 vols. n. d.
- Idem*. Chemistry of Vegetables. L., 1838.

Idem. Chemistry of Animal Bodies. Edinb., 1843.

Thornton (W. T.). Over-Population and its Remedy. L., 1846.

Ticknor (G.). History of Spanish Literature. L., 1849. 3 vols.

Timour's Political and Military Institutes, edited by Davy and White. Oxford, 1783. 4-to.

Tocqueville (Le Comte de). Histoire Philosophique de Règne de Louis XV. P., 1847. 2 vols.

Tocqueville (A de). De la Démocratie en Amérique. Bruxelles., 1840. 5 vols. in 2 parts.

Idem. L'Ancien Régime et la Révolution. P., 1856.

Tomline (Bishop of Winchester). Life of W. Pitt. L., 1821. 2 vols. 4-to.

Townsend (J.). Journey through Spain in 1786 an 1787. L., 1792. 3 vols.

Trail (W.). Account of the Life and Writings of Robert Simson. L., 1812. 4-to.

Transactions of the Literary Society of Bombay. L., 1819—1823. 3 vols. 4-to.

Transactions of the Royal Asiatic Society. L., 1827—1835. 3 vols. 4-to.

Trotter (J. B.). Memoirs of the Latter Years of C. J. Fox. L., 1811.

Tschudi (J. J.). Travels in Peru. L., 1847.

Tucker (J.). The Life of T. Jefferson. L., 1837. 2 vols.

Tuckey (J. K.). Expedition to the Zaire, in South Africa. 1818. 4-to.

Turgot (M.). Oeuvres. P., 1811. 9 vols.

Turner (E.). Elements of Chemistry. L., 1847. 2 vols.

Turner (Samuel). An Embassy to Tibet. L., 1800. 4-to.

Turner (Sharon). History of England. L., 1839. 12 vols.

Turpinus. De Vita Caroli Magni, edit. S. Ciampi. Florent. 1822.

Twiss (T.). The Life of Lord Chancellor Eldon. L., 1846. 2 vols.

Idem. Progress of Political Economy in Europe. L., 1847.

Vattel (M. de). Le Droit des Gens. P., 1820. 2 vols.

Vaughan (R.). The Protectorate of Cromwell. L., 1839. 2 vols.

Vernon (J.). Letters from 1696 to 1708. L., 1841. 3 vols.

Villemain (M.). De la Littérature au XVIII Siècle. P., 1846. 4 vols.

Villemarqué (T. H.). Chant Populaires de la Bretagne. P., 1846. 2 vols.

Vishnu Purana; a System of Hindu Mythology, translated from the Sanscrit by H. H. Wilson. L., 1840. 4-to.

Ulloa (A.). A Voyage to South America. L., 1772. 2 vols.

Vogel (J.). The Pathological Anatomy of the Human Body. L., 1847.

Volney (C. F.). Voyage en Syrie et en Egypte. Paris, an vii. 2 vols.

Voltaire. Oeuvres complètes. P., 1820—1826. 70 vols.

Idem. Lettres inédites. P., 1856. 2 vols.

Vyse (H.). Operations at the Pyramids. L., 1840—1842. 3 vols.

Wagner (R.). Elements of Physiology. L., 1841.

Wakefield (G.). Life of, by himself. L., 1804. 2 vols.

Walker (C.). The History of Independency. L., 1660, 1661. 4 parts. 4-to.

Walpole (H.). Memoirs of George II. L., 1847. 3 vols.

Idem. Memoirs of the Reign of George III. L., 1845. 4 vols.

Idem. Letters, from 1735 to 1797. L., 1840. 6 vols.

Walch (R.). Notices of Brazil. L., 1830. 2 vols.

Warburton's Letters to Hurd. L., 1809.

Ward (H. G.). Mexico. L., 1829. 2 vols.

Ward (W.). A View of the History, Literature and Religion of the Hindoos. L., 1817—1820. 4 vols.

- Ward (W. Y.).* The Ideal of a Christian Church. L., 1844.
Warwick (Sir P.). Memoirs of the Reign of Charles I. L., 1702.
Watson (R., Bishop of Llandaff). Life, by himself. L., 1808. 2 vols.
Watson (R.). Observations on Southey's Life of Wesley. L., 1821.
Wellsted (J. R.). Travels in Arabia. L., 1838. 2 vols.
Wesley (John). The Journals of. L., 1851.
Whately (Archbishop of Dublin). The Errors of Romanism traced to their Origin in Human Nature. L., 1830.
Idem. Essays on some of the Dangers of Christian Faith. L., 1839.
Wheaton (H.). History of the Northmen, to the Conquest of England by William of Normandy. L., 1831.
Whewell (W.). History of the Inductive Sciences. L., 1847. 3 vols.
Idem. Philosophy of the Inductive Sciences, founded upon their History. L., 1847. 2 vols.
Idem. Bridgewater Treatise. L., 1852.
Idem. Lectures of the History of Moral Philosophy in England. L., 1852.
Whiston (W.). Memoirs, written by himself. L., 1749.
White (Blanco). Practical and Internal Evidence against Catholicism. L., 1826.
Whitelocke (Commissioner). Journal of the Swedish Embassy in 1653 and 1654. L., 1772. 2 vols. 4-to.
Wilberforce (W.). Life, by his Sons. L., 1838. 5 vols.
Wilkinson (Sir J. G.). Manners and Customs of the Ancient Egyptians. I-st series, edit. 1842; 2 d. series, edit. 1841. 5 vols.
Williams (C. J. B.). Principles of Medicine. L., 1848.
Wilson (H.). Account of the Pelew Islands. 2-d. ed. L., 1788. 4-to.
Wilson (H. H.). Specimens of the Theatre of the Hindus, translated from the Sanscrit. Calcutta, 1827. 3 vols.
Wilson (W.). Memoirs of Daniel Defoe. L., 1830. 3 vols.
Winckler (E.). Geschichte der Botanik. Frankfurt a. M., 1854.
Winstanley (W.). The Loyal Martyrology. L., 1665.
Wordsworth (C.). Ecclesiastical Biography. L., 1839. 4 vols.
Wrangel (F.). Narrative of an Expedition to the Polar Sea. L., 1840.
Wright (T.). Biographia Britannica Literaria; Anglo-Saxon and Anglo-Norman Periods. L., 1842—1846. 2 vols.
Yonge (W.). Diary, from 1604 to 1628, edited by G. Roberts. Camb. Soc., 1848. 4-to.

ТОМ ВТОРОЙ

Когда имя автора заключено в скобки, то это означает, что книга издана без имени; но в таком случае указывается источник, из которого почерпнуто сведение о том, кто именно автор.

- (Aarsens de Sommerdyck).* Voyage d'Espagne, fait en l'année 1655. P., 1665. 4-to.
 Barbier (Dictionnaire des Ouvrages Anonymes. Vol. ii. P. 468. P., 1806).
 Aberdeen. Extracts from the Council Register of the Burgh of Aberdeen, from 1398 to 1570, printed for the Spalding Club. Aberdeen., 1844. 4-to.
 Ibid., from 1570 to 1625, printed for the Spalding Club. Aberdeen., 1848. 4-to.
Abernethy (J.). The Hunterian Oration for the year 1839. L., 1819.

- Abernethy (M.I.)*. Physicke for the Soule. L., 1622. 4-to.
- Acts of the Parliaments of Scotland from 1124 to 1707. L., 1814—1844. 11 volumes. Folio.
- Acts and Proceedings of the General Assemblies of the Kirk of Scotland, from 1560 to 1618. Edinb., 1839—1845. 3 volumes. 4-to.
- Acts of the General Assembly of the Church of Scotland, from 1638 to 1842. Edinb., 1843.
- Adams (J.)*. Memoirs of the Life and Doctrines of John Hunter. 2d edit. L., 1818.
- Alberoni (Cardinal)*. The History of. L., 1719.
- Anderson (J.)*. Prize Essay on the State of Society and Knowledge in the Highlands of Scotland. Edinb., 1827.
- Antequera (D.J.M.)*. Historia de la Legislacion Espanola. Madrid, 1849.
- Argyll (The Duke of)*. Presbytery Examined. L., 1848.
- Arnott (H.)*. The History of Edinburgh. Edinb., 1788. 4-to.
- Bacallar (V.)*. Comentarios de la Guerra de Espana e Historia de su Rey Phelipe V. Genova, 2 vols. 4-to.
- Bacon (J.F.)*. Six Years in Biscay. L., 1838.
- Baillie (R.)*. Letters and Journals from 1637 to 1662, edited by D. Laing. Edinb., 1841—1842. 3 vols.
- Bain (A.)*. The Senses and the Intellect. L., 1855.
- Balfour (Sir J.)*. Historical Works, containing the Annales of Scotland. L., 1825. 4 vols.
- Bannatyne (J.)*. Journal of Transactions in Scotland, from 1570 to 1573. Edinb., 1806.
- Berwick (Maréchal de)*. Mémoires écrits par lui-même. P., 1778. 2 vols.
- Binning (H.)*. Sermons, edited by J. Cochrane. Edinb., 1839, 1840. 3 vols.
- Black (J.)*. Lectures on Chemistry, edited by John Robison. Edinb., 1803. 2 vols. 4-to.
- Blair (R.)*. Autobiography, from 1593 to 1636; with a continuation to 1680, by W. Row, edited by T. M'Crie for the Wodrow Society. Edinb., 1848.
- (Boisel)*. Journal du Voyage d'Espange. P., 1669. 4-to. Cf. *Barbier*. Dict. des Anonymes. Vol. ii. P. 621. P., 1806.
- Boston (T.)*. Sermons. Glasgow, 1752.
- Boston (T.)*. Human Nature in its Four-fold State. Reprinted. L., 1809.
- Bourgoing (J.F.)*. Tableau de l'Espanne Moderne, quatrième édition. P., 1807. 3 vols.
- Bouterwek (F.)*. History of Spanish and Portuguese Literature. L., 1823. 2 vols.
- Bower (A.)*. History of the University of Edinburgh. Edinb., 1817—1830. 3 vols.
- Bowles (G.)*. Introduccion á la Historia Natural y á la Geografia Fisica de Espana. Tercera edicion. Madrid, 1789. 4-to.
- Brand (J.)*. Description of Orkney, Zetland, Pightland-Firth and Caithness. Edinb., 1701.
- Brown (A.)*. History of Glasgow. Glasgow, 1795 and Edinburgh, 1797. 2 vols.
- Browne (J.)*. History of the Highlands and of the Highland Clans. Glasgow. 1838. 4 vols.
- Buchanan (G.)*. Rerum Scoticarum Historia, cura Man. Abredoniae, 1762.
- Burnet (G.)*. History of his own Time. Oxford, 1823. 6 vols.
- Burnet (G.)*. Memoirs of the Lives of James and William, Dukes of Hamilton and Castle-Gerald. Oxford, 1852.
- Burton (J.H.)*. Life and Correspondence of David Hume. Edinb., 1846. 2 vols.
- Burton (J.H.)*. Lives of Simon Loris Lovat and Duncan Forbes of Culloden. L., 1847.
- Burton (J.H.)*. Narratives from Criminal Trials in Scotland. L., 1852. 2 vols.
- Burton (J.H.)*. History of Scotland, from 1689 to 1748. L., 1853. 2 vols.

- Cabarrus (D.F.)*. Elogio de Carlos III. Madrid, 1789. 4-to.
- Cabarrus (Conde de)*. Cartas sobre los Obstaculos que la Naturaleza, la Opinion, y las Leyes oponen à la Felicidad Publica. Madrid, 1813.
- Calderwood (D.)*. History of the Kirk of Scotland, edited by T. Thomson for the Wodrow Society. Edinb., 1842—1849. 8 vols.
- (Campomanes)*. Píscurso sobre la Educacion Polular de los Artesanos. Madrid, 1775.
- (Campomanes)*. Apéndice à la Educacion Popular. Madrid, 1775—1777. 4 vols.
- Campany (A. de)*. Questiones Criticas sobre varios Puntos de Historia economica, etc. Madrid, 1807.
- Carlyle (Rev. Dr. Alexander)*. Autobiography, 2d edit. Edinb., 1860.
- Castro (A.)* Examen Filosofico sobre las principales causas de la Decadencia de Espana. Cadbiz. 1852.
- Chalmers (G.)*. Caledonia. L., 1807—1824. 3 vols. 4-to.
- Chalmers (P.)*. Historical and Statistical Account of Dunfermline. Edinb., 1844.
- Chambers (R.)*. Domestic Annals of Scotland, from the Reformation to the Revolution. Edinb., 1858. 2 vols.
- Chronicle of Perth (The)*, from 1210 to 1668. Edinburgh, 1831. 4-to. Published by the Maitland Club.
- Circourt (A. de)*. Histoire des Arabes d'Espagne. P., 1846. 3 vols.
- Clarendon (Earle of)* State Papers. Oxford, 1767—1786. 3 vols. Folio.
- Clarendon (Earl of)*. The History of the Rebellion and Civil Wars in England; also his Life, written by Himself. Oxford, 1843.
- Clarke (E.)*. Letters concerning the Spanish Nation, written at Madrid in 1760 and 1761. L., 1763. 4-to.
- Clarke (C.)*. An Examination of the Internal State of Spain. L., 1818.
- Cloud (A.)* of Witnesses for the Royal Prerogatives of Jesus Christ, 10th edit. Glasgow, 1779.
- Cockburn (J.)* Jacob's Vow, or Man's Felicity and Duty. Edinb., 1696.
- Conde (J.A.)*. Historia de la Dominacion de los Arabes en Espana. P., 1840.
- Cook (S.S.)*. Sketches in Spain, from 1829 to 1832. L., 1834. 2 vols.
- Costa y Borrás (J.D., Obispo de Barcelona)*. Observaciones sobre el Presente y el Porvenir de la Iglesia en Espana. Segunda edicion. Barcelona, 1857.
- Cowper (W.)*. Heaven Opened. L., 1631. 4-to.
- Coxe (W.)*. Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon, 2d edit. L., 1815. 5 vols.
- Crawfurd (G.)*. The History of the Shire of Renfrew. Paisley, 1782. 3 Parts. 4-to.
- Crichton (A.)*. The Life and Diary of Lieut.-Col. J. Blackader. Edinb., 1824.
- Croker (R.)*. Travels through several Provinces of Spain and Portugal. L., 1799.
- Crookshank (W.)*. History of the Church of Scotland, from 1660 to 1688. Edinb., 1812. 2 vols.
- Cullen (W.)*. Works. Edinb., 1827. 2 vols.
- Dalrymple (W.)*. Travels through Spain and Portugal in 1774. L., 1777. 4-to.
- Dalrymple (Sir D.)*. Annals of Scotland, from 1057 to 1371. 3d dit. Edinb., 1819. 3 vols.
- (D'Aulnoy (Madame))*. Relation du Voyage d'Espagne. Lyon, 1693. 2 vols. Cm. Ticknor's History of Spanish Literature, vol. ii, p. 320, 321.
- Davies (C.M.)*. History of Holland. L. 1841—1844. 3 vols.
- Davila (G.G.)*. Historia de la Vida y Hechos del Inclito Monarcha Amado y Santo D. Felipe Tercero. Reprinted Madrid, 1771. Folio.
- De Foe (D.)*. The History of the Union between England and Scotland. L., 1786. 4-to.

- Denholm (J.)*. The History of the City of Glasgow and Suburbs. 3d edition. Glasgow, 1804.
- Dickson (D.)*. A Brief Explication of the First Fifty Psalms. L., 1653.
- Dickson (D.)*. Truth's Victory over Error. Reprinted. Glasgow, 1772.
- Dillon (J.T.)*. Travels through Spain. Dublin, 1781.
- Diurnal (A)* of Remercable Occurrents that have passed within the Country of Scotland, since the Death of James IV till the year 1575. Published by the Bannatyne Club. Edinb., 1833. 4-to.
- (Dunham)*. History of Spain and Portugal. L., 1832. 5 vols. CM. Prescott's Ferdinand and Isabella, vol. iii, p. 214.
- Dunlop (J.)*. Memoirs of Spain, from 1621 to 1700. Edinb., 1834. 2 vols.
- Durham (J.)*. Exposition of the Song of Solomon. 1669. Reprinted Glasgow, 1788.
- Durham (J.)*. The Law Unsealed. 1675. Reprinted Glasgow, 1798.
- Durham (J.)*. A Commentarie upon the Book of the Revelation Glasgow, 1680. 4-to.
- Erichsen (J.)*. The Science and Art of Surgery. 2d edit. L., 1857.
- Estat (L'), de l'Espagne. Geneve, 1681.
- Extracts from the Presbytery Book of Starthbogie, from 1631 to 1664. Printed for the Spalding Club. Aberdeen, 1843. 4-to.
- Extracts from the Registers of the Presbytery of Glasgow and of the Kirk Sessions of the Parishes of Cambusnethan, Humble and Stirling. 4-to.
- Fanshawe (Lady)*. Memoirs, written by herself. L., 1830.
- Faraday (M.)*. Discourse on the Conservation of Force. L., 1857.
- Fauriel (M.)*. Histoire de la Gaule Méridionale sous la Domination des conquérants Germains. P., 1836. 4 vols.
- Fergusson (J.)*. A Brief Exposition of the Epistles of Paul. L., reprinted from the original editions. 1656—1674.
- (Fleming (R.)*. The Fulfilling of the Scripture. 1681. CM. Fleming's Rise and Fall of Rome, edit. L., 1848, p. xi.
- Fletcher (A. of. Saltoun)*. Political Works. Glasgow, 1749.
- Fleury (M.)*. Histoire Ecclésiastique. P., 1758—1761. 36 vols.
- Florez (F.H.)*. Memorias de las Reynas Catholicas. Madrid., 1761. 2 vols. 4-to.
- Foot (J.)*. The Life of John Hunter. L., 1794.
- Forbes (J.)*. Certaine Records touching the Estate of the Kirk, in 1605 and 1606. Published by the Wodrow Society. Edinb., 1846.
- Ford (R.)*. Hand-Book for Spain. 2d edit. L., 1847.
- Fordun (J.)*. Scotichronicon, cum Supplementis et Continuatione W. Boweri, cura W. Goodall. Edinb., 1775. 2 vols. Folio.
- Forner (J. P.)*. Oracion Apologética por la Espana y su Mérito Literario. Madrid, 1786.
- Fountainhall (Lord)*. Notes of Scottish Affairs, from 1680 till 1701. Edinb., 1822. 4-to.
- Franck (R.)*. Northern Memoirs. writ in the year 1658. A new edition. Edinb., 1821.
- Geddes (M.)*. Miscellaneous Tracts. 3d edit. L., 1730. 3 vols.
- Gibson (J.)*. History of Glasgow. Glasgow, 1777.
- Gillespie (G.)*. Aaron's Rod Blossoming, or the Divine Ordinance of Church Government Vindicated. L., 1646. 4-to.
- Godoy (Prince of the Peace)*. Memoirs, written by himself. L., 1836. 2 vols.
- Gordon (P.)*. A Short Abdigement of Britane's Distemper, from 1639 to 1649. Printed for the Spalding Club. Aberdeen, 1844. 4-to.
- Government (The) and Order of the Church of Scotland. 1641. Reprinted Edinb., 1690.

- Gramont* (Le Maréchal de), *Mémoires*, edit. Petitot et Monmerqué. P., 1826. 1827. 2 vols.
- Gray* (A.). *Great and Precious Promises*. Glasgow, 1740.
- Gray* (A.). *The Spiritual Warfare, or Sermons concerning the Nature of Mortification*. Glasgow, 1840.
- Green* (J. H.). *Vital Dynamics*. L., 1840.
- Gregory* (D.). *History of the Western Highlands and Isles of Scotland from 1493 to 1625*. Edinb., 1836.
- Grierson* (Dr.). *History of St. Andrews*. Cupar, 1838.
- Grove* (W. R.). *The Correlation of Physical Forces*. 3d edit. L., 1855.
- Guthrie* (J.). *Considerations Contributing unto the Discovery of the Dangers that threaten Religion in the Church of Scotland*. Reprint. Edinb., 1846.
- Guthry* (H., Bishop of Dunkeld). *Memoirs*. L., 1702.
- Halyburton* (T.). *The Great Concern of Salvation*. Edinb., 1722.
- Hasse* (C. E.). *An Anatomical Description of the Diseases of the Organs of Circulation and Respiration*. Sydenham Society. L., 1846.
- Heron* (R.). *Observations made in a Journey through the Western Counties of Scotland, in 1792*. 2d edit. Perth, 1799. 2 vols.
- Hewson* (W.). *Works*, edited by G. Gulliver for the Sydenham Society. L., 1846.
- Histoire* (The) and *Life of King James the Sext, from 1566 to 1596*. Published by the Bannatyne Club. Edinb., 1825. 4-to.
- Hodgson* (J.). *The Hunterian Oration, delivered at the Royal College of Surgeons in 1855*. L.
- Hollinshead* (R.). *The Scottish Chronicle*. Arboath, 1805. 2 vols. 4-to.
- Home* (J.). *The History of the Rebellion in the year 1745*. L., 1802. 4-to.
- Hoskins* (G. A.). *Spain as it is*. L., 1851. 2 vols.
- Howell* (J.). *Letters*. Eleventh edition. L., 1754.
- Howie* (J.). *Biographia Scoticana*. 2d edit. Glasgow, 1781.
- Hume* (D. of Godscroft). *The History of the House and Race of Douglas and Angus*. Edinb., 1743. 2 vols.
- Hume* (D.). *Commentaries on the Law of Scotland respecting Crimes*. Edinb., 1797. 2 vols. 4-to.
- Hume* (D.). *Philosophical Works*. Edinb., 1826. 4 vols.
- Hunter* (J.). *Works*, edited by J. F. Palmer. L., 1835—1837. 4 vols.
- Hunter* (J.). *Essays and Observations on Natural History etc.*, edited by R. Owen. L., 1861. 2 vols.
- Hutcheson* (F.). *An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue*. 4th edit. L., 1738.
- Hutcheson* (F.). *An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections*. 3d edit. Glasgow, 1769.
- Hutcheson* (F.). *A System of Moral Philosophy; with the Life of Hutcheson*, by W. Leechman. L., 1755. 2 vols. 4-to.
- Hutcheson* (G.). *Exposition on the Twelve Small Prophets*. L., 1654, 1655. 3 vols.
- Hutcheson* (G.). *An Exposition of the Book of Job, being the sum of 316 Sermons preached in the City of Edinburgh*; L., 1669. Folio.
- Hutton* (J.). *Theory of the Earth*. Edinb., 1795. 2 vols.
- Jacobite Memoirs of the Rebellion of 1745*, edited, from the Manuscripts of the late Bishop Forbes, by R. Chambers. Edinb., 1834.
- Janer* (F.). *Condicion Social de los Moriscos de Espana*. Madrid, 1857.

- Inglis (H. D.)*. Spain in 1830. L., 1831. 2 vols.
- Interest (The) of Scotland Considered with regard to Police, Trade, etc. Edinb., 1733.
- Johnston (L. F. C.)*. Institutes of the Civil Law of Spain. L., 1825.
- Johnstone (The Chevalier de)*. Memoirs of the Rebellion in 1745 and 1746 3d edit. L., 1822.
- Irving (J.)*. The History of Dumbartonshire. 2d edit. Dumbarton, 1860. 4-to.
- Keith (R.)*. A Catalogue of the Bishops of Scotland. Edinb., 1755. 4-to.
- Keith (R.)*. History of the Affairs of Church and State in Scotland, from the beginning of the Reformation to 1568. Published by the Spottiswoode Society. Edinb., 1844—1850. 3 vols.
- Kennedy (W.)*. Annals of Aberdeen. L., 1818. 2 vols. 4-to.
- Kirkton (J.)*. The Secret and True History of the Church of Scotland, from the Restoration to 1678, edited from the MSS. by C. K. Sharpe. Edinb., 4-to. 1817.
- Knox (J.)*. History of the Reformation in Scotland, edited by D. Laing, for the Wodrow Society. Edinb., 1846—1848. 2 vols.
- Labat (P.)*. Voyages en Espagne et en Italie. P., 1730. Vol. i., containing his travels in Spain.
- Laborde (A.)*. A View of Spain. L., 1809. 5 vols.
- Lafuente (M.)*. Historia General de Espana. Madrid, 1850—1857. 19 vols.
- Laing (M.)*. The History of Scotland. from 1603 to 1707. 3d edit. L., 1819. 4 vols.
- Laird (M.)*. Memoirs of the Life and Experiences, with a Preface by the Rev. Mr. Cock. 2d edit. Glasgow, 1781.
- Lamont (J. of Newton)*. Diary, from 1649 to 1671. Edinb., 1830. 4-to.
- Lawson (J. P.)*. The Roman Catholic Church in Scotland. Edinb., 1836.
- Lawson (J. P.)*. The Book of Perth. Edinb., 1847.
- Lesley (J.)*. The History of Scotland, from 1436 to 1561. Published by the Bannatyne Club. Edinb., 1830. 4-to.
- Leslie (J.)*. An Experimental Inquiry into the Nature and Propagation of Heat. L., 1804.
- Leslie (J.)*. Treatises on Natural and Chemical Philosophy. Edinb., 1838.
- Letters of Queen Elizabeth and James VI of Scotland, edited by J. Bruce, for the Camden Society. L., 1849. 4-to.
- Letters from a Gentleman in the North of Scotland. L., 1815. 2 vols.
- Letters from Spain etc., by an English officer. L., 1788. 2 vols.
- Lettice (I.)*. Letters on a Tour through Various Parts of Scotland in 1792. Edinb., 1794.
- Lewes (G. H.)*. The Spanish Drama. L., 1846.
- Lindsay (R. of Pitscottie)*. The Chronicles of Scotland. Edinb., 1814. 2 vols.
- Llorente (D. J. A.)*. Histoire Critique de l'Inquisition d'Espagne. P., 1817, 1818. 4 vols.
- Lockhart Papers (The). L., 1817. 2 vols. 4-to.
- Lou ville (Marquis de)*. Mémoires. P., 1818. 2 vols.
- Lye I (Sir C.)*. Principles of Geology. 9th edit. L., 1853.
- Lyon (C. J.)*. History of St. Andrews. Edinb., 1843. 2 vols.
- Mackenzie (Sir G.)*. The Laws and Customs of Scotland in Matters Criminal. Edinb., 1699. folio.
- Macky (J.)*. A Journey through Scotland. 2d edit. L., 1732. Cm. Watt's Bibliotheca Britannica, vol. ii., p. 631, m.

- Macpherson (D.)*. Annals of Commerce. L., 1805. 4 vols. 4-to.
- M'Crie (T.)*. History of the Progress and Suppression of the Reformation in Spain in the Sixteenth Century. Edinb., 1829.
- M'Crie (T.)*. The Life of John Knox, edited by A. Crichton. 2d edit. Edinb., 1841.
- M'Crie (T.)*. The Life of Andrew Melville. Edinb., 1819. 2 vols.
- M'Ure (J.)*. The History of Glasgow. A new edition. Glasgow, 1830.
- Mahon (Lord)*. Spain under Charles II, or Extracts from the Correspondence of A. Stanhope, 1690—1699. L., 1840.
- Maintenon (Madame de)*. Lettres inédites de, et de la Princesse des Ursins. P., 1826. 4 v.
- Mallet (Messrs. R. and J. W.)*. The Earthquake Catalogue of the British Association. From the Transactions of the British Association for the Advancement of Science. L., 1858.
- Marchant (J.)*. The History of the Present Rebellion. L., 1746.
- Mariana (P. J.)*. Historia General de Espana, y la Continuacion por Miniana. Madrid, 1794, 1795. 10 vols.
- Martinez de la Mata*. Dos Discursos, los publica J. A. Canga. Madrid, 1794.
- Melville (J.)*. Autobiography and Diary, edited by R. Pitcairn for the Wodrow Society. Edinb., 1842.
- Mendoza (D. H.)*. Guerra de Granada que hizo el Rei D. Felipe II contra los Moriscos. Valencia, 1776. 4-to.
- Mercer (A.)*. The History of Dunfermline. Dunfermline, 1828.
- Mignet (M.)*. Négociations relatives à la Succession d'Espagne sous Louis XIV. P., 1835—1842. 4 vols. 4-to.
- Miscellany (The) of the Wodrow Society, edited by D. Laing. Edinb., 1844.
- Monro (A.)*. Sermons. L., 1693.
- Morer (T.)*. A Short Account of Scotland. L., 1702. См. Records of the Kirk Sessidion, etc., of Aberdeen, edit. Spalding Club. Aberdeen, 1846. 4-to. p. lxi. lxxv.
- Mortley (J. L.)*. History of the Rise of the Dutch Republic. L., 1858. 3 vols.
- Moysie (D.)*. Memoirs of the Affairs of Scotland from 1577 to 1603. Printed by the Bannatyne Club. Edinb., 1830. 4-to.
- Muirgead (J. P.)*. The Life of James Watt. 2d edit. L., 1859.
- Muriel (A.)*. Gobierno del Senor Rey Don Carlos III. Madrid, 1839.
- Naphtali, or the Wrestlings of the Church of Scotland for the Kingdom of Christ. Printed in the year 1667.
- Napier (M.)*. The Life and Times of Montrose, illustrated from original Manuscripts. Edinb., 1840.
- Navarrete (M. F.)*. Vida de Cervantes, при издании Don Quijote. Barcelona, 1839.
- Navarrete (M. F.)*. Noticia Biográfica del Marques de la Ensenada, vol. ii. Navarrete, Opusculos. Madrid, 1848.
- Nicoll (J.)*. Diary, from January 1650 to June 1667. Published by the Bannatyne Club. Edinb., 1836. 4-to.
- Nimmo (W.)*. History of Stirlingshire. Edinb., 1777.
- Noailles (Duc de)*. Mémoires par l'Abbé Millot, edit. Petitot et Monmergué. P., 1828, 1829. 4 vols.
- Ortiz y Sanz (D. J.)*. Compendio Cronologico de la Historia de Espana. Madrid, 1795—1803. 7 vols.
- Owen (R.)*. Lectures on the Comparative Anatomy and Physiology of the Invertebrate Animals. 2d edit. L., 1855.
- Paget (J.)*. Lectures on Surgical Pathology. L., 1853. 2 vols.

- Patten (R.)*. The History of the Late Rebellion. L., 1717.
- Pennant (T.)*. Tour in Scotland. 4th edit. Dublin, 1775. 2 vols.
- Penny (G.)*. Traditions of Perth. Perth, 1636.
- Peterborough (C. M., Earl of)*. Memoir of, with Selections from his Correspondence. L., 1853. 2 vols.
- Pinkerton (J.)*. An Enquiry into the History of Scotland, preceding the year 1056. Edinb., 1814. 2 vols.
- Pinkerton (J.)*. History of Scotland, from the Accession of the House of Stuart to that of Mary. L., 1797. 2 vols. 4-to.
- Pitcairn (R.)*. Criminal Trials in Scotland, from 1488 to 1624. Edinb., 1833. 3 vols. 4-to, in four parts.
- Playfair (J.)*. Works. Edinb., 1822; the first and fourth volumes, containing Illustrations of the Huttonian Theory and the Life of Hutton.
- Presbytery Displayed, 1644. Reprinted London. 1663. 4-to.
- Prescott (W. H.)*. History of the Reign of Ferdinand and Isabella. P., 1842. 3 vols.
- Prescott (W. H.)*. History of the Reign of Philip II. L., 1857—1859/ 3 vols.
- Quin (M. J.)*. Memoirs of Ferdinand VII, King of the Spain. L., 1824.
- Rae (P.)*. The History of the Rebellion against George I. 2d edit. L., 1746.
- Ramsay (E. B., Dean of Edinburgh)*. Reminiscences of Scottish Life and Character. 5th edit. Edinb., 1859.
- Ranke (L.)*. The Ottoman and the Spanish Empires in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. L., 1843.
- Raumer (F. Von)*. History of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, illustrated by original Documents. L., 1835. 2 vols.
- Ray (J.)*. Second Itinerary in 1561, in Memorials of Ray, edited by E. Lankester for the Ray Society. L., 1846.
- Reid (T.)*. An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense. 7-th edit. Edinb., 1814.
- Reid (T.)*. Essays on the Powers of the Human Mind. Edinb., 1808. 3 vols.
- Revelations of Spain in 1845, by an English Resident. L., 1845. 2 vols.
- Ridpath (G.)*. The Border History of England and Scotland. Berwick, 1848. 4-to.
- Rio (A. F.)*. Historia del Reinado de Carlos III en Espana. Madrid, 1856. 4 vols.
- Ripperda (Duke de)*. Memoirs of. 2d edit. L., 1740.
- Ritchie (T. E.)*. Life of David Hume. L., 1807.
- Rebe (J.)*. Narratives of the Extraordinary Work of the Spirit of God. Glasgow, 1790.
- Robertson (W.)*. History of Scotland in Robertson's Works. L., 1831.
- Robertson (W.)*. History of the Reign of Charles V, with additions by W. H. Prescott. L., 1857.
- Rokitansky (C.)*. A Manual of Pathological Anatomy. Published by the Sydenham Society. L., 1849—1854, 4 vols.
- Row (J.)*. The History of the Kirk of Scotland, from 1558 to 1637, with a Continuation to July 1639. Published by the Wodrow Society. Edinb., 1842.
- Russell (M.)*. History of the Church in Scotland. L., 1834. 2 vols.
- Rutherford (S.)*. Three Hundred and Fifty Two Religious Letters between 1638 and 1649. Reprinted Glasgow, 1824.
- Rutherford (S.)*. Christ Dynig. L. 1647. 4-to.
- Rutherford (S.)*. A Free Disputation against Pretended Liberty of Conscience. L., 4-to. 1649.

- Sadler (Sir R.)*. State Papers and Letters, edited by R. Glifford, with Notes by W. Scott. Edinb., 1809. 2 vols. 4-to.
- Scot (J.)*. The Staggering State of the Scots Statesmen, from 1550 to 1660. Edinb., 1754.
- Scot (W.)*. An Apologetical Narration of the State and Government of the Kirk of Scotland since the Reformation. Published by the Wodrow Society. Edinb., 1846.
- Scotch Presbyterian Eloquence. 3d edit. L., 1719.
- Scotland, a Modern Account of, witten from thence by an English Gentleman, priten in the year 1670, in vol. vi. of the Harleian Miscellany. 4-to. 1810.
- Scotland. Reasons for Improving the Fisheries and Linnen Manufacture of Scotland. L., 1727.
- Select Biographies, edited for the Wodrow Society by he Re. W. K. Tweedie. Edinb., 1845—1847. 2 vols.
- Selections from the Minutes of the Synod of Fife from 1611 to 1687. Printed for the Abbotsford Club. Edinb., 4-to. 1837.
- Selections from the Minutes of the Presbyteries of St. Andrews and Cupar, from 1641 to 1698. Printed for the Abbotsford Club. Edinb., 1837. 4-to.
- Selections from the Registers of the Presbytery of Lanark, from 1623 to 1709. Printed for the Abbotsford Club. Edinb., 1839. 4-to.
- Selections from the Records of the Kirk-Session, Presbytery and Synod of Aberdeen. Printed for Spalding Club. Aberdeen, 1846. 4-to.
- Sempere (M.)*. Histoire des Cortès d'Espagne. Bordeaux, 1815.
- Sempere (M.)*. Considérations sur les Causes de la Grandeur et de la Décadence de la Monarchie Espagnole. P., 1826. 2 vols.
- Sermons by Eminent Divines in the two last Centuries. Edinb., 1814.
- (*Shields (A.)*). A Hund let loose. Printed in the year 1687. See Howie's Biographia Scoticana. P. 576.
- Shields (A.)*. The Scot's Inquisition. Edinb., 1745.
- Shields (A.)*. An Enquiry into Church Communion. 2d edit. Edinb., 1747.
- Simon (Duc de)*. Mémoires publiés sur le Manuscrit original. P., 1842. 40 vols.
- Simon (J.)*. Lectures on Pathology. L., 1850.
- Sinclair (G.)*. Satan's Invisible World discovered. Reprinted Edinb., 1780.
- Sinclair (Sir J.)*. Statistical Account of Scotland. Edinb., 1791—1799. 21 vols.
- Sismondi (J. C. L.)*. Historical View of the Literature of the South of Europe, with notes by T. Roscoe. L., 1846. 2 vols.
- Skene (W. F.)*. The Highlanders of Scotland, their Origin, History and Antiquities. L., 1737. 2 vols.
- Smith (A.)*. The Theory of Moral Sentiments. L., 1822. 2 vols.
- Smith (A.)*. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edinb., 1839.
- Somerville (Lord.)*. Memorie of the Somervilles. Edinb., 1815. 2 vols.
- Southey (R.)*. Letters written in Spain and Portugal. 2d edit. Bristol, 1799.
- Southey (R.)*. Chronicle of the Cid. Lowell, 1846.
- Spain by an American. L., 1831. 2 vols.
- Spalding (J.)*. The History of the Troubles in Scotland and England, from 1624 to 1645. Edinb., 1828—1829. 2 vols. 4-to.
- Spalding Club Miscellany. Alerdeen, 1841—1852. 5 vols. 4-to.
- Spencer (H.)*. First Principles. L., 1860—1861.

- Spottiswoode (J., Archbishop of St. Andrews).* History of the Church of Scotland. Edinb., 1831. 3 vols.
- Spottiswoode Miscellany (The).* A Collection of Original Papers and Tracts illustrative of the History of Scotland. Edinb., 1814, 1845. 2 vols.
- State Papers of the Reign of Henry VIII. L., 1836.* 4-to; vols. iv and v, containing the Correspondence relative to Scotland and the Borders.
- Stevenson (J.).* A Rare Soul-strengthening and Comforting Cordial for Old and Young Christians. Edited in 1729, by the Rev. William Cupples. Paisley, 1786.
- Stevenson (A.).* History of the Church and State of Scotland, from the Accession of Charles I to 1649. Reprinted Edinb., 1840.
- Stewart (D.).* Biographical Memoirs of Smith, Robertson and Reid. Edinb., 1811. 4-to.
- Swinburne (H.).* Travels through Spain in 1775 and 1776. L., 1787. 2 vols.
- Tapia (E. de).* Historia de la Civilization Espanola. Madrid, 1840. 4 vols.
- Thomson (J.).* Life of William Cullen. Edinb., 1832.
- Thomson (Mrs.).* Memoirs of the Jacobites of 1715 and 1745. L., 1845, 1846. 3 vols.
- Ticknor (G.).* History of Spanish Literature. L., 1849. 3 vols.
- Torcy (Le Marquis de).* Mémoires, édit. Petitot et Monmerqué. P., 1828, 2 vols.
- Townsend (J.).* A Journey through Spain in 1786 and 1787. 2d edit. L., 1792. 3 vols.
- Travels through Portugal, Spain &c., by a Gentleman London, 1702.*
- Turner (Sir J.).* Memoirs of his own Life, from 1632 to 1670. Edinb., 1829. 4-to.
- Tytler (P. F.).* History of Scotland. 3d. edit. Edinb., 1845. 7 vols.
- Vander Hammen (L.).* Don Filipe et Prudente, segundo deste Nombre. Madrid, 1632. 4-to.
- Udal ap Rhys.* A Tour through Spain and Portugal. 2d edit. L., 1760.
- Vélazquez (L. J.).* Origenes de la Poesia Castellana. Malaga, 1754. 4-to.
- Villars (Madame de).* Lettres. Amsterdam, 1759. These letters were written from Madrid, between 1679 and 1681, by the wife of the French Ambassador.
- Voyages faits en Divers Temps en Espagne &c., par Monsieur M****.* Amsterdam, 1700.
- Ustariz (G.).* Theorica y Practica de Comercio y de Marina. Tercera impresion. Madrid, 1757. Folio.
- Walker (Sir E.).* A Journal of Affairs in Scotland in 1650, in Walker's Historical Discourses. L., 1705. Folio.
- Walker (P.).* Biographia Presbyteriana. Reprinted Edinburgh, 1827. 2 vols.
- Walton (W.).* The Revolutions of Spain, from 1808 to the end of 1836. L., 1837. 2 vols.
- Wast (E.).* Memoirs written by her own hand. Edinb., 1724.
- Watson (R.).* Historical Collections of Ecclesiastick Affairs in Scotland. L., 1657.
- Watson (R.).* The History of the Reign of Philip II, King of Spain. 7th edit. L., 1839.
- Watson (R.).* The History of the Reign of Philip III, King of Spain. 3d edit. L., 1839.
- Watson (T.).* Lectures on the Principles and Practice of Physic. 4th edit. L., 1857. 2 vols.
- Watt (J.).* Correspondence on his Discovery of the Composition of Water, edited by J. P. Muirhead. L., 1846.
- (White (B.).* Doblado's Letters from Spain. L., 1822.
- Williams (C. J. B.).* Principles of Medicine. 2d edit. L., 1848.

- Winwood* (Sir R.). Memorials of Affairs of State, from his Papers. London, 1725. 3 vols. Folio.
- Wishart* (G.). Memoirs of James Graham, Marquis of Montrose. Edinb., 1819.
- Wodrow* (R.). History of the Church of Scotland. Glasgow, 1838. 4 vols.
- Wodrow* (R.). Collections upon the Lives of the Reformes and Ministers of the Church of Scotland. Edit. Maitland Club. Glasgow, 1834—1848. 4-to. vols. in 2.
- Wodrow* (R.). Analecta, or Materials for a History of Remarkable Providences. Edit. Maitland Club. 1842, 1843. 4 vols. 4-to.
- Wodrow* (R.). Life of the Rev. Robert Bruce, prefixed to Bruce's Sermons. Edit. Wodrow Society. Edinb., 1843.
- Wodrow* (R.). Correspondence. Edit. Wodrow Society Edinb., 1842, 1843, 3 vols.
- Ximenez* (F. J.). Vida y Virtudes des Venerable Siervo de Dios D. J. de Ribera, Arcobispo de Valencia. Roma, 1734. 4-to.
- Yanez* (J.). Memorias para la Historia de Don Felipe III. Madrid, 1723. 4-to.

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абдаррахман II (822—852)—кордовский халиф, известен покровительством наукам и искусствам. II—383
- Август Октавиан (63 до н. э.—14 н. э.)—первый римский император (годы правления 43 до н. э.—14 н. э.). I—347
- Августин Блаженный Аврелий (354—430)—христианский теолог и церковный деятель, родоначальник христианской философии истории. I—28, 415; II—281, 318, 366, 374
- Авессалом—третий сын царя Иудеи и Израиля (ок. 1004—965 до н. э.). II—428
- Австрийский дом (Габсбурги)—династия, правившая в Австрии (с 1282—герцоги, с 1453—эрцгерцоги, с 1804—австрийские императоры, императоры Священной Римской империи в 1438—1806, кроме 1742—1745, короли Испании в 1516—1700 гг.). I—265
- Агассиз (Агассис) Жан Луи (1807—1873)—швейцарский естествоиспытатель, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1869), ученик и последователь Кювье. I—436, 437
- Агрикола Гней Юлий (37—93)—римский политик и полководец, воевавший в Британии и покоривший ее до границ нынешней Шотландии (Каледонии). II—71
- Адам Бременский (?—после 1081)—северогерманский хронист. I—167
- Адамс Джон (1735—1826)—американский государственный деятель, второй президент США. II—336
- Адансон Мишель (1727—1806)—французский ботаник. I—354, 443
- Аддисон Джозеф (1672—1719)—английский государственный деятель, писатель, драматург. II—354, 357, 360, 362, 363
- Александр III Великий (Македонский) (356—323 до н. э.)—македонский царь (336—323 до н. э.), один из великих античных полководцев и завоевателей, создатель крупнейшей империи древности. I—124, 384; II—296, 368
- Александр III—король Шотландии (ум. 1285). II—401
- Александр III (?—1181)—римский папа с 1159 г. II—311
- Александр IV (1431—1503)—римский папа с 1492 г. II—351
- Алисон Арчибальд (1757—1839)—английский писатель. II—338
- Алкей (ок. 600 до н. э.)—древнегреческий поэт-лирик. I—110
- Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.)—крупнейший афинский полководец и искусный политик. I—110
- Альба Альварес де Толедо Фернандо (1507—1582), герцог—испанский политический и государственный деятель, правитель Нидерландов исторических в 1567—1573 гг. II—12, 384
- Альбани—правитель Шотландского королевства (1406—1419). II—86, 404, 405
- Альберони (1664—1752)—кардинал, итальянец по происхождению, вдохновитель политики испанского короля Филиппа V. II—34—36, 44

- Альбукерке — испанский герцог. *II* — 393
- Альфонс I (1030—1109) — король Кастилии и Леона. *II* — 385
- Альфред Великий (ок. 849—ок. 900) — король англосаксонского королевства Уэссекс (871—900). *I* — 367; *II* — 365
- Амасис — египетский царь-эллинофил (569—526 до н. э.). *I* — 60
- Амвросий (IV в.) — христианский теолог и церковный иерарх (миланский епископ). *II* — 281
- Анаксагор — древнегреческий философ (500—428 до н. э.). *II* — 375
- Андокид (конец V — начало IV в. до н. э.) — греческий оратор (его речи входят в канон десяти аттических ораторов). *I* — 110; *II* — 321
- Анна Стюарт (1665—1714) — английская королева, последняя из династии Стюартов (1702—1714), преемница Вильгельма III. *I* — 214, 220, 236, 459; *II* — 19, 307, 327, 330, 331
- Антиох III Великий (242—187 до н. э.) — царь государства Селевкидов с 223 г. *II* — 368
- Антисфен (ок. 444—366 до н. э.) — греческий философ. *I* — 110
- Антонио — каноник Севильи. *II* — 24
- Аполлоний Пергский (ок. 260—ок. 170 до н. э.) — древнегреческий математик и астроном, ученик Евклида. *II* — 348
- Аранда Педро, граф (1718—1799) — либеральный политический деятель, глава испанского правительства в 1765—1773 и 1792—1793 гг. *II* — 43, 44, 55, 396, 399
- Аргайл Арчибальд — шотландский пресвитерианин, один из знатных пэров, боровшийся против королевского абсолютизма (XVI в.). *II* — 92, 99
- Аристотель Стагирит (384—322 до н. э.) — великий древнегреческий философ и ученый-энциклопедист. *I* — 96, 292, 439; *II* — 37, 251, 261, 268, 292, 349, 350, 375, 377, 509
- Арминий Яков (настоящая фамилия Херманс) (1560—1609) — голландский богослов, основатель секты ремонстрантов, отделившихся от кальвинистов. *I* — 415
- Арнольд — английский историк. *II* — 314, 317, 319
- Арран, граф — правитель Шотландии, в 1554 г. его сменила Мария де Гиз, ставшая регентшей. *II* — 96, 99
- Артур — легендарный король древней Британии (V—VI вв.), с именем которого связан цикл сказаний и рыцарских романов. *I* — 174, 175—176; *II* — 314
- Архенсола Луперсьо Леонардо де (1562—1613) — испанский драматург. *II* — 24
- Архимед (ок. 287—212 до н. э.) — великий древнегреческий ученый, математик и механик. *II* — 348
- Архит Тарентский (ок. 428—365 до н. э.) — древнегреческий философ, математик, политический деятель и полководец. *I* — 110
- Барант Проспер де (1782—1866) — французский историк и литератор. *II* — 374
- Бартелеми Жан Жак (1716—1795) — французский ученый и писатель-просветитель, автор ученых романов из жизни Древней Греции. *I* — 353
- Баярд Пьер дю Терай (1476—1524) — французский полководец, прославившийся в Итальянских войнах, за смелость получил прозвище Рыцарь без страха и упрека. *I* — 313
- Бeverley Альфред — известный историк, издавший краткое извлечение из «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского. *I* — 176

- Беккариа Чезаре (1738—1794)—итальянский просветитель, юрист, публицист. *I*—362
- Бентам Иеремия (1748—1832)—английский философ, социолог, юрист. *I*—216; *II*—204
- Бентли Ричард (1662—1742)—английский филолог и критик, автор ряда сочинений об античных авторах. *II*—371
- Бенуа—протестантский историк, автор книги «История Нантского эдикта» в 5 томах (1693—1695). *II*—344, 346, 350, 358
- Бервик Джеймс (1670—1734)—генералиссимус испанской армии, англичанин по происхождению, побочный сын английского короля Якова II, получивший французское гражданство и звание французского маршала. *II*—33
- Берджесс Энтони—пуританский священник, опубликовавший в 1646 г. сборник проповедей, а в 1648 г.—богословское сочинение «Истинная доктрина справедливости, защищенная и восстановленная». *II*—341
- Бёрк Эдмунд (1729—1797)—английский политический деятель и публицист. *I*—225—234, 355; *II*—307, 332, 334—337
- Беркли Джордж (1685—1753)—английский философ, с 1734 г. епископ в Клойне (Ирландия). *I*—352; *II*—212, 213, 298, 305, 375, 437, 438
- Бернард Клервоский (1090—1153)—французский теолог-мистик, основатель Клервоского аббатства, один из идеологов крестовых походов, теоретик католицизма. *II*—354
- Бернгард Саксен-Веймарский (1604—1639), герцог—военачальник в Тридцатилетней войне (1618—1648). *I*—268
- Бёрнет Джилберт (1643—1715)—английский государственный и церковный деятель, епископ, автор «Мемуаров». *I*—189, 383; *II*—326, 327, 357, 365, 367, 415, 416, 420
- Бертолле Клод Луи (1748—1822)—французский химик. *II*—376
- Берцелиус Йёнс Якоб (1779—1848)—шведский химик и минералог, иностранный почетный член Петербургской АН (1820). *I*—444; *II*—249, 348
- Бининг—популярный шотландский проповедник (XVII в.). *II*—264, 422, 430
- Битон Дэвид (1494—1547)—кардинал, архиепископ Сент-Эндрюса и примас королевства. *II*—91—93, 96—98, 504
- Битти Джеймс (1735—1803)—английский философ и поэт. *I*—230
- Биша Мари Франсуа Ксавье (1771—1802)—французский врач, основатель научной школы, один из основоположников патологической анатомии и гистологии. *I*—353, 433—440, 442, 462; *II*—251, 285, 377—379
- Бленвилль Анри (1777—1850)—французский зоолог и анатом, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1840). *II*—348, 378
- Блондель Франсуа (1618—1686)—французский архитектор. *I*—348
- Блэк (Блек) Джозеф (1728—1799)—шотландский физик и химик, иностранный почетный член Петербургской АН (1783). *I*—139; *II*—219—225, 229, 230, 237, 239, 240, 244, 253, 439, 508
- Блэкстон Вильям (1723—1780)—английский юрист, автор «Commentaries on the Law of England» (Комментарии законов Англии) (1765—1769). *I*—353; *II*—308, 323, 370
- Бодэн (Боден) Жан (1530—1596)—французский политический деятель, юрист, политический мыслитель. *I*—177
- Бозобр Исаак де (1659—1738)—протестантский пастор и теолог. *II*—301

- Бойль Роберт (1621—1691)—английский физик и химик. *I*—195—197, 343, 459; *II*—293, 294, 314, 317, 321, 360
- Бомарше Пьер Огюстен (1732—1799)—французский драматург. *I*—358, 361
- Бонапарт Жозеф, граф фон Surveilliers (1768—1844)—король Неаполя в 1806—1808 гг., король Испании с 1808 по 1813 г., брат Наполеона. *II*—63
- Бонне Шарль (1720—1793)—швейцарский естествоиспытатель и философ. *I*—435; *II*—377
- Бонсерф Пьер Франсуа—автор трактата «О неудобстве феодальных прав», осужденного властями как покушение на собственность (XVIII в.). *I*—361
- Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704)—французский теолог, епископ Мо. В сочинении «Рассуждение о всеобщей истории» дал обзор истории человечества до эпохи Карла Великого в духе христианской библейской традиции. Идеолог галликанства. *I*—334, 348, 369, 384, 386—393, 461; *II*—367, 368
- Босуэлл (Босвель) Джеймс (1740—1795)—писатель и критик, автор знаменитой книги «Жизнь Джонсона» (1791)—подробного жизнеописания английского философа и литературного критика Сэмюэла Джонсона. *II*—281
- Ботвел Джеймс Хепберн, граф (1536—1575)—третий супруг Марии Стюарт (с 1567 г.). *II*—92
- Боульс—ирландский естествоиспытатель. *II*—39, 41, 42
- Бофор—французский писатель, боровшийся против суеверий в довольтеровское время. *I*—399
- Бофор Франсуа де Вандом, герцог де (1616—1669)—один из вождей Фронды. *I*—325
- Бриенн (Луи Анри де Ломени), граф де (1635—1698)—литератор, знаток новой латинской поэзии, автор «Мемуаров». *II*—351, 374
- Бриссак Луи де Коссе, герцог де (1625—1661)—участник Фронды. *I*—325
- Бриссо Жак Пьер (1754—1793)—деятель Великой французской революции, лидер жирондистов. *I*—352, 357; *II*—336, 375
- Броун Томас, сэр—английский ботаник, автор книг «Анатомия врача», «Исследование о заблуждениях простонародных и общераспространенных» (XVII в.). *II*—194, 195, 204, 350, 459, Броун-младший *I*—344
- Броун—шотландский ученый-терапевт (XVIII в.). *I*—139
- Брунфельс Отто (1488—1534)—немецкий ботаник. Линней назвал его «отцом ботаники». *II*—360
- Бруссонэ (Бруссонне)—французский натуралист. *I*—352, 353
- Брюс Джеймс (1730—1794)—шотландский путешественник, исследовал истоки Нила (1768). *II*—309
- Буало Депрео Никола (1636—1711)—французский поэт и критик. *I*—349, 383; *II*—363
- Буйо Жан Батист (1796—1881)—французский терапевт. *II*—360
- Буйон Фредерик Морис де ла Тур д'Овернь, герцог де (1605—1652)—один из вождей Фронды. *I*—271, 325, 329
- Буйон-Ламарк Анри Робер де, граф и маркиз де Брен (1565—1652). *II*—356
- Буйонская (Буйон де) Шарлотта де ла Тур, д'Овернь, м-ль (ум. 1662)—сестра герцога Буйонского и виконта де Тюренна; Буйонская Элеонора Катрин Феброни де Берг, герцогиня (1615—1657)—жена Фредерика Мориса Буйонского (1634). *I*—327
- Букингемы (Бакингемы, Бокингемы)—английские герцоги Джордж Вильерс (1592—1628)—политический деятель и фаворит Карла II и Джон Шеффилд

- (1648—1721)—государственный деятель, придворный королевы Анны. Оба выступали как писатели. *I*—130
- Буленвиллье Анри де, граф де Сен-Сер (1658—1722)—французский литератор и государственный деятель. *I*—383
- Бурдалу Луи (1632—1704)—французский иезуит, знаменитый проповедник. *I*—348, 369
- Бух Кристиан Леопольд фон (1774—1859)—немецкий геолог, иностранный почетный член Петербургской АН (1832). *II*—235
- Быюкенен Джордж (1506—1582)—шотландский историк и поэт, воспитатель Якова VI Стюарта, писал по-латыни и на гэльском (шотландском) языке, автор «Истории Шотландии». *II*—136, 137, 287, 407
- Бэкон Френсис (1561—1626), герцог Веруламский—английский философ и государственный деятель. *I*—137, 179, 185, 193, 195, 196, 225, 298, 318, 353, 432, 439; *II*—23, 175, 179, 205, 216, 218, 222, 253, 260, 265, 268, 293, 308, 315, 349, 355, 363, 388, 436, 443, 507, 508
- Бэкон, отец—елизаветинский вельможа (1533—1603). *I*—318
- Бэн Александер (1818—1903)—английский психолог. *II*—406
- Бэрбон Презгод (ок. 1596—1679)—член созданного О. Кромвелем Малого парламента, который был прозван бэрбоновым. *I*—324
- Бюффон Жорж Луи Леклерк де (1707—1788)—французский естествоиспытатель, математик, заложил основы современного естествознания. *I*—352, 358, 361, 362, 430, 447; *II*—376
- Ваза—королевская династия в Швеции (1560—1654) и Польше (1587—1642). Основатель Густав I (1496—1560)—король Швеции с 1523 г. *II*—309
- Вайтфилд—выдающийся английский богослов-оратор (дессентер) (XVIII в.). *I*—214, 459; *II*—327, 328
- Вальсингем (Уолсингем) Фрэнсис (1536—1560)—английский государственный деятель. *I*—318; *II*—355
- Вальтер—архидиакон Оксфордский, друг Гальфрида Монмутского. *I*—176
- Вандом—генерал французской армии, участник Войны за испанское наследство. *II*—33
- Варбертон (Уорбуртон) (1698—1779)—епископ Глостерский, английский теолог. *I*—216; *II*—310, 328, 332
- Ваттель Эмерих (1714—1767)—немецкий юрист, автор трактата «Международное право, или Принципы естественного закона, примененные к поведению и делам наций и государств» (1758). *II*—305, 344, 345
- Вашингтон Джордж (1732—1799)—первый президент США (1789—1797). *I*—111, 232
- Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852)—герцог (1814), английский фельдмаршал (1813), победитель при Ватерлоо. *I*—111
- Вернер Абраам Готтлоб (1750—1817)—немецкий геолог и минералог, основатель научной школы, разработал классификацию горных пород и минералов. *II*—235—237, 440
- Веслей (Весли), братья Джон (1703—1791) и Чарлз (1707—1788)—основатели секты методистов, ставившие своей целью проведение в жизнь христианской морали на основе созданного ими правила (метода). *I*—215, 459; *II*—320, 327, 328
- Вивес Хуан Луис (1462—1540)—испанский философ. *II*—387

- Вико Джамбаттиста (1668—1744)—итальянский ученый, философ. *I*—432; *II*—297
- Виктория (1819—1901)—королева Великобритании с 1837, последняя из Ганноверской династии. *I*—408
- Виллар Луи Гектор, герцог де (1653—1734)—маршал Франции. *II*—356
- Вильгельм I Завоеватель (ок. 1027—1087)—английский король (1066—1087), основатель Нормандской династии в Англии. *I*—305
- Вильгельм II Руфус (1056—1100)—сын Вильгельма Завоевателя, английский король (1087—1100). *II*—312, 354
- Вильгельм III, принц Оранский (1650—1702)—английский король (1689—1702), занял престол по решению английского парламента в результате «славной революции». *I*—209—212, 214, 459; *II*—124, 215, 307, 325, 326, 328, 362
- Вильерс Барбара, герцогиня Кливлендская (1641—1709)—известная участница политических интриг английского двора. *II*—323
- Винсент де Бовэ—знаменитый писатель XIII столетия, воспитатель сыновей Людовика IX. *I*—174
- Вистон Вильям (1667—1702)—предшественник Ньютона на кафедре математики. *I*—216
- Витри Никола де Л'Опиталь, маркиз, затем герцог де (1582—1644), маршал Франции (1617). *I*—263; *II*—345
- Витри Франсуа Мари де Л'Опиталь, маркиз де (ум. 1679)—сын герцога Никола де Л'Опиталь. *I*—325
- Вольней Константен Франсуа де Шасбеф, граф де (1757—1820)—французский философ и литератор. *I*—353
- Вольтер Франсуа Мари Аруэ (1694—1778)—французский философ, писатель, историк, один из вождей французских просветителей. *I*—352, 356, 358—360, 390—402, 410, 411, 461; *II*—356, 357, 359, 362—365, 369, 370—373, 376, 377
- Ворчестер—английский изобретатель, предшественник Уатта. *II*—239
- Вульстон (Вулстон) Томас (1670—1733)—английский теолог, вольнодумец. *I*—352
- Вэльш Джон—пресвитерианский богослов (Шотландия, кон. XVI—нач. XVII в.), выступавший против Якова VI. *II*—109, 149, 150, 423, 424
- Гален Клавдий (ок. 129—ок. 201)—римский врач и естествоиспытатель, классик античной медицины. *II*—249, 379, 441, 445
- Галилей Галилео (1564—1642)—итальянский физик, механик и астроном. *II*—321, 436
- Галлам (Галлем) Генри (1777—1859)—английский историк. *II*—323, 342, 343, 351—354, 369, 382
- Галлей (Халли) Эдмунд (1656—1742)—английский астроном и геофизик. *II*—430
- Галль Франц Йозеф (1758—1828)—австрийский врач и анатом, создатель френологии. *II*—299
- Гальфрид Монмутский (ок. 1100—между 25 декабря 1154 или 24 декабря 1155)—автор книги «История бриттов», занимающей заметное место среди литературных памятников Средневековья как воплощение новой литературной традиции, ориентирующейся на античность. *I*—175, 176, 458; *II*—314
- Гамильтон Уильям—виднейший представитель шотландской школы «философии здравого смысла», сформировавшейся в полемике со скептицизмом Юма

- и отвергавшей субъективистскую философию Беркли. Основателем школы был Т. Рид. *I*—29; *II*—179, 216, 284, 298, 310
- Ганноверская династия—английская королевская династия в 1714—1901 гг. Представители: Георг I, Георг II, Георг III, Георг IV, Вильгельм IV, Виктория. *I*—223, 357; *II*—125, 126
- Гарвей Вильям (1578—1657)—английский естествоиспытатель и врач, основатель учения о кровообращении. *I*—287, 298, 341; *II*—179, 226, 251, 348
- Гаррингтон Джемс (1611—1677)—родоначальник английской публицистики, известен своим сочинением «Океания», посвященным Кромвелю (1659). *I*—193
- Гарт Сэмюэл (1661—1719)—английский поэт. *I*—352
- Гассенди Пьер (1592—1655)—французский философ, математик и астроном. *I*—340; *II*—292
- Гассион—протестант, военачальник Людовика XIII, в 1644 г. был возведен в звание маршала. *I*—268, 295
- Гаюй Рене Жюст (1743—1822)—французский кристаллограф и минералог, почетный член Петербургской АН (1806). *I*—353, 444, 445, 462
- Гельвеций Клод Адриан (1715—1771)—французский философ. *I*—352, 357, 358, 361, 421—424; *II*—299, 375
- Гемпден (Хэмпден) Джон (1594—1643)—английский политический деятель, один из лидеров парламентской оппозиции накануне Английской революции XVII в. *I*—322; *II*—367
- Генрих I (1068—1135)—сын Вильгельма I, английский король с 1100 г. *II*—313
- Генрих II Плантагенет (Генрих Анжуйский) (1133—1189)—король Англии в 1154—1189 гг. *II*—304, 352
- Генрих II (1519—1559)—французский король с 1547 г. *II*—373
- Генрих III (1207—1272)—английский король (1216—1272) из династии Плантагенетов. *II*—19, 352
- Генрих III (1551—1589)—французский король (1574—1589). *I*—255, 296, 377; *II*—344
- Генрих IV Бурбон (1553—1610)—французский король, убитый монахом Равальяком за веротерпимость в отношении гугенотов. *I*—255, 256, 259, 260, 267, 270, 275, 277, 278, 280, 284, 297, 378, 460; *II*—342, 344, 345, 357, 366
- Генрих IV (Энрике IV)—король Кастилии (1454—1474). *II*—386
- Генрих VII (1457—1509)—английский король (1485—1509), первый из династии Тюдоров. *I*—314
- Генрих VIII (Тюдор) (1491—1547)—король Англии с 1509 г. *I*—253, 314; *II*—93, 94, 97, 341, 342, 405, 406, 407
- Генсло Джон Стивенс (1796—1861)—английский ботаник. *II*—379, 380
- Гентер Джон (1728—1793)—английский патолог и физиолог. *I*—139; *II*—243, 251—262, 443—445, 509
- Георг I (1660—1727)—английский король (1714—1727), родоначальник Ганноверской династии. *I*—459; *II*—19, 307, 330, 332
- Георг II (1683—1760)—английский король, правивший в 1727—1760 гг. *I*—221, 223, 224, 235, 236, 459; *II*—19, 307, 330—332
- Георг III (1738—1820)—английский король (с 1760 г.). *I*—220, 221, 223—225, 228, 229, 234—236, 238, 245, 248, 459; *II*—19, 48, 331, 333, 335—338, 340
- Георг IV (1762—1830)—английский король (с 1820 г.). *II*—341
- Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803)—немецкий философ, критик, эстетик. *II*—288, 289, 302, 306

- Геродот (ок. 484—425 до н. э.)—древнегреческий историк. *I*—60, 61; *II*—288, 291, 295, 312
- Гершель Уильям (Фридрих Вильгельм) (1738—1822)—английский астроном, основоположник звездной астрономии, иностранный почетный член Петербургской АН (1789). *II*—297
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832)—немецкий писатель, мыслитель и естествоиспытатель, иностранный почетный член Петербургской АН. *I*—443
- Геттон (Хаттон) Джеймс (1726—1797)—шотландский геолог. *I*—139; *II*—232, 236—239, 329, 330, 508
- Гетчесон Фрэнсис (1694—1747)—шотландский философ. *I*—138; *II*—180, 186, 302, 426, 428, 431, 432, 507
- Гепестион—друг Александра Македонского. *II*—296
- Гиббон Эдвард (1737—1794)—английский историк. *I*—216; *II*—302, 319, 329, 332
- Гизо Франсуа Пьер Гийом (1784—1874)—французский политический деятель и историк. *I*—361; *II*—301, 310, 314, 353
- Гизы—старинный французский аристократический род, в период Религиозных войн во Франции (1562—1594) возглавил воинствующих католиков, стремившихся овладеть французским престолом и низложить династию Валуа.
- Гиз Анри де Лорен (1550—1588)—один из вождей католической партии и инициатор Варфоломеевской ночи; Гиз Франциск Лотарингский, герцог де (1519—1563)—смертельно ранен Польтро под Орлеаном. *I*—255; *II*—98
- Гоббс Томас (1588—1679)—английский философ. *I*—193, 204
- Гог Томас—известный шотландский пастор (XVII в.). *II*—150
- Голдсмит Оливер (1728—1774)—английский писатель-сентименталист, поэт и драматург. *II*—373
- Голланд (Холланд) Генри Ричард (1773—1840), лорд—английский политический деятель и литератор. *II*—340
- Голт Джон (1779—1839)—английский писатель. *I*—240
- Гольбах Поль Анри (1723—1789)—французский философ, иностранный почетный член Петербургской АН. *I*—353, 421, 422
- Гомбервилль—автор диссертации о происхождении французов (1620). *I*—379
- Гомер (IX—VIII вв. до н. э.)—древнегреческий поэт. *II*—283, 296, 303
- Гонгора-и-Арготе Луис де (1561—1627)—испанский поэт. *II*—24
- Гонорий I (384—423)—император Западной Римской империи с 395 г. Поддерживал церковь, боролся с язычниками и еретиками. Его резиденцией сначала был Милан, а с 404 г. Равенна. *I*—396
- Гораций Флакк Квинт (65—8 до н. э.)—римский поэт. *I*—110
- Грамон Антуан III, герцог де (1604—1678)—маршал Франции (1641), французский посол при испанском дворе. *II*—36, 323, 394
- Грасиан-и-Моралес Балтасар (1601—1658)—испанский прозаик и теоретик испанского барокко. *II*—24
- Грей Чарлз (1764—1845)—английский государственный деятель, виг, министр иностранных дел (1806—1807), премьер-министр (1830—1834). *II*—333, 339
- Грей Патрик—убийца Дугласа (1452). *II*—89, 405
- Грей—шотландский лорд (XVI в.). *II*—402
- Гренвилль Уильям Виндхем (1759—1834), барон—английский государственный деятель, виг, член палаты общин в 1782—1790 гг., министр внутренних дел в 1789—1790 гг., министр иностранных дел в 1791—1801 гг., премьер-министр в 1806—1807 гг. *II*—337

- Гримальди (итальянец по происхождению), маркиз — сначала испанский посол во Франции, затем фактический правитель Испании с 1763 по 1777 г. Был проводником французской политики в Испании. *II* — 43, 44, 396
- Гримм Фридрих Мельхиор, барон фон (1723—1807) — немецкий писатель и литературный критик. Большую часть жизни провел во Франции. *II* — 363—365
- Гроций Гуго (1583—1645) — голландский политический мыслитель, правовед, философ. *II* — 345, 346
- Грю Неемия (1641—1712) — английский ботаник, один из основоположников анатомии растений. *I* — 343
- Гук Роберт (1635—1703) — английский естествоиспытатель, разносторонний ученый и экспериментатор. *I* — 343, 427
- Гукер — автор книги «Церковное устройство» (XVI в.), ставшей одним из главных оплотов английской церкви. *I* — 185, 186, 188, 189, 257, 290, 298, 459; *II* — 317
- Гумбольдт Александр (1769—1859) — немецкий натуралист и путешественник. *I* — 69; *II* — 235, 291
- Гурне (Гурнэй) Жан Клод Мари Винсент де (1712—1759) — французский экономист, предшественник физиократов. *II* — 372
- Густав II Адольф (1594—1632) — король Швеции (1611—1632), видный полководец и реформатор, участник Тридцатилетней войны (1618—1648), погиб в сражении. *I* — 111, 216
- Гюйгенс Христиан (1629—1695) — голландский механик, физик и математик. *I* — 340, 427
- Давид — древнеизраильский царь (XI — нач. X в. до н. э.). *II* — 316, 388 — 391, 428
- Давид II (1325—1371) — король Шотландии с 1329 г. *II* — 76, 404
- Давила Энрико Катарина (1576—1631) — итальянский историк. *II* — 22, 23, 385, 387, 391
- Д'Аламбер Жан Лерон (1717—1783) — французский математик, философ-просветитель. *I* — 353, 358, 421; *II* — 332, 363, 381, 396
- Далибар — французский натуралист. *I* — 353, 426
- Дальтон Джон (1766—1844) — английский физик и химик. *I* — 433; *II* — 184
- Даниель — французский историк в царствование Людовика XIV. *I* — 383; *II* — 304
- Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский писатель. *II* — 292
- Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882) — английский естествоиспытатель, создатель учения о естественном отборе, иностранный почетный член Петербургской АН (1867). *II* — 290
- Де Гране — австрийский посол в Мадриде. В 1682 г. Карл II вверил ему оборону испанских Нидерландов. *II* — 33
- Деагюлье — писатель, один из первых популяризаторов физических истин. *II* — 330
- Дезо — знаменитый французский хирург (XVIII в.). *II* — 360
- Декарт Рене (1596—1650) — французский философ и естествоиспытатель. *I* — 110, 286—294, 297, 298, 339, 340, 352, 354, 432, 439, 452, 460; *II* — 292, 315, 348, 349, 350, 359, 363, 376, 381, 388, 389
- Делиль Жак, аббат (1738—1813) — французский поэт, переводчик Вергилия и Мильтона или Делиль Жозеф Никола (1688—1768) — французский астроном. *I* — 352

- Демарэ (Демаре) Никола (1725—1815)—французский геолог, составил первую геологическую карту области древних вулканов Центральной Франции. *I*—430
- Демосфен (ок. 384—322 до н. э.)—афинский оратор. *I*—110
- Демулен Камиль (1760—1794)—журналист, деятель Великой французской революции XVIII в. *I*—355
- Депрео, см. Буало
- Де Ту Жан Огюст (1553—1617)—видный политический деятель Франции, богослов и юрист, автор «Истории своего времени»—крупнейшего произведения историографии конца XVI—начала XVII в. *I*—360, 378; *II*—342, 344, 346, 364, 367
- Дефо Даниель (ок. 1600—1673)—английский писатель и политический деятель. *II*—134, 320, 324, 325, 357
- Джексон—первый архиепископ Кентерберийский, назначенный Карлом II. *I*—204
- Джефферсон Томас (1743—1826)—американский просветитель, третий президент США. *II*—336, 337, 381
- Джеффрейс (Джеффрей) Джордж, лорд (1640—1689)—английский политический деятель эпохи реставрации Стюартов, прославившийся своей жестокостью. *I*—207
- Джонсон Бенджамин (Бен Джонсон) (1573—1637)—английский драматург, современник Шекспира. *I*—298
- Джонсон Сэмюэл (1709—1784)—английский писатель и критик, издатель Шекспира, составитель известного словаря английского языка. *II*—281
- Джоселин (Джосляйн) Бракелондский (Брэклондский) (кон. XII—нач. XIII в.)—монах монастыря Сент-Эдмунсбери, хронист. *II*—310
- Джуель—автор сочинения «Защита английской церкви». *I*—185, 189, 459; *II*—315, 317
- Дидро Дени (1713—1784)—французский философ-просветитель, писатель, критик. *I*—352, 358, 362, 363, 421; *II*—364
- Диодор Сицилийский (I в. до н. э.)—древнегреческий историк. *I*—60, 61; *II*—284, 287
- Диоскорид Педаний (I в.)—древнеримский врач (по национальности грек) и ботаник. *II*—379
- Добантон Луи Жан Мари (1716—1800)—французский натуралист. *I*—431
- Д'Обинье (Добинье) Теодор Агриппа (1552—1630)—французский поэт и историк, гугенот. *II*—366
- Дольбен—архиепископ Йоркский во время правления Карла II. *I*—205
- Дорсет Эдуард Сэквил, лорд (1591—1652)—английский писатель. *I*—130
- Драйден Джон (1631—1700)—английский поэт, драматург и критик периода реставрации Стюартов. *II*—306, 307
- Дугласы—старинный могущественный шотландский род. Имеет две ветви: так называемые Черные Дугласы—потомки графа Джеймса Дугласа (1286—1330) и Рыжие Дугласы—потомки младшего брата Джеймса Арчибальда Дугласа (ум. 1333). Черные носили титул графов Дугласов, рыжие—графов Ангюсов. *II*—88—92, 94, 96, 404—407; 416
- Дэви (Дейви) Гемфри (Хамфри) (1778—1829)—английский физик и химик, иностранный почетный член Петербургской АН (1826). *I*—433
- Дюверне—французский анатом времен Людовика XIV. *II*—360

- Дюверне — автор «Истории Сорбонны» (XVIII в.), произведения, за которое он был заключен в Бастилию. II — 362, 364
- Дю Гальян — автор работы «История королей Франции» (1576). I — 376, 377
- Дюдефан Мари, маркиза (1697—1780) — хозяйка известного салона и незаурядная писательница-эпистограф. I — 423
- Дюкло Шарль Пино (1704—1772) — французский писатель и моралист. I — 358, 361, 461; II — 349
- Дюмурье Шарль Франсуа (1739—1823) — французский генерал, под командованием которого войска революционной Франции одержали победу над интервентами при Вальми и Жемапе (1792). В дальнейшем перебежал к австрийцам. I — 355
- Дюплесси-Морне Филипп (1549—1623) — гугенот, участник Религиозных войн во Франции, публицист, выступавший под псевдонимом Юний Брут. II — 301, 346, 347
- Елизавета I Тюдор (1533—1603) — английская королева с 1558 г., дочь Генриха VIII и Анны Болейн. I — 184, 192, 314, 316—319; II — 99, 100, 108, 304, 315, 319, 328, 354, 355, 411, 412
- Жанлис (урожд. Дюкре де Сент-Обен) Стефани Фелисите, графиня де (1746—1830) — французская писательница, автор нравоучительных и сентиментальных романов. II — 343, 365
- Жирарден Сесиль, Станислас Хавьер Луи, граф де (1762—1827) — французский генерал. II — 373
- Жоффруа Сент-Илер Этьен (1772—1844) — знаменитый французский эволюционист. II — 294, 376, 379
- Жуанвиль (Зуанвиль) Жан (1224—1319) — французский историк, участник седьмого крестового похода. I — 313
- Жюсье — французские ботаники, дядя и племянник: Бернар (1669—1777) и Антуан Лоран (1748—1836). I — 352, 443; II — 380
- Зороастр — греческая форма имени мифического пророка Заратуштры, которому предание приписывает создание религии и законов древних народов Средней Азии и Персии. II — 376
- Ибн Баттута (1304—1377) — арабский путешественник. II — 288
- Изабелла Католичка (1451—1504) — королева Кастилии, при ней завершилось объединение Испании благодаря браку с Фердинандом II Арагонским. При Изабелле в Испании была введена инквизиция. II — 11, 19, 384
- Иоанн (Джон) Безземельный (1167—1216) — английский король из династии Плантагенетов (с 1199 г.). При нем была написана Великая хартия вольностей, положившая начало конституционным ограничениям короля. I — 305
- Иоанн IV — король Шотландии. II — 409
- Йорки — знатный английский род, королевская династия в Англии (1461—1485); титул «герцог Йоркский» обычно присваивался вторым сыновьям английских королей. II — 356
- Кабанис Пьер Жан Жорж (1757—1808) — французский врач, философ и общественный деятель. I — 353, 439; II — 286

- Кабаррюс Франсуа (1752—1810)—экономист и либеральный политик, по происхождению француз, натурализовавшийся в Испании. *II*—43, 55, 395
- Кавендиш Генри (1731—1810)—английский физик и химик. *II*—239, 240, 440, 509
- Калонн Шарль Александр де (1734—1802)—французский политический деятель, в 1783—1787 гг.—генеральный контролер (министр) финансов. *I*—352
- Кальвин Жан (1509—1564)—один из крупнейших деятелей Реформации, основатель новой разновидности протестантизма—кальвинизма. *I*—28, 415; *II*—281, 374
- Кальдервуд—автор сочинения «История шотландской церкви». *II*—409, 411, 414
- Кальдерон де ла Барка Педро (1600—1681)—испанский драматург. *II*—18, 24, 386
- Камерн Ричард (1648—1680)—шотландский проповедник, основатель пресвитерианской секты, непримиримой по отношению к англиканской церкви и отрицавшей авторитет короля в вопросах веры. Камерн требовал демократизации церкви, чем навлекал на себя преследования правительства. Погиб во время восстания пуритан против роялистов. *II*—424
- Кампистрон Жан Жальер (1656—1723)—французский драматург. *I*—349
- Кампоманес Педро Родригес (1723—1803), граф—испанский историк, юрист, в 1763—1788 гг. один из проводников политики просвещенного абсолютизма. *II*—39, 391
- Каналес—военный министр Испании (XVIII в.). *II*—34
- Кандале Луи Шарль Гастон де Ногаре, маркиз де Лавалет, герцог де (1627—1658)—участник Фронды. *I*—325
- Кант Иммануил (1724—1804)—немецкий философ. *I*—457; *II*—176, 179, 282, 296, 298, 301, 346
- Кант Эндрю—знаменитый шотландский проповедник (XVII в.). *II*—419
- Капфиг Батист Оноре Ремонд (1802—1872)—французский историк, литератор. *II*—350, 357
- Карильо Мартин—юрисконсульт и историк, каноник Сарагосы. *II*—23
- Карл Великий (742—814)—король франков (с 768), император (с 800). *I*—174, 175; *II*—313, 373
- Карл Лысый (823—877)—франкский король (с 840) и император Священной Римской империи (с 875). *II*—352
- Карл I Стюарт (1600—1649)—английский король (1625—1649), казненный по приговору революционного трибунала. *I*—192, 193, 221, 244, 321, 323, 415, 460; *II*—69, 104, 117, 119, 120, 144, 145, 175, 304, 315, 338, 412, 414, 420, 504—506
- Карл II Стюарт (1630—1685)—английский король (1660—1685). *I*—130, 196, 197, 200—206, 299, 343, 344; *II*—124, 125, 144, 175, 305, 320, 322, 323, 325, 341, 387, 414, 427, 505
- Карл II (1661—1700)—испанский король (1665—1700). *II*—19, 30, 32, 33, 58, 387
- Карл III (1716—1788)—испанский король с 1759 г., представитель просвещенного абсолютизма. *I*—360; *II*—42, 43, 46—53, 55, 59, 60, 395, 399, 502
- Карл V (1550—1558)—император Священной Римской империи и испанский король Карл I. *I*—11, 12, 19, 51, 302, 382, 384, 387, 388, 393, 502
- Карл IX (1550—1574)—французский король (1560—1574). *I*—255, 264; *II*—342

- Карл XII (1682—1718)—шведский король (1697—1718). *I*—359, 391, 392, 461; *II*—369
- Карл Эдуард (1720—1788)—внук короля Якова II Стюарта и старший сын нецарствовавшего Якова III. В 1745 г. возглавил самое крупное якобитское восстание в Шотландии с целью восстановления династии Стюартов. *II*—333
- Кассини Джованни Доменико (1625—1712)—итальянский астроном, основатель Парижской обсерватории. *I*—340
- Каус—изобретатель, один из предшественников Джеймса Уатта. *II*—239
- Кедворт Ралф (1617—1688)—английский религиозный философ, представитель кембриджских платоников. Его философское сочинение—«Истинная духовная система мира». *II*—209, 210, 507
- Келлен—английский ученый, физиолог и патолог. *I*—139; *II*—243—251, 253, 260, 441, 442, 509
- Кеннеди—епископ Сент-Эндрюсский (ум. 1466). *II*—89, 90, 405
- Кеннет Мак-Альпин—царь скоттов в IX в. *II*—72
- Кенэ Франсуа (1694—1774)—французский экономист, основоположник школы физиократов. *II*—370, 372
- Кеплер Иоганн (1571—1630)—немецкий астроном, открывший законы движения планет вокруг Солнца. *I*—25, 132; *II*—321, 436
- Кетле Ламбер Адольф Жак (1796—1874)—бельгийский ученый, социолог-позитивист, один из создателей научной статистики, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1847). *I*—33; *II*—283
- Кино Филипп (1635—1688)—французский поэт и драматург, автор либретто к операм Люлли. *I*—348
- Кларендон Эдвард Гайд (1609—1674), граф—английский политический деятель в период Английской революции XVII в., один из вождей роялистской партии, а после реставрации Стюартов—великий канцлер. В конце жизни был изгнан из Англии. Автор большой исторической работы «История мятежа и гражданской войны в Англии». *I*—200; *II*—16, 145, 350, 355, 418, 421, 427
- Клеман Жак (1567—1589)—монах, приверженец Гизов, убийца Генриха III. *I*—255
- Клерк Адам—ученый с европейской известностью, диссентер английской церкви (XVIII в.). *I*—215, 216
- Климент VIII—римский папа с 1592 по 1605 г. *II*—342
- Климент IX—римский папа (1667—1669). *I*—361
- Коббет Уильям (1762—1835)—английский публицист и историк. *II*—371
- Койе—автор сочинения «Жизнь Собесского», переводчик на французский язык «Комментариев» английского юриста Блэкстона. *I*—353
- Коллинз Энтони (1676—1729)—английский философ. *I*—352
- Колридж Сэмюэл Тэйлор (1772—1834)—английский поэт, критик, философ. *I*—251; *II*—176, 306, 308, 323, 331
- Кольбер (Кольберт) Жан Батист (1619—1683)—французский государственный деятель. *II*—359
- Коммин Филипп де (1447—1511)—французский хронист и политический деятель. *I*—177, 178; *II*—314
- Коммод (161—192)—римский император со 176 г. *II*—302
- Кондамин Шарль Мари (1701—1774)—французский геодезист, иностранный почетный член Петербургской АН (1754). *I*—352

- Конде Анри II де Бурбон (1588—1646), принц. II—357
- Конде Луи I Бурбон (1530—1569), принц, в Религиозных войнах во Франции командовал армией гугенотов. I—325
- Конде Луи II Бурбон (Великий Конде) (1621—1686), принц—известный французский полководец и меценат. I—278, 325, 341; II—357
- Кондильяк Этьен Бонно де (1715—1780)—французский философ. I—352, 424—426; II—297, 363
- Кондорсе Мари Жан Антуан Никола де Карита, маркиз де (1743—1794)—французский философ. I—231, 232, 355, 421; II—301, 336
- Констан де Ребек Бенжамен (1767—1830)—французский писатель и политический деятель. I—395, 461; II—370
- Конт Огюст (1798—1857)—французский философ и социолог, один из основоположников позитивизма. II—281, 297, 299, 302, 308, 321, 349, 366, 368
- Конт Шарль (1782—1832)—французский публицист и ученый. II—328, 346, 365, 381
- Контарини Гаспаро (1483—1542)—кардинал. II—385
- Конти Арман де Бурбон, принц де (1629—1666)—один из вожакв Фронды. I—325
- Коперник Николай (1473—1543)—польский ученый, астроном. II—321
- Корнель Пьер (1606—1684)—французский поэт, драматург. I—248, 349
- Коссэн—духовник Людовика XIII. I—262
- Кост—французский ученый, физиолог. II—254
- Коулей (Коули) Абрагам (1618—1667)—поэт и эссеист. II—430
- Кранмер Томас (1489—1556)—деятель английской Реформации, с 1532 г. архиепископ Кентерберийский, доктор богословия. При Марии Тюдор сожжен как еретик. I—281
- Кромвель Оливер (1599—1658)—деятель Английской революции XVII в., лорд-протектор Англии (1653—1658). I—111, 193, 295, 323, 332; II—144, 319, 355, 356, 418, 419
- Ксенофонт (430—355 до н. э.)—древнегреческий историк. I—110
- Кузен Виктор (1792—1867)—французский философ, основатель так называемого эклектического направления. I—29, 424; II—182, 216, 281, 296, 297, 299, 311, 348, 349, 363
- Кулон Шарль Огюстен (1736—1806)—французский инженер и физик, один из основателей электростатики. I—427
- Кумберленд—епископ Питерборо. I—216; II—329
- Кумберленд, граф—защитник интересов Марии Стюарт. I—318
- Курейе (Курэйе) (1681—1776)—каноник и библиотекарь церкви св. Женевьевы в Париже, автор изданной в 1723 г. в Брюсселе книги «Рассуждение о достоинстве установлений англичан и о преемственности епископов англиканской церкви». I—361
- Кэмпбелл, лорд—английский политический деятель. II—323, 331, 333, 338, 352, 371
- Кювье Жорж (1769—1832)—французский естествоиспытатель. I—430, 431, 433—436, 439, 462; II—292, 301, 309, 360, 361, 376, 377, 379, 380
- Кюстин Адольф де (1790—1857)—французский литератор, автор «Воспоминаний и путевых заметок во время путешествия по Швейцарии, Калабрии, Англии и Шотландии», а также известной книги «Россия в 1839 году». II—303, 353

- Лабрюйер Жан де (1645—1696) — французский писатель-моралист. *I* — 349
- Ла Буле (Лабуле) Максимилиан Эшляр, маркиз де (1612—1668) — приближенный герцога де Бофора. *I* — 325
- Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794) — французский химик. *I* — 50, 196, 429; *II* — 360, 376, 380
- Лагарп Жан Франсуа (1739—1803) — французский писатель и литературный критик. *I* — 358, 361
- Лайель (Ляйель) Чарлз (1797—1875) — английский естествоиспытатель и геолог, создавший теорию эволюционного развития Земли, друг Дарвина. *I* — 75; *II* — 234, 290, 329, 376, 440
- Лаланд Жозеф (1732—1807) — французский астроном, математик, философ. *I* — 352, 353, 421, 447
- Ламарк Жан Батист (1744—1829) — французский естествоиспытатель, создатель первой эволюционной теории. *II* — 377
- Ламартин Альфонс де (1790—1869) — французский поэт-романтик, историк и политический деятель. *II* — 320, 336, 363
- Ламбер (Ламберт) Иоганн Генрих (1728—1777) — немецкий ученый, один из создателей фотометрии. *II* — 219
- Ламенне Фелисите Робер де (1782—1854) — французский философ и теолог. *II* — 321
- Ламот Левайе Франсуа де (1588—1672) — французский литератор и философ, известный вольнодумец. *I* — 349
- Лаплас Пьер Симон (1749—1827) — математик и астроном, автор гипотезы о происхождении Вселенной. *I* — 421; *II* — 310
- Ла Поплиньер — французский историк, автор работ «История историй» (1599), «Очерк новой истории французов». *I* — 379
- Ларошфуко Франсуа, герцог де (1613—1680) — писатель-моралист, автор книги «Максимы и Моральные размышления». *I* — 349; *II* — 356
- Ла Тремуй (Латремуль) Анри, герцог де, принц Тальмонтский и Тарентский (1599—1674) — гугенот, принявший католичество. *I* — 271
- Лафайет Мари Жозеф, маркиз де (1757—1834) — французский политический и военный деятель, участник Войны за независимость США. *I* — 231, 232, 352; *II* — 336
- Лафонтен Жан де (1621—1695) — французский поэт, баснописец, автор вольнодумных сказок. *I* — 349
- Ла Форс (Лафорс) Жак де Номпар де Комон, герцог де (1558—1652) — сподвижник Генриха IV, маршал (1622), возглавил восстание гугенотов при Людовике XIII. *I* — 268; *II* — 350
- Лебрен Шарль (1619—1690) — французский живописец, декоратор и рисовальщик. *I* — 348
- Ле Бретон (Лебретон) Андре Франсуа (1708—1779) — французский издатель «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера. *I* — 354
- Лев VIII — папа римский (963—965). *I* — 173
- Лев X (Джованни де Медичи) (1475—1521) — папа римский (1513—1521). *I* — 347
- Левенгук Антони ван (1632—1723) — голландский естествоиспытатель, изобретатель микроскопа, основоположник микробиологии. *II* — 378
- Лег Жоффруа, маркиз де (1604—1674) — офицер армии принца де Конде. *I* — 325

- Ледигьер, герцог — протестантский полководец (время Людовика XIII), перешедший в католичество, коннетабль Франции. *I*— 271
- Лезюэр (Лезюир) (ум. 1655)— французский живописец. *I*— 348, 352
- Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716)— немецкий философ и ученый-энциклопедист. *I*— 132; *II*— 348, 372, 375, 376
- Лекамя Антуан (1722—1772)— французский врач, автор сочинения об искусстве сохранять красоту. *II*— 255, 443, 509
- Лемоннье Анисе Шарль Габриель (1743—1824)— французский художник. *I*— 352
- Ленге Симон Никола Андре (1736—1794)— французский адвокат, публицист, литератор. *I*— 361
- Лерма (Гомес де Сандоваль-и-Рохас Франсиско), герцог де (1552—1623)— кардинал, первый министр испанского короля Филиппа III (1598—1618). *II*— 22
- Лесли Норман (ум. 1554)— видный деятель шотландской Реформации. Возглавил заговор против кардинала Битона и руководил его убийством. *II*— 97, 402
- Либих Юстус (1803—1873)— немецкий химик, один из основоположников агрохимии. *I*— 50; *II*— 286, 440
- Ливий Тит (59 до н. э.— 17 н. э.)— римский историк. *I*— 401; *II*— 371
- Ливингстон Роберт (1746—1813)— представитель влиятельного нью-йоркского семейства Ливингстонов, член Континентального конгресса, член комитета по составлению Декларации независимости США. *II*— 337
- Ливингстон — шотландский проповедник. *II*— 415, 421
- Лилло Джордж (1693—1739)— английский драматург. *I*— 352
- Линней Карл (1707—1778)— шведский естествоиспытатель, создатель первой научной классификации растений и животных. *I*— 344; *II*— 39, 377, 379
- Лод Уильям (1573—1645)— один из ближайших советников английского короля Карла I, архиепископ Кентерберийский с 1633 г. Во время Английской революции XVII в. казнен. *I*— 187, 188; *II*— 310
- Локк Джон (1632—1704)— английский врач и философ. *I*— 29, 189, 193, 352, 353, 359, 392, 397, 425, 432; *II*— 212, 213, 297, 305, 310, 321, 346, 362, 363, 375, 438
- Ломени де Бриенн Этьен Шарль де (1727—1794)— французский политический деятель, в 1787—1788 гг.— генеральный контролер финансов. В 1793 г. был арестован революционными властями и весной следующего года умер в тюрьме. *I*— 413
- Лонгвиль Анри II Орлеанский, герцог де (1595—1663)— губернатор Нормандии, один из вождей Фронды. *I*— 325
- Лопе де Вега (полное имя и фамилия Лопе Феликс де Вега Карпьо) (1562—1635)— испанский драматург. *II*— 18, 23, 386, 391
- Л'Опиталь Мишель — французский государственный деятель, канцлер в период Религиозных войн, стремившийся примирить католиков с гугенотами. *I*— 254
- Лоррен Клод (1600—1682)— французский живописец. *I*— 348
- Луиза Портсмутская и Обиньи (Луиза Рене де Каруайль) (1649—1734)— представительница знатного бретонского рода, фаворитка Карла II. После его смерти вернулась во Францию. *II*— 323
- Людовик IX (1215—1270)— французский король с 1226 г., католическая церковь объявила его Святым. *I*— 305; *II*— 301
- Людовик XI (1423—1483)— французский король (1461—1483). *I*— 361

- Людовик XIII (1601—1643)—король Франции с 1610 г., сын Генриха IV и Марии Медичи. *I*—260—262, 264, 268, 270, 276, 277, 280, 284, 286, 294, 295, 297, 327; *II*—344, 345, 347, 350
- Людовик XIV (1638—1715)—французский король (1643—1715). *I*—250, 275, 285, 288, 293—295, 299, 300, 308, 333—335, 338—345, 347—352, 354, 356—358, 366, 368, 369, 372, 381—385, 388—390, 392—394, 407, 417, 449, 452, 459, 461; *II*—32—34, 175, 307, 320, 340, 344, 350, 351, 357—360, 362, 363, 365, 367, 374, 394
- Людовик XV (1710—1774)—французский король (1723—1774). *I*—360, 372, 411, 449, 461; *II*—361, 365, 373, 381, 396
- Людовик XVI (1754—1793)—французский король в 1774—1793 гг. *I*—321; *II*—320, 336, 354
- Люин Шарль д'Альбер, герцог де (1578—1621)—наставник и советник Людовика XIII. *I*—325
- Люли Жан Батист (1632—1687)—французский композитор, основоположник классической оперы во Франции. *I*—348
- Лютер Мартин (1483—1546)—зачинатель Реформации, основатель лютеранства—первой и главной разновидности протестантизма. *I*—288; *II*—309, 322, 348, 349, 371, 372
- Мабли Габриель Бонно де (1709—1785)—французский политический мыслитель, историк, брат известного философа-просветителя Э. Кондильяка. *I*—357, 361, 394; *II*—342, 352, 356
- Магомет (Мухаммед) (570—632)—основатель ислама, одной из главных мировых религий. *I*—172, 388; *II*—312, 314, 368, 391
- Мазарини Джулио (1602—1661)—французский государственный деятель, кардинал, первый министр при Людовике XIV. *I*—295, 296, 328, 339, 340, 460, 461; *II*—350, 351
- Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527)—итальянский политический мыслитель и дипломат. *I*—177
- Макинтош Джемс, сэр—шотландский юрист. *I*—139; *II*—301, 318
- Мак-Кулох Джон Рамсей (1789—1864)—английский экономист. *II*—288, 305, 306, 382
- Маклорен Колин (1698—1746)—шотландский математик. *II*—430
- Маколей Томас Бабингтон (1800—1859)—английский историк и политический деятель, идеолог либерализма. *II*—323, 326, 327, 402
- Максвел, лорд—один из самых влиятельных членов дворянской партии, принявший принципы Реформации в Шотландии (XVI в.). *II*—96
- Макферсон Дэвид (1746—1816)—шотландский историк (книги по исторической географии Шотландии). *II*—417
- Мальборо Джон Черчилль, герцог (1650—1722)—английский полководец и политический деятель, прославившийся в Войне за испанское наследство (1701—1714). *I*—111
- Мальмсбёрри Уильям (Вильям Мальмсбёрийский) (1090—1143)—бенедиктинский монах, плодовитый писатель, автор книг «Деяния английских королей» (1125), «О древности Пластонской обители» и ряда других. *II*—313
- Мальтус Томас Роберт (1766—1834)—английский экономист и священник. *I*—396, 461; *II*—200, 205, 370, 435

- Малюс Этьенн Луи (1775—1812)—французский физик. *I*—427
- Мандевилль Бернард (1670—1733)—английский писатель. *I*—352, 353
- Мансар Франсуа (1598—1666)—французский архитектор. *I*—348
- Ману—мифический прародитель людей, которому приписываются предписания о правилах поведения индийца в частной и общественной жизни в соответствии с религиозными догматами брахманизма, а также наставления об управлении государством и по судопроизводству («Законы Ману»). *I*—54, 55, 81; *II*—301
- Марат Жан Поль (1743—1793)—деятель Великой французской революции XVIII в. *I*—355
- Марешаль Пьер Сильвен (1750—1803)—французский писатель. *I*—421
- Мариана Хуан (1536—1624)—испанский историк, автор сочинения «Всеобщая история Испании» («Historia General de España»). *II*—23, 384
- Мариотт Эдм (1620—1684)—французский физик. *II*—321
- Мария де Гиз Лотарингская (1515—1560)—француженка по происхождению, супруга Якова V (1512—1542), мать Марии Стюарт. *II*—93, 98
- Мария I Стюарт (1542—1587)—шотландская королева в 1542 (фактически с 1561 г.)—1567 гг. *I*—318; *II*—69, 95, 108, 342, 409
- Мария II Стюарт (1662—1694)—дочь Якова II, жена Вильгельма III (Оранского), английская королева (1680—1694). *I*—210; *II*—362
- Мария Тюдор (1516—1558)—дочь Генриха VIII, английская королева с 1553 г. *I*—253
- Марк Аврелий Антонин (121—180)—семнадцатый римский император со 161 г., философ-стоик. *I*—103, 361; *II*—301, 302
- Мармонтель Жан Франсуа (1723—1799)—французский просветитель, редактор отдела литературы в «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера. *I*—358, 362; *II*—364
- Марси Франсуа Мари де (1714—1763)—французский литератор. *I*—354, 361
- Марсильяк (Марсийак), принц де (1613—1680)—Ларошфуко Франсуа VI, герцог де до 1650 г., автор «Максим» и «Мемуаров». *I*—325
- Мартин Турский—христианский проповедник IV в., епископ Тура и патрон Франции. *I*—388; *II*—368, 369
- Маскарон (ум. 1703)—французский духовный писатель. *I*—348, 369
- Массийон (Массильон) Жан Батист (1663—1742)—французский религиозный деятель и проповедник. *I*—348, 419; *II*—366
- Матвей Вестминстерский—историк XIV в. *I*—172, 173
- Матвей Парис (Матьё Пари) (XIII в.)—французский историк, автор ряда исторических хроник. *I*—172
- Медичи—итальянский род, занимавший главенствующее положение во Флоренции в XV—XVI вв. К этому роду принадлежали: Екатерина Медичи (1519—1589)—дочь короля Генриха II (во время юности Карла IX была регентшей и приняла участие в организации Варфоломеевской ночи). *II*—342; Мария Медичи (1573—1642)—королева Франции, жена Генриха IV (1600), регентша (1610—1614). *I*—260, 261
- Мелисс Самосский (ок. 444 до н. э.)—древнегреческий философ и военачальник. *I*—110
- Мельвиль Джеймс—племянник Эндрю Мельвиля. *II*—409, 410, 412
- Мельвиль Эндрю—вождь шотландской церкви после смерти Нокса (XVI в.). *II*—104, 105, 107—109, 114—116, 412, 504, 505

- Ментенон Франсуаза д'Обинье, маркиза (1635—1719)—внучка французского писателя Агриппы д'Обинье, жена писателя Поля Скаррона (1610—1660), возлюбленная, а затем морганатическая супруга Людовика XIV. *II*—361, 362, 367
- Мерсенн Марен (1588—1648)—французский религиозный деятель и ученый. *I*—339; *II*—348, 349
- Мерсье Луи Себастьян (1740—1814)—французский писатель-просветитель. *I*—354, 358; *II*—353
- Мессинджер (Массинджер) Филипп (1583—1640)—английский драматург. *I*—298
- Местр Жозеф Мари де, граф (1753—1821)—французский публицист, религиозный философ и государственный деятель. *II*—378
- Милль Джеймс (1773—1806)—английский философ, историк и экономист. *I*—29; *II*—301
- Милль Джон Стюарт (1806—1873)—английский философ, экономист и общественный деятель. *I*—139; *II*—283, 284, 296, 297, 298, 306, 308
- Мильтон Джон (1608—1674)—английский поэт, публицист и политический деятель. *I*—193, 355; *II*—363, 371, 430
- Минье Огюст (1796—1884)—французский историк либерального направления. *II*—393
- Миньяр Никола (1606—1668) и Миньяр-младший (ум. 1695)—французские художники. *I*—348
- Мирабо Виктор Рикети, маркиз де (1715—1789)—французский экономист, получивший прозвище Друг людей по опубликованному им в 1756 г. сочинению «Друг людей, или Трактат о народонаселении». *II*—373
- Мирабо Оноре Габриель Рикети, граф (1749—1791)—деятель Великой французской революции XVIII в., знаменитый памфлетист, оратор. *I*—352, 355, 421
- Мишле Жюль (1798—1874)—французский историк и писатель. *II*—313, 351
- Молина Луис (1535—1601)—испанский теолог. Его последователи, молинисты, были постоянными оппонентами янсенистов. *I*—415
- Мольер Жан Батист (1622—1673)—французский комедиограф, актер, реформатор сценического искусства. *I*—298, 334, 349
- Монгольфье Жозеф (1740—1810) и Жак Этьен (1745—1799)—французские воздухоплаватели. *I*—352
- Монк Джордж (1608—1670)—генерал республиканской армии, содействовал реставрации Стюартов на английском троне. *II*—144, 418
- Монтальван (род. 1602)—испанский поэт и драматург. *II*—23, 386
- Монтегю Мэри Уортли (1689—1762)—английская писательница, жена английского посла в Константинополе, автор известных «Писем с Востока», в которых увлекательно описала впечатление о жизни в Вене и Турции. *II*—362
- Монтейль Алексис (1769—1850)—французский историк, автор многих исторических трудов, наиболее известный из них—«История сословий во Франции» (1827). *II*—342, 344, 367
- Монтень Мишель Эйкем де (1533—1592)—французский философ и писатель. *I*—257, 258, 290, 293, 297, 378, 460; *II*—343, 349
- Монтескье Шарль Луи де Секонда, барон де Ла Бред (1689—1755)—французский историк-просветитель. *I*—352, 356, 358, 394, 401—406; *II*—305, 376, 377
- Монтозье Шарль де Сент-Мор, маркиз, затем герцог де (1616—1690)—участник Фронды. *I*—271

- Монтрезор Клод де Бурдей, граф де (ок. 1608—1663)—один из вождей Фронды. *I*—325
- Монтюкля—французский математик, автор книги «История математики». *I*—353; *II*—309, 311, 348
- Мопертюи Пьер Луи Моро де (1698—1759)—французский математик, астроном, ученый-энциклопедист, иностранный почетный член Петербургской АН (1838). *I*—352; *II*—359
- Морелле Андре де, аббат (1727—1819)—французский публицист, просветитель. *I*—352, 353, 358, 362, 363; *II*—374
- Морето-и-Каванья Августин (1618—1669)—испанский драматург, итальянец по происхождению. *II*—23
- Мориц. Саксонский (1696—1750)—курфюрст Саксонии (1694—1733), маршал Франции, автор ряда военно-теоретических сочинений, прадед Жорж Санд. *I*—364
- Моттвилль Франсуаза Берто де (ок. 1621—1689)—наперсница Анны Австрийской (матери Людовика XIV), автор «Мемуаров». *I*—329; *II*—347, 356, 365, 366
- Мунье Жан Жозеф (1758—1806)—деятель Великой французской революции XVIII в. *I*—355
- Мэзере (Мезре) Франсуа (1610—1683)—французский историк. *I*—379, 380—382, 384, 461; *II*—367
- Мэскуа (Амэскуа) Мира де (1574—1644)—испанский драматург. *II*—23
- Наполеон I Бонапарт (1769—1821)—император Франции, полководец. *I*—111, 124, 261, 308, 439; *II*—354, 359, 361, 372, 373
- Неккер Жак (1732—1804)—французский государственный деятель и финансист. *I*—410, 412, 417; *II*—373
- Немурский Шарль Амедей Савойский, герцог де (1624—1652)—один из вождей Фронды. *I*—325, 329; *II*—357
- Непер (Нейпир) Джон (1550—1617)—шотландский математик, изобретатель логарифмов. *II*—136, 176
- Нерон Люций Домиций (37—68)—римский император (54—68). *I*—171
- Нибур Бартольд Георг (1776—1831)—немецкий историк античности. *I*—400, 461
- Ноаль (Ноай), герцог де—командующий французскими войсками, в 1689 г. потерпевшими поражение в Каталонии от испанской народной милиции и регулярных войск. *II*—34
- Нокс Джон (ок. 1505—1572)—шотландский церковный реформатор, основатель пресвитерианской церкви в Шотландии, был близок к Кальвину. *II*—97—99, 101, 103—105, 408, 504
- Нолле (Ноле) Жан Антуан де (1700—1770)—французский физик. *I*—352, 447
- Норт, граф Гильфорд, лорд (1732—1793)—премьер-министр Англии в 1770—1782 гг. *II*—331, 337
- Нортумберленд, герцог (1502—1553) (Джон Дадли)—отец Лестера, мужа Марии Стюарт. *I*—318
- Норфолк Томас Говард (1536—1572), герцог—английский государственный деятель. *I*—318; *II*—100
- Нуармутье Луи II де ла Тремуй, маркиз, затем герцог де (1612—1666)—участник Тридцатилетней войны (1618—1648). *I*—325

- Нума Помпилий—согласно римской традиции, второй царь Древнего Рима (715—762 до н. э.). *I*—399; *II*—385
- Ньюкасл, герцог (1592—1656)—роялист, участник Гражданской войны. *II*—146, 420
- Ньюкомен Томас (1663—1729)—английский изобретатель, один из создателей парового двигателя. *II*—239
- Ньютон Исаак (1643—1727)—английский математик, астроном, физик, создатель классической механики. *I*—25, 193, 195, 340, 427, 432; *II*—37, 38, 179, 218, 226, 227, 261, 292, 321, 348, 359, 363, 388, 389, 430
- Нэжон—издатель сочинений Дидро. *I*—421
- Обинье Теодор Агриппа д' (1552—1630)—французский поэт, историк и политический деятель, один из ближайших соратников Генриха IV в его войнах с католиками. *II*—366
- Окенкур Шарль де Монши, маркиз д' (1599—1658)—маршал Франции (1651), после окончания Фронды примкнул к принцу де Конде. *I*—325
- Онуа Мари Катрин Ле Жюмель де Барневилль, баронесса д' (ок. 1650—1705)—писательница. *II*—386
- Оранские—старинная дворянская фамилия, представители которой играли большую роль в истории Нидерландов. С 1689 г. правитель Нидерландов Вильгельм III Оранский стал английским королем. *II*—385
- Орлеанский герцог—титул младшей ветви королевского дома Валуа-Бурбонов: Гастон Жан Батист, брат Людовика XIII (1621—1686); Людовик Филипп Жозеф (Филипп Эгалите) (1747—1793); Шарль Орлеанский (1391—1465). *II*—356, 363
- Оттон I (912—973)—германский король с 936 г., основатель Священной Римской империи. *II*—322
- Оуэн Ричард (1804—1892)—английский ученый-анатом и палеонтолог, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1839). *I*—437; *II*—376, 379
- Оуэн—влиятельный английский писатель XVII в. *I*—189
- Палиссо Шарль—французский писатель, близко знавший Дидро, писал пастыли, скандальную известность имела его комедия «Философы» (1760). *I*—363
- Пальмерстон Генри Джордж Темпл, лорд (1784—1865)—английский государственный деятель. *II*—274
- Папен Дени (1647—1714)—французский физик, один из изобретателей парового двигателя. *II*—239
- Паравицино—популярный проповедник при дворах Филиппа III и Филиппа IV, поэт. *II*—24
- Паре Амбруаз (ок. 1517—1590)—французский ученый и врач-хирург. С 1536 г. личный врач французских королей, убежденный протестант. *I*—342; *II*—293, 360
- Парр Сэмюэл (1745—1825)—английский ученый, филолог. *II*—320, 332, 371
- Паскаль Блез (1623—1662)—французский религиозный философ, писатель-классицист, математик и физик. Известен как автор памфлета, направленного против иезуитов. *I*—298, 334, 339, 349; *II*—321, 348, 359, 374

- Патрик (ок. 389—ок. 461)—распространитель христианства в Ирландии, традиционно считается ее покровителем. *II*—310
- Патэн Анри Жозеф Гийом (1793—1876)—профессор литературы в Парижском университете. *II*—362
- Педен Александр (1626—1686)—шотландский духовный деятель, прославившийся своими проповедями. *II*—150, 151, 424
- Пейн Томас (1737—1809)—американский политический деятель, произведения которого оказали огромное влияние на политическое самосознание американцев. *II*—339
- Пелагий (ок. 360—после 418)—христианский монах, учение которого содержало критику концепции Августина о первородном грехе, благодати и загробном воздаянии; распространилось в странах Средиземноморья в начале V в. Было предано анафеме Эфесским вселенским собором в 431 г. *I*—415; *II*—374
- Пелайо—первый король Астурии (718—737). *II*—371
- Пемброк Генри, граф (1534?—1601)—активный защитник интересов Марии Стюарт. Состоял в родственных отношениях с Лестером. *I*—318
- Перизоний—французский писатель, боровшийся против суеверий. Писал полатыни. *I*—399
- Перикл (ок. 495—425 до н. э.)—афинский государственный деятель; с его именем связана самая блистательная эпоха в жизни Афин (Золотой век Перикла). *I*—110
- Перро Клод (1613—1688)—французский архитектор. *I*—348
- Петр I (1672—1725)—русский император. *II*—369
- Пикар Жан (1620—1682)—французский ученый, осуществил уточненное измерение градуса широты, что позволило внести существенные коррективы в определение размера Земли. *I*—341
- Пиль Роберт (1788—1850)—английский политический деятель, консерватор. *II*—310
- Пинель—автор знаменитого трактата о сумасшествии (XVIII в.). *I*—353, 445, 462; *II*—343, 377, 380, 381
- Пинкертон Джон (1758—1826)—шотландский историк и филолог. *II*—311, 401
- Пипин (714—768)—король франков, отец Карла Великого. *II*—373
- Питт Уильям Младший (1759—1806)—английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1783—1801 и 1804—1806 гг. *II*—333, 334, 338, 340
- Питт Уильям Старший (1708—1778)—английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1766—1768 гг. *I*—222, 223, 459; *II*—333, 337
- Платон (427—347 до н. э.)—древнегреческий философ, основатель Академии в Афинах. *I*—110, 387; *II*—261, 282, 288, 289, 291, 296, 311, 348
- Полибий (ок. 200—120 до н. э.)—древнегреческий историк. *I*—110
- Полидор Вергилий (ок. 1470—ок. 1550)—историк-гуманист, автор одного из первых гуманистических сочинений по английской истории. *II*—313, 314
- Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721—1764)—фаворитка Людовика XV. *I*—418
- Помпей Гней (106—48 до н. э.)—римский полководец и политический деятель, консул. *I*—403

- Помпиньян (Ле Франк де Помпиньян)—«Анти-Вольтер», французский литератор, выступавший против «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера. *I*—354
- Понс Анна де—во втором браке жена Армана Жана де Виньеро, герцога де Ришельё (1649). *I*—328
- Прайд Томас (ум. 1658)—английский военный деятель, им было осуществлено изгнание депутатов-пресвитериан из парламента. *I*—323
- Прайор Мэтью (1664—1721)—английский дипломат и поэт, мастер эпиграммы. *II*—337, 363
- Превоз—французский ученый, установивший закон лучеиспускания теплоты. *I*—354, 426
- Превоз д'Экзиль Антуан Франсуа, аббат (1697—1763)—французский романист. *I*—354
- Прескотт Уильям (1796—1859)—американский историк. *II*—291, 383, 386, 387
- Прими, аббат, итальянец по происхождению—автор сочинения «История Людовика XIV» (XVII в.). *I*—382, 383
- Пристли Джозеф (1733—1803)—английский естествоиспытатель и философ, иностранный почетный член Петербургской АН (1780). *II*—330, 339, 375
- Птолемей Клавдий (ок. 90—ок. 168)—древнегреческий астроном, математик, географ. *II*—284, 288
- Пуссен Никола (1594—1665)—знаменитый живописец Франции. *I*—348
- Пэке (Пэкке)—знаменитый французский анатом XVII в. *I*—298, 341
- Пюже Пьер (1620—1694)—французский скульптор. *I*—348
- Пюркенже—французский ученый-анатом. *I*—437; *II*—378
- Рабле Франсуа (1495—1553)—французский писатель-гуманист эпохи Возрождения. *I*—256, 257, 460; *II*—343
- Равальяк Франсуа (1578—1610)—католик-фанатик, убийца французского короля Генриха IV. *II*—344
- Ранке Леопольд фон (1795—1886)—немецкий историк. *I*—260; *II*—345, 350, 366, 367, 385
- Расин Жан Батист (1639—1699)—французский драматург-классик. *I*—298, 334, 349, 383
- Рейналь (Рэналь) Гийом Томас Франсуа (1713—1796)—французский историк и социолог, представитель Просвещения, автор рецензии на первый том «Энциклопедии» Дидро и прославившей его «Истории двух Индий», которая была осуждена на сожжение. *I*—352, 358, 361
- Рейнолдс Джошуа (1723—1792)—английский художник, основатель и первый президент Английской академии художеств. *II*—310, 361
- Рекаред—вестготский король (586—601). *II*—382
- Рекс—организатор воскресных школ в Англии. *II*—330
- Ремер Оле (1644—1710)—датский астроном. *I*—340
- Реомюр Рене Антуан (1683—1757)—французский естествоиспытатель. *II*—360
- Ретерфорд Сэмюэл—один из самых популярных шотландских теологов XVII в. *II*—154, 264, 419, 422, 424, 425, 427, 429
- Ретций (нач. XIX в.)—ученый-анатом. *I*—437
- Рец Жан Франсуа Поль де Гонди, кардинал де (1613—1679)—политический деятель, один из главных вдохновителей Фронды (1648—1652)—сложного социального движения, направленного против королевского абсолютизма. *I*—297; *II*—345, 356

- Ривароль Антуан де (1753—1801)—французский литератор. *II*—356
- Риго—французский ученый-натуралист. *I*—353
- Рид Томас (1710—1796)—шотландский философ, основатель школы «здорового смысла». *II*—210, 211, 212—216, 298, 507, 508
- Рикардо Давид (1772—1823)—английский экономист. *II*—284, 287, 308, 435
- Рио Алексис Франсуа (1797—1874)—художественный критик и историк искусства. *II*—387, 395—397
- Риолан (ум. 1657)—знаменитый французский анатом XVII в. *I*—341
- Ричард I Львиное Сердце (1157—1199)—английский король с 1189 г. из династии Плантагенетов, один из руководителей третьего крестового похода. *I*—167
- Ричард II (1377—1399)—последний английский король из династии Плантагенетов. *II*—75
- Ричард III—король Англии (1483—1485), герой одноименной исторической хроники Шекспира. *II*—304
- Ричардсон Сэмюэл (1689—1761)—английский писатель. *I*—352
- Ришельё Арман Жан дю Плесси (1585—1642)—герцог, кардинал (с 1622 г.), французский государственный деятель, первый министр при Людовике XIII. *I*—261—269, 284—286, 288, 292—296, 339, 460, 461; *II*—327, 344, 345, 347, 389
- Роберт Глостерский, граф—сын Генриха I; ему посвятил своё сочинение «История бриттов» Гальфрид Монмутский. *I*—176
- Роберт I Брюс (1274—1329)—шотландский король, национальный герой, возглавивший борьбу за независимость страны. *II*—401
- Роберт II (1060—1134)—основатель династии Стюартов, старший сын Вильгельма Завоевателя, в 1087 г. принял титул герцога Нормандского, участвовал в первом крестовом походе. *II*—404
- Роберт III—Джон Стюарт (1340?—1406)—король Шотландии, принял имя Роберта при вступлении на престол (1390). *II*—401, 404
- Робертсон Уильям (1721—1798)—шотландский историк. *II*—291, 369, 401, 405
- Роган Анри, герцог де (1579—1638)—глава протестантской партии, французский полководец в Тридцатилетней войне. *I*—268, 271, 279
- Роган Анри де Шабо де Сент-Оле, первый герцог де (1618—1655). *II*—357
- Ролан де ла Платьер Жан Мари (1734—1793)—деятель Великой французской революции XVIII в., жирондист. *I*—352; *II*—354
- Ролан де ла Платьер Манон Жанна (1754—1793)—жена жирондиста Ролана, автор мемуаров. Ее салон был одним из центров жирондизма в период Великой французской революции XVIII в. *I*—352, 355
- Роланд (?—778)—франкский маркграф, герой национального французского эпоса, могучий рыцарь, сподвижник императора Карла Великого. *I*—175
- Ромэ де Лиль—французский ученый-натуралист. *I*—353
- Ронделе—известный французский зоолог (XVII в.). *I*—342
- Руперт (Реперт), принц (1619—1682)—герцог Баварский и Камберлендский, племянник английского короля Карла I. *II*—146, 420
- Руссо Жан Жак (1712—1778)—французский писатель и философ. *I*—352, 358, 361, 362, 410, 417, 453, 462; *II*—363, 373
- Руэль (Руэлль) Гийом Франсуа (1703—1770)—французский химик. *I*—430
- Рэй—французский ученый-химик (XVII в.). *I*—342, 343; *II*—360, 402

- Садлер Ральф, сэр — государственный деятель Англии в эпоху Елизаветы Тюдор и Генриха VIII. *I* — 318; *II* — 406, 407
- Саксон Грамматик (XII в.) — датский историк-хронист, филолог, литератор, критик и комментатор главным образом латинских и греческих текстов. В его «Хронике» передается легенда, положенная Шекспиром в основу трагедии «Гамлет». *I* — 166, 167
- Саль Жан Клод Делиль де (1741—1816) — французский философ и историк. *I* — 361
- Саул — основатель Израильско-Иудейского царства (XI в. до н. э.). *II* — 316, 389
- Севери (Савари) Томас (1650—1715) — английский инженер, изобретатель парового насоса, который применялся для откачки воды из шахт. *II* — 239
- Севинье (урожд. де Рабютен-Шанталь) Мари, маркиза де (1626—1696) — французская писательница. *II* — 362, 367
- Сегюр Филипп Поль де (1780—1873) — французский генерал, историк. *I* — 352; *II* — 336, 354, 364, 373, 381, 382
- Сен-Ламбер Жак Франсуа, маркиз де (1716—1803) — французский литератор. *I* — 421
- Сен-Симон Луи де Рувруа, герцог де (1675—1755) — французский политический деятель, мемуарист. *II* — 37, 357
- Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616) — испанский писатель. *II* — 18, 23, 391, 397
- Сервий Туллий — предпоследний римский царь, правил в 578—534 гг. до н. э. *I* — 399
- Сесил Уильям, барон Бёрли (1520—1598) — английский государственный деятель, самый могущественный из министров Елизаветы, стоявший во главе правления около 40 лет, и Сесил Роберт, граф Солсбери (1563—1612) — английский государственный деятель эпохи Елизаветы и Якова I. *I* — 318; *II* — 355
- Сид (ок. 1043—1099) — под этим именем выступал кастильский рыцарь Родриго Диас де Вивар, участник войны испанцев против арабов. *II* — 385
- Сидней Альджерони (Сидни Олджернон) (1622—1683) — английский философ и политический деятель эпохи Английской революции XVII в. *I* — 193
- Сикст V — папа римский (1585—1590). *II* — 355
- Сильери (Сийери) Луи Роже Брюлар, маркиз (1619—1691) — генерал от инфантерии, фрондер, деверь Ларошфуко. *I* — 325
- Синклер Джон, сэр (1754—1835) — английский экономист и писатель. *II* — 402
- Сисмонди Жан Шарль Леонар Сисмонд де (1773—1842) — швейцарский историк и экономист. *I* — 266; *II* — 336, 342, 347, 351, 372, 389
- Смит Адам (1723—1790) — английский философ и экономист. *I* — 117, 118, 138, 353, 362; *II* — 137, 186, 187, 190, 192—195, 197, 199—202, 204—206, 210, 247, 269, 270, 284, 305, 306, 308, 432, 507, 509
- Собеский Ян (1624—1696) — польский полководец, король, в битве под Веной 12 сентября 1683 г. разгромил турецкую армию. *I* — 353
- Сократ (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ. *I* — 110; *II* — 296, 319
- Соломон (965—928 до н. э.) — древнеиудейский царь, упоминаемый в Библии как мудрец. *II* — 316, 385
- Солон (640/35—559 до н. э.) — афинский политический деятель, социальный реформатор. *I* — 110; *II* — 291
- Сомерс Джон, лорд (1651—1716) — английский государственный и политический деятель, лорд-канцлер с 1697 г., один из руководителей партии вигов. *I* — 223

- Сорбьер (Сорбиер) Сэмюэл (1615—1670)—французский врач и философ. *II—363, 365*
- Софокл (496—406 до н. э.)—древнегреческий драматург. *I—110*
- Спенсер Эдмунд (ок. 1552—1599)—английский поэт эпохи Возрождения, автор аллегорической поэмы «Королева фей» (1590—1596), прославлявшей добродетели королевы Елизаветы. *II—228*
- Сталь Анна Луиза Жермена де (1766—1817)—дочь Неккера, французская писательница, изгнанная Наполеоном. *II—373*
- Станиан—автор сочинения «История Греции» (в 3 томах), переведенного на французский язык Дидро. *I—352*
- Стаффорд Уильям (1554—1612)—английский экономист, представитель раннего меркантилизма. Основной формой богатства считал деньги. *I—116, 117*
- Стюарт Дёгалл (Дугальд) (1753—1828)—шотландский философ. *I—137; II—216, 350, 364*
- Стюарты—королевская династия в Шотландии (с 1371 г.) и Англии (1603—1649, 1660—1714). Род Стюартов прекратился после смерти внука Якова II Генриха Бенедикта. *I—208, 221, 223, 319, 357; II—122—126, 323, 435, 505*
- Сурди (Сурдис) Анри д'Эскупло де (1594—1645)—архиепископ Бордоский (1629), адмирал. *I—263*
- Сэмунд Мудрый—исландский ученый (1056—1133), которому ошибочно приписана «Старшая, или стихотворная, Эдда»—собрание эпических текстов мифологического и героического содержания (ок. X в. н. э.). *I—168*
- Сюар Жан Батист Антуан (1732—1817)—французский литератор и журналист. *I—352, 354*
- Сюлли Максимилиен де Бетюн, барон Рони, герцог де (1560—1641)—французский государственный деятель, советник Генриха IV. *I—268, 271*
- Сюлли, герцог де (время Вольтера). *I—358; II—364*
- Талейран-Перигор Шарль Морис де (1754—1838)—французский политический деятель и дипломат. *II—343*
- Таллеман де Рео (1619—1692)—французский литератор, автор «Занимательных историй», рисующих жизнь французского общества эпохи Генриха IV и Людовика XIII и ставших одним из источников «Трех мушкетеров» А. Дюма. *II—345, 356, 374*
- Талон Омер (1595—1652)—генеральный адвокат (1632), автор «Мемуаров». *II—356, 374*
- Темпл Уильям (1628—1699)—английский государственный деятель и дипломат. *II—315, 320, 362*
- Террэ Жозеф Мари, аббат—генеральный контролер финансов (министр финансов) Франции в 1770—1774 гг. *I—417*
- Тессэ—французский маршал на службе Испании, участник Войны за испанское наследство. *II—33*
- Тиллотсон Джон (1630—1694)—английский теолог и писатель. *I—189, 352*
- Тимур (Тимурленг, Тамерлан) (1336—1405)—среднеазиатский властитель и завоеватель. *I—361; II—303*
- Тирио Никола Клод (1691 или 1696—1772)—французский дипломат и литератор, друг Вольтера. *II—365*
- Тирсо де Молина (Габриель Тильес) (1571—1648)—знаменитый испанский драматург, ученик и преемник Лопе де Вега. *II—23, 370*

- Тиртей (VII в. до н. э.)—древнегреческий элегический поэт. *I*—110
- Токвиль Шарль Алексис Клерель де (1805—1859)—французский историк, социолог и политический деятель. *I*—133; *II*—351, 353, 366, 369
- Тома Антуан Леонар—французский литератор, близкий к энциклопедистам. *I*—358, 361
- Торичелли Эванджелиста (1608—1647)—итальянский физик и математик, основоположник гидростатики. *II*—348
- Торквемада Томас (ок. 1420—1498)—монах-доминиканец, с 80-х гг. глава испанской инквизиции (великий инквизитор). *II*—302
- Тук Горн (1736—1812)—английский политический деятель и филолог, один из создателей Общества сторонников Билля о правах (1769). *I*—240; *II*—340
- Тулл Гостилий—третий легендарный царь Рима. *I*—399
- Турнефор (Турнфор) Жозеф Питтон де (1656—1708)—французский ботаник и путешественник. *II*—361
- Турпин—согласно средневековым сказаниям, архиепископ Реймский (XII в.). Ему приписывается авторство латинской «Хроники архиепископа Турпина», относящейся к XI в. и представляющей собой рассказ о легендарных деяниях Карла Великого и Роланда в Испании. *I*—174, 458
- Тэйлор Джереми (1613—1677)—епископ, один из самых влиятельных писателей XVII в. *I*—189, 205; *II*—302, 323, 325
- Тюрго Анн Робер Жак (1727—1781)—французский философ, экономист и государственный деятель, министр финансов Людовика XVI. *I*—394, 405, 410, 412, 461; *II*—349, 351, 372, 375—377
- Тюрени Анри де Латур д'Овернь, виконт де (1611—1675)—маршал Франции (1660). *I*—268, 295
- Уатт Джеймс (1736—1819)—английский изобретатель паровой машины. *II*—239, 240, 440, 508
- Уоллер Эдмунд (1606—1687)—английский поэт. *II*—430
- Уолпол (Вальполь) Роберт, граф Орфорд (1676—1745)—английский государственный деятель, лидер вигов, бессменно стоявший во главе правительства с 1721 по 1742 г. *I*—223, 224, 235; *II*—328, 332
- Уолпол Хорас (Горас), четвертый граф Орфорд (1717—1797)—английский писатель, государственный деятель, состоял в переписке с Вольтером. *II*—330, 333, 363
- Уэвелл—автор книги «История индуктивных наук». *II*—321, 322, 348, 349, 375
- Уэльсский, принц. *II*—420
- Фабий Пиктор Квинт (кон. III в. до н. э.)—первый римский историк-анналист, участник Второй пунической войны. *II*—371
- Фавар Шарль Симон (1710—1792)—французский драматург-комедиограф, либреттист, режиссер, композитор. *I*—364
- Фаллопий Габриеле (1523—1562)—итальянский врач и анатом. *II*—377
- Фанкорт Сэмюэл—основатель первой библиотеки в Лондоне (середина XVIII в.). *II*—330
- Фарадей Майкл (1791—1867)—английский физик, открывший явления электромагнитной индукции. *II*—438
- Фемистокл (ок. 525—ок. 460 до н. э.)—афинский полководец, во время Греко-персидских войн архонт и стратег. *I*—110

- Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ламот (1651—1715)—французский теолог, проповедник и писатель, автор нравоучительных сочинений. *I*—361, 369, 382; *II*—367
- Фергюсон Адам (1723—1816)—английский философ. *I*—139
- Фергюссон Дэвид (ум. 1598)—пастор в Данфермлине. *II*—409, 422
- Фердинанд Католик—Фердинанд II Арагонский (1442—1516)—король Арагона с 1474 г., Сицилии (Фердинанд II) с 1468 г., Кастилии (Фердинанд V) в 1479—1504 гг. совместно с Изабеллой, Неаполитанского королевства (Фердинанд III) с 1504 г. *II*—11, 384, 392, 502
- Фердинанд IV—испанский король. *II*—39
- Фердинанд VI—испанский король (1746—1759). *II*—39, 46, 50, 52, 393
- Фердинанд VII (1784—1833)—король Испании (1808 и 1814—1833), принц астурийский. *II*—62, 399
- Ферма Пьер де (1601—1665)—французский математик, один из создателей теории чисел. *I*—340
- Фернель—знаменитый французский медик (время Людовика XIV). *I*—342; *II*—293
- Филипп II Август (1165—1223)—французский король с 1180 г., один из руководителей третьего крестового похода. *I*—305
- Филипп Красивый (1268—1314)—французский король с 1285 г. *I*—305
- Филипп X Орлеанский (1674—1723), герцог—регент при Людовике XV. *I*—355
- Филипп Эгалите Луи Филипп Жозеф (1747—1793)—представитель младшей ветви Бурбонов, герцог Орлеанский, регент Франции. В период Великой французской революции XVIII в. отказался от титула, принял фамилию Эгалите (равенство), как член Конвента голосовал за казнь короля. *II*—363
- Филипп II (1527—1598)—испанский король (1556—1598). *II*—12, 13, 19, 20, 26, 27, 47, 53, 313, 374, 382, 384, 385, 387, 502
- Филипп III (1578—1621)—испанский король (1598—1621). *II*—19, 21, 23, 25, 27, 28, 382, 387—389
- Филипп IV (1605—1665)—испанский король (1621—1665). *I*—265; *II*—19, 22, 24, 30, 382, 387
- Филипп V (1683—1746)—испанский король с 1700 по 1746 г. Австрийская династия сменилась Бурбонской. *II*—32, 33, 34, 38, 43, 46, 53, 59, 394, 396, 398
- Филон Александрийский (ок. 25 до н. э.—50 н. э.)—иудейско-эллинистический религиозный философ. *II*—281
- Фирдоуси Абулькасим (ок. 940—1020 или 1030)—персидский и таджикский поэт. *I*—169; *II*—291
- Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814)—немецкий философ. *II*—297
- Фле Мари Клер де Бофремон, графиня де, представительница дома Фуа—первая фрейлина Анны Австрийской, матери Людовика XIV. *I*—328
- Флешье Валентен Эспри (1632—1710)—французский проповедник, автор ряда теологических сочинений. *I*—348, 369
- Флориан Жан Пьер Клари де (1755—1794)—французский писатель, находившийся в свойстве с Вольтером. *I*—354
- Флоридабланка Хосе, граф (1728—1808)—в 1777—1792 гг. первый министр при дворе испанских королей Карла III и Карла IV. *II*—44, 53, 55, 60
- Фокс—член Государственного совета при Кромвеле. *I*—324
- Фокс Чарлз Джеймс (1749—1806)—английский политический деятель, лидер вигов и друг Бёрка. *I*—231; *II*—324, 334, 335, 337, 339, 340, 417

- Фонтене Антуан (1803—1837)—французский литератор и путешественник (псевдоним лорд Филинг). *I*—354
- Фонтенель Бернар Ле Бовье де (1657—1757)—французский писатель, ученый-популяризатор, постоянный секретарь Французской академии, философ-скептик, автор «Бесед о множестве миров», запрещенных в России цензурой. *I*—354, 361; *II*—359
- Форбс Денкан—шотландский проповедник. *II*—147, 410
- Форбс Эдуард (1815—1854)—английский зоолог и палеонтолог. *II*—222, 439
- Фоссёз Франсуа де Монморанси, маркиз де (1595—1664)—сторонник кардинала Реца во время Фронды. *I*—325
- Франклин Бенджамин (1706—1790)—американский просветитель, государственный деятель, ученый. *II*—330, 337
- Франциск I (1494—1547)—король Франции (1515—1547). *I*—255, 313
- Фревен—архиепископ Йоркский при Карле II. *I*—205
- Френель Огюстен Жан (1788—1827)—французский физик, один из основоположников волновой оптики. *I*—427
- Фридрих Великий (Фридрих II) (1712—1786)—король Пруссии (1740—1786). *I*—111, 132; *II*—47
- Фруассар Жан (ок. 1337—после 1410)—французский поэт и историк, автор монументальной книги «Хроники Франции, Англии, Шотландии и Испании», излагающей историю этих стран с 1325 по 1400 г. *I*—172, 313; *II*—314
- Фукидид (ок. 460—400 до н. э.)—древнегреческий историк. *I*—110
- Фуке—писатель, самостоятельно изучавший мир растений (XVI в.). *I*—353; *II*—360
- Фуркруа Антуан Франсуа (1755—1809)—французский химик и политический деятель, иностранный почетный член Петербургской АН (1802). *I*—447; *II*—376
- Фурье Жан Батист Жозеф (1768—1830)—французский математик и физик, иностранный почетный член Петербургской АН (1829). *I*—426; *II*—219
- Фуше Жозеф (1759—1820)—французский политический деятель. Во времена Директории Наполеона и Людовика XVIII—министр полиции. *I*—353
- Хименес Франциско (1436—1517)—испанский государственный деятель, кардинал. *II*—390
- Хлодвиг (466—511)—франкский король (481—511). *II*—7
- Ховельянос-и-Рамирес Гаспар Мельчор де (1744—1811)—видный испанский экономист, филолог, историк и писатель. *II*—55
- Хуан Австрийский (1547—1578)—побочный сын императора Карла V. В испанской литературе XVI—начала XVII в. окружен ореолом героя и великого полководца. *II*—393
- Цезарь Юлий (100—44 до н. э.)—римский политический деятель и полководец, писатель. *I*—403
- Чалмерс Джордж (1742—1825)—шотландский историк и антиквар, автор многих работ по истории Англии и Шотландии. *II*—404
- Чатам, см. Питт Уильям Старший

- Чиллингворт Уильям (1602—1643)—английский теолог, автор книги «Протестантская религия—верный путь к спасению» (1637). *I*—187—189, 193, 257, 290, 459; *II*—318
- Чиффинч Уильям (1602—1688)—приближенный короля Карла II, участник ряда придворных интриг. *II*—323
- Чуди Жан Жак (1818—1889)—швейцарский натуралист. *II*—292
- Шантильи—французская актриса, возлюбленная Морица Саксонского. *I*—364
- Шарп Джеймс (1613—1679)—архиепископ в Сент-Эндрюсе с 1661 г., стремившийся ликвидировать пресвитерианскую церковь в Шотландии. Убит во время восстания пуритан. *II*—415, 416
- Шаррон Пьер (1541—1603)—французский писатель и теолог, последователь Монтеня, автор книг «Трактат о мудрости» (1601), «Три истины» (1593), «Христианские рассуждения» (1600). *I*—258, 259, 293, 460; *II*—343, 344
- Шатийон (Шатильон) Гаспар IV де Колиньи, маркиз д'Андело, герцог де (1620—1649)—сын маршала Шатийона, перешел в католичество. *I*—268, 271; *II*—350
- Шатобриан Франсуа Рене, виконт де (1768—1848)—французский писатель. *II*—378
- Шванн Теодор (1810—1882)—немецкий ученый-биолог и физиолог, один из основоположников теории клеточного строения организмов. *I*—437; *II*—377
- Шекспир Уильям (1564—1616)—английский драматург. *I*—185, 298, 352; *II*—227, 228, 283, 292, 307, 363, 371
- Шелли Перси Биш (1792—1822)—английский поэт и мыслитель. *II*—227
- Шеридан Ричард (1751—1861)—английский драматург и политический деятель, оратор. *II*—339
- Шефтсбери Энтони Эшли Купер (1621—1683)—английский государственный деятель, один из основателей партии вигов, министр Карла II. *II*—305
- Шефтсбери Энтони Эшли Купер, граф (1671—1713)—английский политический деятель, философ и моралист. *II*—357
- Шлегель Фридрих (1772—1829)—немецкий критик, философ, эстетик, историк культуры, языковед, по словам Шеллинга, «филолог в высшем смысле слова». *II*—288
- Шлоссер Фридрих Кристоф (1776—1861)—немецкий историк. *II*—308
- Шольё Гийом Амфри, аббат де (1639—1720)—французский поэт. *I*—349
- Шомберг (Шомбер)—военачальник Людовика XIII, командующий швейцарской гвардией. *I*—268
- Шпренгель Христиан Конрад (1750—1816)—немецкий ботаник. *II*—310, 322, 443
- Шрюсбери, граф—приверженец Марии Стюарт. *I*—318
- Шталь Георг Эрнст (1659—1734)—немецкий врач и химик, сформулировал теорию флогистона. *II*—360
- Шуазель Этьен Франсуа, герцог де (1719—1785)—французский государственный деятель, министр иностранных дел и военный министр при Людовике XV; в 1758—1770 гг. фактический глава государства. *I*—412, 417; *II*—43, 44, 374
- Эгика—вестготский король (687—701). *II*—8
- Эдуард I (1239—1307)—английский король с 1272 г., из династии Плантагенетов. *I*—396; *II*—74, 304

- Эдуард II (1284—1327)—английский король с 1307 г., из династии Плантагенетов. II—74
- Эдуард III (1312—1377)—английский король с 1327 г., из династии Плантагенетов. При нем был учрежден орден Подвязки—высший орден в Великобритании. I—313; II—74
- Эдуард IV (1442—1483)—английский король (1461—1483), первый из династии Йорков. I—314
- Эдуард VI (1537—1553)—английский король (1547—1553) из династии Тюдоров. I—253
- Элдон Джон Скотт (1751—1838)—лорд-канцлер в 1801—1824 гг. II—315, 341
- Эльбёф Карл II Лотарингский, герцог д' (1596—1657)—участник заговоров герцога Гастона Орлеанского. I—325
- Эмбер—французский писатель, переводчик писем Кларка об Испании (1770). I—354
- Эмилий Павел—итальянский историограф, с конца XV в. живший во Франции, труд которого «Десять книг о деяниях франков» служил примером для подражания многим гуманистам. I—377
- Эно Шарль Жан Франсуа (1685—1770)—французский поэт и историк. Его главное произведение—«Хронологический очерк истории Франции до конца царствования Людовика XIV». I—461
- Эпаминонд (418—362 до н. э.)—древнегреческий полководец и политический деятель. I—110
- Эпернон Жан Луи де Ногаре, герцог (1554—1642)—французский политический деятель, участник Религиозных войн и Эпернон Лавалетт Жан Луи де Ногаре, герцог д'Эпернон, кардинал де (1593—1639)—архиепископ Тулузский, в 1627 г. снял сан и поступил на военную службу. I—263; II—345
- Эпинус Франц Ульрих Теодор (1724—1802)—физик, родился в Германии, с 1757 г. жил в России, академик Петербургской АН (1756—1798). I—426
- Эрскин (Эрскайн) Джон (1695—1798)—шотландский юрист. II—371
- Эскироль Жан Этьенн Доминик (1772—1840)—французский психиатр, один из основоположников научной психиатрии. II—380
- Эссекс Роберт Деверё, граф (1591—1646)—один из лидеров пресвитериан в Английской революции XVII в. В 1642—1645 гг.—главнокомандующий парламентской армией. I—321, 322
- Эстиссак Франсуа де Ларошфуко, маркиз д'—младший брат Франсуа VI де Ларошфуко, принца де Марсийяка (1613—1680). I—325
- Эсхил (525—456 до н. э.)—древнегреческий поэт, родоначальник классической трагедии. I—110
- Эсхин (ок. 390—314 до н. э.)—афинский оратор. I—110
- Ювенал Децим Юний (ок. 60—ок. 127)—древнеримский поэт-сатирик. II—307
- Юлиан Отступник (331—363)—римский император Флавий Клавдий Юлиан (в 361—363 гг.), отвергавший христианство и пытавшийся восстановить язычество в качестве официальной религии. I—103, 360; II—364
- Юм Давид (1711—1776)—античный философ и историк. I—138, 216, 353, 421; II—137, 202—205, 207—210, 212, 213, 215, 253, 305, 308, 309, 329, 332, 364, 373, 435, 437, 507, 508
- Юнг (Янг) Томас (1773—1829)—английский физик, один из основателей волновой теории света. I—427, 433

Юстиниан (483—565)—император Восточной Римской империи; с его именем связана кодификация римского права: составление общего кодекса, получившего название *Corpus juris civilis*. II—311

Яков I Стюарт (1566—1625)—король Шотландии, а с 1603 г. и Англии, отец Карла I (1625—1649), казненного по приговору революционного трибунала, сын Марии Стюарт, унаследовал престол после смерти Елизаветы под именем Якова I. I—319; II—69, 84, 86—88, 95, 107—109, 111, 113—115, 117, 120, 122, 143, 144, 315, 319, 354, 379, 411, 412, 416, 504, 505

Яков II Стюарт (1633—1701)—король Англии и Ирландии (1685—1688), брат Карла II, последний из династии Стюартов, лишенный престола в результате «славной революции» 1688—1689 гг. I—206—212, 459; II—69, 88—90, 120; 122—125, 323, 324, 326, 362, 379, 504, 505

Яков I (1394—1437)—шотландский король с 1424 г., любитель литературы и поэзии. Был убит заговорщиками-феодалами. II—86, 88, 503

Яков II—король Шотландии (1437—1460). II—89, 90, 405, 504

Яков III—король Шотландии. II—69, 89, 90, 405, 504

Яков IV (ум. 1513). II—90, 91, 504

Яков V—король Шотландии (1512—1542). II—69, 91—95, 98, 504

Янсений Корнелий (1585—1638)—лувенский теолог, в противоположность иезуитам всемерно подчеркивал неодолимую силу божественного предостережения. Янсенистское учение, не порывая с католицизмом, приближалось к протестантизму. I—415; II—374

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I

Очерк истории умственного движения в Испании с пятого до половины девятнадцатого столетия — 5

В предыдущем томе были доказаны четыре главных положения. Справедливость их может быть еще проверена изучением истории Испании. В Испании физические явления способствуют развитию суеверия. Ему также благоприятствовала великая Арианская война с Францией. А потом война с магометанами. Эти три причины имели влияние на политику Фердинанда и Изабеллы. Продолжение той же политики Карлом V и Филиппом II. Филипп II, при всех своих отвратительных свойствах, был любим народом. Привязанность к нему народа была результатом тех общих причин, которые в течение нескольких столетий делали из испанцев самый верноподданный народ в Европе. Происхождение верноподданнической преданности испанцев и доказательство этого. Преданность монарху была связана с суеверием и одна держалась другим. В силу этой связи сделаны были большие внешние завоевания и развился сильный воинственный дух. Но этого рода прогресс, как слишком зависящий от отдельных личностей, по необходимости ненадежен. Напротив, прогресс Англии зависит от способностей всей нации и потому продолжается, невзирая на то, способны или неспособны ее правители. В Испании правящие классы были всемогущи; народ ни во что не ставился; это было причиной того, что величие страны, воздвигнутое даровитыми государями шестнадцатого столетия, было столь же быстро разрушено слабыми монархами семнадцатого века. Упадок Испании в семнадцатом столетии был тесно связан с усилением влияния духовенства. Первым делом, для которого воспользовалось духовенство своей властью, было изгнание всех мавров. Влияние этого изгнания на обеднение Испании; упадок мануфактур, уменьшение народонаселения и увеличение бедности. В 1700 г., когда дела были в самом худшем положении, австрийскому дому в Испании наследовали Бурбоны. Теперь Испанией управляли иностранцы. Они пытались поправить положение страны, ослабив духовенство. Но авторитет духовенства до того растлил умственные силы страны, что народ, погрязший в невежестве, оставался неподвижным. Правительство пыталось поправить это зло, обратившись за помощью к иностранцам. Влияние иностранцев в Испании выразилось в изгнании иезуитов в 1767 г. И в нападениях, сделанных на инквизицию. Оно проявилось также и во внешней политике Испании. Все это было плодом личного авторитета Карла III и возвышенных свойств его характера. Но оно ни к чему не послужило, ибо политики ничего не могут сделать, когда дух нации несогласен с ними. Все-таки Карл III сделал много улучшений, от которых, как казалось с первого взгляда, можно было ожидать положительной пользы. Перечень всего, что было сделано для Испании между 1700 и 1788 гг. — Но так как эти улучшения были противны складу национального характера, то реакция была неизбежна. В 1788 г. Карлу III наследовал Карл IV; он был истый испанец, и потому началась реакция. В девятнадцатом столетии политические

преобразователи снова пытались улучшить положение Испании. Но по причинам, уже приведенным выше, усилия их остались бесплодны, несмотря на раннее введение в этой стране муниципальных привилегий и народного представительства. Таким образом, общие причины всегда торжествуют над частными действиями. Эти общие причины предрасположили страну к суеверию, и отдельным лицам невозможно было противодействовать им. Ничто, кроме знания, не может ослабить суеверие. Все это тем более замечательно, что Испания пользуется громадными естественными преимуществами. У нее были великие патриоты и великие законодатели.— Кроме того, испанцы долго славились своей честью, храбростью, воздержанностью, человечностью и искренностью в религии. Но во всем, что касается национального прогресса, эти благородные качества не приносят никакой пользы до тех пор, пока невежество так грубо и так всеобще. Эти именно обстоятельства, разобщая Испанию с остальным цивилизованным светом, поддерживают в ней тот дух суеверия, то благоговение к древности и ту слепую, рабскую преданность, которые, до тех пор пока они существуют, будут делать невозможным всякое улучшение; а существовать они должны до тех пор, пока не устранится невежество.

ГЛАВА II

Состояние Шотландии до конца четырнадцатого столетия — 68

Шотландия и Испания весьма не похожи между собой относительно верноподданнических чувств.— Но они очень похожи относительно суеверия.— Шотландцы соединяют либерализм в политике с иллиберализмом в религии. Это самый крупный и важный факт в их истории, и вся остальная часть тома будет посвящена исследованию причин этого явления.— Влияние физической географии.— Вторжение римлян в Шотландию.— Вторжение ирландцев.— Вторжение норвежцев.— Вторжение англичан.— Вред, нанесенный Шотландии этими вторжениями, остановил развитие городов и тем благоприятствовал развитию могущества дворян.— Могуществу дворян еще более благоприятствовало физическое образование страны.— А также слабость короны.— Вследствие всего этого влияние дворян к концу четырнадцатого столетия стало непомерно велико. Корона, совершенно заслоняемая ими, не могла найти никакой помощи в горожанах, ибо, благодаря только что упомянутым обстоятельствам, городов не было.— Промышленность была невозможна, и самые обыкновенные искусства не были известны.— Данные относительно скудного населения шотландских городов.— Они были слишком слабы и ничтожны, чтобы самим выбирать своих должностных лиц.— Так как муниципальный элемент был в таком несовершенном состоянии, то единственным союзником, какого могла найти корона, было духовенство.— Отсюда произошел союз между королями и духовенством против дворянства.— Духовенство было единственной корпорацией, способной противостоять дворянству. Причины значительного влияния духовенства.

ГЛАВА III

Состояние Шотландии в пятнадцатом и шестнадцатом столетиях — 86

В начале пятнадцатого столетия существование союза между короной и церковью против дворянства стало очевидно.— Яков I нападал на дворянство

и покровительствовал церкви, надеясь этим путем упрочить верховное преобладание трона.— Но эта политика не имела успеха, потому что ей противодействовали общие причины.— Она не только не имела успеха, но и погубила самого Якова.— Могущество Дугласов, стоявших во главе южного дворянства.— Яков II умертвил старших представителей этого рода.— Корона в своих усилиях, направленных против дворянства, была поддерживаема духовенством; и еще до половины пятнадцатого столетия церковь и аристократия стали уже совершенно чужды друг друга.— Яков III, подобно Якову II и Якову I, соединялся с духовенством против дворянства.— Но могущество дворян слишком глубоко пустило корни, чтобы можно было потрясти его; в 1488 г. они умертвили короля.— Все-таки, несмотря на эти последовательные неудачи, Яков IV следовал той же политике, какой держались его предшественники.— Также поступал и Яков V. Вследствие этого дворяне подвергли его заключению и оставили духовных лиц от всех государственных должностей.— В 1528 г. Яков V убежал; корона и церковь снова взяли верх, и главнейшие представители дворянства были изгнаны из отечества.— С этой минуты дворяне возненавидели духовенство более чем когда-либо; эта ненависть их привела к Реформации.— Деятельные меры, принятые правительством против дворян.— Дворяне мстили тем, что делались реформатами.— Яков V с своей стороны целиком бросился в объятия духовенства.— Так как дворяне перешли на противную сторону, а народ не имел никакого влияния, успех или неуспех Реформации в Шотландии зависел чисто от успеха или неуспеха аристократии.— В 1542 г. дворяне явно отказали в повиновении Якову V; и такой поступок их с ним в этот критический момент его жизни привел его в отчаяние.— Лишь только он скончался, как дворянство снова приобрело власть; духовные лишились своих мест, и приняты были меры, благоприятные протестантизму.— В 1546 г. кардинал Битон был умерщвлен и на сцену выступил Нокс.— Дальнейший образ действий Нокса.— Пока Нокс был за границей, дворяне ввели Реформацию.— Он возвратился в Шотландию в 1559 г., когда борьба была уже почти окончена.— В 1559 г. королева-правительница была лишена власти, дворяне сделались всесильны, и в 1560 г. церковь была ниспровергнута.— Лишь только был довершен этот переворот, как дворяне и проповедники стали ссориться из-за богатства церкви.— Дворяне, думая, что оно следует им, взяли его в свои руки.— Вследствие этого проповедники стали говорить, что дворянство действует по дьявольскому наваждению.— Граф Мортон, стоявший во главе дворянства, был взбешен образом действия нового духовенства и стал преследовать его.— Совершенный разрыв между этими двумя сословиями.— Духовные, видя себя презираемыми правительствующим сословием, соединились чистосердечно с народом и стали защищать демократические начала.— В 1574 г. вождем духовенства сделался Мельвиль. Под его руководством началась та великая борьба, которая продолжалась безостановочно до тех пор, пока не произвела, спустя шестьдесят лет, восстание против Карла I.— Первым проявлением этого мятежного духа были нападения на епископов.— В 1575 г. началось нападение. В 1580 г. епископство было уничтожено.— Но дворяне поддерживали это учреждение, потому что они любили неравенство по той самой причине, которая заставляла духовенство любить равенство.— Борьба между высшими классами и духовенством из-за епископства.— В 1582 г. Яков VI был подвергнут заключению, и пленение его было оправдываемо духовенством, которое теперь открыто провозглашало свои демократические убеждения.— Заносчивые речи духовенства против короля

и против дворянства.—Предводитель духовной партии Мельвиль нанес личное оскорбление королю; духовенство, по всей вероятности, принимало также участие в заговоре графа Гоури в 1600 г. Тем не менее духовенство, несмотря на непристойность своего поведения, оказало величайшее благодеяние Шотландии, сохранив и поддержав дух свободы.

ГЛАВА IV

Состояние Шотландии в семнадцатом и восемнадцатом столетиях — 113

В 1603 г. шотландский король сделался также королем английским и решился воспользоваться вновь приобретенными средствами, чтобы смирить и наказать шотландское духовенство.—Жестокое обращение его с этим сословием. В 1610 г. Яков, опираясь на могущество Англии, навязал Шотландии епископство. Были также учреждены суды Верховной комиссии.—Тиранический образ действия епископов.—В то же самое время готовилась реакция.—В 1637 г. реакция обнаружилась, а в 1638 г. епископы были ниспровергнуты.—Движение, будучи существенно демократическим, не могло остановиться на этом, а быстро перешло от церкви к государству; в 1639 г. шотландцы пошли войной на Карла I и, одержав победу над королем, продали его англичанам, которые казнили его.—Шотландцы, прежде чем короновать Карла II, заставили его смириться и осознать свои собственные заблуждения и заблуждения своего дома.—Но когда Карл II вступил на престол Англии, он стал довольно могуществен, чтобы восторжествовать над шотландцами. Он воспользовался этим могуществом, чтобы угнетать Шотландию еще сильнее, чем угнетали ее два предшественника его.—Но, по счастью, дух свободы был довольно силен, чтобы сделать тщетными все его попытки утвердить деспотизм на прочном основании.—Все-таки кризис был ужасен, и народ и его духовенство подвергались всякого рода обидам.—Теперь, как и в прежнее время, епископы поддерживали правительство в его усилиях поработить Шотландию. Будучи ненавидимы народом, они соединились с короной и выказывали самые теплые чувства к Якову II, в царствование которого прodelьвались такие жестокости, каких не знали и в прежнее время.—В 1688 г. настала новая реакция, в которой шотландцы снова освободились от своих притеснителей.—Единственными могущественными друзьями этого дурного правительства были горцы.—Причины, побудившие горцев к восстанию в пользу Стюартов.—Горские восстания 1715 и 1745 гг. не были результатом верноподданнической преданности.—После 1745 г. горцы потеряли всякое значение, и прогресс Шотландии ничем не был прерываем.—Начало духа торговли.—Связь между возникновением духа торговли и уничтожением в 1748 г. наследственных юрисдикций.—Уничтожение этих юрисдикций было признаком упадка могущества шотландских дворян, но не причиной его.—Одной из причин упадка их могущества был союз их с Англией в 1707 г.—Другой причиной был неуспех восстания 1745 г.—Дворяне, ослабленные таким образом, были легко лишены их права юрисдикции. Итак, они лишились последней эмблемы своего древнего могущества.—Этому великому демократическому движению способствовало возрастание промышленных и мануфактурных классов.—А самому возрастанию этих классов благоприятствовало соединение с Англией.—Доказательства быстрых успехов промышленных классов в первой половине восемнадцатого столетия.—В этот же самый период возникла в Шотландии новая, блестящая литература.—Но, по несчастью, эта

литература, несмотря на свой смелый, пытливый дух, была не в состоянии ослабить суеверие нации.— Дело историка привести в известность причины такой неудачи. Если он не может сделать этого, то он не может понимать историю Шотландии.— Первым и самым важным свойством историка должно быть ясное понимание великого учения о законе. Но всякий, кто старается применить это учение ко всему ходу истории и выяснить с помощью его ход и теорию всех дел, встречает препятствия, которые никакой одиночный ум устранить не может.

ГЛАВА V

Исследование умственного движения в Шотландии в течение семнадцатого столетия — 142

Остальная часть этого тома будет посвящена еще более близкому исследованию двойного парадокса, представляемого историей Шотландии, а именно: 1) что один и тот же народ либерален в политике и нелиберален в религии; и 2) что свободная и скептическая литература, которую произвел этот народ в восемнадцатом столетии, была не в состоянии умерить его религиозную нелиберальность.— Религиозная нелиберальность шотландцев была результатом непомерного могущества их духовенства в семнадцатом столетии. Причины этого могущества будут исследованы в настоящей главе.— Несостоятельность их литературы в деле уменьшения этой нелиберальности в восемнадцатом столетии была последствием особого метода, принятого шотландскими философами. Причины всеобщего распространения этого метода, сущность самого метода и результаты его будут рассмотрены в следующей главе, которой и закончится этот том.— Обстоятельства, благоприятствовавшие в семнадцатом столетии установлению влияния шотландского духовенства.— В то время как война англичан против Карла I имела существенно политический характер, война шотландцев против него была существенно религиозной войной.— Хотя это обстоятельство было последствием шотландского суеверия, но оно, в свою очередь, сделалось причиной дальнейшего развития того же суеверия.— Таким образом, в семнадцатом столетии светские интересы находились в пренебрежении, а теологические получили верховное преобладание. Пояснение этого тем усердием, с каким народ слушал проповеди, необыкновенно частые и страшно длинные, так что он проводил большую часть своей жизни в том, что ошибочно называлось отправлением религиозных обязанностей.— Духовенство пользовалось этими привычками народа, чтобы расширить и упрочить свое влияние.— Великим орудием их могущества была церковная сессия. Тирания церковной сессии.— Чудовищные притязания духовенства.— Случаи, в которых полагали, будто притязания эти поддерживались и оправдывались чудесами.— Духовные, возгордясь своим могуществом, позволяют себе говорить необыкновенно надменным тоном.— Они утверждают, будто чудеса творятся ради их и часто над их личностями.— Влияния такого образа действия на шотландский ум.— Духовенство, чтобы запугать народ и вполне забрать его в руки, поддерживало ужаснейшие понятия относительно злых духов и наказаний в будущей жизни.— С той же целью оно распространяло еще более ужасные понятия о Божестве, Которое оно представляло существом жестоким, раздражительным и кровожадным.— Оно, кроме того, объявляло, что безвредные и даже похвальные действия греховны и навлекают гнев Божий.— В предупреждение таких воображаемых грехов духовенство поста-

новило произвольные правила и наказывало тех, которые не повиновались им, иногда розгами, а иногда припеканием раскаленным железом, иногда же и другими средствами.—Образчики грехов, сочиненных духовенством.—Результатом этого было, что всякая радость, всякое невинное веселье, всякое проявление счастья и почти все физические наслаждения были уничтожены в Шотландии.—От этого испортился национальный характер. Ибо наслаждения тела составляют в настоящем состоянии нашем такую же существенную часть великого плана жизни и так же необходимы в общем ходе дел человеческих, как и наслаждения духа.—Но духовенство, обличая эти чувственные наслаждения, старается по возможности во всех странах уменьшить общий итог счастья, к которому способно человечество и на которое оно имеет право.—Ни в какой другой протестантской стране духовенство не простирало так далеко этих узких и нелюдимых взглядов, как в Шотландии.—В некоторых отношениях шотландское духовенство являлось даже более аскетическим, чем духовенство любой из отраслей католической церкви, кроме испанской. Оно пыталось уничтожить всякую привязанность и разорвать священнейшие узы семейной жизни.

ГЛАВА VI

Исследование умственного движения в Шотландии в восемнадцатом веке — 174

Шотландская научная литература восемнадцатого столетия составляла реакцию против теологического духа семнадцатого века.—Но особенность возникшей теперь философии составляет то, что, вместо того чтобы быть индуктивной, она оказывается дедуктивной.—Это вполне достойно внимания. Так как индуктивный метод есть метод, по существу своему антитеологический, то можно было бы ожидать, что противники теологического духа последуют этому именно методу.—Но дело в том, что теологический дух до такой степени овладел шотландским умом, что индуктивному методу невозможно было проложить себе путь.—Поэтому светская философия восемнадцатого столетия, хотя новая по своим выводам, не была нова по тому методу, посредством которого выводы эти были получены.—В этом отношении Шотландия похожа на Германию, но не похожа на Англию.—Перечень важнейших различий между индукцией и дедукцией.—Шотландская философия во всей совокупности своей, как физическая, так и метафизическая, есть философия дедуктивная.—Философия Гетчесона.—Ее выводы и направление.—Ее метод.—Философия Адама Смита.—Его «Теория нравственных чувствований» и его «Богатство народов» суть различные части исследования одного и того же предмета. Чтобы понять которое-либо из этих сочинений, мы должны изучить оба.—Его дедуктивный метод основывается на упущении некоторых посылок.—Разбор его «Теории нравственных чувствований».—Разбор его «Богатства народов».—Философия Юма.—Недостаток в нем воображения.—Важность и новость его учений.—Метод его был по преимуществу дедуктивный. Он, как и Адам Смит, мало заботился об опыте.—Этим объясняется его несправедливость к Бэкону, метод которого был диаметрально противоположен методу Юма.—Его «Естественная история религии».—Сравнение метода этой книги с методом, которому следовал Кедворт.—Философия Рида.—Его робость заставляла его обращать внимание на практическую сторону умозрительных учений, вместо того чтобы исключительно ограничиваться исследованием, истинны они или ложны их выводы.—

Но философ должен поставить себе задачей доискиваться новых истин, не обращая никакого внимания на вытекающие из них последствия.— Рид нападал на метод Юма, потому что ему не нравились те результаты, к которым приводился этот путь умозаключения.— А между тем, строя свою собственную философскую систему, он сам следовал именно этому методу.— Оценка того, что действительно сделал Рид.— Противоположность между методом Рида и методом Бэкона.— По отрасли естественной философии в Шотландии одинаково преобладал метод дедуктивный.— Законы теплоты.— Неуничтожаемость силы. Замена сил одной другою.— Философия Блэка.— Его теория скрытой теплоты проложила путь к последующим открытиям.— Метод его был дедуктивный; он не подходил ни под одно из правил Бэконовской философии.— Он умозаключал от своих основных начал чисто отвлеченно, вместо того чтобы произвести целый ряд опытов.— Поступать таким образом — значит давать слишком большую волю воображению, а это считается делом опасным у английских естествоиспытателей индуктивной школы. Но в поисках истины нам нужны все наши способности, и успехи естествознания замедляются нашим пренебрежением к воображению и душевным движением.— Следовательно, Блэк оказал громадную услугу науке, дав волю воображению. Тому же плану следовал и его преемник Лесли.— Теория теплоты Лесли.— Он извлек большую пользу из поэзии.— Он был несправедлив к Бэкону, индуктивные взгляды которого не нравились ему.— Геологические умозрения Геттона.— Огонь и вода суть две причины, изменившие и теперь еще изменяющие земную кору. Предположение, что вулканическое действие было прежде сильнее, чем теперь, совершенно согласуется с учениями о непрерывной последовательности явлений и об однообразии законов природы.— Влияние огня и воды на земную кору может быть изучаемо дедуктивно, посредством вывода вероятного действия каждой из этих сил отдельно. Или же можно изучать влияние обоих этих деятелей путем индуктивным, т. е. наблюдая результаты их совокупного действия и восходя от действий к причинам; между тем как дедуктивный план состоит в нисхождении от причин к действиям.— Из этих двух методов англичане последовали индуктивному, а шотландцы и немцы дедуктивному.— Основание английской геологии положено Уильямом Смитом.— Англичане наблюдали действия с целью привести в известность причины. Немцы, предположив вперед, что вода есть причина, умозаключали от нее к действиям. Шотландцы, приняв вперед за причину огонь, исходили в своих умозаключениях от законов этого именно деятеля.— Причины, по которым шотландские геологи вели свое умозаключение от законов огня, вместо того чтобы, подобно немецким геологам, исходить от законов воды.— Хотя Геттон положил основание теории метаморфических скал и приписал такое громадное значение теплоте,— он все-таки не дал себе труда исследовать хотя одну местность действующих вулканов, где бы он мог видеть те самые отправления природы, по предмету которых он строил умозрения.— Но путем дедуктивного применения основных начал, раскрытых Блэком, он пришел к заключению относительно отвердения пластов от действия жара.— Это был вывод чисто умозрительный, не подтвержденный опытом.— Хотя предположение это, может быть, и подтвердилось бы на опыте, но тогда никто не делал еще такого опыта; а Геттон питал слишком большое отвращение к индуктивному методу, чтобы самому предпринять подобную проверку.— Сэр Джеймс Голл ввязался впоследствии за это дело и поверил эмпирически великую идею, заявленную Геттоном.— Изобретение паровой машины и открытие состава воды Уаттом.— Противоположность между методом, которому следовал Уатт, как шотландец,

в деле открытия состава воды, и методом, употребленным англичанином Кавендишем, сделавшим то же самое открытие в одно и то же время.— Сущность доказательств, на которых основывается предполагаемое различие между органическим и неорганическим миром. Жизнь есть, по всей вероятности, принадлежность всякой материи.— Но принимая, ради необходимой классификации, что органический мир существенно различается от неорганического, мы можем разделить науку об органических телах на физиологию и патологию.— Два великих шотландских патолога—это Келлен и Джон Гентер. Гентер, обладавший более обширным умом, чем Келлен, был также и физиологом.— Обзор философии Келлена.— Его любовь к теории.— Теория хотя и необходима в науке, но в практике бывает опасна.— Различие между наукой патологии и искусством терапевтики.— Сравнение между методом Келленовой патологии и методом, употребленным в сочинениях Адама Смита.— Келленова теория твердых составных частей тела.— Он не захотел исследовать справедливость основных начал, от которых он вел свое умозаключение.— Его выводы, так же как и его посылки, представляют только известную долю истины и были чрезвычайно односторонни. Все-таки они имеют несомненную ценность, составляя необходимое дополнение к общему прогрессу.— Его теория лихорадки.— Его носология.— Философия Джона Гентера.— Величие его ума, соединенное, по несчастью, с темнотою в образе выражения.— В его уме индуктивный и дедуктивный методы оспаривали друг у друга право на преобладание. Их столкновение отягощало его. В этом и заключается одна из причин темноты его мысли, а следовательно, и образа выражения.— Врожденной склонностью его было строить догадки относительно законов природы и от них умозаключать дедуктивно.— Но обстоятельства сделали его индуктивным, и он собирал факты с неутомимым трудолюбием.— Этим путем он сделал множество любопытных физиологических открытий.— Он исследовал историю красных шариков крови и пришел к тому выводу, что назначение их— скорее укреплять систему, чем восстанавливать ее убыли.— Долгое время спустя после его смерти вывод его был подтвержден благодаря быстрым успехам животной химии и усовершенствованиям микроскопа. Приведением в достоверную известность этого факта мы обязаны Лекаю, который достиг этого путем сравнения крови в различных полах и различных темпераментах.— Исследование Гентера относительно движений у животных и в растениях.— Он постиг великую истину— что науки о неорганическом мире должны лежать в основании наук о мире органическом.— Целью его было соединить в одно изучение все естественные науки, чтобы показать, что отправления природы всегда однообразны и что правильность сохраняется даже среди величайшей, по-видимому, неправильности.— Таким образом он стремился более всего к обобщению неправильностей, и потому любимым предметом его была патология.— В своих патологических исследованиях он принимал в соображение недостатки, замечаемые в образовании кристаллов.— В физиологии с ним равнялся и, пожалуй, даже превосходил его Аристотель, но как патолог он не имеет соперника по широте своих воззрений.— В патологии его любовь к дедукции проявлялась сильнее, чем в физиологии.— Его патологические умозрения относительно основных начал действия и основных начал сочувствия.— Но его современники в Англии, будучи по преимуществу преданы индукции,— до такой степени невзлюбили его метода, что на них он едва ли имел какое-нибудь влияние.— Это тем более замечательно, что открытия по части болезней заставили всех признать его за основателя новейшей хирургии и главным виновником теорий, преподаваемых ныне медикам.— Таковы

были великие результаты, достигнутые шотландцами в восемнадцатом столетии. Различие между этой блестящей литературой и жалкими произведениями шотландского ума в семнадцатом столетии.— Но, несмотря на это различие, в обоих столетиях все-таки имел верховное преобладание дедуктивный метод.— Дедуктивный метод менее поражает чувства, чем индуктивный. Поэтому индукция, будучи более доступна умам средней руки, популярнее дедукции. Поэтому также учения индуктивной философии скорее могут повлиять на национальный характер, чем учения дедуктивной философии.— Единственное исключение из этого общего правила представляет теология.— Шотландская литература восемнадцатого столетия, будучи существенно дедуктивной, не могла вследствие этого подействовать на нацию, не была в состоянии ослабить суеверие.— Суеверие и нелиберальность в религии и до сих пор сохраняются в Шотландии.— Сохраняющиеся там понятия относительно происхождения эпидемий. Переписка, происшедшая вследствие этих понятий в 1853 г., между шотландской церковью и английским правительством.— Эти суеверия в высшей степени противны истинной религии; они везде исчезают по мере успехов естествознания. Ничто другое не действует на них. От этого зависит постепенное избавление человеческого ума от тех рабских страхов, которыми он долго был окован.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ТОМАМ — 281

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ К ПЕРВОМУ
И ВТОРОМУ ТОМАМ — 446

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН — 470

- Бокль Генри Томас**
Б79 История цивилизаций. История цивилизации в Англии:
т. 2.— М.: Мысль, 2002.— 509, [1] с.
ISBN 5-244-01006-9

Генри Томас Бокль (1821—1862)— выдающийся английский мыслитель. Предлагаемое произведение представляет собой памятник политической и социологической мысли XIX в., ставший бестселлером на многие годы. Книга содержит интереснейшие и оригинальные размышления над проблемами истории и развития цивилизации, которые приобрели новую актуальность в наше время.

Во второй том включены ценнейшие примечания автора к обоим томам (том I— М., 2000) и аннотированный именной указатель.

УДК 930.85
ББК 71.05

НАУЧНАЯ

Генри Томас Бокль

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В АНГЛИИ, т. 2

Редактор Н. И. Калашникова

Оформление художника А. Б. Боброва

Художественный редактор А. А. Брантман

Технический редактор В. Н. Корнилова

Корректор Т. И. Орехова

ЛР № 010150 от 30.12.96

Сдано в набор 16.10.2001. Подписано в печать 02.04.2002. Формат 60 × 90¹/₁₆.

Бумага типографская № 2. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.

Усл. печ. листов 32. Усл. кр.-отт. 32,25. Учетно-издат. листов 37,05.

Тираж 5000 экз. Заказ № 1856.

ГУП издательство «Мысль».

117071, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

**Государственное ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени
Московское предприятие «Первая Образцовая типография»
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. 113054, Москва, Валуевская, 28.**

ISBN5-244-01006-9



9 785244 010060 >